СТЕНДАЛЬ

ПАРМСКАЯ ОБИТЕЛЬ







Пармская обитель
Стендаль

Аннотация
Стендаль. Пармская обитель
Предисловие автора
Часть Первая
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Часть Вторая
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Аннотация

Один из самых ярких французских авторов XIX века, Анри Мари Бейль, писавший под псевдонимом Стендаль, при жизни не пользовался ни признанием критики, ни успехом у широкого читателя. Тем не менее Мериме, испытавший на себе влияние Стендаля, занявшего впоследствии место в пантеоне классиков европейской литературы, высоко ценил его творчество, Гёте и Пушкин зачитывались его романом «Красное и черное».

Действие последнего романа Стендаля «Пармская обитель», восторженно принятого Бальзаком, происходит в Италии, стране сильных страстей и великой культуры. Его темой становится судьба поколения итальянцев, которое вступило в жизнь в конце XVIII века, страстно мечтая о независимости родины, однако битва при Ватерлоо ознаменовала крах восторженных иллюзий. Напряженность событий (убийства, заключение в тюрьму, побег, выяснение тайны рождения и смерти), глубокие психологические переживания героев, ради любви идущих на

предательство и приносящих в жертву самое дорогое, а также впечатляющее изображение исторических событий той эпохи превращают роман в несомненный шедевр мировой литературы.

Стендаль
Пармская обитель

Предисловие автора

Повесть эта написана зимой 1830 года, в трехстах лье от Парижа, а потому, разумеется, в ней нет ни единого намека на события текущего 1839 года.

За много лет до того, когда наши армии проходили по Европе, я по воле случая очутился на постое в доме одного каноника. Это было в Падуе, счастливом городе Италии. Пребывание мое у каноника затянулось, и мы с ним стали друзьями.

В конце 1830 года, попав проездом в Падую, я поспешил в дом каноника. Я знал, что старика уже нет в живых, но мне хотелось еще раз увидеть гостиную, где я провел столько приятных вечеров, о которых часто вспоминал с большим сожалением. В доме жил теперь племянник покойного с женой; они встретили меня как старого друга. Собралось еще несколько человек гостей, и разошлись мы очень поздно. Племянник каноника приказал принести из кофейни Педроти превосходного zambaione. Засиделись мы главным образом, слушая историю герцогини Сансеверина: кто-то из гостей упомянул о ней, а

хозяин, в угоду мне, рассказал ее всю полностью.

— В той стране, куда я еду, — сказал я своим друзьям, — не найти такого общества, как у вас, и, чтобы скоротать время в долгие вечера, я напишу на основе этой истории повесть.

— В таком случае, — сказал племянник каноника, — я принесу вам сейчас записки моего дядюшки, где в главе, посвященной Парме, он говорит о некоторых интригах при пармском дворе, происходивших в те времена, когда герцогиня полновластно царила там. Но берегитесь! В этой истории мораль хромает, и теперь, когда у вас, во Франции, мода на евангельскую непорочность, — она может составить вам убийственную славу.

Я публикую эту повесть по рукописи 1830 года, ничего в ней не изменив, хотя это может повлечь за собою две неприятности.

Во-первых, неприятность для читателя: действующие лица у меня — итальянцы, а это может уменьшить интерес к книге, так как сердца итальянцев сильно отличаются от сердец обитателей Франции; в Италии люди искренни, благодушны и не боязливы, — говорят то, что думают, тщеславие находит на них лишь приступами, но тогда оно становится страстью, именуемой puntiglio. И, наконец, они не смеются над бедностью.

Вторая неприятность касается автора. Признаюсь, я осмелился сохранить за моими героями всю резкость их характеров; но зато я громко заявляю, что выношу им глубоко моральное порицание за многие их поступки. Зачем придавать им высокую нравственность и обаятельные качества наших французов, которые больше всего на свете почитают деньги и никогда не совершают грехов, порожденных ненавистью или любовью? Итальянцы, изображенные в моем повествовании, совсем на них не похожи. Впрочем, мне думается, что стоит проехать двести лье с юга на север, как все становится иным: и пейзажи и романы. Радушная племянница каноника, которая близко знала и даже очень любила герцогиню Сансеверина, просит меня ничего не менять в приключениях этой дамы, хотя они и достойны осуждения.

23 января 1839 г.

Часть Первая

Gla mi fur dolci inviti
a empir le carte
I luoghi ameni.
Ariosto, Sat. IV[1]

[1] Примечания: 1
Эпиграф к первой части «Пармской обители» взят Стендалем из IV сатиры итальянского поэта Ариосто (1474–1533) — «Давно уже этот милый край нежно призывал меня написать о нем».

1

Милан в 1796 году

15 мая 1796 года генерал Бонапарт вступил в Милан во главе молодой армии, которая прошла мост у Лоди[2], показав всему миру, что спустя много столетий у Цезаря и Александра появился преемник. Чудеса отваги и гениальности, которым Италия стала свидетельницей, в несколько месяцев пробудили от сна весь ее народ; еще за неделю до вступления французской армии жители Милана видели в ней лишь орду разбойников, привыкших убегать от войск его императорского и королевского величества, — так по крайней мере внушала им трижды в неделю миланская газетка, выходившая на листке дрянной желтой бумаги величиною с ладонь.

В средние века республиканцы Ломбардии были не менее храбры, нежели французы, и за это императоры Германии обратили их столицу

[2] Примечания: 2

В сражении у местечка Лоди за овладение мостом через реку Адду, происходившем 10 мая 1796 года, Бонапарт разбил австрийские войска.

в развалины[3]. Став верноподданными[4], они считают самым важным для себя делом печатать на платочках из розовой тафты сонеты по случаю бракосочетания какой-нибудь высокородной или богатой девицы. Через два-три года после этого великого события в своей жизни молодая супруга брала себе поклонника, — иногда имя чичисбея, заранее избранного семьей жениха, занимало почетное место в брачном контракте. Как далеки были от столь изнеженных нравов глубокие волнения, вызванные нежданным нашествием французской армии! Вскоре возникли новые нравы, исполненные страсти. 15 мая 1796 года весь народ увидел, каким нелепым, а иногда и гнусным было все то, к чему он прежде относился с почтением. Едва только последний австрийский

---

[3] Примечания: 3

Милан в XII веке был городской республикой; вместе с другими ломбардскими городами он боролся против германского императора Фридриха Барбароссы, отстаивая свою независимость. После длительной осады (1160–1162) Милан был взят императорскими войсками и разрушен; вскоре, однако, он оправился, встал во главе лиги ломбардских городов и после победы ее (1176) возвратил себе первенствующее положение на севере Италии.

[4] Примечания: 4

Милан был порабощен в 1525 году Карлом V, являвшимся испанским королем и германским императором. В 1714 году в результате войны за испанское наследство, которую вели Франция и Австрия в коалиции с другими европейскими странами, Милан, так же как Неаполь и Сардиния, перешел к Австрии.

полк оставил Ломбардию, как старые взгляды рухнули, вошло в моду подвергать свою жизнь опасности. После многих веков расслабляющих чувствований люди увидели, что счастья возможно достигнуть лишь ценою подлинной любви к родине и доблестных подвигов. Долгий и ревнивый деспотизм, наследие Карла V и Филиппа II, погрузил ломбардцев в глубокий мрак, но они свергли статуи этих монархов, и сразу же всех затопили волны света. Пятьдесят лет, пока «Энциклопедия»[5] и Вольтер взрывали старую Францию, монахи кричали доброму миланскому народу, что учиться грамоте, да и вообще чему бы то ни было, — совершенно напрасный труд, ибо стоит лишь исправно платить священнику десятину[6], без утайки рассказывать ему на духу свои мелкие грешки, и можно быть почти уверенным, что получишь хорошее место в раю. А чтобы довести до полного бессилия этот народ,

---

[5] Примечания: 5

«Энциклопедия», или «Толковый словарь наук, искусств и ремесел» — многотомный труд французских просветителей XVIII века; издавалась под редакцией Дидро при участии крупнейших ученых; явилась мощным орудием борьбы против феодализма.

[6] Примечания: 6

Десятина — одна из феодальных повинностей: десятая часть урожая и разных доходов, взимавшаяся с крестьян на нужды церкви; во Франции была отменена в начале первой буржуазной революции (4 августа 1789 г.).

некогда умевший и мыслить и быть грозою, Австрия по дешевой цене продала ему привилегию не поставлять рекрутов в ее армию.

В 1796 году вся миланская армия состояла из двадцати четырех шалопаев в красных мундирах, и они охраняли город совместно с четырьмя великолепными полками венгерских гренадеров. Распущенность достигла крайних пределов, но страсти были явлением редкостным. Помехой тому была неприятная обязанность все рассказывать духовнику под страхом погибели даже в здешнем мире. Кроме того, славный ломбардский народ был связан некоторыми запретами монархии — мелкими, но довольно докучными. Так, например, эрцгерцогу, который имел резиденцию в Милане и правил страной от имени австрийского императора, своего двоюродного брата, вздумалось заняться прибыльным делом — торговать хлебом. Следствием этого явилось запрещение крестьянам продавать зерно до тех пор, пока его высочество не наполнит своих амбаров.

В мае 1796 года, через три дня после вступления французов, в большую миланскую кофейню Серви, модную в те времена, зашел прибывший вместе с армией молодой рисовальщик-мини-

атюрист и порядочный ветрогон, по фамилии Гро[7], впоследствии знаменитый художник; он услышал в кофейне рассказы о торговых подвигах эрцгерцога и узнал также, что тот отличается тучностью. И вот художник взял со стола листок скверной желтой бумаги, на которой напечатан был перечень различных сортов мороженого, и на обороте его изобразил, как французский солдат проткнул штыком толстое чрево эрцгерцога и оттуда вместо крови потоком хлынула пшеница. То, что называется «шаржем» или «карикатурой», было совсем незнакомо в этой стране хитрого деспотизма. Рисунок, оставленный художником Гро на столике в кофейне Серви, показался чудом, сошедшим с неба; за ночь сделали с него гравюру и на другой день распродали двадцать тысяч оттисков.

В тот же день на стенах домов появились афиши, уведомлявшие о взыскании шестимиллионной контрибуции на нужды французской армии, которая только что выиграла шесть сражений, завоевала двадцать провинций, но испытывала недостаток в башмаках, панталонах, мундирах и шапках.

---

[7] Примечания: 7

Гро, Антуан-Жан (1771–1835) — французский живописец. Его кисти принадлежит ряд картин из эпохи наполеоновских войн.

Вместе с оборванными бедняками французами в Ломбардию вторгнулась такая могучая волна счастья и радости, что только священники да кое-кто из дворян стонали от тяжести шестимиллионной контрибуции, за которой последовали и другие денежные взыскания. Ведь эти французские солдаты с утра и до вечера смеялись и пели, все были моложе двадцати пяти лет, а их главнокомандующему недавно исполнилось двадцать семь, и он считался старейшиной армии. Жизнерадостность, молодость, беззаботность были таким приятным ответом на злобные предсказания монахов, которые уже полгода возвещали с высоты церковных кафедр, что все французы — изверги, что под страхом смертной казни их солдаты обязаны все жечь, всем рубить головы, — недаром впереди каждого их полка везут гильотину. А в деревнях люди видели, как у дверей крестьянских хижин французские солдаты баюкали на руках хозяйских ребятишек, и почти каждый вечер какой-нибудь барабанщик, умевший пиликать на скрипке, устраивал бал. Модные контрдансы были для солдат слишком мудрены, и показать итальянкам их замысловатые фигуры они не могли, да, кстати сказать, и сами не были им обучены, зато итальянки на-

учили молодых французов плясать «монферину», «попрыгунью» и другие народные танцы.

Офицеров по мере возможности расквартировали по богатым домам; им очень нужно было подкрепить свои силы. И вот один лейтенант, по фамилии Робер, получил билет на постой во дворце маркизы дель Донго. Когда этот офицер, молодой ополченец и человек довольно бойкий, вошел во дворец, в кармане у него было всего-навсего одно экю в шесть франков, только что выданное ему казначеем в Пьяченце. После сражения у Лоди он снял с красавца австрийского офицера, убитого пушечным ядром, великолепные новенькие нанковые панталоны, и, право, никогда еще так кстати не приходилась человеку эта часть одежды. Бахрома офицерских эполет была у него из шерсти, а сукно на рукавах мундира пришлось притачать к подкладке, для того чтобы оно не расползлось клочьями. Но упомянем еще более прискорбное обстоятельство: подметки его башмаков были выкроены из треуголки, также взятой на поле сражения у Лоди. Эти самодельные подметки были весьма заметно привязаны к башмакам веревочками, и, когда дворецкий, явившись в комнату лейтенанта Робера, пригласил его откушать с маркизой дель Донго, бедняга

почувствовал убийственное смущение. Вместе со своим вольтижером он провел два часа, остававшиеся до рокового обеда, за работой, усердно стараясь хоть немного починить мундир и закрасить чернилами злосчастные веревочки на башмаках. Наконец, грозная минута настала.

— Еще никогда в жизни не был я так смущен, — говорил мне лейтенант Робер. — Дамы думали, что я их напугаю, а я трепетал больше, чем они. Я смотрел на свои башмаки и не знал, как мне грациозно подойти в них к хозяйке дома. Маркиза дель Донго, — добавил он, — была тогда во всем блеске своей красоты. Вы ее видели, вы помните, конечно, ее прекрасные глаза, ангельски-кроткий взгляд и чудесные темно-русые волосы, так красиво обрамлявшие прелестный овал ее лица. В моей комнате висела картина «Иродиада» Леонардо да Винчи[8], — казалось, это был ее портрет. И вот меня, по счастью, так поразила эта сверхъестественная красота, что я позабыл про свой наряд. Целых два года я пробыл в горах около Генуи, привык к зрелищу убожества и уродства

[8] Примечания: 8

Во времена Стендаля три картины, изображавшие Иродиаду (жену правителя Иудеи Ирода Антиппы), приписывались великому итальянскому художнику Леонардо да Винчи (1452–1519). Впоследствии было доказано, что это работы его учеников.

и теперь, не сдержав своего восторга, дерзнул высказать его.

Но у меня хватило здравого смысла не затягивать комплиментов. Рассыпаясь в любезностях, я видел вокруг себя мраморные стены столовой и целую дюжину лакеев и камердинеров, одетых, как мне тогда показалось, с величайшей роскошью. Вообразите только: эти бездельники были обуты в хорошие башмаки да еще с серебряными пряжками. Я заметил, как эти люди глупо таращат глаза, разглядывая мой мундир, а может, и мои башмаки, что уже окончательно убивало меня. Я мог одним своим словом нагнать страху на всю эту челядь, но как ее одернуть, не рискуя в то же время испугать дам? Маркиза, надо вам сказать, в тот день «для храбрости», как она сто раз мне потом объясняла, взяла домой из монастырского пансиона сестру своего мужа, Джину дель Донго, — впоследствии она стала прекрасной графиней Пьетранера, которую в дни благоденствия никто не мог превзойти веселостью и приветливостью, так же как никто не превзошел ее мужеством и спокойной стойкостью в дни превратностей.

Джине было тогда лет тринадцать, а на вид — восемнадцать; она отличалась, как вы знаете,

живостью и чистосердечием, и тут, за столом, видя мой костюм, она так боялась расхохотаться, что не решалась есть; маркиза, напротив, дарила меня натянутыми любезностями: она прекрасно видела в моих глазах нетерпеливую досаду. Словом, я представлял собою нелепую фигуру; я должен был сносить презрение — дело для француза невозможное. И вдруг меня осенила мысль, ниспосланная, конечно, небом: я стал рассказывать дамам о своей бедности, о том, сколько мы настрадались за два года в генуэзских горах, где нас держали старые дураки-генералы. Там давали нам, говорил я, три унции[9] хлеба в день и жалованье платили ассигнациями, которые не имели хождения в тех краях. Не прошло и двух минут, как я заговорил об этом, а у доброй маркизы уже слезы заблестели на глазах, и Джина тоже стала серьезной.

— Как, господин лейтенант? — переспросила она. — Три унции хлеба?

— Да, мадемуазель. А раза три в неделю нам ничего не перепадало, и, так как крестьяне, у которых мы были расквартированы, бедствовали еще больше нас, мы делились с ними хлебом.

---

[9] Примечания: 9

Унция — старая мера веса, равна приблизительно 30 граммам.

Выйдя из-за стола, я предложил маркизе руку, проводил ее до дверей гостиной, затем поспешно вернулся и дал лакею, прислуживавшему мне за столом, единственное свое шестифранковое экю, сразу разрушив воздушные замки, которые я строил, мечтая об употреблении этих денег.

Неделю спустя, — продолжал свой рассказ лейтенант Робер, — когда совершенно ясно стало, что французы никого не собираются гильотинировать, маркиз дель Донго возвратился с берегов Комо из своего замка Грианта, где он так храбро укрылся при приближении нашей армии, бросив на волю случайностей войны красавицу жену и сестру. Ненависть маркиза к нам была равносильна его страху — то есть безмерна, и мне смешно было смотреть на пухлую и бледную физиономию этого ханжи, когда он лебезил передо мною. На другой день после его возвращения в Милан мне выдали три локтя[10] сукна и двести франков из шестимиллионной контрибуции; я вновь оперился и стал кавалером моих хозяек, так как начались балы.

История лейтенанта Робера походит на исто-

---

[10] Примечания: 10

Локоть — старинная «естественная» мера длины, по длине локтевой кости. Была распространена во всей Европе.

рию всех французов в Милане: вместо того чтобы посмеяться над нищетой этих удальцов, к ним почувствовали жалость и полюбили их.

Пора нежданного счастья и опьянения длилась два коротких года; безумства доходили до крайних пределов, захватили всех поголовно, и объяснить их можно лишь с помощью следующего исторического и глубокого рассуждения: этот народ скучал целое столетие.

Некогда при дворе Висконти и Сфорца[11], знаменитых герцогов миланских, царило сладострастие, свойственное южным странам. Но, начиная с 1624 года, когда Миланом завладели испанцы, молчаливые, надменные и подозрительные повелители, всегда опасавшиеся восстания, веселость исчезла. Переняв обычаи своих владык, люди больше стремились отомстить ударом кинжала за малейшую обиду, чем наслаждаться каждой минутой жизни.

С 15 мая 1796 года, когда французы вступили в Милан, и до апреля 1799 года, когда их оттуда

---

[11] Примечания: 11

Висконти — династия миланских герцогов (XIII–XV века); власть их наследовали Сфорца, правившие до захвата Милана испанцами.

изгнали после сражения при Кассано[12], повсюду господствовало счастливое безумство, веселье, сладострастье, забвенье всех унылых правил или хотя бы просто благоразумия, и даже старые купцы-миллионеры, старые ростовщики, старики нотариусы позабыли свою обычную угрюмость и погоню за наживой.

Лишь несколько семейств, принадлежавших к высшим кругам дворянства, словно досадуя на всеобщую радость и расцвет всех сердец, уехали в свои поместья. Правда, эти знатные и богатые семьи были невыгодным для них образом выделены при раскладке военной контрибуции для французской армии.

Маркиз дель Донго, раздраженный картиной ликования, одним из первых удалился в свой великолепный замок Грианта, находившийся неподалеку от города Комо; дамы привезли туда однажды и лейтенанта Робера. Замок представлял собою крепость, и местоположение его, пожалуй, не имеет себе равного в мире, ибо он стоит на высоком плато, поднимающемся на сто пятьдесят футов над чудесным озером, и из окон

---

[12] Примечания: 12

В сражении при Кассоно 28 апреля 1799 года соединенная австро-русская армия под командой Суворова разбила французов, которыми командовал Моро.

его видна большая часть озера. Это был родовой замок маркизов дель Донго, построенный ими еще в пятнадцатом столетии, как о том свидетельствовали мраморные щиты с фамильным гербом; от тех времен, когда он служил крепостью, в нем сохранились подъемные мосты и глубокие рвы, правда уже лишившиеся воды; все же под защитой его стен высотою в восемьдесят футов и толщиною в шесть футов можно было не бояться внезапного нападения, и поэтому подозрительный маркиз дорожил им. Окружив себя двадцатью пятью — тридцатью лакеями, которых он считал преданными слугами, вероятно за то, что всегда осыпал их руганью, он тут меньше терзался страхом, чем в Милане.

Страх этот не лишен был оснований: маркиз вел весьма оживленную переписку со шпионом, которого Австрия держала на швейцарской границе, в трех лье от Грианты, для того чтобы он способствовал бегству военнопленных, взятых французами в сражениях, и это обстоятельство могло очень не понравиться французским генералам.

Свою молодую жену маркиз оставил в Милане. Она управляла там семейными делами, обязана была договариваться относительно сумм кон-

трибуций, которыми облагали casa del Dongo, как говорят в Италии, — стараться уменьшить их, что заставляло ее встречаться с некоторыми дворянами, принявшими на себя выполнение общественных должностей, а также и с лицами незнатными, но весьма влиятельными. В семействе дель Донго произошло большое событие: маркиз подыскал жениха для своей юной сестры Джины, человека очень богатого и высокородного; но этот вельможа пудрил волосы, и поэтому Джина всегда встречала его взрывом хохота, а вскоре она совершила безумный поступок — вышла замуж за графа Пьетранера. Правда, он был человек достойный и весьма красивый, но из обедневшего дворянского рода и, в довершение несчастья, ярый сторонник новых идей. Пьетранера был суб-лейтенантом Итальянского легиона[13], что усугубляло негодование маркиза.

Прошли два года, полных безумного веселья и счастья; парижская Директория[14], разыгры-

[13] Примечания: 13

Итальянский (вернее, Италийский) легион был организован Директорией после первого итальянского похода Бонапарта; как и другие иностранные легионы, принимал участие во всех военных кампаниях Наполеона.

[14] Примечания: 14

Директория — правительство Франции с 1795 по 1799 год. Исполнительная власть принадлежала пяти директорам, законодательная — Совету пятисот и Совету старейшин.

вая роль прочно утвердившейся власти, стала выказывать смертельную ненависть ко всем, кто не был посредственностью. Бесталанные генералы, которыми она наградила Итальянскую армию, проигрывали битву за битвой в тех самых Веронских долинах, которые за два года до того были свидетельницами чудес, совершенных при Арколе и Лонато[15]. Австрийцы подошли к Милану; лейтенант Робер, уже получивший командование батальоном и раненный в сражении при Кассано, в последний раз оказался гостем своей подруги, маркизы дель Донго. Прощание было горестным. Вместе с Робером уехал и граф Пьетранера, который последовал за французскими войсками, отступавшими к Нови[16]. Молодой графине Пьетранера брат отказался выплатить законную часть родительского наследства, и она ехала за армией в простой тележке.

Настала та пора реакции и возвращения к старым взглядам, которую жители Милана называют «i tredici mesi» (тринадцать месяцев),

[15] Примечания: 15

При Арколе и Лонато, селениях Ломбардии, Бонапарт в 1796 году, во время первого итальянского похода, наголову разбил австрийские войска.

[16] Примечания: 16

В бою под деревней Нови 15 августа 1799 года соединенные австро-русские войска нанесли поражение французской армии Жубера.

потому что, на их счастье, это вернувшееся мракобесие действительно продлилось только тринадцать месяцев — до сражения при Маренго[17]. Все старики, все угрюмые ханжи подняли головы, захватили бразды правления и верховодили обществом; вскоре эти благонамеренные люди, оставшиеся верными старому режиму, распространили по деревням слух, что Наполеон повешен в Египте мамелюками[18], — участь, заслуженная им по многим причинам.

Среди дворян-злопыхателей, которые возвратились из своих имений и жаждали мести, особенной яростью отличался маркиз дель Донго. Неистовство, вполне естественно, поставило его во главе партии реакции. Члены этой партии люди порядочные, когда им нечего было бояться, но теперь все еще дрожавшие от страха, сумели обойти австрийского генерала. Он был человеком довольно благодушным, но, поддавшись их уговорам, решил, что суровость — самая искусная

---

[17] Примечания: 17

Сражение при Маренго (14 июня 1800 г.) принесло победу Бонапарту над австрийцами во время второго итальянского похода и отдало в его руки всю Северную Италию.

[18] Примечания: 18

Мамелюки — первоначально телохранители египетских султанов; в XIII веке они уже являлись крупными феодалами; в период египетской экспедиции Наполеона Бонапарта (1798) мамелюки все еще сохраняли господствующее положение в Египте.

политика, и приказал арестовать сто пятьдесят патриотов, а это были тогда поистине лучшие люди Италии.

Вскоре их сослали в бухты Катарро[19], бросили в подземные пещеры, и сырость, а главное голод, быстро расправились с этими «негодяями».

Маркиз дель Донго получил важный пост. Так как ко множеству его прекрасных качеств присоединялась и мерзкая скаредность, то он во всеуслышание похвалялся, что ни разу не послал и не пошлет ни одного гроша своей сестре, графине Пьетранера: она по-прежнему безумствовала от любви и, не желая покинуть мужа, умирала с голоду во Франции вместе с ним. Добрая маркиза дель Донго была в отчаянии; наконец, ей удалось похитить несколько небольших бриллиантов из своего ларчика с драгоценностями, который ее супруг отбирал у нее каждый вечер и запирал в кованый сундук, стоявший под его кроватью; маркиза принесла мужу в приданое восемьсот тысяч франков, а получала от него ежемесячно на свои личные расходы восемьдесят франков. Все

[19] Примечания: 19

В мае 1800 года в Милане была арестована группа итальянских либералов; их обвинили в государственной измене и бросили в венецианскую темницу, оттуда они были переведены в австрийскую крепость Катарро в Далмации. Узники Катарро были выпущены на свободу только 1 августа 1801 года. Милан устроил им торжественную встречу.

тринадцать месяцев, которые французы провели вне Милана, эта робкая женщина одевалась в черное, находя для своего траура благовидные предлоги.

Признаемся, что, по примеру многих солидных писателей, мы начали историю нашего героя за год до его рождения. В самом деле, главное действующее лицо в этой книге не кто иной, как Фабрицио Вальсерра marchesino[20] дель Донго, как говорят в Милане. Он родился как раз в то время, когда прогнали французов, и по воле случая оказался вторым сыном г-на маркиза дель Донго, того самого вельможи, о котором читателю кое-что уже известно, а именно, что у него было пухлое и бледное лицо, лживая улыбка и беспредельная ненависть к новым идеям. Наследником всего родового состояния дель Донго являлся старший сын маркиза, Асканьо, вылитый портрет и достойный отпрыск своего отца. Ему было восемь лет, а Фабрицио — два года, когда генерал Бонапарт, которого все высокородные особы считали уже давно повешенным, нежданно-негаданно перешел Сенбернарский перевал и

[20] Примечания: 20

Произносится «маркезино»; по местным обычаям, заимствованным из Германии, этот титул дается сыновьям маркиза; «контино» — сыновьям графа, «контесина» — дочерям графа и т. д. (*прим. авт.*).

вступил в Милан, — еще один исключительный момент в Истории: вообразите себе целый народ, обезумевший от восторга. Через несколько дней Наполеон выиграл сражение при Маренго. Остальное рассказывать излишне. Опьянение жителей Милана достигло предела, но на этот раз к нему примешивалась мысль о мести: этот добрый народ научился ненавидеть. Вскоре вернулись из ссылки немногие выжившие «в бухтах Катарро» патриоты; возвращение их было отпраздновано как национальное торжество. Бледные, исхудалые узники, с большими удивленными глазами, представляли собою странный контраст ликованию, гремевшему вокруг них. Для наиболее запятнанных родовитых семейств их возвращение было сигналом к бегству. Маркиз дель Донго одним из первых удрал в свой замок Грианта. Во многих знатных семьях отцы были преисполнены ненависти и страха, но жены и дочери вспоминали, сколько радости принесло им первое вступление французов в Милан, и с сожалением думали о веселых балах, которые тотчас после взятия Маренго стали устраивать в Casa Tanzi[21]. Через несколько дней после победы

[21] Примечания: 21
В Бальном дворце.

французский генерал, на которого возложена была обязанность поддерживать спокойствие в Ломбардии, заметил, что все фермеры, арендаторы дворянских земель, все деревенские старухи уже нисколько не думают о поразительной победе при Маренго, изменившей судьбу Италии и в один день вновь отдавшей в руки победителей тринадцать крепостей, — все поглощены пророчеством святого Джиовиты, главного покровителя Брешии. Это священное прорицание гласило, что благоденствию Наполеона и французов настанет конец ровно через тринадцать недель после Маренго. В оправдание маркиза дель Донго и других злобствовавших владельцев поместий надо сказать, что они непритворно поверили пророчеству. Все эти господа не прочли и четырех книг за свою жизнь. Теперь они открыто занимались сборами, готовясь вернуться в Милан через тринадцать недель; но время шло и вело за собою все новые успехи Франции. Возвратившись в Париж, Наполеон мудрыми декретами спас революцию от внутренних врагов, как он спас ее при Маренго от натиска чужестранцев. Тогда ломбардские дворяне, бежавшие в свои поместья, открыли, что они сперва плохо поняли предсказание святого покровителя Брешии: речь

шла не о тринадцати неделях, но, конечно, о тринадцати месяцах. Прошло тринадцать месяцев, а благоденствие Франции, казалось, с каждым днем все возрастало.

Упомянем лишь вскользь о десятилетии успехов и процветания, длившемся с 1800 по 1810 год. Почти все это десятилетие Фабрицио провел в поместье Грианта среди крестьянских ребятишек, дрался с ними на кулачках и ничему не учился, даже грамоте. Затем его послали в Милан, в коллегию отцов иезуитов. Маркиз потребовал, чтобы его сына познакомили с латынью не по сочинениям древних авторов, которые постоянно толкуют о республиках, а по великолепному фолианту, украшенному более чем сотней гравюр и являвшемуся шедевром художников XVII века, — это была генеалогия рода Вальсерра, маркизов дель Донго, изданная на латинском языке в 1650 году Фабрицио дель Донго, архиепископом Пармским. Отпрыски рода Вальсерра в большинстве своем были воины, поэтому гравюры изображали многочисленные битвы, где какой-либо герой, носивший эту фамилию, разил врагов могучими ударами меча. Книга эта очень нравилась Фабрицио. Мать, которая обожала его, получала иногда от мужа дозволение съездить в

Милан повидаться с сыном, но маркиз никогда не давал ей ни гроша на эти поездки, — деньгами ее ссужала невестка, добрая графиня Пьетранера. После возвращения французов графиня стала одной из самых блестящих дам при дворе принца Евгения[22], вице-короля Италии.

Когда Фабрицио пошел к первому причастию, она добилась от маркиза дель Донго, по-прежнему находившегося в добровольной ссылке, дозволения изредка брать к себе племянника из коллегии. Она решила, что этот своеобразный и умненький мальчик, очень серьезный, красивый, вовсе не будет портить гостиную светской женщины, хотя он полный невежда и еле-еле умеет писать. Графиня во все вносила свойственную ей страстность; она обещала свое покровительство ректору коллегии, если ее племянник Фабрицио сделает блестящие успехи в ученье и получит к концу года награды. Вероятно, для того чтобы дать ему возможность заслужить эти награды, она брала его из коллегии каждую субботу и нередко отвозила обратно только в среду или в четверг. Иезуиты, хоть и пользовались любовью принца Евгения, вице-короля Италии,

[22] Примечания: 22

Принц Евгений — пасынок Наполеона, Евгений Богарне, вице-король Итальянского королевства (1805–1814).

были, однако, изгнаны из страны[23] по законам королевства, и ректор коллегии, большой дипломат, понял, как выгодно для него установить дружеские отношения с всесильной придворной дамой. Он не осмеливался жаловаться на отлучки Фабрицио, и мальчик, оставаясь все таким же невеждой, получил в конце года первую награду по пяти предметам. Вполне естественно, что графиня Пьетранера, в сопровождении своего супруга, дивизионного гвардейского генерала, и пяти-шести сановных особ из свиты вице-короля, посетила коллегию иезуитов и присутствовала при раздаче наград примерным ученикам. Ректор получил похвалу от своего начальства.

Графиня возила мальчика на все пышные празднества, которыми было ознаменовано слишком краткое царствование любезного принца Евгения. Своей властью она произвела Фабрицио в гусарские офицеры, и он в двенадцать лет уже носил гусарский мундир. Однажды графиня, восхищенная миловидностью своего племянника, попросила принца назначить его

[23] Примечания: 23

В XIX веке иезуиты формально были изгнаны из большинства европейских стран, но фактически продолжали там орудовать. Они проникали в Италию и Францию на правах простых священников и нередко выступали там в роли воспитателей юношества.

пажом, что означало бы примирение семейства дель Донго с новой властью. На следующий день графине понадобилось все ее влияние, чтобы упросить принца позабыть об этой просьбе, хотя для исполнения ее недоставало самой малости — согласия отца будущего пажа, но в согласии, несомненно, было бы отказано, и очень бурно. «Дикая выходка» сестры всполошила фрондирующего маркиза дель Донго, и он, под благовидным предлогом, вернул юного Фабрицио в Грианту. Графиня глубоко презирала своего брата, считая его унылым глупцом, который может стать зловредным, если дать ему волю. Но она безумно любила Фабрицио и, нарушив ради него десятилетнее молчание, написала маркизу, требуя Прислать к ней племянника; письмо ее осталось без ответа.

Итак, Фабрицио возвратился в грозный замок, построенный самыми воинственными его предками, и весь запас его знаний заключался в военных артикулах да в уменье ездить верхом, — граф Пьетранера, который так же, как и жена его, был без ума от мальчика, часто сажал его на лошадь и брал с собой на парады.

Когда Фабрицио прибыл в Грианту, глаза его еще были красны от слез, пролитых при расстава-

нии с тетушкой и ее великолепными гостиными, а дома только мать и сестры встретили его горячими ласками. Отец заперся в своем кабинете со старшим сыном маркезино Асканьо: они сочиняли шифрованные письма, которым предстояла честь быть отправленными в Вену; отец и сын обычно выходили из кабинета только к столу. Маркиз с важностью твердил, что обучает своего «законного преемника», как вести двойные счетные записи доходов, получаемых натурой от каждого из его поместий. На самом же деле он слишком ревниво оберегал свою власть, чтобы говорить о таких предметах даже с сыном и наследником всех его майоратных владений. Он приспособил Асканьо для шифровки депеш в пятнадцать — двадцать страниц каждая, которые посылал два-три раза в неделю в Швейцарию, откуда их переправляли в Вену. Маркиз воображал, что он знакомит своих законных государей с внутренним положением Итальянского королевства, и, хотя это положение было совсем неведомо ему самому, письма его имели большой успех. И вот почему. Маркиз посылал надежного человека на большую дорогу подсчитывать количество солдат какого-нибудь французского или итальянского полка, менявшего гарнизон, и в своем

донесении венскому двору старался по крайней мере на четверть уменьшить наличный состав этих воинских частей. Его письма, кстати сказать преглупые, отличались одним достоинством: они опровергали сообщения более правдивые и потому нравились. Недаром перед возвращением Фабрицио в Грианту камергерский мундир маркиза украсила пятая по счету звезда первостепенного королевского ордена. Правда, к своему глубокому огорчению, он не смел облекаться в мундир вне стен своего кабинета, но никогда не позволял себе диктовать депеши иначе, как в этом расшитом золотом парадном одеянии и при всех орденах. Иной костюм означал бы недостаточное почтение к монарху.

Маркиза пришла в восторг от миловидности младшего своего сына. Но она сохранила привычку писать два-три раза в год генералу графу д'А***, как звали теперь прежнего лейтенанта Робера, а лгать тем, кого она любила, маркиза совершенно не могла. Расспросив хорошенько сына, она была поражена его невежеством.

«Если даже мне, хотя я ровно ничего не знаю, он кажется малообразованным, то Робер, человек такой ученый, несомненно, нашел бы, что у него совсем нет образования, а ведь теперь оно необ-

ходимо», — думала она.

Почти так же сильно удивила ее и другая особенность Фабрицио: он чрезвычайно серьезно относился ко всем правилам религии, преподанным ему иезуитами. Маркиза и сама была весьма благочестива, но фанатическая надежность мальчика испугала ее: «Если у маркиза хватит сообразительности воспользоваться этим средством влияния, он отнимет у меня любовь сына». Она пролила много слез, и страстная ее привязанность к Фабрицио оттого лишь возросла.

Жизнь в замке, где сновало тридцать — сорок слуг, была очень скучна, поэтому Фабрицио по целым дням пропадал на охоте или катался в лодке по озеру. Вскоре он тесно сдружился с кучерами и конюхами; все они были ярыми приверженцами французов и открыто издевались над богомольными лакеями, приставленными к особе маркиза или старшего его сына. Главной темой насмешек над этими важными лакеями был их обычай пудрить волосы по примеру господ.

2

…Когда нам Веспер[24] тьмой застелет небосклон,

Смотрю я в небеса, грядущим увлечен:

В них пишет бог — путем понятных начертаний —

Уделы и судьбу живущих всех созданий.

Порой на смертного он снизойдет взглянуть,

И, сжалившись, с небес ему укажет путь.

Светилами небес — своими письменами —

Предскажет радость, скорбь, и все, что будет с нами.

Но люди — меж смертей и тяжких дел земных —

Презревши знаки те, не прочитают их.

---

[24] Примечания: 24

Веспер — второе название планеты Венеры — Вечерняя звезда (*лат.*); здесь — символ вечера.

Ронсар[25].

Маркиз питал свирепую ненависть к просвещению. «Идеи, именно идеи, — говорил он, — погубили Италию»; он недоумевал, как согласовать этот священный ужас перед знанием с необходимостью усовершенствовать образование младшего сына, столь блестяще начатое им в коллегии иезуитов. Самым безопасным он счел поручить аббату Бланесу, священнику гриантской церкви, дальнейшее обучение Фабрицио латыни. Но для этого надо было, чтоб старик сам ее знал, а как раз он относился к ней с презрением, и познания его в латинском языке ограничивались тем, что он читал наизусть молитвы, напечатанные в требнике, да мог с грехом пополам разъяснить их смысл своей пастве. Тем не менее аббата Бланеса почитали и даже боялись во всем приходе: он всегда говорил, что пресловутое пророчество святого Джиовиты, покровителя Брешии, исполнится вовсе не через тринадцать недель и даже не через тринадцать месяцев. Беседуя об этом с надежными друзьями, он добавлял, что число тринадцать следует толковать совсем иначе, и многие весьма удивились

---

[25] Примечания: 25

Ронсар, Пьер (1524–1585) — крупнейший французский поэт эпохи Возрождения, глава поэтической школы «Плеяда».

бы, если бы только можно было все говорить без утайки (1813)!

Дело в том, что аббат Бланес, человек честный, поистине добродетельный и по существу неглупый, проводил все ночи на колокольне: он помешался на астрологии. Весь день он занимался сложными математическими выкладками, устанавливая различные сочетания и взаимоположение звезд, а большую часть ночи наблюдал за их движением в небе. По бедности своей он располагал только одним астрономическим инструментом — подзорной трубой с длинным картонным стволом. Легко представить себе, как презирал изучение языков человек, посвятивший свою жизнь определению точных сроков падения империй, а также сроков революций, изменяющих лицо мира. «Разве я что-нибудь больше узнал о лошади, — говорил он Фабрицио, — с тех пор как меня научили, что по-латински она называется equus?»

Крестьяне боялись аббата Бланеса, считая его великим колдуном; он не возражал против этого: страх, который внушали его еженощные бдения на колокольне, мешал им воровать. Окрестные священники, собратья аббата Бланеса, завидуя его влиянию на прихожан, ненавидели его; мар-

киз дель Донго просто-напросто презирал его за то, что он слишком много умствует для человека, столь низкого положения. Фабрицио боготворил его и в угоду ему иногда проводил целые вечера за вычислениями, складывая или умножая огромнейшие числа, Затем он поднимался на колокольню, — это была большая честь, которую аббат Бланес никогда никому не оказывал, но он любил этого мальчика за его простодушие. «Если ты не сделаешься лицемером, — говорил он Фабрицио, — то, пожалуй, будешь настоящим человеком».

Раза два-три в год Фабрицио, отважный и пылкий во всех своих забавах, тонул в озере и бывал на волосок от смерти. Он верховодил во всех героических экспедициях крестьянских мальчишек Грианты и Каденабии. Раздобыв ключи, озорники ухитрялись в безлунные ночи отпирать замки у цепей, которыми рыбаки привязывают лодки к большим камням или прибрежным деревьям. Надо сказать, что на озере Комо рыбаки ставят переметы далеко от берега. К верхнему концу лесы у них привязана дощечка, обтянутая снизу пробкой, а на дощечке укреплена гибкая веточка орешника с колокольчиком, который звонит всякий раз, как рыба попадется на крючок и

дергает лесу.

Главной целью ночных походов под предводительством Фабрицио было осмотреть поставленные переметы, прежде чем рыбаки услышат предупреждающий звон колокольчика. Для этих дерзких экспедиций выбирали грозовую погоду и выходили в лодке за час до рассвета. Садясь в лодку, мальчишки думали, что их ждут великие опасности, — это было поэтической стороной их вылазок, и, следуя примеру отцов, они набожно читали вслух Ave Maria. Но нередко случалось, что перед самым отплытием, происходившим тотчас же вслед за молитвой, Фабрицио бывал озадачен какой-нибудь приметой. Суеверие являлось единственным плодом его участия в астрологических занятиях аббата Бланеса, хотя он нисколько не верил предсказаниям своего друга. По прихоти юной фантазии Фабрицио приметы с полной достоверностью возвещали ему то успех, то неудачу, а так как во всем отряде характер у него был самый решительный, мало-помалу товарищи привыкли слушаться его прорицаний; и если в ту минуту, когда они забирались в лодку, по берегу проходил священник или с левой стороны взлетал ворон, они спешили запереть замок причальной цепи, и все отправлялись по домам,

в постель. Итак, аббат Бланес не сообщил Фабрицио своих познаний в довольно трудной науке — астрологии, но, неведомо для себя, внушил ему беспредельную веру в предзнаменования.

Маркиз понимал, что из-за какой-нибудь неприятной случайности, касающейся его шифрованной переписки, он может оказаться в полной зависимости от сестры, и поэтому ежегодно ко дню святой Анджелы, то есть к именинам графини Пьетранера, Фабрицио разрешалось съездить на неделю в Милан. Весь год он жил только надеждой на эту неделю и воспоминаниями о ней. Для такого путешествия, дозволяемого в важных политических целях, маркиз давал сыну четыре экю и, по обычаю своему, ничего не давал жене, всегда сопровождавшей Фабрицио. Но накануне поездки отправляли через город Комо повара, шестерых лакеев, кучера с двумя лошадьми, и поэтому в Милане в распоряжении маркизы была карета, а обед ежедневно готовили на двенадцать персон.

Образ жизни злобствующего маркиза день Донго был, разумеется, не из веселых, зато знатные семьи, которые решались вести его, основательно обогащались. У маркиза было больше двухсот тысяч ливров годового дохода, но он не тратил

и четверти этой суммы, — он жил надеждами. Целых тринадцать лет, с 1800 по 1813 год, он пребывал в постоянной и твердой уверенности, что не пройдет и полугода, как Наполеона свергнут. Судите сами, в каком он был восторге, когда в начале 1813 года узнал о катастрофе на Березине[26]. От вестей о взятии Парижа и отречении Наполеона он чуть с ума не сошел; тут он позволил себе самые оскорбительные выпады против своей жены и сестры. И, наконец, после четырнадцати лет ожидания, ему выпала несказанная радость увидеть, как австрийские войска возвращаются в Милан. По распоряжению полученному из Вены, австрийский генерал принял маркиза дель Донго с великой учтивостью, граничившей с почтением; тотчас же ему предложили один из главных административных постов, и он это принял как заслуженную награду. Старший сын его был зачислен в чине лейтенанта в один из аристократических полков австрийской монархии, но младший ни за что не хотел принять предложенное ему звание кадета. Триумф, которым маркиз наслаждался с редкостной наглостью, длился

[26] Примечания: 26

В ноябре 1812 года при переправе через реку Березину были окончательно разгромлены русской армией остатки армии Наполеона I, отступавшей из России.

лишь несколько месяцев, а за ним последовали унизительные превратности судьбы. У маркиза никогда не было талантов государственного деятеля, а четырнадцать лет-деревенской жизни в обществе лакеев, нотариуса и домашнего врача и раздражительность, порожденная наступившей старостью, сделали его совсем никчемным человеком. Однако в австрийских владениях невозможно удержаться на важном посту, не обладая теми особыми талантами, которых требует медлительная и сложная, но строго обдуманная система управления этой старой монархии. Промахи маркиза дель Донго коробили его подчиненных, а иногда даже приостанавливали весь ход дел. Речи этого ярого монархиста раздражали население, которое желательно было погрузить в сон и беспечное равнодушие. В один прекрасный день маркиз узнал, что его величество соизволил удовлетворить его просьбу об отставке и освободил его от административного поста, но вместе с тем предоставил ему должность второго помощника главного мажордома Ломбардо-Венецианского королевства[27]. Маркиз был возмущен, счел себя жертвой жестокой

[27] Примечания: 27

По решению Венского конгресса в 1814 году Ломбардо-Венецианская область стала зависимым от Австрии королевством.

несправедливости и даже напечатал «Письмо к другу», несмотря на то, что яро ненавидел свободу печати. Наконец, он написал императору, что все его министры — предатели, ибо все они — якобинцы. Совершив все это, он с грустью вернулся в свое поместье Грианту. Здесь он получил утешительное известие. После падения Наполеона, стараниями могущественных в Милане людей, на улице убили графа Прину, бывшего министра итальянского короля и человека весьма достойного. Граф Пьетранера, рискуя жизнью, пытался спасти министра, которого толпа избивала зонтиками, причем пытка его длилась пять часов. Один из миланских священников, духовник маркиза дель Донго, мог бы спасти Прину, открыв ему решетчатую дверь церкви Сан-Джованни, когда несчастного министра волокли мимо нее и даже ненадолго оставили около церкви, швырнув его в канаву посреди улицы; но священник издевательски отказался открыть решетку, и за это маркиз через полгода с удовольствием выхлопотал для него большое повышение.

Маркиз ненавидел своего зятя, ибо граф Пьетранера, не имея даже пятидесяти луидоров дохода, осмеливался чувствовать себя довольным да еще упорствовал в верности тому, чему поклонялся

всю жизнь, и, невзирая на лица, дерзко проповедовал дух справедливости, который маркиз называл якобинской мерзостью. Граф отказался вступить в австрийскую армию; этот отказ получил должную оценку, и через несколько месяцев после смерти Прины те же самые лица, которые заплатили за его убийство, добились заключения в тюрьму генерала Пьетранера. Его жена тотчас же взяла подорожную и заказала на почтовой станции лошадей, решив ехать в Вену и высказать всю правду императору. Убийцы Прины струсили, и один из них, двоюродный брат г-жи Пьетранера, принес ей в полночь, за час до ее выезда в Вену, приказ об освобождении ее мужа. На следующий день австрийский генерал вызвал к себе графа Пьетранера, принял его чрезвычайно любезно и заверил, что в самом скором времени вопрос о пенсии ему, как отставному офицеру, будет решен самым благоприятным образом. Бравый генерал Бубна[28], человек умный и отзывчивый, явно был сконфужен убийством Прина и заключением в тюрьму графа Пьетранера.

После этой грозы, которую отвратила твердость

[28] Примечания: 28

Бубна-Литтиц — австрийский генерал и дипломат, после низложения Наполеона был губернатором Пьемонта; командовал австрийскими военными силами в Ломбардии.

характера графини Пьетранера, супруги кое-как жили на пенсию, которой действительно не пришлось долго ждать благодаря вмешательству генерала Бубна.

К счастью, графиня уже пять или шесть лет была связана тесной дружбой с одним богатым молодым человеком, который был также задушевным другом графа и охотно предоставлял в их распоряжение лучшую в Милане упряжку английских лошадей, свою ложу в театре Ла Скала и свою загородную виллу. Но граф, ревностно оберегавший свое воинское достоинство и вспыльчивый от природы, в минуты гнева позволял себе резкие выходки. Как-то раз, когда он был на охоте с несколькими молодыми людьми, один из них, служивший в армии под другими знаменами, принялся трунить над храбростью солдат Цизальпинской республики[29]. Граф дал ему пощечину; тотчас же произошла дуэль, и граф, стоявший у барьера один, без секундантов, среди всех этих молодых людей, был убит. Об этом удивительном поединке пошло много толков, и

[29] Примечания: 29

Цизальпинская республика была образована в 1797 году Бонапартом в Северной Италии. В течение всего времени своего существования была занята французскими войсками; с 1805 года — Итальянское королевство.

лица, принимавшие в нем участие, благоразумно отправились путешествовать по Швейцарии.

То нелепое мужество, которое называют смирением, — мужество глупцов, готовых беспрекословно пойти на виселицу, совсем не было свойственно графине Пьетранера. Смерть мужа вызвала в ней яростное негодование; она пожелала, чтобы Лимеркати — тот богатый молодой человек, который был ее другом, — тоже возымел бы фантазию отправиться в путешествие, разыскал бы в Швейцарии убийцу графа Пьетранера и отплатил ему выстрелом из карабина или пощечиной.

Лимеркати счел этот проект верхом нелепости, и графиня убедилась, что презрение убило в ней любовь. Она усилила внимание к Лимеркати — ей хотелось пробудить в нем угасшую любовь, а затем бросить его, повергнув этим в отчаяние. Для того чтобы французам был понятен такой замысел мести, скажу что в Ломбардии, стране, довольно далеко отстоящей от Франции, несчастная любовь еще может довести до отчаяния. Графиня Пьетранера, даже в глубоком трауре затмевавшая всех своих соперниц, принялась кокетничать с самыми блестящими светскими львами, и один из них, граф Н***, всегда гово-

ривший, что достоинства Лимеркати немного тяжеловесны, немного грубоваты для такой умной женщины, страстно влюбился в нее. Тогда она написала Лимеркати:

> *«Не можете ли Вы хоть раз в жизни поступить, как умный человек?*
>
> *Вообразите, что Вы никогда не были со мной знакомы.*
>
> *Прошу принять уверения в некотором презрении к Вам.*
>
> ***Ваша покорная слуга Джина Пьетранера».***

Прочитав эту записку, Лимеркати тотчас же уехал в одно из своих поместий; любовь его воспламенилась, он безумствовал, говорил, что пустит себе пулю в лоб, — намерение необычайное в тех странах, где верят в ад. Прибыв в деревню, он немедленно написал графине, предлагая ей руку и сердце и двести тысяч годового дохода. Она вернула письмо нераспечатанным, отправив его с грумом графа Н***. После этого Лимеркати три года провел в своих поместьях; каждые два месяца он приезжал в Милан, но не имел мужества остаться там и надоедал друзьям бесконечными разговорами о своей страстной

любви к графине и прежней ее благосклонности к нему. В первое время он неизменно добавлял, что с графом Н*** она погубит себя, что такая связь ее позорит.

На деле же графиня не питала никакой любви к графу Н*** и объявила ему это, как только вполне убедилась в отчаянии Лимеркати. Граф Н***, будучи человеком светским, просил ее не разглашать печальную истину, которую она соблаговолила ему сообщить.

— Будьте милостивы, — добавил он, — принимайте меня, выказывая мне по-прежнему все те знаки внимания, какими дарят счастливых любовников, и, может быть, я тогда займу подобающее место.

После столь героического объяснения графиня не пожелала больше пользоваться ни лошадьми, ни ложей графа Н***. Но за пятнадцать лет она привыкла к жизни самой изнеженной, а теперь ей предстояло разрешить весьма трудную, вернее неразрешимую, задачу: жить в Милане на пенсию в полторы тысячи франков. Она переселилась из дворца в две маленькие комнатки на пятом этаже, разочла всех слуг и даже горничную, заменив ее старухой поденщицей. Такая жертва была в сущности менее героической и

менее тяжелой, чем это кажется нам: в Милане над бедностью не смеются, а, следовательно, она к не страшит, как самое худшее из всех несчастий. Несколько месяцев графиня прожила в этой благородной бедности; ее постоянно бомбардировали письмами и Лимеркати и даже граф Н***, тоже мечтавший теперь жениться на ней; но вот маркизу дель Донго, отличавшемуся гнусной скупостью, пришла мысль, что его враги могут злорадствовать, видя бедность его сестры. Как! Дама из рода дель Донго вынуждена жить на пенсию, которую назначает вдовам генералов австрийский двор, так жестоко оскорбивший его!

Он написал сестре, что в замке Грианта ее ждут апартаменты и содержание, достойные фамилии дель Донго. Переменчивая душа Джины с восторгом приняла мысль о новом образе жизни; уже двадцать лет не бывала графиня в этом почтенном замке, величественно возвышавшемся среди вековых каштанов, посаженных еще во времена герцогов Сфорца. «Там я найду покой, — говорила она себе. — А разве в моем возрасте это нельзя назвать счастьем? (Графине пошел тридцать второй год, и она полагала, что ей пора в отставку.) На берегу чудесного озера, где я родилась, я обрету, наконец, счастливую, мирную жизнь».

Не знаю, ошиблась ли она, но несомненно, что эта страстная душа, с такою легкостью отвергнувшая два огромных состояния, внесла счастье в замок Грианта. Обе ее племянницы себя не помнили от радости. «Ты мне возвратила прекрасные дни молодости, — говорила, целуя ее, маркиза. — А накануне твоего приезда мне было сто лет!» Графиня вместе с Фабрицио вновь посетила все прелестные уголки вокруг Грианты, излюбленные путешественниками: виллу Мельци на другом берегу озера, как раз напротив замка, из окон которого открывается вид на нее, священную рощу Сфондрата, расположенную выше по горному склону, и острый выступ того мыса, который разделяет озеро на два рукава: один, обращенный к Комо, пленяющий томной красотой берегов, и второй, что тянется к Лекко меж угрюмых скал, — все величавые и приветливые виды, с которыми может сравниться, но отнюдь не превосходит их живописностью самое прославленное место в мире — Неаполитанский залив. Графиня с восторгом чувствовала, как воскресают в ней воспоминания ранней юности, и сравнивала их с новыми своими впечатлениями.

«На берегах Комо, — думала она, — нет широ-

ких полей, какие видишь вокруг Женевского озера, нет тучных нив, окруженных прочной оградой, возделанных по самым лучшим способам земледелия и напоминающих о деньгах и наживе. Здесь со всех сторон подымаются холмы неравной высоты, на них по воле случая разбросаны купы деревьев, и рука человека еще не испортила их, не обратила в статью дохода. Среди этих холмов с такими дивными очертаниями, сбегающих к озеру причудливыми склонами, передо мной, как живые, встают пленительные картины природы, нарисованные Тассо[30] и Ариосто. Все здесь благородно и ласково, все говорит о любви, ничто не напоминает об уродствах цивилизации. Селения, приютившиеся на середине склона, скрыты густой листвой, а над верхушками деревьев поднимаются красивые колокольни, радуя взгляд своей архитектурой. Если меж рощицами каштанов и дикой вишни кое-где возделано поле шириною в пятьдесят шагов, так отрадно видеть, что все там растет вольнее и, право же, лучше, чем в других краях. А вон за теми высокими холмами, гребни которых манят уединенными домиками, такими милыми, что в каждом из них

[30] Примечания: 30

Тассо, Торквато (1544–1595) — итальянский поэт, автор эпической поэмы «Освобожденный Иерусалим».

хотелось бы поселиться, удивленному взгляду открываются острые вершины Альп, покрытые вечными снегами, и эта строгая, суровая картина, напоминая о пережитых горестях, увеличивает наслаждение настоящим. Воображение растрогано далеким звоном колокола в какой-нибудь деревушке, скрытой деревьями, звуки разносятся над водами озера и становятся мягче, принимают оттенок кроткой грусти, покорности и как будто говорят человеку: „Жизнь бежит, не будь же слишком требователен, бери то счастье, которое доступно тебе, и торопись насладиться им“».

То, что говорили эти чудесные берега, равных которым нет во всем мире, вернуло душе графини юность шестнадцатилетней девушки. Ей казалось непостижимым, как она могла прожить столько лет, ни разу не приехав посмотреть на это озеро. «Неужели, — думала она, — счастье ждало меня у порога старости?» Она купила лодку; Фабрицио, маркиза и сама г-жа Пьетранера собственными своими руками разукрасили ее, потому что у них никогда не было денег, хотя в доме царила роскошь: со времени своей опалы маркиз дель Донго ничего не щадил ради аристократического блеска. Так, например, чтобы отвоевать у озера полосу берега в десять шагов

шириной, перед знаменитой платановой аллеей, которая тянется в сторону Каденабии, он приказал устроить плотину, и это обошлось ему в восемьдесят тысяч франков. На конце плотины возвышалась часовня из огромных гранитных глыб, построенная по плану знаменитого маркиза Каньолы, а в часовне этой модный миланский скульптор Маркези трудился теперь над сооружением гробницы для владельца замка, на которой многочисленные барельефы должны были изображать подвиги его предков.

Старший брат Фабрицио, маркезино Асканьо, вздумал было принимать участие в прогулках женской половины дома, но тетка брызгала водой на его напудренные волосы и каждый день придумывала, как бы поковарнее поиздеваться над его важностью. Наконец, он избавил веселую компанию, не дерзавшую смеяться при нем, от необходимости видеть в лодке его бледную, пухлую физиономию. Все знали, что он состоит шпионом своего батюшки, а всем одинаково приходилось остерегаться этого сурового деспота, постоянно кипевшего яростью со времени своей вынужденной отставки.

Асканьо поклялся отомстить Фабрицио.

Однажды поднялась буря, и лодка едва не пере-

вернулась; хотя денег было очень мало, гребцам заплатили щедро, чтобы они ничего не говорили маркизу: и без того он был недоволен, что обе его дочери участвуют в прогулках. И еще раз после того попали в бурю, — на этом красивом озере бури налетают внезапно и бывают очень опасны: из двух горных ущелий, расположенных на противоположных берегах, понесутся вдруг порывы ветра и схватятся друг с другом на воде. В самый разгар урагана и раскатов грома графине захотелось высадиться на скалистый островок величиной с маленькую комнатку, одиноко поднимавшийся посреди озера; она заявила, что оттуда перед ней откроется поразительное зрелище: она увидит, как волны со всех сторон бьются о каменные берега ее приюта; но, выпрыгнув из лодки, она упала в воду, Фабрицио бросился спасать ее, и обоих унесло довольно далеко. Разумеется, тонуть не очень приятно, но скука, к великому ее удивлению, была отныне изгнана из феодального замка. Графиня любила простодушного старика Бланеса и страстно увлекалась астрологией. Деньги, оставшиеся от покупки лодки, все ушли на приобретение случайно подвернувшегося небольшого телескопа; и почти каждый вечер графиня, взяв с собою пле-

мянниц и Фабрицио, устраивалась с телескопом на площадке одной из готических башен замка. Фабрицио выпадала роль ученого в этой компании, и все очень весело проводили несколько часов на башне, вдали от шпионов.

Надо, однако, признаться, что бывали дни, когда графине совсем не хотелось разговаривать, и она, погрузившись в раздумье, уныло бродила одна под высокими каштанами. Она была слишком умна, чтобы не чувствовать порою, как тяжело, когда не с кем поделиться мыслями. Но на другой день после таких приступов тоски она смеялась по-прежнему; обычно на мрачные размышления эту деятельную натуру наталкивали сетования маркизы, ее невестки:

— Неужели мы все последние дни своей молодости проведем в этом угрюмом замке? — восклицала маркиза.

До приезда графини у нее недоставало смелости даже подумать об этом.

Так прошли зимние месяцы 1814–1815 годов. При всей своей бедности графиня два раза ездила на несколько дней в Милан: нужно же было посмотреть превосходные балеты Вигано[31],

[31] Примечания: 31
Вигано, Сальваторе (1769–1821) — итальянский балетмейстер.

которые давали в театре Ла Скала; и маркиз не запрещал жене сопровождать золовку. В Милане бедная вдова генерала Цизальпинской республики, получив пенсию за три месяца, давала богатейшей маркизе дель Донго несколько цехинов. Эти поездки были очаровательны; дамы приглашали на обед старых друзей и утешались в своих горестях, смеясь надо всем, как дети. Итальянская веселость, полная огня и непосредственности, заставляла их забывать, какое мрачное уныние сеяли в Грианте хмурые взгляды маркиза и его старшего сына. Фабрицио, которому недавно исполнилось шестнадцать лет, прекрасно справлялся с ролью хозяина дома.

7 марта 1815 года дамы, вернувшиеся за день до того из чудесной поездки в Милан, прогуливались по красивой платановой аллее, недавно удлиненной до самого крайнего выступа берега. Со стороны Комо показалась лодка, и кто-то в ней делал странные знаки. Лодка причалила, на плотину выпрыгнул осведомитель маркиза: Наполеон только что высадился в бухте Жуан[32]. Европа простодушно изумилась такому событию, но маркиза дель Донго оно нисколько не

[32] Примечания: 32

Наполеон бежал с о-ва Эльбы и высадился в бухте Жуан, возле г. Канн, 1 марта 1815 года.

поразило; он тотчас же написал своему монарху письмо, полное сердечных чувств, предоставил в его распоряжение свои таланты и несколько миллионов и еще раз заявил, что министры его величества — якобинцы, орудующие в сговоре с парижскими смутьянами.

8 марта, в 6 часов утра, маркиз, надев камергерский мундир со всеми регалиями, переписывал под диктовку старшего сына черновик третьей депеши политического содержания и с важностью выводил своим красивым, ровным почерком аккуратные строчки на бумаге, имевшей в качестве водяного знака портрет монарха. А в это самое время Фабрицио, велев доложить о себе, входил в комнату графини Пьетранера.

— Я уезжаю, — сказал он. — Я хочу присоединиться к императору, — ведь он также и король Италии, и он был так расположен к твоему мужу! Я отправлюсь через Швейцарию. Нынче ночью мой друг Вази, — тот, что торгует в Менаджио барометрами, — дал мне свой паспорт; дай мне несколько наполеондоров, — у меня всего два золотых; но если понадобится, я и пешком пойду.

Графиня заплакала от радости и смертельной тревоги.

— Боже мой! Как тебе пришла в голову такая

мысль? — воскликнула она, сжимая руки Фабрицио.

Она встала с постели и вынула из бельевого шкафа тщательно запрятанный кошелечек, вышитый бисером, — в нем лежало все ее богатство.

— Возьми, — сказала она Фабрицио. — Но ради бога береги себя. Что будет с несчастной твоей матерью и со мной, если тебя убьют? А надеяться на успех Наполеона невозможно, бедный дружок мой: эти господа сумеют его погубить. Разве ты не слышал в Милане неделю тому назад рассказа о том, как его двадцать три раза пытались убить, и все в этих покушениях было так хорошо обдумано и слажено, что он уцелел только каким-то чудом. А ведь он был тогда всемогущим. И ты же знаешь, что наши враги только о том и думают, как бы избавиться от него. Франция впала в ничтожество после его изгнания.

Графиня говорила об участи, ожидавшей Наполеона, с глубоким, страстным волнением.

— Позволяя тебе отправиться к нему, я приношу ему в жертву самое дорогое для меня существо на свете, — сказала она.

Глаза Фабрицио наполнились слезами, и он заплакал, обнимая графиню, но воля его не поко-

лебалась ни на одну минуту. Он с горячностью изложил своему дорогому другу все основания, побудившие его принять такое решение; мы позволим себе смелость признать их весьма забавными.

— Вчера вечером, в шесть часов без семи минут, мы, как ты помнишь, прогуливались по платановой аллее на берегу озера, под Каза Соммарива, и шли мы по направлению к югу. Как раз в это время я заметил вдалеке ту лодку, что плыла со стороны Комо и везла нам великую весть. Я смотрел на лодку, совсем не думая об императоре, я только завидовал судьбе тех людей, которые могут путешествовать, и вдруг я почувствовал глубокое волнение. Лодка причалила, агент отца что-то тихо сказал ему, отец вдруг побледнел, отвел нас в сторону и сообщил нам «ужасную новость». Я отвернулся и стал смотреть на озеро только для того, чтобы скрыть слезы радости, хлынувшие из глаз моих. И вдруг на огромной высоте — и притом с правой стороны — я увидел орла, птицу Наполеона; орел величественно летел по направлению к Швейцарии, а значит — к Парижу. И я сейчас же сказал себе: «Я тоже пересеку Швейцарию с быстротою орла, я присоединюсь к этому великому человеку и принесу

ему то немногое, что могу дать ему, — поддержку моей слабой руки. Он хотел возвратить нам родину, он любил моего дядю!» Когда орел еще не совсем скрылся из виду, у меня вдруг почему-то высохли слезы, и вот тебе доказательство, что эта мысль была ниспослана мне свыше: лишь только я безотчетно принял решение, в тот же миг я увидел, какими способами можно осуществить его. И мгновенно вся печаль, которая — ты знаешь это — отравляет мне жизнь, особенно в воскресные дни, исчезла, словно ее развеяло дыхание божества. Перед моими глазами встал великий образ: Италия поднимается из той тины, куда погрузили ее немцы; она простирает свои израненные руки, еще окованные цепями, к своему королю и освободителю[33]. И я сказал себе мысленно: «Я, доселе безвестный сын многострадальной нашей матери, пойду, чтобы победить или умереть вместе с человеком, отмеченным судьбою и желавшим смыть с нас презрение, с которым смотрят все на нас, даже самые подлые, самые рабские души среди обитателей Европы».

Помнишь, — тихо добавил он, глядя на нее сверкающим взглядом, — помнишь тот каштан,

[33] Примечания: 33

Эти патетические слова передают прозой строфы стихов знаменитого Монти (*прим. авт.*).

который в год моего рождения матушка своими руками посадила ранней весной в нашем лесу на берегу ручья, в двух лье от Грианты? Так вот: «Прежде чем приступить к каким-либо действиям, — подумал я, — пойду посмотрю на свое дерево. Весна еще совсем недавно началась, и, если на нем уже есть листья, — это хороший знак для меня». Я тоже должен стряхнуть с себя оцепенение, в котором прозябаю здесь, в этом унылом и холодном замке. Не кажется ли тебе, что эти старые, почерневшие стены, некогда служившие орудием деспотизма и оставшиеся символом его, — очень верный образ угрюмой зимы? Для меня они то же, что зима для моего дерева.

Вчера вечером, в половине восьмого, я пришел к каштану, и — поверишь ли, Джина? — на нем были листья, красивые зеленые листочки, уже довольно большие! Я целовал листочки тихонько, стараясь не повредить им. Потом осторожно вскопал землю вокруг моего милого дерева. И тотчас же, снова преисполнившись восторга, я пошел горной тропинкой в Менаджио, — ведь мне нужен паспорт, чтобы пробраться через границу в Швейцарию. Время летело, был уже час ночи, когда я подошел к дверям Вази. Я думал, что мне придется долго стучаться, чтобы его разбудить.

Но он не спал, он беседовал с тремя друзьями. При первых же моих словах он бросился обнимать меня и вскричал: «Ты хочешь присоединиться к Наполеону!» И друзья его тоже горячо обнимали меня. Один из них говорил: «Ах, зачем я женат!»

Г-жа Пьетранера задумалась; она считала своим долгом выставить какие-нибудь возражения. Будь у Фабрицио хоть самый малый опыт, он прекрасно понял бы, что графиня сама не верит благоразумным доводам, которые спешит привести. Но взамен опыта он обладал решительным характером и даже не удостоил выслушать эти доводы. Вскоре графине пришлось ограничиться просьбами, чтобы он сообщил о своем намерении матери.

— Она расскажет сестрам, и «эти женщины», сами того не ведая, выдадут меня! — воскликнул Фабрицио с каким-то высокомерным презрением.

— Говорите, сударь, о женщинах более уважительно, — сказала графиня, улыбаясь сквозь слезы. — Ведь только женский пол поможет вам достичь чего-нибудь в жизни; мужчинам вы никогда не будете нравиться: в вас слишком много огня, — это раздражает прозаические души.

Узнав о неожиданных замыслах сына, марки-

за заплакала, она не почувствовала, сколь они героичны, и всячески старалась удержать его дома. Но убедившись, что никакие препятствия, кроме тюремных стен, не удержат Фабрицио, она отдала ему все деньги, какие у нее были, — очень скромную сумму; потом вспомнила, что накануне маркиз доверил ей восемь или десять бриллиантов, стоивших около десяти тысяч франков, поручив заказать для них оправу у миланского ювелира. Когда графиня зашивала бриллианты в подкладку дорожного костюма нашего героя, в комнату матери пришли его сестры; он вернул бедняжкам их скудные сбережения. Намерение Фабрицио вызвало у сестер такой бурный восторг, они с такой шумной радостью бросились целовать его, что он схватил те бриллианты, которые еще не были зашиты в подкладку, и решил отправиться в путь без промедления.

— Вы невольно выдадите меня, — сказал он сестрам. — Раз у меня теперь так много денег, совершенно лишнее брать с собою всякие тряпки: их повсюду можно купить.

Он обнял на прощанье своих близких и милых сердцу и тотчас пустился в путь, даже не заглянув к себе в комнату. Боясь, что за ним пошлют в погоню верховых, он шел так быстро, что в тот же

вечер достиг Лугано. Слава богу! Он уже в Швейцарии. Теперь нечего бояться, что на пустынных дорогах его схватят жандармы, отцовские наемники. Из Лугано он написал отцу красноречивое письмо, — ребяческая слабость, письмо это только распалило гнев маркиза. Затем он перебрался на почтовых через Сенготардский перевал; все путешествие он совершил очень быстро и вскоре приехал во Францию через Понтарлье. Император был в Париже. Но тут начались злоключения Фабрицио. Он ехал с твердым намерением лично поговорить с императором; никогда ему не приходило в голову, что это нелегко осуществить. В Милане он раз десять на дню видел принца Евгения и, если б захотел, мог бы заговорить с ним. В Париже он каждое утро бегал во двор Тюильри[34], видел, как Наполеон делал смотр войскам, но ни разу не удалось ему приблизиться к императору. Герой наш воображал, что всех французов, так же как его самого, глубоко волнует крайняя опасность, угрожающая их родине. Обедая за общим столом в той гостинице, где он

[34] Примечания: 34

Тюильри (Tuileries) — дворец французских королей, резиденция Наполеона, был построен в Париже в 1564 году Екатериной Медичи на месте старых черепичных мастерских, откуда и произошло название дворца (tuile — черепица).

остановился, Фабрицио открыто говорил о своих намерениях и своей преданности Наполеону. Среди сотрапезников он встретил чрезвычайно приятных и обходительных молодых людей, еще более восторженных, чем он, и за несколько дней очень ловко выманивших у него все деньги. К счастью, он из скромности никому не рассказывал о бриллиантах, которые дала ему мать. Как-то утром, после ночного кутежа, он обнаружил, что его основательно обокрали; тогда он купил двух прекрасных лошадей, нанял слугу — отставного солдата, служившего конюхом у барышника, — и с мрачным презрением к молодым парижанам-краснобаям отправился в армию. Он ничего не знал о ней, кроме того, что войска собираются где-то около Мобежа[35]. Но, прибыв на границу, он счел смешным устроиться в каком-нибудь доме и греться у камелька, когда солдаты стоят в поле бивуаками. Как его ни отговаривал слуга, человек, не лишенный здравого смысла, Фабрицио безрассудно отправился на бивуаки, находившиеся у самой границы, на дороге в Бельгию.

Едва только он подошел к ближайшему от дороги батальону, солдаты уставились на него,

[35] Примечания: 35

Мобеж — город и крепость на севере Франции, у бельгийской границы.

находя, что в одежде этого молоденького буржуа нет ничего военного. Смеркалось, дул холодный ветер. Фабрицио подошел к одному из костров и попросил разрешения погреться, пообещав заплатить за гостеприимство. Солдаты переглянулись, удивляясь его намерению заплатить, но благодушно подвинулись и дали ему место у костра. Слуга помог Фабрицио устроить заслон от ветра. Но час спустя, когда мимо бивуака проходил полковой писарь, солдаты остановили его и рассказали, что к ним заявился какой-то человек в штатском и что он плохо говорит по-французски. Писарь допросил Фабрицио, тот принялся говорить о своей восторженной любви к Наполеону, но изъяснялся он с подозрительным иностранным акцентом, и писарь предложил пришельцу отправиться с ним к полковнику, помещавшемуся на соседней ферме. Подошел слуга Фабрицио, ведя в поводу двух лошадей. Увидев этих прекрасных лошадей, писарь явно изумился и, мгновенно переменив намерение, стал расспрашивать слугу. Отставной солдат, сразу разгадав стратегию своего собеседника, заговорил о высоких покровителях, якобы имевшихся у его хозяина, и добавил, что, конечно, никто не посмеет *подтибрить* его прекрасных

лошадей. Тотчас же писарь кликнул солдат, — один схватил слугу за шиворот, другой взял на себя заботу о лошадях, а писарь сурово приказал Фабрицио следовать за ним без возражений.

Заставив Фабрицио пройти пешком целое лье в темноте, которая казалась еще гуще от бивуачных костров, со всех сторон освещавших горизонт, писарь привел его к жандармскому офицеру, и тот строгим тоном потребовал у него документы. Фабрицио показал паспорт, где он назывался купцом, торгующим барометрами и получившим подорожную на провоз своего товара.

— Ну и дураки! — воскликнул офицер. — Право, это уж слишком глупо!

Он стал допрашивать нашего героя; тот с величайшей восторженностью заговорил об императоре, о свободе, но офицер закатился хохотом.

— Черт побери! Не очень-то ты хитер! — воскликнул он. — Верно, совсем уж нас олухами считают, раз подсылают к нам таких желторотых птенцов, как ты!

И как ни бился Фабрицио, как ни лез из кожи вон, стараясь объяснить, что он и в самом деле не купец, торгующий барометрами, жандармский офицер отправил его под конвоем в тюрьму соседнего городка Б..., куда наш герой добрался только

в третьем часу ночи, вне себя от возмущения и еле живой от усталости.

В этой жалкой тюрьме Фабрицио провел тридцать три долгих дня, сначала удивляясь, затем негодуя, а главное, совсем не понимая, почему с ним так поступили. Он писал коменданту крепости письмо за письмом, и жена смотрителя тюрьмы, красивая фламандка лет тридцати шести, взяла на себя обязанность передавать их по назначению. Но так как она вовсе не хотела, чтобы такого красивого юношу расстреляли, и не забывала, что он хорошо платит, то все его письма неизменно попадали в печку. В поздние вечерние часы она приходила к узнику и сочувственно выслушивала его сетования. Мужу она сказала, что у *молокососа* есть деньги, и рассудительный тюремщик предоставил ей полную свободу действий. Она воспользовалась этой снисходительностью и получила от Фабрицио несколько золотых, — писарь отобрал у него только лошадей, а жандармский офицер не конфисковал ничего. Однажды, в июне, Фабрицио услышал среди дня очень сильную, но отдаленную канонаду. «Наконец-то! Началось!» Сердце Фабрицио заколотилось от нетерпения. С улицы тоже доносился сильный шум, — действительно

началось большое передвижение войск, и через Б… проходили три дивизии. Около одиннадцати часов вечера, когда супруга смотрителя пришла разделить с Фабрицио его горести, он встретил ее еще любезнее, чем обычно, а затем, взяв ее за руку, сказал:

— Помогите мне выйти из тюрьмы. Клянусь честью, я вернусь, как только кончится сражение.

— Вот ерунду городишь! А *подмазка* у тебя есть?

Фабрицио встревожился, он не понял, что такое *подмазка.* Смотрительша, заметив его беспокойство, решила, что он «на мели», и, вместо того чтобы заговорить о золотых наполеондорах, как сперва намеревалась, стала уже говорить только о франках.

— Послушай, — сказала она. — Если ты можешь дать мне сотню франков, я парочкой двойных наполеондоров закрою глаза капралу, который придет ночью сменять часовых, — ну, он и не увидит, как ты удерешь. Если его полк должен выступить завтра, он, понятно, согласится.

Сделка была заключена. Смотрительша даже предложила спрятать Фабрицио в своей спальне, — оттуда ему проще убежать утром.

Рано утром, еще до рассвета, смотрительша в

нежном умилении сказала Фабрицио:

— Миленький, ты слишком молод для такого пакостного дела. Послушайся меня, брось ты это!

— Но почему! — твердил Фабрицио. — Разве это преступление — защищать родину?

— Будет врать-то! Никогда не забывай, что я тебе спасла жизнь. Дело твое ясное, тебя наверняка расстреляли бы. Но только смотри никому не проговорись, а то из-за тебя мы с мужем место потеряем. И, знаешь, не повторяй больше никому дурацкой басни, будто ты миланский дворянин, переодетый в платье купца, который торгует барометрами, — право, это уже совсем глупо. Ну, а теперь слушай хорошенько. Я сейчас дам тебе все обмундирование того гусара, что умер у нас в тюрьме позавчера. Старайся поменьше говорить, а уж если какой-нибудь вахмистр или офицер привяжется, станет допрашивать, откуда ты явился, и придется тебе отвечать, — скажи, что ты был болен и лежал в крестьянском доме, что крестьянин, мол, из жалости подобрал тебя, когда ты трясся от лихорадки в придорожной канаве. Если тебе не поверят, прибавь, что ты догоняешь свой полк. Тебя все-таки могут арестовать, потому что выговор у тебя не французский, — так ты скажи, будто ты родом из Пьемонта, взят по

рекрутскому набору, остался в прошлом году во Франции, — ну, еще что-нибудь придумай.

Впервые после тридцати трех дней бурного негодования Фабрицио разгадал причину своих злоключений. Его считали шпионом! Он принялся убеждать смотрительшу, которая в то утро была очень нежна, и пока она, вооружившись иглой, ушивала гусарское обмундирование, слишком широкое для Фабрицио, он очень вразумительно растолковал этой женщине свою историю. Она слушала с удивлением, но на минуту поверила, — у него был такой простодушный вид, и гусарский мундир так был ему к лицу!

— Ну, раз уж тебе так захотелось воевать, — сказала она, наполовину убежденная в его искренности, — надо было в Париже поступить в какой-нибудь полк. Угостил бы вахмистра в кабачке, он бы тебе все и устроил.

Смотрительша дала Фабрицио много полезных советов, как вести себя в будущем, и, наконец, когда забрезжил день, выпустила его на улицу, тысячу раз заставив поклясться, что он никогда и ни при каких обстоятельствах не упомянет ее имени.

Едва Фабрицио, подхватив подмышку гусарскую саблю, вышел бодрым шагом из этого

маленького городка, его одолели сомнения. «Ну вот, — думал он, — я иду в мундире и с подорожной какого-то гусара, умершего в тюрьме. А его, говорят, посадили за то, что он украл корову и несколько серебряных столовых ложек. Я, так сказать, наследник его положения, хотя нисколько этого не хотел и никак этого не предвидел. Значит, берегись тюрьмы!.. Примета совершенно ясная. Мне придется долго страдать в тюрьме».

Не прошло и часа после разлуки Фабрицио с его благодетельницей, как полил дождь, и такой сильный, что новоявленный гусар еле вытаскивал из грязи ноги в грубых сапогах, которые ему были велики. Встретив крестьянина, ехавшего верхом на дрянной лошаденке, он купил у него эту клячу, объясняясь знаками, ибо помнил, что тюремщица советовала ему говорить как можно меньше из-за его иностранного акцента.

В тот день армия, выиграв сражение при Линьи[36], двигалась форсированным маршем к Брюсселю; это было накануне сражения при

[36] Примечания: 36

Сражение при Линьи (бельгийском селении близ Брюсселя) происходило 16 июня 1815 года. Наполеон одержал в нем победу над прусскими войсками, находившимися под командой Блюхера.

Ватерлоо[37]. Около полудня, проезжая под не стихавшим проливным дождем, Фабрицио услышал грохот пушки. От радости он мгновенно позабыл долгие и мучительные минуты отчаяния, пережитые в несправедливом заточении. Он ехал до поздней ночи и, так как у него уже появились зачатки здравого смысла, решил сделать привал в крестьянском домике, стоявшем очень далеко от дороги. Хозяин плакался, уверял, что у него все забрали. Фабрицио дал ему экю, и в доме сразу нашелся овес для лошади. «Лошадь у меня дрянная, — думал Фабрицио, — но, пожалуй, какой-нибудь писарь позарится на нее». И он улегся спать в конюшне, рядом со стойлом. На следующий день, за час до рассвета, Фабрицио уже ехал по дороге и, ласково поглаживая, похлопывая свою лошадь, добился того, что она побежала рысцой. Около пяти часов утра он услышал канонаду: завязалось сражение при Ватерлоо.

---

[37] Примечания: 37

Сражение при Ватерлоо, в 17 километрах от Брюсселя, происходило 18 июня 1815 года. В романе артиллерийская подготовка боя начинается в 5 ч. утра, в действительности — в 11 ч. 30 м. утра. Наполеон выжидал, когда земля просохнет после ливня.

3

Вскоре Фабрицио повстречались маркитантки, и великая признательность, которую он питал к смотрительше Б…й тюрьмы, побудила его заговорить с ними: он спросил одну из них, где ему найти 4-й гусарский полк, в котором он служит.

— А ты бы лучше не торопился, голубчик! — ответила маркитантка, растроганная бледностью и прекрасными глазами Фабрицио. — Нынче дело будет жаркое, а поглядеть на твою руку, — где уж тебе саблей рубить! Будь у тебя ружье, — куда ни шло, — и ты бы палил не хуже других.

Этот совет не понравился Фабрицио, он стегнул лошадь, но, как ни понукал ее, не мог обогнать повозку маркитантки. Время от времени пушки как будто громыхали ближе, и тогда грохот мешал маркитантке и Фабрицио слышать друг друга. Фабрицио вне себя от воодушевления и счастья возобновил разговор с нею. С каждым ее словом он все больше сознавал свое счастье. И женщина эта казалась ему такой доброй, что он в конце концов все рассказал ей, утаив только свое настоящее имя и побег из тюрьмы. Маркитантка была удивлена и ничего не понимала в том, что

ей наговорил этот юный красавчик солдат.

— Ага, догадалась! — наконец, воскликнула она с торжествующим видом. — Вы — молоденький буржуа и влюбились, верно, в жену какого-нибудь капитана четвертого гусарского полка. Ваша милая подарила вам мундир, вы его надели и теперь вот едете догонять ее. Истинный бог, никогда вы не были солдатом! Но так как вы храбрый малый, а ваш полк пошел в огонь, вы не желаете прослыть трусишкой и тоже решили понюхать пороху.

Фабрицио со всем соглашался, — это было единственное средство услышать разумные советы. «Я ведь совсем не знаю, какие обычаи у французов, — думал он, — и если кто-нибудь не возьмется мной; руководить, я, чего доброго, опять попаду в тюрьму и вдобавок у меня опять украдут лошадь».

— Во-первых, голубчик, — сказала маркитантка, все больше проникаясь дружеским к нему расположением, — во-первых, признайся, что тебе еще нет двадцати одного года; самое большее, тебе семнадцать лет.

Это была правда, и Фабрицио охотно признал ее.

— Ну, значит, ты еще даже не рекрут и готов

лезть под пули только ради прекрасных глаз твоей капитанши. Черт побери, у нее губа не дура! Слушай, если у тебя еще осталось хоть немного золотых кругляшек из тех, что она тебе подарила, тебе прежде всего надо купить другую лошадь. Погляди, как твоя кляча прядает ушами, когда пушка громыхнет чуть поближе, — это крестьянская лошадь, из-за нее тебя убьют, как только ты попадешь на передовые. Постой, видишь вон там, над кустами, белый дымок? Это из ружей стреляют. Ну так вот, приготовься: как засвистят вокруг пули, отпразднуешь ты труса! Поешь-ка сейчас немножко, подкрепись, пока еще время есть.

Фабрицио последовал совету и дал маркитантке золотой, попросив взять, сколько с него следует.

— Фу ты! Смотреть на тебя жалко! — воскликнула маркитантка. — Дурачок! И деньги-то он тратить не умеет. Надо бы тебя проучить. Вот положу в карман твой золотой да хлестну Красотку. Она как возьмет крупной рысью… Попробуй догони нас на твоей кляче! Что ты будешь делать, дурачок, если я помчусь во весь дух? Помни, когда гремит пушка, золота никому показывать нельзя. На, получай сдачи — восемнадцать франков пятьдесят сантимов. Завтрак твой стоит всего

полтора франка… А коней тут скоро можно будет купить, сколько хочешь. За хорошую лошадку давай десять франков, а уж больше двадцати ни за какую не давай, будь это хоть конь четырех Эмоновых сыновей[38].

Когда Фабрицио кончил завтракать, неумолчная болтовня маркитантки была прервана вдруг какой-то женщиной, выехавшей на дорогу через вспаханное поле.

— Эй, Марго! Эй, слушай! — кричала она. — Вправо сворачивай. Твой шестой легкий там стоит.

— Ну, надо нам, дружок, проститься, — сказала маркитантка нашему герою. — А, право, жалко мне тебя. Полюбился ты мне, честное слово! Ничего-то ты не знаешь, обдерут тебя как липку, истинный бог! Поедем лучше со мной в шестой легкий.

— Я и сам понимаю, что не знаю ничего, — ответил Фабрицио, — но я хочу драться и поэтому поеду вон туда, где белый дымок.

— Да ты погляди, как твоя лошадь ушами прядает. Как только ты туда подъедешь, тебе ее не

---

[38] Примечания: 38

«Четыре сына Эмона» — французская средневековая поэма; дешевые издания этой поэмы сделали ее очень популярной. Чудесный конь Баярд неоднократно спасает сыновей Эмона, героев поэмы.

сдержать, хоть она и малосильная, — помчится вскачь и бог весть куда тебя занесет. Уж поверь моему слову. Вот что тебе надо сделать: как подъедешь к цепи, слезай, подбери с земли ружье, патронташ, заляг рядом с солдатами и все делай в точности, как они. Да, господи боже ты мой! Ты, поди, и патрона-то скусить не умеешь!

Фабрицио, сильно уязвленный, все же признался своей новой приятельнице, что она угадала.

— Бедняжка! Сразу и убьют тебя, как бог свят. Убьют! Долго ли до беды! Нет, непременно надо тебе со мной ехать, — сказала опять маркитантка властным тоном.

— Но я хочу сражаться!

— А ты и будешь сражаться! Еще как! Шестой легкий — лихой полк, а нынче дела на всех хватит.

— А скоро мы найдем ваш полк?

— Через четверть часика, самое большее.

«Раз эта славная женщина отрекомендует меня, — подумал Фабрицио, — меня не примут за шпиона из-за полного моего неведения всего, и мне можно будет участвовать в бою». В эту минуту грохот канонады усилился, выстрелы зачастили один за другим. «Будто четки перебирают», — думал Фабрицио.

— Вон уж и ружейная перестрелка слышна, — сказала маркитантка, подхлестнув кнутом свою лошадку, казалось сразу воодушевившуюся от шума сражения.

Маркитантка свернула вправо, на проселочную дорогу, тянувшуюся меж лугов; на дороге этой было по колено грязи, — повозка чуть не увязла; Фабрицио подталкивал колеса. Лошадь его два раза упала. Вскоре воды и слякоти стало меньше, но дорога перешла в тропинку, извивавшуюся в траве. Не успел Фабрицио проехать по ней и пятисот шагов, лошадь его вдруг остановилась, как вкопанная: поперек тропинки лежал труп, испугавший и лошадь и всадника.

Лицо Фабрицио, бледное от природы, приняло очень заметный зеленоватый оттенок. Маркитантка посмотрела на мертвеца и сказала, как будто говоря сама с собой: «Не из нашей дивизии»; потом подняла глаза и, взглянув на Фабрицио, захохотала.

— Ха-ха-ха! Что, мальчик? Хороша игрушка? — крикнула она.

Фабрицио застыл от ужаса. Больше всего его поразили босые грязные ноги трупа, с которых уже стащили башмаки, да и все с него сняли, оставив только рваные штаны, перепачканные кровью.

— Слезай с лошади! — сказала маркитантка. — Подойди к нему; тебе надо привыкать… Гляди-ка! — воскликнула она. — В голову ему угодило!

Действительно, пуля попала около носа и вышла наискось через левый висок, отвратительно изуродовав лицо. Один глаз не был закрыт.

— Ну, что ж ты! Слезай! — повторила маркитантка. — Подойди, дружок, пожми ему руку, поздоровайся. Может, он тебе ответит.

У Фабрицио сердце зашлось от отвращения, однако он смело соскочил с седла, подошел к трупу, взял его за руку и, крепко встряхнув, пожал ее, но отойти уже не мог, точно оцепенел; он чувствовал, что у него не хватит силы сесть на лошадь. Особенно ему жутко было видеть этот открытый глаз.

«Маркитантка сочтет меня трусом», — с горечью думал он, и все же не мог пошевелиться, чувствуя, что, стоит ему сделать хоть одно движение, он упадет. Это была ужасная для него минута: он действительно был близок к обмороку. Маркитантка заметила это, проворно спрыгнула с тележки и, ни слова не говоря, подала ему стаканчик водки; Фабрицио выпил его залпом, взобрался после этого на лошадь и молча

поехал дальше. Маркитантка время от времени искоса поглядывала на него.

— Завтра пойдешь в бой, дружок, — сказала она, наконец, — а нынче оставайся со мной. Сам видишь, тебе еще надо привыкнуть к солдатскому делу.

— Напротив, я сейчас же хочу сражаться! — воскликнул наш герой, и с таким грозным видом, что это показалось маркитантке хорошим признаком.

Грохот пушек усилился и как будто приблизился. Выстрелы гремели без всякого промежутка, звуки их сливались в непрерывную басовую ноту, и на фоне этого непрестанного протяжного гула, напоминавшего отдаленный шум водопада, очень явственно выделялась ружейная перестрелка.

Как раз в это время они въехали в маленькую рощицу. Маркитантка увидела, что навстречу опрометью бегут четыре французских солдата; она спрыгнула с повозки и, отбежав от дороги шагов на двадцать, спряталась в яме, оставшейся на месте дерева, вырванного с корнями. «Ну, — подумал Фабрицио, — сейчас посмотрим, трус ли я». Он остановился около повозки, брошенной маркитанткой, и вытащил саблю из ножен. Солдаты,

не обратив на него ни малейшего внимания, побежали по опушке рощи, влево от дороги.

— Это наши, — спокойно сказала маркитантка, подбегая к тележке, вся запыхавшись. — Вот, если б твоя лошадь могла скакать галопом, я бы сказала тебе: «Гони ее вскачь до конца рощи, погляди, есть ли кто на лугу».

Фабрицио, не заставив просить себя дважды, сорвал ветку тополя, ободрал с нее листья и принялся изо всех силы нахлестывать свою клячу. Она понеслась вскачь, но через минуту опять затрусила рысцой. Маркитантка пустила свою лошадь галопом.

— Да погоди ты, стой! — кричала она Фабрицио.

Вскоре оба они выехали из рощи. Остановившись на краю луга, они услышали ужаснейший грохот: пушки и ружья палили со всех сторон — справа, слева, сзади. И так как роща, из которой они выехали, была на холме, поднимавшемся над лугом на восемьдесят футов, им был виден вдали один угол сражения, но на лугу, перед рощей, никого не оказалось. На расстоянии тысячи шагов от них луг был перерезан длинной шеренгой очень густых ветел; над ветлами расплывался в небе белый дым, иногда взлетая клубами и

кружась, как смерч.

— Эх, если б знать, где наш полк, — озабоченно проговорила маркитантка. — Напрямик лугом нельзя ехать. Да вот что, — сказала она Фабрицио, — если столкнешься с неприятелем, старайся заколоть его саблей, не вздумай рубить.

Но тут маркитантка увидела тех четырех солдат, о которых мы только что упоминали. Они появились из лесу, слева от дороги. Один из них ехал верхом.

— Ну, вот и лошадь тебе, — сказала она Фабрицио. — Эй, подъезжай сюда! Эй! — крикнула она верховому. — Пропусти стаканчик водки.

Солдаты повернули к повозке.

— Где шестой легкий? — крикнула маркитантка.

— Недалеко. В пять минут доедешь; перед тем вон каналом, что идет вдоль деревьев. Там как раз полковника Макона сейчас убили.

— Слушай, хочешь за лошадь пять франков?

— Пять франков? Экая ты шутница, матушка. Лошадь-то офицерская! Я через четверть часа за пять золотых ее продам.

— Дай-ка мне золотой, — шепнула маркитантка Фабрицио; потом, подбегая к верховому, приказала:

— Слезай! Живо! Вот тебе золотой.

Солдат слез с лошади; Фабрицио весело вскочил на нее; маркитантка стала отвязывать вьючок с шинелью, притороченный к седлу его клячи.

— А ну-ка, помогите мне! — крикнула она солдатам. — Что же это вы? Дама работает, а они стоят себе, смотрят.

Но едва пойманная лошадь почувствовала на своей спине вьючок, она взвилась на дыбы, и Фабрицио, хотя и был хороший наездник, с великим трудом сдержал ее.

— Видно, что славный скакун, — заметила маркитантка. — Не привык, чтобы спину ему вьюком щекотало.

— Генеральский конь! — воскликнул солдат, продавший лошадь. — Такому коню десять золотых цена, и то мало!

— Вот тебе двадцать франков, — сказал ему Фабрицио, не помня себя от радости, что под ним настоящий, горячий скакун.

В эту минуту пушечное ядро ударило наискось в шеренгу ветел, и Фабрицио с любопытством смотрел, как полетели в разные стороны мелкие ветки, словно срезанные взмахом косы.

— Эге, пушка-то ближе забирает, — сказал солдат, взяв у Фабрицио двадцать франков.

Было, вероятно, около двух часов дня. Фабрицио все еще восторженно вспоминал любопытное зрелище, как вдруг, пересекая угол широкой луговины, на краю которой он остановился, проскакали всадники: несколько генералов, а за ними — человек двадцать гусаров; лошадь его заржала, раза три поднялась на дыбы, потом принялась яростно дергать узду, которая удерживала ее. «Ну, пусть!» — подумал Фабрицио.

Лошадь, предоставленная своей воле, понеслась во весь опор и догнала эскорт, сопровождавший генералов. Фабрицио насчитал четыре треуголки с золотыми галунами. Через четверть часа по нескольким словам, которыми перебросились гусары, скакавшие рядом с ним, он понял, что один из генералов — знаменитый маршал Ней. Фабрицио был на седьмом небе от счастья, но никак не мог угадать, который из четырех генералов — маршал Ней; он все на свете отдал бы, лишь бы узнать это, но вспомнил, что ему нельзя говорить. Эскорт остановился, чтобы переправиться через широкую канаву, наполнившуюся водой от вчерашнего ливня; канава эта, обсаженная высокими деревьями, ограничивала с левой стороны луг, на краю которого Фабрицио купил лошадь. Почти все гусары спешились. Канава об-

рывалась отвесно, край ее был очень скользкий, вода в ней текла на три-четыре фута ниже луга. Фабрицио, забыв обо всем от радости, больше думал о генерале Нее, о славе, чем о своей лошади, и она, разгорячившись, прыгнула в воду; брызги взлетели высоко вверх. Одного из генералов всего обдало водой, и он громко выругался:

— Ах, дьявол! Скотина проклятая!

Фабрицио был глубоко уязвлен таким оскорблением. «Могу я потребовать от него извинения?» — думал он. А пока что, желая доказать, что он вовсе уж не такой увалень, решил взобраться на другой берег верхом на лошади; но берег был отвесный и высотой в пять-шесть футов. Пришлось отказаться от этого намерения. Тогда Фабрицио пустил лошадь по воде, доходившей ей почти до морды, но, наконец, нашел место, служившее, верно, для водопоя, и по отлогому скату без труда выехал на поле, тянувшееся по другую сторону канала. Он перебрался первый из всего эскорта и гордо поехал рысцой вдоль берега; гусары барахтались в воде и находились в довольно затруднительном положении, так как во многих местах глубина доходила до пяти футов. Две-три лошади испугались, вздумали плыть и подняли целые столбы брызг. Вахмистр заметил маневр

желторотого юнца, совсем не имевшего военной выправки.

— Эй, ребята, назад! Поворачивай влево, там водопой! — крикнул он.

Мало-помалу все перебрались.

Выехав на поле, Фабрицио застал там генералов одних, без эскорта; пушки громыхали как будто все сильнее; он с трудом расслышал голос того генерала, которого так сильно обдал водой, хотя тот кричал ему в самое ухо:

— Где ты взял эту лошадь?

Фабрицио так смутился, что ответил по-итальянски:

— L'ho comprato poco fa. (Только что ее купил.)

— Что говоришь? Не слышу! — крикнул генерал.

Но в эту минуту грохот так усилился, что Фабрицио не мог ответить. Признаемся, что в нашем герое было в эту минуту очень мало геройского. Однако страх занимал в его чувствах второе место, — неприятнее всего было слышать этот грохот, от которого даже ушам стало больно. Эскорт пустил лошадей вскачь; ехали по вспаханному полю, которое начиналось сразу от канала и все было усеяно трупами.

— Красные мундиры! Красные мундиры! — ра-

достно кричали гусары эскорта.

Сначала Фабрицио не понимал, но, наконец, заметил, что действительно почти на всех мертвецах красные мундиры. И вдруг он вздрогнул от ужаса, заметив, что многие из этих несчастных «красных мундиров» еще живы; они кричали — очевидно, звали на помощь, но никто не останавливался, чтобы помочь им. Наш герой, жалостливый по натуре, изо всех сил старался, чтобы его лошадь не наступила копытом на кого-нибудь из этих людей в красных мундирах. Эскорт остановился. Фабрицио, не уделявший должного внимания своим воинским обязанностям, все скакал, глядя на какого-то несчастного раненого.

— Эй, желторотый, стой! — крикнул ему вахмистр.

Фабрицио остановился и увидел, что он оказался шагов на двадцать впереди генералов, справа, и что они как раз смотрят в эту сторону в подзорные трубки. Повернув обратно, чтобы занять свое место в хвосте эскорта, стоявшего в нескольких шагах позади генералов, он заметил, как один из них, самый толстый, повернулся к своему соседу, тоже генералу, и с властным видом что-то говорит, как будто распекает его и даже чертыхается.

Фабрицио не мог подавить любопытства и, невзирая на совет своей приятельницы-тюремщицы помалкивать, заговорил с соседом, искусно составив короткую, очень правильную, очень гладкую французскую фразу:

— Кто этот генерал, который журит своего соседа?

— Вот тебе на! Маршал.

— Какой маршал?

— Маршал Ней, дурень! Где же это ты служил до сих пор?

Фабрицио, юноша очень обидчивый, даже не подумал разгневаться за оскорбление; он с детским восхищением смотрел во все глаза на знаменитого «князя Московского», храбрейшего из храбрых.

Вдруг все поскакали галопом. Через несколько мгновений Фабрицио увидел, что шагах в двадцати перед ним вспаханная земля вся шевелится самым диковинным образом. Борозды пашни были залиты водой, а мокрая земля на их гребнях высоко взлетала черными комками. Фабрицио взглянул на эту странную картину и снова стал думать о славе маршала. Позади раздался короткий крик: упали с седла двое гусаров, убитые пушечным ядром, и, когда он обернулся

посмотреть, эскорт уже был от них в двадцати шагах. Ужаснее всего было видеть, как билась на вспаханной земле лошадь, вся окровавленная, запутавшись ногами в собственных своих кишках: она все пыталась подняться и поскакать вслед за другими лошадьми. Кровь ручьем текла по грязи.

«Ах, наконец-то я под огнем! — думал Фабрицио. — Я был в бою! — твердил он удовлетворенно. — Теперь я настоящий военный».

В эту минуту эскорт мчался во весь опор, и наш герой понял, что земля взметывается со всех сторон комками из-за пушечных ядер. Но сколько он ни вглядывался в ту сторону, откуда прилетали ядра, он видел только белый дым, — батарея стояла далеко, на огромном расстоянии, — а среди ровного, непрерывного гудения, в которое сливались пушечные выстрелы, он как будто различал более близкие ружейные залпы; понять он ничего не мог.

В эту минуту генералы и эскорт спустились на узкую, залитую водой дорожку, тянувшуюся под откосом, ниже поля футов на пять.

Маршал остановился и опять стал смотреть в подзорную трубку. На этот раз Фабрицио мог вволю любоваться им. Оказалось, что у него совсем

светлые волосы и широкое румяное лицо. «У нас в Италии нет таких лиц, — думал Фабрицио. — Я вот, например, бледный, а волосы у меня каштановые, мне никогда таким не быть!» — мысленно добавил он с грустью. Для него эти слова означали: «Мне никогда не быть таким героем!» Он поглядел на гусаров — кроме одного, у всех у них были рыжеватые усы. Фабрицио смотрел на гусаров, а они все смотрели на него. От их взглядов он покраснел и, чтобы положить конец своему смущению, повернул голову в сторону неприятеля. Он увидел длинные ряды красных человечков, и его очень удивило, что они такие маленькие: растянутые их цепи, составлявшие, верно, полки или дивизии, показались ему не выше кустов живой изгороди. Один ряд красных всадников рысью приближался к той дорожке в низине, по которой поехали шагом маршал и эскорт, шлепая по грязи. Дым мешал различить что-нибудь в той стороне, куда все они двигались; только иногда на фоне этого белого дыма проносились галопом всадники.

Вдруг Фабрицио увидел, что со стороны неприятеля во весь дух мчатся верхами четверо. «А-а, нас атакуют!» — подумал он, но потом увидел, как двое из этих верховых подъехали к маршалу и

что-то говорят ему. Один из генералов маршальской свиты поскакал в сторону неприятеля, а за ним — два гусара из эскорта и те четыре всадника, которые только что примчались оттуда. Потом дорогу перерезал узкий канал, и, когда все перебрались через него, Фабрицио оказался рядом с вахмистром, с виду очень славным малым. «Надо с ним заговорить, — думал Фабрицио, — может быть, они тогда перестанут так разглядывать меня». Он долго обдумывал, что сказать вахмистру.

— Сударь, — сказал он, наконец, — я в первый раз присутствую при сражении. Скажите, это настоящее сражение?

— Вроде того. А вы кто такой будете?

— Я брат жены одного капитана.

— А как его звать, капитана-то?

Герой наш страшно смутился: он совсем не предвидел такого вопроса. К счастью, маршал и эскорт опять поскакали галопом. «Какую французскую фамилию назвать?» — думал Фабрицио. Наконец, ему вспомнилась фамилия хозяина гостиницы, в которой он жил в Париже; он придвинулся к вахмистру вплотную и во всю мочь крикнул ему:

— Капитан Менье!

Вахмистр, плохо расслышав из-за грохота пу-

шек, ответил:

— А-а, капитан Телье? Ну, брат, его убили.

«Браво! — воскликнул про себя Фабрицио. — Не забыть: „Капитан Телье“. Надо изобразить огорчение».

— Ах, боже мой! — произнес он с жалостным видом.

С низины выехали на лужок и помчались по нему; снова стали падать, ядра; маршал поскакал к кавалерийской дивизии. Эскорт мчался среди трупов и раненых, но это зрелище уже не производило на нашего героя такого впечатления, как раньше, — он думал теперь о другом.

Когда эскорт остановился, Фабрицио заметил вдали повозку маркитантки, и нежные чувства к этой почтенной корпорации взяли верх надо всем: он помчался к повозке.

— Куда ты? Стой св…! — кричал ему вахмистр.

«Что он тут может мне сделать?» — подумал Фабрицио и продолжал скакать к повозке маркитантки. Он пришпоривал лошадь в надежде увидеть свою знакомую — добрую маркитантку, которую встретил утром; лошадь и повозка были очень похожи, но хозяйка их оказалась совсем другою, и Фабрицио даже нашел, что у нее очень злое лицо. Подъехав к повозке, он услышал, что

маркитантка сказала кому-то:

— А ведь какой красавец мужчина был!..

Тут нашего новичка-солдата ждало очень неприятное зрелище: отнимали ногу какому-то кирасиру, молодому и красивому человеку саженного роста. Фабрицио зажмурился и выпил один за другим четыре стаканчика водки.

— Ишь ты, как хлещет, заморыш! — воскликнула маркитантка.

После водки Фабрицио осенила блестящая идея: «Надо купить благоволение гусаров, моих товарищей в эскорте».

— Продайте мне все, что осталось в бутылке, — сказал он маркитантке.

— Все? А ты знаешь, сколько это стоит в такой день? Десять франков!

Зато, когда Фабрицио галопом подскакал к эскорту, вахмистр крикнул:

— Э-э! Ты водочки нам привез! Для того и удрал? Давай сюда!

Бутылка пошла по рукам; последний, допив остатки, высоко подбросил ее и крикнул Фабрицио:

— Спасибо, товарищ!

Все смотрели теперь на Фабрицио благосклонным взглядом. У него отлегло от сердца, будто

свалился тяжелый камень, давивший его: сердце у него было тонкого изделья — из тех, которым необходимо дружеское расположение окружающих. Наконец-то спутники приняли его себе в товарищи и между ними установилась связь! Фабрицио глубоко вздохнул и уже смелым голосом спросил вахмистра:

— А если капитан Телье убит, где же мне теперь сестру искать?

Он воображал себя маленьким Макиавелли[39], говоря так смело «Телье» вместо «Менье».

— Нынче вечером узнаешь, — ответил ему вахмистр.

Эскорт снова двинулся и поскакал вслед за маршалом к пехотным дивизиям. Фабрицио чувствовал, что совсем охмелел, он выпил слишком много водки, его покачивало в седле; но тут ему очень кстати вспомнился совет кучера, возившего его мать: «Ежели хватил лишку, равняйся на лошадь впереди, и делай то, что делает сосед».

Маршал направился к кавалерийским частям, довольно долго пробыл там и дал приказ ата-

---

[39] Примечания: 39

Макиавелли, Николо ди Бернардо (1469–1527) — итальянский политический мыслитель и государственный деятель, добивался объединения Италии; в своем трактате «О государе» цинично оправдывал любые вероломные средства в политике, если они помогают правителю укрепить свою власть.

ковать неприятеля; но наш герой уже час или два совсем не сознавал, что происходит вокруг. Он чувствовал страшную сонливость, и, когда лошадь его скакала, он грузно подпрыгивал в седле.

Вдруг вахмистр крикнул гусарам:

— Эй, сукины дети, не видите, что ли?.. Император!

Тотчас же гусары рявкнули во всю глотку:

— Да здравствует император!

Нетрудно догадаться, что герой наш очнулся и смотрел во все глаза, но видел только скакавших на лошадях генералов, за которыми следовал эскорт. Длинные гривы, украшавшие драгунские каски в свите императора, мешали различить лица.

«Так я и не увидел, не увидел императора на поле сражения! И все из-за этой проклятой водки!»

От такой мысли Фабрицио окончательно отрезвел.

Спустились на дорогу, залитую водою. Лошади жадно тянулись мордами к лужам.

— Так это император проехал? — спросил Фабрицио у соседа.

— Ну да, он! Тот, у которого мундир без золотого шитья. Как же это вы не заметили его? — благо-

желательно ответил гусар.

Фабрицио страстно хотелось догнать императорский эскорт и включиться в него. Какое счастье по-настоящему участвовать в войне, вместе с таким героем! «Ведь я именно для этого и приехал во Францию. И я вполне могу это сделать: я же сопровождаю этих генералов только оттого, что моей лошади вздумалось поскакать вслед за ними».

И Фабрицио лишь потому решил остаться, что гусары, его новые товарищи, смотрели на него очень приветливо; он уже начинал считать себя близким другом всех этих солдат, рядом с которыми скакал несколько часов. Он уже видел, как между ними завязывается благородная дружба героев Тассо и Ариосто. А если присоединиться к эскорту императора, надо снова заводить знакомство; да еще его там, пожалуй, встретят плохо, так как в императорском эскорте драгуны, а на нем гусарский мундир, как и на всех, кто сопровождал маршала. Гусары же смотрели теперь на нашего героя таким ласковым взглядом, что он был на верху блаженства, они приняли его в товарищи, и он сделал бы для них «все на свете»; душой и мыслями он витал в облаках. Все вокруг сразу переменилось, с тех пор как он почувствовал себя

среди друзей: он умирал от желания заговорить с ними, расспросить их. «Нет, я еще немного пьян, — убеждал он себя. — Надо помнить, что говорила тюремщица!»

Когда выехали с выбитой дороги, он заметил, что маршал. Ней куда-то исчез, а вместо него ехал впереди эскорта другой генерал — высокий, худощавый, с суровым лицом и грозным взглядом.

Генерал этот был не кто иной, как граф д'А***, — тот, кто 15 мая 1796 года назывался лейтенантом Робером. Как он был бы счастлив увидеть Фабрицио дель Донго!

Перед глазами Фабрицио уже давно не взлетали черные комки земли от падения пушечных ядер. А когда подъехали к кирасирскому полку и остановились позади него, он услышал, как защелкала по кирасам картечь; несколько человек упало.

Солнце уже стояло очень низко и вот-вот должно было закатиться, когда эскорт, проехав по дороге между высокими откосами, поднялся на пологий бугор в три-четыре фута и двинулся по вспаханному полю. Фабрицио услышал позади себя глухой, странный звук и, обернувшись, увидел, что четыре гусара упали вместе с лошадьми; самого генерала тоже опрокинуло на землю, но он

поднялся на ноги, весь в крови. Фабрицио посмотрел на упавших гусаров — трое еще судорожно дергались, четвертого придавила лошадь, и он кричал: «Вытащите меня, вытащите!» Вахмистр и трое гусаров спешились, чтобы помочь генералу, который, опираясь на плечо адъютанта, пытался сделать несколько шагов: он хотел отойти от своей лошади, потому что она свалилась на землю и, яростно лягаясь, билась в конвульсиях.

Вахмистр подошел к Фабрицио, и в эту минуту наш герой услышал, как позади, у самого его уха, кто-то сказал:

— Только вот эта еще может скакать.

И вдруг он почувствовал, как его схватили за ноги, приподняли, поддерживая подмышки, протащили по крупу лошади, потом отпустили, и он, соскользнув, хлопнулся на землю.

Адъютант взял лошадь Фабрицио под уздцы, генерал с помощью вахмистра сел в седло и поскакал галопом; за ним поскакали все шесть уцелевших гусаров. Взбешенный, Фабрицио поднялся на ноги и побежал за ними, крича: «Ladri! Ladri!» (Воры! Воры!) Смешно было гнаться за ворами посреди поля сражения.

Вскоре эскорт и генерал, граф д'А***, исчезли за шеренгой ветел. Фабрицио в опьянении гнева

добежал до этих ветел, очутился перед глубоким каналом, перебрался через него. Вскарабкавшись на другой берег, он опять принялся браниться, увидев генерала и эскорт, мелькавших между деревьями, но уже на очень большом расстоянии.

— Воры! Воры! — кричал он теперь по-французски.

Наконец, в полном отчаянии, — не столько от похищения его лошади, сколько от предательства друзей, — еле живой от усталости и голода, он бросился на землю у края рва. Если б его великолепную лошадь отнял неприятель, Фабрицио и не думал бы волноваться, но мысль, что его предали и ограбили товарищи, — этот вахмистр, которого он так полюбил, и эти гусары, на которых он уже смотрел, как на родных братьев, — вот что надрывало ему сердце. Он не мог утешиться, думая о такой подлости, и, прислонившись к стволу ивы, плакал горькими слезами. Он развенчивал одну за другой свои прекрасные мечты о рыцарской, возвышенной дружбе, подобной дружбе героев «Освобожденного Иерусалима». Совсем не страшна смерть, когда вокруг тебя героические и нежные души, благородные друзья, которые пожимают тебе руку в минуту расставанья с жизнью! Но как сохранить в душе энтузиазм,

когда вокруг одни лишь низкие мошенники?! Фабрицио преувеличивал, как всякий возмущенный человек.

Через четверть часа он оторвался от этих чувствительных размышлений, заметив, что пушечные ядра уже долетают до шеренги деревьев, в тени которых он сидел. Он поднялся на ноги и попытался ориентироваться. Перед ним был большой луг, а по краю его тянулся широкий канал, окаймленный густыми ветлами; Фабрицио показалось, что он уже видел это место. В это время через ров стала перебираться какая-то пехотная часть и уже выходила на луг в четверти лье от Фабрицио. «Я чуть не уснул тут, — подумал он. — Как бы меня в плен не забрали!..» И он быстрым шагом пошел вдоль канала. Вскоре он успокоился, разглядев солдатские мундиры: он испугался было, что его отрежут от своих, но полк оказался французский; Фабрицио свернул вправо, чтобы догнать солдат.

Помимо морального страдания от мысли, что его так подло обокрали и предали, теперь с каждой минутой все сильнее давало себя чувствовать страдание физическое: мучительный голод. Пройдя, вернее пробежав, минут десять, он, к великой своей радости, увидел, что полк, который

тоже шел очень быстро, останавливается и как будто занимает тут позицию. Через несколько минут он уже был среди первой кучки солдат.

— Товарищи, не можете ли продать мне кусок хлеба?

— Гляди-ка! Он нас за булочников принимает!..

Эта жестокая шутка и дружный язвительный смех, который она вызвала, совсем обескуражили Фабрицио. Так, значит, война вовсе не тот благородный и единодушный порыв сердец, поклоняющихся славе, как он это воображал, начитавшись воззваний Наполеона?.. Он сел, вернее упал, на траву и вдруг побледнел. Солдат, одернувший его, остановился в десяти шагах, чтобы протереть платком боек своего ружья, а затем подошел к Фабрицио и бросил ему горбушку хлеба; видя, что он не поднял ее, солдат отломил кусочек и всунул ему в рот. Фабрицио открыл глаза и съел весь хлеб молча; он не мог произнести ни слова от слабости. Когда он, наконец, пришел в себя и поискал глазами солдата, чтобы заплатить ему, кругом никого уже не было, — даже те солдаты, которые, казалось, только что стояли около него, были уже в ста шагах и шли строем. Фабрицио машинально поднялся с

земли и двинулся вслед за ними. Он вошел в лес, и, падая с ног от усталости, уже искал взглядом укромного местечка, чтобы лечь, как вдруг, к великой своей радости, увидел хорошо знакомую повозку, лошадь, а потом и самое маркитантку, которая встретилась ему утром. Она подбежала к нему и испугалась его вида.

— Дружок, можешь еще пройти немного? — спросила она. — Ты, что же, ранен? А где же твой красивый конь?

Говоря это, она подвела его к повозке, потом, подхватив под руки, помогла взобраться туда. Наш герой, измученный усталостью, свернулся в комочек и сразу же уснул глубоким сном.

4

Ничто не могло его разбудить — ни ружейные выстрелы, раздававшиеся около самой повозки, ни бешеный галоп лошади, которую маркитантка изо всех сил нахлестывала кнутом: полк целый день был убежден в победе, а теперь, внезапно атакованный целой тучей прусской кавалерии, отступал, точнее сказать бежал, в сторону Франции.

Полковник, красивый и щеголеватый молодой офицер, заменивший убитого Макона, погиб от прусской сабли; командир батальона, седовласый старик, приняв на себя командование, приказал полку остановиться.

— Сволочное дело! — сказал он солдатам. — Во времена республики не спешили удирать, пока неприятель к тому не принудит. Защищайте каждый вершок этой местности, умирайте, а держитесь! — воскликнул он и смачно выругался. — Помните — вы защищаете тут землю отчизны своей! Пруссаки хотят захватить ее!

Повозка остановилась, и Фабрицио сразу проснулся. Солнце давно закатилось; Фабрицио удивился, что уже почти стемнело. В разные сто-

роны беспорядочной гурьбой бежали солдаты; этот разброд поразил нашего героя; он заметил, что у всех растерянный вид.

— Что случилось? — спросил он у маркитантки.

— Пустяки! Расколотили нас. Прусская кавалерия крошит наших саблями. Вот и все. Дурак генерал думал сначала, что это наша кавалерия мчится. Ну-ка, поднимайся живей, помоги мне постромки связать, — Красотка-то оборвала их.

В десяти шагах грянули выстрелы. Наш герой, отдохнувший и бодрый, сказал про себя: «А ведь я в сущности еще не сражался по-настоящему, весь день только и делал, что эскортировал генералов».

— Я должен сражаться, — сказал он маркитантке.

— Не беспокойся! Будешь сражаться, сколько душе твоей угодно и даже больше. Мы пропали. Обри, дружок! — крикнула она спешившему мимо капралу. — Поглядывай время от времени, где я, где моя повозка.

— Вы пойдете сейчас в бой? — спросил Фабрицио капрала.

— Нет! Надену лакированные туфли и отправлюсь на бал.

— Я пойду с вами.

— Можешь взять с собой этого молоденького гусара, — крикнула маркитантка. — Он хоть и буржуа, а храбрый малый.

Капрал молча шел быстрым шагом. Подбежали восемь — десять солдат и пошли за ним; он привел их к толстому дубу, окруженному кустами терновника, и все так же молча разместил их вдоль опушки леса растянутой цепью — каждый стоял по меньшей мере в десяти шагах от своего соседа.

— Ну, слушай, ребята! — сказал, наконец, капрал, впервые нарушив молчание. — Без команды не стрелять. Помните, что у вас только по три патрона.

«Да что же это происходит?» — спрашивал себя Фабрицио. И когда, наконец, остался один на один с капралом, сказал:

— У меня ружья нет.

— Во-первых, молчи! Ступай вон туда; шагах в пятидесяти от опушки найдешь какого-нибудь беднягу солдата, которого зарубили пруссаки. Сними с него ружье и патронташ. Да смотри у раненого не вздумай взять! Бери ружье и патронташ у того, кто наверняка убит. Поживей возвращайся, а не то попадешь под пулю своего

же товарища.

Фабрицио бросился бегом и вскоре вернулся с ружьем и патронташем.

— Заряди ружье и встань за это вот дерево. Только помни: без моей команды не стрелять... Эх, сукин сын! — ругнулся капрал, прервав свои указания. — Он и ружье-то зарядить не умеет!..

Капрал помог Фабрицио зарядить ружье и опять заговорил:

— Если увидишь, что неприятель скачет прямо на тебя, зарубить хочет, — вертись вокруг дерева, а стреляй только в упор, когда он будет в трех шагах от тебя, — надо, чтобы твой штык почти касался его мундира. Да брось ты свою саблю! — крикнул капрал. — Еще споткнешься о нее и упадешь!.. Черт побери! Ну и солдат дают нам теперь!..

С этими словами он сам снял с Фабрицио саблю и в сердцах далеко отшвырнул ее.

— Ну-ка, оботри платком кремень в замке. Да ты хоть раз в жизни стрелял из ружья?

— Я охотник.

— Слава тебе господи! — воскликнул капрал со вздохом облегчения. — Главное, без моей команды не стреляй.

И он ушел. Фабрицио ликовал. «Наконец-то я

по-настоящему буду драться, убивать неприятеля! — думал он. — Нынче утром они угощали нас пушечными ядрами, а я ничего не делал, только понапрасну рисковал жизнью, — дурацкое занятие!»

Он глядел во все стороны с крайним любопытством. Вскоре очень близко от него раздалось семь-восемь выстрелов. Но так как он не получил приказа стрелять, то стоял, притаившись, за деревом. Уже надвигалась ночь. Ему казалось, что он в засаде на медвежьей облаве в Трамецинских горах, над Грианто́й. И ему вспомнился охотничий прием: он достал из сумки патрон и вытащил из него пулю. «Если *он* покажется, надо уложить его на месте», — и он забил шомполом вторую пулю в ствол ружья. Вдруг он услышал два выстрела возле самого своего дерева и в ту же минуту увидел кавалериста в голубом мундире, который вынесся на лошади с правой стороны и поскакал мимо него влево. «Он еще не в трех шагах от меня, — думал Фабрицио, — но я все-таки не промахнусь, я уверен». Фабрицио старательно целился, переводя дуло ружья, и, наконец, спустил курок. Всадник упал вместе с лошадью. Нашему герою по-прежнему казалось, что он на охоте, и он весело помчался к убитому

им зверю. Он был уже совсем близко от упавшего и, видимо, умирающего пруссака, как вдруг с невероятной быстротой прискакали два других прусских кавалериста, явно намереваясь зарубить его. Фабрицио со всех ног бросился к лесу и, чтоб удобнее было бежать, швырнул наземь ружье. Пруссаки были уже в трех шагах от него, когда он добежал до поросли молодых дубков, насаженных вдоль опушки, с прямыми, ровными стволами толщиной в руку. Пруссаки на минуту замешкались перед этими дубками, но все же проехали и погнались за Фабрицио по лесной прогалине. Они чуть было снова не настигли его, но дорогу им преградили семь-восемь толстых деревьев, а Фабрицио проскользнул между стволами. И тотчас же навстречу ему раздался залп пяти-шести ружей, так близко, что вспышками огня чуть не обожгло ему лицо. Он пригнул голову, и, когда поднял ее, прямо перед ним оказался капрал Обри.

— Убил одного? — спросил он Фабрицио.

— Да, только ружье потерял.

— Не беда, ружей здесь сколько хочешь. А ты все-таки молодец, хоть и глядишь дурнем, — день у тебя не пропал даром. Зато вот эти разини промахнулись и упустили тех двоих, что за тобой

гнались, а ведь пруссаки были у них перед самым носом. Мне-то их не видно было. Ну ладно. Теперь дадим ходу; полк где-то недалеко, в десять минут разыщем; а кроме того, тут есть хорошая лужайка, на ней удобно собраться да залечь полукругом.

Говоря это, капрал быстро шел во главе отряда из десяти солдат. Шагах в двухстах действительно оказалась большая лужайка, и на ней встретился им раненый генерал, которого несли адъютант и слуга.

— Дайте мне четырех людей, — сказал он капралу еле слышным голосом. — Пусть отнесут меня в походный госпиталь; у меня нога раздроблена.

— Поди ты к…! — крикнул капрал. — И ты и все ваши генералы. Все вы предали сегодня императора.

— Как!!! — яростно завопил генерал. — Вы не подчиняетесь моему приказу?! Да вы знаете, с кем говорите? Я граф Б***, генерал, командующий вашей дивизией! — И так далее и так далее. Он произносил громкие фразы.

Адъютант бросился на солдат. Капрал ткнул ему штыком в руку около плеча и скорым шагом двинулся дальше со своими солдатами.

— Не только тебе, а всем вашим генералам надо бы руки и ноги перебить! Щеголи проклятые! Все

продались Бурбонам и изменили императору!

Фабрицио с изумлением слушал такое ужасное обвинение.

Около десяти часов вечера маленький отряд присоединился к полку у входа в деревню, состоявшую из нескольких узеньких улиц; но Фабрицио заметил, что капрал Обри избегал офицеров и ни к одному из них не обратился с рапортом.

— Тут никак не пройдешь! — воскликнул капрал.

Все улицы были забиты пехотой, кавалерией, а главное, зарядными ящиками артиллерии и фургонами. Капрал Обри сворачивал то в одну, то в другую, то в третью улицу, но каждый раз через двадцать шагов уже невозможно было пробиться. Кругом раздавались злобные окрики и ругательства.

— И тут тоже какой-нибудь изменник командует! — воскликнул капрал. — Если у неприятеля хватит догадки окружить деревню, всех нас заберут в плен, как собак. Ступай за мной, ребята.

Фабрицио оглянулся — за капралом шло теперь только шесть солдат. Через открытые ворота они вошли на просторный скотный двор, со двора — в конюшню, а оттуда, через маленькую дверцу, — в

плодовый сад. Некоторое время они блуждали наугад — то в одну, то в другую сторону, наконец пролезли сквозь живую изгородь и очутились в поле, засеянном рожью. Меньше чем через полчаса, пробираясь навстречу крикам и смутному гулу, они снова вышли на большую дорогу, но уже за деревней. В придорожных канавах грудами валялись брошенные ружья. Фабрицио выбрал себе ружье. Но дорога, хотя и очень широкая, была так запружена беглецами и повозками, что за полчаса капрал и Фабрицио едва ли продвинулись на пятьсот шагов. Говорили, что дорога ведет в Шарлеруа. Когда на деревенской колокольне пробило одиннадцать, капрал воскликнул:

— Пойдем-ка опять полем!

Маленький отряд состоял уже только из трех солдат, капрала и Фабрицио. Не успели отойти от большой дороги на четверть лье, как вдруг один из солдат сказал:

— Невмоготу мне!

— И мне тоже, — добавил второй.

— Вот еще новости! Нам всем несладко, — заметил капрал. — А вот слушайтесь меня, и вам хорошо будет.

Он приметил пять-шесть деревьев, росших около меж посреди огромного поля.

— К деревьям! — скомандовал он. А когда подошли к деревьям, добавил: — Ложитесь тут, а главное, не шумите. Но перед сном надо бы пожевать. У кого есть хлеб?

— У меня, — отозвался один из солдат.

— Давай сюда, — властно заявил капрал.

Он разрезал хлеб на пять ломтей и взял себе самый маленький.

— Минут за пятнадцать до рассвета, — сказал он, прожевывая хлеб, — нагрянет неприятельская кавалерия. Надо изловчиться, чтобы нас не изрубили. Если один будешь удирать от кавалерии по такой широкой равнине — крышка тебе, а впятером можно спастись. Держитесь около меня дружно, стреляйте только в упор, и я ручаюсь, что завтра к вечеру приведу вас в Шарлеруа.

За час до рассвета капрал разбудил свой отряд и велел всем перезарядить ружья. С большой дороги по-прежнему доносился гул, не прекращавшийся всю ночь: казалось, слышится отдаленный рев водопада.

— Точно бараны бегут, — сказал Фабрицио, с простодушным видом глядя на капрала.

— Заткнись, молокосос! — возмущенно крикнул капрал.

А трое солдат, составлявших всю его армию,

посмотрели на Фабрицио такими глазами, словно услышали кощунство. Он оскорбил нацию.

«Ну, уж это слишком! — думал наш герой. — Я это и раньше замечал, у вице-короля в Милане. Они никогда не убегают! Нет! Французам нельзя говорить правду, если она задевает их тщеславие. Но мне наплевать, что они смотрят на меня такими злыми глазами. И я им это докажу».

Отряд двинулся в путь, по-прежнему шагах в пятистах от потока беглецов, катившегося по большой дороге. На расстоянии одного лье от места ночлега капрал и его отряд пересекли соединявшийся с большой дорогой проселок, на котором вповалку спали солдаты. Фабрицио купил тут за сорок франков довольно хорошую лошадь, а среди валявшихся повсюду сабель тщательно выбрал себе длинную прямую саблю.

«Раз говорят, что надо колоть, а не рубить, — думал он, — эта будет лучше всех».

Вооружившись таким способом, он пустил лошадь вскачь и вскоре догнал капрала, который порядком опередил его.

Покрепче упершись в стремена и прихватив левой рукой саблю, он сказал, окидывая взглядом всех четырех французов:

— Эти люди бегут по дороге, точно стадо *бара-*

нов... точно «стадо испуганных баранов»...

Фабрицио старательно подчеркивал слово бараны, но его товарищи уже совсем позабыли, как рассердило их это слово час тому назад. В этом сказалось различие между итальянцами и французами: у французов натура более счастливая, — они скользят по поверхности событий и не отличаются злопамятством.

Не скроем, Фабрицио был чрезвычайно доволен своим намеком на баранов. Отряд двигался полем; болтали о том о сем; прошли еще два лье, капрал все удивлялся, что неприятельская кавалерия не показывается; он сказал Фабрицио:

— Вы — наша кавалерия. Скачите вон к той ферме, что стоит на бугре; спросите хозяина, не может ли он дать нам позавтракать «за плату». Не забудьте сказать, что нас только пятеро. Если он станет мяться, дайте ему из своих денег пять франков вперед. Не беспокойтесь, — мы отберем у него монетку после завтрака.

Фабрицио взглянул на капрала и увидел на лице его выражение такой невозмутимой важности, даже своего рода морального превосходства, что покорно подчинился. Все прошло так, как предвидел главнокомандующий, только по настоянию Фабрицио у крестьянина не отняли

силой те пять франков, которые были даны ему вперед.

— Это мои деньги, — сказал Фабрицио товарищам, — и я не за вас плачу, я плачу за себя: моей лошади тут дали овса.

Фабрицио так плохо изъяснялся по-французски, что его товарищам почудилось какое-то высокомерие в его словах. Это очень их задело, и постепенно у них созрела мысль проучить его в конце дня. Он казался им совсем чужим, непохожим на них, а это их обижало. Фабрицио, напротив, уже начинал чувствовать к ним большое расположение.

Два часа шли молча, и вдруг, поглядев на дорогу, капрал радостно крикнул:

— Наш полк идет!

Тотчас побежали к дороге. Но, увы, вокруг древка с орлом было человек двести, не больше. Вскоре Фабрицио разглядел в толпе маркитантку: она шла пешком, с красными от слез глазами, и время от времени опять принималась плакать. Фабрицио напрасно искал взглядом ее повозку и лошадь Красотку.

— Ограбили, погубили, обокрали! — закричала маркитантка в ответ на вопрошающий взгляд нашего героя.

Он молча слез с лошади, взял ее под уздцы и сказал маркитантке:

— Садитесь.

Ему не пришлось ее упрашивать.

— Укороти стремена, — сказала она.

Усевшись хорошенько в седле, она принялась рассказывать Фабрицио о всех бедствиях, случившихся с нею за ночь. После бесконечно долгого повествования, которое наш герой из чувства нежной дружбы слушал очень внимательно, хотя ничего в нем не понимал, маркитантка добавила:

— И подумать только! Ведь это французы меня ограбили, поколотили, изругали.

— Как! Французы? А я думал — неприятель! — воскликнул Фабрицио с наивным видом, придававшим детскую прелесть его красивому, но строгому и бледному лицу.

— Какой же ты глупыш! — сказала маркитантка, улыбаясь сквозь слезы. — А все-таки ты очень милый.

— И при всем при том молодчина — ухлопал пруссака, — добавил капрал Обри, в общей сумятице случайно оказавшийся рядом с лошадью, на которой ехала маркитантка.

— Только гордец он! — добавил капрал.

Фабрицио сделал нетерпеливое движение.

— А как твоя фамилия? — спросил капрал. — Может, доведется рапорт представить, так я хочу упомянуть тебя.

— Моя фамилия — Вази, — ответил Фабрицио, несколько замявшись, — то есть нет — Було, — спохватился он.

Фамилия Було стояла в том документе, который дала ему Б-ая тюремщица; за день до этого он дорогой старательно вытвердил ее, так как начинал уже кое-что соображать и меньше удивлялся всему, что происходило вокруг. Кроме подорожной гусара Було, он, как зеницу ока, берег итальянский паспорт, по которому мог претендовать на благородную фамилию Вази, продавца барометров. Когда капрал укорил его в гордости, он чуть было не ответил: «Я — гордец? Я, Фабрицио Вальсерра маркезино дель Донго, согласившийся принять имя какого-то Вази, который торгует барометрами!»

Пока он раздумывал и мысленно говорил себе: «Надо крепко запомнить, что моя фамилия — Було, иначе не миновать тюрьмы, которой угрожает мне судьба», капрал и маркитантка обменялись несколькими словами на его счет.

— Не думайте, что я из любопытства спраши-

ваю, — сказала маркитантка, перестав вдруг говорить ему «ты». — Я вам добра хочу. Скажите, кто вы такой на самом деле?

Фабрицио ответил не сразу. Он думал о том, что вряд ли найдет более преданных друзей, готовых помочь и делом и разумным советом, а он так нуждался сейчас в разумных советах. «Мы скоро войдем в военную крепость, комендант захочет узнать, кто я такой, и меня засадят в тюрьму, если увидят из моих ответов, что я никого не знаю в четвертом гусарском полку, хотя на мне мундир этого полка». Будучи австрийским подданным, Фабрицио прекрасно знал, какое важное значение имеет паспорт. Даже его близкие родственники, люди знатные, ханжески благочестивые и притом приверженцы победившей партии, раз двадцать имели всякие неприятности из-за паспортов. Поэтому Фабрицио не обиделся на вопрос маркитантки. Он ответил не сразу, подыскивая французские слова, чтобы понятнее все объяснить, а маркитантка, подстрекаемая любопытством, добавила с намерением ободрить его:

— Капрал Обри и я дадим вам хорошие советы, как вести себя.

— Я не сомневаюсь в этом, — ответил Фабрицио. — Моя фамилия Вази, я приехал из Генуи.

Моя сестра, прославленная у нас красавица, вышла замуж за французского капитана. Мне только семнадцать лет, и сестра пригласила меня пожить у нее, чтобы посмотреть Францию и пополнить свое образование. Я уже не застал ее в Париже и, узнав, что она следует за этой армией, приехал сюда. Я повсюду ее искал и не мог найти. Солдатам показался подозрительным мой выговор, и меня арестовали. У меня были тогда деньги, я дал денег жандарму, а он вынес мне чужую подорожную, мундир и сказал: «Удирай! Только поклянись, что никогда не произнесешь моей фамилии».

— А как его фамилия-то? — спросила маркитантка.

— Я же дал слово! — сказал Фабрицио.

— Он прав, — подтвердил капрал. — Жандарм, конечно, прохвост. Но приятель наш не должен называть его. А как фамилия капитана, мужа вашей сестры? Если мы будем знать фамилию, можно разыскать его.

— Телье, капитан четвертого гусарского полка, — ответил наш герой.

— Так, значит, вас подвел иностранный выговор? — с некоторым лукавством спросил капрал. — Солдаты за шпиона вас приняли?

— Ну да! Подумайте, какая гнусность! — воскликнул Фабрицио, сверкая глазами. — Это я-то шпион! Когда я так люблю императора и французов! Мне нестерпимо такое оскорбление!

— Ошибаетесь! Никакого тут оскорбления нет. Ничего удивительного, что солдат взяло сомнение, — строгим тоном возразил капрал.

И он весьма наставительно объяснил, что в армии каждый должен состоять в какой-нибудь воинской части и носить ее мундир, а иначе тебя *натурально* примут за шпиона. Неприятель подсылает множество шпионов, — в этой войне кругом предатели. Пелена спала с глаз Фабрицио. В первый раз он понял, что сам виноват во всем, что случилось с ним за последние два месяца.

— Погоди ты, пускай он нам все хорошенько расскажет, — перебила капрала маркитантка, у которой разгорелось любопытство.

Фабрицио покорился. Когда он кончил свой рассказ, маркитантка сказала капралу с серьезным видом:

— По правде говоря, он еще мальчик и никакой не военный. А нам теперь плохо придется в этой войне, после того как нас разбили и предали. Оставит он тут свои кости. А зачем? Во славу божью, что ли?

— Да он и ружья-то солдатского зарядить не умеет, — добавил капрал, — ни в двенадцать темпов, ни вольно. Ведь это я ему сам шомполом пулю забил, которой он пруссака ухлопал.

— Да еще он всякому встречному и поперечному деньги свои показывает, — добавила маркитантка. — Как только нас с ним не будет, его дочиста оберут.

— Какой-нибудь вахмистр, — добавил капрал, — затащит его к себе в эскадрон, чтобы на его счет винцом угощаться, а может, еще и неприятель его переманит, — ведь нынче кругом изменники. Первый попавшийся прикажет ему идти за собой, он и пойдет. Лучше всего ему поступить в наш полк.

— Нет, уж, пожалуйста, капрал, — живо возразил Фабрицио. — На лошади гораздо удобнее, чем пешком. И к тому же я не умею заряжать ружье, а вы сами видели, что с лошадью я хорошо справляюсь.

Фабрицио очень гордился этой маленькой речью.

Мы не станем пересказывать читателю долгие прения между капралом и маркитанткой относительно дальнейшей судьбы нашего героя. Фабрицио заметил, что они в этом споре раза по

три, по четыре повторяли все обстоятельства его приключений: как заподозрили его солдаты, как жандарм продал ему подорожную и мундир, как он вчера оказался в эскорте маршала, как увидел мельком императора, как «подтибрили» у него лошадь и т. д. и т. д.

С чисто женским любопытством маркитантка то и дело возвращалась к обстоятельствам похищения той прекрасной лошади, которую он купил при ее содействии.

— Так ты, значит, почувствовал, что тебя схватили за ноги, тихонечко приподняли, пронесли над хвостом твоей лошади и посадили на землю?..

«Зачем столько раз повторять то, что всем нам троим уже хорошо известно?» — думал Фабрицио. Он еще не знал, что во Франции простые люди именно таким путем стараются набрести на какую-нибудь мысль.

— А сколько у тебя денег? — вдруг спросила у него маркитантка.

Фабрицио ответил, не колеблясь ни секунды: он был уверен в душевном благородстве этой женщины, — вот что выгодно отличает Францию.

— Осталось, пожалуй, тридцать наполеондоров и восемь или десять экю по пяти франков.

— В таком случае ты вольный сокол! — воскликнула маркитантка. — Брось ты эту разбитую армию, сверни вправо, выберись на первую попавшуюся дорогу, хорошенько настегивай лошадь и скачи все дальше и дальше от армии. Постарайся поскорее купить штатское платье. Как проедешь восемь или десять лье да увидишь, что кругом больше нет солдат, поезжай на почтовых в какой-нибудь хороший город, отдохни там недельку, поешь бифштексов. Только смотри никому не говори, что ты был в армии: жандармы сцапают тебя как дезертира, а ты хоть и славный мальчик, но еще нет у тебя смекалки, чтобы отвечать жандармам как надо. Как только оденешься опять в штатское, разорви солдатскую подорожную на тысячу клочков и назовись своей настоящей фамилией — Вази. А что ему говорить — откуда он приехал? — спросила она у капрала.

— Из Камбре на Шельде. Это хороший городок. Слыхал про него? Там еще собор есть и Фенелон[40].

— Правильно, — сказала маркитантка. — Нипочем не говори, что ты был в сражении, никому ни слова насчет Б*** и жандарма, который продал

---

[40] Примечания: 40

Фенелон (1651–1715) — французский писатель, автор «Приключений Телемака»; с 1694 года — архиепископ в г. Камбре на Шельде.

тебе подорожную. Если захочешь вернуться в Париж, поезжай сперва в Версаль[41] и с той стороны пройди через парижскую заставу; иди пешком, не торопясь, как будто возвращаешься с прогулки. Наполеондоры свои зашей в пояс панталон, а главное, когда будешь покупать что-нибудь, не показывай ты всех денег: вынимай столько, сколько надо заплатить. Вот что мне горько: обдерут тебя как липку, непременно обдерут. А что ты без денег будешь делать? Ведь ты вести себя совсем не умеешь? — и т. д.

Добрая маркитантка говорила еще очень долго; капрал только кивками подтверждал все ее поучения, не успевая вставить хоть слово. Вдруг густая толпа, двигавшаяся по большой дороге, сначала ускорила шаг, потом ринулась влево, через узкую придорожную канаву, и опрометью помчалась по полю. «Казаки! Казаки»! — кричали со всех сторон.

— Бери назад свою лошадь! — крикнула маркитантка.

— Боже сохрани! — сказал Фабрицио. — Скачите, спасайтесь! Я вам дарю ее. Хотите, дам денег на новую повозку? Половина того, что у меня

[41] Примечания: 41

Версаль — бывшая резиденция французских королей, в восемнадцати километрах от Парижа.

есть, — ваша.

— Говорят тебе, бери свою лошадь! — гневно кричала маркитантка и хотела было спрыгнуть наземь. Фабрицио выхватил саблю.

— Держитесь крепче! — крикнул он, плашмя ударил два-три раза саблей по лошади, и она вскачь понеслась вслед за беглецами.

Герой наш поглядел на дорогу, по которой только что двигалось три или четыре тысячи человек, густой толпой, как крестьяне в церковной процессии. От слова «казаки» дорога вмиг опустела, на ней не было ни души; беглецы побросали кивера, ружья, сабли и прочее снаряжение. Фабрицио, удивляясь, свернул вправо на распаханный пригорок, поднимавшийся над дорогой на двадцать — тридцать футов; он окинул взглядом всю дорогу и равнину, но не приметил и следа казаков. «Странные люди, эти французы! — сказал он про себя. — Но раз мне все равно надо идти направо, то отчего бы не отправиться сейчас же, — подумал он. — Не знаю какая, но, верно, есть же причина, что они вдруг все побежали». Он подобрал с земли ружье, проверил, заряжено ли оно, подсыпал пороху на полку, почистил кремень, затем выбрал себе туго набитый патронташ и снова оглянулся во все стороны, — он был совсем

один на этой равнине, недавно такой людной. Далеко-далеко впереди все еще мчались без оглядки беглецы, постепенно исчезая за деревьями. «Вот, право, странно»! — думал он. И вспомнив маневр, примененный накануне капралом, сел на землю посреди поля пшеницы. Он не хотел удаляться от дороги, так как надеялся увидеть своих друзей — маркитантку и капрала Обри.

Сидя в поле, он пересчитал деньги и убедился, что у него осталось не тридцать наполеондоров, как он думал, а только восемнадцать; но в запасе были еще маленькие бриллианты, которые он засунул за подкладку своих гусарских ботфортов в комнате Б-ой тюремщицы в то утро, когда она выпустила его. Он тщательно запрятал наполеондоры и снова стал размышлять о причинах такого внезапного бегства. «Может быть, это дурное предзнаменование для меня?» — думал он. Но больше всего он огорчался тем, что не спросил у капрала Обри, действительно ли он участвовал в сражении? Ему казалось, что да, и, будь он уверен в этом, он чувствовал бы себя счастливейшим человеком.

«А все-таки, — думал он, — в сражении я был под именем какого-то арестанта, у меня в кармане его подорожная, и даже хуже, — на мне

его одежда. Это роковая примета для моего будущего. Что сказал бы аббат Бланес? Бедняга Було умер в тюрьме! Право, все это зловещие предзнаменования: судьба готовит мне тюрьму!» Фабрицио отдал бы все на свете, чтобы узнать, действительно ли гусар Було был виновен. Он стал припоминать: кажется, тюремщица в Б. говорила ему, что гусара посадили в тюрьму не только за кражу серебряных столовых ложек, но еще и за то, что он украл крестьянскую корову и до полусмерти избил ее хозяина. Фабрицио не сомневался, что и его также когда-нибудь заключат в тюрьму за преступление, которое чем-то будет похоже на вину гусара Було. Он думал о своем друге, аббате Бланесе. Ах, если б можно было посоветоваться с ним! Затем он вспомнил, что не писал своей тетке, с тех пор как уехал из Парижа. «Бедная Джина!» — подумал он, и слезы навернулись у него на глаза. Но вдруг он услышал неподалеку легкий шум: какой-то солдат кормил в поле трех лошадей, держа их в поводу и сняв с каждой удила; лошади, видимо, умирали с голоду. Фабрицио взметнулся, как куропатка; солдат оторопел. Заметив это, наш герой поддался искушению разыграть на минутку роль гусара.

— Одна из этих лошадей принадлежит мне,

мерзавец! — закричал он. — Но так и быть, я дам тебе пять франков за то, что ты взял на себя труд привести ее сюда.

— Ты что? Смеешься надо мной? — сказал солдат.

Фабрицио прицелился в него на расстоянии шести шагов.

— Отдавай лошадь, а то застрелю!

У солдата ружье висело за единой, он передернул плечами, чтобы достать его.

— Только пошевелись, крышка тебе! — крикнул Фабрицио и бросился к нему.

— Ну ладно, давайте пять франков и берите одну из трех, — смущенно сказал солдат, с грустью взглянув на опустевшую, безлюдную дорогу.

Фабрицио, высоко подняв ружье левой рукой, правой бросил ему три монеты по пяти франков.

— Слезай, если тебе жизнь дорога… Взнуздай вороную и убирайся подальше с двумя другими… Если заартачишься, — пристрелю.

Солдат, ворча, повиновался. Фабрицио подошел к лошади и взял поводья в левую руку, не спуская глаз с медленно удалявшегося солдата. Когда тот отошел шагов на пятьдесят, Фабрицио ловко вскочил на лошадь. Но едва он уселся в седло и сунул правую ногу в стремя, как услышал свист

пролетевшей пули: солдат выстрелил в него из ружья. Фабрицио вне себя от гнева помчался в его сторону, но солдат побежал стремглав, и вскоре Фабрицио увидел, что он скачет на одной из оставшихся лошадей. «Ну, теперь его не догнать», — подумал Фабрицио. Купленная им лошадь оказалась отличной, но, видимо, была смертельно голодна. Фабрицио повернул к большой дороге, на которой по-прежнему не увидел ни души, пересек ее и рысцой пустил лошадь влево, к небольшой лощине, где надеялся найти маркитантку. Однако, въехав на бугор, он на расстоянии целого лье вокруг увидел только одинокие фигуры солдат. «Значит, не суждено мне встретиться с этой доброй, славной женщиной!» — подумал он со вздохом. Вдалеке, справа от дороги, он заметил ферму и направился туда. Он заплатил деньги вперед и, не слезая с лошади, велел задать ей овса: бедняжка так изголодалась, что грызла ясли. Час спустя Фабрицио уже ехал по большой дороге, все еще смутно надеясь найти маркитантку или хотя бы капрала Обри. Оглядываясь по сторонам, он ехал все дальше и добрался до болотистого берега какой-то речки, через которую был перекинут довольно узкий деревянный мост. Перед мостом, справа от дороги, одиноко

стояла харчевня под вывеской: «Белая лошадь». «Тут я пообедаю», — решил Фабрицио. У въезда на мост он заметил кавалерийского офицера с рукой на перевязи, понуро сидевшего на лошади; в десяти шагах от него трое кавалеристов без лошадей набивали трубки.

«Ну, эти люди, по-моему, весьма способны купить у меня лошадь еще дешевле, чем она мне досталась», — подумал Фабрицио.

Раненый офицер и трое солдат смотрели на него, словно поджидали, чтобы он подъехал. «А зачем мне этот мост? — думал наш герой. — Лучше свернуть вправо и ехать берегом; маркитантка, наверно, посоветовала бы мне выбрать именно этот путь, чтобы выйти из неприятного положения… Да, но если я обращусь в бегство, завтра мне будет очень стыдно; к тому же у моей лошади быстрые ноги, а у того офицера лошадь, видно, загнанная; если он вздумает ссадить меня с седла, я ускачу». Рассуждая таким образом, Фабрицио придерживал лошадь и ехал самым медленным шагом.

— Побыстрей подъезжайте, гусар! — повелительным тоном крикнул офицер.

Фабрицио проехал несколько шагов и остановился.

— Вы хотите отнять у меня лошадь? — крикнул он.

— Ни в коем случае! Подъезжайте.

Фабрицио посмотрел на офицера, — у него были седые усы и взгляд самый честный. Косынка, которая поддерживала его левую руку, вся пропиталась кровью, правая рука тоже была обмотана окровавленной тряпкой. «Ну не он, так солдаты схватят мою лошадь под уздцы», — подумал Фабрицио, но, приглядевшись, заметил, что солдаты тоже ранены.

— Во имя чести, — сказал ему офицер, на котором оказались полковничьи эполеты, — станьте здесь в карауле и говорите всем драгунам, егерям и гусарам, которых увидите, что вот в этой харчевне находится полковник Лебарон и он приказывает им присоединиться к нему.

У старого полковника был скорбный, удрученный вид, и он с первых же слов завоевал симпатию нашего героя, который ответил ему, однако, весьма рассудительно:

— Меня не послушают, сударь. Я слишком молод. Тут необходим собственноручный ваш приказ.

— Он прав, — сказал полковник, внимательно вглядываясь в Фабрицио. — Напиши приказ,

Лароз, у тебя правая рука в целости.

Лароз молча вынул из кармана записную книжку с листками пергамента, написал несколько строк и, оторвав листок, передал его Фабрицио; полковник повторил последнему свое распоряжение и добавил, что, как полагается, через два часа его сменит один из трех раненых кавалеристов. Сказав это, он ушел со своими людьми в харчевню. Фабрицио смотрел им вслед, неподвижно застыв у въезда на мост, — так поразила его мрачная и безмолвная скорбь трех раненых солдат. «Точно их околдовали злыми чарами», — думал он. Наконец, он развернул сложенный вдвое листок и прочел следующий приказ:

> «Полковник 6-го драгунского полка Лебарон, командир второй бригады первой кавалерийской дивизии 14-го армейского корпуса, приказывает всем кавалеристам, драгунам, егерям и гусарам не переезжать через мост и присоединиться к нему в его штаб-квартире, находящейся в харчевне „Белая лошадь“.

Дано в штаб-квартире у Сентского моста, 19 июня 1815 г.

За полковника Лебарона, раненного в правую руку, и по его приказу — вахмистр Ларoз».

Постояв в карауле у моста с полчаса, Фабрицио увидел шестерых конных егерей и трех пеших. Он объявил им приказ полковника.

— Мы сейчас вернемся, — сказали ему четверо конных и крупной рысью проехали через мост.

Фабрицио вступил в переговоры с двумя оставшимися верховыми. Поднялся горячий спор, а тем временем трое пеших егерей перешли через мост. Один из верховых потребовал, чтобы Фабрицио показал ему письменный приказ, и взял его, заявив:

— Я сейчас покажу его товарищам, и они обязательно вернутся. Ждите нас. Вернемся обязательно.

И он поскакал; его товарищ последовал за ним. Все это произошло в одно мгновение.

Взбешенный Фабрицио окликнул одного из раненых солдат, который показался в это время в окне харчевни. У этого солдата Фабрицио заметил нашивки вахмистра. Он вышел из харчевни

и, подойдя к Фабрицио, крикнул:

— Саблю наголо! Вы же в карауле.

Фабрицио исполнил приказание, потом сказал:

— Они увезли приказ.

— Еще сердятся за вчерашнее сражение, — мрачно сказал вахмистр. — Я вам дам один из моих пистолетов. Если вас опять не будут слушаться, выстрелите в воздух, — я выбегу или выйдет сам полковник.

Фабрицио отлично заметил, как вахмистр с удивлением поднял брови, услышав, что приказ увезли; он понял, что ему нанесено личное оскорбление, и дал себе слово больше не попасть впросак.

Вооружившись седельным пистолетом вахмистра, Фабрицио гордо занял караульный пост и вскоре увидел, что к мосту приближаются верхами семь гусаров. Он загородил им дорогу и объявил приказ полковника. Гусары выказали явное недовольство, и самый смелый из них попытался проехать. Вспомнив мудрый совет своей приятельницы-маркитантки, говорившей, что надо колоть, а не рубить, Фабрицио опустил клинок своей длинной прямой сабли и сделал вид, что хочет острием нанести удар нарушителю

приказа.

— А-а! желторотый убить нас хочет!.. — закричали гусары. — Мало, что ли, наших вчера поубивали?

Все семеро выхватили сабли и бросились на Фабрицио; он подумал, что пришел его последний час, но вспомнил удивленный взгляд вахмистра и решил не давать нового повода для презрения. Отступая к мосту, он старался колоть клинком нападающих. Он так забавно размахивал длинной и прямой кавалерийской саблей, слишком тяжелой для его руки, что гусары скоро поняли, с кем сражаются; они стремились теперь, не задевая его самого, изрезать на нем весь мундир. Три-четыре раза они оцарапали ему руку у плеча. А Фабрицио, следуя наставлениям маркитантки, с величайшим усердием старался колоть острием сабли. На свою беду, нанося удары, он и в самом деле ранил одного из верховых в кисть руки; гусар рассвирепел оттого, что его задел саблей неумелый молокосос, сделал выпад и ранил Фабрицио в ногу у бедра. Случилось это потому, что лошадь нашего героя не только не боялась схватки, но, видимо, находила в ней удовольствие и сама бросалась навстречу нападающим. А они, увидев, что у Фабрицио из правого плеча течет

по рукаву кровь и боясь, как бы игра не зашла слишком далеко, оттеснили его влево, к перилам, и ускакали. Едва только Фабрицио оказался на свободе, он выстрелил в воздух, чтобы вызвать полковника.

В это время к мосту приближались четыре конных гусара и двое пеших — все из того же полка; когда раздался выстрел, они были еще в двухстах шагах и внимательно следили за тем, что происходило на мосту; вообразив, что Фабрицио выстрелил в их товарищей, четверо верховых выхватили сабли и помчались прямо на него; это была настоящая атака. Полковник Лебарон, предупрежденный выстрелом, открыл дверь харчевни, сам бросился к мосту в ту минуту, когда прискакали туда гусары, и отдал им приказ остановиться.

— Нет здесь больше никаких полковников! — крикнул один из гусаров и пришпорил лошадь.

Полковник возмутился, прервал свою строгую речь и раненой правой рукой схватил его лошадь под уздцы.

— Стой, дрянной солдат! — крикнул он гусару. — Я тебя знаю, ты из роты капитана Анрие.

— Ну и что ж! Пусть-ка сам капитан отдает мне приказы! Капитана Анрие убили вчера, — доба-

вил он, язвительно ухмыляясь, — а ты убирайся к…

Сказав это, он решил прорваться и направил лошадь на полковника, тот свалился на мощеный подъезд у моста. Фабрицио, стоявший в двух шагах от него на самом мосту, но лицом к харчевне, увидел, как лошадь грудью толкнула полковника и тот упал, не выпуская из рук повода; в негодовании он подскакал к нападающему и острием сабли нанес ему сильный, прямой удар. К счастью, лошадь гусара, чувствуя, что ее тянет к земле повод, зажатый в руке полковника, дернулась в сторону, и длинное лезвие кавалерийской сабли Фабрицио, скользнув по пластрону гусара, только сверкнуло у самых его глаз; гусар в бешенстве повернулся, со всего размаха нанес удар, и клинок, разрезав рукав Фабрицио, глубоко вонзился ему в руку. Наш герой упал.

Один из пеших гусаров, увидев, что оба защитника моста лежат на земле, воспользовался случаем завладеть лошадью Фабрицио и, вскочив в седло, галопом пустил ее к мосту.

Из харчевни выбежал вахмистр, увидел упавшего полковника и решил, что его тяжело ранили. Он погнался за похитителем лошади и всадил саблю ему в спину. Тот упал. Гусары, видя, что у

моста остался только пеший вахмистр, пустили своих лошадей вскачь и умчались. Один из пеших гусаров удрал в поле.

Вахмистр подошел к раненым. Фабрицио уже поднялся на ноги; он не чувствовал сильной боли, хотя потерял много крови. Полковник встал с трудом, он не был ранен, а лишь оглушен падением.

— Ничего! — сказал он вахмистру. — Только рука болит от прежней раны.

Гусар, раненный вахмистром, умирал.

— А черт с ним! — крикнул полковник. — Позаботьтесь-ка лучше об этом юноше, которого я зря подвергнул опасности, — сказал он вахмистру и двум подбежавшим солдатам. — Я сам тут встану и постараюсь остановить этих бесноватых. Отведите юношу в харчевню и перевяжите ему руку, — возьмите для этого рубашку из моего белья.

5

Все это произошло в одну минуту. Раны Фабрицио оказались нетяжелыми; ему перевязали руку, разрезав на бинты рубашку полковника. Постель ему хотели устроить во втором этаже харчевни.

— Но пока тут станут меня пестовать, — сказал Фабрицио вахмистру, — моей лошади скучно будет одной в конюшне, и она уйдет с другим хозяином.

— Неплохая смекалка для новобранца, — сказал вахмистр.

И Фабрицио уложили на свежей соломе прямо в яслях, к которым была привязана его лошадь.

Он чувствовал большую слабость, поэтому вахмистр принес ему мисочку подогретого вина, а затем остался побеседовать с ним. В разговоре он несколько раз похвалил нашего героя, и тот вознесся на седьмое небо.

Фабрицио проснулся только на рассвете; лошади протяжно ржали, бились и топали; конюшня была полна дыма. Сперва Фабрицио не мог понять, откуда этот шум, не соображал даже, где он находится; наконец, едва не задохнувшись

от дыма, он догадался, что дом горит. Вмиг он был уже во дворе и сидел на лошади. Он поднял голову: дым валил из двух окон над конюшней, черные его клубы затягивали крышу и кружились вихрем. За ночь в харчевню «Белая лошадь» набралось не меньше сотни беглецов, все кричали и ругались. Пятеро-шестеро, которых успел разглядеть Фабрицио, явно были совсем пьяны; один из них хотел задержать его и кричал: «Куда ты ведешь мою лошадь?»

Проскакав четверть лье, Фабрицио обернулся и увидел, что за ним никто не гонится. Дом пылал. Фабрицио узнал мост, вспомнил о своей ране и только тогда почувствовал, как горит рука и больно стягивает ее перевязка. «А что сталось со стариком полковником? Он отдал свою рубашку, чтобы мне перевязали руку». Но в это утро наш герой проявлял удивительное хладнокровие: большая потеря крови избавила его от романтических свойств характера.

«Направо! — сказал он себе. — Подальше отсюда!» Он спокойно поехал берегом по дороге, которая ниже моста поворачивала вправо. Ему вспомнились советы доброй маркитантки. «Какой друг! — думал он. — Какая открытая душа!»

Проехав около часу, он вдруг ослаб. «Что это!

Неужто в обморок упаду? — думал он. — Если потеряю сознание, у меня украдут лошадь, да, пожалуй, еще и разденут, и тогда прощай моя казна!» У него уже не хватало сил править лошадью, он только старался как-нибудь удержаться в седле; какой-то крестьянин, вскапывавший поле около дороги, заметил его бледность и, подойдя к нему, дал ему кружку пива и кусок ржаного хлеба.

— Поглядел я на вас, — сказал крестьянин, — и думаю: «Бледный какой! Видно, из тех, что были вчера ранены в большом сражении».

Помощь пришла как нельзя более кстати. Когда Фабрицио поднес хлеб ко рту, у него уже было темно в глазах и кружилась голова. Подкрепившись, он поблагодарил крестьянина и спросил:

— Где я сейчас?

Крестьянин ответил, что отсюда недалеко до городка Зондерс, где ему окажут всякую помощь. Фабрицио добрался до этого городка, почти ничего не сознавая, думая только о том, как бы не упасть с лошади. Увидев широко открытые ворота, он въехал в них: это был трактир «Скребница». Тотчас из дому выбежала хозяйка, добрая толстуха необъятных размеров; дрожащим от жалости голосом она позвала на помощь. Две

молодых девушки помогли Фабрицио слезть с лошади, и, едва он ступил на землю, как сразу же лишился чувств. Позвали хирурга, тот пустил ему кровь; в течение нескольких дней Фабрицио не чувствовал, что с ним делают: он почти все время был в забытьи.

Колотая рана в бедре угрожала нагноением. Минутами Фабрицио приходил в сознание, тогда он просил, чтобы позаботились о его лошади, и все твердил, что хорошо заплатит; это обижало добрую хозяйку и ее дочерей. Уход за ним был прекрасный, и через две недели он мало-помалу начал поправляться, как вдруг однажды вечером заметил, что у его хозяек очень встревоженный вид. Вскоре в его комнату вошел немецкий офицер; немец о чем-то спрашивал, и ему отвечали на языке, не знакомом Фабрицио, но он сразу догадался, что речь идет о нем, и притворился спящим. Через некоторое время, решив, что офицер уже ушел, он позвал хозяек:

— Зачем приходил этот офицер? Меня хотят внести в список военнопленных и арестовать?

Хозяйка скрепя сердце подтвердила это.

— Послушайте, у меня в доломане спрятаны деньги, — воскликнул он, приподнявшись на постели. — Купите мне штатское платье, и нынче

же ночью я уеду верхом на своей лошади. Один раз вы уже спасли мне жизнь, приютив меня в тот день, когда я мог упасть и умереть на улице. Спасите меня еще раз! Помогите мне вернуться к матери!

Тут обе дочери хозяйки расплакались: они боялись за Фабрицио; а так как они плохо понимали по-французски, то подошли к постели и принялись расспрашивать его. Потом они стали о чем-то спорить с матерью по-фламандски и поминутно обращали на Фабрицио жалостливый взгляд; он понял, что его бегство может сильно повредить им, но они готовы подвергнуть себя опасности ради него. Он горячо благодарил их, прижав руки к груди. Еврей, проживавший в этом городке, раздобыл для него всю необходимую одежду и доставил ее в десять часов вечера; но когда хозяйские дочери сравнили принесенный редингот с доломаном Фабрицио, то увидели, что его необходимо ушить. Обе немедленно принялись за работу: времени нельзя было терять. Фабрицио показал, где у него спрятаны золотые, и попросил зашить их в купленную для него одежду. Вместе с платьем еврей принес и пару превосходных новых сапог. Фабрицио без малейших колебаний указал славным девушкам, где

надо разрезать его гусарские ботфорты, чтобы достать бриллианты, и их спрятали за подкладку новых сапог.

Большая потеря крови и слабость, которую это вызвало, привели к странному явлению: Фабрицио почти совсем забыл французский язык; он обращался к своим хозяйкам по-итальянски, а они говорили только на фламандском наречии, — словом, собеседники понимали друг друга лишь с помощью жестов. Когда девушки увидели бриллианты, то обе, хотя и были совершенно бескорыстны, пришли в безмерный восторг: они приняли Фабрицио за переодетого принца. Младшая и более наивная из двух сестер, Аникен, в простоте душевной расцеловала Фабрицио. Он же, со своей стороны, находил обеих сестер прелестными, и в полночь, когда хирург позволил ему для подкрепления сил перед дальней дорогой выпить немного вина, ему почти совсем не хотелось уезжать. «Где мне будет лучше, чем здесь?» — думал он. Все же около двух часов ночи он встал и оделся. Но, выходя из комнаты, он узнал от хозяйки, что его лошадь увел тот самый офицер, который несколько часов назад приходил с обыском.

— Ах, мерзавец! — выругался Фабрицио. —

Ограбил раненого!

Юный итальянец не был философом: он даже не вспомнил, как сам он «купил» эту лошадь.

Аникен, проливая слезы, сказала, что для него наняли лошадь. Ей жаль было расстаться с ним. Прощание было очень нежным. Два высоких молодца, родственники доброй хозяйки, подняли Фабрицио и подсадили в седло; дорогой они поддерживали его, чтобы он не упал с лошади, а третий провожатый шел на несколько сот шагов впереди маленького каравана и смотрел, нет ли на дороге сомнительных патрулей. Часа через два сделали привал в доме, принадлежавшем двоюродной сестре хозяйки «Скребницы». Как Фабрицио ни уговаривал своих спутников распрощаться с ним, они не согласились, заявив, что лучше их никто не знает лесных дорог и тропинок.

— Но завтра утром станет известно, что я бежал, а когда увидят, что и вас нет в городе, ваше отсутствие зам очень повредит! — говорил Фабрицио.

Снова пустились в путь. К счастью, перед рассветом равнину затянул густой туман. К восьми часам утра прибыли в маленький городок. Один из молодых людей пошел узнать, не отобрали ли почтовых лошадей. Оказалось, что смот-

ритель станции успел их угнать, а в конюшне поставил жалких кляч, которых где-то раздобыл. Отправились отыскивать лошадей в болотах, где они были спрятаны, и через три часа Фабрицио, приободрившись, сел в дрянной кабриолет, запряженный, однако, парой хороших почтовых лошадей. Минута прощания с молодыми людьми, родственниками хозяйки, была глубоко трогательной. Как ни старался Фабрицио найти удобный предлог, чтобы заплатить им, они отказались взять с него деньги.

— Вам, сударь, сейчас деньги нужнее, чем нам, — твердили эти славные люди.

Наконец, они отправились в обратный путь. Фабрицио, несколько возбужденный от дорожных волнений, послал с ними письма, в которых пытался излить все свои чувства к добрым хозяйкам. Он писал со слезами на глазах, и, несомненно, в его письме к юной Аникен сквозила любовь.

Весь остальной его путь прошел без особых приключений. Прибыв в Амьен, он стал чувствовать сильную боль от колотой раны в бедре; деревенский лекарь не позаботился хорошенько прочистить рану, и, несмотря на кровопускания, в ней образовался гнойник. За две недели, проведенные Фабрицио в гостинице, которую со-

держало жадное и льстивое семейство, союзники захватили Францию, а Фабрицио столько думал обо всем происшедшем, что стал как бы другим человеком. Он остался ребенком только в одном отношении: ему очень хотелось знать, было ли то, что он видел, действительно сражением и было ли это сражение — битвой при Ватерлоо. Впервые в жизни ему доставляло удовольствие чтение: он все надеялся отыскать в газетах или в рассказах об этой битве описание тех мест, по которым он проезжал в свите маршала Нея и другого генерала. Из Амьена он почти каждый день писал своим милым приятельницам, хозяйкам «Скребницы». Выздоровев, он немедленно переехал в Париж и в прежней своей гостинице нашел десятка два писем от матери и тетки, в которых обе они умоляли его поскорее вернуться. Последнее письмо графини Пьетранера содержало какие-то таинственные намеки, очень его встревожившие. Письмо это прогнало прочь все нежные мечтания Фабрицио. При его складе характера достаточно было одного слова, чтобы он увидел впереди величайшие для себя бедствия, а дальше начинало работать воображение и рисовало ему ужасающие подробности этих бедствий.

«Ни в коем случае не подписывай письма, в которых подаешь нам вести о себе, — писала графиня. — Ни в коем случае не приезжай прямо на озеро Комо: остановись в Лугано, на швейцарской территории». В этот городок он должен приехать под фамилией Кави; в лучшей гостинице его ждет бывший лакей графини, который передаст ему на словах, что делать дальше. Письмо кончалось следующими строками:

«Скрывай от всех свой безумный поступок и, главное, не носи при себе никаких бумаг — ни печатных, ни рукописных: в Швейцарии ты будешь окружен друзьями св. Маргариты[42]. Если у меня будут деньги, — писала графиня, — я пошлю кого-нибудь в Женеву, в гостиницу „Весы“, и тогда тебе сообщат кое-какие подробности, о которых я не могу писать, а между тем тебе необходимо узнать их до твоего возвращения. Но ради бога, не задерживайся ни одного дня в Париже: тебя

---

[42] Примечания: 42

Благодаря г-ну Пеллико[43] это наименование приобрело европейскую известность; так называется в Милане улица, где находятся здание полиции и тюрьма (*прим. авт.*).

[43] Примечания: 43

Пеллико, Сильвио (1789–1854) — итальянский писатель, член тайной организации карбонариев. Девять лет пробыл в заключении в моравской крепости Шпильберг, превращенной Австрией в тюрьму. В своих воспоминаниях «Мои темницы» часто обозначает миланскую полицию названием улицы, на которой она помешалась.

опознают там наши шпионы».

Воображение Фабрицио создавало события самые фантастические, и его занимало теперь только одно: о каких загадочных обстоятельствах хотела сообщить ему тетка. Он немедленно выехал из Франции; там дорогой до границы его два раза арестовывали, но он сумел выпутаться; этими неприятностями он обязан был своему итальянскому паспорту и странному званию «торговец барометрами», совсем не вязавшемуся с его юным лицом и рукой на перевязи.

Наконец, он прибыл в Женеву, встретился со слугой своей тетки, и тот сообщил, по ее поручению, что в миланскую полицию донесли, будто Фабрицио был послан к Наполеону с какими-то предложениями от тайного общества заговорщиков, существующего в бывшем Итальянском королевстве. «Если бы цель его путешествия была иной, — говорилось в доносе, — зачем же он принял чужую фамилию?» Маркиза дель Донго пытается доказать истину, а именно: 1) что Фабрицио никуда не уезжал из Швейцарии; 2) что он неожиданно ушел из дому, поссорившись со своим старшим братом.

Фабрицио с гордостью слушал этот рассказ. «Значит, меня почитают кем-то вроде посла при

Наполеоне!.. — думал он. — Мне будто бы выпала честь говорить с этим великим человеком! Вот дал бы бог!» Он вспомнил, что его предок в седьмом колене — внук дель Донго, прибывшего в Милан в свите Сфорцы, удостоился чести лишиться головы, ибо враги герцога захватили его, когда он пробирался в Швейцарию для передачи предложений великодушным кантонам и для вербовки солдат. Перед глазами Фабрицио встала гравюра в родословной дель Донго, изображавшая это событие. Расспрашивая лакея, Фабрицио узнал одну подробность, о которой тот в порыве негодования рассказал, вопреки неоднократным запретам графини: донос в миланскую полицию сделал его старший брат Асканьо. Это страшное известие привело в исступление нашего героя. Путь из Женевы в Италию идет через Лозанну; Фабрицио решил отправиться немедленно и проделать пешком переход в десять или двенадцать лье, хотя самое большее через два часа в Лозанну должен был выехать дилижанс. В Женеве, в одной из унылых швейцарских кофеен, он на прощанье затеял ссору с каким-то молодым человеком, который, как заявил Фабрицио, «весьма странно» смотрел на него. Это было совершенно верно, — молодой обыватель

Женевы, человек флегматичный, положительный и помышлявший только о деньгах, принял его за сумасшедшего: Фабрицио бросал на всех сидевших в кофейне свирепые взгляды и пролил на свои панталоны чашку кофе, которую ему подали. В этой ссоре первый порыв Фабрицио был вполне в духе XVI века: вместо того чтобы завести речь о дуэли, он выхватил кинжал и бросился на молодого женевца с намерением заколоть его. В пылу возмущения Фабрицио позабыл все преподанные правила чести: в нем заговорил инстинкт или, вернее, воспоминания детства.

Доверенный человек графини, с которым он встретился в Лугано, еще более разжег его ярость, сообщив ему новые подробности. Фабрицио любили в Грианте, никто там не проговорился, — все притворялись, будто верят, что он уехал в Милан, и, если б не усердная помощь брата, миланская полиция никогда не обратила бы внимания на его отсутствие.

— Таможенной охране наверняка сообщили ваши приметы, — сказал Фабрицио посланец его тетушки, — если мы пойдем по большой дороге, на границе Ломбардо-Венецианского королевства вас арестуют.

Фабрицио и его спутники прекрасно знали

каждую тропинку в горах, отделяющих Лугано от озера Комо; они оделись охотниками — иначе говоря, контрабандистами, а так как их было трое и выражение лиц было у них довольно решительное, стражники, повстречавшиеся им, только поздоровались с ними. Фабрицио постарался явиться в замок лишь около полуночи, — в этот час его отец и все лакеи с пудреными волосами уже давно спали. Он без труда спустился в глубокий ров и пробрался в замок через подвальное окошко; в подвале его уже дожидались мать и тетка, вскоре прибежали сестры. Долго чередовались восторги, нежности, слезы, а когда пятеро счастливцев, не веривших своему счастью, обрели, наконец, способность говорить рассудительно, первые проблески зари указали им, что время несется стрелой.

— Надеюсь, твой брат не догадывается, что ты вернулся, — сказала графиня Пьетранера. — После его благородного поступка я перестала с ним разговаривать, и, к великой моей чести, это уязвило его самолюбие. Нынче вечером я удостоила его беседой: мне нужен был какой-нибудь предлог, чтобы скрыть свою безумную радость, иначе она могла вызвать у него подозрения. Заметив, как он гордится моей мнимой дружбой,

я воспользовалась его веселым расположением духа и за ужином подпоила его, — сегодня он не вздумает притаиться; где-нибудь в засаде и шпионить по своему обычаю.

— Нашего гусара надо спрятать у тебя в комнатах, — сказала маркиза, — ему нельзя сейчас уйти. От волнения мы не можем собраться с мыслями, а ведь надо придумать, как нам перехитрить эту ужасную миланскую полицию.

Так и было сделано; но на другой день маркиз и его старший сын заметили, что маркиза безвыходно сидит в комнате золовки. Мы не будем останавливаться на описании порывов нежности и радости, которым все еще предавались эти создания, чувствовавшие себя теперь вполне счастливыми. Сердца итальянцев гораздо более, чем наши, терзаются подозрениями и безумными фантазиями, порожденными пылким воображением, зато и радость они переживают сильнее и дольше, чем мы. В тот день графиня и маркиза как будто лишились рассудка. Фабрицио пришлось еще раз рассказать о всех своих приключениях. Наконец, решено было отправиться в Милан, чтоб укрыть там свою радость, — настолько им казалось трудным таить ее дольше от полицейского надзора самого маркиза и его

сына Асканьо.

Добраться до Комо решили на своей лодке, — иной способ вызвал бы тысячу подозрений. Но когда причалили к пристани в Комо, маркиза вдруг «вспомнила», что позабыла в Грианте весьма нужные ей бумаги, и поспешила послать за ними гребцов, поэтому они не могли никому рассказать, как провели обе дамы время в этом городе. А они, тотчас по прибытии, наняли одну из колясок, которые поджидают седоков у высокой средневековой башни, возвышающейся над воротами миланской заставы. Из города выехали тотчас же, так что кучер не успел ни с кем и словом перемолвиться. Проехав с четверть лье, дамы встретили знакомого молодого охотника, и тот, видя, что они едут одни, любезно предложил проводить их до ворот Милана, так как сам собирался поохотиться в его окрестностях. Все шло отлично, и дамы превесело разговаривали со своим молодым спутником, как вдруг на том повороте, где дорога огибает очаровательный лесистый холм Сан-Джованни, три жандарма выскочили из засады и схватили лошадей под уздцы.

— Ах, муж выдал нас! — воскликнула маркиза и лишилась чувств.

Жандармский вахмистр, стоявший немного поодаль, подошел, пошатываясь, к экипажу и сказал пьяным голосом:

— Весьма огорчен возложенным на меня поручением, но вынужден вас арестовать, генерал Фабио Конти.

Фабрицио решил, что вахмистр в насмешку назвал его генералом. «Я тебе отплачу за это», — говорил он про себя. Он внимательно смотрел на жандармов, выжидая удобной минуты, чтобы выпрыгнуть из коляски и помчаться полем.

Графиня, улыбаясь на всякий случай, сказала вахмистру:

— Что это вы, любезный! Неужели вы принимаете за генерала Конти вот этого шестнадцатилетнего юношу?

— А вы разве не дочь генерала? — спросил вахмистр.

— Посмотрите хорошенько на моего отца, — сказала графиня, указывая на Фабрицио.

Жандармы захохотали во все горло.

— Прошу не рассуждать! Предъявите паспорта!.. — потребовал вахмистр, обиженный всеобщей веселостью.

— Наши дамы не берут с собой паспортов, когда едут в Милан, — с невозмутимым спокойствием

сказал кучер. — Они едут из своего поместья Грианта. Вот эта дама — графиня Пьетранера, а та — маркиза дель Донго.

Огорошенный вахмистр подошел к жандармам, державшим под уздцы лошадей, и стал совещаться с ними. Совещание длилось минут пять, но графиня прервала его, попросив, чтобы кучеру разрешили проехать несколько шагов и поставить коляску в тень. Солнце палило нещадно, хотя было только одиннадцать часов утра. Фабрицио зорко поглядывал во все стороны, отыскивая путь к бегству, и увидел, как полевой тропинкой на пыльную большую дорогу вышла молоденькая девушка лет четырнадцати — пятнадцати, которая тихонько плакала, закрывая лицо платком. Она шла между двумя жандармами, а за нею также под конвоем двух жандармов с подчеркнутой важностью выступал сухопарый высокий человек, словно префект в торжественной процессии.

— Где это вы их нашли? — спросил вахмистр, которого совсем разобрал хмель.

— Бежали через поле, и паспортов никаких при них нет.

Вахмистр, видимо, совсем потерял голову: вместо двух пленников, которых надобно бы-

ло захватить, у него оказалось целых пять. Он отошел со своим штабом на несколько шагов, оставив только двух человек: одного, чтобы стеречь величественного арестанта, и другого — держать лошадей.

— Останься! — шепнула графиня Фабрицио, видя, что он выскочил из коляски. — Все обойдется.

Слышно было, как один из жандармов кричал:

— Все равно! Паспортов у них нет? Нет. Значит, правильно мы их задержали.

У вахмистра, казалось, не было такой уверенности, — фамилия графини Пьетранера встревожила его: он знал графа Пьетранера, но о смерти графа ему не было известно.

«Генерал не такой человек, чтоб простить обиду, ежели я некстати арестую его жену!» — думал он.

Во время этих долгих обсуждений графиня завязала разговор с молодой девушкой, стоявшей около коляски на пыльной дороге, — графиню поразила ее красота.

— У вас заболит голова от солнца, синьорина. Этот славный солдат, — добавила она, посмотрев на жандарма, державшего лошадей, — конечно, позволит вам сесть в коляску.

Фабрицио, который бродил вокруг экипажа,

подошел, чтобы помочь девушке. Он поддержал ее под руку, и девушка уже ступила на подножку, как вдруг ее величественный спутник, стоявший в шести шагах от коляски, крикнул сиплым от важности басом:

— Стойте на дороге, неприлично садиться в чужой экипаж.

Фабрицио не расслышал этого приказа. Девушка сразу повернулась и спрыгнула с подножки, а так как Фабрицио все еще поддерживал ее, она упала в его объятия. Он улыбнулся, она густо покраснела, и, когда соскользнула на землю, они еще одно мгновение глядели друг на друга.

«У меня была бы очаровательная подруга в тюрьме! — подумал Фабрицио. — Какая глубина мысли начертана на ее челе!.. Она рождена для большой любви».

Подошел вахмистр и спросил властным тоном:

— Которая из дам Клелия Конти?

— Я, — ответила девушка.

— А я — генерал Фабио Конти, — воскликнул важный старик. — Я камергер его высочества принца Пармского. Я считаю просто недопустимым, чтобы с человеком моего звания обращались словно с каким-нибудь вором.

— Позавчера, когда вы садились в лодку на

пристани в Комо, вы послали к черту инспектора полиции за то, что он потребовал у вас паспорт. А сегодня он вас пошлет прогуляться под конвоем.

— Мы тогда уже отплыли от берега, я спешил, потому что надвигалась гроза. Какой-то человек в штатском крикнул мне с пристани, чтобы я вернулся, я ему назвал себя, и мы поплыли дальше.

— А нынче утром вы убежали из Комо.

— Люди моего звания не берут паспортов, когда едут из Милана посмотреть на озеро. Сегодня утром в Комо мне сказали, что на заставе меня арестуют. Я вышел из города пешком вместе с дочерью, надеясь встретить на дороге какой-нибудь экипаж, который довезет меня до Милана, а там я немедленно подам жалобу генерал-губернатору провинции.

У вахмистра, видимо, гора с плеч свалилась.

— Ну, генерал, вы арестованы, и я отвезу вас в Милан. А вы кто такой? — спросил он Фабрицио.

— Мой сын, — ответила графиня. — Асканьо, сын дивизионного генерала Пьетранера.

— Без паспорта, графиня? — спросил вахмистр, сразу смягчившись.

— Он так молод, что еще не брал паспорта. Он никогда не путешествует один, а только со мной.

Во время этого допроса генерал пререкался

с жандармами, выказывая все более и более оскорбленное достоинство.

— Что столько слов тратить? — сказал один из жандармов. — Вы арестованы. И баста.

— Скажите еще спасибо, — заметил вахмистр, — что мы разрешаем вам нанять у какого-нибудь крестьянина лошадь, а то, несмотря на пыль и жару и на ваше камергерское звание, пришлось бы вам шагать пешком, а мы ехали бы по бокам у вас на лошадках.

Генерал начал браниться.

— Эй, замолчи лучше! — оборвал его жандарм. — Где твой генеральский мундир? Этак всякий проходимец может генералом назваться.

Генерал совсем вышел из себя. А в коляске тем временем дела шли превосходно.

Графиня уже распоряжалась жандармами, словно своими слугами. Она дала экю одному из них и послала его в таверну, видневшуюся в двухстах шагах, велев принести оттуда вина и, главное, холодной воды. Улучив минутку, она успокоила Фабрицио, который упорно хотел удрать в лес, покрывавший холм. «У меня хорошие пистолеты», — говорил он. От разгневанного генерала графиня добилась, чтобы он разрешил дочери сесть в коляску. По этому поводу генерал,

любивший поговорить о себе и своей родне, сообщил дамам, что его дочери исполнилось только двенадцать лет, ибо она родилась 27 октября 1803 года, но она такая умница, что все дают ей четырнадцать и даже пятнадцать лет.

«Какой ограниченный человек!» — говорили глаза графини и маркизы. Благодаря графине все уладилось после переговоров, тянувшихся целый час. У одного из жандармов вдруг оказалось какое-то дело в соседней деревне, когда графиня сказала ему: «Получите десять франков», — и он уступил свою лошадь генералу Конти.

Вахмистр уехал с генералом, а все остальные жандармы расположились под деревом в компании четырех большущих бутылей, оплетенных соломой, которые принес с помощью крестьянина жандарм, посланный в таверну. Надутый камергер разрешил Клелии Конти занять место в коляске любезных дам, чтобы возвратиться в Милан, а «сына» храброго генерала Пьетранера блюстители порядка и не подумали арестовать. После первых минут пути, посвященных обмену учтивыми словами и обсуждению нежданного происшествия, Клелия Конти заметила, что графиня, такая красавица, смотрит на Фабрицио странным, восторженным взглядом, — разуме-

ется, она не мать ему, Особенно же пробудили в ней любопытство неоднократные намеки на какой-то героический, отважный и в высшей степени опасный поступок, который он недавно совершил; но при всем своем уме Клелия не могла угадать, о чем шла речь.

Она с удивлением рассматривала юного героя, и ей казалось, что его глаза еще горят огнем недавних подвигов. А он был несколько смущен необыкновенной красотой этой двенадцатилетней девочки, красневшей от его восхищенных взглядов.

Не доезжая одного лье до Милана, Фабрицио сказал, что хочет навестить своего дядю, и простился с дамами.

— Если я выпутаюсь из этой истории, — сказал он Клелии, — я приеду в Парму полюбоваться прекрасными картинами в ее галереях. Удостойте запомнить мое имя: Фабрицио дель Донго.

— Отлично! — воскликнула графиня. — Вот как ты умеешь хранить свое инкогнито! Синьорина, удостойте, пожалуйста, запомнить, что этот гадкий мальчик — мой сын и фамилия его — Пьетранера, а вовсе не дель Донго.

Вечером, очень поздно, Фабрицио вошел в Милан через ворота Ранци, которые ведут к

бульвару, модному месту прогулок. Отправка двух слуг в Швейцарию истощила скудные сбережения маркизы и ее золовки, но, к счастью, у Фабрицио еще осталось несколько наполеондоров и один бриллиант, который решено было продать.

Обеих дам знали в городе и любили. Самые влиятельные и благочестивые особы из австрийской партии стали хлопотать за Фабрицио перед бароном Биндером, начальником полиции. Эти господа, по их заверениям, не понимали, как можно принять всерьез выходку шестнадцатилетнего мальчика, который поссорился со старшим братом и убежал из родительского дома.

— Моя обязанность все принимать всерьез, — кротко ответил Биндер, человек благоразумный и унылый. Он в ту пору учредил пресловутую миланскую полицию и поставил своей задачей предотвратить революцию, подобную той, что в 1746 году изгнала австрийцев из Генуи[44]. Миланская полиция, которую приключения гг.

[44] Примечания: 44

Во время войны за австрийское наследство (1740–1748) Генуя подвергалась систематическому разграблению со стороны австрийцев и была обложена тяжелой контрибуцией. Восставшие в декабре 1746 года генуэзцы изгнали австрийцев из города и провозгласили республику.

Пеллико и Андриана[45] сделали знаменитой, не была жестокой в точном смысле этого слова: она методически и безжалостно следовала суровым законам. Император Франц II[46] хотел потрясти ужасом дерзкие умы итальянцев.

— Представьте мне «засвидетельствованные показания» о том, что делал юный маркезино дель Донго, — твердил барон Биндер покровителям Фабрицио, — да, день за днем, начиная с восьмого марта, когда он ушел из Грианты, и до вчерашнего вечера, когда он явился в Милан, где теперь скрывается в одном из покоев своей матери, — и я готов считать его самым милым проказником из молодых людей этого города. Если же вы не можете указать мне в точности ежедневное его местопребывание со времени ухода из Грианты, то, невзирая на его высокое происхождение и на все мое уважение к друзьям его семьи, мой долг арестовать его. И мне при-

---

[45] Примечания: 45

Андриан, Александр (1797–1862) — итальянский революционер — карбонарий, француз по происхождению; был приговорен к тюремному заключению в Шпильберге, где пробыл восемь лет. В 1837–1838 годах вышли в свет его «Memoires d'un prisonnier d'Etat».

[46] Примечания: 46

Франц II (1768–1835) — последний император Священной Римской империи Германской нации, как австрийский император именовался Францем I, один из главнейших вдохновителей феодальной реакции в борьбе с революционной Францией.

дется держать его в тюрьме до тех пор, пока он не представит доказательств, что он вовсе не ездил к Наполеону с поручением от тех немногих недовольных, которые, возможно, имеются в Ломбардии среди подданных его императорского и королевского величества. Заметьте также, господа, что, если молодому дель Донго и удастся отклонить от себя это обвинение, он все же бесспорно виновен в том, что перешел границу, не испросив предписанного законом паспорта, под чужим именем, преднамеренно воспользовавшись паспортом простого ремесленника, то есть человека, принадлежащего к низкому общественному классу, что совершенно недостойно дворянина.

Это неумолимо логическое разъяснение сделано было начальником полиции со всей учтивостью и почтительностью, какой требовало положение маркизы дель Донго и высокопоставленных ее заступников.

Маркиза пришла в отчаяние, когда ей сообщили ответ барона Биндера.

— Фабрицио арестуют! — воскликнула она и залилась слезами. — А если его посадят в тюрьму, бог знает, когда он выйдет оттуда! Отец отречется от него.

Г-жа Пьетранера и ее невестка собрали на совет двух-трех близких друзей; вопреки их уговорам, маркиза настаивала, чтобы ее сын уехал в ту же ночь.

— Но ты же видишь, — говорила графиня, — барон Биндер знает, что твой сын находится здесь; он совсем не злой человек.

— Не злой, но он хочет угодить императору Францу.

— Однако, если бы барон считал выгодным для своей карьеры посадить Фабрицио в тюрьму, он уже сделал бы это. Устроить побег Фабрицио, значило бы выказать барону оскорбительное недоверие.

— Но когда он намекал, что ему известно, где сейчас прячется Фабрицио, он этим ясно говорил нам: «Увезите его!» Нет, я не могу жить с постоянной мыслью: «Через четверть часа моего сына, может быть, заточат в тюрьму!» Каковы бы ни были честолюбивые цели барона Биндера, — добавила маркиза, — ему в интересах своего личного положения в нашей стране выгодно подчеркивать благожелательность к людям такого ранга, как мой муж, и доказательство этого — удивительная откровенность, с которой он сообщил, что знает, где можно застигнуть моего

сына. Мало того, с необычайной любезностью он точно изложил, в каких двух преступлениях обвиняют Фабрицио по доносу его недостойного брата, и объяснил, что за каждое из этих преступлений грозит тюрьма, — а разве этим он не сказал нам: «Может быть, вы предпочтете изгнание? Выбирайте сами».

— Если ты выберешь изгнание, — твердила графиня, — мы больше никогда, в жизни не увидим Фабрицио.

Фабрицио, присутствовавший при этих переговорах вместе с одним из старых друзей маркизы, в ту пору советником трибунала, учрежденного Австрией, решительно высказал намерение бежать; и действительно, в тот же вечер он выехал из дворца, спрятавшись в карете, которая повезла в театр Ла Скала его мать и тетку. Кучеру не доверяли, но когда он отправился, как обычно, посидеть в кабачке, а лошадей остался стеречь лакей, человек надежный, Фабрицио, переодетый крестьянином, выскочил из кареты и ушел из города. На следующий день он так же благополучно перешел границу и через несколько часов приехал в пьемонтское поместье своей матери, находившееся близ Новары, — в Романьяно, где

был убит Баярд[47].

Легко представить себе, как внимательно графиня и ее невестка слушали оперу, сидя в ложе театра Ла Скала. Они отправились туда лишь для того, чтобы посоветоваться с друзьями, принадлежавшими к либеральной партии, ибо полиция могла косо взглянуть на их появление во дворце дель Донго. Решено было еще раз обратиться к барону Биндеру; о подкупе не могло быть и речи, — этот сановник был человек вполне честный, и к тому же обе дамы совсем обеднели: они заставили Фабрицио взять с собою все деньги, оставшиеся от продажи бриллианта. Однако очень важно было узнать последнее слово барона. Друзья напомнили графине о некоем каноннике Борда, весьма любезном молодом человеке, который когда-то ухаживал за ней и поступил довольно гадко: не добившись успеха, он донес генералу Пьетранера о ее дружбе с Лимеркати и за это был изгнан из дома, как презренное существо. Но теперь этот каноник каждый вечер играл в тарок с баронессой Биндер и, конечно, был другом ее мужа. Графиня решилась, как это

[47] Примечания: 47

Баярд, Пьер дю Терайль (ок.1473–1524) — французский полководец эпохи итальянских войн Людовика XII и Франциска I. Убит при переправе через Сезию, близ Романьяно.

ни было для нее тягостно, посетить каноника и на следующее утро, в ранний час, когда он еще не выходил из дому, приказала доложить о себе.

Когда единственный слуга каноника произнес фамилию посетительницы, Борда от волнения лишился голоса и даже позабыл исправить беспорядок своего домашнего одеяния, довольно небрежного.

— Попросите пожаловать и убирайтесь вон, — сказал он слабым голосом.

Графиня вошла; Борда бросился на колени.

— Только на коленях несчастный безумец должен выслушать ваши приказания, — сказал он.

В то утро, одетая с нарочитой простотой, чтобы не привлекать к себе внимания, она была неотразима. Глубокая скорбь, вызванная изгнанием Фабрицио, насилие над собой, которое она совершила, решившись прийти к человеку, подло поступившему с ней, — все это зажгло ослепительным огнем ее глаза.

— На коленях хочу я выслушать ваши приказания! — воскликнул каноник. — Несомненно, вы желаете попросить меня о какой-нибудь услуге, иначе вы не почтили бы своим посещением дом несчастного безумца. Когда-то, пылая любовью и ревностью, отчаявшись завоевать ваше сердце, я

гнусно поступил с вами.

Слова эти были искренни и тем более благородны, что теперь каноник пользовался большой, властью; графиню они тронули до слез; унижение, страх леденили ее душу, и вот в один миг их сменили умиление и проблеск надежды. Только что она была глубоко несчастна и вдруг почувствовала себя почти счастливой.

— Поцелуй мою руку, — сказала она канонику, — и встань. (Надо помнить, что в Италии обращение на «ты» свидетельствует об искренней дружбе, так же как говорит о чувстве более нежном.) Я пришла попросить тебя о милости для моего племянника Фабрицио. Как старому своему другу, я расскажу тебе всю правду без утайки. Фабрицио шестнадцать с половиной лет, он недавно совершил неслыханное безумство. Мы были в поместье Грианта, на берегу озера Комо. Однажды в семь часов вечера лодка из Комо доставила нам известие о высадке императора в бухте Жуан. На другое же утро Фабрицио отправился во Францию, раздобыв себе паспорт у своего приятеля, какого-то простолюдина по фамилии Вази, который торгует барометрами. Наружность у Фабрицио совсем не подходящая для торговца барометрами, и, едва он проехал

по Франции десять лье, его арестовали: его восторженные речи на плохом французском языке показались подозрительными. Через некоторое время он бежал и добрался до Женевы; мы послали навстречу ему в Лугано…

— В Женеву, хотите вы сказать, — улыбаясь, поправил ее каноник.

Графиня докончила свой рассказ.

— Для вас я сделаю все, что доступно силам человеческим, — с жаром сказал каноник. — Я всецело в вашем распоряжении. Я даже готов пойти на безрассудства. Укажите, что мне надо делать с той минуты, когда из этой жалкой гостиной исчезнет небесное видение, озарившее мою жизнь.

— Сходите к барону Биндеру, скажите ему, что вы любите и знаете Фабрицио со дня его рождения, что он рос у вас на глазах, так как вы постоянно бывали в нашем доме; во имя дружбы, которой барон удостоил вас, умоляйте его, чтобы он через всех своих шпионов разузнал, была ли у Фабрицио перед его отъездом в Швейцарию хотя бы одна-единственная, краткая встреча с кем-нибудь из либералов, находящихся под надзором. Если у барона расторопные помощники, он увидит, что тут можно говорить только о чи-

сто юношеской опрометчивости. Вы помните, конечно, что у меня в прежних моих пышных апартаментах, во дворце Дуньяни, висели на стенах гравюры, изображавшие сражения, выигранные Наполеоном; разбирая по складам подписи под этими гравюрами, мой племянник выучился читать. Когда ему было пять лет, мой покойный муж рассказывал ему об этих битвах; мы надевали ему на голову каску моего мужа; малыш волочил по полу его большую саблю. И вот в один прекрасный день он узнает, что император Наполеон, кумир моего мужа, вернулся во Францию; юный сумасброд помчался туда, чтобы присоединиться к своему герою, но это ему не удалось. Спросите барона, какую кару он придумал для Фабрицио за это минутное безумие.

— Я забыл показать вам кое-что! — воскликнул каноник. — Вы сейчас увидите, что я хоть немного достоин прощения, которое вы даровали мне. Вот, — сказал он, перебирая бумаги, лежавшие на столе, — вот донос этого подлого coltorto (лицемера); взгляните на подпись «Асканьо Вальсерра дель Донго», — он-то и затеял все это дело. Вчера я взял его донос в канцелярии полиции и отправился в театр, надеясь встретить кого-нибудь из обычных посетителей вашей ложи и через него

передать вам содержание этой бумаги. Копия ее уже давно находится в Вене. Вот враг, с которым надо бороться.

Каноник прочел графине донос; было условлено, что днем он пришлет ей копию через надежного посредника. С радостью в сердце вернулась графиня во дворец дель Донго.

— «Прежний негодяй» стал совершенно порядочным человеком! — сказала она маркизе. — Сегодня вечером мы поедем в Ла Скала; когда часы в театре покажут одиннадцать без четверти, мы удалим всех из нашей ложи, погасим свет, запрем дверь, а в одиннадцать часов придет сам каноник рассказать, что ему удалось сделать. Мы с ним решили, что это будет наименее опасно для него.

Каноник был очень умен: он не преминул прийти на условленное свидание, проявил большую доброту и полнейшее чистосердечие, что встречается лишь в тех странах, где тщеславие не властвует над всеми другими чувствами. Воспоминание о доносе на графиню, который он сделал когда-то генералу Пьетранера, жестоко мучило его; теперь он нашел средство избавиться от укоров совести.

Утром, когда графиня ушла от него, он подумал: «Ну вот… Конечно, у нее роман с племянником!»

Он подумал это с горечью, так как еще не исцелился от былой страсти.

«Такая гордая женщина и вдруг пришла ко мне!.. После смерти бедняги Пьетранера она с ужасом отвергла предложения услуг, весьма учтивые и весьма деликатно переданные ей от меня полковником Скотта, ее бывшим любовником. Прекрасная, графиня Пьетранера предпочла жить на пенсию в полторы тысячи франков! — вспоминал каноник, взволнованно шагая по комнате. — А затем она уехала в Грианту. Как она могла выносить общество этого гнусного seccatore[48] маркиза дель Донго? Все теперь понятно. В самом деле, у этого юного Фабрицио столько достоинств: высокий рост, стройный стан, веселая улыбка, а лучше всего у него взгляд, полный томной неги, и выражение лица, как на полотнах Корреджо»[49], — с горечью думал каноник.

«Разница в возрасте?.. Но она не так уж велика. Фабрицио родился вскоре после вступления французов, — помнится, в девяносто восьмом

---

[48] Примечания: 48

Нахала (*итал.*).

[49] Примечания: 49

Корреджо, Антонио Аллегри (ок.1494–1534) — известный итальянский живописец эпохи Возрождения.

году, а графине сейчас двадцать семь — двадцать восемь лет, и невозможно быть милее и краше ее. Сколько в нашей стране красавиц, но она всех затмевает. Марини, Герарди, Руга, Арези, Пьетрагруа не могут с ней сравниться… Влюбленные жили счастливо, вдали от света, на берегу чудесного озера Комо, и вдруг этот юноша все бросает и бежит к Наполеону… Право, есть еще отважные души в Италии, что бы с ней ни делали!.. Дорогая отчизна!.. Да, да, — подсказывало ему сердце, пылающее ревностью, — решительно нельзя объяснить иначе эту смиренную готовность прозябать в деревне и ежедневно с отвращением видеть за каждой трапезой ужасную физиономию маркиза дель Донго и вдобавок гнусную бледную образину Асканьо, который будет еще подлее своего папаши… Ну что ж, я честно послужу ей. По крайней мере буду теперь иметь удовольствие смотреть на нее в театре не только в зрительную трубку».

Каноник Борда обстоятельно объяснил дамам положение дела. В глубине души Биндер весьма к ним расположен; он очень рад, что Фабрицио успел удрать, пока еще не пришло распоряжение из Вены, — Биндер не имеет полномочий решать что-либо своей властью: в этом деле, как и во

всяком другом, он ждет приказа; каждый день он посылает в Вену точные копии всех поступающих донесений и затем ждет.

Фабрицио во время его добровольного изгнания в Романьяно необходимо:

1. Неуклонно ходить каждый день к обедне; взять себе в духовники человека хитрого и преданного монархии и на исповеди высказывать только вполне благонадежные чувства.

2. Не знаться ни с одним человеком, который слывет умником, и при случае говорить о восстаниях с ужасом, как о совершенно недопустимых действиях.

3. Никогда не бывать в кофейнях, никогда не читать газет, кроме двух правительственных листков — туринского и миланского, и вообще выказывать большую неохоту к чтению, а главное, не читать никаких книг, написанных после 1720 года, — самое большее можно сделать исключение для романов Вальтер Скотта.

— И, наконец, — добавил каноник с некоторым лукавством, — ему следует открыто ухаживать за какой-нибудь местной красавицей, разумеется благородного происхождения; это покажет, что он не отличается мрачным и беспокойным складом ума, свойственным будущим заговорщикам.

Перед сном графиня и маркиза написали письмо Фабрицио, и обе с милым усердием передали ему все советы каноника Борда.

У Фабрицио не было никакого желания стать заговорщиком: он любил Наполеона и, по праву дворянина, считал себя созданным для того, чтобы жить счастливее других, а буржуа казались ему смешными. Он не раскрывал ни одной книги, с тех пор как его взяли из коллегии, да и там читал только книги, изданные в переложении иезуитов. Он поселился неподалеку от Романьяно в великолепном дворце, который был лучшим творением знаменитого зодчего Сан-Микели[50]; но этот пышный замок пустовал уже тридцать лет, поэтому все потолки там протекали и ни одно окно не затворялось. Фабрицио бесцеремонно завладел лошадьми управителя и по целым дням катался верхом; он ни с кем не разговаривал и много размышлял. Совет найти себе любовницу в семействе какого-нибудь ярого монархиста показался ему забавным, и он в точности последовал ему. В духовники он взял молодого священника, интригана, желавшего стать епи-

[50] Примечания: 50

Сан-Микели (1484–1549) — итальянский архитектор и инженер; возводил укрепления вокруг Пармы.

скопом (как духовник в Шпильберге)[51][52]; но вместе с тем он ходил пешком за три лье ради того, чтобы в непроницаемой, как ему казалось, тайне читать «Конституционель»[54] — он считал эту газету откровением. «Это так же прекрасно, как Альфиери[55] и Данте!» — часто восклицал он. У Фабрицио была одна черта, роднившая его с французской молодежью: он серьезнее относился к любимой верховой лошади и к излюбленной газете, чем к своей благомыслящей любовнице. Но в его наивной и твердой душе еще не было стремления «подражать другим», и в обществе маленького городка Романьяно он не приобрел друзей; его простоту называли высокомерием и не знали, что сказать о его характере.

«Это младший сын, обиженный тем, что он не

---

[51] Примечания: 51

Андриан в своих воспоминаниях рассказывает, что капеллан крепости Шпильберг Стефано-Паоловице, тайный агент австрийского правительства, выпытывал у заключенных сведения о их политической деятельности. За свою провокаторскую службу получил епископство в Катарро, в Далмации.

[52] Примечания: 52

Смотри любопытные мемуары г. Андриана, которые занимательны, как сказка, и останутся в истории, как Тацит[53] (*прим. авт.*).

[54] Примечания: 54

«Конституционель» — французская либеральная газета, основанная в 1815 году.

[55] Примечания: 55

Альфиери, Витторио, граф ди Кортемилья (1749–1803) — итальянский

поэт и драматург.

[53] Примечания: 53
Тацит, Корнелий — знаменитый римский историк (ок. 55–117).

старший», — сказал про него священник.

6

Признаемся откровенно, что ревность каноника Борда не совсем была лишена оснований. По возвращении из Франции Фабрицио показался графине Пьетранера прекрасным незнакомцем, которого она когда-то хорошо знала. Заговори он о любви, она полюбила бы его: ведь его поступок да и сам он вызывали в ней страстный и, можно сказать, беспредельный восторг. Но поцелуи и речи Фабрицио были так невинны, исполнены такой горячей благодарности, искренней дружбы к ней, что она сама ужаснулась бы себе, если бы стала искать в этой почти сыновней признательности какое-то иное чувство. «Право же, — говорила себе графиня, — только немногие друзья, знавшие меня шесть лет назад, при дворе принца Евгения, еще могут считать меня красивой и даже молодой. Но для него я женщина в летах и, если уж говорить начистоту, не щадя своего самолюбия, — просто пожилая женщина». Графиня обманывалась, рассуждая так о той поре жизни, в которую вступила, но обманывалась совсем иначе, чем заурядная кокетка. «К тому же в его возрасте, — добавляла она, — немного

преувеличивают те разрушения, какие вызывает в женщине время. Пожалуй, человек более зрелых лет...» Тут графиня, перестав расхаживать по своей гостиной, посмотрелась в зеркало и улыбнулась.

Надо сказать, что уже несколько месяцев сердце г-жи Пьетранера подвергалось весьма упорным атакам со стороны человека недюжинного. Вскоре после отъезда Фабрицио во Францию графиня, которая почти бессознательно всеми помыслами была с ним, впала в глубокую меланхолию. Обычные ее занятия теперь не доставляли ей никакого удовольствия и, если можно так выразиться, стали пресными; она воображала, что Наполеон, желая привлечь к себе народы Италии, сделает Фабрицио своим адъютантом. «Он потерян для меня! — восклицала она, проливая слезы. — Я больше никогда его не увижу! Он будет мне писать, но кем я стану для него через десять лет?..»

В таком состоянии душевном она совершила поездку в Милан, надеясь услышать там новости о Наполеоне, а из них косвенным путем, может быть, узнать что-нибудь о Фабрицио. Эта деятельная натура безотчетно начинала уже тяготиться однообразной жизнью в деревне. «Тут только что не умирают, а жизнью это назвать нельзя, — ду-

мала она. — Каждый день видеть физиономии этих пудреных — брата, племянника Асканьо, их лакеев! Без Фабрицио что мне прогулки по озеру?» Единственным утешением осталась для нее дружба с маркизой. Но с некоторого времени задушевная близость с матерью Фабрицио, женщиной, значительно старше ее годами и разочарованной в жизни, стала для нее менее приятной.

Г-жа Пьетранера очутилась в странном положении: Фабрицио уехал, надежд на будущее у нее почти не было, сердце ее жаждало утешения и новизны. В Милане она пристрастилась к опере, модной в те годы; долгие часы проводила она в театре Ла Скала, одна, запершись в ложе генерала Скотта, своего старого друга. Мужчины, с которыми она искала встреч для того, чтобы услышать новости о Наполеоне и его армии, казались ей грубыми, вульгарными. Вернувшись домой, она импровизировала на фортепьяно до трех часов утра.

Однажды вечером в театре Ла Скала, когда она зашла в ложу своей приятельницы, чтобы узнать новости из Франции, ей представили графа Моска, пармского-министра; он оказался человеком весьма любезным, а то, что он расска-

зал о Франции и Наполеоне, дало ее сердцу новые основания для надежд и опасений. На следующий день она опять зашла в ложу, вновь увидела там этого умного человека и с удовольствием разговаривала с ним до конца спектакля. С тех пор как уехал Фабрицио, она ни одного вечера не провела так приятно, в такой оживленной беседе. Человек, который сумел ее развлечь, граф Моска делла Ровере Соредзана, был в ту пору военным министром, министром полиции и финансов знаменитого принца Пармского, Эрнесто IV, прославившегося своей суровостью, которую миланские либералы называли жестокостью. Графу Моска было тогда лет сорок — сорок пять; у него были крупные черты лица, ни малейшей важности, напротив, вид простой и веселый, говоривший в его пользу. Он был бы еще хорош собой, если б, в угоду принцу, не приходилось ему пудрить волосы для доказательства своей благонадежности. В Италии не очень боятся задеть чужое тщеславие, разговор там быстро принимает непринужденный характер и переходит на личные темы. Почувствовав обиду, люди могут больше не встречаться, — это служит поправкой к такому обычаю.

— Скажите, граф, почему вы пудрите волосы? —

спросила г-жа Пьетранера уже на третий день своего знакомства с Моска. — Пудреные волосы! У такого человека, как вы, — любезного, еще молодого и вдобавок воевавшего вместе с нами в Испании![56]

— Видите ли, я ничего не украл в этой самой Испании, а жить на что-нибудь надо! Я страстно мечтал о славе, лестное слово нашего командира, французского генерала Гувьон-Сен-Сира, было для меня все. Но, как оказалось после падения Наполеона, пока я проживал свое состояние на его службе, мой отец, человек с воображением, в мечтах уже видевший меня генералом, принялся строить для меня дворец в Парме. В 1813 году все мое богатство состояло из недостроенного дворца и пенсии.

— Пенсии? Три с половиной тысячи, как у моего мужа?

— Граф Пьетранера был дивизионным генералом, а я — скромным командиром эскадрона. Мне назначили только восемьсот франков, да и те стали выплачивать, лишь когда я сделался министром финансов.

Так как при этом разговоре присутствовала

---

[56] Примечания: 56
Наполеон вел войну с Испанией с 1808 по 1813 год.

только хозяйка ложи, дама весьма либеральных взглядов, он продолжался с такою же откровенностью. Отвечая на расспросы г-жи Пьетранера, граф рассказал ей о своей жизни в Парме.

— В Испании, в войсках генерала Сен-Сира, я лез под пули ради ордена и крупицы славы, а теперь я одеваюсь, как комедийный персонаж, ради того, чтобы иметь жалованье в несколько тысяч франков и дом на широкую ногу. Став участником своего рода шахматной игры, я был возмущен наглостью власть имущих, решил занять одно таз первых мест и достиг этого. Но по-прежнему самые счастливые дни для меня — те, которые время от времени мне удается провести в Милане: в этом городе, как мне кажется, еще живет душа Итальянской армии.

Откровенность, disinvoltura[57], с которой говорил этот министр столь грозного монарха, затронула любопытство графини: она ожидала встретить в этом сановнике чванного педанта, а увидела, что он стыдится своего высокого положения. Моска пообещал доставлять ей все новости о Франции, какие ему удастся получить; в Милане, за месяц до Ватерлоо, это было большой

[57] Примечания: 57
Непринужденность (*итал.*).

смелостью: в те дни, казалось, решалась судьба Италии — быть ей или не быть, и в Милане все горели лихорадкой надежды или страха. В такой атмосфере всеобщего волнения графиня старалась побольше разузнать о человеке, который столь беспечно высмеивал свой завидный пост, являвшийся для него единственным средством существования.

И вот г-жа Пьетранера услышала о нем много любопытного, интригующего, необычайного. Граф Моска делла Ровере Соредзана, говорили ей, скоро будет премьер-министром и признанным фаворитом Ранунцио-Эрнесто IV, пармского самодержца, одного из богатейших монархов в Европе. Граф уже занял бы этот высокий пост, если бы пожелал держать себя более солидно, — говорят, принц часто читает ему наставления по этому поводу.

— Ваше высочество, не все ли равно, какие у меня манеры, раз я хорошо служу вам, — смело отвечал граф.

— Счастье этого фаворита, — добавляли осведомленные люди, — не лишено терний. Ему приходится угождать монарху, человеку неглупому и здравомыслящему, но, очевидно, потерявшему голову с тех пор, как он сел на престол само-

держца, — например, его одолевают страхи под стать трусливой женщине. Эрнесто IV проявляет храбрость только на войне. В сражениях он раз двадцать вел войска в атаку, как бравый генерал. Но когда после смерти своего отца, Эрнесто III, он возвратился в Парму и, к несчастью, стал неограниченным монархом, он обезумел, стал произносить громовые речи против либералов и свободы. Вскоре он вообразил, что его ненавидят, а затем, в минуту дурного расположения духа, приказал повесить двух либералов, виновных в каких-то ничтожных проступках, — сделал он это, послушавшись одного негодяя, некоего Расси, который является в его правительстве кем-то вроде министра юстиции. С этой роковой минуты жизнь принца круто изменилась, его терзают самые нелепые подозрения.

Ему еще нет пятидесяти лет, но от постоянного страха он до того сдал, если можно так выразиться, что иной раз ему по виду легко дать все восемьдесят, особенно когда он говорит о якобинцах и замыслах их парижских вожаков; к нему вернулись бессмысленные страхи малого ребенка. Фаворит Расси, главный фискал (то есть главный судья), пользуется этими страхами как орудием влияния на своего повелителя и, лишь

только увидит, что оно начинает ослабевать, спешно «раскрывает» какой-нибудь химерический злодейский заговор. Стоит тридцати неосторожным людям собраться, чтобы прочесть свежий номер «Конститюсьонель», Расси объявляет их заговорщиками и отправляет в знаменитую Пармскую крепость — грозу всей Ломбардии. На огромной ломбардской равнине она видна очень издалека, так как высота ее, по слухам, сто восемьдесят футов, а весь облик этой башни, о которой рассказывают ужасы, внушает такой страх, что она властвует над всей равниной, от Милана до Болоньи.

— Поверите ли, — говорил графине другой заезжий путешественник, — по ночам принц дрожит от страха в своей опочивальне, хотя она находится на четвертом этаже, а входы во дворец охраняют восемьдесят часовых, которые каждые четверть часа перекликаются, протяжно выкрикивая целую фразу. Все двери заперты на десять замков, комнаты, расположенные над опочивальней и под нею, полны солдат, — так он боится якобинцев. Едва скрипнет паркет, он хватается за пистолеты, воображая, что под его кроватью спрятался либерал. Тотчас же по всему дворцу звенят звонки, и дежурный адъютант

отправляется будить министра полиции графа Моска. Явившись во дворец, Моска отнюдь не отрицает наличия заговора, — напротив, один на один с принцем, вооружившись до зубов, он осматривает все уголки его покоев, заглядывает под кровати, — словом, вытворяет всевозможные глупости, простительные лишь какой-нибудь боязливой старухе. Все эти предосторожности и самому принцу показались бы до крайности унизительными в те счастливые времена, когда он сражался на войне и убивал людей только в бою. Он человек неглупый, и, принимая такие предосторожности, сам видит, как они смехотворны; огромное влияние графа Моска зиждется на том, что благодаря его дипломатической ловкости принцу не Приходится при нем краснеть за свою трусость. В качестве главы полиции Моска настаивает на необходимости заглянуть под кровати, диваны, столы, кресла и, как говорят в Парме, даже в футляры контрабасов. А принц противится этому и высмеивает своего министра за такое чрезмерное усердие. «Это вопрос нашего престижа, — отвечает ему граф Моска. — Подумайте, какими язвительными сатирическими сонетами разразятся якобинцы, если мы допустим, чтоб вас убили. Мы защищаем не только вашу жизнь,

но и свою честь». Правда, принц, видимо, лишь наполовину верит этому; если на другой день в городе кто-нибудь осмелится сказать, что во дворце опять провели бессонную ночь, главный фискал Расси отправляет дерзкого шутника в крепость; а уж если человек попадет в эту высокую обитель, «на сквознячок», как говорят в Парме, — поминай, как звали: только чудом он оттуда выйдет.

Граф Моска был военным; в Испании он раз двадцать с пистолетом в руке защищался от внезапных нападений, оттого-то принц и предпочитает его Расси, существу гораздо более угодливому и низкому.

Несчастных узников крепости держат в одиночках, в строжайшем заточении, и о них рассказывают страшные истории. Либералы утверждают, например, что, по приказанию Расси, тюремщики и духовники приблизительно раз в месяц говорят заключенным, что одного из них в такой-то день поведут на казнь. В этот день им разрешают подняться на верхнюю площадку башни, устроенную на высоте ста восьмидесяти футов, и оттуда они видят процессию, в которой какой-нибудь шпион играет роль смертника.

Эти рассказы и двадцать других в том же духе

и не менее достоверных возбудили в г-же Пьетранера живейший интерес; на Следующий день она приступила с расспросами к графу Моска и, подшучивая над ним, весело доказывала, что он настоящий изверг, хотя и не дает себе в этом отчета. Однажды, возвратившись к себе в гостиницу, граф подумал: «Графиня не только очаровательная женщина, но, когда я провожу вечер в ее ложе, мне удается забыть кое-какие пармские дела, о которых мне больно вспоминать». Этот министр, вопреки его легкомысленному виду и галантному обхождению, не был наделен душой «французского склада»: он не умел «забывать» горести. «Если в изголовье его ложа оказывались колючие шипы, ему необходимо было сломать их или затупить острия, изранив о них свои трепещущие руки». Прошу извинить меня за эту тираду, переведенную с итальянского.

На следующий день после своего открытия граф нашел, что, несмотря на важные дела, которые привели его в Милан, время тянется бесконечно; он не мог усидеть на месте и загонял лошадей, разъезжая по городу в карете. Около шести часов вечера он сел в седло и отправился на Корсо, питая некоторую надежду встретить графиню Пьетранера; не найдя ее там, он вспомнил, что

театр Ла Скала открывается в восемь часов; войдя в огромную залу, он увидел в ней человек десять, не больше. Ему стало немного стыдно, что он явился так рано. «Возможно ли? — думал он. — Мне сорок пять лет, а я делаю такие глупости, что их устыдился бы даже молоденький суб-лейтенант. К счастью, никто о них не подозревает». Он убежал и, чтобы убить время, стал бродить до красивым улицам, примыкающим к театру. На каждом шагу там попадаются кофейни, где в этот час всегда полно народу; на тротуаре перед кофейнями сидят за столиками любопытные, едят мороженое и критикуют прохожих. Граф был прохожим весьма примечательный и поэтому имел удовольствие попасть в плен к знакомым. Трое-четверо докучливых особ из числа тех, кого неудобно прогнать, воспользовались случаем получить аудиенцию у всесильного министра. Двое из них всучили ему прошения, а третий ограничился весьма пространными советами относительно его политической деятельности.

«Ум человеку спать не дает, власть — прогуляться не позволяет», — сказал себе граф и вернулся в театр. Ему пришла мысль взять ложу в третьем ярусе: никто его там не заметит и можно будет без помехи смотреть на ту ложу второго

яруса, где он надеялся увидеть, наконец, графиню Пьетранера. Ждать пришлось целых два часа, но они не показались влюбленному министру слишком долгими; уверенный, что никто его не видит, он наслаждался своим безрассудством. «Старость, — говорил он себе мысленно, — прежде всего сказывается в том, что человек уже не способен на такие восхитительные ребячества».

Наконец, появилась графиня. Вооружившись зрительной трубкой, он с восторгом рассматривал ее.

«Молода, блистательна, легка, как птица; ей не дашь больше двадцати пяти лет, — думал он. — И красота — не главное ее очарование: у кого еще встретишь такую душу?! Это сама искренность, никогда она не думает о *благоразумии*, вся отдается впечатлению минуты, всегда ее влечет новизна! Понимаю теперь все безумства графа Нани».

Граф находил прекрасные оправдания своему безрассудству, когда думал лишь о том, как завоевать счастье, образ которого был у него перед глазами. Но он гораздо менее был уверен в своей правоте, когда вспоминал о своем возрасте и заботах, порою весьма тягостных, наполнявших его жизнь. «Хитрый правитель, от страха потеряв-

ший голову, дает мне много денег и возможность жить широко за то, что я состою при нем министром. Но если завтра он прогонит меня, я буду только нищим стариком, то есть самим жалким в мире существом. Нечего сказать, приятный спутник жизни для графини!» Такие мысли были слишком мучительны; он снова стал смотреть на графиню и, чтобы думать о ней без помехи, все не шел в ее ложу. «Как мне говорили, она взяла в любовники Нани лишь для того, чтобы отомстить дураку Лимеркати, не пожелавшему расправиться с убийцей ее мужа ударом шпаги или хотя бы с помощью наемного кинжала. А я ради нее двадцать раз дрался бы на дуэли!» — восторженно думал граф. То и дело он смотрел на театральные часы, где светящиеся цифры, сменявшиеся на черном фоне каждые пять минут, уже указывали зрителям то время, когда полагалось навестить в ложе друзей. Граф говорил себе: «Мне можно пробыть у ней в ложе полчаса, не больше, — я так еще мало знаком с нею. Если останусь дольше, я выдам себя; а при моем возрасте и этих проклятых пудреных волосах у меня будет вид не лучше, чем у Кассандра»[58]. Но вдруг одно соображение

[58] Примечания: 58

Кассандр — один из персонажей итальянской комедии масок (commedia dell'arte), глупый старик, обманутый отец или опекун.

заставило его решиться: «А что, если она сейчас уйдет в другую ложу, чтобы нанести кому-нибудь визит! Хорошо же я буду вознагражден за то, что так скупо отмеряю себе величайшее удовольствие!» Он спустился во второй ярус, и вдруг у него почти пропало желание идти в ту ложу, где он видел графиню. «Вот чудеса! — подсмеиваясь над собою, думал он, остановившись на лестнице. — Я робею, право робею! А уже лет двадцать пять со мною этого не случалось».

Сделав над собою усилие, он все-таки вошел в ложу и, как умный человек, сумел воспользоваться своим смущением: он вовсе не пытался держать себя непринужденно и блеснуть остроумием в каком-нибудь забавном рассказе, — напротив, он имел мужество быть робким и употребил свой тонкий ум на то, чтобы его волнение стало заметным, но отнюдь не смешным. «Если ей это не понравится, — думал граф, — для меня все потеряно. Какая нелепость! Робкий вздыхатель с пудреными волосами, в которых без пудры видна была бы седина! Но ведь волнение мое искренне и, следовательно, может показаться смешным лишь в том случае, если я стану подчеркивать его или кичиться им».

Но графиня уже не обращала никакого вни-

мания на прическу своего нового поклонника, хотя ей так надоело видеть в Гианте за столом против себя пудреные головы брата, племянника и каких-нибудь скучных благонамеренных соседей. У нее был щит, ограждавший ее от желания рассмеяться при появлении графа в ложе: она с нетерпением ждала новостей о Франции, которые Моска всегда сообщал ей наедине, — разумеется, он выдумывал их. Обсуждая с ним в тот вечер очередные новости, она заметила, что глаза у него сияют добротой.

— Мне думается, — сказала она, — что в Парме, среди ваших рабов, у вас не бывает такого приятного взгляда, — ведь он все испортит: у этих несчастных появится надежда, что их не повесят.

Полное отсутствие чопорности в человеке, который слыл лучшим дипломатом Италии, приятно удивляло графиню, она даже нашла в нем какое-то обаяние. Наконец, говорил он хорошо и с жаром, поэтому ее совсем не оскорбило, что на один вечер он вздумал выступить в роли влюбленного, — она полагала, что это не будет иметь последствий.

Однако это был большой и очень опасный шаг; к счастью для министра, не встречавшего в Пар-

ме отпора у дам, графиня только что приехала из Грианты, где ум ее как будто закоченел от скуки деревенской жизни. Она там позабыла, что такое шутка, а все атрибуты изысканной легкой жизни приняли теперь в ее глазах оттенок священной новизны; она не склонна была смеяться над чем бы то ни было, даже над застенчивым влюбленным сорока пяти лет. Неделей позже дерзкие притязания графа могли бы встретить совсем иной прием.

В театре Ла Скала визиты, которые наносят знакомым в их ложах, принято не затягивать больше двадцати минут. Граф провел весь вечер в той ложе, где имел счастье встретить г-жу Пьетранера. «Эта женщина, — думал он, — вернула мне все безумства молодости!» Но он чувствовал, что это опасно. «Может быть, ради моего положения всесильного паши, властвующего в сорока лье отсюда, мне простится эта глупость. Ведь я так скучаю в Парме!» Однако он каждые четверть часа давал себе слово немедленно уйти.

— Надо признаться, синьора, — говорил он, смеясь, графине, — что в Парме я умираю от скуки и, право, мне простительно упиваться радостью, когда она встретится на моем пути. Итак, разрешите мне на один лишь вечер, который не будет

иметь никаких последствий, выступить перед вами в роли влюбленного. Увы! Через неделю я буду так далеко от этой ложи, где я забываю все горести и даже, как вы справедливо можете сказать, все приличия.

Через неделю после этого недопустимо долгого визита в ложе театра Ла Скала и после многих мелких событий, рассказ о которых показался бы, пожалуй, слишком пространным, граф Моска влюбился без памяти, а графиня Пьетранера уже думала, что возраст не может составить препятствия, если во всем другом человек тебе по душе. В таком расположении мыслей они и расстались, когда Моска вызвали в Парму через курьера. Без министра принца, видимо, одолевал страх. Графиня вернулась в Грианту; чудесный этот уголок показался ей теперь пустыней, ибо воображение уже не украшало его. «Неужели я привязалась к этому человеку?» — думала она.

Моска написал ей, совершенно непритворно уверяя, что разлука отняла у него предмет всех его помыслов; письма его приносили развлечение и были приняты неплохо. Чтобы не прогневить маркиза дель Донго, не любившего платить за доставку в Грианту писем, граф применил маленькую хитрость: он отправлял письма с

курьером, который сдавал их на почту в Комо, Лекко, Варезе или каком-нибудь другом красивом городке на берегах озера. Он надеялся получать ответы с тем же курьером и добился своего.

Вскоре дни приезда курьера стали событием для графини; курьер привозил цветы, фрукты, маленькие подарки, не имевшие ценности, но занимавшие и ее и невестку. К воспоминаниям о графе примешивалась мысль о большой его власти; графиня с любопытством прислушивалась ко всему, что говорили о нем; даже либералы воздавали должное его талантам.

Основной причиной дурной репутации графа было то, что его считали вожаком партии крайних роялистов при пармском дворе, тогда как партию либералов возглавляла маркиза Раверси, богачка и интриганка, способная на все, даже на успех. Принц всячески старался не лишать надежд партию, отстраненную от власти: он знал, что всегда останется повелителем, даже если составит министерство из завсегдатаев салона г-жи Раверси. В Гранте рассказывали множество подробностей об этих интригах; отсутствие графа Моска, которого все рисовали как человека даровитого и деятельного, позволяло забыть о его пудреных волосах — символе всего косного и

унылого; это была мелочь, сущий пустяк, одна из придворных обязанностей, тогда как сам Моска играл при дворе такую важную роль.

— Двор — это нечто нелепое, но забавное, — говорила графиня своей невестке. — Это как увлекательная карточная игра, в которой надо, однако, подчиняться установленным правилам. Разве кто-нибудь вздумает возмущаться правилами игры в вист? А когда привыкнешь к ним, все-таки приятно объявить противнику большой шлем.

Графиня часто думала об авторе многочисленных любезных посланий, и тот день, когда приходило письмо, был для нее праздничным; она садилась в лодку и отправлялась читать письмо в каком-нибудь прелестном уголке на берегу озера: в Плиньяну, в Белано или в рощу Сфондрата. Эти письма как будто немного утешали ее в разлуке с Фабрицио. Не подлежало сомнению, что граф очень влюблен, и не прошло месяца, как она уже думала о нем с чувством нежной дружбы. Со своей стороны граф Моска почти искренне уверял в письмах, что готов подать в отставку, бросить министерский пост и провести вместе с нею жизнь до конца дней в Милане или где-нибудь в другом месте. «Состояние мое — четыреста

тысяч франков, — добавлял он, — значит, у нас все же будет пятнадцать тысяч ливров ренты».

«Опять ложа, собственный выезд и прочее!» — думала графиня. Это были приятные мечты. Чудесные виды на озере Комо вновь начали пленять ее своей красотой. На берегах его она мечтала теперь о возвращении к блестящей и незаурядной жизни, которая, вопреки всем вероятиям, вновь становилась возможной для нее. Она представляла себя на Корсо в Милане — счастливой и веселой, как во времена вице-короля. «Вновь вернется ко мне молодость или хотя бы деятельная жизнь!»

Иной раз пылкое воображение скрывало от ее глаз действительность, но никогда не бывало у нее добровольного самообольщения, свойственного трусливым душам. Она была женщиной прежде всего искренней перед собой.

«В моем возрасте уже немного поздно предаваться безумствам, а зависть, слепая во многом, как и любовь, может отравить мне жизнь в Милане. После смерти мужа моя благородная бедность и отказ от двух больших состояний внушали уважение ко мне. У милого моего графа Моска нет и двадцатой доли тех богатств, которые положили к моим ногам два дурака — Лимеркати

и Нани. Маленькая вдовья пенсия, полученная с таким трудом, никаких слуг (сколько об этом говорили!), две комнатки в пятом этаже, а перед подъездом двадцать карет — все это когда-то представляло зрелище необычайное. Но если я вернусь в Милан, по-прежнему располагая всего лишь вдовьей пенсией, а жить буду с буржуазным достатком на пятнадцать тысяч дохода, который сохранится у графа Моска после отставки, то, как бы умело я ни вела себя, мне придется претерпеть много неприятных минут. У моих завистников будет в руках грозное оружие: граф женат, хотя и давно уже разошелся с женой. В Парме об этом все знают, но в Милане этот разрыв окажется новостью, и его припишут мне. Итак, прощай прекрасный театр Ла Скала, прощай дивное озеро Комо!..»

Будь у графини хотя бы самое маленькое состояние, она, невзирая на все ожидавшие ее неприятности, приняла бы предложение Моска подать в отставку. Она считала себя пожилой женщиной, и двор внушал ей страх. Но вот что покажется невероятным по эту сторону Альп: граф действительно с радостью ушел бы ради нее в отставку, — по крайней мере ему удалось убедить в этом любимую женщину. Во всех своих

письмах он с безумным, все возраставшим жаром умолял ее о вторичной встрече в Милане и получил согласие. «Я не хочу лгать и не буду клясться, что питаю к вам безумную страсть, — однажды сказала ему графиня в Милане. — Я была бы счастлива полюбить так, как любила в двадцать два года, но мне уже за тридцать. Я видела, как рушилось многое, что я считала вечным! Но я чувствую к вам нежную дружбу, беспредельное доверие и предпочитаю вас всем мужчинам». Графиня полагала, что говорит совершенно искренне, и все же в конце своих заверений она немного покривила душой. Фабрицио, если б он того пожелал, может быть, взял бы верх надо всеми в ее сердце. Но в глазах Моска Фабрицио был всего лишь ребенок, и, прибыв в Милан, через три дня после отъезда юного сумасброда в Новару, он поспешил нанести визит барону Биндеру, чтобы похлопотать за него. Граф считал изгнание непоправимым несчастьем.

В Милан Моска приехал не один: он привез в своей карете герцога Сансеверина-Таксис, благообразного старичка шестидесяти восьми лет, седенького, весьма учтивого, весьма опрятного, очень богатого, но не очень родовитого. Его дед был главным откупщиком налогов Пармского

государства и нажил миллионы. Отец достиг назначения посланником принца Пармского при *** дворе, приведя для этого следующие доводы: «Ваше высочество, вы отпускаете своему послу при*** дворе тридцать тысяч франков в год, и он там кажется довольно жалкой фигурой. Если бы вы удостоили назначить меня на этот пост, я попросил бы всего шесть тысяч франков жалованья, расходы же мои при*** дворе никогда не будут ниже ста тысяч франков в год; а кроме того, мой управитель ежегодно будет вносить в кассу министерства иностранных дел в Парме двадцать тысяч франков. На такие деньги можно содержать при мне любого секретаря посольства, и я нисколько не стану интересоваться дипломатическими тайнами, если таковые у него окажутся. Я желаю только придать блеск своему дворянству, еще недавнему, и возвысить его, получив один из важнейших постов в нашей стране».

Герцог Сансеверина, сын этого посланника, имел неосторожность показать себя полулибералом, и вот уже два года пребывал в отчаянии. При Наполеоне он потерял два-три миллиона, упорно не желая возвращаться из-за границы, и все же после восстановления порядка в Европе никак не мог добиться орденской ленты, укра-

шавшей грудь его отца, — он исчах от тоски по этому отличию.

В Италии вслед за любовью приходит душевная близость, и между двумя нашими любовниками уже не было преград тщеславия. Поэтому граф Моска с полнейшей простотой сказал обожаемой женщине:

— Я хочу предложить вам два-три плана устройства нашей с вами жизни; все они прекрасно разработаны, — три месяца я только и думаю об этом.

Первый план: я подам в отставку, и мы с вами станем жить, как почтенные буржуа, в Милане или во Флоренции, в Неаполе, — словом, где вы пожелаете. У нас будет пятнадцать тысяч ливров дохода, не считая благодеяний принца, которые прекратятся не сразу.

Второй план: вы соблаговолите приехать в ту страну, где я пользуюсь некоторой властью, вы приобретете какое-нибудь поместье — например Сакка: там очаровательный дом на лесистой возвышенности у берега По; купчую на это поместье вы можете получить через неделю. Принц приблизит вас ко двору. Но тут возникает серьезное препятствие. При дворе вас примут прекрасно, никто и бровью не поведет, опасаясь меня; к тому

же принцесса почитает себя несчастной, а я, имея в виду вас, оказал ей недавно кое-какие услуги. Но я должен сообщить вам об одном очень важном препятствии: принц — настоящий ханжа, а, как вам известно, я по воле рока все еще состою в законном браке. Отсюда — миллион мелких неприятностей для вас. Однако вы вдова, и это достойное звание следует заменить другим, что и будет предметом моего третьего предложения. Можно подыскать для вас нового мужа, — конечно, совершенно безобидного. Но, во-первых, надо, чтобы он был человеком весьма преклонных лет, — ведь вы не пожелаете лишить меня надежды когда-нибудь занять его место. Так вот, я заключил эту своеобразную сделку с герцогом Сансеверина-Таксис, хотя он, разумеется, не знает имени будущей своей супруги. Он знает только, что его назначат посланником и дадут ему ленту через плечо, как его отцу, и он уже не будет тогда несчастнейшим из смертных. Если не считать этой мании, герцог не так уж глуп, — костюмы и парики он выписывает себе из Парижа. От него ни в коем случае нельзя ожидать зловредных замыслов; он искренне считает, что получить ленту — величайшая честь, и стыдится своего богатства. В прошлом году он предложил мне

основать на его средства больницу, чтобы удостоиться ленты; я посмеялся над ним. Но он не стал смеяться надо мною, когда я предложил ему этот брак; конечно, первым условием я поставил, чтобы никогда ноги его не бывало в Парме.

— А вы понимаете, что предложили мне совершить безнравственный поступок? — сказала графиня.

— Не более безнравственный, чем все то, что творится при нашем дворе и двадцати других августейших дворах. Самодержавная власть удобна тем, что она все освящает в глазах народов, а раз смешного не замечают, значит его и нет. Так же как теперь, нашей политикой на целых двадцать лет вперед будет страх перед якобинцами. Да еще какой страх! Каждый год мы будем считать себя накануне повторения девяносто третьего года[59]. Надеюсь, вы услышите, какие речи я произношу по этому поводу на приемах. Великолепные речи! Все, что хоть сколько-нибудь может уменьшить этот страх, будет *высокоморальным* в глазах аристократов и ханжей. А в Парме всякий, кто не является аристократом и ханжой, сидит в

[59] Примечания: 59

Речь идет о годе наивысшего подъема первой французской буржуазной революции: 31 мая — 2 июня 1793 года была установлена диктатура якобинцев.

тюрьме или готовит себе узелок с пожитками, ожидая, что скоро отправится туда. Будьте уверены, что ваш брак покажется странным только в тот день, когда я попаду в опалу. В этой сделке никто никого не надувает, а это, думается мне, самое важное. Принц, милостями которого мы торгуем и живем, дает свое согласие лишь при одном условии: будущая герцогиня Сансеверина должна быть благородного происхождения. В прошлом году я на министерском посту, по моим подсчетам, израсходовал сто семь тысяч (франков, общий же доход мой — сто двадцать две тысячи; двадцать тысяч я поместил в лионский банк. Так вот, выбирайте: широкий образ жизни, возможность расходовать ежегодно сто двадцать две тысячи, — а в Парме на такие средства можно жить не хуже, чем в Милане на четыреста тысяч, — но при этом брак с довольно приличным человеком, которого вы увидите только один раз — под венцом, или скромная, мещанская жизнь на пятнадцать тысяч ренты во Флоренции или в Неаполе. Я согласен с вами: в Милане слишком вами восхищались, здесь будут нас травить завистники, и, может быть, им удастся испортить нам расположение духа. Пышная жизнь в Парме, надеюсь, будет иметь некоторый оттенок

новизны даже в ваших глазах, хотя вы видели двор принца Евгения; было бы разумно познакомиться с этой жизнью, прежде чем закрыть себе доступ к ней. Не думайте, что я хочу повлиять на ваше решение. Мой выбор уже сделан. Во сто раз лучше жить с вами на пятом этаже, чем по прежнему томиться одиночеством в роскоши.

Каждый день любовники обсуждали возможность этого странного брака. Графиня увидела на балу в Ла Скала герцога Сансеверина, и он показался ей довольно представительным. В одной из последних бесед с нею граф подвел итог своим предложениям:

— Надо, наконец, принять определенное решение, если мы хотим радостно прожить остаток дней и не состариться безвременно. Принц дал свое согласие. Сансеверина скорее хорошая, чем плохая партия; у него прекрасный дворец в Парме и огромное состояние; ему шестьдесят восемь лет, и его мучит безумная жажда получить ленту через плечо. Но важный проступок мешает этому и отравляет его жизнь: когда-то он купил за десять тысяч бюст Наполеона, изваянный Кановой[60]. Есть еще второй грех, который

---

[60] Примечания: 60
Канова, Антонио (1757–1822) — итальянский скульптор.

сведет его в могилу, если вы не придете бедняге на помощь: однажды он дал взаймы двадцать пять наполеондоров Ферранте Палла — поэту нашей страны, безумцу, в котором есть, однако, искра гениальности; а вскоре после этой ссуды Ферранте приговорили у нас к смертной казни, к счастью, заочно. Ферранте за свою жизнь написал двести стихов, бесподобных стихов, — я когда-нибудь прочту их вам, — это так же прекрасно, как Данте. Итак, принц назначит Сансеверина послом при*** дворе; в день своего отъезда герцог повенчается с вами; на второй год его изгнания, именуемого посольством, ему дадут орденскую ленту, без которой он не может жить. Для вас он будет братом и не доставит вам никаких неприятностей; он готов заранее подписать какие угодно бумаги; к тому же вы будете видеть его очень редко, а если пожелаете, не увидите никогда. Ему и самому не хочется показываться в Парме, где все помнят о его деде-откупщике и его собственном мнимом либерализме. Расси, наш палач, уверяет, что герцог втайне, через поэта Ферранте Палла, состоял подписчиком «Конститюсьонеля», и такая клевета довольно долго служила серьезной помехой к согласию принца на этот брак.

Можно ли считать преступлением, если исто-

рик нравов в точности передает подробности сообщенного ему повествования? Разве его вина, что действующие лица этого повествования, поддавшись страстям, которых он, к несчастью своему, совсем не разделяет, совершают поступки глубоко безнравственные? Правда, подобных поступков больше не увидишь в тех странах, где единственной страстью, пережившей все другие, является жажда денег — этого средства удовлетворять тщеславие.

Через три месяца после событий, о которых мы рассказали, герцогиня Сансеверина-Таксис изумляла пармский двор приветливостью нрава и благородной ясностью ума; дом ее, бесспорно, был самым приятным в городе. Граф Моска как раз это и обещал своему повелителю. Царствующий принц, Ранунцио-Эрнесто IV, и принцесса, его супруга, которым герцогиню представили две самые знатные в стране дамы, оказали ей благосклонный прием. Герцогине любопытно было посмотреть на принца, являвшегося господином судьбы любимого ею человека; она решила понравиться ему и преуспела в этом даже больше, чем хотела.

Она увидела человека высокого роста, но несколько тучного; белокурые его волосы, усы

и огромные бакенбарды, по заверениям придворных, отличались удивительно красивым оттенком, — во всяком ином кругу эту растительность блеклого цвета окрестили бы противным словом: «пакля». На середине его широкого толстого лица робко возвышался маленький, почти женский носик. Но герцогиня сделала наблюдение, что уродливые черты во внешности принца заметны лишь, если к ним присматриваешься. В общем он имел вид человека умного и с твердым характером. Осанка его и манеры не лишены были величественности, но зачастую, когда ему хотелось произвести особо внушительное впечатление на собеседника, он вдруг приходил в замешательство и от смущения беспрестанно переминался с ноги на ногу. Впрочем, у Эрнесто IV был пронизывающий властный взгляд, благородные жесты, а речь его отличалась сдержанностью и точностью.

Моска предупредил герцогиню, что принц всегда дает аудиенции в большом кабинете, где висел портрет Людовика XIV во весь рост и стоял очень красивый мозаичный столик работы флорентийских мастеров. Она нашла, что подражание слишком резко бросается в глаза: величавой речью и взглядом принц явно пы-

тался походить на Людовика XIV, а на столик он опирался совершенно так же, как Иосиф II на портретах. После первых же слов приветствия, обращенных к герцогине, принц тотчас сел, чтобы дать ей возможность воспользоваться «правом табурета» — привилегией высокопоставленных дам. При пармском дворе на приемах имели право сидеть только герцогини, княгини и супруги испанских грандов; прочие дамы могли сесть только по особому приглашению принца или принцессы, и, чтобы подчеркнуть различие в рангах, августейшие особы заставляли дам, не имевших герцогского титула, немного подождать этого приглашения. Герцогиня нашла, что в иные минуты принц чересчур старательно подражал Людовику XIV — например, когда он благосклонно улыбался, гордо откидывая голову.

Эрнесто IV обычно носил фраки самого модного парижского покроя, — каждый месяц из Парижа, который он так ненавидел, ему присылали фрак, редингот и шляпу. Но в день аудиенции герцогини в его костюме весьма причудливо сочетались моды различных эпох: парижский фрак, короткие красные панталоны, шелковые чулки и закрытые туфли с пряжками, образец которых можно видеть на портретах Иосифа II.

Он принял г-жу Сансеверина милостиво, беседовал с ней любезно и остроумно, но она прекрасно почувствовала, что особого благоволения в этом приеме не было.

— А знаете почему? — спросил ее граф Моска, когда они вернулись с аудиенции. — Милан гораздо больше и красивее Пармы, и принц боялся, что, оказав вам иной прием, — какого я ожидал и на какой он сам подал мне надежду, — он будет похож на провинциала, очарованного изяществом столичной львицы. И несомненно его раздражает еще одно обстоятельство, — о нем я едва решаюсь сказать вам: принц видит, что ни одна из дам при его дворе не может соперничать с вами красотой. По крайней мере вчера вечером, перед сном, он только об этом и толковал в интимной беседе со своим старшим камердинером Перниче, который благосклонен ко мне. Я предвижу маленькую революцию в придворном этикете… Должен вам сказать, что злейшим моим врагом при дворе является некий глупец, именуемый генералом Фабио Конти. Вообразите себе чудака, который за всю свою жизнь был на войне один день и на этом основании подражает манерам Фридриха Великого. Мало того, он пытается также подражать благородной простоте

генерала Лафайета[61], потому что считается у нас главой либеральной партии (бог весть, что это за либералы!).

— Я знаю этого Фабио Конти, — сказала герцогиня. — Мы недавно встретились с ним недалеко от Комо — он пререкался с жандармами.

И она рассказала графу маленькое приключение, о котором читатель, вероятно, помнит.

— Когда-нибудь, сударыня, вы узнаете, если только ваш ум постигнет глубокую премудрость нашего этикета, что у нас девицы представляются ко двору только после своей свадьбы. Но принц исполнен такого патриотического пыла, так стремится доказать превосходство города Пармы над всеми прочими городами, что он — держу пари! — найдет предлог допустить ко двору юную Клелию Конти, дочь нашего Лафайета. Она в самом деле очаровательна и неделю тому назад еще могла считаться первой красавицей во владениях принца. Не знаю, — продолжал граф, — доходили ли до Грианты страшные истории, которые рассказывают о нашем государе его враги: его изображают чудовищем, людоедом. А

[61] Примечания: 61

Лафайет (1757–1834) — политический деятель французской буржуазной революции 1789–1794 годов и революции 1830 года, умеренный либерал.

на самом деле у Эрнесто IV было когда-то множество мелких добродетелей, и, могу добавить, что, будь он неуязвим, как Ахилл, он а теперь оставался бы образцовым монархом. Но однажды, в минуту скуки и гнева, а также из подражания Людовику XIV, который повелел отрубить голову какому-то герою Фронды[62], имевшему дерзость, спустя пятьдесят лет после Фронды, спокойно доживать свой век в родовом поместье около Версаля, Эрнесто IV приказал повесить двух либералов. Кажется, эти неосторожные люди в определенные дни приходили друг к другу в гости для того, чтобы ругать принца и воссылать к небу пламенные мольбы об избавлении их от тирана путем ниспослания на Парму чумы. Было установлено, что слово «тиран» произносилось. Расси назвал это заговором, вынес обоим смертный приговор, а казнь одного из них, графа Л., была ужасна. Все это произошло до меня. С того рокового дня, — добавил граф, понизив голос, — принц подвержен припадкам страха, совершенно «недостойным мужчины», но они являются един-

[62] Примечания: 62

Фронда (1648–1653) — движение французского феодального дворянства против королевского абсолютизма при кардинале Мазарини, фактическом правителе Франции во время малолетства Людовика XIV и регентства его матери Анны Австрийской.

ственной причиной его благоволения ко мне. Не будь этого августейшего страха, меня считали бы слишком резким, слишком дерзким при этом дворе, где кишат глупцы. Подумайте только! Принц, прежде чем лечь спать, заглядывает под кровати в своих покоях и тратит миллион — а в Парме это равносильно четырем миллионам в Милане — на содержание грозной полиции. Вы видите перед собою, герцогиня, главу этой полиции. Благодаря ей, то есть благодаря страху его высочества, я стал министром военных дел и финансов; а так как полиция подчинена министру внутренних дел и он является моим номинальным начальником, я добился, чтобы этот портфель отдали графу Дзурла-Контарини, трудолюбивому болвану, которому доставляет удовольствие самолично писать по восьмидесяти отношений в день. Нынче утром я получил бумагу, на которой граф Дзурла-Контарини с удовлетворением поставил собственноручно исходящий номер — 20 715.

Герцогиня была представлена унылой принцессе Пармской, Кларе-Паолине, которая считала себя очень несчастной из-за того, что у ее мужа была любовница (довольно хорошенькая дама, маркиза Бальби), а потому стала очень скучной особой. Она оказалась высокий, сухопарой

женщиной, на вид лет пятидесяти, хотя ей было только тридцать шесть. Ее можно было бы назвать красивой, если б гармонию благородных и правильных черт не нарушал растерянный взгляд крайне близоруких круглых глаз и если б она не забросила забот о своей внешности. Она держала себя с герцогиней так робко, что кое-кто из придворных, — враги графа Моска, — осмелились говорить, что принцесса походила на даму, которую представляют ко двору, а герцогиня — на владетельную особу. Герцогиня удивилась, даже смутилась, не находила нужных слов, чтобы как-нибудь исправить это странное положение и занять подобающее ей место. Желая немного ободрить бедняжку принцессу, в сущности неглупую женщину, герцогиня не придумала ничего лучшего, как завести разговор о ботанике, и он превратился в целую диссертацию. Принцесса обладала изрядными познаниями в этой науке, у нее были превосходные теплицы со множеством тропических растений. Герцогиня пыталась всего лишь выйти из затруднительного положения, а в результате навеки завоевала симпатию принцессы Клары-Паолины, которая мало-помалу освободилась от робости и смущения, мучивших ее в начале приема, почувствовала себя так хоро-

шо и свободно, что, против всех правил этикета, эта первая аудиенция длилась больше часа. На следующий день герцогиня приказала купить всяких экзотических растений и стала уверять, что она большая любительница ботаники.

Принцесса проводила немало времени в обществе монсиньора Ландриани, архиепископа Пармского, человека и ученого и даже умного, весьма честного, но представлявшего собою весьма странное зрелище, когда он сидел в кресле алого бархата (по праву своего сана) против кресла принцессы, окруженной фрейлинами и двумя компаньонками. Старик прелат с длинными седыми волосами был, пожалуй, еще застенчивей принцессы; они виделись каждый день, и всякий раз в начале аудиенции оба молчали добрых четверть часа. Одна из компаньонок, графиня Альвици, даже вошла в особую милость к принцессе за то, что умела заставить их нарушить это молчание и разговориться.

Церемония представления герцогини ко двору закончилась приемом у его высочества наследного принца, который ростом был выше отца, а застенчивостью превосходил мать. Ему было шестнадцать лет, и он увлекался минералогией. Увидев герцогиню, он густо покраснел, совсем

растерялся и никак не мог придумать, о чем говорить с такой красивой дамой. Он был очень хорош собою и проводил жизнь в лесах с геологическим молотком в руке. Когда герцогиня встала, чтобы положить конец этой безмолвной аудиенции, наследный принц воскликнул:

— Боже мой, сударыня, какая вы красивая!

И представленная ему дама не сочла это слишком большой бестактностью.

Маркиза Бальби, молодая двадцатипятилетняя женщина, за два-три года до приезда в Парму герцогини Сансеверина еще считалась совершеннейшим образцом «итальянской красоты». Даже и теперь у нее были дивные глаза и прелестные ужимки, но вблизи заметно было, что все ее лицо в мелких морщинках, и поэтому она казалась моложавой старушкой. Видя ее издали, например в ложе театра, люди еще называли ее красавицей, и посетители партера находили, что у принца хороший вкус. Принц все вечера проводил у маркизы Бальби, но зачастую во весь вечер не раскрывал рта, и от горя, что он скучает в ее обществе, бедняжка совсем истаяла. Она притязала на необыкновенную тонкость ума и всегда улыбалась, зная, что у нее превосходные зубы, и желая к тому же показать лукавой улыбкой, что

в ее словах таится какой-то особый смысл. Граф Моска уверял, что именно от этих непрестанных улыбок, скрывавших внутреннюю зевоту, у нее и появилось столько морщин. Бальби вмешивалась во все финансовые дела, — казна не могла заключить договор даже на сумму в тысячу франков, без того чтобы маркиза не получила при этом «сувенир» (деликатный термин, изобретенный в Парме). Общественная молва утверждала, что Бальби поместила в Англии шесть миллионов франков, но в действительности ее состояние, недавно сколоченное, пока доходило только до полутора миллионов. Чтобы оградить себя от ее хитростей и держать ее в зависимости, граф Моска стал министром финансов. Единственной страстью маркизы была противная скаредность, вызванная страхом. «Я умру на соломе», — говорила она иногда принцу, и его оскорбляли такие слова. Герцогиня заметила, что раззолоченная передняя во дворце Бальби освещена всего лишь одной сальной свечой, оплывавшей на драгоценный мраморный стол, а двери в салоне захватаны грязными пальцами лакеев.

— Она приняла меня так, словно ждала при этом подачки в пятьдесят франков, — сказала герцогиня своему Другу.

Успехи герцогини были несколько омрачены приемом, который ей оказала самая ловкая при дворе особа, знаменитая маркиза Раверси, заядлая интриганка, возглавлявшая партию, враждебную партии графа Моска. Она хотела сбросить его, и это желание особенно возросло за последние месяцы: маркиза Раверси приходилась племянницей герцогу Сансеверина и боялась, что чары новой герцогини Сансеверина уменьшат ее виды на наследство.

— Такую женщину, как Раверси, приходится побаиваться, — говорил граф своей подруге. — Я считаю ее способной на все и даже с женой разошелся только из-за того, что ей вздумалось взять себе в любовники кавалера Бентиволью, одного из приятелей Раверси.

Эта черноволосая, рослая и мужеподобная особа, густо нарумяненная и всегда с самого утра сверкавшая бриллиантами, заранее объявила себя врагом герцогини и, принимая ее в своем доме, сразу же постаралась начать войну. По письмам, приходившим из*** от герцога Сансеверина, ясно было, что он совершенно опьянен своим положением посла, а главное, надеждой получить, наконец, ленту через плечо, и его родня опасалась, как бы он в благодарность не оставил часть

своего состояния жене, тем более что он уже теперь осыпал ее подарками. У Раверси, несмотря на ее уродливость, состоял в любовниках граф Бальди, первый красавец при дворе: ей вообще удавалось все, что она затевала.

Дом герцогини блистал роскошью. Дворец Сансеверина и раньше был одним из самых великолепных в Парме, а ввиду своего назначения на пост посланника и надежды на орденскую ленту герцог тратил большие деньги на его отделку; герцогиня руководила работами.

Граф угадал: через несколько дней после представления ко двору герцогини там появилась и юная Клелия Конти; ее сделали канониссой. Чтобы отпарировать удар, который эта внезапная милость, казалось, нанесла влиянию графа, герцогиня дала бал, якобы желая показать обществу свой новый сад, и с присущей ей утонченной любезностью сделала царицей праздника Клелию, которую она называла своей юной подругой с озера Комо. Инициалы Клелии как будто случайно светились на главных транспарантах. Юная Клелия была на празднике несколько задумчива, но очень мило вспоминала о маленьком приключении близ озера и выразила горячую признательность герцогине. Говорили, что она

очень набожна и любит уединение. «Держу пари, что она просто стыдится своего отца, — утверждал граф, — видно, что она умница». Герцогиня подружилась с этой девушкой. Она чувствовала к ней симпатию, не хотела показаться завистливой, а потому вовлекала ее во все свои развлечения; вообще она поставила своей целью смягчить ненависть, окружавшую графа.

Все улыбалось герцогине; придворный мирок, в котором всегда надо опасаться внезапной бури, забавлял ее, она как будто заново начинала жить. К графу она чувствовала нежную привязанность, и он был просто без ума от счастья. Благодаря такому приятному состоянию он проявлял полнейшее хладнокровие во всем, что касалось вопросов честолюбия, а поэтому не прошло и двух месяцев со дня приезда герцогини, как он занял пост премьер-министра, с которым связаны почести, весьма близкие к тем, какие воздают государю. Граф имел непререкаемое влияние на своего повелителя; одно из доказательств этого поразило все умы в Парме.

На расстоянии десяти минут езды от города, к юго-востоку, вздымается пресловутая, столь известная в Италии, крепость — ее огромная башня высотой в сто восемьдесят футов видна издалека.

Объем этой башни, воздвигнутой в начале XVI века герцогами Фарнезе, внуками Павла III[63], по образцу мавзолея Адриана[64] в Риме, так велик, что на верхней ее площадке даже построили дворец для коменданта крепости и новую тюрьму, названную башней Фарнезе. Тюрьма эта была сооружена для старшего сына Ранунцио-Эрнесто II, вступившего в любовную связь со своей мачехой, и славилась по всей стране своеобразной красотой. Герцогине захотелось осмотреть ее. В день ее посещения крепости стояла палящая жара, но на верхушке башни, высоко над землей, веяло прохладой, и это так восхитило герцогиню, что она провела там несколько часов. Для нее с готовностью отперли все залы в башне Фарнезе.

На верхней площадке башни герцогиня встретила заключенного — беднягу либерала, которого вывели туда на получасовую прогулку, разрешавшуюся ему раз в три дня. По возвращении в Парму герцогиня, еще не научившись скрытности,

---

[63] Примечания: 63

Павел III (1534–1549) — римский папа из рода Фарнезе.

[64] Примечания: 64

Мавзолей Адриана (76–138) в Риме — усыпальница римских императоров. В начале средневековья строение это служило крепостью, с XV века — тюрьмой. В 1748 году на крыше мавзолея была поставлена бронзовая статуя ангела, откуда его современное название — Замок святого ангела.

необходимой при дворе самодержца, рассказала об этом заключенном, который поведал ей свою историю. Партия маркизы Раверси подхватила неосторожные речи герцогини и усердно разглашала их, надеясь, что они вызовут недовольство принца. Эрнесто IV часто повторял, что главная цель наказания — потрясти страхом воображение подданных.

— «Навеки» — это грозное слово, — говорил он, — а в Италии оно пугает еще больше, чем в других странах.

Потому-то сам он ни разу в жизни не даровал помилования. Однако через неделю после осмотра башни герцогиня получила, указ о смягчении наказания, подписанный принцем и министром, но имя осужденного не было в нем проставлено. Узнику, имя которого она пожелала бы вписать, возвращалось все его имущество и дозволялось уехать в Америку, где он мог жить на свободе до конца своих дней. Герцогиня вписала в указ имя того либерала, который говорил с нею. К несчастью, он был полуподлецом, человеком слабодушным: как раз на основании его признаний приговорили к смертной казни знаменитого Ферранте Палла.

Столь необычайное помилование безмерно

возвысило престиж герцогини Сансеверина. Граф Моска не помнил себя от счастья; это была прекрасная пора в его жизни, имевшая решающее влияние на судьбу Фабрицио: он по-прежнему жил близ Новары, в Романьяно, бывал у исповеди, охотился, ничего не читал и согласно полученной инструкции ухаживал за дамой знатного рода. Эта последняя предосторожность немного раздражала герцогиню. Был и другой весьма неблагоприятный для графа признак: герцогиня, всегда и во всем откровенная со своим другом, даже высказывавшая при нем вслух свои мысли, никогда не говорила с ним о Фабрицио, не обдумав предварительно свои слова.

— Если желаете, — сказал ей однажды граф, — я напишу вашему любезному братцу, проживающему на берегу Комо, и заставлю достойного маркиза дель Донго просить о помиловании вашего славного племянника, — мне и моим друзьям*** будет не очень трудно это устроить. Если Фабрицио — а я в том не сомневаюсь — головой выше молодых шалопаев, гарцующих на английских лошадях по улицам Милана, — что это за жизнь для восемнадцатилетнего юноши? Безделье, и впереди — тоже вечное безделье! Если небо даровало ему истинную страсть к чему-ли-

бо, — ну хотя бы к рыболовству, я готов уважать эту страсть. А что он будет делать в Милане, даже получив помилование? Выпишет из Англии лошадь, будет кататься верхом в определенные часы, а в другие часы безделье толкнет его к любовнице, которую он будет любить меньше, чем свою лошадь… Но, если вы прикажете, я постараюсь предоставить вашему племяннику возможность вести такую жизнь.

— Мне хочется, чтоб он был офицером.

— Кто же посоветовал бы монарху доверить пост, который в один прекрасный день может иметь известнее значение, человеку, во-первых, склонному к восторженным порывам, а во-вторых, уже проявившему восторженный энтузиазм в отношении Наполеона и сражавшемуся в его войсках под Ватерлоо? Подумайте, что стало бы со всеми нами, если б Наполеон одержал победу при Ватерлоо! Нам, правда, не пришлось бы бояться либералов, но монархи старых династий могли бы царствовать, только женившись на дочерях его маршалов. Итак, для Фабрицио военная карьера — это жизнь белки в колесе: много движения, никакого продвижения. Ему обидно будет видеть, как его опережают верноподданные плебеи. В наше время да еще, пожалуй, лет пятьдесят, пока

монархи будут дрожать от страха и пока не восстановят религию, главное достоинство молодого человека — не знать восторженных порывов и не иметь ума. Я придумал один выход, но только он приведет вас на первых порах в негодование, а мне доставит множество хлопот, и не на один день!.. Это в сущности безумие, но я готов пойти на любое безумие ради одной вашей улыбки!

— А что это такое?

— Вот что. В Парме было три архиепископа из рода дель Донго: Асканьо дель Донго, рукоположенный в тысяча шестьсот… не помню точно когда; Фабрицио — в тысяча шестьсот девяносто девятом году и второй Асканьо — в тысяча семьсот сороковом году. Если Фабрицио пожелает стать прелатом и выделится высокими добродетелями, я сделаю его где-нибудь епископом, а затем архиепископом Пармским — разумеется, если не потеряю своего влияния. Главное препятствие вот в чем: останусь ли я министром достаточно времени для того, чтобы осуществить этот прекрасный план? Принц может умереть или по прихоти самодура отставит меня. Но в конце концов это единственная возможность сделать для Фабрицио что-нибудь достойное вас.

Поднялся долгий спор: этот план совсем был не,

по душе герцогине.

— Докажите мне, что всякая иная карьера невозможна для Фабрицио, — говорила она.

Граф доказал это.

— Вам жаль блестящего мундира, — добавил он, — но тут уж я бессилен.

Герцогиня попросила месяц на размышления, а затем, вздыхая, согласилась с разумными доводами министра.

— Гарцевать с чванным видом на английской лошади в каком-нибудь большом городе, — повторял граф, — или занять то положение, которое я предлагаю, вполне достойное такого знатного имени. Другого выхода я не вижу. К несчастью, высокородный человек не может быть ни врачом, ни адвокатом, а наш век — это царство адвокатов. Если вам угодно, — твердил граф, — вы можете дать своему племяннику возможность вести в Милане такой образ жизни, который доступен только самым богатым из его сверстников. Добившись его помилования, вы назначите ему содержание в пятнадцать, двадцать, тридцать тысяч франков, — для вас это не имеет значения: ни вы, ни я не собираемся копить деньги.

Герцогиня была чувствительна к славе и не хотела, чтобы Фабрицио был прожигателем жиз-

ни, — она вернулась к плану, предложенному ее возлюбленным.

— Заметьте, пожалуйста, — говорил ей граф, — что я не намерен сделать из Фабрицио примерного и заурядного священнослужителя. Нет, он прежде всего должен быть вельможей. При желании он может оставаться полным невеждой и все-таки станет епископом и архиепископом, если только принц по-прежнему будет считать меня полезным для себя. Соблаговолите приказать, — ваша воля для меня непреложный закон. Но Парма не должна видеть нашего любимца в малых чинах. Его быстрое возвышение возмутит людей, если он сперва будет здесь простым священником. В Парме он должен появиться не иначе как в «фиолетовых чулках»[65] и прибыть в подобающем экипаже. Тогда все догадаются, что вашему племяннику предстоит получить сан епископа, и никто не будет возмущаться. Послушайтесь меня, пошлите Фабрицио на три года в Неаполь изучать богословие; во время каникул в духовной академии пусть он, если захочет,

---

[65] Примечания: 65

В Италии молодых людей с протекцией или богословским образованием величают прелатами и монсиньорами (что еще не значит — епископ) и они носят фиолетовые чулки; чтобы стать монсиньором, не нужно принимать церковный сан, фиолетовые чулки можно скинуть и вступить в брак (*прим. авт.*).

съездит посмотреть Париж и Лондон, но в Парме ему пока нельзя появляться.

От этих слов герцогиня вся похолодела. Она немедленно послала курьера к племяннику и назначила ему свиданье в Пьяченце. Излишне говорить, что курьер повез с собой внушительную сумму денег и необходимые разрешения.

Приехав в Пьяченцу первым, Фабрицио помчался навстречу герцогине. Он обнял ее с такой восторженной нежностью, что она залилась слезами. Она радовалась, что графа не было при этой встрече, — впервые за все время их любви у нее явилось такое чувство.

Фабрицио был глубоко тронут, но затем и огорчен, узнав о планах герцогини относительно его будущего: он все еще надеялся стать военным, когда история с его бегством в Ватерлоо уладится. Одно обстоятельство обрадовало герцогиню и упрочило ее романтическое представление о племяннике: он решительно отказался вести обычную жизнь завсегдатаев кофеен в каком-нибудь большом городе Италии.

— Ну представь себе, как ты катаешься на Корсо во Флоренции или в Неаполе, — говорила ему герцогиня. — Под седлом чистокровная английская лошадь, а по вечерам — карета, выезды в свет;

красиво убранная квартира и прочее и прочее…

Она восторженно описывала это пошлое счастье, видя, что Фабрицио с презрением отвергает его. «Он — настоящий герой», — думала она.

— А через десять лет такой беспечной жизни, чего я достигну, кем я стану? — говорил Фабрицио. — «Перезрелым молодым человеком» и вынужден буду уступить первенство любому красивому юноше, дебютирующему в свете, который тоже будет гарцевать на английской лошади.

Сперва Фабрицио с негодованием отверг и духовную карьеру, заявив, что уедет в Нью-Йорк, станет гражданином Америки, республиканским солдатом.

— Ах, какую ты совершишь ошибку! Воевать тебе там тоже не придется, и тебя ждет опять-таки жизнь завсегдатаев кофеен, только не будет в ней ни изящества, ни музыки, ни любви, — возразила герцогиня. — Поверь мне, и ты и я умерли бы с тоски в Америке.

Она объяснила ему, что в Америке царит культ одного божества — доллара и, кроме того, там надо ухаживать за уличными торговцами и ремесленниками, которые своим голосованием решают все. Затем разговор вернулся к церковной карьере.

— Прежде чем возмущаться, — сказала герцогиня, — пойми хорошенько, чего требует от тебя граф. Вовсе тебе не надо быть каким-то бедным священником, более или менее примерным и добродетельным, как аббат Бланес. Вспомни, что твои предки были архиепископами Пармскими, — перечти-ка записки о их жизни в приложении к нашей родословной. Носителю славного имени прежде всего надо быть вельможей, благородным, великодушным защитником справедливости, заранее предназначенным стать одним из предводителей-своего сословия. За всю твою жизнь тебе придется сплутовать только один раз и то ради весьма важной цели.

— Итак, рухнули все мои мечты, — сказал Фабрицио; и глубоко вздохнул. — Жестокая жертва! Признаюсь, я прежде не думал, что энтузиазм и ум отныне внушают самодержавным монархам беспредельный ужас, даже когда эти качества могут быть направлены к их собственной пользе.

— Вспомни, что какое-нибудь воззвание или же порыв сердца могут увлечь человека восторженного, и он пойдет против тех, кому служил всю жизнь.

— Восторженного? — переспросил Фабрицио. — А я разве восторженный? Странное обвинение! Я

даже не могу влюбиться.

— Неужели? — воскликнула герцогиня.

— Ну да. Если я имею честь ухаживать за какой-нибудь высокородной и благочестивой красавицей, я думаю о ней тогда лишь, когда вижу ее.

Такое признание произвело на герцогиню впечатление необычайное.

— Дай мне месяц сроку, — сказал Фабрицио, — мне надо проститься — в Новарес госпожой С*** и, — что еще труднее, — с моими воздушными замками, с надеждой всей моей жизни. Я напишу матушке, попрошу ее приехать повидаться со мною в Бельджирате, на пьемонтском берегу Лаго Маджоре, а ровно через месяц после нашего сегодняшнего разговора я приеду инкогнито в Парму.

— Ни в коем случае! — воскликнула герцогиня: она не хотела, чтобы граф Моска присутствовал при ее свидании с Фабрицио.

Они вторично встретились в Пьяченце. На этот раз герцогиня была в большом волнении: при дворе поднялась буря, и партия маркизы Раверси почти уже восторжествовала; возможно было, что графа Моска сменит генерал Фабио Конти, глава той партии, которую в Парме называли

либеральной; генерал все больше входил в фавор у принца. Герцогиня все рассказала Фабрицио, утаив только имя соперника графа. Они вновь обсудили различные виды на будущее для Фабрицио, предусмотрев при этом даже утрату могущественной поддержки графа.

— Итак, три года в Неаполитанской духовной академии! — воскликнул Фабрицио. — Но раз мне прежде всего надо быть молодым вельможей и ты не принуждаешь меня вести постную жизнь добродетельного семинариста, это не так уж страшно, — это не хуже, чем жизнь в Романьяно, — местное «хорошее общество» уже начинает считать меня якобинцем. И, представь, в изгнании я сделал открытие: оказывается, я ровно ничего не знаю, даже латыни, даже орфографии. Я уже строил планы пополнить свое образование в Новаре. Право, я охотно стану изучать в Неаполе богословие — это сложная наука.

Герцогиня пришла в восторг от его слов.

— Если нас с графом прогонят, — сказала она, — мы приедем в Неаполь повидаться с тобою. Но поскольку, впредь до возможных перемен, ты согласен носить фиолетовые чулки, граф, — а он хорошо знает нынешнюю Италию, — просил меня передать тебе вот что: можешь верить или не

верить тому, чему будут тебя учить, но «никогда не выдвигай никаких возражений». Вообрази, что ты учишься играть в вист, — разве ты станешь возражать против правил этой игры? Я сказала графу, что ты верующий, он порадовался за тебя, — это полезно и в земной жизни и в загробной. Но если даже ты верующий, не впадай в пошлые крайности: не говори с ужасом о Вольтере, Дидро, Рейнале[66] и прочих сумасбродах-французах, предвестниках двух палат. Пореже упоминай их имена, а если уж придется, говори об этих господах со спокойной иронией, — доктрины их давно опровергнуты, и все нападки их уже не имеют никакого значения. Слепо верь всему, что будут тебе говорить в академии. Помни, что там найдутся люди, которые в точности запишут всякое твое возражение; тебе простят любовную интрижку, если ты умно поведешь ее, но сомнений не простят, — с возрастом любовный пыл угасает, а сомнения веры растут. Помни об этом даже на исповеди. Тебе дадут рекомендательное письмо к епископу, доверенному лицу кардина-

[66] Примечания: 66

Рейналь, Гийом (1713–1796) — французский просветитель. В своей знаменитой «Философской и политической истории европейских установлений я торговли в обеих Индиях» выступал против деспотизма, католической церкви и варварской эксплуатации туземцев.

ла, архиепископа Неаполитанского; только ему одному ты можешь рассказать о своей прогулке во Францию и о том, что восемнадцатого июня ты был под Ватерлоо. Но даже ему говори обо всем очень кратко, постарайся преуменьшить это приключение, признайся в нем лишь настолько, чтобы тебя не корили, что ты его скрыл. Ведь ты был тогда так молод!

Кроме того, граф просил передать тебе следующее: если придет тебе на ум неотразимый довод, сокрушительная реплика, которая может изменить весь ход беседы, ни в коем случае не поддавайся искушению блеснуть — молчи! Люди догадливые и по глазам твоим увидят, что ты умен. Ты еще успеешь показать свой ум, когда будешь епископом.

Фабрицио приехал в Неаполь в скромном экипаже, с четырьмя слугами, славными уроженцами Милана, которых прислала ему тетушка. После первого года обучения в академии никто не считал его большим умником — на него смотрели как на юношу знатного рода, прилежного, очень щедрого, но несколько ветреного.

Этот год, довольно веселый для Фабрицио, для герцогини был ужасным годом. Раза три-четыре граф был на краю гибели; принц часто хворал,

стал поэтому еще трусливее, чем прежде, и весьма не прочь был уволить графа и на него свалить вину в гнусных казнях, совершенных, однако, до вступления его в министерство. Настоящим любимцем принца, с которым он ни за что бы не расстался, был Расси. Опасность, угрожавшая графу, пробудила в герцогине горячую к нему привязанность; она больше не думала о Фабрицио. Чтобы придать приличный вид возможной отставке графа, она вдруг нашла, что пармский климат, действительно несколько сырой, как и во всей Ломбардии, вреден для ее здоровья. Наконец, после нескольких вспышек немилости, доходившей до того, что граф, премьер-министр, по три недели не получал от принца аудиенции, Моска взял верх и добился назначения генерала Фабио Конти, так называемого либерала, комендантом крепости, куда заключали либералов, осужденных Расси.

— Если Конти проявит снисходительность к заключенным, — говорил граф своей подруге, — он попадет в опалу как якобинец, позабывший долг коменданта ради своих политических взглядов. А если он покажет себя суровым, безжалостным, — к чему, думается мне, у него большая склонность, — ему уже не быть главой партии

либералов, и он навлечет на себя ненависть всех семей, у которых кто-нибудь из близких заключен в крепость. Этот жалкий человек умеет подойти к принцу с благоговейным видом, готов по четыре раза в день переодеваться в соответствующие случаю костюмы, очень сведущ в вопросах этикета, но с его ли умом лавировать на трудном пути и не сломать себе шеи. Во всяком случае со мной ему не справиться.

На следующий день после назначения генерала Конти (события, которым закончился министерский кризис) стало известно, что в Парме будет издаваться газета ультрамонархического направления.

— Сколько раздоров породит такая газета! — сказала герцогиня.

— Ну что ж! Мысль об ее издании, пожалуй, верх моей изобретательности, — смеясь, ответил граф. — Мало-помалу руководство газетой у меня отнимут самые ярые монархисты, — разумеется, против моей воли. Я уже распорядился назначить хорошее жалованье редакторам. Со всех сторон будут добиваться этих должностей. Дело это займет нас месяца на два, а тем временем все позабудут, какая опасность мне грозила. Две важные особы, П. и Д., уже выставили свои кан-

дидатуры.

— Но в вашей газете будут печатать возмутительные нелепости!

— Я на это и рассчитываю, — возразил граф. — Принц будет читать ее каждое утро и восхищаться моими взглядами, — ведь я ее основатель. Отдельные мелочи он станет одобрять или порицать, и так пройдут два часа из тех, которые он посвящает работе. Газета вызовет, конечно, нарекания, но к тому времени, когда поступят серьезные жалобы, — то есть месяцев через восемь — десять, — она уже полностью будет в руках махровых монархистов. Отвечать придется им. Эта партия мне мешает, и я выступлю против ее газеты. Но в конце концов лучше писать самые дикие нелепости, чем отправить на виселицу хоть одного человека. Кто помнит нелепость, напечатанную в официозной газете, через два года после выхода номера? А вот сыновья и родственники повешенного будут питать ко мне ненависть, которая переживет меня и, пожалуй, сократит мою жизнь.

Герцогиня всегда чем-нибудь была увлечена, всегда чувствовала потребность в деятельности, не выносила праздности, ума у нее было больше, чем у всего пармского двора, но для успеха

в интригах ей недоставало терпения и хладнокровия. Все же она со страстным вниманием следила теперь за борьбой различных придворных партий и даже начала приобретать влияние на принца. Царствующая принцесса Клара-Паолина, окруженная почестями, но скованная правилами самого старозаветного этикета, считала себя несчастнейшей женщиной. Герцогиня Сансеверина принялась ухаживать за Ней и решила убедить ее, что она не так уж несчастна, как ей кажется. Надо заметать, что принц виделся с женой только полчаса в день, за обедом, и случалось, по целым неделям не обращался к ней ни с единым словом. Г-жа Сансеверина попыталась все это изменить; она развлекала принца, и это ей тем более удавалось, что она умела сохранять полную независимость. Даже если бы герцогиня и старалась, она не могла бы не задевать самолюбия глупцов, которыми кишел пармский двор. Она же совершенно не умела щадить их и вызвала ненависть придворных лизоблюдов, захудалых графов и маркизов, обычно имевших не больше пяти тысяч дохода. С первых же дней она заметила это обстоятельство и старалась угодить только принцу и его жене, имевшей беспредельное влияние на своего сына,

наследного принца. Герцогиня умела занять Эрнесто IV остроумной беседой и, пользуясь тем, что он внимательно прислушивается к каждому ее слову, искусно высмеивала своих врагов при дворе. С тех пор как принц, по наущению Расси, наделал глупостей, — а кровавые глупости непоправимы, — он нередко трепетал от страха, а еще чаще томился скукой, унынием и завистью: ему жилось невесело, и он становился угрюмым, когда замечал, что другие веселятся; вид чужого счастья приводил его в бешенство. «Надо скрывать нашу любовь», — сказала герцогиня своему другу. И она дала понять принцу, что уже сильно охладела к графу, хотя по-прежнему считает его человеком весьма достойным.

Это открытие осчастливило его высочество на целый день. Время от времени герцогиня вскользь упоминала о своем намерении ежегодно «брать на несколько месяцев отпуск», чтобы поездить по Италии, которую она в сущности совсем не знает; посмотреть Неаполь, Флоренцию, Рим. А ничто в мире не могло бы огорчить принца больше, чем такое стремление к бегству, — это была одна из самых явных его слабостей: всякий поступок, который могли бы истолковать, как презрение к столице его государства, терзал ему

сердце. Он понимал, что не в его власти удержать г-жу Сансеверина, между тем г-жа Сансеверина бесспорно была самой блестящей женщиной в Парме. Неслыханное дело — невзирая на итальянскую лень, пармская знать съезжалась из всех окрестных поместий на ее *четверги*; ее приемные дни стали настоящими празднествами: почти всегда герцогиня придумывала для них что-нибудь новое и увлекательное. Принц горел желанием побывать на одном из ее «четвергов». Но как на это решиться? Посетить запросто дом частного лица! Подобного нарушения этикета никогда не допускал ни его отец, ни он сам.

Однажды в четверг шел дождь, было холодно; вечером принц то и дело слышал стук колес по мостовой на дворцовой площади, — несомненно, кареты ехали ко дворцу Сансеверина. Принца передергивало от нетерпеливой досады: другие веселятся, а он, царствующий государь, самодержец, имеющий право веселиться больше, чем простые смертные, томится скукой! Он позвонил, вызвал дежурного флигель-адъютанта, — надо было спешно расставить дюжину надежных агентов на улице, которая вела от дворца его высочества ко дворцу Сансеверина. Пришлось ждать почти час, показавшийся принцу целым

веком, и двадцать раз за это время его искушал соблазн выйти на улицу очертя голову, не думая о кинжалах, не принимая никаких предосторожностей; но, наконец, он появился в первой гостиной г-жи Сансеверина. Если б гром грянул в этой гостиной, он не вызвал бы такого переполоха. По мере того как принц проходил по ярко освещенным покоям, шум и веселье мгновенно сменялись растерянным молчаньем, все смотрели на него, широко раскрыв глаза. Придворные были в явном смятении, и только герцогиня нисколько не казалась удивленной. Когда, наконец, к гостям вернулся дар речи, первой их заботой было обсудить важный вопрос: предупредили ли герцогиню о высочайшем посещении, или оно явилось для нее такой же неожиданностью, как и для всех собравшихся?

Принц провел время очень весело, а кончился этот вечер маленьким событием, которое покажет читателю всю непосредственность характера герцогини, а также беспредельную власть, которой она достигла, ловко намекая на возможный свой отъезд.

Провожая принца, который на прощанье наговорил ей всяких любезностей, она вдруг дерзнула высказать ему внезапно возникшую у нее мысль

и притом сделала это совсем просто, как нечто вполне обычное.

— Ваше высочество, если бы вы пожелали порадовать принцессу такими приятными речами, какие вы милостиво говорите мне сейчас, вы осчастливили бы меня гораздо более, чем комплиментами моей красоте. Право, ни за что на свете я не хотела бы, чтобы принцесса косо посмотрела на лестный знак внимания, которым вы почтили меня сегодня.

Принц пристально взглянул на нее и сухим тоном ответил:

— Мне думается, я властен бывать везде, где пожелаю.

Герцогиня покраснела.

— Я только хотела, — тотчас сказала она, — избавить ваше высочество от лишнего беспокойства, так как этот четверг последний: я уезжаю на некоторое время в Болонью или во Флоренцию.

Когда герцогиня вернулась в гостиные, все считали, что она достигла вершины августейших милостей, а на деле она дерзнула сделать то, на что, пожалуй, никто и никогда еще не отваживался в Парме. Она знаком подозвала графа, тот оставил партию в вист и последовал за нею в маленькую, ярко освещенную гостиную, где

никого не было.

— Вы поступили очень смело, — сказал он герцогине, — я бы вам не посоветовал этого. Но в горячо любящем сердце, — добавил он смеясь, — счастье усиливает любовь, и если вы уедете завтра утром, я уеду вслед за вами вечером. Маленькую эту задержку вызовет только необходимость передать министерство финансов — обузу, которую я имел глупость взять на себя; но за четыре часа умелой работы можно передать кассу любого казначейства. Вернемся к гостям, дорогой друг, и будем блистать лучами министерского тщеславия без малейшего стеснения, — ведь это, может быть, последний спектакль, который мы даем в Парме. Если наш самодур сочтет себя оскорбленным, он способен на все, — он называет это: «дать острастку». Когда гости разъедутся, мы обсудим, как вам покрепче забаррикадироваться на эту ночь, но, пожалуй, лучше всего вам отправиться немедленно на берега По, в ваше поместье Сакка, — оттуда, по счастью, всего полчаса езды до австрийской границы.

Для любви и гордости герцогини это была минута блаженства; она посмотрела на графа, и глаза ее увлажнились слезами. С какой легко-

стью этот человек готов был отказаться ради нее от власти всемогущего министра, окруженного льстецами, от почестей, почти равных тем, какие воздавали монарху. И она вышла в гостиные, сияя от радости. Все увивались вокруг нее.

— Как счастье изменило герцогиню, — шептались меж собой придворные. — Ее не узнать. Наконец-то эта надменная особа, которая мнит себя выше всех, удостоила оценить непомерную милость, оказанную ей нынче государем.

К концу вечера граф подошел к ней.

— Мне нужно кое-что сообщить вам, — сказал он.

Тотчас гости, теснившиеся вокруг нее, отошли в сторону.

— Вернувшись во дворец, — продолжал граф, — принц приказал доложить о себе своей супруге. Вообразите ее изумление! «Я пришел рассказать вам, — заявил он принцессе, — какой приятный, весьма приятный вечер провел я сегодня у Сансеверина. Она просила меня подробно описать вам, как переделан теперь ее старый закопченный дворец». Затем принц уселся и принялся описывать все ваши гостиные. Он провел у жены больше двадцати пяти минут. Принцесса плакала от радости и при всем своем уме не могла

найти ни одного слова, чтобы поддержать беседу в том легком тоне, какой его высочество пожелал придать ей.

Что бы ни говорили о принце итальянские либералы, он не был таким уж злым человеком. Правда, он приказал бросить в тюрьмы довольно много либералов, но сделал он это из страха и нередко повторял, словно желая смягчить некоторые воспоминания: «Лучше самому убить дьявола, чем дожидаться, чтобы он тебя убил».

На следующий день после упомянутого нами «четверга» принц был в прекрасном расположении духа, ибо совершил два похвальных поступка: побывал в гостях у герцогини и поговорил со своей женой. За обедом он опять удостоил побеседовать с принцессой, — словом, «четверги» г-жи Сансеверина произвели во дворце домашнюю революцию, о которой трубили по всей Парме. Раверси была потрясена, а герцогиня радовалась вдвойне: она оказалась полезной своему возлюбленному и убедилась, что он влюблен в нее еще больше, чем прежде.

— И все это из-за одной неосторожной мысли, которая пришла мне в голову, — говорила она графу. — Разумеется, в Риме или в Неаполе я была бы более свободна, но разве я там найду такую

занимательную игру? Нет, конечно, нет! А к тому же вы, дорогой граф, даете мне счастье.

7

Мелочи придворных интриг, подобные тем, о которых мы рассказали, занимают большое место и в истерии четырех последующих лет. Каждую весну в Парму приезжала маркиза дель Донго с обеими дочерьми и гостила два месяца во дворце Сансеверина и в поместье Сакка на берегу По; во время этих встреч было немало отрадных минут и много говорилось о Фабрицио; но за все эти годы граф ни разу не позволил ему побывать в Парме. Герцогине и министру, конечно, приходилось иногда заглаживать опрометчивые выходки Фабрицио, но в общем он вел себя довольно благоразумно, следовал полученным указаниям и действительно производил впечатление молодого вельможи, изучающего богословие, но не собирающегося стать образцом добродетелей. В Неаполе он страстно увлекся изучением античной древности и занялся раскопками, — это увлечение почти вытеснило у него страсть к лошадям. Он даже продал своих английских скакунов, чтобы продолжить раскопки

в Мизене[67], где нашел бюст Тиберия, изображавший императора еще молодым; эта находка, занявшая одно из первых мест среди памятников античности, доставила ему, пожалуй, самое большое удовольствие из всех, какие выпали на его долю в Неаполе. Душа у него была слишком возвышенная, для того чтобы он стремился подражать своим сверстникам, например придавать сколько-нибудь важное значение любовным интригам. Разумеется, у него не было недостатка в любовницах, но все они не играли никакой роли в его жизни, и, невзирая на молодость, он, можно сказать, совсем не знал любви; но из-за этого его любили еще сильнее. Ничто не мешало ему действовать с величайшим хладнокровием, — для него все молодые и-красивые женщины были равны, и каждый роман имел перед прежним лишь преимущество привлекательной новизны. В последний год его пребывания в Неаполе одна из самых прославленных в городе красавиц совершила ради него немало безумств; сначала это его забавляло, а потом страшно наскучило, я он рад был уехать из этого города, главным образом потому, что избавлялся тем самым от назойливо-

[67] Примечания: 67

Мизен — мыс в Кампаньи, на берегу Неаполитанского залива; здесь, в загородном дворце, умер римский император Тиберий (I в.).

го внимания очаровательной герцогини д'А***. В 1821 году он прилично выдержал экзамены; его «наставник», то есть руководитель занятий, получил крест и подарок, и Фабрицио уехал, горя нетерпением увидеть, наконец, Парму, о которой так много думал. Теперь он именовался «монсиньор» и ехал в карете, запряженной четверкой лошадей; однако на последней станции он приказал заложить только пару, а прибыв в город, велел остановиться перед церковью Сан-Джованни, — там находилась пышная гробница архиепископа Асканьо дель Донго, его прадеда и автора латинской «Родословной». Он помолился у гробницы и пешком отправился во дворец герцогини, которая ждала его только через несколько дней. У нее в гостиной было много народу, но вскоре их оставили одних.

— Ну что, ты довольна мной? — спросил он, бросившись обнимать ее. — А я благодаря тебе счастливо прожил в Неаполе четыре года, вместо того чтобы скучать в Новаре с любовницей, одобренной полицией.

Герцогиня не могла опомниться от изумления: она не узнала бы Фабрицио, встретив его на улице. Ей казалось, что он стал одним из красивейших молодых людей в Италии, и это было

верно: во всем его облике появилось какое-то особое обаяние. Когда герцогиня отправляла его в Неаполь, у него были повадки молодого сорванца, и хлыст, с которым он никогда не расставался, казался неотъемлемой частью его существа; теперь же при посторонних манеры его отличались благородной сдержанностью, а в семейном кругу она вновь увидела в нем юношескую пылкость. Он, точно алмаз, только выиграл от шлифовки. Не прошло и часа после приезда Фабрицио, как явился граф Моска, пожалуй что преждевременно. Фабрицио в таких учтивых выражениях говорил с ним о Пармском кресте, пожалованном его наставнику, так горячо благодарил и за другие милости, о которых не решался говорить столь же открыто, проявил так много такта, что министр с первого же взгляда составил о нем благоприятное суждение.

— Ваш племянник будет украшением всех высоких постов, которых вы в дальнейшем добьетесь для него, — шепнул он герцогине.

Все шло прекрасно, пока министр, очень довольный молодым Фабрицио, обращал внимание только на его слова и манеры, но вдруг, взглянув на герцогиню, он заметил, что у нее какое-то странное выражение глаз. «Молодой человек про-

извел здесь большое впечатление», — подумал он. Это была горькая мысль; графу уже минуло пятьдесят, а все значение этих жестоких слов может почувствовать лишь безумно влюбленный мужчина. Конечно, граф был человек очень добрый и вполне достойный любви, если не считать его суровости на посту министра. Но теперь ему казалось, что роковые слова «пятьдесят лет» бросают черную тень на всю его жизнь, и это могло сделать его жестоким. В течение пяти лет, с тех пор как он убедил герцогиню переехать в Парму, его нередко терзала ревность, особенно первое время, но никогда для этого не было серьезных оснований. Он даже думал — и думал совершенно правильно, — что герцогиня, лишь для того чтобы упрочить свою власть над его сердцем, лишь для вида выказывает благосклонное внимание кому-нибудь из придворных красавцев. Он, например, был уверен, что она отвергла ухаживание самого принца, который по этому поводу произнес весьма поучительные слова.

— Но если бы я откликнулась на лестное внимание вашего высочества, — смеясь, сказала герцогиня, — с какими же глазами появилась бы я перед графом?

— Да… Я был бы почти так же смущен, как и вы.

Милый граф! Ведь он друг мне! Но затруднение легко устранить, — я уже подумал об этом; граф будет сидеть в крепости до конца своих дней.

Встреча с Фабрицио преисполнила герцогиню такой радостью, что она совсем не беспокоилась о том, какие мысли может вызвать у графа выражение ее глаз. Мысли эти оказались мучительными, а подозрения — неисцелимыми.

Ровно через два часа после приезда Фабрицио был принят принцем. Предвидя, какой эффект произведет в свете эта немедленная аудиенция, герцогиня уже два месяца просила о ней. Такая милость сразу же поставила бы Фабрицио в особое положение; предлогом для нее послужило то, что он в Парме лишь проездом и спешит в Пьемонт повидаться с матерью. В ту минуту, когда герцогиня в очаровательной записочке известила принца, что Фабрицио приехал и ждет его повелений, Эрнесто IV скучал. «Ну, сейчас увидим дурачка и святошу, — подумал он. — Физиономия у него, вероятно, пошлая или угрюмая». Комендант города уже доложил ему, что Фабрицио первым делом посетил гробницу своего прадеда-архиепископа. Вошел Фабрицио. Принц увидел высокого молодого человека, которого можно было бы принять за офицера, не будь на

нем фиолетовых чулок. Эта маленькая неожиданность прогнала скуку. «Ну, для такого молодца у меня будут просить бог весть каких милостей — всех, какими я могу одарить. Он только что приехал и, конечно, взволнован. Заговорю с ним о политике, покажу себя якобинцем. Послушаем, что он ответит».

После первых милостивых слов принц спросил Фабрицио:

— Ну как, монсиньор? Счастлив ли народ в Неаполе? Любит ли он короля?

— Ваше высочество, — ответил Фабрицио не задумываясь, — когда я проходил по улицам, меня восхищала превосходная выправка солдат различных полков его королевского величества; хорошее общество, как и должно, почитает своего повелителя; но, признаюсь, я никогда в жизни не разговаривал с людьми низкого звания о чем-либо ином, кроме услуг, за которые я им платил.

«Черт возьми! — подумал принц. — Вот так птица! Хорошо его вышколили! Узнаю искусницу Сансеверина».

Увлекшись игрой, принц с большой ловкостью старался заставить Фабрицио высказаться на запретные темы. Молодой дипломат, возбужденный чувством опасности, находил великолепные

ответы.

— Открыто выказывать любовь к своему государю, — говорил он, — это почти дерзость. Наш долг — слепо повиноваться ему.

Видя такую осторожность, принц даже рассердился. «Кажется, к нам из Неаполя приехал умник. Терпеть не могу эту породу! Умный человек, как ни старается добросовестно следовать благим принципам, всегда в чем-нибудь окажется сродни Вольтеру и Руссо».

Принц усматривал какой-то вызов себе в безупречности манер и в полной неуязвимости ответов молодого человека, только что соскочившего со школьной скамьи, — его предположения не оправдались. Вмиг он переменил тактику и, сказав несколько слов о великих принципах устроения общества и государства, продекламировал, применительно к обстоятельствам, несколько изречений Фенелона, которые в детстве его заставляли твердить наизусть для будущих аудиенций.

— Принципы эти, конечно, удивляют вас, молодой человек, — сказал он Фабрицио (в начале аудиенции он назвал его «монсиньор» и решил повторить это на прощанье, но в беседе считал более уместным, белее подходящим для

патетических тирад прибегать к дружескому обращению), — да, эти принципы, конечно, удивляют вас, молодой человек. Признаюсь, они совсем не похожи на «осанну самодержавию» (он так и сказал!), которую вы каждый день можете видеть в моей официозной газете. Но, боже мой, что я говорю! Наших газетных писак вы, конечно, не читаете!

— Прошу прощения, ваше высочество, я не только читаю пармскую газету, но нахожу, что в ней пишут довольно хорошо, и так же, как эта газета, я полагаю, что все, произошедшее с тысяча семьсот пятнадцатого года, то есть со времени смерти Людовика Четырнадцатого, было и преступлением и глупостью. Величайшее счастье для человека — спасение души, об этом двух мнений быть не может, ибо блаженство это будет длиться вечно. Слова: «свобода, справедливость, счастье для большинства людей» — гнусны и преступны: они порождают привычку к спорам и недоверие. Палата депутатов, например, имеет право «выразить недоверие» тому, что эти люди именуют «кабинетом министров». А лишь только появится роковая привычка к недоверию, по слабости человеческой ее распространяют на все; люди доходят до того, что теряют доверие к

библии, предписаниям церкви, традициям и так далее, и тогда им уготована гибель. Допустим на мгновенье, что недоверие к власти государей, помазанников божьих, принесло бы счастье людям (мысль ложная и преступная, но допустим ее), однако каждый человек может рассчитывать на какие-нибудь двадцать — тридцать лет жизни, а что значит полвека и даже целое столетие счастья по сравнению с вечными муками, и так далее.

Видно было, что Фабрицио старается выразить свои мысли как можно яснее и понятнее для собеседника, а вовсе не пересказывает заученный урок.

Вскоре принц оставил всякую попытку состязаться с этим юношей, смущавшим его своими простыми, сдержанными манерами.

— Прощайте, *монсиньор,* — внезапно сказал он. — Я вижу, что в Неаполитанской духовной академии дают прекрасное воспитание, и вполне естественно, что благие правила, когда их воспринимает столь тонкий ум, приводят к превосходным результатам. Прощайте.

И он повернулся к «монсиньору» спиной.

«Я не понравился этому скоту», — подумал Фабрицио.

«Теперь остается только узнать, — подумал принц едва Фабрицио вышел, — водятся ли за этим молодым человеком какие-нибудь страсти. Если водятся, то его поведение — само совершенство. Как он умно повторяет уроки своей тетушки! Мне казалось, я слышу ее речи. Если когда-нибудь в моем государстве произойдет революция, герцогиня будет редактором „Монитора“, как была им Сан-Феличе[68] в Неаполе. Однако эту Сан-Феличе, невзирая на красоту и молодость, — ей всего было двадцать пять лет, — все-таки повесили. Предупреждение чересчур умным женщинам!..»

Принц ошибался, полагая, что Фабрицио ученик своей тетушки; даже умные люди, рожденные на троне или близ него, скоро теряют наблюдательность и чутье, они не допускают, чтобы с ними говорили непринужденно, считая это грубостью; они хотят видеть вокруг себя только маски, а берутся судить о цвете лица. И забавно, что они уверены в своей проницательности. Вот, например, данный случай: Фабрицио

---

[68] Примечания: 68

Маркиза Сан-Феличе (1768–1800) — сторонница Партенопейской республики, установленной в Неаполе в 1799 году; по восстановлении монархии в Неаполе была казнена. Республиканскую газету «Moniteur napolitain» издавала не она, а маркиза Фонсека (1768–1799), также преданная казни.

действительно верил почти всему, что он наговорил принцу, хотя и двух раз в месяц не думал о «великих принципах». У него была жажда жизни, у него был ум, но он был верующим.

Стремление к свободе, новые идеи и «культ счастья для большинства», которые увлекали девятнадцатый век, являлись в его глазах модой, «ересью», недолговечной, как и всякая ересь, и неизбежно должны были исчезнуть, погубив, однако, много человеческих душ, подобно тому, как губит человеческую плоть чума, на время воцарившаяся в каком-нибудь крае. Но, несмотря на все это, Фабрицио с наслаждением читал французские газеты и даже совершал неосторожные поступки, чтобы их раздобыть.

Когда Фабрицио, весь взбудораженный, вернулся с аудиенции и рассказал своей тетушке об уловках принца, она воскликнула:

— Тебе немедленно надо идти на поклон к нашему добрейшему архиепископу, отцу Ландриани. Ступай к нему пешком, поднимись по лестнице скромно, в приемной сиди терпеливо, и если тебя заставят подождать, тем лучше, в тысячу раз лучше. Словом, прояви «апостольское смирение».

— Понимаю! — сказал Фабрицио. — Наш епи-

скоп — Тартюф!

— Вовсе нет, он — воплощенная добродетель.

— Несмотря на его участие в казни графа Паланца? — изумленно спросил Фабрицио.

— Да, друг мой, несмотря на это. Отец нашего архиепископа — чиновник министерства финансов, мелкий буржуа; вот чем все объясняется. У монсиньора Ландриани живой, широкий и глубокий ум, и он искренний человек, он любит добродетель; я убеждена, что, если б император Деций[69] вернулся в мир, монсиньор Ландриани принял бы мученическую кончину, как Полиевкт в той опере, которую давали на прошлой неделе. Это казовая сторона медали, но есть и оборотная: в присутствии государя или хотя бы премьер-министра он сам не свой, он ослеплен их величием, он теряется, краснеет и даже физически не в силах сказать «нет». Вот и причина его поступка, из-за которого он прослыл по всей Италии жестоким человеком. Но никто не знает, что лишь только общественное мнение вскрыло подоплеку процесса графа Паланца, он наложил на себя епитимью и питался одним хлебом и водой двенадцать недель — то есть столько недель,

[69] Примечания: 69

Деций — римский император (III в.), известен в истории как преследователь христиан.

сколько букв в имени «Давид Паланца». Здесь при дворе орудует необыкновенно умный мерзавец по фамилии Расси, главный судья или главный фискал. Добиваясь смертного приговора графу Паланца, он как будто околдовал отца Ландриани. Во время двенадцатинедельного покаяния архиепископа граф Моска из жалости, а отчасти из лукавства, приглашал его к себе на обед — раз, а иногда и два раза в неделю. Добрый архиепископ, в угоду ему, ел за столом, как и все, — он счел бы себя бунтовщиком, якобинцем, если бы открыто выполнял епитимью, которой наказывал себя за поступок, одобренный монархом. Но все знали, что после каждого такого обеда, когда ему по обязанности верноподданного приходилось есть, как всем гостям, он прибавлял лишних два дня к строгому своему посту.

Монсиньор Ландриани человек большого ума, первоклассный ученый, но у него одна слабость: «он хочет, чтоб его любили»; поэтому смотри на него умильным взглядом и уже при третьем посещении изъяснись в сердечных чувствах к нему. А ведь ты — отпрыск знатного рода, монсиньор тотчас воспылает к тебе любовью. Не проявляй удивления, если он проводит тебя до самой лестницы; сделай вид, что ты привык к

такому обращению, — этот человек от рождения благоговеет перед знатью. Во всем остальном храни апостольскую простоту; не вздумай высказать ум, блеснуть находчивостью в ответах. Если ты его не испугаешь, ему будет приятно твое общество, — не забывай, что он по собственному своему почину должен сделать тебя главным викарием. Мы с графом будем удивлены и даже раздосадованы таким быстрым возвышением: это необходимая политика при нашем государе.

Фабрицио поспешил во дворец архиепископа; там ему необыкновенно повезло: глуховатый камердинер доброго прелата не расслышал фамилию дель Донго и доложил о молодом священнике Фабрицио. У архиепископа находился на приеме каноник, вызванный для пастырского внушения за свою далеко не примерную нравственность. Строгие назидания были для архиепископа тягостной обязанностью, и, желая свалить с себя это бремя, он невольно заставил внучатого племянника великого архиепископа Асканьо дель Донго прождать в приемной три четверти часа.

Проводив каноника до передней и возвращаясь в свои покои, архиепископ спросил мимоходом у молодого человека, ожидавшего в приемной,

«чем может ему служить», но вдруг заметил на нем фиолетовые чулки, услышал его имя: «Фабрицио дель Донго», пришел в отчаяние и рассыпался в извинениях. Все это показалось нашему герою таким забавным, что он уже в первое свое посещение проникся умилением к его преосвященству и даже поцеловал у него руку. Надо было слышать, с какой горестью и ужасом архиепископ бормотал:

— Дель Донго заставили ждать в моей приемной!

В качестве извинения он счел необходимым рассказать всю историю каноника, его провинности, его оправдания и т. д.

«Возможно ли, — думал Фабрицио, возвращаясь во дворец Сансеверина, — возможно ли, что этот самый человек заставил ускорить казнь несчастного графа Паланца?»

— Ну, что скажете, ваше преосвященство? — смеясь, спросил граф Моска, когда Фабрицио вошел в комнату герцогини. (Сам граф не позволял, чтобы Фабрицио называл его «ваше превосходительство».)

— Я словно с неба свалился! Ничего не понимаю в характере человеческом! Не знай я имени этого старика, я бы побился об заклад, что для него

нестерпимо видеть, как режут цыпленка.

— И вы бы выиграли! — заметил граф. — Но в присутствии принца или хотя бы в моем присутствии он просто не в силах сказать «нет». Правда, для надлежащего воздействия на него мне приходится надевать мундир и оранжевую орденскую ленту через плечо. Будь я во фраке, он способен был бы противиться мне. Поэтому я всегда принимаю его в мундире и с орденами. Не нам разрушать престиж власти: французские газеты и без нас расправляются с ним довольно успешно, — едва ли «мания почтительности» переживет нас; а уж вам, милый мой племянник, придется жить без нее и быть человеком покладистым.

Фабрицио очень нравилось беседовать с графом: это был первый выдающийся человек, который говорил с ним откровенно, без всякого притворства, и к тому же у них был общий интерес к античным древностям и раскопкам. Граф, со своей стороны, был польщен, что юноша слушает его с большим вниманием. Но кое-что беспокоило его: Фабрицио жил во дворце Сансеверина, проводил много времени с герцогиней, простодушно показывал, как он счастлив этой близостью, и, кроме того, у Фабрицио были воз-

мутительно красивые глаза и свежие краски!

Ранунцио-Эрнесто IV почти не встречал отпора у женщин и уже давно таил обиду на герцогиню за то, что ее добродетель, хорошо известная всему двору, не пожелала сделать для него исключение. Мы видели, что с первой же встречи его раздосадовали ум и самообладание Фабрицио, он дурно истолковал тесную дружбу герцогини с ее племянником, которую оба они беспечно выставляли напоказ, и стал весьма внимательно прислушиваться к нескончаемым пересудам придворных. Приезд молодого прелата и особая аудиенция, дарованная ему, целый месяц изумляли и занимали пармский двор. И вот у принца явилась идея.

В лейб-гвардии был простой солдат, который мог пить сколько угодно не пьянея; этот гвардеец проводил все свое время в кабаках и делал донесения о духе армии непосредственно самому государю. Карлоне был человек совсем необразованный, иначе он давно уж получил бы повышение. Ему приказано было являться во дворец ежедневно, когда на башенных часах било полдень. Однажды, незадолго до полудня, принц собственноручно опустил условленным образом жалюзи в одном из окон антресолей,

примыкавших к его туалетной комнате. Вскоре после того как пробило двенадцать, он опять пришел на антресоли, где его уже дожидался Карлоне. Принц принес с собой листок бумаги, карманную чернильницу и продиктовал ему следующее письмо:

«Ваше превосходительство!

Вы бесспорно очень умны, и благодаря глубокой вашей мудрости управление нашим государством идет прекрасно. Но, дорогой граф, ваши блестящие успехи, конечно, должны вызывать некоторую зависть; и я очень боюсь, что вы станете посмешищем, если только ваша мудрость не поможет вам угадать, что некий молодой человек имел счастье внушить, возможно, против своей воли, весьма необычайную любовь одной даме. Этому счастливому смертному, говорят, всего двадцать три года, а мы с вами, дорогой граф, вдвое старше, что весьма для нас неприятно. Вечером и на некотором расстоянии вы, граф, обворожительны; в вас столько живости, ума, галантности. Но утром, в домашней обстановке, недавно

прибывший друг, несомненно, кажется милее. Мы, женщины, так ценим юность и свежесть, особенно, когда нам уже за тридцать! Разве с вами не ведут речей о том, что надо удержать при дворе этого приятного юношу, предоставив ему какое-нибудь завидное место? А какая дама чаще всего говорит вам об этом, ваше превосходительство?»

Принц взял письмо и дал солдату два экю.

— Это сверх жалованья, — сказал он с угрюмым видом. — Но смотри: никому ни слова, а не то — крепость, самый сырой подземный каземат.

В письменном столе у принца хранилась целая коллекция конвертов с адресами почти всех придворных, написанными рукой того же солдата, хотя он слыл неграмотным и даже никогда не писал сам своих шпионских донесений. Принц выбрал конверт с нужным ему адресом.

Через несколько часов граф Моска получил по почте письмо. Было точно высчитано, когда его могут доставить, и лишь только увидели, что почтальон, который нес в руке небольшой пакет, вошел в подъезд министерства, а затем вышел, графа Моска вызвали к его высочеству.

Никогда еще фаворит не был так удручен печалью, и, чтобы вдоволь насладиться его скорбным видом, принц воскликнул:

— Сегодня мне нужен друг, а не министр. У меня безумная головная боль, меня одолевают мрачные мысли. Я хочу отдохнуть и поболтать с вами.

Надо ли говорить, в каком невыносимом состоянии находился премьер-министр граф Моска делла Ровере, когда ему, наконец, было дозволено проститься со своим августейшим повелителем. Ранунцио-Эрнесто IV в совершенстве владел искусством терзать человеческое сердце, — в этом отношении он вполне заслуживал сравнения с тигром, играющим своей добычей.

Граф приказал гнать лошадей вскачь; поднимаясь к себе, он крикнул, чтоб не пускали к нему ни одной живой души, велел передать дежурному *аудитору*, что тот может уйти (ему противно было чувствовать поблизости присутствие хоть одного человека), потом вбежал в картинную галерею и заперся там. Только тогда он мог, наконец, дать волю своему яростному гневу, и весь вечер, не зажигая огня, шагал по галерее взад и вперед, как потерянный. Он старался заглушить голос сердца и все свое внимание сосредоточить

лишь на том, что и как ему делать дальше. Томясь смертной мукой, которая вызвала бы жалость даже у самого заклятого его врага, он думал:

«Ненавистный мне человек живет у герцогини, проводит с нею все свое время. Не попытаться ли выведать все у одной из ее горничных? Нет. Это опаснейший шаг. Она так щедра, так добра к своим слугам, они обожают ее. (Да боже мой, кто же не обожает ее?) А главное, — с яростью твердил он про себя, — вот в чем вопрос: дать ей понять, что меня терзает ревность, или ничего не говорить?

Если я промолчу, они не будут от меня скрываться. Я знаю Джину — она сама непосредственность, вся отдается порыву, ее поступки зачастую неожиданны для нее самой; стоит ей заранее наметить для себя план поведения, она тотчас запутается; когда нужно действовать, ей приходит в голову новая мысль, которая кажется ей самой лучшей в мире, она немедленно осуществляет ее и все этим портит.

Не надо говорить ни слова о моих муках, тогда от меня не будут таиться, и я увижу все, что произойдет. Да, но если я выскажусь, может быть, мне удастся изменить ход событий; она поразмыслит, и, возможно, это предотвратит многое,

предотвратит самое ужасное… Может быть, его удалят (граф глубоко вздохнул) — тогда партия будет почти выиграна… Если Джина будет вначале немного сердиться, я успокою ее… Конечно, она рассердится, но это вполне естественно! Она привязалась к нему за пятнадцать лет, любит его, как сына. Вот в чем вся моя надежда: „любит, как сына“. Но ведь она не виделась с ним со времени его бегства в Ватерлоо, а из Неаполя он возвратился совсем другим человеком — особенно в ее глазах. „Другим человеком“! — повторил он с бешенством, — обольстительным! Главное, у него такой простодушный, ласковый вид, и глаза его улыбаются, сулят столько счастья! Герцогиня не привыкла видеть при дворе такие глаза, — там у людей взгляд угрюмый или язвительно-насмешливый. Да вот я сам, например, — вечно я занят делами, держусь у власти только благодаря своему влиянию на человека, которому хочется обратить меня в посмешище, — какой же может быть у меня взгляд? Он, конечно, прежде всего выдает мою старость, как бы я ни старался скрыть ее. А моя веселость всегда граничит с иронией! Скажу больше, — тут уж надо быть искренним, — разве в этой веселости не сквозит власть, почти что самодержавная, и злоба?.. Разве я сам не го-

ворю себе, особенно когда меня раздражают: „Я могу сделать все, что захочу!“, и даже так глупо добавляю: „Я счастливее других, потому что у меня есть то, чего у них нет: неограниченная власть в трех четвертях государственных дел“... Ну, так вот, надо быть справедливым, — эти привычные мысли, несомненно, портят мою улыбку, несомненно, придают мне себялюбивый, самодовольный вид. А как очаровательна его улыбка! От нее веет легким, светлым счастьем юности, и она порождает счастье в других».

К несчастью для графа, вечер был жаркий, душный, надвигалась гроза, — словом, стояла такая погода, которая в этих странах толкает людей на крайности. Как передать все рассуждения, все мысли о случившемся, три убийственных часа терзавшие этого человека страстной души? Наконец, благоразумие одержало верх, но лишь в силу следующих соображений:

«Вероятно, я схожу с ума; мне кажется, что я рассуждаю, а на самом деле я совсем не рассуждаю, — я, как больной, переворачиваюсь с бока на бок, пытаясь найти менее мучительное для себя положение. Ведь есть же какой-нибудь выход? Несомненно, есть; просто я не вижу его, не могу найти, будто ослеп от жестокой боли. Значит, на-

до последовать мудрому правилу всех разумных людей, именуемому *осторожность*.

Да, впрочем, стоит мне произнести роковое слово *ревность*, роль моя будет определена навсегда. А если сегодня ничего не говорить, завтра найдется возможность сказать, и во всяком случае я остаюсь хозяином положения».

Кризис был так мучителен, что, если бы он затянулся, граф сошел бы с ума. Ка несколько мгновений ему стало легче: мысли его обратились к анонимному письму. Кто мог его прислать? Он перебирал имена. Догадки, предположения отвлекли его. Наконец, ему вспомнилось, каким злорадством блеснули глаза принца, когда он к концу аудиенции сказал:

— Да, дорогой друг, сознаемся: утехи и заботы самого удовлетворенного честолюбия и даже неограниченная власть — ничто в сравнении с тем сокровенным счастьем, которое дают отношения нежной любви. Я прежде всего человек, а не монарх, и когда я имею счастье любить, моя возлюбленная видит во мне человека, а не монарха.

Граф сопоставил эти лукаво самодовольные слова с одной фразой письма: «благодаря глубокой вашей мудрости управление нашим

государством идет прекрасно».

— Это мог написать только принц! — воскликнул он. — Со стороны придворного такая фраза, несомненно, была бы большой неосторожностью. Письмо послано его высочеством.

Итак, он решил задачу, но легкое удовлетворение своей догадливостью тотчас же стерли жестокие воспоминания о красоте и обаянии Фабрицио. Они вернулись снова, и точно каменная глыба навалилась на сердце несчастного графа.

— Не все ли равно, кто автор этого анонимного письма, — с яростью воскликнул он, — раз то, что написано в нем, бесспорная истина. А ведь этот каприз может перевернуть всю мою жизнь, — добавил он, как будто стараясь оправдаться в своем безумстве. — Если она любит его определенным образом, то кто ей помешает уехать с ним в Бельджирате, в Швейцарию, в любой уголок мира. Она богата, да, впрочем, если бы ей пришлось жить на несколько луидоров в год, это ее не испугало бы. Всего лишь неделю назад она призналась мне, что ее великолепный дворец и все его роскошное убранство, наскучили ей. Она так молода душой, ей необходима новизна. И как просто возникло перед ней это новое счастье. Она увлечется, прежде чем заметит опасность, и не

вспомнит, что надо пожалеть меня. А я так несчастен! — воскликнул граф и горько заплакал.

Он дал себе слово не ездить в этот вечер к герцогине, но не мог выдержать, — еще никогда он так не жаждал видеть ее. Около полуночи он явился к ней; она сидела вдвоем с племянником: в десять часов вечера она отослала всех и велела больше никого не принимать.

Сразу бросилась ему в глаза нежная близость, установившаяся между двумя этими людьми, простодушная радость герцогини, и перед ним мгновенно предстало ужаснейшее и нежданное затруднение: за время долгих размышлений в картинной галерее он ни разу не подумал о том, как скрыть свою ревность.

Не зная, к какому прибегнуть предлогу, он заявил, что принц в этот вечер весьма враждебно встретил его, противоречил всем его утверждениям и т. д. С глубокой грустью он видел, что герцогиня едва его слушает и совсем равнодушна к новости, которая еще позавчера послужила бы предметом нескончаемых обсуждений. Граф взглянул на Фабрицио, — еще никогда не видел он, сколько простоты и благородства в чисто ломбардской красоте этого юноши. И Фабрицио внимательнее, чем герцогиня, слушал рассказ

графа о его неприятностях.

«Право же, — думал граф, — лицо его выражает большую доброту и какую-то необычайно пленительную, простодушную радость жизни. Оно как будто говорит: „Всего важнее в мире любовь и счастье любви“. Но едва разговор коснется даже какой-нибудь мелочи, где требуется ум, понимание, взгляд его оживляется, изумляет и смущает.

Все просто в его глазах, потому что он на все смотрит свысока. Боже мой, как победить такого врага! А что для меня жизнь без любви Джины?! С каким явным восторгом слушает она милые, искрящиеся шутки этого юного ума, которому женщины, вероятно, не находят равного в мире».

Жестокая мысль, как клещами, сдавила сердце графа: «Заколоть его тут же, перед нею, а потом покончить с собой».

Он прошелся по комнате, едва держась на ногах, но судорожно сжимая рукоятку кинжала. Те двое не обращали на него никакого внимания. Он сказал, что пойдет отдать распоряжение своему лакею. Слов его даже не расслышали: герцогиня смеялась ласковым смехом тому, что ей говорил Фабрицио. Граф подошел в первой гостиной к лампе, посмотрел, хорошо ли отточен

клинок кинжала. «Нужно быть приветливым и безупречно любезным с этим молодым человеком», — думал он, возвратившись а большую гостиную и подходя к ним.

У него мутилось в голове, — ему показалось, что они склонились друг к другу и целуются на его глазах.

«При мне? Нет, это невозможно! — подумал он. — Я теряю рассудок. Надо успокоиться. Если я буду резок, герцогиня из одного лишь оскорбленного самолюбия способна уехать вместе с ним в Бельджирате; а там или в дороге как-нибудь случайно вырвется слово, которое даст подлинное имя тому, что они чувствуют друг к другу, и отсюда в один миг — все последствия.

Уединение сделает это слово решающим. А что будет со мной, когда она уедет?.. Если я даже преодолею множество препятствий со стороны принца и они увидят в Бельджирате мою старую, хмурую физиономию, какую роль я буду играть меж двух любовников, обезумевших от счастья?

Ведь даже здесь я всего только „terzo incomodo“ (прекрасный итальянский язык словно создан для любви!). Terzo incomodo (докучное третье лицо)! Как мучительно умному человеку сознавать, что он играет эту жалкую роль, и все же не быть

в силах встать и уйти!»

Граф чувствовал, что вот-вот ярость его прорвется или хотя бы в выражении лица отразится его внутренняя пытка. Он шагал по гостиной и, очутившись у двери, вдруг бросился вон, крикнув благодушным и ласковым тоном:

— Прощайте, детки!

«Надо избежать крови», — подумал он.

На следующий день после этого ужасного вечера и бессонной ночи, когда граф то перебирал все преимущества Фабрицио, то терзался приступами жестокой ревности, он велел позвать к себе своего камердинера, молодого человека, который ухаживал за одной из горничных герцогини, ее любимицей Чекиной. К счастью, этот молодой слуга отличался степенным нравом и даже скупостью и очень желал получить место швейцара в одном из казенных зданий Пармы. Граф приказал, чтоб он немедленно привел Чекину, свою возлюбленную. Лакей подчинился, а час спустя граф внезапно вошел в комнату, где девушка сидела с женихом. Граф дал им столько золота, что они оба даже испугались, и затем спросил напрямик, пристально глядя на дрожавшую Чекину:

— У герцогини любовь с монсиньором?

— Нет, — ответила девушка, подумав немно-

го. — «Нет еще»! Но он часто целует ей руки, правда смеясь, а все-таки горячо целует.

Это свидетельство было затем дополнено ответами на целую сотню злобных вопросов графа, — бедняги вполне заработали те деньги, которые им бросил этот человек, охваченный страхом за свою любовь; в конце концов он поверил тому, что ему говорили, и почувствовал себя менее несчастным.

— Если герцогиня когда-нибудь узнает об этом разговоре, — сказал он Чекине, — я засажу вашего жениха в крепость на двадцать лет, и вы его увидите уж только седым стариком.

Прошло несколько дней, и Фабрицио тоже утратил всю свою жизнерадостность.

— Уверяю тебя, что граф Моска чувствует ко мне неприязнь, — говорил он герцогине.

— Тем хуже для его превосходительства, — отвечала она с досадой.

Но не в том была истинная причина тревоги, прогнавшей веселость Фабрицио.

«Помимо моей воли, я нахожусь в невыносимом положении, — думал он. — Я уверен, что она сама никогда не заговорит об этом; слишком определенные слова вызвали бы у нее такой же ужас, как кровосмешение. Но когда-нибудь

вечером, после безрассудного, веселого дня, она заглянет в свою душу, подумает, что я угадал склонность, которую она как будто чувствует ко мне, — и кем же я тогда окажусь в ее глазах? Настоящим „casto Giuseppe“[70].

А если честно и откровенно признаться ей, что я не способен на серьезную любовь? Нет, у меня не хватит уменья сказать ей об этом в такой форме, чтоб признание мое не походило, как две капли воды, на дерзость. Остается только сослаться на великую страсть к даме, проживающей в Неаполе. В таком случае придется съездить туда на сутки. Это весьма удачный выход, но стоит ли утруждать себя? Можно в самой Парме завести низкопробный роман. Это, пожалуй, не понравится ей. Но я готов на что угодно, лишь бы избежать нелепой роли мужчины, который не желает угадать, что его любят. Такое поведение, пожалуй, испортит мою будущую карьеру. Что же, постараюсь уменьшить опасность — буду вести себя осторожно, куплю деньгами молчание».

Самым жестоким в этих рассуждениях было сознание, что он-то действительно любит герцогиню больше, чем кого-либо в мире. «Право,

---

[70] Примечания: 70

Итальянская поговорка, намекающая на смешную роль Иосифа по отношению к супруге евнуха Пентефрия.

какой же я неловкий! — гневно корил он себя. — Мне ни за что не выразить это, не убедить ее в том, что является, однако, истинной правдой». Не находя выхода из положения, он стал озабоченным и грустным. «Боже мой! — думал он, — что будет со мной, если я поссорюсь с единственным существом в мире, к которому чувствую страстную привязанность?»

С другой стороны, Фабрицио не мог решиться разрушить каким-нибудь неосторожным словом свое счастье. Жизнь его была исполнена очарования. Задушевная дружба обаятельной и красивой женщины была так сладостна. А с грубой, житейской точки зрения ее покровительство создавало ему приятное положение при дворе; запутанные придворные интриги благодаря ее объяснениям забавляли его, как комедия. «Но ведь в любую минуту может наступить жестокое пробуждение, — убеждал он себя. — Если веселые, уютные вечера наедине с такой пленительной женщиной приведут к более нежной близости, она будет видеть во мне возлюбленного, будет ждать от меня восторгов, безумств… А я могу ей дать только дружбу, самую горячую дружбу, но не любовь, — природа лишила меня этого дивного безумства. Сколько мне приходилось терпеть упреков из-за

этого! Я так и слышу слова герцогини д'А***, — но что мне было до герцогини! Джина подумает, что у меня нет настоящей любви к ней, тогда как я вообще не могу любить по-настоящему. Никогда она не поймет меня. Нередко, когда она рассказывает какую-нибудь забавную и поучительную для меня историю из придворной жизни, — а рассказывает она так славно, так остроумно, как никто в мире, — я от восхищения целую ей руки, а иногда и щечку. Как быть, если ее рука многозначительно пожмет мою руку?»

Фабрицио ежедневно появлялся в самых почтенных и в самых скучных салонах Пармы. Следуя мудрым советам герцогини, он ловко ухаживал за обоими принцами, отцом и сыном, за принцессой Кларой-Паолиной и за монсиньором архиепископом. Он имел у них успех, но это нисколько не утешало его, — он смертельно боялся поссориться с герцогиней.

8

Итак, не прошло и месяца со времени появления Фабрицио при дворе, как он уже изведал все огорчения придворного, а задушевная дружба — счастье его жизни — была отравлена. Однажды вечером, терзаясь этими мыслями, он ушел из гостиной герцогини, где он слишком был похож на царившего в доме любовника; бродя по улицам, он увидел освещенный театр и вошел туда. Это был неосторожный поступок для особы его звания, и до тех пор он не позволял себе таких вольностей в Парме, ибо это в конце концов небольшой город, в котором лишь сорок тысяч жителей. Правда, с первых же дней Фабрицио сбросил одеяние прелата; по вечерам, если ему не надо было ехать в большой свет, он носил простую черную одежду, похожую на траурную.

В театре он взял ложу третьего яруса, чтобы не быть на виду. Давали «Хозяйку гостиницы» Гольдони[71]. Фабрицио разглядывал отделку зала и почти не смотрел на сцену. Но многочисленная

[71] Примечания: 71

«Хозяйка гостиницы» — знаменитая комедия Карло Гольдони (1707–1793), до сих пор не сходит со сцены театров.

публика поминутно хохотала. Фабрицио бросил взгляд на молодую актрису, исполнявшую роль хозяйки, и она понравилась ему, он поглядел на нее внимательнее, и она показалась ему очень хорошенькой, а главное, очень непосредственной: видно было, что эта простодушная молодая девушка первая готова смеяться тем забавным шуткам, какие Гольдони вкладывал в ее уста, и она произносила их с каким-то детски удивленным видом. Фабрицио спросил, как ее зовут, ему ответили: «Мариетта Вальсерра».

«А-а, как странно! Она взяла мою фамилию!» — подумал он.

Вопреки своим намерениям он остался в театре до конца спектакля. На другой день он пришел опять; через три дня он узнал адрес Мариетты Вальсерра.

После того как он не без труда раздобыл ее адрес, он в тот же вечер заметил, что граф необычайно любезен с ним. Несчастный ревнивец, которому тяжких усилий стоило держать себя в границах благоразумия, послал шпионов следить за Фабрицио и был очень доволен его театральными шашнями. Как описать радость графа, когда на другой день после того вечера, в который ему удалось заставить себя быть приветливым с

соперником, он узнал, что Фабрицио, правда переодевшись в длинный синий редингот, побывал в убогой квартирке, которую Мариетта Вальсерра снимала на пятом этаже старого дома позади театра. Радость его возросла, когда ему сообщили, что Фабрицио представился под чужим именем и имел честь вызвать ревность некоего головореза по фамилии Джилетти, который в городе был на третьих ролях и играл лакеев, а в деревнях плясал на канате. Этот благородный любовник Мариетты за глаза осыпал Фабрицио руганью и грозился убить его.

Оперные труппы обычно составляются *импрессарио*, которые набирают в разных городах певцов, оказавшихся им по карману или оставшихся без ангажемента, и такая случайно подобранная труппа существует самое большее два театральных сезона. Иначе обстоит дело с «комедийными товариществами». Кочуя из города в город, переезжая с места на место каждые два или три месяца, труппа как бы становится семьей, члены которой любят или ненавидят друг друга. В таких «товариществах» встречаются прочно установившиеся семейные отношения, и сердцеедам тех городов, где играет труппа, иной раз больших трудов стоит разъединить супружеские пары. Как

раз это и случилось с нашим героем: молоденькая Мариетта влюбилась в него, но она ужасно боялась Джилетти, притязавшего на роль единственного ее повелителя и строго надзиравшего за ней. Он повсюду кричал, что способен убить монсиньора (выследив Фабрицио, он разузнал его имя). Джилетти был сущим уродом, совсем не созданным для любви: верзила непомерного роста, тощий, рябой и немного косоглазый. Впрочем, он обладал достоинствами, подходившими для его театрального амплуа, и обычно, влетев за кулисы, где собирались его товарищи, вертелся колесом, ходил на руках или выкидывал какой-нибудь другой забавный фокус. Он с триумфом выступал в тех ролях, в которых актер должен появиться на сцене набеленный мукой и выдерживать или раздавать бесконечное количество палочных ударов. Благородный соперник Фабрицио получал тридцать два франка жалованья в месяц и считал себя богачом.

Граф Моска словно воскрес из мертвых, когда узнал, по донесениям шпионов, все эти подробности. К нему вернулось приятное расположение духа, в гостиных герцогини он был еще более весел и любезен, чем прежде. Но, конечно, он не сказал ей ни слова об этом маленьком любов-

ном приключении, вернувшем его к жизни. Он даже принял меры, для того чтобы она узнала обо всем как можно позже. И, наконец, у него явилось мужество внять голосу рассудка, тщетно твердившему ему целый месяц, что всякий раз, как достоинства любовника тускнеют в глазах возлюбленной, этому любовнику следует отправиться в путешествие.

Ему вдруг понадобилось выехать по какому-то важному делу в Болонью, и два раза в день министерские курьеры доставляли ему туда не столько казенные бумаги, сколько новости о любовных делах молоденькой Мариетты, о гневе грозного Джилетти и предприимчивости Фабрицио.

По требованию одного из агентов графа в театре много раз ставили пьесу «Арлекин, скелет и пирог», в которой Джилетти всегда стяжал лавры (он выскакивал из пирога в ту минуту, когда его соперник Бригелла начинал разрезать этот пирог, и Бригелла колотил его палкой). Постановка пьесы послужила предлогом послать триумфатору в подарок сто франков. Джилетти, обремененный долгами, поостерегся рассказывать о подарке, но стал держать себя с необычайным апломбом.

Уязвленное самолюбие подстегивало прихоть Фабрицио (в таком возрасте он поневоле уже

обратился к прихотям). Тщеславие заставляло его бывать на спектаклях; Мариетта играла очень мило и забавляла его; выйдя из театра, он целый час бывал влюблен в нее. Граф вернулся в Парму, получив сведения, что Фабрицио грозит серьезная опасность. Джилетти, некогда служивший солдатом в одном из лучших драгунских полков Наполеона, в самом деле собирался убить Фабрицио и уже принимал меры, чтобы убежать после этого в Романью. Если читатель наш очень молод, его, наверно, возмутит наше восхищение благородством графа. Однако вернуться из Болоньи, чтобы спасти Фабрицио, было своего рода героизмом со стороны графа: по утрам у него нередко бывал весьма поблекший цвет лица, а у соперника его было столько юной свежести, столько беззаботности! Кто вздумал бы упрекать графа за смерть Фабрицио, случившуюся в его отсутствие и по столь нелепой причине? Но он принадлежал к числу тех редкостных людей, которые вечно будут мучиться угрызениями совести, если они могли совершить великодушный поступок, но уклонились от него; к тому же он не мог перенести мысли, что герцогиня будет грустить да еще по его вине.

Вернувшись, он заметил, что она молчалива

и мрачна. А произошло вот что. Молоденькая горничная Чекина заболела от мучительного раскаяния в своем проступке, о важности которого судила по огромной сумме денег, полученной от графа. Герцогиня любила эту девушку и однажды вечером поднялась в комнату больной навестить ее. Чекина не могла устоять перед этой добротой; заливаясь слезами, она попыталась вернуть своей госпоже все деньги, оставшиеся у нее от полученной платы, и, наконец, набравшись храбрости, рассказала, какие вопросы задавал ей граф и что она отвечала ему. Герцогиня тотчас погасила лампу, затем успокоила Чекину, сказав, что прощает ее, но при условии, что она никогда не скажет никому ни слова об этом странном разговоре.

— Бедняжка граф, — добавила она шутливым тоном, — как и все мужчины, боится попасть в смешное положение.

Герцогиня поспешила вернуться к себе. Лишь только она заперлась в своей спальне, слезы хлынули у нее из глаз. Ей казалось ужасным даже помыслить о возможности любовной связи с Фабрицио, который родился на ее глазах. Но тогда что же означало ее поведение?

Вот это и было главной причиной мрачной

меланхолии, в которой застал ее граф. Когда он приехал, у нее появилась раздражительность против него и даже против Фабрицио, ей хотелось не видеть больше ни того, ни другого; ее возмущало, что Фабрицио играет смешную, по ее мнению, роль при какой-то Мариетте: граф все ей рассказал, ибо, как и все влюбленные, не в силах был хранить тайны от любимой женщины. Она не могла свыкнуться с таким несчастьем: у ее кумира оказался недостаток; наконец, в минуту дружеской приязни к графу она попросила его совета; это был блаженный миг для него и хорошая награда за благородное чувство, побудившее его вернуться в Парму.

— Чего проще! — воскликнул он смеясь. — Молодые люди жаждут обладать всеми женщинами, а на другой день и не вспоминают о них. Ведь он, кажется, собирался поехать в Бельджирате повидаться с маркизой? Ну что ж, пусть едет. В его отсутствие я попрошу труппу блеснуть своими талантами в другом городе и оплачу ей дорожные расходы. Но вот увидите, он скоро влюбится в другую красотку, которая встретится на его пути; это в порядке вещей, и я, право, не хотел бы видеть его иным… Так вот, если нужно, попросите маркизу вызвать его письмом.

Эта мысль, подсказанная графом с видом полнейшего равнодушия, была для герцогини просто откровением: она боялась Джилетти. Вечером граф как бы случайно упомянул, что в Вену едет через Милан курьер; три дня спустя Фабрицио получил письмо от матери. Он поехал к ней, весьма досадуя, что не может из-за ревнивца Джилетти воспользоваться благоволением Мариетты, в котором она заверила его через mammacia, то есть старуху, состоявшую при ней в роли маменьки.

Фабрицио встретился с матерью и одной из своих сестер в Бельджирате — большой пьемонтской деревне, расположенной на правом берегу Лаго-Маджоре; левый берег принадлежал Миланской области и, следовательно, Австрии. Это озеро, протянувшееся с севера на юг параллельно Комо, отстоит от него на десять лье к западу. Горный воздух, величавая и спокойная красота этого дивного озера, напоминавшего ему Комо, на берегах которого прошло его детство, — все способствовало тому, что досада Фабрицио, граничившая с гневом, сменилась тихой грустью. С бесконечной нежностью вспоминал он теперь о герцогине, и ему казалось, что вдали от нее он чувствует к ней ту любовь, которой еще не вызывала в нем ни одна женщина; он считал теперь самым тяжким

несчастьем навсегда разлучиться с ней, и если б при таком его душевном состоянии герцогиня пожелала прибегнуть хоть к малейшему кокетству, вздумала бы противопоставить ему соперника, она завоевала бы его сердце. Однако она не только далека была от подобных решительных действий, но даже корила себя за то, что мыслями постоянно прикована к молодому путешественнику. Она возмущалась своею «прихотью» как называла упорно свое чувство, и видела в нем нечто ужасное. Она усилила внимание и предупредительность к графу, и, очарованный такими милостями, он не послушался голоса рассудка, который предписывал ему вторичное путешествие в Болонью.

Маркиза дель Донго, поглощенная приготовлениями к свадьбе своей старшей дочери, которую выдавали за одного миланского герцога, могла уделить горячо любимому сыну только три дня; никогда еще он не проявлял такой нежной привязанности к ней. Грусть все более и более овладевала душой Фабрицио, и вот ему пришла странная, даже смешная, мысль, и он немедленно ее осуществил. Мы едва решаемся сказать, что ему захотелось посоветоваться с аббатом Бланесом. Этот славный старик совершенно не

способен был понять страдания сердца, раздираемого двумя противоречивыми ребяческими страстями, почти равными по силе; к тому же понадобилась бы целая неделя, чтобы он хоть смутно представил себе все те чуждые ему интересы, с которыми надо было считаться в Парме; но в желании Фабрицио посоветоваться с ним воскресла прежняя свежесть чувств шестнадцатилетнего юноши. Поверят ли нам? Фабрицио хотелось поговорить с ним не только как с человеком мудрым, с преданным другом, — цель поездки нашего героя и чувства, волновавшие его в течение пятидесяти часов, которые она длилась, настолько нелепы, что, несомненно, это повествование выиграло бы, если бы я о них умолчал. Боюсь, как бы суеверие Фабрицио не лишило его симпатии читателя; но ничего не поделаешь, таков уж он был. Зачем приукрашивать его более, нежели других наших героев? Я ведь не приукрасил ни графа Моска, ни принца.

Итак, Фабрицио — раз уж решено все говорить без утайки — проводил свою мать до порта Лавено, находящегося на левом берегу Лаго-Маджоре — на австрийском берегу, и она высадилась там в восьмом часу вечера. (Озеро считается нейтральной зоной, и у тех, кто не выходит на

берег, не спрашивают паспорта.) Но лишь только совсем стемнело, он тоже высадился на австрийский берег, в молодом лесу, подступавшем к самому озеру. Он нанял седиолу — нечто вроде деревенского кабриолета, легкого и быстрого на ходу, — благодаря чему мог следовать за каретой матери на расстоянии пятисот шагов; одет он был в ливрею дома дель Донго, и никому из многочисленных полицейских или таможенных чиновников не пришло бы в голову потребовать у него паспорт. Не доезжая четверти лье до Комо, где маркиза с дочерью должны были заночевать, он свернул влево, на проселок, который огибает городок Вико и выводит затем на узкую дорогу, недавно проложенную вдоль озера по самому краю берега.

Была уже полночь, и Фабрицио мог рассчитывать, что ему не встретится ни один жандарм. Дорога то и дело пересекала небольшие рощицы; листва деревьев черными контурами вырисовывалась в звездном небе, затуманенном легкой дымкой. На воде и в небе все полно было глубокого спокойствия. Душа Фабрицио не могла противиться величавой красоте природы; он остановился, затем присел на скале, выступавшей в озеро, подобно небольшому мысу. Тишину

нарушал только легкий равномерный плеск мелких волн, замиравших у берега. У Фабрицио была душа истого итальянца, — прошу в этом прощенья за него; он страдал недостатком, который сделает его менее интересным для читателя: тщеславие овладевало им лишь порывами, а величавая красота пейзажа, вызывая в нем умиление, притупляла острые шипы житейских горестей. Сидя на уединенной скале, где ему не надо было держаться настороже и помнить об агентах полиции, под покровом ночного мрака и глубокой тишины, он почувствовал, как сладостные слезы увлажнили его глаза, и нежданно пережил одно из счастливейших мгновений своей жизни, каких уже давно не знал.

Он решил никогда не говорить герцогине лживых слов и, так как в эту минуту любил ее до обожания, поклялся себе никогда не говорить ей, что любит ее, не произносить перед нею слово «любовь», потому что страсть, которую так называют, чужда его сердцу. В порыве великодушных и добродетельных чувств, переполнявших его в эту минуту блаженством, он принял решение при первом же удобном случае открыть ей всю правду: сердце его не знает любви. И как только он принял столь мужественное решение, у него

стало необыкновенно легко на душе. «Может быть, она заговорит о Мариетте? Ну что ж, я больше никогда не увижусь с крошкой Мариеттой», — весело успокоил он себя.

Спала удушливая жара, царившая днем; подул прохладный предутренний ветер. Уже заря обвела бледным светом острые вершины Альп, вздымающиеся к северу и к востоку от озера Комо. Эти исполины, убеленные снегами даже в июне, четко выделяются на светлой лазури неба, всегда чистого в беспредельной вышине. Один из отрогов Альп, протянувшись на юг, в благодатную Италию, отделяет Комо от озера Гарда. Фабрицио окинул взглядам все кряжи этих могучих гор; заря, разгораясь, обозначила между ними долины, пронизала легкий туман, поднимавшийся из глубоких ущелий.

Некоторое время Фабрицио уже шел по дороге; он миновал холм, образующий полуостров Дурини, и, наконец, перед глазами его появилась гриантская колокольня, на которой он так часто наблюдал звезды вместе с аббатом Бланесом. «Каким невеждой я был тогда, — подумал он. — Я не понимал даже смешную латынь тех трактатов по астрологии, которые листал мой учитель, и, право, относился к ним с почтением именно

потому, что мне понятны были лишь отдельные слова и воображение мое придавало им смысл самый романтический».

Постепенно его мысли приняли другое направление. «А есть ли что-нибудь верное в этой науке? Чем она отличается от других наук? Вот, например, некоторое количество дураков и ловких людей сговариваются между собой, будто они знают „мексиканский язык“; это придает им вес, общество их почитает, а правительство им платит. Их осыпают почестями именно за то, что ума у них нет и властям нечего опасаться, как бы они не подняли народы на восстание и высоким, благородным пафосом не пробудили энтузиазма. Взять хотя бы отца Бари, которому Эрнесто IV недавно назначил пенсию в четыре тысячи франков и дал самый важный свой орден за то, что он восстановил девятнадцать стихов какого-то греческого дифирамба!..

Но боже мой! Разве я имею право признавать нелепыми подобные порядки? Мне ли на них роптать? — подумал он, остановившись вдруг. — Ведь моему наставнику в Неаполе пожаловали такой же самый орден». Чувство неловкости охватило Фабрицио; прекрасный порыв добродетели, от которого билось его сердце, сменился низким

удовольствием вора, получившего свою долю краденого. «Ну что же? — сказал он себе, наконец, и глаза его померкли, ибо он был недоволен собой. — Раз мое происхождение дает мне право пользоваться этими злоупотреблениями, было бы неслыханной глупостью не брать своей доли. Но тогда уже нельзя позволять себе бичевать их публично». Эти рассуждения не лишены были основательности, а все же Фабрицио упал с высот чистого счастья, на которые вознесся час тому назад. Мысль о привилегиях иссушила то хрупкое, нежное растение, которое зовется счастьем.

«Но если нельзя верить астрологии, — думал он, стараясь отвлечься от неприятных мыслей, — если эта наука, так же как и три четверти наук не математических, всего-навсего изобретение восторженных глупцов и ловких мошенников, оплачиваемых теми, кому они служат, почему же я так часто и с таким волнением думаю об одном зловещем обстоятельстве? Ведь когда-то я вышел из Б-ой тюрьмы в одежде и с подорожной солдата, брошенного в тюрьму по совершенно справедливым причинам».

Но тут рассуждения Фабрицио упирались в стену, — сто раз он всячески подходил к затруднению и не мог его преодолеть. Он был еще

слишком молод: в минуты досуга душа его с восторгом впивала впечатления от романтических обстоятельств, которые его фантазия услужливо находила для него. Он еще совсем не умел терпеливо разбираться в подлинных особенностях жизненных явлений и разгадывать таким образом их причины. Действительность еще казалась ему низменной и грязной. Я понимаю, что не всякий любит приглядываться к действительности, но тогда не надо и рассуждать о ней. И в особенности не следует спорить с нею, черпая аргументы в своем невежестве.

Так и Фабрицио, юноша неглупый, все же не видел, что эта полувера в предзнаменования была для него религией, глубоким впечатлением, полученным на пороге жизни. Вспоминать об этих верованиях, значило для него чувствовать, быть счастливым. И он упрямо старался разрешить вопрос, можно ли их превратить в науку, в настоящую науку, «располагающую доказательствами», вроде, например, геометрии. Он добросовестно перебирал в памяти все случаи, когда вслед за «предзнаменованиями», замеченными им, не произошло тех счастливых или несчастных событий, которые они как будто предрекали. Но, воображая, что он мыслит

логически и стремится к истине, он с радостью останавливался на воспоминаниях о тех случаях, когда вслед за «предзнаменованием» явно следовали счастливые или несчастные события, которые оно, казалось ему, предвещало, и это наполняло его душу почтительным умилением. Он почувствовал бы непреодолимую ненависть к человеку, не верившему в предзнаменования, особенно если этот человек стал бы говорить о них с иронией.

Фабрицио так увлекся своими беспомощными рассуждениями, что шел, не замечая пройденного расстояния, и вдруг, подняв голову, увидел стену, огораживавшую отцовский сад. Стена эта высотою в сорок футов тянулась справа от дороги и поддерживала прекрасную террасу. Карниз из тесаного камня, выступавший ниже балюстрады, придавал ей монументальность. «Недурно, — холодно сказал про себя Фабрицио. — Красивая архитектура, почти в римском стиле». (Он применил свои недавние познания в античности.) И тут же с гадливостью отвернулся: ему вспомнилась суровость отца, а главное — донос брата Асканьо накануне его возвращения из Франции.

«Этот противоестественный донос брата положил начало моей теперешней жизни; я могу

ненавидеть, презирать Асканьо, но именно он изменил мою судьбу. В Новаре, куда меня выслали, отцовский управитель едва терпел меня, и что сталось бы со мной, если б возлюбленный моей тетушки не был всесильным министром и если б у нее самое оказалась черствая и низкая, а не пылкая и нежная душа, если б она не любила меня с непостижимой для меня восторженностью. Да, что сталось бы со мною, будь у герцогини такая же душа, как у ее брата, маркиза дель Донго?»

Подавленный тяжелыми воспоминаниями, Фабрицио шел уже менее уверенной поступью; наконец, он очутился около рва, как раз перед великолепным фасадом замка. Но Фабрицио едва взглянул на это огромное, почерневшее от времени здание. Он остался равнодушен к благородному языку древнего зодчества, — воспоминания об отце и брате замкнули его душу для всякого восприятия красоты. Все внимание его было сосредоточено на том, что надо быть начеку близ этих лицемерных и опасных врагов. Правда, он посмотрел минуту, но с явным отвращением, на одно окно в четвертом этаже — окно его комнаты, где он прожил несколько лет до 1815 года. Характер отца отнял всю прелесть воспоминаний о днях детства: «Я расстался со своей

комнатой седьмого марта, в восемь часов вечера. Я тогда отправился к Вази попросить его паспорт, а на следующий день поспешил уехать, опасаясь шпионов. Когда я приезжал сюда, вернувшись из Франции, я не мог побывать в ней хотя бы для того, чтобы взглянуть на свои гравюры, и все из-за доноса моего братца».

Фабрицио с содроганием отвернулся. «Аббату Бланесу уже восемьдесят три года, — печально подумал он. — Старик теперь почти не бывает в замке, как говорит сестра: недуги старости сломили его. Мужественное и благородное сердце остыло с возрастом. Наверно, он уже бог знает сколько времени не поднимался на колокольню. Я спрячусь в его подвале за чанами или за прессом для винограда, подожду, когда он проснется, я не стану тревожить сон доброго моего старика. Он, должно быть, позабыл даже мои черты. Шесть лет! Это долгий срок в старости! Я увижу лишь руины прежнего своего друга. Право, это настоящее ребячество: явиться сюда, когда отцовский замок вызывает у меня такое отвращение!»

Фабрицио вышел на маленькую площадь перед церковью; с удивлением, почти не веря своим глазам, увидел он, что узкое высокое окно в третьем ярусе древней колокольни освещено

фонариком отца Бланеса. Поднимаясь в дощатую клетку, служившую ему обсерваторией, старик обычно ставил этот фонарик на подоконник, чтобы свет не мешал читать планисферу. Эта карта звездного неба была натянута на большой глиняный горшок, в котором когда-то росло апельсиновое дерево перед замком. В отверстие на дне горшка вставлялась крошечная зажженная лампочка, дым от нее выходил через узкую жестяную трубку, и тень от трубки указывала на карте север. Воспоминания о всех этих убогих приспособлениях затопили волнением и счастьем душу Фабрицио.

Почти бессознательно он приложил ко рту ладони и подал сигнал — короткий и негромкий свист, каким обычно просил впустить его на колокольню. Тотчас же он услышал, как несколько раз с вышки обсерватории дернули веревку, чтобы поднять щеколду, запиравшую входную дверь. Фабрицио стремглав, не помня себя от волнения, взбежал по ступенькам. Аббат сидел на обычном своем месте в деревянном кресле и, прищурив один глаз, смотрел в подзорную трубу со стенным квадрантом[72]. Левой рукой он

[72] Примечания: 72

Стенной квадрант — старинный астрономический прибор для измерения высоты небесных светил.

сделал Фабрицио знак, чтобы тот не прерывал его наблюдений, через минуту он записал какую-то цифру на игральную карту, затем повернулся в кресле, открыл объятия, и наш герой бросился в них, заливаясь слезами. Аббат Бланес был для него настоящим отцом.

— Я ждал тебя, — сказал Бланес после первых нежных излияний.

Что это значит? Играл ли аббат роль ученого звездочета или действительно оттого, что он часто думал о Фабрицио, какой-нибудь астрологический знак по чистой случайности возвестил ему это свидание.

— Вот и смерть моя пришла, — сказал аббат Бланес.

— Почему? — испуганно воскликнул Фабрицио.

— Ну да, — сказал аббат серьезным, но вовсе не печальным тоном. — Я свиделся с тобой, и теперь через пять с половиной или через шесть с половиной месяцев жизнь моя, достигшая предела счастья, угаснет, come face al mancar dell'alimento (как светильник, когда иссякнет в нем масло). До смертного своего часа я, вероятно, проведу один или два месяца в молчании, а после этого буду принят в лоно отца небесного, если только он

найдет, что я выполнил свой долг на том посту, где он повелел мне стоять на страже.

Ты изнемог от усталости и волнения, тебя клонит ко сну. С тех пор как я поджидаю тебя, у меня всегда хранятся в большом ящике для инструментов хлеб и бутылка водки. Подкрепись, постарайся набраться сил, чтобы послушать меня еще несколько минут. В моей власти сказать тебе многое, но лишь до той поры, пока ночную тьму еще не сменит день; сейчас я вижу будущее яснее, чем, может быть, увижу его завтра. Все мы слабы, дитя мое, и эту слабость следует всегда принимать в расчет. Может быть, завтра старый человек, земной человек занят будет мыслями о близкой своей кончине, а ведь в девять часов вечера нам надо с тобой расстаться.

Фабрицио, как обычно, молча повиновался ему.

— Итак, — заговорил старик, — это правда, что, когда ты пытался достигнуть Ватерлоо, то вначале попал в темницу?

— Да, отец мой, — удивленно ответил Фабрицио.

— Ну, что ж, это редкое счастье, ибо теперь ты будешь предупрежден моим предсказанием, и твоя душа может подготовиться к другой темни-

це, куда более суровой и страшной. Вероятно, ты выйдешь из нее лишь с помощью преступления. Но, по милости господней, не ты совершишь это преступление. Никогда не совершай преступления, как бы сильно оно ни искушало тебя. Мне кажется, что замышлено будет убить неповинного человека, который, сам того не ведая, присвоит себе твои права. Если ты преодолеешь жестокий соблазн и не совершишь убийства, хотя оно будет казаться оправданным законами чести, жизнь твоя будет очень счастливой в глазах людей… да и в глазах мудреца довольно счастливой, — добавил он после краткого раздумья. — Ты умрешь, как и я, сын мой, сидя в деревянном кресле, вдали от всякой роскоши и отвратившись от роскоши, и, как у меня, не будет на твоей душе тяжких грехов.

Теперь речь о твоем будущем покончена меж нами, я не могу добавить к сказанному ничего значительного. Напрасно я старался увидеть, сколько продлится твое заточение — полгода, год или десять лет. Я ничего не мог открыть. Должно быть, я совершил какую-то ошибку, и небу угодно было покарать меня прискорбной неуверенностью. Я увидел только, что после темницы, а может быть, как раз тогда, когда ты

будешь выходить из нее, произойдет то, что я называю преступлением, — к счастью, я уверен, что оно не тобою будет совершено. Но если ты проявишь слабость и примешь в нем участие, все остальные мои вычисления — только длинный ряд ошибок. Тогда ты не умрешь в деревянном кресле, облекшись в белые одежды и обретя мир душевный.

Говоря эти слова, аббат Бланес хотел подняться с кресла, и тут Фабрицио заметил, как он одряхлел: ему понадобилась почти минута, чтобы встать на ноги и повернуться к Фабрицио. А Фабрицио стоял молча, неподвижно, не решаясь ему помочь. Аббат обнял его и несколько раз поцеловал, с глубокой нежностью прижимая к себе. Затем сказал ему с веселостью прежних лет:

— Постарайся получше устроиться среди моих инструментов и поспи немного. Возьми мои шубы; у меня их несколько, и все дорогие, — герцогиня Сансеверина мне прислала их четыре года назад. Она попросила у меня гороскоп о твоем будущем, я гороскопа ей не послал, а подарок ее — шубы и вот этот прекрасный квадрант — оставил себе. Всякое предсказание будущего является опасным вмешательством, оно может изменить предсказанные события, и в таком

случае наука рушится, как детский карточный домик; к тому же герцогиня все такая же милая, а пришлось бы жестоко огорчить ее. Да кстати, не испугайся во сне: в семь часов будут звонить к ранней обедне, и над самым твоим ухом затрезвонят колокола. А попозже в нижнем ярусе ударят в большой колокол, — когда он загудит, у меня тут трясутся все инструменты. Нынче праздник святого Джиовиты, мученика и воина. Ты ведь знаешь, у нашей деревни Грианты тот же покровитель, что и у большого города Брешии, и это, к слову сказать, ввело в забавное заблуждение моего знаменитого учителя Джакопо Марини из Равенны. Несколько раз он предсказывал мне, что я преуспею на духовном поприще. Он уверял, что я буду настоятелем великолепной церкви Джиовиты в Брешии, в большом городе, а я всю жизнь был приходским священником в Грианте, где только семьсот пятьдесят дворов. Но все к лучшему! Девять лет назад я узнал, что, будь я настоятелем храма в Брешии, мне выпала бы участь томиться в тюрьме Шпильберг, что стоит на одном из холмов Моравии. Завтра я принесу тебе всяких тонких кушаний, украденных от пышного обеда, которым я потчую всех окрестных священников, приезжающих служить со мною

торжественную мессу. Я принесу и поставлю эти блюда внизу, но ты не вздумай увидеться там со мною, — сойди и возьми эти вкусные яства, только когда услышишь, что я уже ушел. Тебе не следует видеться со мною днем, и ты должен уйти, когда часам еще ведется счет от девяти, иначе говоря, пока не пробило десять. Солнце закатится завтра в семь часов двадцать семь минут, и лишь около восьми часов я приду обнять тебя. Берегись! Как бы не увидели тебя в окна колокольни! Твои приметы уже известны жандармам, а они состоят, так сказать, под началом твоего брата, заядлого тирана. Маркиз дель Донго слабеет, — добавил Бланес с печальным видом, — и если бы он увиделся с тобою наедине, то, может быть, дал бы тебе сколько-нибудь денег из рук в руки. Но щедроты, запятнанные обманом, не к лицу такому человеку, как ты, ибо когда-нибудь ты будешь силен чистой совестью. Маркиз ненавидит своего сына Асканьо, но именно этому сыну достанется все его состояние — пять или шесть миллионов. Такова справедливость. Ты же после смерти отца получишь пенсию в четыре тысячи франков и пятьдесят локтей черного сукна на траурное платье для твоих слуг.

9

Речи старика, напряженное внимание к ним и крайняя усталость привели Фабрицио в нервное возбуждение; он заснул с трудом, и сон его тревожили видения, быть может предвещавшие будущее. Утром, в десять часов, его разбудил страшный грохот, сотрясавший колокольню, но как будто раздававшийся за ее стенами. Фабрицио вскочил, решив спросонья, что настало светопреставленье, а затем — что он в тюрьме; не сразу узнал он громовой гул большого колокола, звонившего в честь великомученика Джиовиты; сорок крестьян раскачивали веревками язык этого колокола, хотя достаточно было бы и десяти человек.

Фабрицио отыскал удобное место, откуда он мог все видеть, оставаясь скрытым от чужих глаз. Он заметил, что с такой большой высоты хорошо видны сады и даже внутренний двор отцовского замка. Он совсем забыл об отце. Но мысль, что жизнь этого человека приходит к концу, изменила теперь его сыновние чувства. Фабрицио ясно различал даже воробьев, клевавших крошки хлеба на большом балконе перед столовой.

«Наверно, потомки тех воробьев, которых я когда-то приручил», — подумал он. Балкон, как и все остальные балконы в замке, был уставлен апельсиновыми деревьями в глиняных горшках — больших и поменьше. Эта картина умилила его, а весь внутренний двор, украшенный узором из четких, резко очерченных теней и ярких солнечных бликов, представлял собой величественное зрелище.

Снова Фабрицио вспомнилось, что отец дряхлеет. «Но как это странно! — подумал он. — Отец старше меня на тридцать пять лет; тридцать пять да двадцать три — значит ему только пятьдесят восемь лет!» Фабрицио стал смотреть на окна спальни этого сурового человека, никогда не любившего его, и на глазах у него выступили слезы. Вдруг он вздрогнул, мороз пробежал у него по коже, — ему показалось, что из дверей спальни вышел отец и идет по террасе, уставленной апельсиновыми деревцами. Нет, это был камердинер. Но вот внизу, у колокольни, целая толпа девушек в белых платьях, разделившись на кучки, принялась убирать узорами из красных, желтых и голубых цветов улицы, по которым должна была пройти церковная процессия. Затем внимание Фабрицио привлекло другое зрелище,

больше говорившее его сердцу: с колокольни видны были оба рукава озера на протяжении нескольких лье, и эта чудесная картина вскоре заставила его позабыть все остальное, пробудив в нем чувства самые высокие. Нахлынули воспоминания детства, и этот день, проведенный им взаперти на вышке колокольни, оказался одним из счастливейших дней его жизни.

Счастье вознесло его на высоту мыслей, мало свойственную его характеру; в расцвете молодости он созерцал все события своей жизни, как будто уже подошел к последнему ее пределу.

«Надо сознаться, — заключил он после нескольких часов сладостного раздумья, — надо сознаться, что со времени моего приезда в Парму я ни разу не изведал той спокойной, ничем не омраченной радости, какой наслаждался в Неаполе, когда скакал на коне по дорогам Вомеро или бродил по берегам Мизены. Все эти запутанные интриги злобного придворного мирка сделали злым и меня… А между тем мне не доставляет никакого удовольствия ненавидеть, и даже, думается мне нерадостно было бы унижать врагов, если б они у меня оказались. Впрочем, у меня нет врагов… Нет, стой!.. — вдруг спохватился он. — А Джилетти? Значит, у меня есть враг. И что

за странность! — удивился он. — Удовольствие отправить этого урода ко всем чертям, наверное, оказалось бы более живучим, чем моя склонность к хорошенькой Мариетте… Мариетта не многим лучше герцогини д'А***, которую я должен был любить в Неаполе, после того как сказал ей, что влюблен в нее. Боже мой, как часто я томился скукой в часы тех долгих свиданий, какими удостаивала меня красавица герцогиня. Однако я совсем не скучал в убогой комнатке, служившей вместе с тем и кухней, где меня дважды принимала Мариетта, и оба раза всего на две минутки. Но, господи боже, что только едят эти люди! Просто жалко смотреть! Мне следовало бы назначить ей самой и mammacia пенсию — из трех бифштексов ежедневно. Милая Мариетта, — добавил он, — она отвлекала меня от злых мыслей, которые привил мне пармский двор.

Пожалуй, лучше было бы выбрать образ жизни „завсегдатаев кофеен“, как говорит герцогиня, — она, кажется, склонялась к такому решению, а ведь она гораздо умнее меня. Благодаря ее щедрости или даже всего лишь на отцовский пенсион в четыре тысячи франков и доход с тех сорока тысяч, что матушка положила для меня в Лионский банк, я всегда мог бы иметь верховую

лошадь и немного денег на раскопки и составление коллекции. Это всегда было бы для меня неиссякаемым источником радостей, поскольку я, видимо, не создан для любви. А на склоне дней я поехал бы посмотреть на поле сражения при Ватерлоо и, может быть, узнал бы тот луг, где меня так ловко стащили с лошади и посадили на землю. После этого паломничества я часто приезжал бы сюда, на чудесное это озеро, самое прекрасное в мире — по крайней мере для моего сердца. Зачем где-то далеко искать счастья? Вот оно тут, передо мной!»

— Ах, да! — воскликнул Фабрицио, словно возражая себе, — полиция, изгнала меня с берегов Комо… Но ведь я моложе тех людей, которые руководят ее преследованиями. Здесь, конечно, я не найду герцогини д'А***, — добавил он смеясь, — но, может быть, встречу одну из этих юных девушек, что сейчас украшали цветами улицы, и, право, я буду любить ее не меньше: лицемерие обдает меня ледяным холодом даже в любви, а у наших знатных дам слишком возвышенные требования. Наполеон внушил им идеал нравственности и постоянства.

— Черт побери! Жандармы! — воскликнул он и отпрянул от окна, как будто испугавшись, что его

увидят и узнают, хотя на него падала тень огромного дощатого навеса, защищавшего колокола от дождей. — Шествие жандармов в парадных мундирах!

Действительно, в конце главной улицы деревни показалось десять жандармов, из них четыре унтера. Вахмистр расставил жандармов через каждые сто шагов вдоль всего пути, по которому должна была проследовать церковная процессия.

«Все меня тут знают; если меня увидят, я с берегов Комо сразу попаду в Шпильберг, и мне закуют ноги в кандалы весом в двести двадцать фунтов. Какое это будет горе для герцогини!..»

Только через две-три минуты Фабрицио сообразил, что, во-первых, он находится на высоте в восемьдесят футов, а во-вторых, там, где он стоит, относительно темно, тогда как людям, которые могли бы его увидеть, в глаза бьет яркое солнце, и к тому же все они бродят, разинув рот, по улицам, где все дома заново выбелены в честь праздника св. Джиовиты. Невзирая на столь веские доводы, итальянская душа Фабрицио уже не могла наслаждаться никакими радостями, пока он не отгородился от жандармов, завесив окно лоскутом старого холста, в котором проделал затем две

дырки для глаз.

Уже минут десять воздух гудел от колокольного звона: из церкви выходила процессия; затрещали мортаретти. Фабрицио повернулся и увидел на выступе берега площадку с перилами, на которые он часто взбирался в детстве, чтобы посмотреть, как мортаретти будут палить у его ног, — из-за этого-то мать по утрам в праздники не отпускала его от себя ни на шаг.

Надо объяснить, что мортаретти (то есть маленькие мортиры) не что иное, как обрезанные ружейные стволы длиной не более четырех дюймов, и, чтобы смастерить эти мортаретти, крестьяне жадно подбирают ружья, которые с 1796 года европейская политика щедрой рукой разбрасывала в долинах Ломбардии; эти четырехдюймовые обрезки набивают порохом до самого дула, стоймя втыкают в землю, от одного к другому насыпают пороховую дорожку, выстраивая двести — триста таких стволов в три шеренги, как солдат в батальоне, где-нибудь неподалеку от пути следования процессии. Когда приближается дароносица, поджигают пороховую полосу, и тогда начинается «беглый огонь» — короткие, частые выстрелы, пальба самая беспорядочная и удивительно забавная: женщины просто

пьянеют от восторга. Ничего не может быть веселее выстрелов мортаретти, которые далеко разносятся над озером и смягчаются колыханием волн. Эта своеобразная перестрелка, которая так часто тешила в детстве нашего героя, прогнала осаждавшие его не в меру серьезные мысли, он вооружился большой астрономической трубой аббата Бланеса и, направив ее на процессию, узнал большинство мужчин и женщин, шагавших в ней. Многие миловидные девочки, которым было по одиннадцати-двенадцати лет, когда Фабрицио ушел из дому, стали теперь взрослыми, пышно расцвели юной красотой и силой; они возродили в сердце нашего героя мужество, и ради удовольствия поговорить с ними он не побоялся бы и жандармов.

Процессия прошла и затем вернулась в церковь через боковые двери, которых Фабрицио не было видно; вскоре жара стала удушливой даже на верхушке колокольни; местные жители разошлись по домам, и в деревне воцарилась глубокая тишина. По озеру поплыли лодки, в которых возвращались приезжие из Беладжио, Менаджио и других селений, расположенных по берегам; Фабрицио различал каждый всплеск весел, и эти простые звуки вызывали в нем вос-

торг, они несли отдых от всех горестен, от всего стеснения сложной жизни при дворе. Какое было бы счастье покататься сейчас в лодке по этому спокойному озеру, где так славно отражается высокое небо! Он услышал, как внизу открылась дверь на колокольню: старая служанка аббата Бланеса принесла для него большую корзинку. Фабрицио стоило больших усилий не заговорить с нею. «Ведь она любит меня почти так же, как ее хозяин, — думал он, — а нынче вечером, в девять часов, я уйду; она, конечно, поклянется сохранить все в тайне, так неужели не сдержит клятвы на несколько часов?.. Нет, не надо, — возразил он себе, — друг мой останется недоволен, да еще, пожалуй, у него будут неприятности с жандармами». И он дал уйти старой Гите, не окликнув ее. Он превосходно пообедал, потом прилег подремать на несколько минут, а проснулся только в половине девятого вечера: аббат Бланес тряс его за плечо; было уже темно.

Бланес, видимо, страшно утомился и как будто постарел на пятьдесят лет. Серьезной беседы он уже не мог вести. Он сел в свое деревянное кресло и сказал Фабрицио:

— Обними меня.

Несколько раз прижав его к груди, он промол-

вил:

— Скоро смерть положит конец моей долгой жизни, но она не будет мне так тяжка, как эта разлука. Я оставлю Гите кошелек, прикажу ей брать из него на прожитие, но с тем, чтобы отдать тебе все, что останется, если ты когда-нибудь придешь попросить помощи. Я ее знаю, — после такого наказа она способна ради тебя не покупать мяса хотя бы четыре раза в год, если только ты не дашь ей распоряжений на этот счет. Может случиться, что ты окажешься в большой нужде, и лепта старого друга тебе пригодится. От брата, кроме жестокости, ничего не жди, старайся зарабатывать деньги трудом, полезным обществу. Я предвижу небывалые, великие бури; может быть, через пятьдесят лет праздных людей не захотят терпеть!.. Ты можешь лишиться матери и тетки, а сестры должны будут повиноваться своим мужьям… Ступай, ступай! Беги! — взволнованно воскликнул вдруг Бланес, услышав шипенье в больших часах на колокольне, возвещавшее, что они готовятся пробить десять; он даже не позволил Фабрицио обнять себя в последний раз.

— Спеши! Спеши! — крикнул он. — Не меньше минуты понадобится тебе, чтобы спуститься с лестницы. Берегись, не упади, — это было бы

ужасным предзнаменованием.

Фабрицио сбежал с лестницы и помчался через площадь. Едва он достиг отцовского замка, на колокольне пробило десять; каждый удар отзывался в его сердце необычайным волнением. Он остановился, чтобы подумать немного, — вернее, полюбоваться замком, величественный вид которого вызвал у него страстный восторг, хотя накануне он так холодно судил о нем. Вдруг мужские шаги нарушили его мечтанья; он оглянулся и увидел неподалеку четырех жандармов. У него было два превосходных пистолета, которые он перезарядил за обедом; он взвел оба курка, они щелкнули; легкий этот звук привлек внимание одного из жандармов, и тот уже готов был его арестовать. Фабрицио заметил, какая опасность угрожает ему, и решил выстрелить первым; это было его право; ведь он не мог бы сопротивляться четырем хорошо вооруженным жандармам. К счастью, жандармы делали обход по кабачкам, выгоняя оттуда засидевшихся гуляк, и оказали честь угощению, которым их встречали в этих злачных местах; они недостаточно быстро решились выполнить свою обязанность. Фабрицио бросился наутек. Жандармы побежали было за ним вдогонку, крича: «Стой! Держи его!» Затем

опять наступила тишина. Пробежав шагов триста, Фабрицио остановился, чтобы перевести дух. «Щелканье курков едва не погубило меня. Герцогиня, наверное, скажет (если только мне когда-нибудь еще придется увидеть ее прекрасные глаза), что я люблю воображать события, которые могут произойти через десять лет, и не вижу того, что делается у меня перед самым носом».

Фабрицио содрогнулся при мысли об опасности, которой он сейчас избежал; он прибавил шагу, а затем не мог удержаться от искушения и пустился бегом, что было не очень-то благоразумно, так как привлекало внимание крестьян, возвращавшихся домой. И все же он остановился только у склона горы, пробежав целое лье от Грианты, и даже там у него выступил холодный пот, когда он подумал о Шпильберге.

— Вот так перетрусил я! — сказал он вслух и, услышав свои слова, почувствовал чуть ли не стыд. «Но ведь Джина говорила мне, что я должен научиться прощать себе. Я всегда сравниваю себя с каким-то несуществующим образцом совершенства. Что ж, надо извинить этот страх: я все-таки готов был защищать свою свободу, и, конечно, не все четыре жандарма, вознамерившись отвести меня в тюрьму, остались бы живы и невредимы.

А что я делаю сейчас? — добавил он. — Это совсем не по-военному. Я выполнил свою задачу и, чего доброго, вызвал переполох у неприятеля, но, вместо того чтобы быстро ретироваться, тешусь фантазиями, более нелепыми, чем все предсказания моего милого Бланеса».

В самом деле, вместо того чтобы выйти самой короткой дорогой к берегу Лаго-Маджоре, где его ждала лодка, он сделал огромный крюк, решив посмотреть на свое дерево. Читатель, вероятно, помнит, как любил Фабрицио каштан, который его мать посадила двадцать три года назад. «Может быть, брат велел срубить мое дерево, — с него станется. Но нет, такие люди не понимают тонкостей, он и не подумал об этом. А впрочем, если и срубил, это не будет дурным предзнаменованием!» — добавил он с твердостью.

Два часа спустя взгляд его поразило неприятное зрелище: гроза или какие-то озорники сломали одну из главных ветвей молодого каштана, она поникла и засохла. Фабрицио осторожно обрубил ее своим кинжалом и гладко зачистил обрубок, чтобы вода не могла проникнуть в ствол. Уже близился рассвет, время было дорого, но он еще целый час провел возле любимого дерева, вскапывая землю вокруг него. Покончив с этими

безрассудными затеями, он быстро пошел по дороге к Лаго-Маджоре. В общем ему совсем не было грустно — дерево росло прекрасно, дало мощные побеги и за пять лет поднялось почти вдвое. Сломанная ветка была небольшой бедой. «После того как я ее обрубил, она уже не может вредить, и дерево даже станет еще стройнее, так как крона будет начинаться выше».

Едва Фабрицио прошел одно лье, на востоке ослепительно белая полоса обрисовала острые вершины «Резегон ди Лек» — горного кряжа, знаменитого в этих краях. На дороге, по которой шел наш герой, уже появилось много крестьян, но вместо воинственных мыслей он предавался умилению, любуясь то величественными, то трогательными лесными пейзажами, открывающимися в окрестностях Комо. Краше их, пожалуй, нет в целом мире. Я не хочу этим сказать, что они, как выражаются в Швейцарии, больше приносят новеньких монет, чем другие прославленные виды, но они больше говорят душе. Конечно, слушать их язык в том положении, в котором оказался Фабрицио, рискуя привлечь внимание господ жандармов Ломбардо-Венецианского королевства, было истинным ребячеством. «До границы еще пол-лье, — поду-

мал он, наконец, — мне наверняка встретятся стражники и жандармы, которые уже пошли в утренний обход. На мне платье из тонкого сукна, это вызовет подозрение; у меня спросят паспорт, а в моем паспорте черным по белому написано, кто я такой, — тюрьма мне обеспечена; итак, передо мной приятная необходимость совершить убийство. Если жандармы, по своему обычаю, ходят тут по двое, не могу же я смиренно дожидаться, пока один из них вздумает схватить меня за ворот, и только тогда выстрелить; если он, падая, задержит меня хоть на одну секунду, — я окажусь в Шпильберге».

Фабрицио ужасна была мысль о необходимости стрелять первому да еще, возможно, в бывшего солдата своего дяди, графа Пьетранера, и, отбежав от дороги, он спрятался в дупло огромного каштана. Там он подсыпал пороху на полку пистолетов и вдруг услышал, что по лесу кто-то едет верхом и очень славно поет очаровательную арию Меркаданте[73], в ту пору весьма модную в Ломбардии.

«Хорошее предзнаменование», — подумал Фабрицио. Мелодия, к которой он прислушивался с какой-то благоговейной радостью, смягчила гнев,

---

[73] Примечания: 73
Меркаданте (1795–1870) — итальянский композитор.

уже проникавший в его размышления. Он внимательно окинул взглядом оба конца дороги, — на ней никого не было. «Певец едет какой-нибудь лесной тропинкой», — подумал он, и почти в то же мгновение на дорогу шажком выехал всадник, молодой лакей, весьма опрятно одетый на английский лад; он ехал верхом на неказистой лошади и вел в поводу прекрасную породистую лошадь, пожалуй, слишком поджарую.

«Ах! Если бы я мог согласиться с графом Моска, что опасность, угрожающая человеку, всегда служит мерилом его прав по отношению к своему ближнему, — думал Фабрицио. — Я пробил бы пулей голову этому лакею, вскочил бы на его поджарую лошадь, и наплевать мне тогда на всех жандармов в мире!.. Вернувшись в Парму, я тотчас же послал бы денег этому человеку… или его вдове… Но это было бы ужасно!»

10

Читая себе нравоучения, Фабрицио выпрыгнул на большую дорогу, которая ведет из Ломбардии в Швейцарию; в этом месте она тянулась под откосом, ниже леса на четыре-пять футов.

«Если этот человек с перепугу пустит лошадь вскачь, — думал Фабрицио, — я останусь торчать, как столб. Дурацкое положение». В эту минуту он был в десяти шагах от лакея, тот перестал петь. Фабрицио заметил в его глазах страх. «Чего доброго, повернет лошадь обратно…» Не приняв еще никакого решения, Фабрицио подскочил и схватил поджарую лошадь под уздцы.

— Друг мой, — сказал он лакею, — я не какой-нибудь грабитель. Вы получите от меня двадцать франков, но за это я позаимствую у вас лошадь. Меня убьют, если я не удеру. За мной гонятся четыре брата Рива, знаменитые контрабандисты, — вы их, конечно, знаете. Они застали меня в спальне своей сестры; я выпрыгнул в окно и прибежал сюда. Они ищут меня в лесу с ружьями и собаками. Я спрятался в дупло вон того толстого каштана, увидев, что один из братьев перешел через дорогу; собаки нападут на мой след. Я сяду

на вашу лошадь, проскачу галопом целое лье в сторону от берега Комо, поеду в Милан и брошусь к ногам вице-короля. Если вы добровольно одолжите мне лошадь, я оставлю ее на почтовой станции вместе с двумя золотыми для вас. Но если вы окажете хоть малейшее сопротивление, я пристрелю вас вот из этого пистолета. А если вы пошлете мне вдогонку жандармов, мой двоюродный брат граф Алари, шталмейстер императора, прикажет переломать вам кости.

Импровизируя свою речь, Фабрицио произносил ее самым миролюбивым тоном.

— А впрочем, — добавил он смеясь, — мое имя не секрет. Я — маркезино Асканьо дель Донго; наше поместье Грианта находится неподалеку отсюда. Ну, черт подери! — сказал он, повышая голос, — отдадите вы лошадь?!

Ошеломленный лакей не произнес ни слова. Фабрицио переложил пистолет в левую руку, подхватил узду, которую лакей выпустил из рук, и, вскочив на лошадь, пустил ее галопом. Отъехав шагов триста, он вспомнил, что позабыл дать обещанные двадцать франков, и остановился. На дороге по-прежнему никого не было, кроме лакея, скакавшего за ним. Фабрицио замахал платком, подзывая его, и, когда тот подъехал на

пятьдесят шагов, бросил на дорогу горсть серебра и двинулся дальше. Издали он увидел, что лакей подбирает деньги. «Вот поистине благоразумный человек! — весело подумал Фабрицио. — Ни одного лишнего слова!»

Он поскакал по направлению к югу, сделал привал в уединенном домике и через несколько часов снова пустился в путь. В два часа дня он был на берегу Лаго-Маджоре; вскоре он увидел свою лодку, сновавшую по озеру, подал условленный сигнал, и она подплыла к нему. Не видя вокруг ни одного крестьянина, чтобы передать ему лошадь, он отпустил благородного скакуна на волю. Через три часа Фабрицио уже прибыл в Бельджирате. В этом дружественном уголке он остановился отдохнуть; расположение духа у него было веселое: все удалось как нельзя лучше. Осмелимся ли мы открыть истинную причину этой веселости? Его дерево росло превосходно, а душу ему освежило глубокое умиление от встречи с аббатом Бланесом.

«Неужели старик верит всему, что он предсказал мне, или же мой братец изобразил меня якобинцем, человеком, не верящим ни в бога, ни в черта, способным на все, и он только хотел предостеречь меня от соблазна размозжить го-

лову какому-нибудь скоту, который вздумает сыграть со мной скверную шутку?»

Через день Фабрицио вернулся в Парму и очень позабавил герцогиню и графа, описав им, по своей привычке с величайшей точностью, все путешествие.

По приезде Фабрицио заметил, что швейцар и все слуги во дворце Сансеверина в глубоком трауре.

— Какую мы понесли утрату? — спросил он у герцогини.

— Милейший человек, который назывался моим мужем, только что скончался в Бадене. Он оставил мне этот дворец, как было условлено, но в знак искренней дружбы добавил к нему по завещанию триста тысяч франков, и эти деньги очень меня смущают. Я не хочу от них отказываться в пользу его племянницы, маркизы Раверси, потому что она каждый день строит мне гнуснейшие козни. Ты знаток искусства, найди мне хорошего скульптора, — я на эти триста тысяч воздвигну герцогу гробницу.

Граф принялся рассказывать забавные истории о Раверси.

— Я всяческими благодеяниями старалась смягчить эту особу, — сказала герцогиня. — Но это

напрасный труд. А всех племянников покойного герцога я сделала полковниками и генералами. В благодарность они каждый месяц пишут мне какие-нибудь мерзости в анонимном письме. Мне пришлось нанять секретаря, чтобы он читал такого рода письма.

— Эти анонимные послания еще не самый большой их грех, — сказал граф Моска. — Они целыми пачками изготовляют подлые доносы. Раз двадцать я мог бы привлечь к суду всю эту шайку, и вы, конечно, понимаете, ваше преосвященство, — добавил он, обращаясь к Фабрицио, — что мои судьи услужливо осудили бы их.

— Вот это все и портит, — возразил Фабрицио с наивностью, весьма забавной для придворного. — Лучше было бы, если б они судили по совести.

— Прекрасно! Поскольку вы совершаете поучительные путешествия, будьте любезны сообщите мне адрес таких судей. Я сегодня же перед сном напишу им.

— Будь я министром, подобное отсутствие честных людей среди судей просто оскорбляло бы мое самолюбие.

— Ваше преосвященство, вы так любите французов и даже когда-то оказали им помощь своей

непобедимой рукой; однако вы позабыли одно из их мудрых изречений: «Убей дьявола, а не то он тебя убьет». Хотел бы я видеть, как бы вы сумели управлять пылкими людьми, которые по целым дням читают «Историю французской революции», если бы судьи выносили оправдательные приговоры тем, кому я предъявляю обвинение. Такие судьи дошли бы до того, что оправдывали бы отъявленных преступников и считали бы себя Брутами[74]. Но я хочу подразнить вас, — скажите, ваша щепетильная совесть ни в чем не может упрекнуть вас в этой истории с поджарой лошадью, которую вы бросили на берегу Лаго-Маджоре?

— Я твердо решил, — очень серьезно сказал Фабрицио, — возместить хозяину лошади все расходы по объявлениям в газете и прочие издержки по ее розыску; крестьяне, наверное, нашли ее и вернут. Я буду внимательно читать миланскую газету и, конечно, натолкнусь там на объявление о пропаже этой лошади, — я хорошо знаю ее приметы.

---

[74] Примечания: 74

Брут, Марк Юний (85–42 до н. э.) — глава заговора сенаторов Рима, недовольных диктатурой Юлия Цезаря. После убийства Цезаря, потерпев поражение в борьбе против Антония и Октавиана, лишил себя жизни.

— Какое простодушие! — сказал граф Моска герцогине. — Ваше преосвященство, а что сталось бы с вами, — продолжал он смеясь, — если б, в то время как вы мчались во весь дух, позаимствовав лошадь, она бы споткнулась и упала?.. Вы очутились бы в Шпильберге, дорогой мой племянничек, и всего моего влияния едва хватило бы на то, чтоб уменьшили на шестьдесят фунтов вес кандалов, в которые вас бы там заковали. Вы провели бы в этом приятном месте лет двенадцать, ваши ноги, пожалуй, распухли бы, омертвели и пришлось бы их аккуратненько отрезать…

— Ах, ради бога, прекратите этот страшный роман, — воскликнула герцогиня, и глаза ее наполнились слезами. — Ведь он вернулся…

— И я радуюсь этому не менее вас, смею уверить! — ответил министр очень серьезным тоном. — Но почему же этот жестокий ребенок не попросил у меня паспорта с каким-нибудь безвредным именем, раз уж ему так захотелось проникнуть в Ломбардию? При первом же известии об его аресте я примчался бы в Милан, и друзья, которые у меня есть там, снисходительно закрыли бы на все глаза и предположили бы, что миланская жандармерия арестовала заурядного подданного пармского принца. Рассказ о вашей

скачке очень мил, очень занимателен. Охотно признаю это, — добавил граф уже менее мрачным тоном. — Ваша вылазка из леса на большую дорогу мне нравится. Но, говоря между нами, раз ваша жизнь была в руках этого лакея, вы имели право не щадить его жизни. Не забывайте, ваше преосвященство, что мы готовим для вас блестящую карьеру, — по крайней мере такова воля герцогини, а даже злейшие мои враги вряд ли решатся сказать, что я хоть раз ослушался ее повелений. И какой смертельный удар нанесли бы вы нам, если б в этой скачке с препятствиями ваша поджарая лошадь споткнулась! Тогда уж, пожалуй, лучше было бы для вас сломать себе шею!

— Вы нынче все видите в трагическом свете, друг мой, — взволнованно сказала герцогиня.

— Но вокруг нас столько трагических событий, — тоже с волнением ответил граф. — Мы не во Франции, где все кончается сатирическими песенками или заключением в тюрьму на год, на два. И, право же, я напрасно говорю о таких делах с усмешкой. Так вот, милый племянник, предположим, что мне удастся в один прекрасный день сделать вас где-нибудь епископом, — ибо я, конечно, не могу сразу же сделать вас архи-

епископом Пармским, как того желает, и весьма разумно, присутствующая здесь дама, — так вот, скажите: когда вы будете проживать в своей епископской резиденции, вдали от наших мудрых советов, какова будет ваша политика?

— Убью дьявола, не дожидаясь, пока он меня убьет, — как говорят мои друзья французы, — ответил Фабрицио, сверкая глазами. — Сохраню всеми возможными средствами, даже пуская в ход пистолеты, положение, которое вы мне создадите. В родословной дель Донго я прочел историю одного из наших предков — того, что построил гриантский замок. Под конец жизни он был послан герцогом Миланским Галеаццо, своим другом, осмотреть крепость на нашем озере, — в ту пору швейцарцы грозили новым нашествием. «Надо все-таки из учтивости написать несколько слов коменданту», — сказал герцог, отпуская моего предка. Он написал две строчки и вручил письмо своему посланцу, затем попросил письмо обратно, чтобы запечатать его: «Так будет вежливее», — сказал он. Веспасиан дель Донго пускается в путь. Но, переправляясь через озеро, вдруг вспоминает старую греческую легенду, — он был человек ученый. Он распечатывает письмо своего доброго повелителя и находит

в нем приказ коменданту крепости умертвить посланца немедленно по его прибытии. Герцог Сфорца, увлекшись комедией, которую он разыграл перед нашим предком, по рассеянности оставил пробел между последней строчкой записки и своей подписью. Веспасиан дель Донго вписывает на пустом месте приказ о назначении его главным губернатором всех крепостей по берегу озера, а начало письма уничтожает. Прибыв в крепость и утвердившись там в своих правах, он бросил коменданта в подземную темницу, объявил войну герцогу и через несколько лет обменял свою крепость на огромные земельные владения, которые принесли богатство всем ветвям нашего рода, а мне дадут когда-нибудь ренту в четыре тысячи франков.

— Вы говорите, как академик! — воскликнул граф смеясь. — Вы привели нам пример замечательной находчивости, однако приятная возможность проявить подобную изобретательность представляется раз в десять лет. Весьма часто существу ограниченному, но всегда и неизменно осторожному удается восторжествовать над человеком, наделенным воображением. Безрассудное воображение как раз и толкнуло Наполеона отдать себя в руки осторожного Джона

Буля[75], вместо того чтобы попытаться достичь берегов Америки! Джон Буль в своей конторе, вероятно, немало смеялся над письмом Наполеона, в котором тот упоминает о Фемистокле[76]. Во все времена низменные Санчо Пансо в конце концов всегда будут брать верх над возвышенными Дон Кихотами. Согласитесь не делать ничего необычайного, и я не сомневаюсь, что вы станете епископом — если и не весьма почтенным, то весьма почитаемым. Но все же я настаиваю на своем замечании: в истории с лошадью вы, ваше преосвященство, вели себя легкомысленно и были поэтому на волосок от пожизненного тюремного заключения.

От этих слов Фабрицио вздрогнул и погрузился в тревожные размышления: «Не к этому ли случаю относилась угроза тюрьмы? — спрашивал он себя. — Возможно, как раз от этого преступления

---

[75] Примечания: 75

Джон Буль — насмешливое прозвище англичан; ведет свое происхождение от названия сатиры «The history of John Bull» («История Джона Быка»), написанной английским писателем Арбетнотом (1667–1735), другом Свифта.

[76] Примечания: 76

Фемистокл (ок.525–461 до н. э.) — политический деятель Афин эпохи греко-персидских войн; сторонник демократии Фемистокл был изгнан, по требованию Спарты, из Афин; от преследований бежал в Персию. После отречения от престола Наполеон сдался англичанам и в обращении к английскому народу сравнивал себя с Фемистоклом, прося приюта.

мне и нужно было воздержаться?»

Пророчества аббата Бланеса, над которыми он смеялся, приняли в его глазах значение достоверных предсказаний.

— Что с тобой? — с беспокойством спросила герцогиня. — Граф навел тебя на мрачные мысли?

— Меня озарила новая истина, и, вместо того чтобы против нее восстать, мой ум принял ее. Вы правы, — я был весьма близок к пожизненной тюрьме. Но тот молодой лакей уж очень был хорош в английском фраке! Просто жалко убивать такого человека.

Министра восхитило его благонравие.

— Он удивительно мил во всех отношениях! — воскликнул граф, взглянув на герцогиню. — Должен вам сказать, друг мой, что вы одержали победу и, пожалуй, самую ценную.

«Ай! Сейчас заговорит о Мариетте», — подумал Фабрицио.

Он ошибся, — граф добавил:

— Своей евангельской простотой вы покорили сердце нашего почтенного архиепископа отца Ландриани. На днях мы произведем вас в главные викарии, и особая пикантность этой комедии заключается в том, что три старших викария, люди весьма достойные, трудолюбивые, из которых

двое, думается мне, состояли старшими викариями еще до вашего рождения, сами в убедительном послании будут просить архиепископа, чтобы вас назначили главным среди них. Эти господа сошлются, во-первых, на ваши добродетели, а, во-вторых, на то, что вы праправнук знаменитого архиепископа Асканьо дель Донго. Когда я узнал о таком уважении к вашим добродетелям со стороны самого маститого из трех старших викариев, я тотчас произвел в капитаны его племянника, который застрял в лейтенантах со времени осады Таррагоны маршалом Сюше[77].

— Ступай сейчас же к архиепископу, засвидетельствуй ему свои нежные чувства! — воскликнула герцогиня. — Иди как ты есть, в дорожном костюме. Расскажи ему о замужестве сестры, и когда отец Ландриани узнает, что она скоро станет герцогиней, он найдет в тебе еще больше апостольских черт. Не забывай, что ты ровно ничего не знаешь о предстоящем твоем назначении.

Фабрицио поспешил во дворец архиепископа и держа себя там просто и скромно, — это давалось ему даже чересчур легко, меж тем как разыгры-

---

[77] Примечания: 77

Сюше, Луи-Габриэль (1770–1826) — маршал Франция, принимал участие в войне Наполеона с Испанией; в 1811 году взял штурмом испанскую крепость Тарракону.

вать вельможу ему стоило больших трудов.

Слушая несколько пространные рассказы монсиньора Ландриани, он думал: «Должен я был или не должен выстрелить в того лакея, который вел в поводу поджарую лошадь?» Рассудок говорил ему «да», но сердце не могло примириться с образом молодого красавца, окровавленного, обезображенного и падающего с лошади. «А тюрьма, грозившая мне в том случае, если б моя лошадь споткнулась? Та ли это тюрьма, которую мне предвещает столько примет?»

Вопросы эти имели для него важнейшее значение, и архиепископ был доволен сосредоточенным вниманием своего слушателя.

11

Выйдя из дворца архиепископа, Фабрицио побежал к Мариетте; еще издали он услыхал зычный голос Джилетти, который принес вина и кутил со своими приятелями — суфлером и ламповщиками. Старуха, исполнявшая обязанности мамаши, вышла на сигнал Фабрицио.

— Большие новости! — воскликнула она. — Двух-трех наших актеров обвинили в том, что они устроили пирушку в день именин великого Наполеона; бедную нашу труппу объявили якобинской и приказали ей немедленно убираться из пармских владений, — вот тебе и «Да здравствует Наполеон!» Однако, говорят, министр порадел за нас. Во всяком случае у нашего Джилетти появились деньги, — сколько, не знаю, — но я видела у него целую горсть монет. Мариетта получила от директора пять экю на дорожные расходы до Мантуи и Венеции, а я — одно экю. Она по-прежнему влюблена в тебя, но боится Джилетти. Третьего дня, на последнем представлении нашей труппы, он все кричал, что непременно убьет ее, дал ей две здоровенные пощечины, а хуже всего, что разорвал ее голубую

шаль. Надо бы тебе, голубчик, подарить ей такую же голубую шаль, а мы бы сказали, что выиграли ее в лотерею. Завтра тамбур-мажор карабинеров устраивает фехтовальный турнир. На всех улицах уже расклеены афиши; прочитай, в котором часу начало, и приходи к нам. Джилетти пойдет смотреть турнир, и если мы узнаем, что он нескоро вернется домой, я буду стоять у окна и подам тебе знак. Принеси нам хороший подарочек. А уж как Мариетта тебя любит!..

Спускаясь по винтовой лестнице из этой отвратительной трущобы, Фабрицио сокрушался сердцем: «Я нисколько не переменился! Какие благие намерения были у меня, когда я размышлял на берегу родного озера и смотрел на жизнь философским взглядом. И вот все они улетучились!.. Душа моя отрешилась тогда от обыденности. Но все это были мечты, они рассеялись, лишь только я столкнулся с грубой действительностью».

«Настала минута действовать», — думал Фабрицио, возвратившись во дворец Сансеверина в одиннадцатом часу вечера. Но напрасно искал он в своем сердце высокого мужества объясниться откровенно, прямо, хотя это представлялось ему таким легким в ночных его раздумьях на берегу Комо. «Я только разгневаю женщину, которая

для меня дороже всех на свете, и буду похож на бездарного актера. Право, я на что-нибудь гожусь только в минуты душевного подъема».

— Граф удивительно хорош со мной, — сказал он герцогине, отдав ей отчет о своем посещении архиепископа, — и я тем более ценю его заботы, что, как мне кажется, он недолюбливает меня; я должен хоть чем-нибудь отплатить ему. Он по-прежнему без ума от своих раскопок в Сангинье, — позавчера он проскакал верхом двенадцать лье, чтобы провести там два часа. Рабочие, возможно, найдут обломки статуй из того античного храма, фундамент которого он обнаружил, и он боится, как бы их не украли. Я с удовольствием пробуду ради него в Сангинье полтора дня. Завтра в пятом часу мне снова надо навестить архиепископа, а вечером я отправлюсь на раскопки, — воспользуюсь для этой поездки ночной прохладой.

Герцогиня сначала ничего не ответила.

— Право, можно подумать, что ты ищешь предлога быть вдали от меня, — сказала она, наконец, с нежным укором. — Только что вернулся из Бельджирате и опять находишь причину уехать.

«Вот прекрасный повод для объяснения, — подумал Фабрицио. — Но тогда, на озере, я был не

в своем уме: я не понял в восторженном стремлении к искренности, что дифирамб должен кончиться дерзостью. Ведь придется сказать: „Я люблю тебя любовью самой преданной и так далее и так далее, но на иную любовь душа моя не способна“. А ведь это все равно, что заявить: „Я вижу вашу любовь ко мне, но берегитесь: я не могу платить вам той же монетой“. Если герцогиня действительно любит меня, она может рассердиться, что я угадал это, а если она просто-напросто питает ко мне дружбу, ее возмутит моя дерзость… такого рода оскорблений не прощают».

Взвешивая эти важные соображения, Фабрицио бессознательно расхаживал по комнате с гордым и строгим видом человека, увидевшего несчастье в десяти шагах от себя.

Герцогиня смотрела на него с восхищением. Куда девался ребенок, который рос на ее глазах, послушный племянник, привыкший повиноваться ей, — он стал взрослым человеком, и таким человеком, которого сладостно было бы видеть у своих ног. Она поднялась с оттоманки и в страстном порыве бросилась в его объятия.

— Так ты хочешь бежать от меня?

— Нет, — ответил он тоном римского импера-

тора. — Но я хочу быть благоразумным.

Этот ответ можно было истолковать по-разному. Фабрицио не чувствовал в себе мужества пуститься в объяснения, рискуя оскорбить прелестную женщину. Он был еще слишком молод, недостаточно умел владеть собою, ум не подсказывал ему искусных фраз, чтобы дать понять то, что ему хотелось выразить. В невольном, непосредственном порыве, позабыв все свои рассуждения, он обнял эту очаровательную женщину и осыпал ее поцелуями. Но в эту минуту послышался стук колес, карета графа въехала во двор, и сам он тотчас же появился в гостиной; вид у него был очень взволнованный.

— Какие необычайно нежные чувства вы внушаете к себе, — сказал он Фабрицио, и тот готов был сквозь землю провалиться от этих слов.

— Сегодня вечером архиепископ был во дворце: его высочество каждый четверг дает ему аудиенцию. Принц только что рассказывал мне, как архиепископ взволнованным тоном произнес чрезвычайно ученую речь, затвердив ее, вероятно, наизусть, и притом такую запутанную, что принц сначала ничего не понял. Но в конце концов Ландриани заявил, что для блага пармской церкви необходимо назначить монсиньора

Фабрицио дель Донго главным викарием, а когда ему исполнится двадцать четыре года, — коадъютором и «будущим его преемником».

— Признаться, такая просьба испугала меня, — добавил граф. — Это, пожалуй, чрезмерная торопливость, и я боялся какого-нибудь резкого выпада со стороны принца, но он посмотрел на меня с усмешкой и сказал по-французски: «Это все ваши штучки, сударь».

«Могу поклясться перед богом и перед вашим высочеством, — воскликнул я с угодливым смирением, — что мне ровно ничего неизвестно относительно „будущего преемника“!» И я рассказал правду, то есть все то, о чем мы здесь говорили с вами несколько часов назад. Я с жаром добавил, что буду считать великой милостью, если его высочество соблаговолит для начала дать вам какую-нибудь маленькую епархию. Должно быть, принц поверил мне, так как счел нужным разыграть великодушие, и сказал с августейшей простотой:

«Это дело официальное, мы с архиепископом сами в нем разберемся, — вы тут ни при чем. Старик обратился ко мне, так сказать, с докладом, весьма длинным и довольно скучным, из которого, однако, вытекало вполне официаль-

ное предложение; я ответил ему очень холодно, что его подопечный слишком молод и, главное, только недавно представлен к моему двору; что это назначение может иметь такой вид, будто я плачу по векселю, который предъявил мне император, предложив предоставить столь высокий пост сыну одного из виднейших сановников Ломбардо-Венецианского королевства. Архиепископ принялся уверять, что никаких указаний он на этот счет не получал. Что за глупость — говорить это мне! Меня удивила такая бестактность со стороны столь рассудительного человека, но он всегда теряется, когда говорит со мной, а нынче вечером волновался еще больше, чем обычно; я видел, что он страстно желает получить мое согласие на это назначение. Я сказал, что, конечно, знаю лучше его самого, что из высоких сфер не было дано благосклонных указаний относительно дель Донго, что при моем дворе никто не отрицает способностей этого молодого человека и нравственность его также не вызывает сомнений, но я опасаюсь, как бы он не оказался склонен к восторженным порывам, а я решил никогда не назначать на видные посты безумцев такого сорта, ибо монарх ни в чем не может положиться на них. Тогда, — продолжал

принц, — мне пришлось выслушать еще одну патетическую речь, почти столь же длинную, как и первая: архиепископ принялся восхвалять восторженность в деле служения господу. „Неловкий человек, — думал я, — ты идешь по неверному пути. Ты сам мешаешь назначению, которое я уже почти готов был утвердить. Тебе следовало сразу же оборвать свои разглагольствования и выразить мне горячую благодарность“. Не тут-то было! С забавной отвагой он продолжал свои славословия, а я тем временем подыскивал ответ, не слишком неблагоприятный для молодого дель Донго. И я нашел довольно удачный ответ, как вы сейчас увидите: „Монсиньор, — сказал я, — Пий VII был великим папой и святым человеком; из всех государей лишь он один осмелился дать отпор тирану, видевшему у своих ног всю Европу. Но, знаете ли, он отличался восторженностью и, будучи епископом Имолийским, дошел до того, что написал свое пресловутое пастырское послание „гражданина кардинала“ Кьярамонти, восхвалявшее Цизальпинскую республику“. Бедняга архиепископ был потрясен, и, чтобы его доконать, я сказал очень строгим тоном: „До свидания, монсиньор, я подумаю над вашим предложением и завтра дам ответ“. Бедняга до-

бавил несколько просительных слов, довольно бессвязных и довольно неуместных, раз я сказал: „До свидания“. А теперь, граф Моска делла Ровере, поручаю вам передать герцогине, что я не хочу откладывать до завтра ответ, который может доставить ей удовольствие. Садитесь, напишите архиепископу, что я согласен, и покончим с этим делом». Я написал согласие, принц поставил свою подпись и сказал мне: «Сейчас же отнесите это герцогине». Вот письмо, синьора; благодаря ему я имею счастье еще раз увидеть вас сегодня вечером.

Герцогиня с восторгом прочла письмо. Фабрицио во время длинного рассказа графа успел оправиться от волнения, а внезапное возвышение, казалось, нисколько не удивило его: как истый вельможа он всегда считал себя вправе получить любой высокий пост и спокойно принял милость, которая всякого буржуа выбила бы из колеи. Он с большим достоинством выразил свою признательность и в заключение сказал графу:

— Придворная мудрость учит, что нужно потакать увлечениям своих покровителей. Вы вчера высказывали опасения, как бы не украли обломки античных статуй на раскопках в Сангинье. Я очень люблю раскопки и, если разрешите, с

удовольствием поеду присмотреть за рабочими. Завтра вечером, после надлежащих изъявлений благодарности принцу и архиепископу, я отправлюсь в Сангинью.

— Угадайте, — сказала графу Моска герцогиня, — откуда у этого добряка архиепископа такая внезапная любовь к Фабрицио?

— Мне не нужно угадывать, — старший викарий, племянника которого я назначил капитаном, сказал мне вчера: «Отец Ландриани исходит из весьма правильного убеждения, что архиепископ по рангу выше коадъютора, и поэтому себя не помнит от радости, что может иметь под началом одного из дель Донго и оказывать ему покровительство». Все, что подчеркивает родовитость Фабрицио, усугубляет эту затаенную радость архиепископа: такая персона и вдруг состоит его адъютантом! Кроме того, наш монсиньор Фабрицио ему понравился; старик не робеет перед ним; и, наконец, отец Ландриани уже десять лет питает вполне понятную ненависть к епископу Пьяченцскому, нисколько не скрывающему своих намерений стать его преемником в качестве архиепископа Пармского, хотя он всего-навсего сын мельника. Решив стать преемником отца Ландриани, епископ Пьяченцский

установил весьма тесные, дружеские отношения с маркизой Раверси, и это внушает архиепископу опасения за успех его замысла — иметь у себя в штабе представителя рода дель Донго и отдавать ему приказания.

Через день, ранним утром, Фабрицио уже надзирал за раскопками в Сангинье против Колорно (Версаля пармских монархов). Раскопки производились на равнине около большой дороги из Пармы в Казаль-Маджоре — ближайшему городу в австрийских владениях. Рабочие вели по равнине длинную, но очень узкую траншею глубиной в восемь футов; эти раскопки вдоль древней римской дороги имели целью найти развалины второго античного храма, который, как гласила молва в этих краях, еще существовал в средние века. Несмотря на личное распоряжение принца, крестьяне косо смотрели на длинные канавы, проходившие через их владения: что бы им ни говорили, они были уверены, что землю роют в поисках клада, и присутствие Фабрицио оказалось весьма полезным для предотвращения маленького бунта. Ему совсем не было скучно, он с увлечением присматривал за работами; время от времени находили какую-нибудь медаль, и он следил за тем, чтобы землекопы не успели

сговориться и похитить ее.

Погода стояла прекрасная; было часов шесть утра. Фабрицио раздобыл у кого-то старую одностволку и убил несколько жаворонков; одного он только подстрелил, и раненая птица упала на большую дорогу. Фабрицио побежал за ней и заметил вдали карету, ехавшую из Пармы к пограничному пункту у Казаль-Маджоре. Лошади плелись шажком; пока Фабрицио перезарядил ружье, тряский экипаж приблизился к нему; он увидел юную Мариетту, сидевшую между долговязым Джилетти и старухой, которую она выдавала за свою мать.

Джилетти вообразил, что Фабрицио встал посреди дороги с ружьем в руке для того, чтобы оскорбить его, а может быть и похитить у него Мариетту. Будучи человеком храбрым, он выпрыгнул из кареты; в левой руке он держал большой заржавленный пистолет, а в правой — шпагу в ножнах, которой пользовался обычно на сцене, когда труппа волей-неволей поручала ему роль какого-нибудь маркиза.

— А-а! разбойник! — крикнул Джилетти. — Хорошо, что ты мне попался так близко от границы. Я сейчас с тобой расправлюсь. Тут уж фиолетовые твои чулки тебе не помогут.

Фабрицио мило улыбался Мариетте, не обращая никакого внимания на крики ревнивца Джилетти, но вдруг увидел почти у самой своей груди дуло заржавленного пистолета и едва успел ударить по нему, как палкой, своим ружьем; пистолет выстрелил, но никого не ранил.

— Стой же ты, болван! — крикнул Джилетти кучеру; в то же мгновенье он ловко ухватился за ствол ружья и отвел его от себя.

Противники изо всей мочи тянули ружье, стараясь вырвать его один у другого. Джилетти был гораздо сильнее Фабрицио; он перехватывал ствол то правой, то левой рукой, все ближе подбираясь к собачке, и Фабрицио, желая разрядить ружье, выстрелил. Он прекрасно видел, что дуло торчит на три дюйма выше плеча противника, но все же выстрел грянул у самого уха Джилетти. Тот немного растерялся, но сразу же оправился.

— А-а! ты вздумал размозжить мне голову, каналья! Я с тобой рассчитаюсь.

Джилетти обнажил бутафорскую шпагу и с поразительным проворством ринулся на Фабрицио. Безоружному Фабрицио угрожала гибель. Он бросился к карете, остановившейся в десяти шагах от Джилетти, подбежал к ней с левой стороны и, ухватившись за рессору, вмиг очутился на правой

стороне, где была открыта дверца. Долговязый Джилетти кинулся за ним, но, не догадавшись ухватиться за рессору, не мог остановиться сразу и по инерции пролетел на несколько шагов дальше. Пробегая мимо открытой дверцы, Фабрицио услышал, как Мариетта вполголоса крикнула:

— Берегись, он убьет тебя! На, возьми!..

И мгновенно на дорогу упал длинный нож, похожий на охотничий. Фабрицио нагнулся, чтобы подобрать нож, но тут подоспел Джилетти и ранил его шпагой в плечо. Фабрицио выпрямился; разъяренный Джилетти ударил его эфесом шпаги по лицу, и с такой силой, что у Фабрицио в голове помутилось. В эту минуту он был на волосок от смерти. По счастью для него, Джилетти стоял слишком близко и не мог нанести удар клинком шпаги. Опомнившись, Фабрицио помчался вдоль дороги, на бегу сбросил чехол с ножа, круто повернул и очутился в трех шагах от преследователя. Джилетти, разбежавшись, не успел остановиться. Фабрицио занес нож, Джилетти отбил удар шпагой, однако лезвие вспороло ему левую щеку. Джилетти отскочил, а Фабрицио почувствовал острую боль в бедре: актер успел раскрыть складной нож. Фабрицио прыгнул вправо, обернулся, и, наконец, противники оказались друг против

друга, на расстоянии, удобном для поединка.

Джилетти злобно ругался. «А-а, мерзавец, поп окаянный, сейчас перережу тебе горло!» — бормотал он. Фабрицио запыхался и не мог говорить; от удара эфесом шпаги у него очень болела щека, из носа лилась кровь. Почти бессознательно он отпарировал ножом несколько ударов противника и сам сделал несколько выпадов; ему смутно казалось, что это публичное состязание, — такую мысль внушало ему присутствие зрителей: человек тридцать землекопов окружили сражающихся, но держались на почтительном расстоянии, видя, что они ежеминутно перебегают с места на место и бросаются друг на друга.

Поединок как будто затихал: удары сыпались уже не так стремительно, но вдруг Фабрицио подумал: «Как болит щека! Наверно, он изуродовал мне лицо». От этой мысли он рассвирепел и бросился на врага, выставив нож вперед. Острие вонзилось Джилетти в правую сторону груди и вышло у левого плеча, в то же мгновение шпага Джилетти насквозь проткнула руку Фабрицио у плеча, но почти под самой кожей, — рана была легкая.

Джилетти упал; Фабрицио подошел к нему, не сводя взгляда с левой его руки, в которой был нож;

вдруг рука разжалась, и нож выскользнул из нее.

«Негодяй умер», — подумал Фабрицио и перевел взгляд на его лицо. Изо рта Джилетти ручьем лилась кровь. Фабрицио побежал к карете.

— Есть у вас зеркало? — крикнул он Мариетте.

Мариетта смотрела на него, вся побелев, и ничего не ответила. Старуха весьма хладнокровно раскрыла зеленый мешочек для рукоделия и подала Фабрицио зеркальце с ручкой, величиною с ладонь. Фабрицио посмотрелся в зеркало, ощупывая свое лицо: «Глаза невредимы, — говорил он про себя, — и то хорошо». Он раскрыл рот, зубы не были выбиты.

— Почему же мне так больно? — спросил он себя вполголоса.

— Эфесом шпаги вам придавило верхнюю часть щеки вот к этой косточке — к скуле, — ответила старуха. — Щека у вас ужасно распухла и посинела; надо сейчас же поставить пиявки, и все пройдет.

— Поставить сейчас пиявки? — смеясь, повторил Фабрицио, и самообладание вернулось к нему.

Он увидел, что землекопы обступили Джилетти и смотрят на него, не смея дотронуться.

— Помогите же этому человеку! — крикнул

он. — Снимите с него одежду.

Он хотел еще что-то сказать, но, подняв глаза, увидел на дороге, в трехстах шагах, пять или шесть человек, неторопливым, мерным шагом направлявшихся к месту происшествия.

«Жандармы!.. — подумал он. — Увидят убитого, арестуют меня, и я буду иметь удовольствие войти в город под почетным конвоем. Вот будут издеваться приятели этой Раверси при дворе! Они так ненавидят мою тетушку».

Тотчас он с быстротой молнии бросил остолбеневшим землекопам все деньги, какие были у него в карманах, и вскочил в карету.

— Помешайте жандармам преследовать меня, — крикнул он землекопам, — и я озолочу вас! Скажите им, что я невиновен, что этот человек «напал первым и хотел меня убить».

— Пусти лошадей вскачь, — сказал он vetturino. — Получишь четыре золотых, если проедешь через мост раньше, чем эти люди успеют догнать меня.

— Ладно! — ответил возница. — Да вы не бойтесь, они пешком идут, а ежели мои лошадки побегут только рысью, и то мы их обгоним.

И, сказав это, он пустил лошадей галопом.

Нашего героя задели слова: «Не бойтесь», — он

действительно очень испугался, когда Джилетти ударил его по лицу эфесом шпаги.

— Но вот, чего доброго, встретятся нам верховые, — продолжал осторожный возница, думая о четырех золотых, — и те люди, что погонятся за нами, могут им крикнуть, чтоб нас задержали…

Слова эти означали: «Заряди-ка свое ружье».

— Ах, какой ты храбрый, миленький мой аббат! — воскликнула Мариетта, обнимая Фабрицио.

Старуха смотрела на дорогу, высунув голову в окошко кареты. Через некоторое время она обернулась.

— Никто за вами не гонится, сударь, — хладнокровно сказала она Фабрицио. — И впереди на дороге тоже никого нет. Но вы ведь знаете, что за придиры сидят в австрийской полиции: если мы таким вот аллюром прискачем к плотине у берега По, вас арестуют, не сомневайтесь.

Фабрицио выглянул из окошка.

— Рысью! — приказал он кучеру. — Какой у вас паспорт? — спросил он у старухи.

— Целых три — на каждого в отдельности, — ответила она, — и обошлись они нам по четыре франка. Просто ужас! Как обирают бедных драматических артистов, которые путешествуют

круглый год! Вот паспорт на имя господина Джилетти, драматического артиста, — это будете вы; вот еще два паспорта — мой и Мариетты. Но все наши деньги остались у Джилетти. Что нам теперь делать?

— Сколько было денег? — спросил Фабрицио.

— Сорок новеньких экю по пяти франков, — ответила старуха.

— Нет, нет! Шесть экю и мелочь, — смеясь поправила ее Мариетта. — Не надо обманывать моего миленького аббата.

— Сударь, — совершенно хладнокровно сказала старуха, — вполне понятно, почему, я стараюсь вытянуть у вас тридцать четыре экю лишних. Ну, что для вас значат тридцать четыре экю? А ведь мы потеряли покровителя. Кто теперь будет подыскивать для нас квартиру, торговаться с возницами, когда мы путешествуем, и нагонять на всех страх? Конечно, Джилетти не назовешь красавцем, но он был нам очень полезен; и если бы вот эта девчонка не была дурочкой и сразу же не влюбилась в вас, — Джилетти никогда бы ничего не заметил, а вы бы давали и давали нам золотые экю. Мы очень бедны, уверяю вас.

Фабрицио растрогался; он вытащил кошелек и дал старухе несколько золотых.

— Видите, — сказал он ей, — у меня осталось только пятнадцать золотых; больше не приставайте ко мне с деньгами.

Мариетта бросилась ему на шею, а старуха целовала ему руки. Лошади бежали рысцой. Впереди показался желтый шлагбаум с черными полосами, возвещавший границу австрийских владений, и тогда старуха сказала Фабрицио:

— Вам лучше пройти одному пешком с паспортом Джилетти в кармане; а мы тут остановимся ненадолго, как будто для того, чтобы привести в порядок туалет. И к тому же в таможне будут осматривать наши вещи. Вот послушайте меня, вам надо сделать так: спокойно пройдите шагом через Казаль-Маджоре, даже загляните в кофейню, выпейте рюмку водки, а как выйдете за город, бегите вовсю! В австрийских владениях полиция чертовски зорко следит: она скоро узнает про убийство, а вы путешествуете с чужим паспортом, — одного этого уже достаточно, чтобы попасть на два года в тюрьму. За городом поверните направо, к берегу По, наймите лодку и удирайте в Равенну или в Феррару. Поскорее выбирайтесь из австрийских владений. За два луидора вы можете купить у какого-нибудь таможенного чиновника другой паспорт, а то

попадете в беду: не забывайте, что вы убили Джилетти.

Фабрицио пешком направился к понтонному мосту у Казаль-Маджоре и дорогой внимательно прочитал паспорт Джилетти. Герой наш испытывал мучительный страх: ему очень живо вспомнились слова графа Моска, предупреждавшего, насколько опасно для него оказаться в австрийских владениях; и вот в двухстах шагах от себя он видел страшный мост, который сейчас приведет его в ту страну, где столицей был в его глазах замок Шпильберг. Но как быть? Герцогство Моденское, с которым Парма граничит на юге, согласно особой конвенции, выдает ей всех беглецов; другая граница проходит в горах со стороны Генуи, до нее слишком далеко; его злополучное приключение станет известно в Парме раньше, чем он скроется в горах; итак, остается только пробраться в австрийские владения на левом берегу По. Австрийские власти; пожалуй, только через день, через два получат требование об его аресте… Взвесив все обстоятельства, Фабрицио раскурил сигару и поджег ею свой паспорт: в австрийских владениях лучше оказаться бродягой, чем Фабрицио дель Донго, а весьма возможно, что его обыщут.

Помимо вполне естественного отвращения, которое вызывала у него необходимость доверить свою участь паспорту несчастного Джилетти, этот документ представлял чисто практические неудобства: рост Фабрицио был самое большее пять футов пять дюймов, а вовсе не пять футов десять дюймов, как это указывалось в паспорте; затем, Фабрицио шел двадцать четвертый год, по виду же он казался еще моложе, а Джилетти было тридцать девять лет. Признаемся, что наш герой добрых полчаса прогуливался у плотины, близ понтонного моста, не решаясь спуститься к нему.

Наконец, он спросил себя: «Что бы я посоветовал человеку, оказавшемуся в моем положении? Разумеется, перейти мост. Оставаться в Пармском государстве опасно: могут послать жандармов на розыски человека, который убил другого человека, хотя бы и защищая свою жизнь». Фабрицио обследовал все свои карманы, разорвал все бумаги, оставил при себе только портсигар и носовой платок: важно было сократить время досмотра в таможне. Он подумал также о вопросе, который могли ему задать и на который он находил лишь весьма неубедительные ответы: он хотел назваться Джилетти, а все его белье было помечено

инициалами Ф.В.

Как видите, Фабрицио принадлежал к породе мучеников собственного своего воображения — в Италии это довольно обычный недостаток среди умных людей. Французский солдат, храбростью равный Фабрицио и даже менее храбрый, двинулся бы к мосту, не беспокоясь заранее ни о каких трудностях, сохраняя все свое хладнокровие, а Фабрицио был очень далек от хладнокровия, когда в конце моста какой-то низенький человек в сером мундире сказал ему:

— Зайдите в полицейский участок отметить паспорт.

По грязным стенам участка развешаны были на больших гвоздях засаленные шляпы и чубуки полицейских чинов. Большой еловый стол, за которым сидели эти господа, весь был в чернильных и винных пятнах. Зеленые кожаные переплеты двух-трех толстых реестров пестрели пятнами всех цветов, а почерневшие обрезы указывали, что страницы захватаны пальцами. На стопке реестров лежали один на другом три великолепных лавровых венка, за день до того украшавшие помещение по случаю тезоименитства императора.

Фабрицио поразили все эти мелочи, и у него

сжалось сердце: вот как приходилось расплачиваться за пышную роскошь и свежесть убранства его красивых покоев во дворце Сансеверина. Он вынужден войти в этот грязный участок, покорно стоять здесь в роли подчиненного да еще подвергнуться допросу.

Черномазый низенький чиновник протянул желтую руку за его паспортом; галстук у него заколот был медной булавкой. «Этот чинуша, видимо, не в духе», — думал Фабрицио. Полицейский выказывал явное изумление, читая паспорт, и читал его не меньше пяти минут.

— Что-нибудь случилось в дороге? — спросил он, поглядывая на щеку Фабрицио.

— Кучер вывалил нас, съезжая с плотины к берегу.

Опять настало молчание; чиновник бросал на путешественника свирепые взгляды.

«Я попался, — думал Фабрицио, — сейчас он скажет, что, к глубокому своему сожалению, должен сообщить мне неприятное известие: „Вы арестованы“». Всяческие безумные планы возникали в голове нашего героя, который в эту минуту мыслил не очень логически. Он задумал, например, бежать, заметив, что дверь открыта. «Сброшу с себя платье, кинусь в реку; наверно,

доплыву до другого берега. Будь что будет, только бы не Шпильберг». Пока Фабрицио взвешивал шансы на успех такого замысла, чиновник в упор смотрел на него; у обоих лица были весьма живописны. Опасность делает человека рассудительного гениальным, — он, так сказать, поднимается выше своего обычного уровня, а человеку с воображением опасность внушает романтические планы — смелые, правда, но зачастую нелепые.

Стоило бы понаблюдать, с каким возмущенным видом Фабрицио выдерживал испытующий взгляд полицейского писца, носившего медные драгоценности: «Если я убью его, — говорил себе Фабрицио, — меня приговорят к двадцати годам каторги или к смертной казни, но все же это не так страшно, как попасть в Шпильберг: на каждой ноге цепь в сто двадцать фунтов, а вся пища — восемь унций хлеба в день, и это на целых двадцать лет, так что я выйду оттуда в сорок четыре года».

Рассуждая таким образом, Фабрицио совсем позабыл, что он сжег свой паспорт и, следовательно, полицейский чиновник никак не мог знать, что перед ним мятежник Фабрицио дель Донго.

Герой наш, как видите, перетрусил изрядно и

напугался бы еще больше, знай он, какие мысли беспокоили полицейского писца. Человек этот был приятелем Джилетти; легко представить себе, как он удивился, увидев паспорт актера в чужих руках; первым его намерением было задержать незнакомца, затем он подумал, что Джилетти, возможно, продал свой паспорт этому красивому юноше, который, очевидно, что-то натворил в Парме. «Если я арестую его, — думал он, — у Джилетти, пожалуй, будут неприятности; откроется, что он продал свой паспорт; а с другой стороны, как мне самому достанется от начальства, если узнают, что я, приятель Джилетти, завизировал его паспорт, предъявленный каким-то посторонним человеком». Писец встал, и, позевывая, сказал Фабрицио:

— Обождите, сударь.

И по обычаю полицейских добавил:

— Тут возникают кое-какие затруднения.

Фабрицио подумал:

«Сейчас возникнет вопрос о моем бегстве».

Действительно, чиновник вышел из канцелярии, не закрыв за собой дверь; паспорт остался на еловом столе: «Опасность очевидна, — думал Фабрицио. — Возьму сейчас паспорт и, не торопясь, пойду обратно через мост. Если жандарм спросит

меня почему, скажу, что я позабыл отметить паспорт у полицейского комиссара в последнем селении Пармского государства». И Фабрицио уже протянул руку за паспортом, но вдруг, к несказанному своему удивлению, услышал, как чиновник с медной булавкой говорит кому-то:

— Ей-богу, сил больше нет, такая жарища, дышать нечем. Схожу в кофейню, выпью чашечку кофе. Когда выкурите трубку, загляните в канцелярию, — какой-то иностранец явился завизировать паспорт.

Фабрицио, крадучись, подошел к двери и очутился лицом к лицу с молодым и смазливым писцом, который говорил сам с собой нараспев: «Ну что ж, отметим паспорт и сделаем росчерк».

— Вы куда, сударь, желаете ехать?

— В Мантую, Венецию и Феррару.

— Прекрасно, Феррара, — повторил чиновник и, насвистывая, поставил на паспорте штемпель, смазанный синими чернилами, быстро вписал в пробелах слова: «Мантуя, Венеция, Феррара», затем повертел в воздухе рукой, подписался и, обмакнув перо, медленно, с великим тщанием украсил подпись росчерком. Фабрицио следил за всеми движениями пера; чиновник полюбовался на свой росчерк, добавил к нему пять-шесть

завитушек и, наконец, отдал Фабрицио паспорт, весело сказав:

— Счастливого пути, сударь.

Фабрицио вышел на улицу, стараясь скрыть торопливость своих шагов, как вдруг кто-то дотронулся до его плеча; он инстинктивно схватился за рукоятку ножа и, не будь вокруг домов, пожалуй, поступил бы опрометчиво. Человек, остановивший его, заметил этот испуг и сказал в виде извинения:

— Я вас три раза окликнул, сударь, вы не ответили. Есть у вас что-нибудь предъявить к досмотру?

— Ничего, кроме носового платка. — Я иду совсем недалеко, поохотиться в поместье родственников.

Фабрицио пришел бы в полное замешательство, если б его спросили фамилию этих родственников. От палящей жары и волнения он обливался потом и весь вымок, как будто упал в По. «Для столкновений с актерами у меня хватает мужества, но писцы, любители медных драгоценностей, меня подавляют. На эту тему я сочиню комический сонет для герцогини».

Войдя в Казаль-Маджоре, Фабрицио свернул вправо, на какую-то грязную улицу, спускав-

шуюся к берегу По. «Мне очень нужна помощь Бахуса и Цереры», — подумал он и направился к дому, над дверью которого висел на палке серый лоскут с надписью: «Траттория». У входа чуть не до земли свисала грубая холстина, натянутая на два тонких обруча и защищавшая тратторию от знойных, отвесных лучей солнца. Полураздетая и очень красивая хозяйка встретила гостя весьма приветливо, что доставило ему живейшее удовольствие; он поспешил сообщить, что умирает с голоду. Пока хозяйка готовила ему завтрак, вошел мужчина лет тридцати; войдя, он не поздоровался и уселся на скамью по-домашнему. Вдруг он вскочил и обратился к Фабрицио:

— Eccelenza la riverisco (Мое почтение, ваше сиятельство).

Фабрицио был очень весел в эту минуту, и вместо мрачного раздумья его охватил смех; он ответил:

— Черт побери! Откуда ты знаешь мое сиятельство?

— Как, ваше сиятельство! Вы не узнали меня? Я — Лодовико, служил в кучерах у герцогини Сансеверина. Но в усадьбе Сакка, куда мы ездили каждое лето, я всегда хворал лихорадкой, и вот я попросил герцогиню дать мне отставку

с пенсией и бросил службу. Теперь я богач: самое большее я мог рассчитывать на двенадцать экю в год, а герцогиня мне назначила пенсию в двадцать четыре экю; она сказала, что мне надо иметь досуг для сочинения сонетов, — я ведь поэт, пишу на народном наречии. А граф сказал, что если когда-нибудь со мной случится беда, то я могу обратиться к нему. Я имел честь везти вас, монсиньор, один перегон, когда вы, как добрый христианин, ездили на богомолье в Веллейскую обитель.

Фабрицио всмотрелся в этого человека и с трудом узнал его: в доме герцогини он был одним из самых франтоватых кучеров; теперь же он называл себя богачом, а весь его костюм состоял из рваной рубашки толстого холста и холщовых штанов, некогда выкрашенных в черный цвет и едва доходивших ему до колен; наряд этот дополняли грубые башмаки и дрянная шляпа; вдобавок он, видимо, недели две не брился. Уничтожая яичницу, Фабрицио вел с ним разговор, как с равным; по всей видимости, Лодовико был возлюбленным хозяйки. Быстро покончив с завтраком, Фабрицио шепнул ему:

— Мне надо сказать вам два слова.

— Ваше сиятельство, вы можете свободно

говорить при хозяйке; она, право, славная женщина, — заметил с нежным видом Лодовико.

— Ну, хорошо. Друзья мои, — начал Фабрицио без малейшего колебания. — Я попал в беду, и мне нужна ваша помощь. Мое дело совсем не политическое, я просто-напросто убил человека, который пытался застрелить меня за то, что я разговаривал с его любовницей.

— Ах, бедненький! — воскликнула хозяйка.

— Ваше сиятельство, положитесь на меня! — воскликнул кучер, и глаза его загорелись пылкой преданностью. — Куда же вы решили бежать, ваше сиятельство?

— В Феррару. Паспорт у меня есть, но я не хотел бы вступать в разговоры с жандармами; может быть, им все уже известно.

— Когда вы ухлопали того человека?

— Нынче утром, в шесть часов.

— Не запачкано ли у вас платье кровью, ваше сиятельство? — спросила хозяйка.

— Я сразу подумал об этом, — заметил бывший кучер. — Да и сукно-то на вас уж очень тонкое, такую одежду не часто встретишь в наших деревнях, — она вызовет любопытство. Я схожу к еврею, куплю для вас платье. Вы, ваше сиятельство, почти одного роста со мною, только

потоньше будете.

— Ради бога, не величайте меня «сиятельством», — это может привлечь внимание.

— Слушаюсь, ваше сиятельство, — ответил кучер, выходя из траттории.

— Погодите, погодите! — крикнул Фабрицио. — А деньги? Вернитесь!

— Зачем вы говорите о деньгах?! — сказала хозяйка. — У него есть шестьдесят семь экю, и все они к услугам вашего сиятельства. У меня у самой наберется около сорока экю, — добавила она, понизив голос, — и я от всего сердца предлагаю их вам. Когда что-нибудь такое приключится, не всегда у человека при себе бывают деньги.

Войдя в тратторию, Фабрицио из-за жары снял с себя редингот.

— А вот такой жилет, какой на вас, может доставить нам неприятности, если кто-нибудь войдет сюда. Превосходное «английское пике». На него всякий обратит внимание.

И хозяйка дала нашему беглецу черный холщовый жилет своего мужа. Через внутреннюю дверь в тратторию вошел высокий и щеголеватый молодой человек.

— Это мой муж, — заметила хозяйка. — Пьетро-Антонио, — сказала она мужу, — наш гость

— друг Лодовико. Нынче утром с ним случилось несчастье на том берегу реки. Он хочет бежать в Феррару.

— Ладно. Мы переправим его, — ответил муж весьма учтивым тоном. — У Карло-Джузеппе есть лодка.

Так же просто, как мы рассказали о страхе нашего героя в полицейской канцелярии у конца моста, признаемся и в другой его слабости: у него слезы выступили на глазах, — так растрогала его необычайная отзывчивость, которую он встретил у этих крестьян; он подумал также о широкой натуре своей тетки; ему хотелось озолотить этих славных людей.

Вернулся Лодовико с большим узлом в руках.

— Значит, прощай, дружок? — благодушно спросил у него муж.

— Не в том дело! — весьма встревоженным тоном ответил Лодовико. — О вас, ваше сиятельство, уже начинают судачить. Люди видели, как вы свернули с главной улицы в наш vicolo[78] и при этом озирались, — заметно было, что вы хотите скрыться.

— Скорее! Подымитесь в спальню, — сказал

---

[78] Примечания: 78
Переулок (*итал.*).

муж.

В спальне, очень просторной и красивой комнате, где в обоих окнах вместо стекол был натянут небеленый холст, стояли четыре огромных кровати, каждая шести футов ширины и высотою в пять футов.

— Скорей, скорей! — торопил Лодовико. — У нас тут есть один наглец жандарм, недавно назначенный; он вздумал приударить за той хорошенькой бабенкой, которую вы видели внизу, а я его предупредил, что он может нарваться на пулю, когда отправится в обход по дорогам. Если этот пес услышит про ваше сиятельство, он захочет нам насолить и постарается вас арестовать здесь, чтобы про тратторию Теодолины пошла дурная слава.

— Эге! этот бродяга, значит, защищался? — заметил Лодовико, увидев пятна крови, пропитавшей рубашку Фабрицио и платки, которыми перетянуты были раны. — Вас арестуют! Улик для этого в сто раз больше, чем надо. А я не купил рубашки!..

Он без всяких церемоний открыл шкаф, достал одну из рубашек хозяина, и вскоре Фабрицио был уже одет, как зажиточный крестьянин. Лодовико снял висевшую на гвозде рыбачью сетку,

положил платье Фабрицио в корзинку для рыбы, бегом спустился с лестницы и быстро вышел через заднюю дверь. Фабрицио следовал за ним.

— Теодолина! — крикнул Лодовико, проходя мимо траттории. — Прибери то, что осталось наверху. Мы будем ждать в ивняке, а ты, Пьетро-Антонио, поскорее пошли нам лодку. Скажи: заплатят хорошо.

Лодовико заставил Фабрицио перебраться по меньшей мере через двадцать канав; через самые широкие из них были перекинуты длинные, гнувшиеся под ногами доски; пройдя по таким мосткам вслед за Фабрицио, Лодовико убирал их. Одолев последнюю канаву, Лодовико с особым удовольствием вытянул доску.

— Теперь передохнем, — сказал он. — Этому паршивцу жандарму придется пробежать больше двух лье, чтобы поймать ваше сиятельство. Как вы побледнели! — сказал он, взглянув на Фабрицио. — Хорошо, что я захватил с собой бутылочку водки.

— Да, это очень кстати: рана в бедре уже дает себя чувствовать, и к тому же я изрядно перетрусил в полиции, у конца мост-а.

— Ну еще бы! — сказал Лодовико. — Ведь у вас вся рубашка окровавлена! Удивительно, как это

вы решились говорить с полицейскими! А в ранах я понимаю толк. Я вас проведу в одно прохладное местечко, и вы поспите часок; за нами туда приедут в лодке, если только удастся раздобыть ее. А если не удастся, вы немного отдохнете, и мы еще пройдем пешочком два лье до мельницы, а там уж мне дадут лодку. Вы, ваше сиятельство, куда ученее меня… Герцогиня будет в отчаянии, когда узнает об этом несчастье: ей скажут, что вы смертельно ранены, да, может быть, станут еще говорить, что вы предательски убили того человека. Маркиза Раверси, понятно, постарается распустить дурные слухи, чтобы огорчить вашу тетушку. Не напишете ли вы герцогине письмо, ваше сиятельство?

— А как его доставить?

— На той мельнице, куда мы пойдем, батраки зарабатывают двенадцать су в день. За полтора дня можно дойти до Пармы, — значит, за такой путь надо посыльному заплатить четыре франка и два франка за то, что башмаки истреплет, — стало быть, шесть франков, если пошлет с поручением человек бедный вроде меня, а раз это для знатного господина, надо дать двенадцать франков.

Когда добрались до места отдыха, в прохладной

тени густого ивняка и ольхи, Лодовико проделал еще часовой путь, чтобы достать чернил и бумаги.

— Боже мой, как здесь хорошо! — воскликнул Фабрицио. — Прощай, моя карьера! Я никогда не буду архиепископом.

Возвратившись, Лодовико увидел, что Фабрицио спит глубоким сном, и не стал его будить. Лодка прибыла только на закате; Лодовико издали ее завидел, разбудил Фабрицио, и тот написал два письма.

— Ваше сиятельство, — робко сказал Лодовико, — вы куда ученее меня, и, боюсь, в глубине души вы будете недовольны, если я скажу вам еще кое-что…

— Я не такой дурак, как вы думаете, — ответил Фабрицио. — Что бы вы ни сказали, вы всегда будете в моих глазах верным слугой моей тетушки и человеком, который сделал все возможное, чтобы выручить меня из большой беды.

Немало понадобилось заверений, чтобы ободрить Лодовико, а когда он, наконец, отважился заговорить, то начал с длинного вступления, затянувшегося минут на пять. Фабрицио стал уже терять терпение, но затем подумал: «Кто тут виноват? Мы сами. Этот кучер, сидевший на

козлах, прекрасно видел наше тщеславие». Преданность все же заставила Лодовико высказаться откровенно.

— Маркиза Раверси не пожалела бы никаких денег, лишь бы перехватить те два письма, которые вы пошлете в Парму. Они написаны вами собственноручно и, следовательно, являются юридическими уликами против вас. Вы, ваше сиятельство, пожалуй, сочтете мое предложение нескромным любопытством и, может быть, постыдитесь утруждать герцогиню, чтобы она разбирала мой корявый кучерский почерк, но все-таки забота о вашей безопасности побуждает меня спросить вас, хотя вы, возможно, сочтете это дерзостью: не пожелаете ли вы, ваше сиятельство, продиктовать мне эти два письма? Тогда только я один окажусь под подозрением, а для меня это не страшно, — в случае нужды я скажу, что вы появились передо мною в поле с роговой чернильницей в одной руке, с пистолетом — в другой и принудили меня писать.

— Дайте мне вашу руку, дорогой Лодовико! — воскликнул Фабрицио. — А чтобы доказать вам, что я не хочу таиться от такого друга, как вы, вот вам оба письма, — возьмите и перепишите их.

Лодовико высоко оценил такой знак доверия

и был очень им тронут, но, переписав несколько строк, заметил, что лодка быстро плывет по реке.

— Я скорее напишу, — сказал он Фабрицио, — если вы, ваше сиятельство, потрудитесь диктовать мне.

Когда письма были закончены, Фабрицио поставил в последней строке одного письма букву «А», в другом — «Б», затем на маленьком клочке бумаги написал по-французски: «Верьте А и Б» и скомкал его. Посланный должен был тщательно спрятать в своей одежде эту бумажку.

Лодка подплыла ближе, слышны были голоса; Лодовико окликнул гребцов, назвав их чужими именами; они не ответили, но, проплыв туазов[79] на пятьсот дальше, причалили к берегу, опасливо озираясь, не видит ли их какой-нибудь таможенник.

— Я в вашем распоряжении, — сказал Лодовико, обращаясь к Фабрицио. — Желаете, я сам отнесу письма в Парму, а желаете — провожу вас до Феррары?

— Проводите меня до Феррары. Я не смел просить вас о такой услуге. Ведь когда мы высадимся

---

[79] Примечания: 79

Туаз — старинная французская мера длины, около двух метров.

на берег, надо постараться войти в город, не предъявляя паспорта. Признаюсь вам, что мне чрезвычайно неприятно путешествовать под именем Джилетти, а я не знаю, кто, кроме вас, мог бы купить для меня другой паспорт.

— Что же вы не сказали об этом в Казаль-Маджоре? Я знаю одного шпиона, он продал бы мне превосходный паспорт и недорого: франков за сорок, за пятьдесят.

Из двух гребцов, пригнавших лодку, один родился на правом берегу По и, следовательно, не нуждался в заграничном паспорте для путешествия в Парму, — он взялся отнести письма. Лодовико, умевший грести, заявил, что сядет на весла с его товарищем и благополучно доведет лодку.

— В низовьях По нам попадутся вооруженные полицейские баркасы, но я сумею ускользнуть от них.

Более десяти раз приходилось им прятаться меж маленьких плоских островков, в зарослях ивняка. Три раза вылезали на берег, выжидая, пока пройдет караван пустых баржей под надзором полицейских судов. Лодовико воспользовался этими долгими минутами досуга и прочел Фабрицио несколько своих сонетов. Чувства в них были

искренние, но как будто не могли пробиться сквозь слова и теряли всю свою силу, — не стоило труда облекать их в стихи; странно, что этот бывший кучер, отличавшийся пылкими страстями и самобытным восприятием жизни, становился холодным и заурядным, когда брался за перо. «А в светском обществе мы видим обратное, — думал Фабрицио, — в нем теперь все умеют выразить в изысканной форме, но сердцу нечего сказать». Он понял, что может доставить этому преданному слуге великое удовольствие, исправив грамматические ошибки в его сонетах.

— Надо мной смеются, когда я показываю кому-нибудь свою тетрадку, — сказал Лодовико. — Но если вы, ваше сиятельство, соблаговолите продиктовать мне по буквам трудные слова, завистникам не к чему будет придраться: грамматика не создает таланта.

Только на третьи сутки ночью Фабрицио вполне благополучно высадился в ольховой рощице, не доехав одного лье до Понте-Лаго-Оскуро. Весь следующий день он прятался в конопляннике, а Лодовико один отправился в Феррару; там он снял небольшую комнатку у бедного еврея, который сразу понял, что тут можно хорошо заработать, если держать язык за зубами. В су-

мерках Фабрицио въехал в Феррару верхом на крестьянской лошадке, — пешком он идти не мог: солнце напекло ему голову на реке, рана у бедра и рана в плече, которое Джилетти проткнул ему шпагой в начале поединка, воспалились и вызвали лихорадку.

12

Еврей, хозяин квартиры, разыскал надежного хирурга, и тот, сообразив тоже, как здесь можно поживиться, сказал Лодовико, что «по долгу совести» обязан сообщить полиции о ранах молодого человека, которого Лодовико именует своим братом.

— Закон ясен, — добавил хирург. — Совершенно очевидно, что ваш брат не мог сам себя ранить, как он рассказывает, упав будто бы с лестницы в ту минуту, когда у него в руке был раскрытый нож.

Лодовико холодно ответил совестливому хирургу, что если тот послушается велений своей совести, то, прежде чем покинуть Феррару, он, Лодовико, будет иметь честь своей собственной рукой показать на нем действие раскрытого ножа. Когда он сообщил Фабрицио об этой беседе, тот разбранил его. Однако надо было бежать, не теряя ни минуты. Лодовико сказал еврею, что больному полезно будет подышать свежим воздухом, сходил за экипажем, и друзья покинули этот дом навсегда.

Читатель, вероятно, найдет слишком длинным

рассказ о всевозможных уловках, к которым вынуждало отсутствие паспорта: такого рода беспокойства во Франции уже нет, но в Италии, особенно у берегов По, только и речи, что о паспортах. Беспрепятственно выехав из Феррары, как будто на прогулку, Лодовико отпустил экипаж, вернулся затем в город через другие ворота и приехал за Фабрицио в седиоле, которую нанял для путешествия на двенадцать лье. Неподалеку от Болоньи друзья приказали кучеру выбраться проселками на ту дорогу, что ведет в Болонью из Флоренции. Ночь они провели в самой убогой харчевне, какую удалось им отыскать, а наутро Фабрицио почувствовал себя в силах немного пройти пешком, и они вошли в Болонью, как будто возвращаясь с прогулки. Паспорт Джилетти они сожгли: смерть актера, несомненно, уже стала известна, и менее опасно было оказаться под арестом за отсутствие паспорта, чем за предъявление паспорта убитого человека.

Лодовико знал в Болонье двух-трех слуг из богатых домов и отправился на разведку. Он рассказал им, что пришел из Флоренции, что дорогой его младший брат, которого он взял с собой, задержался в харчевне, не желая вставать с постели до рассвета, и пообещал встретить-

ся с Лодовико в деревне, где тот намеревался отдохнуть в самые жаркие часы дня. Прождав понапрасну брата, Лодовико решил пойти обратно и нашел его замертво лежащим на дороге: какие-то люди, затеяв с ним ссору, ударили его камнем, изранили кинжалом и вдобавок ограбили. Брат — красивый малый, умеет править лошадьми и чистить их, знает грамоте; ему очень хочется поступить на место в какой-нибудь хороший дом. Лодовико намеревался, в случае нужды, добавить, что, когда брат упал, грабители убежали и захватили с собой котомку, где лежало белье и паспорта обоих братьев.

Прибыв в Болонью, Фабрицио почувствовал сильную усталость, но не осмелился явиться без паспорта в гостиницу и вошел в громадную церковь Сан-Петроне. Там была восхитительная прохлада; вскоре он совсем ожил. «Неблагодарный я, — подумал он, — зашел в церковь посидеть, точно в кофейню!» Он бросился на колени и горячо возблагодарил бога за явное покровительство сопутствовавшее ему с той минуты, как он, на беду свою, убил Джилетти. До сих пор он еще с трепетом вспоминал, какая опасность угрожала ему, если б его узнали в полицейской канцелярии Казаль-Маджоре. «У писаря в глазах было столько

недоверия, — думал Фабрицио, — он трижды перечел мой паспорт, и как же это он не заметил, что мой рост вовсе не пять футов десять дюймов, что мне не тридцать девять лет, и лицо у меня не изрыто оспой? Как я должен благодарить тебя, господи! А я не поспешил повергнуть к твоим стопам свое ничтожество! Гордец, — я воображал, что лишь благодаря суетному рассудку человеческому мне удалось избегнуть Шпильберга, уже готового поглотить меня!»

Больше часа он с крайним умилением предавался мыслям о беспредельном милосердии божием и не слышал, как подошел Лодовико и встал перед ним. Наконец, Фабрицио отвел от лица руки, поднял голову, и верный слуга увидел, что по щекам его текут слезы.

— Придите через час, — довольно резко сказал ему Фабрицио.

Ради его благочестия Лодовико простил такой тон.

Фабрицио несколько раз прочел все семь покаянных псалмов, которые знал наизусть, и подолгу задумывался над теми словами, какие, казалось ему, имели отношение к новым обстоятельствам его жизни. За многое он просил у бога прощения, но замечательно следующее: ему и в голову не

пришло причислить к своим грехам намерение стать архиепископом, основанное лишь на том, что граф Моска, премьер-министр, считает этот сан и пышное существование, обеспечиваемое им, подобающими для племянника герцогини. Правда, Фабрицио не так уж жаждал достигнуть этого положения, но, все же думал о нем, как думал бы о министерском портфеле или о генеральском чине. У него и в мыслях не было, что участие в этих планах герцогини прежде всего затрагивает его совесть. Тут сказалась удивительная черта религиозности, привитой ему наставлениями миланских иезуитов. Такая религиозность «лишает смелости задумываться над чем-либо неуказанным» и особенно запрещает «самоанализ» как страшнейший грех, ибо это первый шаг к протестантству. Чтобы знать, в чем ты повинен, надо спросить о том духовника или прочесть список грехов, напечатанных в книге, именуемой «Приуготовление к таинству покаяния». Фабрицио знал наизусть весь этот список, составленный по-латыни, ибо зубрил его в Неаполитанской духовной академии. И теперь, перебирая этот перечень и дойдя до рубрики «убийство», он сокрушенно каялся перед богом в том, что убил человека, правда не преднамерен-

но, а защищая свою жизнь. Но различные пункты, трактующие о грехе «симонии» (приобретение церковных должностей за деньги), он пробежал без всякого внимания. Если бы ему предложили уплатить сто экю за должность главного викария архиепископа Пармского, он с ужасом отверг бы такую мысль, но, хотя он был неглуп и, главное, не лишен логичности в своих суждениях, ему ни разу не пришло на ум, что влияние графа Моска, употребленное в его пользу, тоже является симонией. Вот вам плоды воспитания, которое дают иезуиты: они приучают не замечать явлений, ясных как день. Француз, выросший в атмосфере корысти и парижской иронии, мог бы без преувеличения счесть Фабрицио лицемером, в то время как наш герой с величайшей искренностью и глубоким умилением открывал всю душу господу богу.

Фабрицио вышел из церкви, лишь когда почувствовал себя готовым к исповеди, намереваясь исповедаться на следующий день. Лодовико поджидал его, сидя на ступеньках каменного перестиля, который возвышался на площади перед фасадом церкви Сан-Петроне. Как после сильной грозы воздух становится чище, так и на душе Фабрицио было спокойно, радостно, она словно

освежилась.

— Мне сейчас гораздо лучше, я почти не чувствую своих ран, — сказал он, подойдя к Лодовико. — Но прежде всего я должен попросить у вас прощения за то, что сердито ответил вам, когда вы заговорили со мной в церкви. Я тогда беседовал со своей совестью. Ну что, как идут наши дела?

— Отлично. Я снял квартиру, правда, не очень подходящую для вашего сиятельства — у жены моего приятеля, но хозяйка хорошенькая и, к тому же, дружит с одним из главных агентов здешней полиции. Завтра я пойду заявить, что у нас украли паспорта, и это заявление будет принято благожелательно; только придется уплатить за доставку письма, в котором полиция сделает в Казаль-Маджоре запрос, проживает ли в той общине некий Лодовико Сан-Микели, у коего есть брат по имени Фабрицио, состоящий на службе у герцогини Сансеверина в Парме. Все улажено, siamo a cavallo (итальянская поговорка, означающая: «Мы спасены»).

Фабрицио сразу стал очень серьезным; попросив Лодовико подождать минутку, он почти бегом направился в церковь, а лишь только вошел в нее, бросился на колени и смиренно облобызал

каменные плиты: «Ведь это чудо, господи! — шептал он со слезами на глазах. — Едва ты увидел, что душа моя вернулась на стезю долга, ты спас меня. Боже великий, может статься, что когда-нибудь меня убьют в схватке, вспомни в смертную мою минуту о том, что сейчас переполняет мне душу!» И в порыве живейшей радости Фабрицио вновь прочел все семь покаянных псалмов. Перед тем как уйти из церкви, он подошел к старухе, сидевшей перед большим образом мадонны возле железного треугольника с высокой железной подставкой; по краям треугольника вертикально торчали острия, на которые богомольцы ставили свечи перед прославленной мадонной Чимабуэ[80]. Когда Фабрицио подошел, горело только семь свечей, — он отметил в памяти это обстоятельство, решив поразмыслить о нем на досуге.

— Сколько стоят свечки? — спросил он у старухи.

— Два байокко за штуку.

В самом деле, свечки были не толще гусиного пера и длиной меньше фута.

— Сколько еще можно поставить свечек на этом треугольнике?

---

[80] Примечания: 80
Чимабуэ, Джованни (1240–1301) — итальянский живописец.

— Шестьдесят три, — ведь семь уже горят.

«Ага! — воскликнул про себя Фабрицио. — Шестьдесят три да семь — всего, значит, семьдесят, — тоже надо запомнить».

Он заплатил за свечи, сам поставил и зажег семь первых, затем встал на колени, положил земной поклон и, поднимаясь, сказал старухе:

— Это благодарность за милость божию.

— Я умираю от голода, — сказал Фабрицио, подойдя к Лодовико.

— В таверну никак нельзя заходить. Пойдемте на квартиру. Хозяйка купит нам что-нибудь для завтрака; она, понятно, украдет двадцать су, зато усерднее будет служить новому своему постояльцу.

— Значит, мне еще лишний час придется мучиться от голода? — сказал Фабрицио, засмеявшись с детской беспечностью, и зашел в кабачок около церкви Сан-Петрона.

Сев за столик, он, к крайнему своему удивлению, увидел за соседним столиком Пепе, старшего лакея своей тетушки, того самого, который когда-то приезжал в Женеву встречать его. Фабрицио знаком велел ему молчать, быстро позавтракал и, блаженно улыбаясь, встал. Пепе последовал за ним. В третий раз наш герой вошел в церковь

Сан-Петроне. Из деликатности Лодовико остался на площади и, неторопливо прогуливаясь, поджидал их.

— Ах, господи! Монсиньор, как ваши раны? Герцогиня страшно беспокоится. Первый день она думала, что вас убили и бросили на каком-нибудь островке По. Я сейчас же пошлю к ней нарочного. Я разыскиваю вас уже шесть дней; три дня провел в Ферраре, обегал все гостиницы.

— Вы привезли мне паспорт?

— Целых три, ваше сиятельство: один со всеми вашими именами и титулами, второй только с вашим именем, а третий с вымышленным именем: Джузеппе Босси; в каждом паспорте указано два маршрута, и вы, ваше сиятельство, можете сказать, что прибыли из Флоренции или из Модены, как захотите. Только вам надо сперва прогуляться за город. Графу будет приятно, если вы пожелаете остановиться в гостинице «Пилигрим», — хозяин ему приятель.

Фабрицио, как будто случайно, повернул в правый придел и дошел до того места, где горели поставленные им свечи; взгляд его устремился на мадонну Чимабуэ. Затем он сказал Пепе, опустившись на колени:

— Я хочу возблагодарить господа.

Пепе последовал его примеру.

Выйдя из церкви, Пепе заметил, что Фабрицио дал золотой первому нищему, попросившему у него милостыни. Нищий так громогласно изливал свою благодарность, что к щедрому благодетелю бросился целый рой нищих самого разнообразного вида, обычно украшающих площадь Сан-Петроне. Все хотели получить свою долю из наполеондора. Женщины, отчаявшись пробиться в свалке, происходившей вокруг обладателя золотой монеты, ринулись к Фабрицио, кричали, требовали, чтобы он подтвердил свое намерение разделить наполеондор между всеми бедняками божьими. Пепе, размахивая тростью с золотым набалдашником, приказал им оставить его сиятельство в покое.

— А-а! Ваше сиятельство! — завопили женщины еще пронзительней. — И нам подайте! Подайте бедным женщинам наполеондор!

Фабрицио ускорил шаг, а за ним с криками следовали по пятам нищие, мужчины и женщины, собравшиеся со всех улиц; казалось, происходит бунт. Вся эта ужасающе грязная и весьма напористая толпа орала: «Ваше сиятельство!»

Фабрицио с большим трудом выбрался из давки: эта сцена вернула его воображение с небес на

землю. «Поделом мне, — думал он, — зачем было связываться с чернью?»

Две женщины преследовали его до Сарагосских ворот, через которые он вышел из города, но тут Пепе, наконец, остановил их, серьезно пригрозив им тростью и бросив несколько монет. Фабрицио поднялся на живописный холм Сан-Микеле-ин-Боско, обогнул часть предместья, расположенного за городскими укреплениями, и свернул на тропинку, которая через пятьсот шагов вывела его на Флорентийскую дорогу; затем он возвратился по этой дороге в город и с важным видом предъявил полицейскому писцу паспорт, в котором весьма точно указаны были все его приметы. Паспорт был на имя Джузеппе Босси, студента богословского факультета. Фабрицио заметил в правом углу паспорта красное чернильное пятнышко, будто случайно посаженную кляксу. Через два часа за ним уже ходил по пятам шпион: ведь спутник Фабрицио назвал его перед толпой нищих на площади Сан-Петроне «ваше сиятельство», а в паспорте не указывалось никаких титулов, дающих основание слугам именовать его «сиятельством».

Фабрицио заметил шпиона, но это только рассмешило его, — он уже не думал ни о полиции, ни

о паспортах и забавлялся всем, как ребенок. Пепе было приказано остаться при нем, но, видя, как Фабрицио доволен Лодовико, он предпочел сам доставить герцогине приятные вести. Фабрицио написал два длиннейших письма двум своим дорогим друзьям, затем ему пришла в голову мысль написать и почтенному архиепископу Ландриани. Письмо это, содержавшее точный рассказ о поединке с Джилетти, произвело чудесное действие. Добрый архиепископ весьма был растроган и, разумеется, отправился во дворец, чтобы прочесть его принцу, который соблаговолил выслушать все письмо: ему было любопытно узнать, как этот молодой «монсиньор» выворачивается, оправдываясь в столь ужасном убийстве. Многочисленные друзья маркизы Раверси сумели внушить принцу, как и всей Парме, уверенность, что Фабрицио призвал себе на помощь двадцать — тридцать крестьян, чтобы убить какого-то жалкого актера, дерзнувшего оспаривать у него молоденькую Мариетту. При дворах деспотов всякий ловкий интриган расправляется с истиной так же, как в Париже расправляется с нею мода.

— Что за черт! — сказал принц архиепископу. — Такие штуки можно делать чужими руками, но

делать их самому просто неприлично. Да и таких скоморохов, как Джилетти, не убивают — их покупают.

Фабрицио не подозревал, что происходит в Парме. А там по существу вопрос стоял так: повлечет ли за собой смерть актера, зарабатывавшего при жизни тридцать два франка в месяц, падение крайне правого министерства и главы его — графа Моска.

Узнав о смерти Джилетти, принц, уязвленный независимым поведением герцогини, приказал главному фискалу Расси повести процесс так же, как вели их против либералов. Фабрицио полагал, что знатный человек стоит выше закона, но он не знал, что в тех странах, где высокородные люди никогда не подвергаются карам закона, интрига всесильна даже против них. Фабрицио часто говорил Лодовико, что полная его невиновность скоро будет признана официально, и уверенность его исходила из того, что он действительно не был виновен. И вот однажды Лодовико возразил ему:

— Ваше сиятельство, я не понимаю вас! Вы человек такой умный, такой ученый… для чего же вы все это говорите мне? Ведь я ваш верный слуга. Напрасно вы так осторожны со мной, ваше

сиятельство. Такие слова надо говорить публично или на суде.

«Этот человек считает меня убийцей и все же любит меня по-прежнему», — подумал Фабрицио, ошеломленный таким открытием.

Через три дня после отъезда Пепе он, к великому своему удивлению, получил огромный пакет с печатью на шелковом шнурке, как во времена Людовика XIV, адресованный «его преосвященству монсиньору Фабрицио дель Донго, главному викарию Пармской епархии, канонику» и т. д. «Неужели эти титулы все еще относятся ко мне?» — подумал он с усмешкой.

Послание архиепископа Ландриани было образцом логики и ясности, в нем не меньше, чем на девятнадцати страницах большого формата, превосходно излагалось все, что произошло в Парме в связи со смертью Джилетти.

«Ежели бы французская армия под командой маршала Нея подошла к городу, это не произвело бы большего впечатления, — писал ему добрый архиепископ. — За исключением герцогини и меня, возлюбленный сын мой, все уверены, что вы дозволили себе убить скомороха Джилетти. Буде такое несчастье и случилось с вами, подобные истории всегда можно с легкостью замять

при помощи двухсот луидоров и шестимесячного путешествия; но Раверси хочет воспользоваться случаем, чтобы сбросить графа Моска. В обществе вас осуждают не за ужасный грех убийства, но всего лишь „за неловкость“ или, вернее, за дерзкое нежелание прибегнуть к услугам bulo (то есть своего рода наемного бреттера). Я передаю вам суть, явствующую из речей, какие слышу вокруг себя. Со времени этого несчастья, о котором я не устану скорбеть, я ежедневно бываю в трех самых влиятельных домах нашего города, дабы иметь возможность при случае защитить вас. И, быть может, никогда еще не находил себе более достойного применения малый дар слова, ниспосланный мне небом».

Пелена спала с глаз Фабрицио; герцогиня в своих многочисленных письмах, преисполненных сердечных излияний, ни разу не удосужилась рассказать ему о происходящих событиях. Она клялась, что навсегда покинет Парму, если он вскоре не вернется туда триумфатором.

«Граф сделает для тебя все, что в силах человеческих, — писала она в письме, приложенном к посланию архиепископа. — Что же касается меня, то из-за твоих замечательных похождений мой характер совершенно изменился: я теперь скупа,

как банкир Томбоне; я рассчитала всех рабочих и более того — продиктовала графу опись моего состояния, и оно оказалось менее значительным, чем я думала. После смерти графа Пьетранера, чудесного человека, — к слову сказать, тебе, скорее, следовало бы отомстить за него, чем сражаться с таким ничтожеством, как Джилетти, — у меня осталась рента в тысячу двести франков и долгов на пять тысяч; между прочим, помнится, у меня было тридцать пар белых атласных туфель, выписанных из Парижа, но только одна пара башмаков для улицы. Знаешь, я почти уже решила взять те триста тысяч франков, что мне оставил герцог, а прежде я хотела на эти деньги воздвигнуть ему великолепную гробницу. Кстати, главный твой враг, вернее мой враг, — маркиза Раверси. Если ты скучаешь в Болонье, скажи лишь слово, — я приеду повидаться с тобою. Посылаю тебе еще четыре векселя» и т. д. и т. д.

Герцогиня ни слова не писала Фабрицио, какое мнение составилось в Парме о его деле: прежде всего она хотела его утешить, а кроме того, считала, что смерть столь презренного существа, как Джилетти, не большая важность и не может быть поставлена в упрек носителю имени дель Донго. «Сколько всяких Джилетти наши предки

отправили на тот свет, — говорила она графу, — и никому в голову не приходило укорять их за это».

Итак, Фабрицио был крайне удивлен, впервые представив себе истинное положение вещей; он принялся изучать письмо архиепископа; к несчастью, и сам архиепископ считал его более осведомленным, чем это было в действительности. Фабрицио понял, что торжество маркизы Раверси основано главным образом на невозможности найти свидетелей — очевидцев рокового поединка. Камердинер, который первым доставил в Парму вести о нем, во время схватки находился в таверне деревни Сангинья; Мариетта и старуха, состоявшая при ней в роли мамаши, исчезли, а кучера, который их вез, маркиза подкупила, и он давал убийственные показания.

«Хотя следствие окружено глубочайшей тайной, — писал добрый архиепископ своим цицероновским стилем[81], — и руководит им главный фискал Расси, о котором единственно лишь милосердие христианское не дозволяет мне говорить дурно, но который преуспел в жизни путем яростного преследования обвиняемых,

---

[81] Примечания: 81

Цицерон (106–43 до н. э.) — знаменитый древнеримский оратор.

травя несчастных, как собака травит зайцев, — хотя именно этот Расси, человек невообразимо коварный и продажный, руководит процессом по поручению разгневанного принца, мне все же удалось прочесть три показания кучера. К несказанной моей радости, этот негодяй сам себе противоречит. И поскольку я пишу сейчас главному своему викарию, будущему моему преемнику в руководстве епархией, я добавлю, что я вызвал к себе священника того прихода, где живет сей заблудший грешник. Скажу вам, возлюбленный сын мой, но при условии соблюсти тайну исповеди, что этому священнику уже известно через жену вышеозначенного кучера, сколько экю получено им от маркизы Раверси; не осмелюсь утверждать, что маркиза потребовала от него возвести на вас клевету, но это вполне возможно. Деньги были переданы кучеру через слабодушного пастыря, исполняющего при маркизе недостойные обязанности, и я вынужден был вторично запретить ему совершать богослужение. Не стану утомлять вас рассказом о других принятых мною мерах, ибо вы вправе были ожидать их от меня, и они к тому же являются моим долгом. Некий каноник, ваш коллега в соборном

капитуле[82], к слову сказать, слишком уж часто вспоминающий о том, какой вес придают ему родовые поместья, единственным наследником которых он стал, по соизволению господню, позволил себе сказать в доме графа Дзурла, министра внутренних дел, что считает „доказанной вашу виновность в этом пустяковом деле“ (он говорил об убийстве несчастного Джилетти). Я вызвал его к себе и в присутствии трех остальных моих старших викариев, моего казначея и двух священников, ожидавших приема, попросил его сообщить нам, своим братьям, на чем основана высказываемая им полная уверенность в преступлении одного из его коллег. Негодник бессвязно бормотал какие-то нелепые доводы; все восстали против него, и, хотя я лично счел своим долгом добавить всего лишь несколько слов, он расплакался и просил нас засвидетельствовать чистосердечное признание им своего заблуждения; после этого я обещал ему от своего имени и от имени присутствовавших на собеседовании сохранить все в тайне, при условии, однако, что он все свое рвение направит на то, чтобы рассеять ложное впечатление, какое могли создать его

[82] Примечания: 82

Капитул — коллегия духовных лиц, состоящая при епископской кафедре в римско-католической церкви.

речи за последние две недели.

Не буду повторять вам, возлюбленный сын мой, то, что вы, должно быть, давно уже знаете, а именно, что из тридцати четырех крестьян, работавших на раскопках, производимых графом Моска, и, по утверждению Раверси, нанятых вами в пособники для совершения преступления, тридцать два человека находились в канаве и заняты были своей работой, когда вы подобрали охотничий нож и употребили его для защиты своей жизни от человека, нежданно напавшего на вас. Два землекопа, стоявшие у канавы, крикнули остальным: „Монсиньора убивают!“ Уже один эти слова с полнейшей ясностью доказывают вашу невиновность! И что же! Главный фискал Расси утверждает, что оба эти землекопа скрылись! Более того, разыскали восемь человек из тех, что находились в канаве; на первом допросе шестеро из них показали, что они слышали крик: „Монсиньора убивают!“ Окольными путями я узнал, что на пятом допросе, происходившем вчера, пятеро уже заявили, будто хорошо не помнят, сами ли они это слышали, или им об этом рассказывал кто-то из товарищей. Мною даны распоряжения узнать, где живут эти землекопы, и приходские их священники постараются им внушить, что

они погубят свою душу, если поддадутся соблазну ради нескольких экю извратить истину».

Добрый архиепископ вдавался в бесконечные подробности, как это видно из приведенных отрывков его послания. В конце он добавил, перейдя на латинский язык:

«Дело это является не чем иным, как попыткой сменить министерство. Если вас осудят, то приговором будет смертная казнь или каторга. Но тогда я вмешаюсь и с архиепископской кафедры заявлю, что мне известна полная ваша невиновность, что вы лишь защищали свою жизнь от разбойника, посягнувшего на нее, и, наконец, что я запретил вам возвращаться в Парму, пока в ней торжествуют ваши враги. Я даже решил заклеймить главного фискала, как он того заслуживает, — ненависть к этому человеку столь же единодушна, насколько редким стало уважение к нему. И, наконец, накануне того дня, когда фискал вынесет несправедливый свой приговор, герцогиня Сансеверина покинет город, а может быть, и государство Пармское; в таком случае граф, несомненно, подаст в отставку. Весьма вероятно, что тогда в министерство войдет генерал Фабио Конти, и маркиза Раверси победит. Самое плохое в вашем деле то, что установление вашей

невиновности и пресечение подкупа свидетелей не было поручено какому-нибудь сведущему человеку, который предпринял бы для этого нужные шаги. Граф полагает, что он выполняет эту обязанность, но он слишком большой вельможа, чтобы входить во все мелочи; более того, по обязанности министра полиции он вынужден был в первый момент предписать самые суровые меры против вас. Наконец, осмелюсь ли сказать? Наш августейший государь уверен в вашей виновности или по крайней мере притворно выказывает такую уверенность и вносит какое-то ожесточение в это дело».

(Слова «наш августейший государь» и «притворно выказывает такую уверенность» написаны были по-гречески, но Фабрицио был бесконечно тронут тем, что архиепископ осмелился их написать. Он вырезал перочинным ножом эту строчку из письма и тотчас же уничтожил бумажку.)

Фабрицио был так взволнован, что раз двадцать прерывал чтение письма. В порыве горячей признательности он сразу же ответил архиепископу письмом в восемь страниц. Часто ему приходилось поднимать голову, чтобы слезы не капали на бумагу. На другой день, собираясь уже запечатать письмо, он нашел, что тон его слишком светский.

«Надо написать по-латыни, — решил он, — это покажется учтивее достойному архиепископу». Но старательно закругляя красивые и длинные периоды, превосходно подражающие цицероновским, он вспомнил, что однажды архиепископ, говоря о Наполеоне, упорно называл его Буонапарте[83], и вот мгновенно исчезло все умиленное волнение, накануне доводившее его до слез. «Ах, король Италии! — воскликнул он. — Столько людей клялись тебе в верности при твоей жизни, а я сохраню ее и после твоей смерти. Архиепископ меня, конечно, любит, не любит за то, что я дель Донго, а он — сын мелкого буржуа». Чтобы не пропало впустую красноречивое письмо, написанное по-итальянски, Фабрицио сделал в нем кое-какие необходимые изменения и адресовал его графу Моска.

В тот же самый день Фабрицио встретил на улице юную Мариетту; она вся покраснела от радости и подала ему знак следовать за ней поодаль. Вскоре она вошла в какой-то пустынный портик; там она еще ниже спустила на лицо черное кружево, по местному обычаю покрывавшее

[83] Примечания: 83

Враги Наполеона называли его не по имени, как коронованное лицо, а по фамилии, произнося, ее на итальянский лад — Буонапарте, подчеркивая тем его корсиканское происхождение.

ей голову, так что никто бы ее не мог узнать; затем она быстро обернулась.

— Как же это? — сказала она Фабрицио. — Вы совсем свободно ходите по улицам?!

Фабрицио рассказал ей свою историю.

— Боже великий! Вы были в Ферраре? А я вас так искала там! Знаете, я поссорилась со своей старухой; она хотела увезти меня в Венецию, но я понимала, что вы туда никогда не приедете, потому что вы у австрийцев в черном списке. Я продала свое золотое ожерелье и приехала в Болонью, — предчувствие говорило мне, что тут ждет меня счастье, что я встречу вас. Старуха приехала вслед за мной через два дня. Поэтому я не зову вас к нам в гостиницу: гадкая старуха опять будет выпрашивать у вас денег, а мне так за это бывает стыдно... С того ужасного дня (вы знаете какого) мы жили вполне прилично, а не истратили даже и четвертой части ваших денег. Мне бы не хотелось бывать у вас в гостинице «Пилигрим», — я боюсь «афишировать себя». Постарайтесь снять комнатку на какой-нибудь тихой улице, и в час Ave Maria (в сумерки) я буду ждать вас тут, под портиком.

С этими словами она убежала.

13

Все серьезные мысли были позабыты при нежданном появлении этой прелестной особы. Фабрицио зажил в Болонье в глубокой и безмятежной радости. Простодушная склонность весело довольствоваться тем, что наполняло его жизнь, сквозила и в его письмах к герцогине, так что она даже была раздосадована. Фабрицио едва заметил это; он только написал на циферблате своих часов сокращенными словами: «В письмах к Д. не писать: „когда я был прелатом, когда я был духовной особой, — это ее сердит“». Он купил две лошадки, которые очень ему нравились; их запрягали в наемную коляску всякий раз, как Мариетта желала поехать с ним за город полюбоваться одним из тех восхитительных видов, которыми так богаты окрестности Болоньи; почти каждый вечер он возил ее к водопаду Рено. На обратном пути они останавливались у радушного Крешентини, считавшего себя до некоторой степени отцом Мариетты.

«Право, если это именно и есть жизнь завсегдатаев кофеен, напрасно я отвергал ее, считая такую жизнь нелепой для человека сколько-ни-

будь значительного», — говорил себе Фабрицио. Он забывал, что сам он в кофейню заглядывал лишь затем, чтобы почитать «Конститюсьонель», что никто из светского общества Болоньи его не знал, и поэтому никакие утехи тщеславия не примешивались к его блаженству. Когда он не бывал с Марието́ттой, вы бы увидели его в обсерватории, где он слушал курс астрономии; профессор питал к нему большую дружбу, и Фабрицио давал ему по воскресеньям своих лошадей, чтобы он мог блеснуть со своей супругой на Корсо в Монтаньоле.

Ему неприятно было причинять огорченье кому-либо, даже существу самому недостойному. Мариетта решительно не желала, чтоб он встречался со старухой; но как-то раз, когда она была в церкви, Фабрицио явился к mammacia; она побагровела от злости, когда он вошел. «Вот случай показать себя настоящим дель Донго», — решил Фабрицио.

— Сколько Мариетта зарабатывает в месяц, когда у нее есть ангажемент? — спросил он с тем важным видом, с каким уважающий себя молодой парижанин входит на балкон театра Буфф.

— Пятьдесят экю.

— Вы лжете, как всегда. Говорите правду, а то, ей богу, не получите ни сантима.

— Ну, ладно... В Парме она в нашей труппе получала двадцать два экю, когда мы имели несчастье познакомиться с вами; да я зарабатывала двенадцать экю; правда, мы обе давали Джилетти, нашему защитнику и покровителю, треть из того, что получали, но почти каждый месяц Джилетти делал подарок Мариетте, и этот подарок, наверное, стоил не меньше двух экю.

— Опять ложь! Вы, например, получали только четыре экю. Но если вы будете добры к Мариетте, я вам предлагаю ангажемент, как будто я импрессарио; каждый месяц я буду давать двенадцать экю для вас лично и двадцать два — для Мариетты; но если я увижу, что у Мариетты глаза заплаканы, — я объявлю себя банкротом.

— Ишь гордец какой! Да ведь ваши щедроты нас разорят, — ответила старуха злобным тоном. — Мы потеряем avviamento (связи). Когда, к великому своему несчастью, мы лишимся покровительства вашего сиятельства, ни одна труппа нас знать не будет, везде уже наберут Полный состав, и мы не получим ангажемента. Мы из-за вас с голоду умрем.

— Иди ты к черту! — сказал Фабрицио и вышел.

— Нет, к черту мне незачем идти, проклятый

богохульник, а я пойду в полицию и расскажу, что вы епископ-расстрига и столько же права имеете называться Джузеппе Босси, как и я.

Фабрицио, уже спустившийся было на несколько ступеней, вернулся.

— Во-первых, полиция лучше тебя знает мое настоящее имя. Но если ты вздумаешь на меня донести, если ты сделаешь эту гнусность, — сказал он весьма строгим тоном, — с тобой поговорит Лодовико, и ты, старая карга, получишь полдюжины, а то и целых две дюжины ножевых ран и полгода проведешь в больнице, да еще без табака.

Старуха побледнела и, бросившись к Фабрицио, хотела поцеловать его руку.

— Согласна! Спасибо вам, что вы хотите позаботиться о нас с Марие́ттой. Вы с виду такой добрый, что я вас принимала за простака, и, знаете ли, другие могут так же ошибиться. Советую вам взять в привычку держаться поважнее.

И она добавила с забавным бесстыдством:

— Поразмыслите над этим и за добрый совет сделайте нам подарок: зима уже недалеко, купите мне и Марие́тте по хорошему салопу из той прекрасной английской материи, что продается у толстого купца на площади Сан-Петроне.

Любовь прелестной Мариетты давала Фабрицио все радости нежнейшей дружбы, и невольно он думал, что подобное же счастье он мог бы найти близ герцогини.

«Но как, право, странно, — говорил он себе иногда, — я совсем не способен на то всепоглощающее и страстное волнение, которое зовут любовью! Среди всех связей, какие по воле случая были у меня в Новаре и в Неаполе, разве мне встретилась хоть одна женщина, свидание с которой даже в первые дни было бы мне приятнее прогулки верхом на породистой и еще незнакомой мне лошади? Неужели то, что зовут любовью, опять-таки ложь? Я, конечно, люблю, но так же, как чувствую аппетит в шесть часов вечера! Неужели из такого довольно вульгарного влечения лжецы создали любовь Отелло, любовь Танкреда?[84] Или надо считать, что я устроен иначе, нежели другие люди? Неужели моя душа лишена этой страсти? Почему? Удивительная участь!»

В Неаполе, особенно в последнее время, Фабрицио встречал женщин, гордых своею красотой, родовитостью, поклонением знатных вздыхате-

---

[84] Примечания: 84

Танкред — герой «Освобожденного Иерусалима» Тассо.

лей, которыми они пожертвовали ради него, и поэтому желавших властвовать над ним. Заметив такие намерения, Фабрицио весьма бесцеремонно и быстро порывал с ними.

«Однако, — думал он, — если я-когда-нибудь поддамся соблазну изведать несомненно жгучее наслаждение близости с той пленительной женщиной, что зовется герцогиней Сансеверина, я поступлю так же глупо, как некий недальновидный француз, убивший курицу, которая несла для него золотые яйца. Герцогине я обязан единственным счастьем, какое могут дать мне нежные чувства: моя дружба с ней — это моя жизнь. Да и чем бы я был без нее? Бедным изгнанником, обреченным на прозябание в развалившемся замке около Новары. Помню, как в проливные осенние дожди мне по вечерам приходилось из опасения неприятной неожиданности прикреплять раскрытый зонт над изголовьем моей кровати. Я ездил верхом на лошадях управителя; он терпел это из уважения к моей „голубой крови“ (высокому моему происхождению), но уже стал находить, что я зажился у него; отец назначил мне содержание в тысячу двести франков и считал себя великим грешником за то, что кормит якобинца. Бедная матушка и сестры отказывали

себе в новых платьях, для того чтобы я мог делать мелкие подарки моим возлюбленным. Проявлять щедрость таким путем было мне мучительно. Да и люди уже догадывались о моей нищете: окрестные молодые дворяне начали жалеть меня. Рано или поздно какой-нибудь фат выказал бы презрение к молодому неудачнику-якобинцу, — ведь в глазах всех этих господ я именно им и был. Я нанес бы или получил меткий удар шпагой, который привел бы меня в крепость Фенестрелло[85], или же мне вновь пришлось бы бежать в Швейцарию, все с тем же пенсионом в тысячу двести франков. Счастьем избавления от всех этих бед я обязан герцогине, и вдобавок она чувствует ко мне ту страстную дружбу, которую, скорее, следовало бы мне питать к ней.

Я вырвался из нелепого и жалкого существования, которое превратило бы меня в унылого глупца, и уже четыре года живу в большом городе; у меня превосходный экипаж, я не знаю зависти и всяких низких чувств, процветающих в провинции. Тетушка моя даже слишком добра, — она журит меня, что я мало беру денег у ее банкира. Неужели я захочу навеки испор-

[85] Примечания: 85

Фенестрелло — крепость в Италии, вблизи от французской границы, служившая тюрьмой.

тить свое чудесное положение! Неужели захочу потерять единственного своего друга на земле? Что ж, для этого достаточно *солгать* прелестной женщине, равной которой нет, пожалуй, во всем мире, сказать этой женщине, к которой я чувствую самую горячую дружбу: „Люблю тебя“, хотя я не знаю, что такое любовь. И тогда она целыми днями будет корить меня, считая преступлением, что мне чужды восторги любви. Напротив, Мариетта не умеет заглянуть в мое сердце, ласки принимает за порывы души, думает, что я люблю безумно, и считает себя счастливейшей женщиной. А на самом деле то нежное волнение, которое, кажется, называют любовью, я немного чувствовал только близ юной Аникен из харчевни в Зондерсе, у бельгийской границы».

Теперь мы, к глубокому сожалению своему, должны рассказать об одном из самых дурных поступков Фабрицио; среди этой спокойной жизни жалкое тщеславие вдруг укололо его сердце, неуязвимое для любви, и завело его очень далеко. Одновременно с ним в Болонье жила знаменитая Фауста Ф***, бесспорно лучшая певица нашего века и, может быть, самая своенравная из всех женщин. Превосходный поэт, венецианец Бурати, написал о ней знаменитый сатирический

сонет, который в то время был у всех на устах, от князей до последних уличных мальчишек.

«Хотеть и не хотеть, обожать и ненавидеть в один и тот же день, быть счастливой лишь в непостоянстве, презирать то, чему поклоняется свет, хотя свет поклоняется ей, — ты найдешь у Фаусты все эти недостатки. Не смотри на эту змею! Безрассудный, увидя ее, ты забудешь все ее причуды. А если тебе выпадет счастье услышать ее, ты забудешь и самого себя, и в одно мгновение любовь совершит с тобою то же, что некогда Цирцея совершила со спутниками Улисса»[86].

Это чудо красоты было в ту пору так очаровано огромными бакенбардами и дерзким высокомерием молодого графа М***, что даже терпело его отвратительную ревность. Фабрицио видел графа на улицах Болоньи и был возмущен видом превосходства, с которым тот гарцевал на лошади, снисходительно предоставляя зрителям любоваться его изяществом. Молодой граф был очень богат и считал, что ему все дозволено,

[86] Примечания: 86

Улисс, или Одиссей. В поэме «Одиссея» рассказывается, как спутники героя, попав на остров волшебницы Цирцеи, были обращены ею в свиней.

но так как его prepotenze[87] навлекли на него вражду, он всегда появлялся со свитой из восьми-десяти одетых в ливрею buli (головорезов), выписанных им из его поместий в окрестностях Брешии. Однажды, когда Фабрицио случилось услышать Фаусту, взгляд его раза два скрестился с грозным взглядом графа. Фабрицио поразила ангельская нежность голоса знаменитой певицы — ничего подобного он даже вообразить не мог; ей он обязан был минутами высокого счастья, представлявшими чудесный контраст с будничным однообразием его тогдашней жизни.

«Неужели это любовь?» — подумал он. Стремясь любопытства ради изведать это чувство, а также желая подразнить графа М***, пугавшего всех физиономией более грозной, чем у любого тамбур-мажора, наш герой стал из мальчишеского озорства очень часто прогуливаться перед дворцом Танари, который граф снял для Фаусты.

Однажды вечером, когда Фабрицио проходил мимо дворца Танари, стараясь, чтобы Фауста его заметила, он услышал нарочито громкий хохот, которым встретили его графские buli, собравшиеся у ворот. Он помчался домой, захватил хорошее

---

[87] Примечания: 87
Наглые замашки (*итал.*).

оружие и еще раз прошелся перед дворцом. Фауста поджидала его, спрятавшись за решетчатом ставнем, и оценила эту смелость. Граф М***, ревновавший Фаусту ко всем на свете, больше всего стал ревновать к г-ну Джузеппе Босси и в ярости разразился нелепыми угрозами; после этого наш герой стал каждое утро посылать ему записочки следующего содержания:

> «Г-н Джузеппе Босси уничтожает докучливых насекомых, живет в гостинице „Пилигрим“, виа Ларга, № 79».

Граф М***, привыкший к почтению, которым он обязан был своему огромному богатству, своей «голубой крови» и храбрости тридцати своих слуг, не пожелал понять смысл этих писем.

Совсем иные записочки Фабрицио посылал Фаусте. Граф М*** окружил шпионами соперника, который, возможно, не был отвергнут; прежде всего он узнал его настоящее имя, а затем и то обстоятельство, что Фабрицио нельзя показываться в Парме. Несколько дней спустя граф М***, его buli, его великолепные лошади и Фауста отправились в Парму.

Фабрицио, увлекшись игрой, последовал за ними на другой же день. Напрасно добрый Ло-

довико патетически увещевал его: Фабрицио послал непрошенного наставника ко всем чертям, и Лодовико, сам человек весьма отважный, почувствовал к нему уважение; к тому же это путешествие сулило ему встречу с красивой его любовницей, проживавшей в Казаль-Маджоре. Благодаря усердию Лодовико к г-ну Джузеппе Босси поступили в качестве слуг восемь или десять бывших солдат наполеоновских полков. Решившись на безумную затею последовать за Фаустой, Фабрицио думал так: «Лишь бы не иметь никаких сношений с министром полиции, графом Моска, и с герцогиней, — тогда опасность будет грозить только мне одному. А впоследствии я скажу Джине, что отправился на поиски любви, — ведь я никогда еще не встречал этого прекрасного чувства. Право, я ведь постоянно думаю о Фаусте, даже когда не вижу ее… Но что же я люблю? Ее самое или воспоминание о ее голосе?»

Оставив все помыслы о церковной карьере, Фабрицио отрастил себе усы и огромные бакенбарды, почти столь же грозные, как у графа М***, и это несколько изменило его наружность. Штаб-квартиру он устроил не в Парме, что было бы уж слишком безрассудно, а в одной из окрестных деревень, приютившейся в лесу, у дороги в

Сакка, где была усадьба его тетушки. По совету Лодовико, он назвался в деревне камердинером знатного и богатого англичанина, большого чудака и страстного любителя охоты, тратившего на нее сто тысяч франков в год, и говорил, что его хозяин скоро приедет с озера Комо, где он задержался, чтобы половить форелей. К счастью, небольшой красивый дворец, который граф М*** снял для Фаусты, находился на южной окраине города, как раз у дороги в Сакка, и окна Фаусты выходили на ту прекрасную аллею густых деревьев, что тянется мимо высокой башни крепости. Фабрицио совсем не знали в этом пустынном квартале; он установил наблюдение за графом М*** и однажды, когда тот вышел от прелестной дивы, дерзко появился на ее улице среди бела дня, — правда, он приехал верхом на быстроногом скакуне и был хорошо вооружен. Немедленно под окнами Фаусты расположились со своими контрабасами бродячие музыканты, а среди них в Италии попадаются настоящие артисты; они сыграли прелюдию, а затем очень недурно спели кантату в честь красавицы. У окна показалась Фауста и, конечно, без труда заметила весьма учтивого молодого человека, красовавшегося на коне посреди улицы; он сначала ей поклонился, а

затем стал бросать на нее весьма красноречивые взгляды. Несмотря на сверханглийский костюм Фабрицио, она очень скоро узнала автора пылких писем, явившихся причиной ее отъезда из Болоньи. «Вот удивительный человек! — подумала она. — Кажется, я влюблюсь в него. У меня есть сто луидоров, отчего бы мне не бросить этого ужасного графа М***? Ну что в нем хорошего? Ни остроумия, ни оригинальности, только и забавного, что свирепые физиономии его слуг».

На другой день Фабрицио узнал, что каждое утро в одиннадцать часов Фауста бывает у обедни в центре города, в той самой церкви Сан-Джованни, где находится гробница его предка, архиепископа Асканьо дель Донго, и он осмелился появиться там. Правда, Лодовико раздобыл ему великолепный парик прекрасного рыжего цвета, как шевелюра англичанина. Фабрицио написал сонет, где уподобил огненную окраску этих волос пламени, сжигавшему его сердце. Фаусте очень понравился этот сонет, который чья-то благодетельная рука положила на ее фортепиано. Мирная осада длилась с неделю, но Фабрицио видел, что, вопреки всевозможным его маневрам, он не достиг существенных успехов: Фауста отказывалась принять его. Он не знал меры в своих

чудачествах. Фауста впоследствии говорила, что она боялась его. Фабрицио удерживала в Парме лишь слабая надежда изведать, что же называют любовью, но он зачастую скучал.

— Сударь, уедемте, — твердил ему Лодовико. — Честное слово, вы совсем не влюблены, я вижу в вас избыток ужасающего хладнокровия и здравого смысла!.. И к тому же вы ничего не достигли. Из одного уж стыда надо бежать!

В порыве досады Фабрицио совсем было собрался уехать, но вдруг узнал, что Фауста будет петь у герцогини Сансеверина. «Может быть, этот дивный голос все-таки воспламенит мое сердце», — подумал он и смело пробрался, переодетый, в этот дворец, где все так хорошо его знали. Судите сами, как взволновалась герцогиня, когда под конец концерта у двери большой гостиной появился человек, одетый, как выездной лакей, — в его осанке было что-то знакомое ей. Она разыскала графа Моска, и только тогда он рассказал ей о неслыханном, поистине безрассудном поступке Фабрицио. Граф относился к этому сумасбродству весьма благосклонно. Он радовался, что Фабрицио любит не герцогиню, а другую женщину; но за пределами политики граф был человеком вполне порядочным и всегда

руководствовался правилом, что счастье герцогини — его счастье.

— Я спасу Фабрицио от него самого, — сказал он своей подруге. — Подумайте, как будут торжествовать наши враги, если его арестуют у вас в доме. Поэтому со мной здесь больше ста моих людей, и я недаром попросил у вас ключ от водонапорной башни. Фабрицио вообразил, что он безумно влюблен в Фаусту, но до сих пор никак не может отбить ее у графа М***, окружившего эту причудницу королевской роскошью.

Герцогиня слушала молча, но не могла скрыть своей глубокой скорби. Стало быть, Фабрицио пустой ветрогон, неспособный на глубокое, нежное чувство.

— И он не пожелал повидаться с нами! Этого я никогда ему не прощу! — сказала она, наконец. — А я-то всякий день пишу ему в Болонью!

— Напротив, я вполне понимаю его скрытность, — возразил граф. — Он не хочет скомпрометировать нас своей выходкой. Любопытно будет послушать потом его рассказы обо всей этой истории.

Сумасбродка Фауста не умела таить про себя то, что ее занимало. На следующий день после концерта, на котором все свои арии она взгля-

дом посвящала высокому молодому человеку в лакейской ливрее, она рассказала графу М*** о незнакомом поклоннике.

— Где вы его видите? — свирепым тоном спросил граф.

— На улицах, в церкви, — ответила Фауста, растерявшись.

Тотчас же она спохватилась и, чтобы исправить свою оплошность или хотя бы отвлечь подозрения от Фабрицио, пустилась в бесконечные описания какого-то рыжеволосого молодого человека с голубыми глазами. Это, несомненно, англичанин очень богатый и очень неловкий, а может быть, какой-нибудь принц. При слове «принц» графу, не блиставшему сообразительностью, пришла на ум мысль, весьма приятная для тщеславия, что его соперник не кто иной, как наследный принц Пармский. Этот несчастный меланхолический юноша, опекаемый пятью-шестью гувернерами, помощниками гувернеров, наставниками и прочими стражами, державшими совет между собой, прежде чем позволить ему выйти на прогулку, бросал странные взгляды на всех сколько-нибудь миловидных женщин, к которым ему разрешалось приближаться. На концерте у герцогини он, сообразно своему рангу,

сидел в кресле впереди всех, в трех шагах от красавицы Фаусты, и взгляды, которые он устремлял на нее, крайне возмущали графа М***. Смешная фантазия этого тщеславного глупца, считавшего своим соперником наследного принца, очень позабавила Фаусту, и она с удовольствием подтвердила эту догадку, сообщив с простодушным видом множество подробностей.

— Значит, этот молодой человек принадлежит к роду Фарнезе? — спросила она. — А ваш род такой же древний?

— Что вы это говорите?! Такой же древний!.. У нас не было незаконнорожденных[88].

По воле случая графу М*** ни разу не доводилось разглядеть как следует своего мнимого соперника, и он утвердился в лестной для себя мысли, что его противник именно принц. В самом деле, когда стратегия ухаживания не призывала Фабрицио в Парму, он проводил время в лесах близ Сакка и на берегах По. Граф М*** с того дня, как он вообразил, что оспаривает сердце Фаусты у принца крови, еще более возгордился, но вместе с тем стал еще осторожнее; он весьма настой-

[88] Примечания: 88

Пьетро-Лодовико, первый герцог из рода Фарнезе, прославившийся своими добродетелями, был, как известно, побочный сын святейшего папы Павла III (*прим. авт.*).

чиво попросил Фаусту вести себя с величайшей сдержанностью. Как полагается страстному и ревнивому любовнику, он упал перед ней на колени и напрямик заявил, что честь его будет поругана, если Фауста станет жертвой юного соблазнителя — принца.

— Позвольте! Почему «жертвой»? А если я сама его полюблю? Я еще никогда не видела ни одного принца у своих ног.

— Если вы уступите его домогательствам, — возразил он с надменным видом, — я, может быть, не в состоянии буду отомстить принцу, но вам отомщу несомненно.

И он вышел, изо всей силы хлопнув дверью. Будь здесь в эту минуту Фабрицио, он оказался бы победителем.

— Если вы дорожите жизнью, — сказал граф М*** вечером, проводив Фаусту после спектакля, — остерегайтесь, как бы я не узнал когда-нибудь, что принц проник в ваш дом. Я ничего не могу сделать против него, черт бы его побрал! Но не заставляйте меня вспомнить, что с вами я могу сделать все!

«Ах, милый мой Фабрицио! — мысленно воскликнула Фауста. — Если б я только знала, где тебя найти!..»

Уязвленное тщеславие может очень далеко завести молодого богача, с самой колыбели окруженного льстецами. Вполне искренняя страсть графа М*** к Фаусте разгорелась с неистовой силой; его не останавливала даже опасность борьбы с единственным сыном монарха, во владениях которого он находился, но у него не хватило сообразительности постараться увидеть принца или хотя бы выследить его через своих соглядатаев. Не дерзая напасть на, него, он решил поднять его на смех. «Меня навсегда изгонят за это из Пармы, — говорил он себе. — Пусть! Все равно!» Если бы граф М*** постарался разведать позиции противника, он узнал бы, что бедняга принц выходил из дворца только в сопровождении трех-четырех стариков, унылых блюстителей этикета, а единственным дозволенным ему удовольствием, отвечавшим его вкусам, были занятия минералогией. Днем и ночью маленький дворец Фаусты, где всегда теснилось лучшее пармское общество, был окружен наблюдателями. Графу М*** час за часом доносили, что она делала и, главное, что делалось вокруг нее. Надо отдать должное ловкости, которую ревнивец проявлял в этих предосторожностях: первое время строптивая Фауста совершенно не замечала, что надзор за

ней усилился. Из донесений шпионов граф М*** знал, что под окнами Фаусты очень часто видят какого-то молодого человека в рыжем парике и всегда по-разному одетого. «Несомненно, это принц, — думал М***, — иначе зачем эти переодеванья? Но, черт побери, такой человек, как я, не может ему уступить. Если б Венецианская республика не узурпировала мои права, я тоже был бы наследным принцем!»

В день св. Стефана донесения шпионов приняли более мрачный оттенок: Фауста как будто начала благосклонно отвечать на ухаживания незнакомца. «Я могу тотчас же уехать с этой женщиной! — думал М***. — Но как же, право!.. Из Болоньи я бежал от дель Донго, а отсюда убегу от принца?.. Что скажет этот молодой человек? Он, пожалуй, подумает, что я струсил!.. Ну нет, шалишь! Я такого же знатного рода, как и он!..»

М*** неистовствовал, но в довершение бед должен был таить свою ревность, больше всего боясь попасть на зубок насмешнице Фаусте. Итак, в день св. Стефана, проведя час в ее обществе и сочтя ее приветливый прием величайшим лицемерием, он простился с нею около одиннадцати часов утра, когда она стала одеваться, чтобы ехать к обедне в церковь Сан-Джованни.

Граф М*** вернулся к себе, переоделся в черное поношенное платье студента-богослова и побежал в ту же церковь. Он выбрал себе место за одной из гробниц, украшающих третью часовню в правом приделе; из-под, руки каменного кардинала, преклонившего колена на своей гробнице, он наблюдал за всем, что происходит в церкви; статуя эта, не пропускавшая света в часовню, служила ему хорошим прикрытием. Вскоре он увидел, как вошла Фауста, и никогда еще она не была так хороша; она явилась в пышном наряде, со свитой из двух десятков поклонников, принадлежавших к самому высшему обществу. Глаза ее радостно блестели, на губах блуждала улыбка. «Несомненно, она рассчитывает встретиться здесь с возлюбленным, — думал несчастный ревнивец, — из-за меня она, может быть, давно его не видела». Вдруг взор Фаусты заснял счастьем. «Мой соперник здесь, — подумал М***, и ярость его уязвленного тщеславия уже не знала границ. — Какую жалкую фигуру должен я представлять в паре с переодетым принцем!» Но как он ни старался, все не мог обнаружить соперника, хотя взглядом жадно искал его повсюду.

А Фауста, поминутно обводя глазами всю церковь, устремляла взгляд, исполненный любви

и счастья, в тот темный угол, где прятался М***. В сердце, пылающем страстью, любовь склонна преувеличивать самые легкие намеки и делать из них самые нелепые выводы; бедняга М*** в конце концов убедил себя, что Фауста увидела его и, заметив, вопреки всем его стараниям, как он мучится убийственной ревностью, хотела нежными взглядами утешить его и вместе с тем упрекнуть.

Гробница кардинала, за которой М*** стоял на своем наблюдательном посту, возвышалась на четыре-пять футов над мраморным полом церкви Сан-Джованни. Модная месса кончилась к часу дня, богомольцы разошлись, но Фауста, отослав великосветских франтов, осталась, якобы желая помолиться; преклонив колени возле своей скамьи, она устремила на М*** еще более нежный, горящий взор; народу было теперь очень мало, и Фауста уже не оглядывала, для приличия, всю церковь, а с выражением счастья, не отрываясь, смотрела на статую кардинала. «Какая деликатность!» — думал граф, воображая, что она глядит на него. Наконец, Фауста встала и, сделав двумя руками какие-то странные знаки, стремительно вышла.

М***, опьянев от любви и почти совсем отбросив

свою безумную ревность, покинул наблюдательный пост, намереваясь помчаться во дворец любовницы и излить перед ней свою благодарность; но вдруг, обогнув гробницу кардинала, он заметил какого-то молодого человека в черной одежде; этот злодей стоял на коленях у самой эпитафии гробницы, и поэтому взгляды ревнивого графа устремлялись поверх головы соперника, тщетно разыскивая его.

Молодой человек поднялся, торопливо направился к выходу, и тотчас же его окружили семь-восемь мужланов довольно странного вида, — должно быть, его слуги. М*** бросился за ними по пятам, но у дверей, в деревянном тамбуре, его как бы невзначай задержали увальни, охранявшие его соперника; когда же он выбрался вслед за ними на улицу, то увидел лишь, как захлопнулась дверца довольно неказистой кареты, запряженной, однако, парой великолепных лошадей, которые мигом умчали ее.

Задыхаясь от ярости, М*** возвратился домой; вскоре явились его шпионы и хладнокровно доложили ему, что в этот день таинственный вздыхатель, переодетый священником, весьма благочестиво стоял на коленях возле самой гробницы у входа в темную часовню церкви Сан-

Джованни. Фауста оставалась до тех пор, пока церковь почти не опустела; уходя же, быстро обменялась с незнакомцем какими-то странными знаками: обеими руками она как будто делала кресты. М*** бросился к неверной. Она впервые не могла скрыть своего смущения и с неловкой лживостью страстно влюбленной женщины стала уверять, что, как обычно, была в церкви Сан-Джованни, но вовсе не заметила там преследующего ее вздыхателя. М*** вышел из себя, обозвал ее самой последней тварью и рассказал все, что видел собственными своими глазами; чем больше он горячился, обвиняя ее, тем смелее Фауста лгала, и он, наконец, выхватив кинжал, бросился на нее. Но она весьма бесстрашно сказала:

— Ну, хорошо. Все ваши упреки — чистая правда. Но я пыталась утаить ее от вас, боясь, как бы ваша безрассудная отвага не внушила вам замыслы мести, которые погубят нас обоих. Запомните раз навсегда, что человек, преследующий меня своим вниманием, думается мне, не знает преград своей воле, по крайней мере в этой стране.

Затем Фауста очень тонко намекнула графу, что в конце концов он не имеет никаких прав на нее, и в заключение добавила, что, вероятно, она

больше не будет ходить в церковь Сан-Джованни. М*** был влюблен безумно, он почувствовал себя безоружным, — ведь в сердце молодой женщины кокетство может сочетаться с благоразумием. Он думал было уехать из Пармы; молодой принц при всем своем могуществе не может последовать за ними, а если последует, то окажется в равных с ним условиях. Но гордость вновь подсказала ему, что этот отъезд будет похож на бегство, и М*** запретил себе помышлять о нем.

«Он даже не подозревает, что милый мой Фабрицио в Парме, — с восторгом думала певица, — и теперь мы можем преспокойно надувать его!»

Фабрицио не догадывался о своей удаче; обнаружив на другой день, что все окна Фаусты наглухо заперты, и не видя нигде ее самое, он решил, что шутка слишком затянулась. У него появились угрызения совести. «В какое положение я ставлю графа Моска?! Ведь он министр полиции. Его сочтут моим сообщником! Мой приезд сюда, пожалуй, загубит всю его карьеру! Но если отказаться от осады, которую я веду так долго, что скажет мне герцогиня, когда я стану описывать ей свои поиски любви?»

Он уже готов был бросить игру и однажды вечером, бродя под тенистыми деревьями, от-

делявшими дворец Фаусты от крепости, читал себе нравоучения, как вдруг заметил, что за ним следом идет какой-то низенький человечек, несомненно шпион. Желая избавиться от него, Фабрицио прошел несколько улиц, но крошечный человечек шел за ним, как на привязи. Фабрицио, потеряв терпение, побежал на пустынную улицу, тянувшуюся вдоль берега Пармы, — там были спрятаны в засаде его люди; по знаку хозяина они выскочили и схватили бедного маленького шпиона; он бросился перед ними на колени: это была Беттина, горничная Фаусты; проведя три дня в скучном затворничестве, она переоделась в мужское платье, чтобы избежать кинжала ревнивого графа, которого она и ее госпожа очень боялись, и отправилась на розыски Фабрицио с поручением передать ему, что Фауста любит его страстно и горит желанием увидаться с ним, но в церкви Сан-Джованни больше не может бывать. «Наконец-то! — подумал Фабрицио. — Да здравствует настойчивость!»

Молоденькая горничная была очень мила, и это отвлекло Фабрицио от высоконравственных размышлений. Она сообщила ему, что бульвар и все улицы, по которым он бродил в тот вечер, тщательно и незаметно для прохожих охраняют-

ся шпионами графа М***. Они сняли комнаты в первых этажах или в бельэтаже и, притаившись за решетчатыми ставнями, в полном молчании наблюдают за всем, что происходит на безлюдной по виду улице, и подслушивают все, что на ней говорится.

— Если шпионы узнают мой голос, — сказала юная Беттина, — меня заколют тотчас же, как я вернусь во дворец, а может быть, такая же участь постигнет и бедную мою госпожу.

Нависшая над нею опасность придала ей очарования в глазах Фабрицио.

— Граф М*** в бешенстве, — продолжала она, — и синьора Фауста знает, что он на все способен… Она велела мне передать вам, что хотела бы бежать с вами за тридевять земель!..

И тут Беттина рассказала о сцене, происшедшей в день св. Стефана, о ярости М***, ибо он видел все взгляды и знаки, которые посылала Фабрицио неосторожная Фауста, без ума в него влюбленная в тот день. Граф схватил ее за волосы, хотел заколоть кинжалом, и, не сохрани Фауста присутствия духа, она погибла бы.

Фабрицио привел миловидную Беттину в маленькую квартиру, которую снимал неподалеку. Он рассказал, что он сын туринского вельможи,

что отец его сейчас находится в Парме, а потому ему приходится соблюдать большую осторожность. Беттина засмеялась и возразила, что он — особа поважнее, чем говорит. Наш герой далеко не сразу понял, что прелестная горничная считает его не кем иным, как самим наследным принцем. Фауста уже начинала любить Фабрицио и боялась за него, — она решила не называть своей камеристке его имени, а толковала ей о принце. Фабрицио в конце концов сказал красотке, что она угадала истину.

— Но, если узнают, кто я, — добавил он, — то, невзирая на великую мою страсть, которой я дал столько доказательств, — мне больше нельзя будет видеться с твоей госпожой, а министры моего отца — злобные мерзавцы, которых я когда-нибудь прогоню, — пришлют синьоре Фаусте приказ покинуть страну, хотя она так украсила ее своим присутствием.

Под утро Фабрицио и молоденькая камеристка придумали несколько планов для его свидания с Фаустой; он приказал позвать Лодовико и другого очень ловкого своего телохранителя и, пока те договаривались с Беттиной, написал Фаусте совершенно безумное письмо: положение допускало трагические преувеличения, и Фабрицио,

конечно, воспользовался этим. Лишь на рассвете он расстался с маленькой камеристкой, весьма довольной обхождением молодого принца.

Было твердо решено, что теперь, когда Фауста обо всем условилась со своим возлюбленным, он появится под ее окнами лишь в том случае, если она будет иметь возможность его принять и сигналом даст ему знать об этом. Но Фабрицио, влюбленный в Беттину и уверенный в близкой развязке своего романа с Фаустой, не мог усидеть в деревне, в двух лье от Пармы. На другой же день, около полуночи, он приехал верхом с надежной свитой, для того чтобы пропеть под окнами Фаусты модную в то время арию, немного изменив ее слова. «Кажется, так полагается поступать влюбленным», — думал он.

С той минуты, как Фауста изъявила согласие на свидание, вся эта история стала казаться Фабрицио слишком долгой. «Нет, я вовсе не влюблен», — думал он, довольно плохо распевая арию под окном Фаусты. — «Беттина, по-моему, во сто раз милее, и мне сейчас больше хочется, чтобы приняла меня она, а не Фауста». Фабрицио стало скучно, и он поехал обратно в свою деревню, но вдруг, шагах в пятистах от дворца Фаусты, откуда-то выскочило человек пятнадцать — два-

дцать; четверо взяли под уздцы его лошадь, двое схватили его за руки. На Лодовико и на телохранителей Фабрицио тоже напали, но они успели удрать, несколько раз выстрелив из пистолетов. Все произошло в одно мгновенье. И сразу же, как по волшебству, на улице появилось пятьдесят человек с зажженными факелами. Все они были хорошо вооружены. Фабрицио спрыгнул с лошади, хотя его крепко держали, и попытался вырваться; он даже ранил одного из напавших, который сжимал ему руки, точно клещами; к его крайнему удивлению, человек этот весьма почтительно сказал ему:

— Ваше высочество, вы, конечно, назначите мне хорошую пенсию за эту рану. Это куда лучше для меня, чем совершить государственное преступление, обнажив шпагу против наследника престола.

«Вот справедливое наказание за мою глупость, — подумал Фабрицио, — зачем я полез в пекло ради греха, который вовсе не был мне приятен?»

Едва закончилась эта легкая стычка, появилось несколько слуг в парадных ливреях, притащивших раззолоченный и аляповато расписанный портшез — в таких нелепых портшезах носят

по улицам ряженых во время карнавала. Шесть человек, каждый с кинжалом в руке, попросили «его высочество» сесть в портшез, заявив, что ночная прохлада может повредить его голосу; изъяснялись они в самой почтительной форме и ежеминутно повторяли, почти выкрикивали слово «принц». Шествие тронулось. Фабрицио насчитал на улице более пятидесяти факельщиков. Было около часу ночи. В домах все бросились к окнам; процессия имела довольно торжественный вид.

«А я-то боялся, что граф М*** пустит в ход кинжалы, — думал Фабрицио. — Он же ограничился тем, что высмеял меня. Никак не думал, что в нем столько тонкости. Но ведь он вообразил, будто имеет дело с принцем. А если узнает, что я только Фабрицио дель Донго, — не миновать мне ударов стилета!»

Пятьдесят факелоносцев и двадцать вооруженных buli довольно долго простояли под окнами Фаусты, а затем двинулись парадным шествием по городу, останавливаясь перед самыми красивыми дворцами. Мажордомы, шагавшие по обе стороны портшеза, время от времени громогласно спрашивали, не угодно ли его высочеству дать какое-либо приказание. Фабрицио отнюдь

не потерял головы; при свете факелов он заметил, что Лодовико со своими людьми следует за процессией. Фабрицио думал: «У Лодовико только восемь или десять человек, он пока не решается напасть». Выглядывая из портшеза, Фабрицио видел, что исполнители скверного фарса вооружены до зубов. Он с деланной шутливостью отвечал мажордомам, приставленным к нему «для услуг». Триумфальное шествие длилось уже больше двух часов, и Фабрицио заметил, что оно поворачивает к той улице, где находится дворец Сансеверина. Когда подошли к углу этой улицы, Фабрицио распахнул дверцу, устроенную в портшезе спереди, перепрыгнул через рукоятку, свалил ударом кинжала одного из скороходов, осветившего его факелом, и сам получил в плечо удар кинжалом; второй скороход опалил ему факелом бороду, но он уже добежал до Лодовико и крикнул:

— Бей их! Бей всякого, кто с факелом!

Лодовико, орудуя шпагой, освобождает его от двух упорных преследователей. Фабрицио подбегает к дворцу Сансеверина, любопытный швейцар, открыв дверцу высотою в три фута, проделанную в большой двери, смотрит из нее, дивясь множеству факелов. Фабрицио вскаки-

вает в эту миниатюрную дверцу, запирает ее изнутри, мчится в сад и выбегает через калитку на пустынную улицу. Через час он уже был за городом, на другой день перешел границу герцогства Моденского и очутился в безопасности. Вечером он приехал в Болонью.

«Вот так приключение! — думал он. — Мне не удалось даже поговорить с моей красавицей!»

Он поспешил написать графу и герцогине письма с извинениями — очень осторожные письма, которые говорили лишь о том, что происходило в его сердце, и ничего не могли выдать врагам.

«Я был влюблен в любовь, — писал он герцогине, — и уж как я пытался изведать ее! Но, очевидно, природа отказала мне в способности любить и предаваться грусти. Я не могу подняться выше вульгарного наслаждения» и так далее.

Нельзя и вообразить себе, сколько шуму наделало в Парме это приключение. Тайна возбуждала любопытство. Множество людей видело факелы и портшез. Но кого похитили? Кому выказывали такую подчеркнутую почтительность? Наутро все важные особы города были налицо!

Мелкий люд, проживавший на той улице, по которой убежал пленник, утверждали, что кто-то видел на ней труп; но когда уже совсем рассвело

и горожане осмелились выйти из дому, единственными следами сражения были обильные пятна крови, обагрявшей мостовую. Днем на этой улице побывало больше двадцати тысяч любопытных. Итальянские города привыкли к диковинным зрелищам, но они всегда знают, «что и как произошло», а в данном случае Парму возмущало то, что даже месяц спустя, когда прогулка с факелами перестала быть единственным предметом толков, никто благодаря осторожности графа Моска не мог угадать имени соперника графа М***, желавшего отбить у него Фаусту. А сам ревнивый и мстительный любовник бежал из города в самом начале прогулки. Фаусту, по приказу графа Моска, заключили в крепость. Герцогиня немало смеялась над этой маленькой несправедливостью, к которой вынужден был прибегнуть граф, чтобы пресечь любопытство принца, — иначе в конце концов всплыло бы имя Фабрицио.

В Парме появился какой-то ученый, приехавший с севера писать историю средневековья; он разыскивал в библиотеках старинные рукописи, и граф выдал ему для этого все необходимые разрешения. Но этот ученый, человек очень еще молодой, отличался большой раздражительно-

стью; он воображал, например, что в Парме все смеются над ним. Правда, уличные мальчишки иной раз бегали за ним, дивясь его длиннейшей ярко-рыжей гриве, горделиво отпущенной до плеч. Ученый этот считал также, что в гостинице с него за все запрашивают втридорога и, расплачиваясь за какую-либо безделицу, он всегда справлялся о ее цене в «Путешествии госпожи Старк»[89], вышедшем двадцатым изданием, так как благоразумные англичане узнают из этой книги цену индейки, яблока, стакана молока и т. д.

В тот самый день, когда Фабрицио против воли совершил прогулку в портшезе, историк с рыжей гривой за ужином в своей гостинице яростно разгневался на «камерьере», заломившего с него два су за довольно плохой персик, и выхватил два маленьких карманных пистолета. Его арестовали: носить при себе даже маленькие пистолеты — большое преступление.

Гневливый ученый был долговяз и худ, и вот на следующее утро графу Моска пришла идея расписать его в глазах принца как того самого

---

[89] Примечания: 89

Описание путешествий г-жи Старк — книга английской путешественницы Марианны Старк «Письма из Италии за время от 1792 до 1798 г.».

смельчака, который вознамерился отбить Фаусту у графа М*** и за это стал жертвой мистификации. Ношение карманных пистолетов карается в Парме тремя годами каторги, но эта кара никогда не применяется. Две недели ученый провел в тюрьме, куда допускали к нему только адвоката, страшно запугавшего его жестокими законами, которыми трусость власть имущих борется против тайного ношения оружия, а затем явился к нему второй адвокат и рассказал о прогулке, к которой граф М*** принудил своего неизвестного соперника. Полиция не хотела признаться принцу, что она бессильна раскрыть имя этого соперника.

— Сознайтесь, что вы ухаживали за Фаустой, что пятьдесят разбойников похитили вас, когда вы пели романс под ее окном, и больше часа носили вас по городу в портшезе, но обращались с вами весьма учтиво. В таком признании нет ничего для вас унизительного. Скажите только слово. Сказав его, вы выведете полицию из затруднительного положения, и вас немедленно посадят в почтовую карету, довезут до границы и пожелают вам счастливого пути.

Ученый противился целый месяц; два-три раза принц хотел было приказать доставить его в

министерство внутренних дел и лично присутствовать при допросе. Когда принц перестал и думать о нем, историк, соскучившись в тюрьме, решил во всем «признаться», после чего и был отвезен на границу, а принц сохранил твердое убеждение, что у соперника графа М*** на голове целая копна рыжих волос.

Фабрицио, укрывшийся в Болонье вместе с верным Лодовико, пустил в ход все способы разыскать графа М***, и через три дня после своей нашумевшей прогулки узнал, что он тоже прячется в горной деревне близ дороги во Флоренцию и что при нем находятся только трое из его buli. На следующий же день, когда граф возвращался с прогулки, его схватили восемь всадников в масках, назвавшие себя сбирами[90] пармской полиции. Ему завязали глаза, отвезли его дальше на два лье в горы, доставили в гостиницу, где он нашел самый почтительный прием и весьма обильный ужин. За столом ему подавали лучшие итальянские и испанские вина.

— Я задержан как государственный преступник? — спросил граф.

— Вовсе нет, — очень вежливо ответил Лодови-

---

[90] Примечания: 90
Сбир — полицейский, сыщик.

ко, не снимая маски. — Вы оскорбили простого смертного, заставив его через своих наемников совершить прогулку в портшезе. Он желает завтра утром драться с вами на дуэли. Если вы убьете его, в вашем распоряжении будут две быстрые лошади, деньги и подстава, приготовленная на дороге в Геную.

— А как фамилия этого забияки? — спросил разгневанный граф.

— Его фамилия Бомбаче. Выбор оружия предоставляется вам. Свидетелями поединка будут хорошие, вполне честные люди; но вы или ваш противник должны умереть.

— Да ведь это убийство! — испуганно воскликнул граф М***.

— Боже сохрани! Это только поединок не на жизнь, а на смерть с тем самым молодым человеком, которого вы заставили прогуляться ночью по улицам Пармы. Он будет обесчещен до конца своих дней, если вы останетесь в живых. Один из вас лишний на земле, поэтому постарайтесь убить его. У вас будут шпаги, пистолеты, сабли — словом, всякое оружие, какое удалось раздобыть за несколько часов, — ведь надо спешить: в Болонье полиция очень проворна, в чем вы, вероятно, убедились. Нельзя допустить, чтобы

она успела помешать дуэли, необходимой для чести молодого человека, которого вы обратили в посмешище.

— Но ведь этот молодой человек — наследный принц?..

— Он простой смертный, как и вы, и даже далеко не так богат, как вы, но он требует поединка не на жизнь, а на смерть и заставит вас драться, — помните это.

— Я ничего на свете не боюсь! — воскликнул граф М***.

— Прекрасно. Ваш противник будет этому очень рад, — ответил Лодовико. — Будьте готовы завтра ранним утром защищать свою жизнь от человека, имеющего полное основание гневаться на вас, — он не даст вам пощады. Повторяю: выбор оружия предоставляется вам. Напишите завещание.

Около шести часов утра графу М*** подали завтрак, затем отперли дверь комнаты, в которой его стерегли, и предложили ему выйти во двор деревенской гостиницы, окруженный живой изгородью и довольно высоким забором; ворота были крепко-накрепко заперты.

В одном конце двора был поставлен стол; графу предложили подойти к нему, и там он увидел

несколько бутылок вина и водки, два пистолета, две шпаги, две сабли, бумагу и чернила; из окон гостиницы, выходивших во двор, смотрело человек двадцать крестьян.

Граф жалобно крикнул им:

— Спасите! Меня хотят убить! Спасите!

— Вы обманываетесь или же хотите обмануть людей! — отозвался Фабрицио, стоявший в другом конце двора, тоже возле стола с оружием. Он снял с себя фрак; лицо его было защищено проволочной маской, какие употребляются в фехтовальных залах.

— Прошу вас, — добавил Фабрицио, — надеть проволочную маску — она лежит возле вас на столе; а затем подойти ко мне ближе со шпагой или пистолетами. Выбор оружия, как уже было сказано вчера, предоставляется вам.

Граф М*** стал выдвигать бесконечные возражения и, видимо, совсем не склонен был драться. Фабрицио же опасался появления полиции, хотя они находились в горах и до Болоньи было не меньше пяти лье. Наконец, ему удалось самым жестоким оскорблением разозлить графа; тот схватил шпагу и двинулся на Фабрицио. Поединок начался довольно вяло.

Через несколько минут дуэль была прервана

страшным шумом. Герой наш прекрасно понимал, что эта затея может до конца его дней служить основанием для укоров или клеветнических обвинений. Он послал Лодовико в деревню собрать свидетелей. Лодовико дал денег пришлым дровосекам, работавшим в соседнем лесу. Они прибежали гурьбой, с громкими криками, вообразив, что человек, заплативший им, нанял их для расправы со своим врагом. Когда они явились в гостиницу, Лодовико попросил их смотреть во все глаза, не пользуется ли в поединке тот или другой противник, вероломными приемами и недозволенными преимуществами.

Дуэль, прерванная угрожающими воплями этих свидетелей, долго не возобновлялась. Фабрицио вновь задел самолюбие графа.

— Граф, — крикнул он, — наглецу следует быть храбрым. Я понимаю, что вам это трудно, вы предпочитаете действовать через наемных храбрецов.

Граф опять оскорбился и принялся кричать, что он долго посещал в Неаполе фехтовальный зал знаменитого Баттистини и сумеет наказать Фабрицио за дерзость. Распалившись гневом, он, наконец, довольно решительно напал на противника, что не помешало Фабрицио нанести

ему шпагой весьма удачный удар в грудь, приковавший графа к постели на несколько месяцев. Лодовико, оказывая раненому первую помощь, сказал ему на ухо:

— Если донесете в полицию о поединке, я велю заколоть вас в постели.

Фабрицио бежал во Флоренцию; в Болонье он скрывался от всех и поэтому только во Флоренции получил укоризненные письма герцогини. Она не могла простить ему, что, проникнув в ее дом на концерт, он даже не попытался поговорить с нею. Фабрицио привели в восторг письма графа Моска, исполненные искренней дружбы и самых благородных чувств. Он догадался, что граф писал в Болонью, для того чтобы отстранить подозрения, которые могли пасть на него в связи с дуэлью. Полиция проявила удивительное беспристрастие: она констатировала, что два иностранца дрались на шпагах; известен только один из них — раненый (граф М***); поединок происходил на глазах более чем тридцати крестьян, среди которых к концу его оказался и деревенский священник, напрасно пытавшийся разнять дуэлянтов. Так как имя Джузеппе Босси не было упомянуто, Фабрицио через два месяца после дуэли осмелился вернуться в Болонью,

окончательно убежденный, что по воле судьбы он никогда не узнает любви глубокой и возвышенной. Он с удовольствием пространно изложил это герцогине. Долгое одиночество прискучило ему, он жаждал возвращения тех милых вечеров, которые проводил в беседах с графом и своей тетушкой. Расставшись с ними, он лишился и радостей дружеского общества.

«Мне столько доставила неприятностей попытка изведать любовь и вся история с Фаустой, — писал он герцогине, — что если б эта капризница все еще была ко мне благосклонна, я не сделал бы и двадцати лье, чтобы потребовать от нее исполнения обещанного; напрасно ты боишься, что я последую за нею в Париж, где она, говорят, дебютирует с бешеным успехом. Но я проехал бы сколько угодно лье, чтобы провести хоть один вечер с тобой и с графом, таким хорошим и добрым другом».

Часть Вторая

«Криками о республике нам хотят помешать пользоваться благами лучшей из монархий…»

«Пармская обитель», гл. 23

14

Пока Фабрицио занят был поисками любви в деревне около Пармы, главный фискал Расси, не подозревая об этом близком соседстве, продолжал вести следствие по его делу, так же как вел процессы либералов: он якобы не мог разыскать свидетелей защиты, а на самом деле запугал их, и, наконец, в результате почти годовой весьма искусной работы, месяца через два после возвращения Фабрицио в Болонью, как-то в пятницу маркиза Раверси, опьяненная радостью, публично заявила в своей гостиной, что час тому назад молодому дель Донго вынесли приговор, который завтра будет представлен принцу для подписи и утверждения. Несколько минут спустя герцогине уже стали известны слова ее недруга.

«Очевидно, графу очень плохо служат его агенты, — подумала она. — Еще сегодня утром он утверждал, что приговор будет вынесен не раньше, чем через неделю. Может быть, он не прочь держать подальше от Пармы моего милого главного викария? Но, — добавила она, напевая, — он еще вернется к нам и когда-нибудь будет нашим архиепископом».

Герцогиня позвонила.

— Соберите в приемной всех слуг, даже поваров, — сказала она камердинеру. — Сходите к коменданту города, получите разрешение нанять четверку почтовых лошадей и смотрите, чтобы через полчаса эти лошади были запряжены в мое ландо.

Все горничные принялись укладывать сундуки и баулы, а герцогиня поспешно переоделась в дорожное платье, но ни о чем не известила графа: мысль немного посмеяться над ним переполняла ее радостью.

— Друзья мои, — сказала она собравшимся слугам, — я узнала, что бедный мой племянник скоро будет заочно осужден за то, что имел смелость защищать свою жизнь от бесноватого: Джилетти хотел убить его. Вы все знаете, что у Фабрицио на редкость мягкий и спокойный нрав. Я справедливо возмущена таким жестоким оскорблением — и уезжаю во Флоренцию. Каждый из вас будет по-прежнему получать жалованье в течение десяти лет. Если вы окажетесь в нужде, напишите мне. До тех пор, пока у меня будет хоть один цехин, я поделюсь с вами.

Герцогиня говорила то, что действительно думала, и при последних ее словах слуги залились

слезами; у нее самой глаза были влажны; она добавила взволнованным тоном:

— Молитесь богу за меня и за монсиньора Фабрицио дель Донго, главного викария нашей епархии: завтра его приговорят к каторжным работам или же к смертной казни, — это все-таки менее глупо.

Плач усилился и мало-помалу перешел в мятежные крики; герцогиня села в карету и приказала везти себя во дворец принца. Несмотря на поздний час, она попросила аудиенцию через дежурного адъютанта, генерала Фонтана. Адъютант был глубоко поражен, увидев, что она явилась не в придворном наряде. Принц ожидал этой просьбы об аудиенции и не без удовольствия предвкушал ее.

«Сейчас увидим, как польются слезы из прекрасных глаз, — сказал он про себя, потирая руки. — Она явилась просить о помиловании. Наконец-то эта гордая красавица готова унизиться. Она была просто невыносима — всегда такой независимый вид! И при малейшей обиде ее выразительные глаза как будто говорили мне: „В Неаполе или Милане было бы куда приятнее жить, чем в вашей маленькой Парме“. Но вот, хотя я и не властитель Неаполя или Милана, а

пришлось, наконец, этой знатной даме просить меня о том, что зависит только от моей воли и чего она жаждет добиться. Я всегда думал, что с появлением у нас ее племянника мне удастся подрезать ей крылышки».

Улыбаясь от таких мыслей и строя приятные предположения, принц прохаживался по кабинету, а генерал Фонтана стоял у дверей навытяжку, точно солдат на смотру. Видя, как блестят у принца глаза и вспоминая о дорожном костюме герцогини, он решил, что рушится монархия. Изумление его стало беспредельным, когда принц сказал ему:

— Попросите герцогиню подождать четверть часа.

Генерал-адъютант круто сделал поворот, как солдат на параде. Принц опять улыбнулся.

«Для Фонтана непривычно, — подумал он, — что эта гордая особа должна ждать в приемной. Его удивленное лицо, когда он скажет: „Подождите четверть часа“, прекрасно подготовит переход к трогательным слезам, которые скоро польются в моем кабинете».

Эти четверть часа были отрадны для принца: он расхаживал по кабинету твердым и ровным шагом, он царствовал.

«Нельзя позволить себе ни одного сколько-нибудь неуместного слова. Каковы бы ни были мои чувства по отношению к герцогине, я должен помнить, что это одна из самых знатных дам моего двора. Интересно, как Людовик XIV говорил с принцессами, своими дочерьми, когда бывал недоволен ими?» И взгляд принца остановился на портрете великого короля.

Забавнее всего, что принц совсем не спрашивал себя, помилует ли он Фабрицио и в чем выразится это помилование. Наконец, минут через двадцать, преданный Фонтана снова появился у дверей, но не произнес ни слова.

— Герцогиня Сансеверина может войти! — крикнул принц театральным тоном.

«Сейчас начнутся слезы», — подумал принц и, словно готовясь к такому зрелищу, вынул из кармана носовой платок.

Никогда еще герцогиня не была так воздушна и так хороша, ей нельзя было дать и двадцати пяти лет. Видя, как она идет быстрой и легкой поступью, едва касаясь ковра, бедняга адъютант чуть не лишился рассудка.

— Очень прошу, ваше высочество, извинить меня, — весело сказала она нежным своим голосом, — я позволила себе явиться к вам в костюме,

не совсем подобающем для этого, но вы, ваше высочество, приучили меня к благосклонной вашей снисходительности, и я надеюсь, что вы и сейчас не откажете в ней.

Герцогиня проговорила это довольно медленно, желая насладиться упоительным зрелищем: лицо принца выразило величайшее удивление, а поворот головы и положение рук все еще были преисполнены важности. Принц стоял, словно громом пораженный, и время от времени испуганно выкрикивал фальцетом:

— Как? Как?

Герцогиня же, закончив свои извинения, помолчала, словно выжидая из почтительности, когда принц подыщет ответ, а затем добавила:

— Надеюсь, что вы, ваше высочество, соблаговолите простить мне мой неподобающий костюм.

Но когда она произносила эти слова, ее насмешливые глаза горели так ярко, что принц не мог выдержать их блеска и вперил взгляд в потолок, что было у него самым верным признаком крайнего смущения.

— Как? Как? — воскликнул он еще раз, а затем ему посчастливилось придумать следующую фразу:

— Садитесь же, герцогиня, прошу вас!

Он сам довольно любезно пододвинул для нее кресло; герцогиня не осталась равнодушной к такой учтивости и умерила огонь негодования в своих глазах.

— Как? Как? — повторил принц, беспокойно двигаясь в кресле, как будто проверяя его прочность.

— Я сейчас уезжаю. Хочу воспользоваться ночной прохладой для путешествия на почтовых, — заговорила герцогиня. — А так как мое отсутствие, вероятно, будет довольно длительным, я не хотела покинуть владения вашего высочества, не выразив признательности за то благоволение, которое вы выказывали мне в течение пяти лет.

Только тут принц, наконец, понял и побледнел: в целом мире не нашлось бы человека, который страдал бы сильнее его, когда обманывался в своем предвидении; затем он принял величественную позу, вполне достойную портрета Людовика XIV, висевшего у него перед глазами.

«В добрый час, — сказала про себя герцогиня. — Вспомнил, что он мужчина!»

— А что за причина вашего внезапного отъезда? — спросил принц довольно твердым тоном.

— У меня уже давно было такое намерение,

а ускорить отъезд заставило меня ничтожное оскорбление, нанесенное монсиньору дель Донго, которого завтра приговорят к смертной казни или к каторжным работам.

— И в какой же город вы направляетесь?

— Думаю поехать в Неаполь.

И, вставая, она добавила:

— Мне остается лишь проститься с вашим высочеством и почтительно поблагодарить вас за ваши прежние милости.

В свою очередь она сказала это твердым тоном и весьма решительно направилась к двери. Принц понял, что через две секунды все будет кончено: если допустить подобный скандал, примирение невозможно; герцогиня не из тех женщин, которые отступают от своих решений. Он побежал за ней.

— Но вы же прекрасно знаете, герцогиня, — сказал он, взяв ее за руку, — что я всегда любил вас, как друг, и лишь от вас зависело придать этому чувству другую окраску. Совершено убийство, этого нельзя отрицать. Я доверил следствие по этому делу лучшим моим судьям…

При этих словах герцогиня выпрямилась во весь рост, всякая видимость почтительности и даже учтивости мгновенно исчезла: перед

принцем стояла оскорбленная женщина, и ясно было, что эта оскорбленная женщина убеждена в его нечестности. Она заговорила с гневным и даже презрительным выражением, отчеканивая каждое слово:

— Я навсегда покидаю владения вашего высочества, чтобы никогда больше не слышать о фискале Расси и других подлых убийцах, приговоривших к смертной казни моего племянника и столько других людей. Если вы, ваше высочество, не хотите, чтобы я вспоминала с чувством горечи о последних минутах, проведенных мною близ государя, столь любезного и проницательного, когда его не обманывают, покорнейше прошу вас не напоминать мне об этих подлых судьях, продающих себя за тысячу экю или за орден.

От этих слов, исполненных достоинства и, главное, искренности, принц затрепетал: на мгновение он испугался, что его самолюбие будет унижено еще более прямым обвинением, но в общем он испытывал ощущение скорее приятное, — он любовался герцогиней, весь ее облик дышал в эту минуту величавой красотой.

«Боже мой! как хороша! — думал принц. — Надо кое-что и прощать столь необыкновенной женщине, другой такой, пожалуй, не найти во всей

Италии. Ну что же, поведем тонкую политику, и, может быть, она станет со временем моей любовницей. Какая разница между таким созданием и этой куклой, маркизой Бальби, которая к тому же крадет ежегодно у моих бедных подданных по меньшей мере триста тысяч франков. Но не ослышался ли я? — вдруг вспомнил он. — Кажется, она сказала: „Присудили к смертной казни моего племянника и столько других людей?“» Чувство гнева вновь взяло верх, и принц заговорил уже высокомерным тоном августейшей особы:

— А что же надо сделать, сударыня, чтобы вы остались?

— То, на что вы не способны, — ответила герцогиня с оттенком горькой иронии и самого откровенного презрения.

Принц был вне себя, но долголетний опыт в ремесле самодержца помог ему подавить злобу.

«Надо овладеть этой женщиной, — подумал он, — это мой долг перед самим собою, а потом уничтожить ее презрением… Если она выйдет сейчас из моего кабинета, я никогда больше ее не увижу».

Но в эту минуту он был пьян ярой ненавистью и не мог найти слов, которые соответствовали бы его «долгу перед самим собой» и вместе с тем

удержали бы герцогиню от намерения сейчас же покинуть его двор.

«Нельзя, — думал он, — ни повторять попытку дважды, ни делать ее смешной». Он встал перед дверью, загородив дорогу герцогине. В это время он услышал, что кто-то тихонько стучится в дверь.

— Какой еще там мерзавец, — закричал он во весь голос, — какой еще мерзавец явился надоедать мне!

Показалось бледное, испуганное лицо несчастного генерала Фонтана; замирая от страха, он еле выговорил:

— Его превосходительство, граф Моска, испрашивает чести быть принятым вашим высочеством.

— Впустить! — крикнул принц и, когда Моска вошел и поклонился, сказал ему:

— Ну вот, не угодно ли! Герцогиня Сансеверина желает сию же минуту уехать из Пармы и поселиться в Неаполе, и к тому же говорит мне дерзости.

— Что?! — воскликнул Моска, весь побледнев.

— Как? вы не знали о ее намерении?

— Не слышал ни слова! Я расстался с герцогиней в шесть часов вечера, она была весела и

довольна.

Ответ этот произвел на принца потрясающее впечатление. Прежде всего он пристально посмотрел на графа и по выражению его бледного лица понял, что Моска говорит правду и отнюдь не является пособником дерзкого плана герцогини.

«В таком случае, — подумал принц, — я потеряю ее навсегда. Наслаждение и месть ускользнут от меня одновременно. В Неаполе она со своим племянником Фабрицио будет сочинять эпиграммы о большом гневе маленького властителя Пармы».

Он взглянул на герцогиню; сердце ее переполняли гнев и величайшее презрение, глаза были устремлены в эту минуту на графа Моска, и тонко очерченные губы выражали горькое разочарование. Все ее лицо говорило: «Низкий царедворец!»

«Итак, — думал принц, внимательно всматриваясь в нее, — потеряно и это средство вернуть ее в мое государство. Через минуту, если только она выйдет из кабинета, она будет для меня потеряна. Бог весть, что она там порасскажет в Неаполе о моих судьях… А при ее уме и дивной силе убеждения, которой одарило ее небо, ей все поверят. Из-за нее я прослыву смешным тираном,

который вскакивает по ночам и смотрит, нет ли под кроватью злоумышленников…»

Применив ловкий маневр — как будто расхаживая в волнении по кабинету, чтобы успокоиться, — принц снова очутился перед дверью; в трех шагах от него, справа, стоял граф, бледный, подавленный, и дрожал так сильно, что вынужден был опереться на спинку кресла, в котором герцогиня сидела в начале аудиенции, — в порыве гнева, принц далеко отшвырнул его. Граф был влюблен. «Если герцогиня уедет, — думал он, — я последую за нею. Но пожелает ли она видеть меня? Вот в чем вопрос».

Слева от принца стояла герцогиня и, скрестив на груди руки, смотрела на него с горделивым вызовом; восковая бледность сменила яркие краски, только что оживлявшие ее прекрасное лицо.

В противоположность обоим посетителям принц весь покраснел и вид имел встревоженный; левой рукой он нервно дергал орденский крест на широкой ленте через плечо, которую он всегда носил под фраком, а правой поглаживал подбородок.

— Что делать? — спросил он графа почти бессознательно, по привычке во всем советоваться с ним.

— Право, не знаю, ваше высочество, — ответил граф с таким видом, как будто он вот-вот испустит последний вздох.

Он выговорил эти слова с трудом и таким упавшим голосом, что гордость принца, претерпевшая столько унижений за время аудиенции, впервые воспрянула. Эта скромная радость подсказала ему реплику, спасительную для его самолюбия.

— Ну что ж, оказывается, из нас троих я самый благоразумный. Я охотно готов позабыть о своем сане и буду говорить «как друг». — Он добавил с милостивой улыбкой, искусно подражая благосклонной снисходительности счастливых времен Людовика XIV. — Я буду говорить «как друг со своими друзьями». Герцогиня, что нужно сделать, чтобы вы позабыли о своем опрометчивом решении?

— Откровенно говоря, я и сама не знаю, — с глубоким вздохом ответила герцогиня. — Не знаю. Парма внушает мне ужас.

В этих словах не было намерения уязвить, чувствовалось, что сама искренность говорит ее устами.

Граф резко повернулся к ней: душа придворного пришла в смятение; затем он обратил на принца умоляющий взгляд. С большим достоин-

ством и хладнокровием принц выдержал паузу, а затем сказал графу:

— Я вижу, что ваша очаровательная подруга совершенно потеряла голову, это вполне понятно: она *обожает* своего племянника. — Повернувшись к герцогине, он поглядел на нее с галантной улыбкой и добавил в шутливом тоне, как будто цитировал тираду из комедии:

— «Что нужно сделать, чтобы эти прекрасные глаза улыбнулись»?

Герцогиня тем временем успела поразмыслить; раздельно и внушительно, как будто диктуя ультиматум, она произнесла:

— Ваше высочество, вы должны написать мне милостивое письмо и с обычной вашей благосклонностью заявить в нем, что вы нисколько не убеждены в виновности Фабрицио дель Донго, первого главного викария архиепископа Пармского, и поэтому не подпишете приговора, когда его представят вам на утверждение, и что это несправедливое судебное дело не будет иметь никаких последствий.

— Что? *Несправедливое?!* — воскликнул принц, покраснев до корней волос, и вновь запылал гневом.

— Это еще не все, — сказала герцогиня с велича-

вой гордостью, достойной римлянки. — «Нынче же вечером», — а сейчас уже четверть двенадцатого, — добавила она, взглянув на часы, — нынче же вечером вы, ваше высочество, прикажете сообщить маркизе Раверси, что вы советуете ей уехать в деревню отдохнуть от утомительных хлопот по известному ей процессу, о котором она сегодня говорила в своей гостиной в начале вечера.

Принц в ярости расхаживал по кабинету.

— Где это видано? — воскликнул он. — Что за женщина! Как она непочтительна со мной!

Герцогиня ответила с милой непринужденностью:

— Ваше высочество, никогда в жизни мне даже в голову не пришло бы оскорбить вас непочтительностью. Вы, ваше высочество, только что соблаговолили заметить, что говорите «как друг со своими друзьями». Я, впрочем, не имею ни малейшего желания остаться в Парме, — добавила она, глядя на графа с глубоким презрением.

Взгляд этот заставил принца согласиться; до той минуты он все еще колебался, хотя словами своими как будто связал себя, — слова для него мало значили.

Затем обменялись еще несколькими фразами,

и, наконец, граф Моска получил повеление написать милостивое письмо, которого требовала герцогиня. Он опустил слова «„Это несправедливое судебное дело не будет иметь никаких последствий“».

«Достаточно того, — подумал граф, — что принц обещает не утверждать приговора».

Принц взглядом поблагодарил его, подписав письмо.

Граф совершил большую ошибку: принц был утомлен и подписал бы в эту минуту любое обязательство. Он находил, что прекрасно выпутался из неприятного положения, да и во всей этой истории важнее всего была для него одна мысль: «Если герцогиня уедет, через неделю при моем дворе будет смертельная скука». Граф заметил, что его повелитель изменил дату и пометил письмо завтрашним днем. Он взглянул на часы: стрелка приближалась к полуночи. Министр решил, что дата исправлена лишь из педантического стремления к точности, подобающей хорошему правителю. Что касается изгнания маркизы Раверси, оно не встретило никаких возражений, — принц с особым удовольствием отправлял людей в изгнание.

— Генерал Фонтана! — крикнул он, отворяя

дверь.

Генерал явился; на лице его было такое забавное изумление и любопытство, что граф и герцогиня обменялись веселым взглядом, и этот взгляд примирил их.

— Генерал Фонтана, — сказал принц, — садитесь в мою карету, которая ждет под колоннадой, поезжайте к маркизе Раверси; прикажите доложить о себе; если она уже в постели, добавьте, что вы явились от моего имени, войдите к ней в спальню и скажите ей такими словами (именно такими, а не иными): «Маркиза Раверси, его высочество повелевает вам завтра, до восьми часов утра, выехать в ваше поместье Веллейя. Его высочество уведомит вас, когда вам можно будет вернуться в Парму».

Принц заглянул в глаза герцогине, но, вместо того чтобы поблагодарить его, как он ожидал, она сделала весьма почтительный, глубокий реверанс и быстро вышла.

— Что за женщина! — воскликнул принц, повернувшись к графу.

Граф, радуясь изгнанию маркизы Раверси, облегчавшему все его действия в качестве главы министерства, добрых полчаса беседовал с принцем; как искусный царедворец он сумел утешить

монаршее самолюбие и откланялся, лишь когда убедил принца, что в собрании анекдотов из жизни Людовика XIV не найдется страницы прекраснее той, которую принц подготовил сегодня для будущих своих историков.

Возвратившись домой, герцогиня заперлась у себя, приказав не принимать никого, даже графа. Ей хотелось побыть одной и поразмыслить над недавней сценой. Она действовала наугад, желая лишь потешить свою гордость, но к какому бы решению ее ни привел этот шаг, она выполнила бы его с твердостью. Даже и теперь, когда к ней вернулось хладнокровие, она вовсе не упрекала себя и нисколько не раскаивалась, — таков уж был ее характер; благодаря ему она и в тридцать шесть лет оставалась самой обаятельной женщиной при дворе.

Она стала обдумывать, какие удовольствия может доставить ей Парма, словно вернулась из долгого путешествия: с девяти до одиннадцати часов вечера она была уверена, что навсегда покинет эту страну.

«Бедняжка граф!.. Какой забавный у него был вид, когда он в присутствии принца узнал, что я уезжаю… Право, он человек очень приятный и с редкостным сердцем. Он бросил бы все свои

министерские посты и помчался бы вслед за мной... Но и то сказать: целых пять лет он не мог упрекнуть меня в малейшей неверности. А много ли женщин, обвенчанных перед алтарем, могли бы заявить это своему господину и повелителю? Правда, мне вовсе и не хотелось его обманывать, — в нем нет ни важности, ни педантства, близ меня он всегда словно стыдится своего могущества... Какой он был смешной в присутствии своего властителя; будь он сейчас тут, я бы его расцеловала... Но ни за что на свете я не соглашусь развлекать отставного министра, лишившегося портфеля, — это неисцелимая болезнь: от нее умирают. Какое, верно, несчастье сделаться министром в молодые годы! Надо написать ему: пусть он твердо знает, что я об этом думаю, прежде чем поссориться с принцем. Но я позабыла о моих слугах. Добрые люди!..»

Герцогиня позвонила. Горничные еще укладывали сундуки; карета стояла у подъезда, и ее нагружали; все слуги, не занятые работой, окружили карету, у всех были слезы на глазах. Эти подробности герцогине сообщила Чекина, которая в важных случаях одна имела к ней доступ.

— Позови всех наверх, — сказала ей герцогиня.

Через минуту она вышла в приемную.

— Мне обещали, — сказала она, — что приговор, вынесенный моему племяннику, не будет подписан государем (так говорят в Италии). Я откладываю свой отъезд. Посмотрим, хватит ли у моих врагов влияния, чтобы изменить это новое решение.

После краткого молчания слуги принялись кричать: «Да здравствует наша герцогиня!» — и неистово захлопали в ладоши.

Герцогиня, уже удалившаяся в соседнюю комнату, снова появилась, как актриса, которая выходит на аплодисменты, и, мило поклонившись, сказала:

— «Друзья мои, благодарю вас»!

Скажи она в эту минуту только слово, все бросились бы ко дворцу на приступ. Герцогиня подала знак одному из своих форейторов, бывшему контрабандисту и человеку преданному. Он вышел вслед за нею.

— Оденься зажиточным крестьянином и как-нибудь выберись из города; найми седиолу и мчись в Болонью. Войди в город пешком через Флорентийскую заставу, как будто возвращаешься с прогулки. Разыщи в гостинице «Пилигрим» Фабрицио и передай ему пакет, который принесет тебе сейчас Чекина. Фабрицио скрывается; в

Болонье он живет под именем Джузеппе Босси; не выдай его по легкомыслию, не показывай вида, что знаешь его; мои враги, может быть, пустят шпионов по твоим следам. Фабрицио отошлет тебя сюда через несколько часов или через несколько дней; на обратном пути будь вдвое осторожнее, чтобы чем-нибудь не выдать его.

— Ага! Остерегаться людей маркизы Раверси? — воскликнул форейтор. — Пусть только сунутся. Если пожелаете, мы с ними живо расправимся.

— Сейчас не надо. Может быть, позднее… А без моего приказа не вздумайте выкинуть что-нибудь, если дорожите жизнью.

Герцогиня хотела послать Фабрицио копию записки принца; она не могла отказать себе в удовольствии позабавить его и решила рассказать в нескольких словах о той сцене, которая завершилась этой запиской. «Несколько слов» превратились в письмо на десяти страницах. Наконец, она приказала позвать форейтора.

— Из города тебе удастся выйти только часа в четыре утра, когда откроют ворота, — сказала она.

— Я рассчитываю выбраться через главную водосточную канаву, воды там до самого подбородка, но пройти можно.

— Нет, — возразила герцогиня. — Я не могу допустить, чтобы один из самых верных моих слуг схватил лихорадку. Знаешь ты кого-нибудь в доме монсиньора?

— Помощник кучера — мой приятель.

— Вот письмо к его преосвященству. Проберись незаметно к нему во дворец, попроси провести тебя к камердинеру. Только не надо будить монсиньора. Если он уже удалился в свою спальню, проведи ночь во дворце; обычно он встает на рассвете, и ты в четыре часа утра попроси, чтоб доложили о тебе; скажи, что ты пришел от меня, подойди под благословенье к его преосвященству, отдай ему вот этот пакет, а от него возьми письма, которые он, возможно, отправит с тобою в Болонью.

Герцогиня переслала монсиньору подлинник милостивой записки принца и, поскольку записка касалась главного викария архиепископа, просила сохранить этот документ в архивах епархии, выразив надежду, что господа старшие викарии и каноники, коллеги ее племянника, пожелают ознакомиться с содержанием бумаги, разумеется, под условием соблюдения строжайшей тайны.

Письмо герцогини к монсиньору Ландриани

было составлено в непринужденном тоне, что должно было очаровать этого доброго буржуа, зато подпись занимала целых три строки, — в конце ее дружеского послания стояло:

Анджелина-Корнелия-Изотта
Вальсерра дель Донго герцогиня Сансеверина.

— Давно я не перечисляла всех своих имен, кажется, со дня свадьбы с покойным герцогом и брачного нашего контракта, — усмехаясь, сказала про себя герцогиня. — Но этим людям можно импонировать только такими побрякушками, — в глазах буржуа смешное кажется прекрасным.

Чтобы достойно закончить этот вечер, герцогиня уступила соблазну написать еще письмо бедняге графу и сообщила ему «для сведения и руководства в его отношениях с венценосцами», как она выразилась, что совершенно не чувствует себя способной развлекать опального министра.

«Принц внушает вам страх; когда же вы лишитесь счастья лицезреть его, очевидно, мне придется внушать вам трепет».

Она приказала немедленно отнести письмо графу.

Со своей стороны принц уже в семь часов утра

вызвал к себе графа Дзурла, министра внутренних дел.

— Еще раз разошлите всем подеста[91], — сказал он, — строжайшее предписание изловить и арестовать дворянина Фабрицио дель Донго. Нам сообщают, что он, возможно, дерзнет появиться в наших владениях. Беглец этот находится в настоящее время в Болонье, где он будто издевается над нашим судом; возьмите сбиров, которые его знают в лицо, и расставьте их: во-первых, в деревнях вдоль всей дороги из Болоньи в Парму, во-вторых, вокруг замка герцогини в Сакка и вокруг ее дома в Кастельнуова, а в-третьих, вокруг усадьбы графа Моска. Я знаю вашу высокую мудрость и надеюсь, что, несмотря на проницательность графа Моска, у вас хватит уменья скрыть от него приказ вашего государя. Помните, Фабрицио дель Донго должен быть арестован, — это моя воля.

Лишь только министр удалился, в кабинет через потайную дверь вошел главный фискал Расси, при каждом шаге раболепно кланяясь чуть не до земли. Физиономию этого подлеца следовало бы запечатлеть в красках, — она вполне соответствовала его гнусной роли: беспокойный

---

[91] Примечания: 91

Подеста — представитель полицейской и судебной власти в Италии.

взгляд бегающих, юрких глаз выдавал, что он не заблуждается относительно своей репутации, но губы его кривились дерзкой, самоуверенной усмешкой, показывавшей, что он умеет бороться с презрением.

Поскольку этот сановник вскоре окажет довольно большое влияние на судьбу Фабрицио, надо посвятить ему несколько слов. Он был высокого роста, глаза имел красивые и весьма умные, но лицо его портили рябины от оспы. Что касается ума, то его было у Расси немало, и весьма тонкого; его признавали знатоком юриспруденции, однако в ней он больше всего блистал изворотливостью. В самом трудном судейском деле он с легкостью мгновенно находил подкрепленный законами способ добиться как осуждения, так и оправдания обвиняемого; особенно славился он как мастер прокурорских уловок.

У этого человека, из-за которого принцу Пармскому могли бы позавидовать крупные державы, была только одна страсть: вести интимную беседу с вельможными особами и развлекать их клоунскими выходками. Для него безразлично было, смеется ли вельможа над его словами или над ним самим, или позволяет себе наглые остроты по адресу его жены, лишь бы высокопоставленная

особа смеялась и удостаивала его фамильярного обращения. Иной раз принц, не зная, как еще унизить достоинство своего главного судьи, угощал его пинками; если пинки были чувствительны, Расси принимался плакать. Но тяга к шутовству была в нем так сильна, что он ежедневно посещал гостиную министра, издевавшегося над ним, предпочитая ее своей собственной гостиной, где мог деспотически властвовать над черными судейскими мантиями всей страны. Однако Расси создал себе совсем особое положение: самому дерзкому аристократу невозможно было его унизить, ибо за оскорбления, преследовавшие его целый день, он мстил тем, что рассказывал о них принцу, пользуясь своей привилегией говорить ему все, что вздумается; правда, наградой за эти россказни нередко была крепкая оплеуха, но Расси на это нисколько не обижался. Общество главного судьи развлекало принца даже в минуты самого дурного расположения духа, — он тогда для забавы издевался над фискалом. Как видите, Расси был почти безупречным царедворцем: ни чувства чести, ни обидчивости.

— Прежде всего блюсти тайну! — крикнул принц, не ответив на поклоны Расси и обращаясь с ним до крайности бесцеремонно, хотя обычно

бывал весьма учтив со всеми. — Какой датой помечен приговор?

— Вчерашним числом, ваше высочество.

— Сколько судей подписалось?

— Все пятеро.

— А какое наказанье?

— Двадцать лет заключения в крепости, — как вы мне повелели, ваше высочество.

— Смертная казнь вызвала бы у всех возмущение, — сказал принц, как будто разговаривая сам с собой. — Жаль! Надо бы проучить эту гордячку. Но ведь он — дель Донго, а это имя почитают в Парме из-за трех архиепископов дель Донго, чуть ли не наследовавших один другому. Так вы говорите — на двадцать лет в крепость?

— Да, ваше высочество, — ответил Расси, сгибаясь в три погибели. — А предварительно — публичное изъявление раскаяния перед портретом вашего высочества и, кроме того, каждую пятницу и в канун больших праздников строгий пост: только хлеб и вода, ибо преступник известен своим нечестием. Это внесено в приговор, чтобы помешать в будущем его карьере.

— Пишите, — сказал принц: — «Его высочество, милостиво снизойдя к смиренному ходатайству маркизы дель Донго, матери преступника, и

герцогини Сансеверина, его тетки, каковые указывают, что в момент совершения преступления их сын и племянник был еще очень молод годами, к тому же ослеплен безумной страстью к жене несчастного Джилетти, соизволил, невзирая на ужас, внушаемый ему таким злодеянием, уменьшить до двенадцати лет срок заключения в крепости, к которому был приговорен Фабрицио дель Донго». Дайте я подпишу.

Принц подписался, пометив указ вчерашним числом, и, отдавая его Расси, сказал:

— Ниже моей подписи добавьте: «Так как герцогиня Сансеверина, узнав о сем приговоре, вновь припала к стопам его высочества, принц соизволил разрешить преступнику еженедельно, по четвергам, часовую прогулку на площадке четырехугольной крепостной башни, в просторечии называемой башней Фарнезе». Подпишите, — сказал принц, — да помните: держать язык за зубами, какие бы толки вы ни услышали в городе? Скажите советнику дель Капитани, который предлагал два года заключения в крепости и даже разглагольствовал в защиту своего нелепого предложения, что я советую ему перечитать законы и регламенты. Итак, извольте молчать. Прощайте.

Расси медленно отвесил три глубоких поклона, но принц даже не взглянул на него.

Это произошло в семь часов утра. Через несколько часов по городу и во всех кофейнях распространилась весть об изгнании маркизы Раверси. Все наперебой говорили об этом великом событии. Опала маркизы прогнала на некоторое время скуку — неумолимого врага маленьких городов и маленьких дворов. Генерал Фабио Конти, уже почитавший себя министром, несколько дней не выезжал из крепости, ссылаясь на подагру. Буржуа, а за ними и простой народ, заключили, что принц, несомненно, решил сделать монсиньора дель Донго архиепископом Пармским. В кофейнях хитроумные политики даже утверждали, что нынешнему архиепископу, отцу Ландриани, велено подать в отставку под предлогом болезни, а в награду за это ему, очевидно, назначат солидную пенсию из доходов от табачной монополии; такие слухи, дойдя до архиепископа, очень его встревожили, и на несколько дней его ревностные заботы о нашем герое значительно ослабели. Через два месяца эта важная новость появилась в парижских газетах с маленьким изменением: архиепископом собирались, оказывается, назначить «графа Моска, племянника герцогини

Сансеверина».

Маркиза Раверси пылала злобой в своем поместье Веллейя. Она не принадлежала к числу бесхарактерных женщин, которые мстят врагам лишь оскорбительными речами. Кавалер Рискара и трое других друзей сразу же после опалы маркизы явились по ее приказу к принцу просить дозволения навестить изгнанницу. Принц принял просителей весьма милостиво, а их приезд в Веллейю был для маркизы великим утешением. К концу второй недели в ее замке уже было тридцать гостей — все люди, чаявшие получить местечко при либеральном министерстве. Ежевечерне маркиза держала по всем правилам совет с наиболее осведомленными лицами из своих приверженцев. Однажды она получила много писем из Пармы и Болоньи и вечером рано удалилась в опочивальню; любимая камеристка сначала привела к ней туда ее признанного любовника, графа Бальди, писаного красавца, но весьма незначительного молодого человека, а несколько позднее — его предшественника, кавалера Рискара, черномазого вьюна с черной душой; начав свою карьеру репетитором по геометрии в дворянской коллегии Пармы, он теперь был уже государственным советником и кавале-

ром многих орденов.

— У меня хорошая привычка, — сказала маркиза двум своим посетителям, — никогда не уничтожать никаких бумаг, и это оказалось весьма полезным. Вот девять писем, которые Сансеверина написала мне по разным поводам. Поезжайте в Геную, разыщите там среди каторжников бывшего нотариуса, — фамилия его, кажется, Бурати, как у великого венецианского поэта, или Дурати. Граф Бальди, садитесь за письменный стол и пишите под мою диктовку:

«Мне пришла в голову хорошая мысль, спешу поделиться ею с тобой. Я еду в свою хижину около Кастельнуово. Буду очень рада, если ты пожелаешь приехать туда и провести денек со мною; думается, в этом уже нет большой опасности: после всего, что произошло, тучи рассеиваются! Однако не приезжай сразу в Кастельнуово — остановись на дороге; тебя будет ждать один из моих слуг, все они горячо тебя любят. Для этого маленького путешествия сохрани, разумеется, фамилию Босси. Говорят, ты отрастил себе огромную бороду, как у старого капуцина, а в

Парме тебя видели лишь в пристойном облике главного викария».

Понял, Рискара?

— Прекрасно понял. Но поездка в Геную, по-моему, лишняя роскошь. Я знаю в Парме одного человека, который, правда, пока еще не на каторге, но, вероятно, скоро туда попадет. Он превосходно подделает почерк Сансеверина.

При этих словах граф Бальди широко раскрыл свои прекрасные глаза: только сейчас он все понял.

— Но если ты знаком с этим достойным жителем Пармы, подающим такие блестящие надежды, то, очевидно, и он с тобой знаком. А Сансеверина может подкупить его любовницу, его духовника, его друга. Нет, лучше отсрочить мою невинную шутку на несколько дней, чем подвергать себя какой-нибудь опасной случайности. Будьте паиньками, отправляйтесь через два часа, никому не показывайтесь в Генуе и поскорее возвращайтесь.

Кавалер Рискара засмеялся и выбежал из комнаты, шутовски подпрыгивая и гнусавя, как

Полишинель[92]: «Пойдем укладываться». Он хотел оставить Бальди наедине с его дамой.

Через пять дней Рискара доставил маркизе ее любимчика графа Бальди всего исцарапанного: для сокращения пути на шесть лье его заставили проехать через горы верхом на муле; он клялся, что ни за какие блага не поедет больше в *далекое* путешествие. Бальди передал маркизе три экземпляра того письма, которое она продиктовала ему, и еще с полдюжины писем, написанных тем же почерком и сочиненных Рискара, — впоследствии они тоже могли пригодиться. В одном из этих писем очень забавно высмеивались ночные страхи, терзавшие принца, и плачевная худоба его любовницы, маркизы Бальди, которая своими костями в одну минуту могла продырявить подушку любого кресла. Нельзя было усомниться, что все эти письма написаны рукой герцогини Сансеверина.

— Теперь мне достоверно известно, — сказала маркиза, — что друг ее сердца, Фабрицио, живет в Болонье или в окрестностях…

— Я совсем расхворался! — воскликнул граф Бальди, прерывая ее. — Ради бога, избавьте ме-

---

[92] Примечания: 92

Полишинель — один из персонажей итальянской комедии масок, перенесенный оттуда в театр марионеток.

ня от второго путешествия или позвольте по крайней мере отдохнуть несколько дней и полечиться.

— Я сейчас заступлюсь за вас, — сказал Рискара и, встав с места, тихо сказал маркизе несколько слов.

— Ну хорошо, — отвечала маркиза улыбаясь. — Успокойтесь, вы совсем не поедете, — сказала она Бальди и взглянула на него довольно презрительно.

— Благодарю! — воскликнул он, радуясь от всего сердца.

Действительно, Рискара один отправился в почтовой карете. Прожив в Болонье каких-нибудь два дня, он уже встретил Фабрицио, ехавшего в коляске с Марието́ттой.

«Черт побери! — сказал про себя Рискара. — Будущий наш архиепископ, очевидно, нисколько не стесняется. Надо довести об этом до сведения герцогини, — то-то она обрадуется!»

Рискара поехал вслед за Фабрицио и без труда узнал, где он живет; на следующее утро Фабрицио получил по почте письмо, изготовленное в Генуе, — оно показалось ему несколько коротким, но не вызвало никаких подозрений. Мысль увидеться с герцогиней и графом привела его в

восторг, и невзирая на все уговоры Лодовико, он нанял на почтовой станции лошадь и помчался галопом. Ему и в голову не приходило, что за ним на некотором расстоянии едет кавалер Рискара, который, прибыв на ближайшую к Кастельнуово станцию, в шести лье от Пармы, с удовольствием увидел большую толпу перед тюрьмой: туда только что привели нашего героя, так как на почтовой станции, где он менял лошадь, его опознали два отборных сбира, посланные графом Дзурла.

Маленькие глазки Рискара загорелись; он с примерным усердием разведал все, что произошло в этом селении, и отправил гонца к маркизе Раверси. Затем пустился рыскать по улицам, как будто желал осмотреть весьма любопытную местную церковь и разыскать картину Пармиджанино[93], якобы находившуюся где-то здесь, и встретил, наконец, подеста, поспешившего изъявить свое почтение государственному советнику. Рискара выразил удивление, что подеста, которому посчастливилось поймать заговорщика, не отправил его немедленно в Пармскую крепость.

— Можно опасаться, — добавил Рискара холодным тоном, — что жандармам придется столк-

[93] Примечания: 93

Пармиджанино, настоящее его имя Франческо Маццуола (1504–1540) — итальянский художник, работавший в Парме.

нуться с целой шайкой его друзей: они позавчера искали этого злодея, чтобы помочь ему пробраться через владения его высочества, — мятежников было человек двенадцать — пятнадцать, и все верхами.

— Intelligenti pauca![94] — воскликнул подеста с лукавым видом.

[94] Примечания: 94
Умный человек понимает с полуслова (*лат.*).

15

Через два часа беднягу Фабрицио, закованного в ручные кандалы, посадили в седиолу, привязали к ней длинной цепью и отправили в Пармскую крепость под конвоем восьми жандармов. Конвоирам приказано было захватить с собою всех жандармов, размещенных в деревнях, через которые должен был следовать весь этот караван; сам подеста сопровождал столь важного преступника.

К семи часам вечера седиола, эскортируемая всеми пармскими мальчишками и тридцатью жандармами, пересекла красивый бульвар, проехала мимо особняка, где несколько месяцев назад жила Фауста, и, наконец, достигла внешних ворот крепости как раз в ту минуту, когда из нее выезжал генерал Фабио Конти с дочерью. Карета коменданта остановилась у подъемного моста, чтобы пропустить седиолу, к которой был привязан Фабрицио. Генерал крикнул, чтобы заперли крепостные ворота, и, выйдя из кареты, поспешил в канцелярию спросить, кого привезли; он изрядно был удивлен, узнав арестанта, привязанного к седиоле и совсем одеревеневшего

от пут за долгую дорогу: четыре жандарма сняли его и на руках внесли в тюремную канцелярию.

«Итак, знаменитый Фабрицио дель Донго в моей власти, — подумал тщеславный комендант, — тот самый Фабрицио дель Донго, которым целый год, можно сказать, только и занято было высшее общество Пармы!»

Генерал раз двадцать встречался с Фабрицио при дворе, в гостиной герцогини и в других домах, но теперь, разумеется, и виду не показал, что знаком с ним: он боялся скомпрометировать себя.

— Составьте обстоятельный протокол, — крикнул он тюремному писарю, — о передаче мне этого заключенного многоуважаемым подеста селения Кастельнуово.

Писарь Барбоне — личность устрашающая, бородатая и воинственная — принял еще более важный вид: ни дать ни взять немецкий тюремщик. Считая, что главным образом по вине герцогини Сансеверина его начальник не стал военным министром, он проявил в обращении с арестантом еще больше наглости, чем обычно, и говорил ему voi[95], что допускается в Италии только в разговоре со слугами.

---

[95] Примечания: 95

Voi — вы. По-итальянски вежливой формой обращения служит форма третьего лица.

— Я — прелат святой римской церкви и главный викарий вашей епархии, — с твердостью сказал ему Фабрицио. — Да и одно уж мое имя обязывает вас обращаться со мной почтительно.

— Ничего не знаю! — дерзко возразил писарь. — Предъявите документы и грамоты, подтверждающие ваше право на столь высокие титулы.

У Фабрицио не было документов, и он промолчал. Генерал Конти, стоя возле писаря, смотрел, как тот составляет протокол, и не поднимал глаз на арестанта, желая уклониться от необходимости подтвердить, что это действительно Фабрицио дель Донго.

Клелия Конти, поджидавшая отца в карете, услышала вдруг страшный шум в кордегардии. Писарь Барбоне, составляя наглое и весьма подробное описание внешности арестанта, приказал ему расстегнуть платье, намереваясь установить наличие и состояние шрамов от ран, полученных им в поединке с Джилетти.

— Я не могу выполнить ваши приказания, господин писарь, — ответил Фабрицио с горькой усмешкой, — кандалы мешают.

— Как?! — с простодушным видом воскликнул генерал. — Арестованный все еще в кандалах? Внутри крепости? Это против устава, — для этого

нужно особое постановление. Снимите с него кандалы.

Фабрицио взглянул на него. «Забавный иезуит, — подумал он. — Битый час видит, что на мне кандалы, что они ужасно мешают мне, а притворяется удивленным».

Жандармы сняли с него кандалы. Узнав, что Фабрицио племянник герцогини Сансеверина, они спешили теперь выказать ему слащавую любезность, представлявшую резкий контраст с грубостью писаря; это, видимо, разозлило Барбоне, и он крикнул неподвижно стоявшему Фабрицио:

— Ну что ж вы! Пошевеливайтесь! Покажите нам, какие царапины вы получили от несчастного Джилетти во время убийства.

Одним прыжком Фабрицио очутился возле писаря и закатил ему такую пощечину, что тот упал со стула под ноги генералу. Жандармы схватили Фабрицио за руки, он не оказал сопротивления; сам генерал и два жандарма, охранявшие его, поспешили поднять писаря, у которого лилась кровь из носа. Два жандарма, стоявшие у входа, бросились запирать двери, вообразив, что арестованный пытался убежать.

Бригадир, начальник конвоя, понимал, что мо-

лодой дель Донго не мог серьезно помышлять о бегстве, находясь во внутренней ограде крепости; все же он подошел к окну, «для порядка», следуя жандармской своей натуре. В двух шагах от этого открытого окна стояла карета генерала; Клелия забилась в угол, чтобы не быть свидетельницей печальной сцены, происходившей в канцелярии; услыхав шум, она выглянула.

— Что там такое? — спросила она бригадира.

— Да вот, синьорина, молодой Фабрицио дель Донго влепил хорошую оплеуху наглецу Барбоне.

— Что? Так это господина дель Донго привезли в тюрьму?

— Ну да, его самого, — отвечал бригадир. — И сколько возни с этим несчастным молодым человеком из-за того, что он знатного рода. Я думал, вы знаете, синьорина…

Клелия теперь уже не отводила глаз от окна, и, когда жандармы, окружавшие стол, отстранились немного, она увидела узника.

«Мы встретились с ним на дороге близ озера Комо, — думала она. — Кто бы мог тогда предположить, что впервые после этого я увижу его тут, в таком печальном положении… Он подал мне руку и помог взобраться в коляску его матушки.

С ним была герцогиня… Может быть, уже в то время началась их любовь?»

Надо сообщить читателю, что в лагере либералов, руководимом маркизой Раверси и генералом Конти, нарочито не допускали сомнений в любовной связи Фабрицио с герцогиней. И граф Моска, которого либералы ненавидели, служил мишенью постоянных их насмешек как рогоносец.

«Итак, — думала Клелия, — он теперь пленник и к тому же — пленник своих врагов; ведь граф Моска, будь он даже ангелом, втайне должен радоваться его заключению в крепость».

В кордегардии раздался взрыв грубого смеха.

— Джакопо, — взволнованно спросила она бригадира, — что там происходит?

— Генерал спросил арестованного, за что он ударил Барбоне; монсиньор Фабрицио спокойно ответил: «Он назвал меня убийцей, пусть предъявит документы и грамоты, дающие ему право именовать меня таким титулом». Ну, все и засмеялись.

Один из тюремщиков, умевший писать, заменил Барбоне; Клелия увидела, как писарь вышел, отирая кровь со своей отвратительной физиономии; он безбожно ругался. «Я этого сукина сына Фабрицио, — рычал он, — собственными своими

руками прикончу. Я его не уступлю палачу» и т. д. и т. д. Он остановился под окном канцелярии, чтобы посмотреть на Фабрицио, и стал ругаться еще крепче.

— Проходите, проходите, — сказал ему бригадир, — нельзя так ругаться при синьорине.

Барбоне поднял голову и заглянул в карету; глаза его встретились с глазами Клелии, и она вскрикнула от ужаса: такого свирепого лица ей еще не доводилось видеть вблизи. «Он убьет Фабрицио! — подумала она. — Надо предупредить дона Чезаре». Дон Чезаре был ее дядя, один из самых уважаемых в городе священников. Генерал Конти, его брат, исхлопотал ему должность главного тюремного духовника и эконома.

Генерал сел в карету.

— Не хочешь ли остаться дома? — спросил он дочь. — Тебе, пожалуй, долго придется ждать меня у дворцового подъезда. Я обязан доложить обо всем этом государю.

В эту минуту из канцелярии вышел Фабрицио под конвоем трех жандармов, — его повели в назначенную ему камеру; Клелия смотрела на него и, когда он поровнялся с каретой, ответила отцу:

— Я поеду с вами.

Фабрицио, услышав эти слова, прозвучав-

шие возле него, поднял глаза и встретил взгляд Клелии. Больше всего его поразило грустное выражение ее лица.

«Как она похорошела со времени нашей встречи около Комо, — думал он. — Какую глубокую мысль отражают ее черты!.. Совершенно правильно сравнивают ее с герцогиней. Что за ангельское лицо!..»

Окровавленный писарь Барбоне недаром вертелся около кареты; он остановил жестом конвоиров Фабрицио и, обогнув сзади карету, подбежал к той дверце, около которой сидел генерал.

— Арестованный позволил себе акт насилия, находясь в стенах крепости, — сказал он. — Не следует ли на основании сто пятьдесят седьмого параграфа устава заковать его на три дня в кандалы?

— Убирайтесь к дьяволу! — крикнул генерал: его и без того смущал этот арест. Зачем доводить до крайности герцогиню и графа Моска? Как-то граф еще взглянет на это дело? В сущности убийство какого-то Джилетти — пустяк, и раздули его только с помощью интриг.

Во время этого краткого диалога Фабрицио стоял посреди конвойных как воплощение гордости

и благородства; тонкие изящные черты его лица, презрительная улыбка, блуждавшая на губах, представляли чудесный контраст с грубыми физиономиями жандармов, обступивших его. Но все это было, так сказать, внешней стороной его облика, взгляд же его выражал восторженное изумление перед чистой красотой Клелии. В глубокой задумчивости она все еще смотрела из окна кареты; он поклонился ей с почтительной полуулыбкой и через мгновение сказал:

— Кажется, синьорина, я когда-то имел честь встретиться с вами около одного озера и тоже в окружении жандармов.

Клелия покраснела и от смущения не могла ответить ни слова.

«Сколько благородства в его лице, а вокруг него такие грубые люди», — думала она в ту минуту, когда Фабрицио заговорил с нею. Глубокое сострадание и, можно сказать, почти нежность охватили ее, лишив находчивости, необходимой для ответа. Но тут с грохотом отодвинули засов главных крепостных ворот, — карета его превосходительства ждала уже больше минуты. Под каменным сводом шум отдавался так гулко, что Фабрицио все равно не услыхал бы, если б Клелия даже нашла для ответа хоть слово.

Лишь только проехали подъемный мост, лошади взяли крупной рысью, и, сидя в карете, Клелия мысленно говорила себе: «Наверное, я показалась ему очень глупой, — и вдруг добавила: — Нет, не только глупой. Он, несомненно, подумал, что у меня низкая душа и не ответила я из-за того, что он арестант, а я дочь коменданта крепости».

Эта мысль была нестерпима для Клелии, девушки с возвышенной душой.

«Ах, как я гадко поступила, — продолжала она корить себя. — А ведь, когда мы впервые встретились „тоже в окружении жандармов“, как он сказал, я была под арестом, я он оказал мне услугу, избавил от очень большой неприятности. Да, надо сознаться, я поступила просто ужасно: тут были и грубость и неблагодарность. Бедный юноша? Теперь он в несчастье и ото всех будет видеть только неблагодарность. А он еще сказал мне тогда: „Удостойте запомнить мое имя!“ Как он должен презирать меня сейчас. Почему было не ответить хоть каким-нибудь учтивым словом! Да, надо признаться, я поступила жестоко. Если б его матушка не предложила мне тогда сесть к ним в коляску, я вынуждена была бы идти пешком по пыльной дороге под конвоем жандармов, и даже еще хуже: сесть на лошадь одного из кон-

войных, позади него; тогда мой отец был тоже арестован, и я была беззащитна. Да, я поступила гадко. И такой человек, как он, должен очень больно это почувствовать. Какой контраст между его благородством и моим низким поступком. Сколько в нем достоинства! Какое спокойствие! Облик героя, окруженного подлыми врагами. Теперь мне понятна страсть герцогини. Если он таков среди злоключений, грозящих ужасными последствиями, каким же он должен быть, когда душа его полна счастья!..»

Карета коменданта крепости часа полтора стояла у дворцового подъезда, и все же, когда генерал, наконец, вышел, ожидание совсем не показалось долгим его дочери.

— Что решил государь? — спросила Клелия.

— Слова его говорят: «тюрьма», а взгляд: «смерть»!

— Смерть! Боже мой! — воскликнула Клелия.

— Ну замолчи! — сердито буркнул генерал. — Как я глуп, что отвечаю ребенку.

А в это время Фабрицио подымался по лестнице в триста восемьдесят ступеней, которые вели к башне Фарнезе — новой тюрьме, построенной на верхней площадке главной башни. Ни разу он не подумал — по крайней мере отчетливо не поду-

мал — о великой перемене в своей судьбе. «Какой взгляд! — мысленно говорил он себе. — Сколько в нем чувства! Какое глубокое сострадание! Она словно хотела сказать мне: „Вся жизнь — череда несчастий. Не огорчайтесь тем, что случилось с вами! Все мы живем на земле для того, чтобы страдать!“ И как пристально смотрели на меня ее прекрасные глаза, даже в ту минуту, когда лошади с таким шумом уже въехали под своды ворот!»

Фабрицио совсем позабыл о своей беде.

Клелия вместе с отцом побывала в нескольких гостиных; в начале вечера еще никто не знал новости о поимке важного преступника, как два часа спустя называли неосторожного и несчастного юношу все придворные.

В этот вечер все замечали, что у Клелии непривычно оживленный вид, а этой прелестной девушке как раз и недоставало оживления, интереса к тому, что ее окружает. Когда ее красоту сравнивали с красотой герцогини, то именно эта мнимая безучастность Клелии, как будто парившей где-то высоко над всеми, склоняла чашу весов в пользу ее соперницы. В чопорной Англии и тщеславной Франции, вероятно, держались бы совершенно противоположного мнения.

Девичий стан Клелии Конти был еще слишком тонок, а лицо напоминало прекрасные образы Гвидо[96]; не скроем, что в сравнении с образцами греческой античной красоты черты ее были несколько крупны, а губы, пленявшие каким-то трогательным складом, были по-детски пухлыми. Очарованием этого лица, сиявшего чистой прелестью и дивным отблеском благороднейшей души, было то, что при всей его необычайной, редкостной красоте оно нисколько не напоминало греческие статуи. А в чертах герцогини все видели слишком знакомый идеал чисто ломбардской красоты; ее лицо приводило на память сладострастную улыбку и томную грусть прекрасных «Иродиад» Леонардо да Винчи.

Насколько герцогиня отличалась живостью, блистала лукавым остроумием и, так сказать, со страстью предавалась всему, что в увлекательной беседе вставало перед взором ее души, настолько Клелия казалась спокойной, недоступной волнениям, — то ли от презрения к окружающим, то ли от тоски по какой-то несуществующей химере. Долгое время думали, что она уйдет в монастырь. В двадцать лет она проявляла отвращение к

[96] Примечания: 96
Гвидо, Рени (1575–1642) — итальянский художник.

балам и бывала на них с отцом лишь из послушания, не желая нанести ущерб интересам его честолюбия.

Генерал, человек грубой души, говорил себе: «Небо послало мне в дочери первую красавицу во владениях нашего государя, девицу самую добродетельную, а какая мне польза от этого? Видно, мне не добиться с ее помощью возвышения. Я одинок, у меня никого нет, кроме нее, а мне необходима родня, которая окажет мне поддержку в обществе, будет мне опорой во влиятельных салонах, где мои достоинства и, главное, моя способность управлять министерством будут признаны бесспорным основанием для политической моей карьеры. И что же! Моя дочь, красивая, умная, благочестивая девушка, хмурится, едва лишь какой-нибудь молодой человек, хорошо принятый при дворе, начнет почтительно ухаживать за нею; когда же она спровадит претендента на ее руку, лицо у нее проясняется, и она бывает даже весела, до тех пор пока не появится новый искатель. Она отказала графу Бальди, первому красавцу при дворе; на смену ему явился маркиз Крешенци, самый богатый человек во владениях его высочества, а она заявляет, что будет несчастна с ним».

«Положительно, — говорил себе генерал иной раз, — у моей дочери глаза красивее, чем у герцогини, особенно если в них появляется выражение глубокого чувства. Но когда и кто видит это чудесное выражение? Никогда его не видят в свете, где оно могло бы составить ее торжество, а только на прогулке, наедине со мной, когда она, например, растрогается при виде нищеты какого-нибудь грязного мужлана. Сохрани же хоть отблеск этого божественного взгляда для гостиных, где мы появимся сегодня вечером, говорю я ей иной раз. Напрасные слова! Если она соблаговолит поехать со мною в свет, на ее благородном, чистом лице всегда бывает высокомерное и отпугивающее выражение холодной покорности».

Как видите, генерал не щадил усилий, чтобы найти приличного зятя, но он говорил правду.

Придворным нечего видеть в своей душе, зато они с особым любопытством следят за другими: они заметили, что герцогиня охотнее всего останавливается возле Клелии и старается вовлечь ее в разговор именно в те дни, когда девушка, видимо, не могла оторваться от дорогих ей мечтаний и проявить к чему-либо притворный интерес. У Клелии были пепельно-русые волосы, изящно оттенявшие очень нежный цвет лица, пожалуй

несколько бледного обычно. Но по одним лишь очертаниям ее лба внимательный наблюдатель угадал бы, что благородство ее осанки и манер, не сравнимых с вульгарным жеманством, исходило из глубокого пренебрежения ко всему вульгарному.

Это было безучастие к окружающему, но не безучастность натуры. С тех пор как генерала Конти назначили комендантом крепости, Клелия чувствовала себя в своих покоях, построенных на такой высоте, счастливой или по крайней мере огражденной от многих огорчений. Ужасающее количество ступеней, по которым нужно было добираться до комендантского дворца, находившегося на верхней площадке огромной башни, отпугивало докучливых посетителей, и по этой чисто внешней причине Клелия наслаждалась монастырским уединением, — она почти достигла того идеала счастья, о котором одно время мечтала, думая найти его в монашестве. Ее приводила в ужас мысль подчинить отраду своего уединения и свои заветные мысли прихотям какого-нибудь молодого человека, который на правах мужа будет вторгаться в ее внутреннюю жизнь. Если одиночество и не давало ей счастья, все же оно избавляло ее от тяжелых впечатле-

ний.

В тот день, когда Фабрицио привезли в крепость, герцогиня и Клелия встретились на вечере у графа Дзурла, министра внутренних дел; все теснились вокруг них; в тот вечер Клелия красотой затмевала герцогиню. В глазах ее было какое-то необычайно глубокое выражение, почти нескромное в своей откровенности: взор их выражал и жалость, и негодование, и гнев. Порой казалось, что веселость и блестящее остроумие герцогини вызывают у Клелии скорбь и почти ужас. «Как будет рыдать и стонать эта женщина, — думала Клелия, — когда узнает, что ее возлюбленный, человек такой высокой души и такой благородной наружности, заточен в тюрьму! А этот взгляд государя, обрекающий его на смерть!.. О самодержавие! Когда же Италия сбросит твой гнет? О продажные, низкие души! А я сама? Дочь тюремщика!.. Я достойна этого высокого звания, я даже не соблаговолила ответить Фабрицио. А когда-то он оказал мне благодеяние. Что он думает сейчас обо мне, одиноко сидя перед маленькой лампочкой?»

Взволнованная этой мыслью, Клелия с негодованием смотрела на ярко освещенные гостиные министра внутренних дел.

А придворные, толпившиеся вокруг двух этих модных красавиц в надежде принять участие в их беседе, рассуждали между собой:

— Никогда еще они не разговаривали так оживленно и так интимно. Может быть, герцогиня, неизменно стараясь ослабить ненависть к премьер-министру, подыскала для Клелии какую-нибудь блестящую партию.

Эти догадки подтверждались обстоятельством, которого придворным еще не приходилось наблюдать: в глазах Клелии было больше огня и даже, если можно так сказать, больше страсти, чем у герцогини. Сама герцогиня тоже была удивлена и, к чести ее надо сказать, восхищена совершенно новой для всех прелестью, открывшейся в юной отшельнице. Целый час она смотрела на Клелию с удовольствием, которое довольно редко доставляет женщине красота соперницы. «Но что же случилось? — думала она. — Никогда еще Клелия не была так хороша и, можно сказать, так трогательна. Не пробудилось ли в ней сердце? Но в таком случае это, несомненно, несчастная любовь, — в ее непривычном оживлении сквозит мрачная скорбь… Однако несчастная любовь молчалива. Может быть, Клелия хочет успехами в свете вернуть чувство непостоянного

вздыхателя?» И герцогиня внимательно оглядела молодых людей, стоявших вокруг. Ни у кого она не обнаружила необычного выражения, — как всегда, на лицах их было написано более или менее удовлетворенное тщеславие.

«Что за чудеса! — думала герцогиня, досадуя, что не может разгадать тайны. — Где же граф Моска? Тут нужен его тонкий ум. Нет, я не ошиблась: Клелия смотрит на меня таким пристальным взглядом, словно я представляю для нее какой-то особый интерес. Неужели она выполняет приказание отца, подлого низкопоклонника. Вот уж не думала, что и она, эта юная, чистая душа, способна унижаться ради корыстных целей. Может быть, генерал Фабио Конти намерен обратиться к графу с какой-нибудь важной просьбой?»

Около десяти часов вечера один из друзей герцогини подошел к ней, что-то сказал вполголоса; она вся побледнела. Клелия взяла ее руку и крепко пожала.

— Благодарю. Теперь я все поняла… у вас прекрасная душа, — сказала герцогиня, с трудом овладев собой.

Но она еле выговорила эти немногие слова. Зато она щедро расточала улыбки хозяйке дома, которая, встав с места, провожала ее до дверей го-

стиной, — такой почет обычно оказывали лишь принцессам, и он казался герцогине жестокой насмешкой в новом ее положении. Она расточала улыбки графине Дзурла, но, несмотря на все свои усилия, не могла сказать ей ни одного слова.

Глаза Клелии наполнились слезами, когда она смотрела, как герцогиня проходит по многолюдным гостиным, где собралось самое блестящее общество. «Что будет с этой несчастной женщиной, когда она окажется одна в карете? — думала Клелия. — Предложить проводить ее? Нет, это будет навязчивостью. Я не смею… Но каким было бы утешением для несчастного узника в его тесной камере, освещенной тусклой лампочкой, узнать, как страстно его любят! Его обрекли на страшное одиночество. А мы-то здесь проводим время в роскошных гостиных. Какой ужас! Есть ли хоть малейшая возможность переслать ему записку! Боже мой! Ведь это значило бы предать отца; его положение между двумя партиями так сложно! Что с ним будет, если на него обратится страстная ненависть герцогини, а герцогиня направляет волю премьер-министра. Граф Моска всесилен в трех четвертях государственных дел. С другой стороны, принц непрестанно следит за тем, что происходит в крепости, он шутить не любит, от

страха он стал жестоким… Но Фабрицио… его-то больше всех надо пожалеть!.. (Клелия уже не говорила „синьор дель Донго“.) Ему грозит опасность страшнее, чем потеря доходного места!.. А герцогиня!.. Какое грозное чувство — любовь!.. Почему же все эти великосветские лжецы говорят о ней, как об источнике счастья? Все жалеют пожилых женщин, что они уже не могут испытывать и внушать любовь… Никогда мне не забыть того, что я увидела сейчас. Какая внезапная перемена! Взгляд прекрасных сияющих глаз герцогини вдруг померк и стал таким мрачным, когда маркиз Н*** принес ей роковую весть! Очевидно, Фабрицио достоин большой любви».

Эти размышления захватили всю душу Клелии, и докучливые комплименты окружающих были ей еще неприятнее, чем обычно. Чтобы избавиться от них, она подошла к открытому окну, задрапированному шелковой занавеской. Она надеялась, что никто не дерзнет последовать за ней в этот уединенный уголок. Окно выходило в сад, где прямо в грунте росли апельсиновые деревья, — правда, зимой над ними приходилось устраивать навес. Клелия с наслаждением вдыхала запах померанцевых цветов, и понемногу спокойствие вливалось в ее душу. «У него,

несомненно, очень благородная наружность, — думала она. — Но все же как мог он внушить столь глубокую страсть такой гордой женщине?.. Она с достоинством отвергла ухаживания принца, а ведь стоило ей принять их, она бы была королевой в его владениях… Отец говорит, что государь так был захвачен страстью, что думал даже жениться на ней, если бы стал когда-нибудь свободен… А Фабрицио она любит уже давно! Лет пять прошло с тех пор, как мы встретились около озера Комо… Да, пять лет, — подтвердила она, подумав немного. — Меня уже тогда это поразило, хотя я была еще девочкой и многого не замечала ребяческим взором. Но как явно и мать и она восторгались тогда Фабрицио!..»

Клелия с радостью убедилась, что никто из молодых людей, усердно старавшихся занять ее беседой, не осмелился подойти к балкону. Один из них, маркиз Крешенци, сделал было несколько шагов в ее сторону, но остановился возле карточного стола.

«Если б у меня, — думала Клелия, — под окошечком моей комнаты, единственной во всем комендантском дворце, где бывает тень, росли такие же красивые апельсиновые деревья, мои мысли не были бы так печальны. А у меня всегда

перед глазами только огромные тесаные камни башни Фарнезе. Ах! — испуганно воскликнула она, — может быть, как раз его туда и заперли! Поскорее бы поговорить с доном Чезаре. Он не такой суровый, как отец. Когда мы будем возвращаться в крепость, отец, наверно, ничего мне не скажет, но я все узнаю от дона Чезаре… У меня есть деньги, я могла бы купить несколько апельсиновых деревьев в кадках; если поставить их под окном вольеры, они скроют от меня каменные глыбы башни Фарнезе. Отныне она будет мне еще ненавистнее, ведь я теперь знаю одного из тех, кого она лишает солнечного света!.. Я видела его три раза: один раз на придворном балу, в день рождения принцессы, потом сегодня, когда его вели жандармы, а этот гнусный Барбоне добивался, чтобы на него надели кандалы, и еще в тот раз, около Комо, пять лет назад. Каким он тогда казался сорви-головой, как дерзко смотрел на жандармов и как странно переглядывался со своей матушкой и теткой. Несомненно, в тот день с ними произошло что-то необычайное, у них была какая-то тайна; помнится, у меня явилась мысль, что он тоже боится жандармов… — Клелия вздрогнула. — Но какая я была глупая. Конечно, уже в то время герцогиня была увлечена им…

А как он нас смешил, когда обе дамы, несмотря на явное свое беспокойство, немного освоились с незнакомой спутницей!.. И вот сегодня он заговорил со мною, а я ничего не ответила ему... Ах, неопытность и застенчивость... как часто вы бываете похожи на самую подлую трусость. Вот я какая, хотя мне уже двадцать первый год!.. Совершенно правильно я думала, что мне надо уйти в монастырь. Я гожусь только для жизни в четырех стенах... „Достойная дочь тюремщика!“ — вот что он, наверно, думает обо мне. Он меня презирает, и лишь только ему удастся передать письмо герцогине, он ей расскажет, как я неуважительно обошлась с ним, и герцогиня будет считать меня лицемерной девчонкой и думать, что нынче вечером она напрасно поверила моему сочувствию...»

Клелия заметила, что кто-то приближается, очевидно намереваясь встать рядом с ней у кованых перил окошка; она была раздосадована, хотя и корила себя за это; мечтания, от которых ее хотели оторвать, не лишены были прелести. «Что за назойливость! — думала она. — Ну, погодите, хороший прием я окажу вам!» Она бросила высокомерный взгляд на приближающуюся фигуру и увидела архиепископа, — он робко,

бочком приближался к окну. «У этого святого человека совсем нет такта, — подумала она. — Зачем докучать бедной девушке? Ведь покой — единственная моя отрада!» Она поклонилась архиепископу почтительно, но взглянула на него надменно, а прелат вдруг спросил:

— Синьорина, вы знаете ужасную новость?

Глаза Клелии сразу приняли иное выражение, но, следуя стократным наставлениям отца, она ответила с видом полного неведения, хотя взгляд ее говорил противоположное:

— Нет, ничего не знаю, монсиньор.

— Мой главный викарий, несчастный Фабрицио дель Донго, не более, чем я, повинный в смерти этого разбойника Джилетти, арестован в Болонье, где он жил под именем Джузеппе Босси; его заключили в вашу крепость, а доставили его туда прикованным цепью к тележке, на которой его везли. Некий тюремщик Барбоне, помилованный преступник, убивший своего родного брата, вздумал подвергнуть Фабрицио физическому насилию, но мой юный друг не из тех людей, кто позволяет оскорблять себя. Он поверг к своим ногам гнусного противника, и за это его посадили в подземный каземат, вырытый на глубине двадцати футов, да еще надели на него кандалы.

— Кандалов не надели!

— А-а! Вам кое-что известно! — воскликнул архиепископ, и с его старческого лица исчезло выражение глубокого отчаяния. — Но надо спешить, сюда могут подойти и прервать нашу беседу. Будьте милосердны, согласитесь лично передать дону Чезаре мой пасторский перстень.

Девушка взяла перстень, но не знала, куда его спрятать, чтобы не потерять.

— Наденьте его себе на руку, на большой палец, — сказал архиепископ и сам надел ей перстень. — Могу я надеяться, что вы передадите перстень?

— Да, монсиньор.

— Обещайте сохранить в тайне то, что я сейчас вам скажу, даже если вы не сочтете для себя возможным исполнить мою просьбу.

— Даю слово, монсиньор, — ответила Клелия, но вся затрепетала, заметив, каким суровым и мрачным стало вдруг лицо архиепископа. — От нашего почтенного архиепископа я не могу ожидать приказаний, недостойных его или меня, — добавила она.

— Скажите дону Чезаре, что я поручаю ему моего духовного сына. Мне известно, что сбиры, арестовавшие Фабрицио, не дали ему времени

даже захватить с собою молитвенник, и я прошу дона Чезаре одолжить ему свой. И если ваш дядюшка пожелает послать завтра кого-нибудь ко мне, я заменю требник, который он вручит Фабрицио, другим. Я прошу также дона Чезаре передать монсиньору дель Донго перстень, который надет сейчас на этой прелестной руке.

Речь архиепископа прервало появление генерала Конти, предложившего дочери собираться домой. Произошел краткий разговор, в котором прелат проявил себя неплохим дипломатом. Совсем не упоминая о новом узнике крепости, он повел беседу таким образом, что мог без всякой натяжки вставить в нее моральные и политические сентенции, — так, например, он заметил, что в придворной жизни бывают критические минуты, надолго определяющие карьеру самых видных особ, и тогда особенно опасно сводить к «личной ненависти» политические разногласия, зачастую являющиеся лишь следствием разницы в положении. Разгорячившись от волнения, вызванного нежданным арестом Фабрицио, архиепископ даже сказал, что, конечно, всегда следует заботиться о своем служебном положении, но было бы большой неосторожностью навлечь на себя ярую ненависть потворством в таких делах,

которые никогда не забываются…

Когда генерал сел в карету рядом с дочерью, он сказал ей:

— Он, кажется, вздумал мне грозить… Грозить такому человеку, как я!..

Фабио Конти умолк и в течение двадцати минут не произнес больше ни слова.

Взяв у архиепископа его пасторский перстень, Клелия решила рассказать отцу, когда будет ехать с ним в карете, о той маленькой услуге, которой просил от нее монсиньор, но после слова «грозить», произнесенного очень гневным тоном, она уже не сомневалась, что отец отнимет у нее перстень; тогда она прикрыла перстень левой рукой и крепко сжала пальцы. Всю дорогу от министерства внутренних дел до крепости она размышляла, будет ли с ее стороны преступлением ничего не говорить отцу. Она была очень благочестива, очень робка, и сердце ее, обычно бившееся ровно, теперь неистово колотилось. Наконец, с бастиона над воротами крепости раздался оклик часового: «Кто идет?», а Клелия все еще не могла найти нужных слов, чтобы умилостивить отца, — настолько она боялась услышать отказ. Она не нашла таких слов и за то время, пока поднималась на триста шестьдесят

ступеней, ведущих ко дворцу коменданта.

Вернувшись домой, она поспешила переговорить со своим дядей, но он разбранил ее и отказался взять на себя какие-либо поручения.

16

— Ну вот! — воскликнул генерал, встретившись со своим братом, доном Чезаре. — Теперь герцогиня не пожалеет ста тысяч, чтобы устроить заключенному побег и оставить меня в дураках.

Но мы должны ненадолго покинуть Фабрицио в его тюрьме, устроенной на вышке Пармской крепости; его стерегут крепко, и, возвратившись к нему позднее, мы все еще найдем его там, хотя, может быть, несколько изменившимся. А сейчас нам прежде всего нужно заняться двором, где судьбу его должны решить хитросплетения сложных интриг и страстная любовь несчастной заступницы. Поднимаясь на триста девяносто ступеней башни Фарнезе, в темницу, находившуюся пред глазами коменданта, Фабрицио, который так страшился этой минуты, заметил, что он не успел даже и подумать о своем несчастье.

А герцогиня, возвратившись с вечера у графа Дзурла, жестом отпустила горничных и, не раздеваясь, бросилась на постель.

— Фабрицио! — громко воскликнула она. — «Фабрицио в руках наших врагов, и, может быть, из-за меня его отравят».

Как описать отчаяние, в которое впала, подведя такой итог, эта безрассудная женщина, раба своих непосредственных впечатлений, неведомо для себя до безумия любившая юного узника. Тут были и бессвязные крики, и порывы исступленной ярости, и судорожные движения, но ни единой слезы. Она отослала горничных, чтобы скрыть от них свои слезы, она думала, что разразится рыданиями, лишь только останется одна, но слезы — первое облегчение в великих горестях — как будто иссякли у нее. Эта гордая душа вся была во власти гнева и унизительного чувства бессилия перед принцем.

«Как я унижена, оскорблена! — ежеминутно восклицала она. — И мало того, жизнь Фабрицио в опасности, а я не могу отомстить! Нет, постойте, принц. Вы убиваете меня. Хорошо. Это в вашей власти. Но подождите, я тоже отниму у вас жизнь. Ах, Фабрицио!.. бедный мой Фабрицио, разве это поможет тебе?

Какая разница с тем днем, когда я хотела покинуть Парму, а ведь и тогда я считала себя несчастной… Какая слепота! Я тогда намеревалась всего лишь нарушить привычную, приятную жизнь и не видела, что близится событие, которое навсегда решит мою судьбу. А ведь если бы граф

не поддался привычной низкой угодливости царедворца и не опустил бы слова „несправедливый приговор“ в этой роковой записке, которую принц соизволил подписать из тщеславия, мы были бы спасены.

Надо признаться, скорее удача, чем ловкость, помогла мне подействовать на самолюбие принца угрозой покинуть его драгоценную Парму. Но тогда я могла это сделать, — я была свободна! А теперь? Боже мой, это ли не рабство? Теперь я связана и не в силах вырваться из этой гнусной клоаки. Ведь Фабрицио заточен в крепость, которая для множества благородных людей была преддверием смерти, а я больше не могу держать этого зверя в повиновении: он уже не боится, что я покину его берлогу! Он достаточно умен и понимает, что я никогда не решусь жить вдалеке от этой гнусной башни, к которой приковано мое сердце. Уязвленное самолюбие подскажет этому деспоту самые чудовищные замыслы, и нелепая их жестокость будет тешить его тщеславие. А вдруг он снова обратится к пошлому ухаживанию и скажет мне: „Удостойте милостями вашего покорного раба или же Фабрицио погибнет“. Ну что ж, старая история Юдифи!.. Да, но для меня она кончится только самоубийством, а для Фабрицио

— казнью. Дуралей наследник, будущий самодержец, и подлый палач Расси повесят Фабрицио как моего сообщника».

Герцогиня не могла сдержать громких стонов: сознание, что нет никакого выхода, терзало ее измученное сердце. Помутившийся ум не видел впереди ни малейшего просвета. Минут десять она металась, как безумная. На конец, это ужасное душевное состояние изнурило ее, истощив все жизненные силы, и она забылась коротким сном. Вдруг она вздрогнула и приподнялась на постели: ей приснилось, что принц приказал в ее присутствии отрубить голову Фабрицио. Каким диким, блуждающим взглядом озиралась она вокруг! Когда же убедилась, наконец, что около нее нет ни принца, ни Фабрицио, она снова упала навзничь и едва не лишилась чувств. Физическая ее слабость была так велика, что она не могла даже повернуться «Боже мой! Хоть бы умереть! — шептала она. — Нет, нет. Какая трусость! Покинуть Фабрицио в несчастье! У меня бред. Надо опомниться, вернуться к действительности рассмотрим хладнокровно положение, в которое я будто нарочно поставила себя. Ах, какая роковая опрометчивость! Решиться жить при дворе самодержавного государя, тирана, который

знает в лицо каждую из своих жертв! Любой их взгляд кажется ему вызовом, оскорблением его власти. К несчастью, ни я, ни граф не подумали об этом, когда переселились сюда из Милана. Я видела впереди утехи любезного двора, — что-то напоминающее прекрасные дни принца Евгения, хотя и менее блистательное.

Издали мы совсем не представляем себе, что такое власть деспота, знающего в лицо всех своих подданных. Внешняя форма деспотии как будто такая же, как и при ином строе: есть, например, судьи. Но все эти судьи похожи на Расси. А Расси — чудовище! По приказу принца он не постеснялся бы повесить родного отца и счел бы это вполне естественным. Он назвал бы это «своим долгом». Подкупить Расси? У меня нет на это средств. Что я, несчастная, могу ему предложить? Сто тысяч франков. Но, говорят, после неудачного покушения, когда небо, немилосердное к злосчастной Италии, отвратило от него удар кинжала, принц послал ему в шкатулке десять тысяч цехинов. Да и разве подкупишь его деньгами? До сих пор эта грязная душа видела лишь презрение в глазах людей, а теперь он наслаждается, видя в них страх и даже почтение. Он может сделаться министром полиции. Почему бы и нет? А тогда

три четверти населения этой страны будет ему льстить, раболепствовать перед ним, трепетать, как он сам трепещет перед государем.

Раз я не могу бежать из этой ненавистной Пармы, я должна хоть чем-нибудь помочь Фабрицио. Но если жить в одиночестве, запереться, предаться отчаянью, — что я тогда могу сделать для Фабрицио? Итак, терпи, «несчастная женщина»! Выполни свой долг, выезжай в свет, притворись, что больше не думаешь о Фабрицио. Притвориться, что я забыла тебя!.. Дорогой мой, ангел мой!»

При этих словах у герцогини полились слезы, — наконец-то она могла плакать. Час спустя, заплатив дань этой слабости человеческой, она несколько успокоилась, почувствовав, что мысли ее начинают проясняться.

«Найти бы ковер-самолет, — мечтала она, — похитить Фабрицио из крепости и укрыться с ним в каком-нибудь благодатном краю, где нас не могли бы преследовать, — например, в Париже. Вначале мы жили бы там на тысячу двести франков пенсиона, которые доверенный его отца высылает мне с такой смешной аккуратностью. Распродав свое имущество, я могла бы собрать сто тысяч франков». В воображении герцогиня представляла себе все подробности той жизни,

которую она вела бы в трехстах лье от Пармы, и это доставило ей несколько блаженных мгновений. «Там, — думала она, — он мог бы под вымышленным именем вступить на военную службу. В каком-нибудь полку храбрецов французов молодой синьор Вальсерра скоро заслужил бы добрую славу и наконец-то был бы счастлив».

Эти радужные картины вновь вызвали у нее слезы, но слезы уже приятные. Значит, счастье где-то еще существовало! Такое состояние длилось долго, — бедняжке страшно было думать об ужасной действительности. Но, наконец, когда занялась заря, обрисовав на посветлевшей полосе неба верхушки деревьев в саду, она пересилила себя.

«Через несколько часов, — подумала она, — я буду на поле сражения, мне придется действовать, а если что-нибудь возмутит меня, если принц заговорит со мной о Фабрицио, я не уверена, что мне удастся сохранить самообладание. Значит, надо сейчас же, не откладывая, „принять решение“. Если меня объявят государственной преступницей, Расси прикажет „изъять“ все, что находится в моем дворце. Первого числа этого месяца мы, с графом, как обычно, сожгли все бумаги, которыми могла бы злоупотребить, по-

лиция... А ведь граф — министр полиции, — вот забавно!.. У меня есть три бриллианта, довольно ценных. Завтра же Фульдженцио, бывший мой гребец в Грианте, поедет в Женеву и передаст их в надежные руки. Если Фабрицио когда-нибудь удастся бежать (боже великий, помоги мне! — и она перекрестилась), маркиз дель Донго, по своей несказанной низости, сочтет, конечно, грехом посылать деньги на пропитание человеку, которого преследует законный монарх, но Фабрицио получит тогда эти бриллианты, и у него будет кусок хлеба.

Надо порвать с графом. Встречаться с ним, видеться наедине после того, что случилось, просто немыслимо. Бедняга! Он совсем не злой, напротив; но он слабый человек. Это бескрылая душа, он не может подняться до нас. Фабрицио! Бедный мой! Если б ты мог хоть на минутку очутиться здесь, мы бы с тобою посоветовались, как предотвратить опасности, грозящие нам.

Трусливая осторожность графа будет расстраивать все мои планы, да и зачем губить его вместе с собою?.. Ведь тщеславный тиран вполне способен бросить меня в тюрьму. Меня объявят заговорщицей. Ничего нет легче как придать этому правдоподобие. Если меня посадят в кре-

пость и мне удастся благодаря золоту поговорить с Фабрицио хотя бы одно мгновение, мы с ним бестрепетно пойдем вместе на казнь. Но оставим эти безумные мысли! Расси посоветует принцу просто подсыпать мне яду: мое появление на улицах Пармы в телеге смертников, пожалуй, взволнует чувствительные сердца его дражайших подданных. Пустое! Опять роман! Что ж, нелепые мечтания простительны женщине, когда в действительности судьба ее так печальна. Во всем этом верно только то, что принц не пошлет меня на эшафот. Но ему очень легко бросить меня в тюрьму и держать там, — для этого он прикажет припрятать в каком-нибудь закоулке моего дворца подозрительные бумаги, как это было проделано с беднягой Л… А тогда достаточно будет трех судей, и даже не из самых подлых, ибо им представят „вещественные доказательства“ и дюжину *лжесвидетелей*… Следовательно, мне могут вынести смертный приговор, а принц по бесконечному своему милосердию, принимая во внимание, что я когда-то имела честь состоять при его дворе, смягчит приговор и заменит смертную казнь десятью годами заключения в крепости. Я же, верная непокорному своему нраву, о котором столько глупостей говорили

маркиза Раверси и другие мои враги, храбро приму яд. По крайней мере публика благосклонно поверит этому. Но бьюсь об заклад, что Расси явится ко мне в тюрьму и любезно преподнесет мне от имени принца флакончик стрихнина или перуджийского опиума.

Да, надо совершенно открыто порвать с графом, я не хочу губить его вместе с собою — это было бы гадко, бедняга искренне любил меня. Только глупо было с моей стороны верить, что у истого придворного достанет души, чтобы любить по-настоящему. Принц, конечно, найдет какой-нибудь предлог запереть меня в тюрьму — он испугается, как бы я не склонила общественное мнение в пользу Фабрицио. Граф — человек чести и немедленно сделает то, что придворные тупицы в изумлении назовут безумием: он покинет двор. Я бросила вызов монаршей власти в тот вечер, когда потребовала от принца записку. Теперь я всего могу ждать от его уязвленного самолюбия. Разве прирожденный венценосец может когда-нибудь забыть те минуты, которые я заставила его пережить тогда? Итак, если я порву с графом, он окажется в наилучшем положении для помощи Фабрицио. А вдруг мое решение приведет его в отчаяние и он захочет отомстить? Нет, что я!

Ему и в голову не придет такая мысль. Ему чужда глубокая низость нашего принца. Граф способен, скорбя душой, скрепить своей подписью гнусный декрет, но у него все же есть чувство чести. Да и за что он может мстить мне? За то, что я пять лет любила его, не омрачив ни малейшим оскорблением его любовь, а теперь говорю ему: „Дорогой граф, я имела счастье любить вас, но пламя это угасло. Я больше не люблю вас, однако сохраню к вам глубокое уважение, зная ваше сердце, и вы всегда будете лучшим моим другом“.

Что может порядочный человек ответить на такое искреннее заявление?

Я возьму другого любовника — по крайней мере в свете будут так думать. И я скажу этому любовнику: „В сущности государь прав, что наказал Фабрицио за сумасбродную выходку, но в день своего тезоименитства он помилует его и вернет ему свободу“. Так я выиграю полгода.

Благоразумнее всего, пожалуй, взять в любовники этого продажного судью, этого подлого палача, Расси… такая честь откроет ему доступ в порядочное общество… Фабрицио, дорогой, прости, не могу… это свыше моих сил. Как! Изверг, еще весь покрытый кровью графа П. и Д.! Едва он приблизится ко мне, я лишусь чувств от ужаса…

Нет, скорее я схвачу нож и всажу его в это гнусное сердце… Нет, не требуй от меня невозможного!

Да, главное — позабыть Фабрицио. И ни тени гнева против принца. Казаться веселой, как прежде; веселость моя будет приятна этим грязным душам: во-первых, ее сочтут покорностью монаршей воле, а во-вторых, я воздержусь от насмешек над ними и стану превозносить их маленькие достоинства, — графу Дзурла, например, я расхвалю белое перо на его треуголке; он посылал за этим пером курьера в Лион и теперь так гордится им.

Выбрать любовника в лагере Раверси?.. Если граф подаст в отставку, эта партия придет к власти; кого-нибудь из приятелей Раверси назначат комендантом крепости, а Фабио Конти сделается премьер-министром. Но как же принц, человек светский, человек неглупый и привыкший к превосходному советчику — графу, как будет он обсуждать дела с этим ослом, с этим болваном, который всю жизнь занят был разрешением важнейшего вопроса: сколько пуговиц, семь или девять, должно быть спереди на солдатском мундире в лейб-гвардии его высочества? Все эти грубые скоты завидуют мне — вот что опасно для тебя, милый мой Фабрицио! Ведь эти грубые скоты решат и твою и мою участь. Итак, не допус-

кать, чтоб граф подал в отставку; пусть служит, хотя бы ему пришлось терпеть унижения! Он воображает, что подать в отставку — величайшая жертва, какую только может принести премьер-министр! И всякий раз, как зеркало говорит ему, что он стареет, он предлагает мне эту жертву. Следовательно, полный разрыв, а примирение лишь в том случае, если не будет иного средства удержать его на министерском посту. Конечно, я расстанусь с ним очень дружелюбно; но после того как он с раболепной угодливостью опустил слова „несправедливый приговор“, я несколько месяцев не в силах буду встречаться с ним, иначе я возненавижу его. Зачем мне был его ум в тот решающий вечер? Пусть бы он только писал под мою диктовку и написал именно те слова, „которых добилась я“ силою своего характера. Нет, привычка к низкопоклонству взяла верх На другой день он меня уверял, что просто не мог дать на подпись государю нелепую бумагу, что тут требовался „указ о помиловании“. Боже мой, разве можно церемониться с такими людьми, как эти тщеславные и злопамятные изверги, которые зовутся Фарнезе?!..»

Мысль эта оживила в герцогине весь ее гнев.

«Принц обманул меня, — думала она. — И так

подло обманул!.. Этому человеку нет оправдания: при всей остроте его ума, сообразительности, здравом смысле у него низкие страсти. Двадцать раз мы с графом замечали, что он становится грубым и подлым, как только заподозрит, что его хотят оскорбить. Но ведь преступление Фабрицио не имеет отношения к политике, — это самое обыкновенное убийство, такие случаи сотнями насчитываются в счастливых владениях его высочества; вдобавок, граф мне поклялся, что он собрал точные сведения, подтверждающие невиновность Фабрицио.

Джилетти не лишен был храбрости; оказавшись в двух шагах от границы, он вдруг поддался соблазну избавиться от счастливого соперника».

Герцогиня долго размышляла, есть ли основания верить в виновность Фабрицио, — конечно, она не сочла бы очень тяжким грехом, если б такой знатный человек, как ее племянник, расправился с наглым гаером, но тут в отчаянии своем она смутно почувствовала, что ей придется бороться, доказывая невиновность Фабрицио. «Нет, — решила она, наконец, — вот неопровержимое доказательство: как и покойный Пьетранера, он всегда во всех карманах носит при себе оружие, а в тот день у него была только

дрянная охотничья одностволка, да и ту он взял у кого-то из землекопов.

Я ненавижу принца за то, что он обманул меня, гнусно обманул: написал записку о помиловании, а после этого приказал похитить несчастного мальчика в Болонье. Но он поплатится за это!»

Около пяти часов утра герцогиня, совершенно разбитая долгим пароксизмом отчаяния, позвонила своим горничным; они подняли крик, увидев ее: она лежала на кровати одетая, в бриллиантах, бледная, как полотно, с закрытыми глазами, словно покойница на пышно убранном смертном ложе. Они подумали, что госпожа их в глубоком обмороке, но вспомнили, что она сама сейчас только позвонила им. Время от времени скупые слезы стекали по ее неподвижному лицу; она знаками приказала раздеть ее и уложить в постель.

После вечера у министра Дзурла граф дважды приезжал к герцогине и не был принят; тогда он написал; что хочет попросить у нее совета, как ему поступить: неужели остаться на министерском посту, проглотив оскорбление, которое ему нанесли? Граф добавил: «Фабрицио невиновен, но, даже будь он виновен, как смели его арестовать, не предупредив меня, его признанного

покровителя?»

Герцогиня прочла письмо лишь на другой день. Граф не поклонялся добродетели. Можно добавить, что добродетель, как ее понимают либералы (то есть стремление к счастью большинства), казалась ему лицемерием. Он считал себя обязанным прежде всего добиваться счастья для графа Моска делла Ровере, но он был преисполнен чувства чести и вполне искренне говорил об отставке. Ни разу в жизни он не солгал герцогине. Она, впрочем, не обратила ни малейшего внимания на его письмо. Она приняла решение, тяжкое решение «притворяться, будто забыла Фабрицио», и после этого насилия над собой ей все было безразлично.

На следующее утро граф раз десять приезжал во дворец Сансеверина, и около полудня герцогиня, наконец, приняла его. Увидев ее, он был потрясен. «Ей сорок лет, — подумал он, — а еще вчера она была так молода, так блистательна. Все говорят, что во время долгой беседы с Клелией Конти она казалась такой же юной, как эта девушка, но много пленительней». В звуке голоса герцогини, в тоне речей произошла такая же разительная перемена, как и в ее наружности. От этого тона, бесстрастного, без единой искорки гнева, равно-

душного к делам человеческим, он побледнел: ему вспомнился один его покойный друг, который перед смертью, получив уже последнее напутствие, пожелал побеседовать с ним.

Лишь через несколько минут герцогиня нашла в себе силы заговорить. Она подняла на него угасший взор.

— Расстанемся, дорогой граф, — сказала она слабым голосом, но очень явственно и стараясь говорить как можно мягче. — Расстанемся. Так надо. Видит бог, вам не в чем упрекнуть меня за все пять лет нашей близости… Благодаря вам я вела блестящую жизнь, а не прозябала в Гианте, где скука и печаль были моим уделом. Без вас старость пришла бы ко мне на несколько лет раньше. Но и я со своей стороны стремилась дать вам счастье. Именно потому, что вы мне дороги, я хочу расстаться с вами «полюбовно», как говорят французы.

Граф не понял; ей пришлось повторить это несколько раз. Он побледнел как смерть и, бросившись на колени возле ее изголовья, излил в словах все, что глубокое изумление, а затем жестокое отчаяние могли подсказать умному и страстно влюбленному человеку. То и дело он предлагал подать в отставку и последовать

за своей подругой в какой-нибудь уединенный уголок, за тридевять земель от Пармы.

— Вы осмеливаетесь предлагать мне уехать, покинуть Фабрицио? — воскликнула она, приподнимаясь с подушек.

Но заметив, что имя Фабрицио произвело удручающее впечатление на графа, она после минутного молчания добавила, слабо сжимая ему руку:

— Дорогой друг, я не стану уверять, что любила вас самозабвенно, с восторженной страстью, да и возможна такая любовь, думается мне, только до тридцатилетнего возраста, а я уже давно перешла за эту грань. Вам, наверно, говорили, что я люблю Фабрицио, — я знаю, такие слухи распространяли при этом *злобном* дворе (при слове «злобном» глаза ее блеснули, впервые с начала беседы). Клянусь вам перед богом, клянусь жизнью Фабрицио, никогда, между нами не было ничего такого, что хоть в малейшей степени недопустимо в присутствии третьего лица. Я не смею сказать, что люблю его как сестра, — я люблю его, если можно выразиться, по инстинкту. Я люблю в нем его мужество, такое благородное, такое естественное, что он, пожалуй, сам не замечает его. Помню, что мое восхищение им началось с тех пор, как он

вернулся после Ватерлоо. Он был еще совсем ребенок, хотя ему минуло семнадцать лет; больше всего его беспокоила мысль: действительно ли он побывал в сражении, и если да, то может ли он говорить, что сражался, хотя и не участвовал ни в одной атаке на какую-нибудь батарею или колонну неприятеля. Мы подолгу обсуждали с ним эти важные вопросы, и тогда я начала различать в нем милое чистосердечие. Мне открылась его высокая душа. Какую искусную ложь преподнес бы на его месте благовоспитанный светский юноша! Помните, я не могу быть счастлива, если он несчастлив. Слова эти верно рисуют все, что чувствует мое сердце, по крайней мере я сама ничего иного в нем не вижу.

Ободрившись от искреннего, задушевного тона этих речей, граф хотел поцеловать у нее руку, но герцогиня с содроганием отняла ее.

— Все кончено, — сказала она, — мне тридцать семь лет, я на пороге старости, я уже чувствую всю ее безнадежность и, быть может, близка к могиле. Говорят, это грозная минута, а между тем мне она кажется желанной. Я испытываю худший признак старости: сердце мое охладело от этого ужасного несчастья, я больше не в силах любить. Для меня, дорогой граф, вы лишь тень

того человека, который был когда-то мне дорог. Скажу больше: только из признательности я говорю с вами таким языком.

— Что будет со мною? — твердил ей граф. — Я-то люблю вас еще более страстно, чем в первые дни, когда встретил вас в Ла Скала.

— Признаюсь вам, дорогой граф, что говорить о любви кажется мне скучным и даже неприличным. Ну, — добавила она, тщетно пытаясь улыбнуться, — мужайтесь. Будьте самим собой: человеком умным, рассудительным, умеющим приноровиться к обстоятельствам; будьте со мною тем, кого справедливо видят в вас посторонние: самым тонким, искусным политиком из всех деятелей Италии за многие века.

Граф поднялся и несколько мгновений молча шагал по комнате.

— Это невозможно, дорогая, — сказал он, наконец. — Меня терзает страсть самая неистовая, а вы предлагаете мне внять голосу рассудка. Нет у меня больше рассудка.

— Не надо говорить о страсти, прошу вас, — сухо сказала она, и в первый раз голос ее выразил какое-то чувство.

Граф, невзирая на собственное горе, попытался утешить ее.

— Принц обманул меня! — воскликнула она, не отвечая на доводы, которыми Моска хотел внушить ей надежду. — Он обманул меня самым недостойным образом!

И мгновенно исчезла ее смертельная бледность. Но граф заметил, что даже в эту минуту исступленной ненависти у нее не было сил поднять руки.

«Боже мой! Возможно, она просто больна… Но тогда это начало какого-то тяжкого недуга». И глубоко встревоженный, он предложил позвать знаменитого Радзори, лучшего врача в Парме и во всей Италии.

— Вы, стало быть, хотите доставить чужому человеку удовольствие узнать, как велико мое отчаяние? Что это — совет предателя или друга?

И она посмотрела на него каким-то странным взглядом.

«Конец! — подумал он с ужасом. — Она разлюбила меня и даже не находит во мне самой обыкновенной порядочности».

— Послушайте, — торопливо заговорил он, — я прежде всего хотел выяснить подробности этого ареста, повергшего нас в отчаяние. И странное дело! Я до сих пор ничего как следует не знаю. Я приказал опросить жандармов, находившихся

на ближайшей почтовой станции; они видели, как из Кастельнуово привезли арестованного, и получили распоряжение конвоировать седиолу. После этого я тотчас послал Бруно, — а вам известно его рвение и преданность; ему приказано проехать от станции к станции и разузнать, где и как был арестован Фабрицио.

Едва герцогиня услышала имя Фабрицио, лицо ее судорожно передернулось.

— Простите, друг мой, — сказала она графу, как только была в силах заговорить. — Подробности эти очень интересуют меня. Расскажите все как можно обстоятельнее.

— Так вот, синьора, — заговорил граф, пытаясь принять беспечный тон, чтобы хоть немного ободрить ее. — Я хочу послать надежного человека и через него прикажу Бруно доехать до Болоньи: может быть, как раз там и схватили нашего юного друга. Когда он писал вам в последний раз?

— Во вторник, пять дней назад.

— Было письмо вскрыто на почте?

— Нет, не видно, чтобы его вскрывали. Письмо, надо вам сказать, было на дрянной бумаге, адрес написан женской рукой, и послано оно на имя старухи прачки, родственницы моей горничной.

Прачка воображает, что это какая-то любовная интрига, — Чекина платит ей за доставку писем, ничего не объясняя.

Граф принял вполне деловой тон и стал обсуждать с герцогиней, в какой день могли схватить Фабрицио в Болонье. При всей своей тактичности он только тут додумался, что ему следовало держаться именно такого тона: подробности эти заинтересовали несчастную женщину и, казалось, немного отвлекали ее от горя. Не будь граф так влюблен, он бы понял это сразу же, как вошел в комнату. Вскоре герцогиня отослала его, для того чтобы он немедленно отправил верному Бруно новые распоряжения. В разговоре попутно встал вопрос, был ли уже вынесен приговор, когда принц подписал письмо к герцогине. Джина поспешила воспользоваться этим поводом.

— Я не хочу упрекать вас, — сказала она графу, — за то, что в записке, которую вы представили принцу на подпись, слова «несправедливый приговор» отсутствовали, — в вас заговорил инстинкт придворного, интересы вашего повелителя вы безотчетно поставили выше интересов вашей подруги. Свои действия вы уже давно предоставили в мое распоряжение, но не в вашей власти изменить свою натуру. У вас не только

большие таланты для роли министра, в вас сидит инстинкт царедворца. Опустив в письме слово *несправедливый*, вы погубили меня, но я далека от упреков; всему виною инстинкт, а не ваша воля.

Запомните, — добавила она совсем иным тоном и приняла повелительный вид. — Запомните, что я совсем не удручена арестом Фабрицио, не имею ни малейшего желания покинуть Парму и полна почтения к принцу. Вот что вы должны говорить, а вот что я хочу сказать вам: я намерена впредь действовать по своему разумению и потому хочу расстаться с вами полюбовно, то есть как добрый, старый друг. Считайте, что мне шестьдесят лет, молодость умерла во мне, ничто в мире не может больше увлечь меня, я больше не могу любить. Но я буду еще несчастнее, чем теперь, если из-за меня пострадает ваша карьера. Для моих планов мне, возможно, придется сделать вид, будто я взяла себе молодого любовника; пусть это не огорчает вас. Могу поклясться счастьем Фабрицио, — и она помолчала мгновение, произнеся это имя, — ни разу я не нарушила верности вам за все пять лет. Срок очень долгий! — сказала она, пытаясь улыбнуться; бледное лицо ее дрогнуло, но губы не могли раздвинуться. — Клянусь, никогда у меня не было ни такого желания, ни

помысла. Ну, теперь все сказано. Оставьте меня.

Граф вышел из дворца Сансеверина в отчаянии. Он видел, что герцогиня бесповоротно решила расстаться с ним, а никогда еще он не любил ее так страстно. Нам придется не раз подчеркивать подобные странности, ибо за пределами Италии они немыслимы. Возвратившись домой, граф разослал до шести нарочных с письмами по дорогам, ведущим в Кастельнуово и в Болонью. «Но это еще не все, — думал бедняга граф, — принцу может прийти фантазия казнить несчастного юношу, чтобы отомстить герцогине за дерзкий тон, который она позволила себе с ним в тот вечер, когда было написано роковое письмо. Я чувствовал, что она переступила тот последний предел, за который никогда нельзя выходить, и, пытаясь исправить ее промах, я сделал несказанную глупость: опустил слова „несправедливый приговор“ — единственное, что связывало принца... Да нет, разве этих людей может что-нибудь связать? Несомненно, это была величайшая ошибка в моей жизни. Я отдал на волю случая все, чем жизнь мне дорога. Теперь нужно умелыми действиями исправить последствия такой опрометчивости. Но если я ничего не добьюсь, даже поступившись немного своим достоин-

ством, я брошу этого деспота. Посмотрим, что он будет делать без меня при своих притязаниях на высокую политику и поползновениях стать конституционным королем Ломбардии. Фабио Конти — дурак набитый, а у Расси только один талант: с соблюдением законных формальностей вешать людей, не угодных власти».

Приняв твердое решение отказаться от министерского поста, если расправа с Фабрицио не ограничится заключением в крепость, граф подумал: «Пусть даже безрассудный вызов, брошенный тщеславию этого человека, лишит меня счастья, по крайней мере я сохраню свою честь… На министерский портфель я махнул рукой, а значит, могу позволить себе сколько угодно таких поступков, которые нынче утром счел бы недопустимыми. Например, я попытаюсь сделать все, что доступно человеческим силам, чтобы устроить побег Фабрицио… Боже мой! — воскликнул про себя граф, прерывая свои размышления, и глаза его широко раскрылись, словно перед ним нежданно возникло видение счастья. — Герцогиня ни словом не намекнула о побеге. Неужели она впервые в жизни отступила от обычной своей искренности? Может быть, в этом разрыве таится желание, чтоб я изменил принцу. Господи! Да в

любую минуту!»

И взгляд графа вновь принял присущее ему тонкое, сардоническое выражение. «Милейший фискал Расси получает от государя плату за приговоры, которые бесчестят нас во мнении Европы, но такой человек не откажется получить плату и от меня, а за это выдаст мне секреты своего господина. У этого скота есть любовница и духовник, но любовница его особа самого низкого пошиба, я не могу вступать с ней в переговоры, — на другой же день она расскажет о нашей встрече всем соседним зеленщицам».

Возродившись от проблеска надежды, граф направился к собору, сам удивляясь легкости своей поступи; он улыбнулся, несмотря на свою печаль: «Вот что значит не быть больше министром». Собор, как и многие итальянские церкви, служил проходом между двумя улицами. Граф издали увидел одного из старших викариев архиепископа, направлявшегося к клиросу.

— Раз мне посчастливилось вас встретить, — сказал ему граф, — надеюсь, вы будете добры избавить подагрика от утомительного труда взбираться по лестнице к его преосвященству. Я буду бесконечно обязан ему, если он соблаговолит спуститься в ризницу.

Архиепископ пришел в восторг от этой просьбы: ему многое надо было сказать министру относительно Фабрицио. Но министр, догадываясь, что это «многое» — лишь пустые фразы, не стал его слушать.

— Скажите, что за человек аббат Дуньяни, викарий церкви Сан-Паоло?

— Ограниченный ум и большое честолюбие, — ответил архиепископ, — очень мало щепетильности и крайняя бедность, так как все съедают страстишки.

— Черт побери, монсиньор! — воскликнул министр. — Вы живописуете, как Тацит! — и, засмеявшись, простился с архиепископом.

Возвратясь в министерство, он приказал немедленно послать за аббатом Дуньяни.

— Вы духовник моего дражайшего друга, главного фискала Расси. Не желает ли он что-нибудь сообщить мне? — И граф без лишних слов и церемоний отослал Дуньяни.

17

Граф уже не считал себя министром. «Посмотрим, — сказал он мысленно, — сколько можем мы держать лошадей, когда попадем в опалу, — ведь так будут называть мою отставку». И он произвел точный подсчет своего состояния. Вступая в министерство, он имел 80 000 франков; теперь, подведя итог, он, к великому своему удивлению, обнаружил, что его состояние не достигает и 500 000 франков. «Значит, у меня будет не больше двадцати тысяч франков годового дохода, — подумал он. — Надо сознаться, что я весьма нерасчетливый человек! А ведь любой буржуа в Парме уверен, что у меня сто пятьдесят тысяч ливров доходу! Принц же в этом смысле не отстает от любого буржуа. Когда меня увидят в убожестве, все будут говорить, что я ловко умею скрывать свое богатство. Ну, не беда! — воскликнул он. — Я еще месяца три пробуду министром и удвою свое состояние».

В этих соображениях граф увидел предлог написать герцогине и с жадностью ухватился за него, но в оправдание своей смелости при новых их отношениях заполнил письмо цифрами и

подсчетами. «У нас будет только двадцать тысяч годового дохода, — писал он, — но на такие средства мы вполне можем прожить в Неаполе все трое: Фабрицио, вы и я. У нас с Фабрицио будет одна верховая лошадь на двоих…» Лишь только министр отослал письмо, доложили о генеральном фискале Расси. Граф оказал ему прием весьма пренебрежительный, граничивший с дерзостью.

— Что это, сударь? — сказал он. — Вы приказали схватить в Болонье заговорщика, которому я покровительствую; мало того, вы собираетесь отрубить ему голову и ничего мне об этом не сообщаете! Знаете ли вы по крайней мере имя моего преемника? Кто он? Генерал Конти или вы сами?

Расси растерялся. Он не имел привычки к большому свету и не мог понять, шутит граф или говорит серьезно; он сильно покраснел и пробормотал что-то невразумительное. Граф смотрел на него, наслаждаясь его замешательством. Вдруг Расси встрепенулся и с полной непринужденностью, улыбаясь будто Фигаро, пойманный с поличным графом Альмавива, воскликнул:

— Ей-богу, граф, я не буду ходить вокруг да около. Что вы пожалуете мне, ваше сиятельство, если я на все ваши вопросы отвечу, как на духу?

— Крест святого Павла (это пармский орден)

или деньги, если вы изобретете предлог для денежной награды.

— Лучше крест святого Павла, — этот орден дает дворянство.

— Как, милейший фискал, вы еще придаете какое-то значение нашему жалкому дворянскому званию?

— Будь я дворянином, — ответил Расси с циническим бесстыдством, достойным его ремесла, — будь я дворянином, родственники тех людей, которых я отправляю на виселицу, меня ненавидели бы, но не презирали.

— Ну хорошо, — сказал граф. — Я вас спасу от презрения, а вы избавьте меня от неведения. Что вы намерены сделать с Фабрицио?

— Честное слово, принц в большом замешательстве. Он боится, что, поддавшись чарам прекрасных очей Армиды[97] (простите меня за нескромность, но это подлинные слова государя), — да, поддавшись чарам прекрасных очей, пленивших и его самого, вы, не задумываясь, бросите его, а ведь только вы и способны справиться с ломбардскими делами. Скажу больше — тут

---

[97] Примечания: 97

Армида — волшебница, героиня поэмы Тассо «Освобожденный Иерусалим»; красотой своей она покорила Ринальдо, одного из героев поэмы, и тот покинул войско крестоносцев.

для вас представится случай получить нечто такое, за что, право, стоит мне дать крест святого Павла, — добавил Расси, понизив голос. — Принц готов пожаловать вам в качестве государственной награды прекрасное поместье стоимостью в шестьсот тысяч франков — из земель удельного ведомства, или денежный подарок в триста тысяч экю, если вы согласитесь не вмешиваться в судьбу Фабрицио дель Донго или хотя бы не говорить с принцем об этом деле приватно.

— Я ожидал чего-нибудь получше, — заметил граф. — Не вмешиваться в дело Фабрицио — это означает поссориться с герцогиней.

— Ну да, принц так и сказал. Он, между нами говоря, ужасно разгневан на герцогиню. Только он боится, что в виде возмещения за разрыв с этой прелестной дамой вы, пожалуй, попросите, поскольку вы теперь овдовели, руки его двоюродной сестры, старой принцессы Изотты, которой всего лишь пятьдесят лет.

— Он угадал! — воскликнул граф. — Наш повелитель самый умный человек во всех его владениях.

Никогда графу даже в голову не приходила нелепая мысль жениться на старой принцессе, тем более что придворный этикет нагонял на

него тоску смертную. Он принялся постукивать золотой табакеркой по мраморному столику, стоявшему возле его кресла. Расси усмотрел в этом признак смущения, возможность выгодной сделки; глаза его заблестели.

— Уж будьте так добры, граф, — воскликнул он, — если вы пожелаете принять поместье в шестьсот тысяч франков или денежную награду, прошу вас, ваше сиятельство, возьмите в посредники только меня. А я берусь, — добавил он, понизив голос, — добиться увеличения денежной награды или прирезки к пожалованной земле довольно значительных лесных угодий. Если вы, ваше сиятельство, согласитесь помягче, поосторожнее говорить с принцем о том сопляке, которого засадили за решетку, пожалуй, вдобавок к поместью благодарное отечество наградит вас герцогским титулом. Повторяю, ваше сиятельство, принц сейчас ненавидит герцогиню, но сам до того растерян, что мне иной раз кажется, нет ли здесь какой-нибудь тайны, о которой он не решается сказать мне. В сущности это для нас золотое дно, при условии, что я буду продавать вам самые сокровенные секреты государя, а я смело могу это делать, так как он считает меня вашим заклятым врагом. В конце концов если он и

злится на герцогиню, то, как и все мы, понимает, что только вы один в состоянии осуществить его заветные замыслы, касающиеся Миланских владений. Разрешите, ваше сиятельство, в точности повторить вам собственные слова государя? — спросил Расси разгорячась. — Сама расстановка слов иной раз бывает столь выразительна, что в пересказе все потеряется, и вы, может быть, увидите здесь то, чего я не доглядел.

— Разрешаю все, что вам угодно, — сказал граф, по-прежнему с рассеянным видом постукивая по столу золотой табакеркой, — разрешаю и даже буду признателен.

— Дайте мне, помимо креста, грамоту на потомственное дворянство, и больше мне ничего не надо. Когда я заговариваю об этом с принцем, он отвечает: «Такого мерзавца, как ты, сделать дворянином? Ну, нет! На другой же день придется закрыть лавочку: больше никто в Парме не захочет проситься в дворяне». Но вернемся к миланским делам, — принц мне сказал только три дня назад: «Кроме этого плута, никто не может плести нити наших интриг. Если я его прогоню или он сам последует за герцогиней, мне придется отказаться от надежды когда-нибудь увидеть себя либеральным и обожаемым государем всей

Италии».

При этих словах граф вздохнул с облегчением. «Фабрицио не умрет!» — подумал он.

Ни разу в жизни Расси не удавалось вступить в интимную беседу с премьер-министром; он себя не помнил от счастья: может быть, уже близок день, когда он расстанется с именем Расси, которое стало во всей стране синонимом низости и подлости. Простонародье именем Расси называло бешеных собак; недавно какие-то солдаты дрались на дуэли из-за того, что товарищ обругал их «Расси». Не проходило недели, чтобы это злосчастное имя не вставляли в жестокие строфы сатирических сонетов. Сына Расси, юного и безобидного шестнадцатилетнего школьника, изгоняли из кофеен за то, что он носит такое имя.

Жгучие воспоминания о столь приятных сторонах своего положения толкнули Расси на неосторожное признание.

— У меня есть поместье, — сказал он, придвинув свой стул к креслу министра, — оно называется Рива. Я хотел бы стать бароном Рива.

— Что ж, это возможно, — проронил министр.

У Расси голова закружилась.

— Ну, ваше сиятельство, если так, я позволю себе нескромность и дерзну угадать цель ваших

стремлений: вы желаете получить руку принцессы Изотты, — это благородное честолюбие. А как только вы породнитесь с государем, вам уже не страшна немилость, вы его скрутите. Не скрою от вас, что принц очень боится вашего брака с принцессой Изоттой, но, если вы поручите повести это дело ловкому человеку и «хорошо ему заплатите», можно надеяться на успех.

— Дорогой барон, я совсем не надеюсь на успех и заранее опровергаю все, что вы передадите от моего имени; но в тот день, когда этот достославный союз увенчает, наконец, мои заветные желания и так возвысит меня в государстве, я подарю вам триста тысяч франков из собственных своих средств или же посоветую принцу выказать вам свое благоволение в той форме, какую вы предпочтете денежной награде.

Читатель сочтет, конечно, эту беседу слишком длинной, однако мы избавили его от доброй половины переговоров — они тянулись еще два часа. Расси вышел из кабинета, не чуя под собою ног от радости, а у графа окрепла надежда спасти Фабрицио, и он окончательно решил подать в отставку. Он полагал, что ему необходимо поднять себе цену, допустив к власти таких людей, как Расси и генерал Конти, и с наслаждением думал,

что это будет возмездием принцу.

«Черт его подери, он может выжить отсюда герцогиню, но пусть простится тогда с мечтой стать когда-нибудь конституционным королем Ломбардии».

Замысел этот был нелепой химерой, но принц, хотя и человек неглупый, столько носился с ним, что страстно уверовал в него.

Опьянев от радости, граф побежал к герцогине рассказать ей о своей беседе с фискалом. Его не приняли; швейцар едва осмелился передать это распоряжение, полученное им от самой герцогини. Граф печально возвратился в свою министерскую резиденцию; удар, нанесенный ему, сразу угасил всю радость, которую ему принес разговор с наперсником принца. Сердце его не лежало уже ни к каким занятиям, и он уныло бродил по картинной галерее; неожиданно через четверть часа ему принесли следующее письмо:

> «Дорогой и добрый друг мой, ведь мы теперь только друзья, и вам следует бывать у меня не чаще трех раз в неделю. А через две недели мы сократим эти посещения, все так же милые моему сердцу, до двух раз в месяц. Если хотите угодить

мне, предайте огласке наш разрыв, а если хотите, чтоб я почти по-прежнему любила вас, изберите себе другую подругу. У меня же самые широкие планы рассеянной жизни: я намерена много выезжать в свет и надеюсь найти какого-нибудь умного человека, который поможет мне забыть мои горести. Конечно, на первом месте в моем сердце всегда будете вы, как друг мой, но я больше не хочу, чтобы люди говорили, будто ваш проницательный ум руководит моими поступками, а главное, — пусть все видят, что и я уже не оказываю ни малейшего влияния на ваши решения. Словом, дорогой граф, помните, что вы всегда будете самым дорогим мне другом, но никем больше. Прошу вас, оставьте всякую надежду на возврат к прошлому, — все кончено.

Всегда рассчитывайте на мою дружбу».

Этот последний удар доконал графа и совсем лишил его мужества; он написал превосходно составленное прошение об отставке, где отказывался от всех своих должностей, и отправил герцогине это заявление с просьбой переслать его

принцу. С тем же курьером герцогиня возвратила прошение обратно, разорвав его на четыре части, и на уголке листа удостоила написать:

«Нет, тысячу раз *нет!*»

Трудно было бы описать отчаяние министра. «Она права, — твердил он себе ежеминутно. — Зачем я опустил слова „несправедливый приговор“? Какое это ужасное несчастье! Может быть, оно повлечет за собой смерть Фабрицио, а тогда и мне остается только умереть». Не желая показываться во дворце, пока принц сам его не позовет, он, подавив свою скорбь, собственноручно подготовил для подписи высочайший рескрипт о пожаловании Расси ордена святого Павла и потомственного дворянства; к рескрипту он присоединил докладную записку в пол-листа, где подробно изложил основания для такой награды. С каким-то скорбным удовольствием он тщательно снял копию с этих двух документов и послал их герцогине.

Он ломал себе голову, стараясь угадать план будущих действий любимой женщины. «Да она и сама еще этого не знает, — думал он. — Одно бесспорно: она объявила мне свое решение и ни за что на свете не отступится от него». И он

чувствовал себя еще несчастнее от того, что ни в чем не мог обвинить герцогиню. «Она оказала мне милость, полюбив меня, а теперь разлюбила за мою ошибку, хотя и невольную, но такую, которая может привести к ужасным последствиям. Какое же право я имею роптать?»

На следующее утро граф узнал, что герцогиня возобновила светскую жизнь: накануне она посетила все дома, где был приемный день. Что с ним будет, если они встретятся в каком-нибудь салоне? Как говорить с ней? Какого тона держаться? А разве можно не заговорить?

Следующий день был мрачным: повсюду распространились слухи, что Фабрицио казнят; весь город пришел в волнение. Прибавляли, что принц, в уважение к знатному имени осужденного, соблаговолил назначить казнь через отсечение головы.

«Это я его убийца, — думал граф. — Теперь для меня уже нет надежды когда-нибудь увидеться с герцогиней».

Вопреки этому логичному рассуждению, он не выдержал и три раза прошел мимо ее дверей. Правда, чтобы не привлекать к себе внимания, он отправился к ее дворцу пешком. В отчаянии он даже решился написать ей. Дважды он посылал

за Расси; фискал не явился. «Мерзавец изменил мне», — подумал граф.

На следующее утро три важные новости взволновали все высшее общество Пармы и даже простых горожан. О предстоящей казни Фабрицио говорили уже с полной уверенностью; весьма странным добавлением к первой была вторая новость, что герцогиня отнюдь не выказывает отчаяния. Судя по ее поведению, она даже не очень жалеет своего юного возлюбленного; зато она с искуснейшим кокетством пользуется интересной бледностью, вызванной каким-то серьезным недомоганием, совпавшим с арестом Фабрицио. По этим признакам буржуа лишний раз убедились в черствой бессердечности великосветских дам. Несомненно только из приличия, как бы принося жертву праху Фабрицио, герцогиня порвала с графом Моска. Какая безнравственность! — возмущались пармские янсенисты. Мало того, — событие просто невероятное! — герцогиня благосклонно выслушивала комплименты молодых красавцев придворных. Среди прочих странностей ее поведения заметили, что она превесело беседовала с графом Бальди, любовником маркизы Раверси, и подшучивала над его частыми поездками в поместье Веллейя.

Мелких буржуа и простой народ приводила в негодование казнь Фабрицио, которую эти славные люди приписывали ревности графа Моска.

При дворе тоже много уделяли внимания графу, но там высмеивали его. В самом деле, третьей из важных новостей, о коих мы возвестили, оказалась отставка графа: все смеялись над одураченным любовником, который в почтенном возрасте пятидесяти шести лет пожертвовал великолепным положением, скорбя о разлуке с бессердечной кокеткой, хотя она уже давно предпочла ему молодого возлюбленного. Только у архиепископа хватило ума или, вернее, чуткости понять, что чувство чести не позволяло графу остаться премьер-министром в стране, где собрались, даже не спросив его совета, отрубить голову юноше, которому он покровительствовал. Новость об отставке графа сразу исцелила генерала Фабио Конти от подагры, о чем мы расскажем позднее, когда будем описывать, как несчастный Фабрицио проводил время в крепости, пока весь город старался узнать день и час его казни.

На следующий день к графу явился Бруно, верный его слуга, которого он послал в Болонью; увидев его, граф на мгновенье растрогался: он вспомнил, что чувствовал себя счастливым, ко-

гда отправлял этого человека в Болонью, почти в согласии с герцогиней. Бруно вернулся, ничего не узнав в Болонье: он не мог разыскать Лодовико, ибо подеста селения Кастельнуово держал его в тюрьме.

— Я снова пошлю вас в Болонью, — сказал граф, — надо доставить герцогине печальное удовольствие узнать подробности о несчастье, постигшем Фабрицио. Обратитесь к бригадиру, начальнику жандармского поста в Кастельнуово…

— Нет, нет! — воскликнул граф, прерывая свои указания, — лучше поезжайте немедленно в Ломбардию, раздайте побольше денег всем нашим агентам. Цель моя — получить от них самые ободряющие сведения.

Бруно прекрасно понял смысл этого поручения и принялся писать себе подорожную. Когда граф давал ему последние наставления, принесли письмо, несомненно лживое, но написанное в таких выражениях, как будто любящий друг просил о дружеской помощи. Другом этим был не кто иной, как сам принц. Услыхав о намерениях графа Моска подать в отставку, он умолял своего друга не покидать министерского поста; он просил об этом во имя дружбы и опасностей, гро-

зящих отечеству, и приказывал, как повелитель. Он добавлял, что *** король предоставил в его распоряжение два королевских ордена — один из них принц берет себе, а второй посылает своему дорогому другу графу Моска.

— Из-за этого скота все мои несчастья! — в бешенстве воскликнул граф, повергнув Бруно в изумление. — И он еще пытается обольстить меня такими же лицемерными фразами, какие мы вместе с ним сочиняли, чтобы поймать на удочку какого-нибудь дурака!

Он написал ответ, в котором отказывался от пожалованного ордена, ссылаясь на состояние своего здоровья, не дающее ему надежды еще долго выполнять тяжкие обязанности министра. Он был взбешен. Через минуту доложили о фискале Расси. Министр обошелся с ним пренебрежительно.

— Ну-с! Я сделал вас дворянином, и поэтому вы сразу же обнаглели! Почему вы не явились вчера исполнить свой прямой долг — поблагодарить меня, господин невежа?

Расси был неуязвим для оскорблений: принц ежедневно говорил с ним таким тоном. Но ему хотелось стать бароном, и он очень умно сумел оправдаться. Ему легко было это сделать.

— Вчера принц весь день продержал меня за письменным столом, я не мог выйти из дворца. Невзирая на мой скверный прокурорский почерк, я, по приказу его высочества, снимал копии с целой уймы дипломатических документов, до того глупых, до того пространных, что, думается мне, единственной целью этого поручения было держать меня в плену. Только около пяти часов вечера, когда я до смерти захотел есть, принц, наконец, отпустил меня, но приказал ехать прямо домой и никуда не выходить вечером. В самом деле, я заметил, что по улице прогуливались до самой полуночи два хорошо известных мне шпиона, из числа личных агентов его высочества. Нынче утром я послал за каретой и приказал везти меня в собор. Я вошел не спеша, стремглав пробежал через церковь, и вот я здесь. Ваше сиятельство, я жажду угодить вам больше, чем кому бы то ни было.

— А я, господин мошенник, не верю басням, хотя бы и ловко сочиненным. Третьего дня вы отказались говорить со мной о Фабрицио; я отнесся с уважением к вашей совестливости, к вашей клятве соблюсти секрет, хотя для такого существа, как вы, клятвы всего лишь ловкая увертка. Сегодня я хочу знать правду. Откуда взялись

нелепые слухи, что этого несчастного юношу приговорили к смертной казни как убийцу комедианта Джилетти?

— Никто лучше меня не может объяснить эти слухи, ваше сиятельство, потому что я сам распространил их по приказу государя, и, вероятно, он вчера для того и держал меня целый день пленником, чтобы я не уведомил вас об этом обстоятельстве. Принц знает, что я еще не сошел с ума, и нисколько не сомневался, что я принесу вам свой орден и буду умолять вас собственноручно прикрепить мне его к петлице.

— Переходите к делу! — крикнул граф. — Довольно фраз.

— Разумеется, принцу очень хотелось, чтобы монсиньора дель Донго приговорили к смертной казни, но ему, как вы знаете, дали только двадцать лет заключения под стражей, в кандалах, а на следующий же день после вынесения приговора сам принц заменил эту кару двенадцатью годами крепости с неукоснительным соблюдением всех измышлений церкви — по пятницам сидеть на хлебе и воде и тому подобное.

— Да, я прекрасно знаю, что его приговорили только к заключению в крепости, но именно поэтому меня и встревожили слухи о близкой его

казни. Мне вспомнилось, как вы ловко подстроили казнь графа Паланца.

— Вот когда мне уже следовало получить крест! — нисколько не смутившись, воскликнул Расси. — Стоило только нажать рычаг, благо он очутился у меня в руках, когда высочайшая особа хотела этой смерти; но в ту пору я был еще дураком, а теперь, будучи умудрен опытом, осмелюсь посоветовать вам не следовать моему примеру.

Такое сопоставление показалось собеседнику Расси верхом наглости, и он еле удержался, чтобы не надавать фискалу пинков.

— Прежде всего, — заговорил опять Расси с логичностью юриста и самоуверенностью человека, недоступного оскорблениям, — прежде всего, о казни вышеупомянутого дель Донго не может быть и речи: принц не решится на это, — времена переменились! Кроме того, я теперь дворянин, надеюсь стать, при вашем содействии, бароном и не желаю этим марать руки. Как вам известно, ваше сиятельство, палач только от меня может получать приказания, а я клянусь вам, что кавалер Расси никогда не даст приказания о казни синьора дель Донго.

— И умно сделает кавалер Расси! — сказал граф, смерив его суровым взглядом.

— Но надо сделать оговорку, — промолвил Расси с усмешкой. — Я отвечаю только за смерть, происходящую в законном порядке, а если синьор дель Донго внезапно умрет от колик в желудке, не приписывайте это мне. Принц почему-то возненавидел Сансеверину (тремя днями раньше Расси сказал бы «герцогиню», но теперь он, как и весь город, знал о ее разрыве с премьер-министром). Граф остолбенел, услышав из таких уст имя герцогини без титула, и легко себе представить, что это не доставило ему удовольствия. Он бросил на Расси взгляд, исполненный жгучей ненависти. «Ангел мой, дорогая, — подумал он, — я могу доказать тебе свою любовь лишь слепым повиновением твоей воле».

— Признаюсь вам, — сказал он фискалу, — что меня очень мало занимают прихоти герцогини; но, поскольку именно она представила мне этого сорванца Фабрицио, которому следовало сидеть в Неаполе, а не являться сюда и запутывать наши дела, я не желаю, чтобы он был умерщвлен, пока я состою министром. Даю вам слово, что вы станете бароном через неделю после того, как он выйдет из тюрьмы.

— В таком случае, граф, я буду бароном только через двенадцать лет, ибо принц разъярен и

ненависть его к герцогине так сильна, что он даже старается скрыть свое чувство.

— Это слишком милостиво. Зачем его высочеству скрывать свою ненависть, раз его премьер-министр больше не защищает герцогиню? Но я все же не хочу, чтобы меня обвиняли в низости, а главное — в ревности. Ведь я сам убедил герцогиню переселиться сюда. Помните, если Фабрицио умрет в тюрьме, вам не быть бароном и вас, вернее всего, заколют кинжалом. Но оставим эти пустяки. Важно другое: я подсчитал свое состояние и обнаружил, что у меня едва ли наберется двадцать тысяч дохода, а посему я решил смиреннейше просить его высочество об отставке. У меня есть некоторая надежда поступить на службу к королю Неаполитанскому. Неаполь — большой город, там найдутся развлечения, необходимые мне в настоящее время, а в такой дыре, как Парма, их негде искать. Я останусь здесь лишь в том случае, если с вашей помощью женюсь на принцессе Изотте, и т. д.

В таком духе разговор тянулся бесконечно. Когда же, наконец, Расси поднялся с места, граф сказал ему с равнодушнейшим видом:

— Знаете, говорят, что Фабрицио обманывал меня и был одним из любовников герцогини. Я

нисколько не верю подобным сплетням и, чтобы их опровергнуть, прошу вас через кого-нибудь передать Фабрицио вот этот кошелек.

— Но, граф, — испуганно воскликнул Расси, заглянув в кошелек. — Здесь огромная сумма, а по уставу…

— Вам, дорогой мой, эта сумма может, конечно, показаться «огромной», — заметил граф презрительным тоном. — Такой мещанин, как вы, считает, что он разорился, послав своему другу в тюрьму десять цехинов, а я желаю, чтобы Фабрицио получил все эти шесть тысяч франков и, главное, чтобы в крепости никто об этом не знал.

Перепуганный Расси хотел было возразить, но граф нетерпеливо закрыл за ним дверь. «Для таких людей, — сказал он про себя, — дерзость — неотъемлемый атрибут власти». Сказав это, вельможный министр повел себя так нелепо, что нам даже неловко рассказывать о его поступке. Он подбежал к письменному столу, достал из ящика миниатюрный портрет герцогини и покрыл его поцелуями.

— Прости, дорогой мой ангел, — воскликнул он, — что я собственными своими руками не выбросил в окно этого хама, когда он осмелился

говорить о тебе неуважительно; я проявляю такое долготерпение, лишь повинуясь тебе. Но погоди, он за это поплатится!

После долгой беседы с портретом графу, при всей его сердечной тоске, пришла в голову забавная затея, и он с детским увлечением немедленно осуществил ее. Приказав подать себе мундир со всеми регалиями, он облачился в него и отправился с визитом к престарелой принцессе Изотте. До той поры он бывал у нее только с новогодним визитом. Принцесса приняла его в окружении множества собачек, парадно разодетая и даже в бриллиантах, как будто собралась ехать ко двору. Граф выразил опасение, что явился не во-время, — вероятно, ее высочество намеревается выехать из дому; ее высочество изволили ответить, что принцесса Пармская всегда должна быть так одета из уважения к себе. Впервые за эти горестные дни граф пришел в веселое расположение духа. «Хорошо, что я заглянул сюда, — подумал он, — надо нынче же объясниться ей в любви». Принцесса была в восторге, что видит у себя прославленного умника и к тому же премьер-министра: бедная старая дева не привыкла к таким посещениям. Граф начал с весьма искусного предисловия относительно

огромного расстояния, которое всегда будет отделять простого дворянина от членов царствующей фамилии.

— Надо делать различие, — сказала принцесса. — Например, дочь французского короля не может питать даже слабой надежды унаследовать корону, но в Пармской династии дело обстоит иначе. Поэтому дамы из рода Фарнезе всегда и всюду должны соблюдать достоинство, даже во внешнем своем облике; и хотя я, как видите, всего лишь бедная принцесса, — кто знает, может быть, вы когда-нибудь будете моим премьер-министром.

Эта неожиданная мысль своей нелепостью доставила графу еще одну минуту искреннего веселья.

Выйдя от принцессы Изотты, которая густо покраснела, выслушав от премьер-министра признание в пылкой страсти, он встретил дворцового курьера: принц требовал его к себе немедленно.

— Я болен, — ответил министр, радуясь возможности дерзко обойтись с принцем.

«О-о! вы довели меня до отчаяния и хотите, чтобы я служил вам! Нет, знайте, принц: в наш век еще недостаточно получить власть по милости провидения, нужен большой ум и сильный

характер, чтобы преуспеть в роли деспота».

Отослав курьера, крайне озадаченного совершенно здоровым видом этого больного, граф, в пику принцу, навестил двух придворных, имевших особое влияние на генерала Фабио Конти. Больше всего страшило министра и лишало его всякого мужества одно обстоятельство: коменданта крепости обвиняли в том, что он в свое время отделался от некоего капитана, личного своего врага, при помощи «перуджийской водицы».

Граф знал, что уже целую неделю герцогиня тратила бешеные деньги, пытаясь установить связи в крепости. Но, по его мнению, надежды на это было мало: там пока еще смотрели во все глаза. Мы не станем рассказывать читателю о всех попытках подкупа, которые делала эта несчастная женщина; она уже совсем отчаялась. У нее были всевозможные, искренне преданные ей помощники, но при дворах мелких деспотов, пожалуй, только с одним делом справляются великолепно: с охраной политических заключенных. Золото герцогини привело лишь к тому, что из крепости уволили восемь — десять тюремщиков разных чинов.

18

Итак, при всей своей преданности узнику, герцогиня и первый министр почти ничего не могли сделать для него. Принц был разгневан, двор и светское общество были вооружены против Фабрицио и радовались его несчастью: до сих пор ему слишком везло. Хотя герцогиня бросала золото полными пригоршнями, она ни на йоту не преуспела в осаде крепости. Не проходило дня, чтобы маркиза Раверси и кавалер Рискара не подавали генералу Фабио Конти какого-нибудь нового совета: его слабость нуждалась в поддержке.

Как мы уже говорили, в первый день заключения Фабрицио сначала отвели во *дворец* коменданта — небольшое красивое здание, построенное в прошлом веке по рисункам Ванвителли[98] на площадке гигантской круглой башни высотою в сто восемьдесят футов. Из окон этого маленького дворца, торчавшего на огромной башне, словно горб на спине верблюда, Фабрицио увидел поля и далекие Альпы; он следил взглядом, как бурлит у подножия крепости

---

[98] Примечания: 98
Ванвителли (1700–1773) — итальянский архитектор.

быстрая река Парма, которая в четырех лье от города поворачивает вправо и впадает в По. Она светлыми полосами мелькала меж зеленеющих полей, а вдали, за левым ее берегом, он ясно различал каждую вершину альпийской гряды, замыкающей Италию с севера. Среди опаленной солнцем равнины вечные снега этих высот даже в знойный месяц август, стоявший тогда, будили приятное воспоминание о прохладе, и глаз мог проследить малейшие их извилины, хотя горы отстоят от Пармской крепости более чем на тридцать лье. Широкую картину, открывавшуюся из окон красивого комендантского дворца, в южном углу заслоняла башня Фарнезе, где спешно приготовляли камеру для Фабрицио. Эта вторая башня, как читатель, вероятно, помнит, тоже находившаяся на площадке главной башни, была построена в честь наследного принца, который в отличие от Ипполита, сына Тезея[99], не отверг чувства своей юной мачехи. Принцесса скоропостижно скончалась, проболев несколько часов, а принц получил свободу лишь через семнадцать лет, когда взошел на престол после смерти отца.

[99] Примечания: 99

Ипполит и его отец царь Тезей — герои греческой мифологии, действующие лица трагедии Эврипида (480–406 до н. э.) «Ипполит» и трагедии Расина (1639–1699) «Федра».

Башня Фарнезе, куда через три четверти часа препроводили Фабрицио, поднимается весьма уродливым наростом футов на пятьдесят над площадкой главной башни и снабжена множеством громоотводов. Принц, недовольный своей супругой, соорудив эту темницу, заметную отовсюду, возымел странное желание убедить своих подданных, что она существовала с давних пор, и поэтому дал ей название «башня Фарнезе». О постройке башни запрещалось говорить, хотя из всех концов города Пармы и окрестных равнин было видно, как каменщики кладут глыбу за глыбой, воздвигая это пятиугольное сооружение. В доказательство его древности над входной дверью, шириною всего в два фута и высотою в четыре фута, водрузили великолепный барельеф, где было изображено, как знаменитый полководец Алессандро Фарнезе[100] заставил Генриха IV отступить от стен Парижа. Нижний ярус башни Фарнезе, так выигрышно расположенной, представляет собою помещение длиною по меньшей мере в сорок шагов и соответствующей ширины;

---

[100] Примечания: 100

Алессандро Фарнезе (1546–1592) — испанский наместник в Нидерландах; во главе испанского войска, по приказанию испанского короля Филиппа II, воевал во Франции вместе с католиками против протестантов; принудил Генриха Бурбона, будущего короля Генриха IV, снять осаду с Парижа в 1590 году.

все оно загромождено колоннами, весьма, однако, приземистыми, ибо высота этой обширной залы не более пятнадцати футов. Она отведена под кордегардию, а на середине ее, вокруг одной из колонн, вьется легкая ажурная винтовая лесенка из кованого железа шириною всего в два фута. По этой лестнице, дрожавшей под тяжелым шагом конвоиров Фабрицио, он поднялся на второй этаж, состоявший из великолепных покоев, высота которых превышала двадцать футов. Когда-то они были убраны с большой пышностью для молодого принца: он провел там семнадцать лет, самую цветущую пору своей жизни. В дальнем конце этого этажа новому узнику показали роскошно отделанную часовню: ее стены и сводчатый потолок были облицованы черным мрамором, вдоль стен, отступя от них, шел стройный ряд черных колонн благороднейших пропорций, а сами стены украшены были множеством исполинских черепов, мастерски изваянных из белого мрамора и покоившихся каждый на двух скрещенных костях.

«Вот на какие затеи пускается трусливая ненависть; не решаясь убить! — подумал Фабрицио. — Что за дьявольская мысль показывать мне все это!»

Железная ажурная лесенка, также извивавшаяся вокруг колонны, вела в третий этаж тюрьмы, и как раз на перестройке комнат этого этажа, высотою около пятнадцати футов, генерал Фабио Конти в течение года упражнял свои таланты. Прежде всего под его руководством в этих комнатах, когда-то отведенных для слуг принца, были забраны толстыми железными решетками окна, поднимавшиеся на тридцать футов над плитами каменной площадки главной башни. Каждая из комнат в два окна, попасть в нее можно только через темный узкий коридор, проложенный в середине помещения; а в этом коридоре Фабрицио насчитал три массивных железных решетчатых двери, одна за другой поднимавшихся до самых сводов. Чертежи, разрезы и размеры всех этих замечательных изобретений в течение двух лет доставляли генералу честь еженедельных аудиенций у монарха. Заговорщик, заключенный в одну из этих камер, почти не имел оснований взывать к общественному мнению и жаловаться на жестокость тюремщиков, а вместе с тем не мог ни с кем сообщаться, и малейшее его движение было слышно. По приказу генерала в каждой комнате укрепили толстые дубовые балки, образовавшие нечто вроде скамей высотой в три фута, — это

была гениальная выдумка коменданта, дававшая ему право на пост министра полиции. На этих подпорках он распорядился построить очень гулкие дощатые камеры в десять футов высотою; они соприкасались только с той стеной башни, где были окна, а с трех сторон между тюремными стенами, сложенными из огромных тесаных камней, и переборками камеры был оставлен проход шириною в четыре фута; переборки, сделанные из дубовых, сосновых и ореховых двойных досок, были прочно сколочены при помощи железных болтов и бесчисленных гвоздей.

Фабрицио ввели в одну из этих камер, представлявшую лучшее творение генерала Фабио Конти, созданное им год назад и поэтически названное «Слепое повиновение». Он бросился к окнам. За решетками открывалась чудесная панорама, и только один ее уголок, к северо-западу, заслоняла кровля галереи комендантского дворца, состоявшего из трех этажей, причем в нижнем помещалась канцелярия крепостного гарнизона. Прежде всего взгляд Фабрицио привлекло к себе одно из окон третьего этажа, где он увидел красивые клетки, а в них — множество птиц самых различных пород. Пока тюремщики хлопотали вокруг узника, он с удовольствием слушал пение

птиц, как будто приветствовавших последние лучи закатного света. Окно вольеры находилось в двадцати пяти футах от его окон и ниже футов на шесть, поэтому он мог даже заглянуть в комнату с птицами.

В тот вечер светила луна, и, когда Фабрицио вошел в свою камеру, она величественно выплывала с правой стороны горизонта, над цепью Альп, около Тревизо. Шел только девятый час вечера, на западе еще горела красным и оранжевым огнем полоса заката, а на фоне ее четко вырисовывались очертания Монте-Визо и других альпийских вершин, что тянутся от Ниццы до Мон-Сениса и Турина. Фабрицио совсем не думал о своем несчастье: его взволновало и восхитило это величавое зрелище. «Так вот в каком волшебном мире живет Клелия Конти! Девушка с такой мечтательной и глубокой душой должна наслаждаться этой картиной больше кого бы то ни было. Здесь чувствуешь себя словно в пустынных горах, за сто лье от Пармы». Более двух часов Фабрицио провел у окна, любуясь зрелищем, так много говорившим его душе, не раз останавливал взгляд на красивом дворце коменданта и вдруг воскликнул: «Да неужели это тюрьма? А я-то так ее страшился!» Совсем не замечая неприятностей

и поводов для огорчения, являющихся узникам на каждом шагу, наш герой отдался очарованию своей тюрьмы.

Вдруг его насильственно вернул к действительности ужасный шум: гулкая дощатая камера, весьма похожая на клетку, вся сотрясалась; к дикому шуму вдруг прибавился еще собачий лай и пронзительный визг. «Что такое! Неужели я мог бы уже сейчас убежать отсюда?» — подумал Фабрицио. Через минуту он принялся хохотать и так весело, как, верно, никогда еще не хохотали в тюрьме. По приказу генерала, вместе с тюремщиками на третий этаж башни Фарнезе посылали стеречь особо опасных преступников злого английского пса, который ночью должен был охранять проход, остроумно устроенный вокруг клетки Фабрицио. Собаке и тюремному сторожу полагалось устраиваться в низком пространстве, остававшемся между каменным полом комнаты и деревянным настилом камеры, чтобы они могли слышать каждый шаг узника.

Однако в камере «Слепого повиновения» до Фабрицио проживала целая сотня огромных крыс, разбежавшихся во все стороны при появлении людей. Собака, помесь спаниеля с английским фокстерьером, совсем была неказиста на вид, но

зато очень проворна. Ее привязали под дощатой камерой, но, почуяв, что вокруг снуют крысы, она стала рваться и ухитрилась вытащить голову из ошейника. Тогда произошла уморительная битва, и шум ее пробудил Фабрицио от умиленных мечтаний. Крысы, уцелевшие в первой схватке, улизнули в дощатую камеру; пес в погоне за ними одним прыжком одолел шесть ступенек, которые вели от каменных плит к конуре Фабрицио. Поднялась ужаснейшая суматоха, камера тряслась до самых подпорок. Фабрицио хохотал, как сумасшедший, хохотал до слез. Тюремщик Грилло, смеясь не меньше, чем он, запер дверь; в камере не было никакой мебели, и пес на приволье гонялся за крысами; прыжкам крысолова немного мешала только чугунная печка, стоявшая в углу. Когда собака прикончила всех своих врагов, Фабрицио подозвал ее, погладил и, видимо, понравился ей. «Если этот пес увидит когда-нибудь, что я перелезаю через стену, — подумал Фабрицио, — он не станет лаять». Но столь тонкая политика являлась только предлогом: ему просто было приятно поиграть с собакой, ибо на душе у него стало легко. По непонятным причинам, о которых он не задумывался, тайная радость царила в его душе.

Запыхавшись от беготни с собакой, Фабрицио спросил тюремщика:

— Как вас зовут?

— Грилло. Готов служить вашему сиятельству во всем, что дозволено уставом.

— Так вот, милейший Грилло, один человек, по фамилии Джилетти, хотел меня зарезать на большой дороге. Защищаясь, я его убил. Если бы мне пришлось начать все сызнова, я все равно убил бы его. Но тем не менее, пока я у вас в гостях, мне хочется жить весело. Попросите дозволения у своего начальства сходить во дворец Сансеверина за бельем для меня да купите мне асти, только побольше.

Асти — довольно приятное шипучее вино, которое выделывают в Пьемонте, на родине Альфьери, и оно высоко ценится, особенно в том разряде знатоков, к которым относятся тюремщики. Восемь — десять таких любителей как раз были заняты переноской в камеру Фабрицио кой-какой старинной раззолоченной мебели, взятой из бывших покоев принца; все они благоговейно удержали в памяти слова, касавшиеся покупки асти. Несмотря на их старания, Фабрицио устроили на первую ночь довольно скверно, но он, казалось, обижался только на отсутствие

бутылочки вина.

— Видать, он славный малый, — говорили, уходя, тюремщики. — Одного только пожелать надо, — чтобы господа начальники позволили передавать ему деньги.

Оставшись один и немного оправившись от шумной суматохи, Фабрицио вновь задал себе вопрос: «Неужели это тюрьма?» — и окинул взглядом широкий горизонт от Тревизо до Монте-Визо, длинную гряду Альп, остроконечные снежные вершины, небо, звезды и прочее и прочее. «И это первая моя ночь в тюрьме? Я понимаю, что Клелии Конти приятно это воздушное уединение; здесь чувствуешь себя вознесенным на тысячу лье над мелочными злобными делами, занимающими нас внизу. Если птицы, которых я видел вон там, под моим окном, принадлежат ей, значит, я увижу и ее самое… Интересно, покраснеет она, когда заметит меня?» Обсуждая столь важные вопросы, узник забылся сном лишь в очень поздний час.

Наутро после этой ночи, первой ночи в тюрьме, где еще ничто и ни разу не вызвало в нем раздражения, Фабрицио мог побеседовать только с английской собакой Фоксом: тюремщик Грилло по-прежнему посматривал на него весьма

приветливо, но не вымолвил ни слова, получив на этот счет новое распоряжение, и не принес заключенному ни белья, ни асти…

«Увижу ли я Клелию? — подумал Фабрицио проснувшись. — Может быть, это вовсе не ее птицы». Птицы уже начали щебетать и петь, и на такой высоте лишь эти звуки разливались в воздухе. Ощущение глубокой тишины, царившей тут, полно было для Фабрицио новизны и прелести. Он с восторгом слушал прерывистое легкое и резвое щебетанье, которым его соседки-птицы приветствовали день. «Если это ее птицы, она хоть на минутку придет навестить их, и я увижу ее в окно». Он принялся рассматривать огромные цепи Альп, и ему казалось, что Пармская крепость выдвинута против нижнего их хребта, как передовой редут; но взгляд его то и дело обращался к великолепным клеткам из лимонного и красного дерева с тонкой позолоченной проволокой, расставленным посреди просторной светлой комнаты, которая служила вольерой. Позднее Фабрицио узнал, что на третьем этаже дворца только в этой комнате бывала тень между одиннадцатью часами утра и четырьмя часами дня: башня Фарнезе защищала ее от солнца.

«А как мне будет грустно, — думал Фабрицио, —

если вместо кроткого, задумчивого лица, которое я надеюсь увидеть и которое, быть может, покраснеет от моего взгляда, у меня перед глазами появится толстощекая, грубая физиономия какой-нибудь горничной, — возможно, что ей поручено ухаживать за птицами. Но если я увижу Клелию, заметит ли она меня? Право, надо отбросить деликатность и постараться, чтобы заметила. Должно же мое положение дать мне какие-то преимущества; да и мы здесь совсем одни, так далеко от света. Я — заключенный, то есть принадлежу отныне к тому разряду людей, которых генерал Конти и другие, подобные ему негодяи, называют своими „подначальными“... Но она так умна, или, вернее, так высока душой, что, пожалуй, как утверждает граф, действительно стыдится своего отца, презирая его обязанности. Может быть, из-за того она и грустит. Благородная причина грусти! А ведь я в конце концов не совсем незнакомый для нее человек. С какою скромной грацией она вчера ответила на мой поклон. Очень хорошо помню, что при первой нашей встрече у озера Комо я сказал ей: „Когда-нибудь я приеду в Парму посмотреть ваши прекрасные картины. Удостойте запомнить мое имя: Фабрицио дель Донго“. Пожалуй, она забыла

мое имя. Она была тогда такая юная!..»

Но что же это? — удивленно спросил себя Фабрицио, оторвавшись от этих мыслей. — Я совсем не чувствую гнева! Неужели я преисполнен стоицизма, пример которого показали миру мудрецы древности. Может быть, я неведомо для себя герой? В самом деле, — я так боялся тюрьмы, а вот попал в нее и даже не вспомнил, что надо горевать об этом. Верно говорится: страшна беда, пока не пришла. Подумать только! Мне надо убеждать себя, что это заточение — великое несчастье, ибо, как говорил Бланес, оно может продлиться не то десять месяцев, не то десять лет. Возможно, что вся эта новая, непривычная обстановка отвлекает меня от огорчения, которое тут полагается испытывать. И, может быть, это хорошее расположение духа, не зависящее от моей воли и разума, через минуту исчезнет, и на меня, вполне естественно, нападет мрачная тоска?

Во всяком случае, весьма удивительно, что, оказавшись в тюрьме, я должен уговаривать себя огорчаться этим. Ей-богу, я возвращаюсь к первому своему предположению: у меня, должно быть, сильный характер».

Размышления Фабрицио были прерваны появлением крепостного столяра, пришедшего снять

мерку для изготовления щитов на окна; тюрьмой Фарнезе пользовались впервые и позабыли дополнить ее устройство этим важным приспособлением.

«Итак, — подумал Фабрицио, — я скоро буду лишен чудесного вида». И он пытался вызвать в себе горькое чувство при мысли о таком лишении.

— Послушайте, — вдруг сказал он столяру, — я, значит, больше не увижу вон тех красивых птичек?

— Каких? барышниных? Она очень их любит, — заметил столяр приветливым тоном. — Проститесь с ними: спрячут, скроют, заслонят их от вас вместе со всем прочим.

Столяру, как и тюремщикам, строжайше запрещено было разговаривать с заключенным, но ему стало жаль молодости Фабрицио; он объяснил арестанту, что огромные щиты, укрепленные на наружных подоконниках обоих окон и поднимающиеся вверх косым раструбом, дают заключенному возможность видеть только полоску неба.

— О душе вашей стараются, — сказал он, — хотят, чтобы мысли у вас попечальнее были: покаянные мысли. Генерал придумал еще, — добавил столяр, — заменить оконные стекла

промасленной бумагой.

Фабрицио очень понравился насмешливый, сардонический тон его собеседника, — большая редкость в Италии.

— Хотелось бы мне завести тут птицу, чтоб не так скучно было, — я очень люблю птиц. Купите мне одну у горничной синьорины Клелии Конти.

— Как? Вы знаете синьорину? — воскликнул столяр. — Вы даже знаете, как ее зовут?

— Кто же не слышал о такой прославленной красавице? Но я имел честь лично встречаться с нею при дворе.

— Бедняжка синьорина скучает здесь, — заметил столяр, — вот и проводит свою жизнь возле птиц. А нынче утром она велела купить два красивых апельсиновых деревца в кадках и приказала поставить их у дверей башни, прямо под вашим окном, — не будь тут карниза, вы могли бы их увидеть.

В этом сообщении были слова, драгоценные для Фабрицио; он нашел деликатный предлог дать столяру немного денег.

— Я, значит, дважды провинился, — сказал столяр. — Разговаривал с вами, ваше сиятельство, и принял от вас деньги. Послезавтра, когда приду

ставить щиты, принесу в кармане птицу. Если не один приду, то будто нечаянно выпущу ее у вас. Постараюсь также передать вам требник. Вам, верно, очень неприятно, что вы не можете читать тут молитвы по уставу.

«Итак, — сказал про себя Фабрицио, лишь только остался один, — это ее птицы, но через два дня мне их больше не видать». И при этой мысли лицо его подернулось печалью. Но вот, наконец, к несказанной радости Фабрицио, после долгого ожидания и бесконечных взглядов на окно вольеры, около полудня он увидел Клелию — она пришла поухаживать за своими птицами. Фабрицио замер, затаил дыхание и приник к толстым брусьям оконной решетки. Клелия не поднимала на него глаз, но он заметил какую-то стесненность в ее движениях, словно она чувствовала, что на нее смотрят. Бедняжка, вопреки всем своим стараниям, не могла забыть тонкой улыбки, блуждавшей накануне на губах узника в ту минуту, когда жандармы повели его в кордегардию.

По всей видимости, Клелия тщательно следила за каждым своим жестом, но, подойдя к окну вольеры, вдруг густо покраснела. Фабрицио смотрел на нее, прижавшись к решетке, и ему пришла

ребячливая мысль постучать рукой по железным брусьям, чтобы этим легким шумом привлечь ее внимание; но он тут же ужаснулся собственной бесцеремонности. «Я бы тогда вполне заслужил, чтобы она целую неделю не приходила в вольеру ухаживать за птицами, а посылала вместо себя горничную». Такая деликатность чувств не была ему свойственна в Неаполе или в Новаре.

Он жадно следил глазами за девушкой. «Конечно, — говорил он про себя, — сейчас она уйдет, даже не удостоив бросить взгляд на это несчастное окно, хотя оно как раз против нее». Но, возвращаясь из дальнего угла комнаты, которую узнику хорошо было видно сверху, Клелия не выдержала и на ходу искоса взглянула на него. Этого было достаточно, чтобы Фабрицио счел себя вправе поклониться ей. «Ведь мы же здесь одни в целом мире!» — убеждал он себя, чтобы набраться храбрости. Заметив его поклон, девушка остановилась и потупила взгляд; затем Фабрицио увидел, как она подняла глаза и очень медленно, явно сделав над собою усилие, склонила голову в поклоне самом строгом и *отчужденном.* Но она не могла принудить к молчанию свои глаза: вероятно без ее ведома, они выразили в тот миг живейшее сострадание; она покраснела, краска

разлилась даже по ее плечам, и Фабрицио заметил это, так как, войдя в жаркую комнату, она сбросила черный кружевной шарф. Горящий взгляд, которым Фабрицио невольно ответил на поклон Клелии, усилил ее смущение. «Как была бы счастлива бедняжка герцогиня, если б могла его увидеть, как я его вижу сейчас», — подумала она.

Фабрицио питал слабую надежду еще раз поклониться ей на прощанье, но, чтобы избегнуть этой вторичной любезности, Клелия очень искусно отступала к двери, переходя от клетки к клетке, как будто этого требовали заботы о птицах. Наконец, она вышла; Фабрицио застыл у окна и, не отрываясь, смотрел на дверь, за которой она скрылась: он стал другим человеком.

С этой минуты он думал только о том, как ему ухитриться и дальше видеть ее, даже после того как ужасные щиты на окнах закроют от него комендантский дворец.

Накануне вечером, прежде чем лечь в постель, он принудил себя заняться долгим и скучным делом — припрятал в многочисленные крысиные норы, украшавшие камеру, большую часть денег, которые были у него при себе. «А нынче нужно спрятать и часы. Говорят, что, вооружившись

терпением и зазубренной часовой пружиной, можно перепилить дерево и даже железо. Значит, я могу перепилить щит». Он провозился несколько часов, чтобы укрыть часы, но эта работа не показалась ему долгой; он обдумывал различные способы достигнуть цели, припоминал свои познания в столярном ремесле. «Если умело взяться, — говорил он себе мысленно, — прекрасно можно выпилить планку в дубовой доске щита, — как раз в той, которая упирается в подоконник; я буду вынимать и снова вставлять эту планку, когда понадобится; я отдам Грилло все, что у меня есть, только бы он соблаговолил не замечать моей уловки». Отныне все счастье Фабрицио зависело от возможности выполнить этот замысел, ни о чем ином он не думал. «Если мне удастся ее видеть, я буду счастлив… Нет, — спохватился он, — надо еще, чтобы и она видела, что я вижу ее». Всю ночь голова его была занята изобретениями в столярном мастерстве, и, пожалуй, он ни разу не вспомнил о пармском дворе, о гневе принца и прочем и прочем. Признаемся, что он не думал и о герцогине, о несомненной ее скорби. Он с нетерпением ждал утра; но столяр больше не появился: вероятно, он слыл в тюрьме либералом. Вместо него прислали дру-

гого столяра, угрюмого человека, отвечавшего только зловещим ворчаньем на все любезные, искательные слова, какими Фабрицио пытался его приручить.

Кое-какие из многочисленных попыток герцогини установить связь с Фабрицио были раскрыты многочисленными шпионами маркизы Раверси, и через нее генерала Фабио Конти ежедневно предупреждали, запугивали, разжигали его самолюбие. В большой колонной зале нижнего яруса башни учредили караул из шести солдат, сменявшихся каждые восемь часов; кроме того, комендант поставил охрану у каждой из трех железных дверей в коридоре; а бедняге Грилло, единственному тюремщику, который имел доступ к Фабрицио, разрешалось выходить из башни Фарнезе лишь раз в неделю, на что он весьма досадовал. Он дал Фабрицио почувствовать свое недовольство, но тот благоразумно ответил ему только следующими словами: «Побольше пейте асти, друг мой» — и сунул ему денег.

— Знаете, даже это утешение во всех наших горестях нам запрещено принимать! — возмущенно воскликнул Грилло, но при этом едва возвысил голос, чтобы слышал его только узник. — И по уставу мне бы надо отказаться…

Но я все-таки приму… Только зря вы тратитесь: ровно ничего я не могу вам сказать. А, верно, вы порядком провинились, — из-за вас в крепости идет такая кутерьма… Герцогиня каверзы строит, а наш брат отвечай, — троих уже уволили.

«Успеют до полудня поставить щит?» — вот из-за какого важного вопроса сердце Фабрицио колотилось все это долгое утро; он считал каждые четверть часа, которые отбивали на крепостной башне. Наконец, пробило три четверти двенадцатого, а щита еще не принесли. Клелия пришла в вольеру навестить птиц. Жестокая необходимость внушила Фабрицио великую отвагу, опасность больше не видеть Клелии казалась ему настолько выше всех условностей, что он дерзнул, глядя на нее, показать жестами, будто перепиливает щит. Правда, лишь только она увидела эти знаки, столь крамольные для заключенного, как тотчас ушла, коротко поклонившись ему.

«Что это? — удивленно думал Фабрицио. — Неужели она так неразумна, что увидела пошлую развязность в жесте, вызванном властной необходимостью? Я только хотел этим попросить, чтобы она, ухаживая за птицами, удостаивала иногда бросить взгляд на мое окно, даже когда

оно будет закрыто огромным ставнем; я хотел показать, что сделаю все доступное силам человеческим ради счастья видеть ее. Боже мой, неужели она сочла меня дерзким и не придет завтра?» Опасение, лишившее сна Фабрицио, полностью оправдалось. На следующий день Клелия появилась только в три часа, когда на обоих окнах узника уже закончили укреплять два огромных щита; различные их части поднимали с площадки главной башни при помощи блоков и веревок, привязанных к железным прутьям на окнах. Правда, спрятавшись за решетчатым ставнем в своих покоях, Клелия с тоской следила за каждым движением рабочих; она прекрасно видела смертельную тревогу Фабрицио, но у нее хватило мужества сдержать данное себе слово.

Клелия была ярая либералка; в ранней юности она принимала всерьез либеральные тирады, которые слышала в обществе отца; но он думал лишь о своей карьере, и отсюда возникло ее презрение, почти ненависть к угодливости придворных, отсюда отвращение к браку. Но с тех пор как Фабрицио привезли в крепость, она испытывала угрызения совести. «Вот, — думала она, — какая я недостойная дочь: в душе я на стороне тех людей, которые хотят погубить моего

отца. Фабрицио осмелился жестами показать, что он перепилит дверь!.. Но ведь весь город говорит о его близкой смерти, — возражала она себе, и сердце ее сжималось. — Может быть, уже завтра настанет этот страшный день! При таких извергах, как наши правители, все возможно! Сколько доброты, сколько героического спокойствия в его глазах, а скоро они, может быть, закроются навеки! Боже, как, верно, мучается герцогиня! Говорят, она в полном отчаянии. На ее месте я заколола бы принца кинжалом, как героическая Шарлотта Корде»[101].

Весь третий день своего заключения Фабрицио кипел гневом, но только потому что не мог видеть Клелию. «Рассердилась, так уж было бы за что… Надо было мне сказать, что я люблю ее, — думал он, ибо уже успел сделать это открытие. — Нет, вовсе не величие души причиной тому, что я совсем не думаю о тюрьме и опровергаю предсказания Бланеса. Приходится отказать себе в такой чести. Я все вспоминаю, с каким нежным состраданием взглянула на меня Клелия, когда жандармы повели меня в кордегардию. Этот взгляд как будто стер всю мою прошлую жизнь.

[101] Примечания: 101

Шарлотта Корде (1768–1793) — убийца Марата; была тесно связана с жирондистами.

Кто бы мог сказать, что я увижу столь прекрасные глаза в таком месте, да еще в ту минуту, когда мой взгляд оскверняли физиономии Барбоне и господина коменданта! Небо открылось мне посреди этих гнусных тварей. Как не любить красоту и не стремиться видеть ее? Нет, вовсе не величие души делает меня нечувствительным ко всем мелким неприятностям, которыми досаждают мне в тюрьме». Воображение Фабрицио быстро пробежало все возможности и остановилось, наконец, на мысли выйти на свободу. «Несомненно, привязанность герцогини совершит ради меня чудеса. Ну что ж, я только скрепя сердце поблагодарю ее. В такие места не возвращаются! А лишь только я выйду из тюрьмы, мне почти никогда не придется видеть Клелию, — ведь мы вращаемся в разных кругах общества. И в сущности чем мне плохо в тюрьме? Если Клелия смилостивится и не будет удручать меня своим гневом, чего мне больше просить у неба?»

В тот день, когда он не мог видеть своей прекрасной соседки, ему к вечеру пришла гениальная мысль: он усердно принялся сверлить ставень железным крестом, висевшим на четках, которые выдавали всем заключенным, как только они попадали в тюрьму. «Пожалуй, это неосторож-

но, — думал он, приступая к работе, — столяры говорили при мне, что завтра на смену им придут маляры. Что они скажут, заметив дыру в ставне? Но если не пойти на такую неосторожность, завтра я не увижу Клелии! Как! По своей вине не видеть ее хотя бы один день да еще теперь, когда она ушла рассерженная!» Через пятнадцать часов упорного труда Фабрицио был вознагражден: он увидел Клелию, и, в довершение счастья, она долго стояла у окна, устремив глаза на его ставень, думая, что узник не видит ее. Но он вполне успел за это время прочесть в ее глазах нежную жалость. А под конец посещения вольеры она уже явно забыла о птицах и несколько минут стояла неподвижно, глядя на его окно. В душе ее было смятение: она думала о герцогине, жестокие страдания которой внушали ей искреннюю жалость, а вместе с тем она начинала ненавидеть эту женщину. Она не могла понять причину глубокой своей грусти и сама сердилась на себя. Два-три раза в то утро Фабрицио страстно хотелось качнуть ставень; ему казалось, что для счастья его не хватает только одного: показать Клелии, что он видит ее. «Нет, — уговаривал он себя, — она такая застенчивая, сдержанная и, если узнает, что мне очень легко наблюдать за ней, наверно, скроется

от моих взглядов».

На следующий день ему больше посчастливилось (в каких только пустяках любовь находит счастье!). В то время как Клелия печально глядела на огромный ставень, Фабрицио просунул в отверстие, которое просверлил железным крестом, проволочку и стал делать ею знаки; Клелия поняла их в том смысле, какой он хотел придать им: «Я здесь и вижу вас».

А в следующие дни его постигла неудача. Он хотел выпилить в гигантском ставне планку с ладонь величиной, надеясь, что будет вынимать ее по своему желанию, видеть Клелию, и она будет видеть его, и он, хотя бы только знаками, поведает ей о том, что происходит в его душе. Но скрип маленькой пилки, которую он кое-как смастерил из часовой пружины, зазубрив ее железным крестом, встревожил Грилло, и тюремщик стал долгие часы проводить в камере. Зато Фабрицио заметил, что, по мере того как возрастали внешние преграды, мешавшие его общению с Клелией, суровость ее как будто смягчалась. Он прекрасно видел, что она уже не опускает взоров, не старается смотреть на птиц, когда он напоминает ей о себе при помощи жалкого кусочка проволоки. Он с удовольствием отметил, что

она появляется в вольере ровно в три четверти двенадцатого, с последним ударом башенных часов, и у него зародилась дерзкая мысль, что именно он является причиной такой пунктуальности. Почему? Мысль, казалось бы, неразумная, но любовь различает оттенки, неуловимые для равнодушных глаз, и делает из них бесчисленные выводы. Например, с тех пор как Клелия уже не видела узника, она, войдя в вольеру, тотчас же поднимала голову и смотрела на его окно. Все это происходило в зловещие дни, когда никто в Парме не сомневался, что Фабрицио скоро казнят, — только он один ничего не подозревал; но Клелию не оставляла эта ужасная мысль, и разве могла она теперь упрекать себя за избыток сочувствия узнику? Ведь скоро он погибнет! И погибнет, конечно, за дело свободы! Ведь нелепо казнить отпрыска рода дель Донго лишь за то, то он проткнул шпагой какого-то скомороха. Правда, этот привлекательный узник любил другую женщину! Клелия была глубоко несчастна и, не отдавая себе отчета, что именно внушает ей такую жалость к его судьбе, думала: «Если его казнят, я убегу в монастырь и никогда в жизни не появлюсь в придворном обществе, — эти люди внушают мне ужас. Вежливые убийцы!»

На восьмой день заключения Фабрицио ей пришлось испытать глубокий стыд. Погрузившись в печальные думы, она пристально смотрела на ставень, закрывавший окно узника, — в тот день он еще не подал никакого признака жизни; вдруг в ставне открылось отверстие, чуть побольше ладони, и она увидела глаза Фабрицио: он весело смотрел на нее и приветствовал ее взглядом. Она не могла вынести это нежданное испытание, быстро повернулась к птицам и принялась ухаживать за ними; но она так дрожала, что пролила воду, которую принесла им, и Фабрицио вполне мог заметить ее волнение. Такое положение было для нее невыносимо; она стремглав убежала из вольеры.

Это было прекраснейшее, ни с чем не сравнимое мгновение в жизни Фабрицио. Если б ему предложили в эту минуту свободу, он с восторгом отверг бы ее.

А следующий день принес герцогине безнадежную скорбь. Весь город считал уже несомненным, что жизни Фабрицио пришел конец. У Клелии не хватило печального мужества выказывать суровость, которой не было в ее сердце; она провела в вольере полтора часа, следила за всеми знаками Фабрицио и нередко отвечала ему, — по крайней

мере взглядом, выражавшим теплое и самое искреннее участие. Не раз она отворачивалась, чтобы скрыть от него слезы. Однако женское ее кокетство прекрасно чувствовало несовершенство языка жестов: если б можно было беседовать словами, она всяческими ухищрениями попыталась бы выведать, каковы чувства Фабрицио к герцогине! Клелия почти уже не обманывала себя: она ненавидела г-жу Сансеверина.

Однажды ночью Фабрицио довольно долго думал о своей тетушке и был удивлен, как неузнаваемо изменился в его памяти образ герцогини: теперь она стала для него пятидесятилетней женщиной.

— Господи! — воскликнул он радостно, — как хорошо, что я никогда не говорил ей о любви! — Теперь ему было даже непонятно, как мог он прежде считать ее красавицей. В этом отношении воспоминания о миловидной Мариетте изменились значительно меньше: он ведь никогда не воображал, что любовь к Мариетте затрагивает его душу, меж тем как нередко ему думалось, что вся его душа принадлежит герцогине. Герцогиня д'А*** и Мариетта казались ему теперь двумя юными голубками, милыми своей слабостью и невинностью, но прекрасный образ Клелии

Конти заполонил его душу и внушал ему чуть ли не трепет. Он слишком хорошо чувствовал, что отныне все счастье его жизни зависит от дочери коменданта, и в ее власти сделать его несчастнейшим человеком. Каждый день он томился смертельным страхом: а вдруг по ее воле, по бесповоротному ее капризу кончится та необычайная чудесная жизнь, которую он узнал близ нее, — ведь она уже наполнила блаженством два первые месяца его заключения. И как раз в эти месяцы генерал Фабио Конти дважды в неделю докладывал принцу:

— Ваше высочество, могу заверить вас своей честью, что заключенный дель Донго не видит ни одной живой души, находится в подавленном состоянии, предается глубокому отчаянию или спит.

Клелия два-три раза в день наведывалась к своим птицам — иногда лишь на несколько минут. Если бы Фабрицио не любил ее так сильно, он прекрасно понял бы, что она отвечает ему взаимностью, но он терзался сомнениями. Клелия приказала поставить в вольеру фортепиано. И пока ее пальцы бегали по клавишам, для того чтобы мелодичные звуки оповестили о ней Фабрицио и отвлекли внимание часовых, мерно шагавших

под ее окнами, она глазами отвечала на вопросы узника. Лишь на один вопрос она никогда не давала ответа и даже, случалось, убегала из вольеры и весь день уже не появлялась: это бывало в тех случаях, когда Фабрицио знаками изъяснял свои чувства, и слишком трудно было не понять его признания, — тут она была непреклонна.

Итак, хотя Фабрицио был крепко заперт в тесной клетке, он вел крайне деятельную жизнь, весь отдавшись разрешению важнейшего вопроса: «Любит она меня?» Из множества наблюдений, постоянно возобновлявшихся и тотчас же подвергаемых сомнению, он сделал следующий вывод: «Все ее сознательные движения говорят „нет“, но взглядом она как будто безотчетно признается, что чувствует ко мне приязнь».

Клелия твердо надеялась, что никогда не откроется ему в своей любви и во избежание такой опасности с великим гневом отвергала мольбу, с которой не раз обращался к ней Фабрицио. Меж тем скудные средства беседы, какими приходилось ограничиваться несчастному узнику, казалось, должны были бы внушить Клелии жалость к нему. Он пытался объясняться с нею при помощи букв, которые писал на ладони куском угля — драгоценная находка, сделанная им

в печке. Чертя и стирая букву за буквой, он составлял бы слова. Такое изобретение удвоило бы возможность беседовать и яснее выражать свои мысли. Окно его отстояло от окна Клелии футов на двадцать пять; переговариваться вслух над головами бдительных часовых, расхаживавших перед дворцом коменданта, было бы слишком опасно. Фабрицио сомневался, что он любим; будь у него хоть сколько-нибудь опыта в любви, сомнения его рассеялись бы; но еще ни одна женщина не владела до той поры его сердцем; к тому же он не подозревал о тайне, которая повергла бы его в отчаяние: весьма настойчиво встал вопрос о браке Клелии Конти с маркизом Крешенци, самым богатым человеком при дворе.

19

Большие затруднения, внезапно возникшие на блестящем пути графа Моска, казалось, предвещавшие близкое падение премьер-министра, разожгли до неистовства честолюбие генерала Конти, и он теперь постоянно устраивал дочери бурные сцены: кричал, что она испортит его карьеру, если не решится, наконец, сделать выбор, что в двадцать лет девушке уже пора выйти замуж, что надо положить конец пагубному отсутствию связей, на которое обрекает его безрассудное упрямство дочери, и т. д. и т. д.

От ежеминутных приступов отцовского гнева Клелия спасалась в вольеру: туда вела узкая и крутая лесенка, представлявшая серьезное препятствие для подагрических ног коменданта.

Уже несколько недель в душе Клелии было такое смятение, и так трудно было ей разобраться в себе, что она почти уступила отцу, хотя и не дала еще окончательного согласия. Однажды в порыве гнева генерал крикнул, что он не постесняется отправить ее в самый унылый из пармских монастырей, и придется ей там поскучать до тех пор, пока она не соизволит, наконец, сделать выбор.

— Вам, сударыня, известно, что при всей древности нашего имени доходу у нас меньше шести тысяч ливров, а маркизу Крешенци его состояние приносит сто тысяч экю в год. При дворе все в один голос говорят, что у него на редкость мягкий характер; никто не имел никогда оснований обижаться на него; он очень хорош собою, молод и в большом фаворе у принца. Право, надо быть сумасшедшей, чтобы отвергнуть такого жениха. Будь это первый отказ, я еще, пожалуй, примирился бы, но вы уже отвергли пять или шесть партий, да каких!.. Самых блестящих при дворе!.. Вы просто-напросто глупая девчонка! Что с вами будет, скажите на милость, если мне дадут отставку с пенсией в половину оклада? Как будут ликовать мои враги, когда мне придется поселиться где-нибудь на третьем этаже! Это мне-то!.. После того как меня столько раз прочили в министры!.. Нет, черт побери! Слишком долго я по своей доброте играл роль Кассандра. Дайте мне какой-нибудь основательный резон. Чем вам не угодил несчастный маркиз Крешенци, который удостоил вас своей любовью, согласен взять вас без приданого и записать за вами в брачном контракте тридцать тысяч ливров ренты? При таких средствах я могу хоть приличную квартиру

снять. Дайте же мне разумное объяснение, иначе, черт побери, через два месяца вы будете женой маркиза!..

Из всей этой речи Клелию затронуло только одно: угроза отправить ее в монастырь и, следовательно, удалить из крепости да еще в такое время, когда жизнь Фабрицио висит на волоске, — из месяца в месяц при дворе и по городу ходили слухи о близкой его казни. Сколько ни старалась Клелия образумить себя, она не могла решиться на такое страшное испытание: разлучиться с Фабрицио именно теперь, когда она ежеминутно дрожала за его жизнь. В ее глазах это было величайшим несчастьем, во всяком случае самым близким по времени. И вовсе не потому хотела она избежать разлуки с Фабрицио, что сердце ее видело впереди счастье, — нет, она знала, что герцогиня любит его, и душу ее терзала убийственная ревность. Она беспрестанно думала о преимуществах этой женщины, которой все восторгались. Крайняя сдержанность Клелии в обращении с Фабрицио, язык знаков, которым она заставляла его ограничиться, боясь выдать себя каким-либо неосторожным словом, лишали ее возможности выяснить характер его отношений с герцогиней. И с каждым днем она все больше

мучилась жестокой мыслью о сопернице в сердце Фабрицио, с каждым днем ей все страшнее было пойти навстречу опасности и дать ему повод открыть всю правду о том, что происходит в его сердце. Но какой радостью было бы для Клелии услышать признание в истинных его чувствах! Как счастлива была бы она, если бы рассеялись ужасные подозрения, отравлявшие ее жизнь!

Фабрицио был ветреник; в Неаполе он слыл повесой, с легкостью менявшим любовниц. Несмотря на скромность, подобающую девице, Клелия, с тех пор как ее сделали канониссой и представили ко двору, ни о чем не расспрашивая, только прислушиваясь в обществе к разговорам, узнала репутацию каждого молодого человека, искавшего ее руки. И что же! Фабрицио в сердечных делах был несравненно легкомысленней всех этих молодых людей. Теперь он попал в тюрьму, скучал и для развлечения принялся ухаживать за единственной женщиной, с которой мог беседовать.

«Что может быть проще, но и что может быть пошлее?» — с горестью думала Клелия. Если бы даже в откровенном объяснении она узнала, что Фабрицио разлюбил герцогиню, разве могла бы она поверить его словам? А если бы и поверила

искренности речей, разве могла она поверить в постоянство чувства? И в довершение всего сердце ее наполняла отчаянием мысль, что Фабрицио ужа далеко подвинулся в церковной карьере и вскоре свяжет себя вечным обетом. Разве его не ждут высокие почести на пути, который он избрал для себя?

«Если б у меня осталась хоть искра здравого смысла, — думала бедняжка Клелия, — мне самой следовало бы бежать от него, самой умолять отца, чтоб он заточил меня в какой-нибудь далекий монастырь. Но к великому моему несчастью, для меня страшнее всего оказаться в монастыре, вдали от крепости, и этот страх руководит всем моим поведением. Из-за этого страха я вынуждена притворяться, прибегать к бесчестной, гадкой лжи, делать вид, что я принимаю открытые ухаживания маркиза Крешенци».

Клелия отличалась большой рассудительностью, ни разу за всю свою жизнь не могла она упрекнуть себя в каком-либо опрометчивом поступке, а теперь ее поведение было верхом безрассудства. Легко себе представить, как она страдала от этого!.. Страдала тем более жестоко, что нисколько не обольщалась надеждами. Она питала привязанность к человеку, которого

безумно любила первая при дворе красавица, женщина, во многом превосходившая ее. И человек этот, будь он даже свободен, все равно не способен на серьезную привязанность, тогда как она прекрасно сознавала, что никого больше не полюбит в своей жизни.

Итак, ужаснейшие упреки совести терзали Клелию, но она каждый день бывала в вольере, словно ее влекла туда неодолимая сила, а лишь только она туда входила, ей становилось легче. Укоры совести смолкали на несколько мгновений, и она с замиранием сердца ждала той минуты, когда откроется некое подобие форточки, которую Фабрицио вырезал в огромном ставне, заслонявшем его окно. Нередко случалось, что сторож Грилло задерживался в камере, и узник не мог беседовать знаками со своей подругой.

Однажды вечером, около одиннадцати часов, Фабрицио услышал в крепости какой-то необычный шум; когда он в темноте высовывал голову в свою «форточку», ему был слышен всякий шум, оглашавший «триста ступеней», как называли длинную лестницу, которая вела из внутреннего двора к каменной площадке круглой башни, где находились комендантский дворец и темница Фарнезе — место заключения Фабрицио.

Приблизительно на середине лестницы, на высоте ста восьмидесяти ступеней, она поворачивала с южной стороны широкого двора на северную; тут был перекинут легкий железный мостик, и на середине его всегда стоял караульный, которого сменяли каждые шесть часов. Иного доступа к комендантскому дворцу и башне Фарнезе не существовало, а чтобы пропустить проходивших по мосту, караульный должен был съежиться и вплотную прижаться к перилам. Стоило дважды повернуть рычажок, ключ от которого комендант всегда носил при себе, как мостик, сразу опустившись, повис бы в воздухе на высоте более чем в сто футов; благодаря этой простой предосторожности комендант был недосягаем в своем дворце, и никто не мог также пробраться в башню Фарнезе: другой лестницы во всей крепости не было, а веревки от всех крепостных колодцев каждую ночь адъютант коменданта приносил к нему в кабинет, куда можно было пройти только через его спальню. Фабрицио в первый же день заключения прекрасно заметил, как неприступна башня, да и Грилло, любивший, по обычаю тюремщиков, похвастаться своей тюрьмой, не раз рассказывал ему об этом. Итак, у Фабрицио не было надежды

спастись бегством. Однако ему вспомнилось изречение аббата Бланеса: «Любовник больше думает о том, как бы пробраться к возлюбленной, чем муж о том, как уберечь жену; узник больше думает о побеге, чем тюремщик о затворах; следовательно, вопреки всем препятствиям, любовник и узник должны преуспеть».

В тот вечер Фабрицио ясно различал шаги множества людей по железному мостику — «мостику раба», как его называли, потому что некогда далматинский раб бежал из крепости, сбросив с этого мостика часового.

— Пришли за кем-то! Может быть, поведут меня сейчас на виселицу. А может быть, в крепости бунт… Надо воспользоваться этим.

Фабрицио вооружился, принялся вынимать из тайников золото и вдруг остановился. «Нелепое существо — человек! — воскликнул он. — Что сказал бы невидимый зритель, увидев мои приготовления? Неужели я хочу бежать? Что я буду делать, если даже вернусь в Парму? На другой же день всеми правдами и неправдами снова постараюсь попасть сюда, чтобы быть возле Клелии. Если это бунт, воспользуемся случаем, чтобы проникнуть в комендантский дворец; может быть, удастся мне поговорить с Клелией, и в этом

переполохе я даже осмелюсь поцеловать ей руку. Генерал Конти по природной своей недоверчивости, а также из тщеславия поставил у дворца пять часовых: по одному у каждого угла, а пятого — у парадных дверей; но, к счастью, ночь очень темная». Фабрицио, крадучись пошел посмотреть, что делают тюремщик Грилло и собака Фокс; тюремщик крепко спал в гамаке из воловьей шкуры, подвешенном на четырех веревках и оплетенном толстой сеткой. Фокс открыл глаза, встал и, тихо подойдя к Фабрицио, стал ласкаться к нему.

Узник неслышно поднялся по шести ступенькам в свою дощатую клетку. Шум, раздававшийся у подножья башни Фарнезе, как раз против входной двери, все усиливался. Фабрицио опасался, что Грилло проснется. Собрав все свое оружие, он насторожился и приготовился действовать, полагая, что в эту ночь его ждут великие приключения, как вдруг услышал прелюдию прекраснейшей симфонии: кто-то устроил серенаду в честь генерала или его дочери. Безудержный смех напал на Фабрицио: «А я-то собрался разить кинжалом направо и налево! Серенада — дело куда более обычное, чем бунт или похищение, для которого должны проникнуть в тюрьму человек сто!»

Музыканты играли превосходно, и Фабрицио

наслаждался от души: столько недель не знал он никаких развлечений; он проливал сладостные слезы и в порыве восторга мысленно обращал к милой Клелии самые неотразимые речи.

На следующий день, когда Клелия появилась в вольере, она была преисполнена такой мрачной меланхолии, так бледна, и во взгляде ее Фабрицио прочел такой гнев, что не решился спросить ее о серенаде, — он боялся показаться неучтивым.

У Клелии были серьезные основания печалиться. Серенаду устроил для нее маркиз Крешенци: такое открытое ухаживание было своего рода официальным извещением о предстоящей свадьбе. Весь тот день, до девяти часов вечера, Клелия стойко противилась и сдалась только перед угрозой отца немедленно отправить ее в монастырь.

«Как! Больше не видеть его!» — говорила она себе, заливаясь слезами. Напрасно голос рассудка добавлял при этом: «Больше не видеть человека, от которого мне нечего ждать, кроме горя, больше не видеть возлюбленного герцогини, этого ветреника, который в Неаполе завел себе десять любовниц и всем им изменял; не видеть этого юного честолюбца, который примет духовный сан, если только избегнет приговора, тяготею-

щего над ним! И когда он выйдет из крепости, для меня будет тяжким грехом смотреть на него; впрочем его врожденное непостоянство избавит меня от этого искушения. Ведь что я для него? Развлечение, возможность рассеять на несколько часов в день тюремную скуку».

Но среди всех этих оскорбительных для Фабрицио мыслей Клелии вдруг вспомнилась его улыбка, его взгляд в ту минуту, когда жандармы повели его из тюремной канцелярии в башню Фарнезе. Слезы выступили у нее на глазах.

«Дорогой друг, чего бы я не сделала для тебя! Знаю, ты погубишь меня. Так суждено мне. Я сама загубила себя, и так жестоко, согласившись принять нынче вечером эту мерзкую серенаду!.. Зато завтра утром я увижу твои глаза».

Но именно в то утро, после великой жертвы, принесенной ею накануне ради юного узника, которому она отдала свое сердце, и, видя все его недостатки, ради него жертвовала своим будущим, именно в то утро Фабрицио пришел в отчаяние от ее холодности. Они объяснялись только знаками, но все же, стоило Фабрицио даже при таком несовершенном языке сделать хоть малейшую попытку проникнуть насильственно в душу Клелии, она не могла бы сдержать слез и

призналась бы во всем, что чувствовала к нему. Но у Фабрицио не хватило на это смелости, он смертельно боялся оскорбить Клелию, — ведь она могла подвергнуть его суровой каре. Короче говоря, у Фабрицио не было никакого опыта в истинной любви, никогда он даже в самой слабой степени не знал ее волнений. После серенады ему понадобилась целая неделя, чтобы восстановить прежние дружеские беседы с Клелией. Бедняжка вооружилась суровостью из страха выдать себя. А Фабрицио казалось, что с каждым днем она все больше отдаляется от него.

Уже почти три месяца Фабрицио провел в тюрьме, не имея никакой связи с внешним миром, но совсем не чувствовал себя несчастным. Однажды утром Грилло долго не уходил из камеры; Фабрицио был в отчаянии, не зная, как от него отделаться; пробило уже половина первого, когда, наконец, он получил возможность открыть два маленьких оконца вышиною в фут, вырезанные им в злополучном ставне.

Клелия стояла в вольере, устремив глаза на окно Фабрицио; лицо ее осунулось и выражало безнадежную скорбь. Увидев Фабрицио, она тотчас же показала знаками, что все погибло, бросилась к фортепиано и, как будто напевая

речитатив из модной тогда оперы, заговорила с ним, прерывая пение то от отчаяния, то от страха, что слова ее поймут часовые, шагавшие под окном.

«Великий боже, вы еще живы?! О, как благодарю я небо! Тюремщик Барбоне, наказанный вами за наглость в тот день, когда вы сюда вступили, исчез, и его долго не было в крепости. Позавчера он вернулся, и со вчерашнего дня меня преследует страх, что он замыслил вас отравить. Он все вертится в той дворцовой кухне, где для вас готовят пищу. Ничего в точности я не знаю. Но моя горничная уверена, что этот жестокий человек забрался в кухню с единственной целью отнять у вас жизнь. Я была в смертельной тревоге, не видя вас, я уже думала, что вы погибли. Воздержитесь от пищи до нового указания. Я сделаю все возможное, чтобы передать вам немного шоколаду. Во всяком случае нынче вечером, в девять часов, если у вас, по милости неба, есть бечевка или если вы можете сделать тесьму из простынь, спустите ее из окна на апельсиновое деревце. Я привяжу к ней веревку, потяните ее к себе, и я передам вам хлеб и шоколад».

Фабрицио хранил, как сокровище, кусок угля, найденный им в тюремной печке; тут он по-

спешил воспользоваться волнением Клелии и принялся писать на ладони одну за другой буквы, из которых сложились следующие слова:

> «Люблю вас и жизнью дорожу лишь потому, что вижу вас. Главное, пришлите бумаги и карандаш».

Как и надеялся Фабрицио, крайний ужас, отражавшийся в чертах Клелии, помешал ей прервать беседу после дерзких слов: «Люблю вас» — и она только выразила большое неудовольствие. У Фабрицио хватило догадливости прибавить: «Сегодня очень ветрено, я плохо слышал те благосклонные предупреждения, что вы пропели; фортепиано заглушало слова. Что, например, значит отрава, о которой вы упомянули?»

При этих словах ужас с прежней силой овладел сердцем Клелии; она стала торопливо писать крупные буквы на вырванных из книги страницах; Фабрицио возликовал, увидев, как через три месяца тщетных стараний, установился, наконец, столь желанный ему способ беседы. Однако он продолжал так хорошо удавшуюся хитрость. Стремясь теперь добиться переписки, он поминутно притворялся, что не понимает слов, складывавшихся из букв, которые Клелия

чертила на бумаге и показывала ему.

Наконец, Клелия убежала, услышав голос отца, — больше всего она боялась, как бы генерал не пришел за ней. По природной своей подозрительности он отнюдь не был бы доволен близким расстоянием между окном вольеры и ставнем, закрывавшим окно узника. За несколько минут до появления Фабрицио, когда смертельная тревога томила Клелию, ей самой пришло на ум, что можно бросить камешек, обернутый бумагой, в верхнюю часть окна, над ставнем, — и если бы, по воле случая, в камере не оказалось тюремщика, сторожившего Фабрицио, такой способ сообщения был бы самым надежным.

Узник поспешно принялся изготовлять тесьму из простынь; вечером, в десятом часу, он явственно расслышал легкое постукивание: стучали по кадке с апельсиновым деревцем, стоявшим под его окном; он спустил тесьму, потом поднял ее и вытянул снизу тонкую, очень длинную веревку, к которой был привязан пакетик с шоколадом, а кроме того, к несказанной его радости, — бумага, свернутая в трубку, и карандаш; он снова опустил веревку, но больше ничего не получил, — вероятно, к апельсиновым деревцам приблизился часовой. Но и так Фабрицио опьянел от радости;

он тотчас же принялся писать Клелии пространное письмо, и лишь только оно было закончено, привязал его к веревке и спустил из окна. Больше трех часов он ждал, не придут ли взять письмо, несколько раз снова поднимал его, делал в нем изменения. «Если Клелия не прочтет моего письма нынче вечером, — думал он, — пока ее еще волнуют слухи об отраве, завтра, она, возможно, даже мысли не допустит о том, чтобы переписываться со мной».

А Клелия против воли должна была поехать с отцом в гости; Фабрицио почти догадался об этом, когда в половине первого ночи во двор въехала карета, — он уже узнавал генеральских лошадей по стуку копыт. Затем он услышал, как генерал прошел по площадке, как часовые, звякнув ружьями, взяли «на караул»; и какова же была его радость, когда через несколько минут после этого он почувствовал, что закачалась веревка, которую он обмотал вокруг запястья. К веревке привязали какой-то груз и двумя толчками дали сигнал поднять его; сделать это было нелегко, — мешал широкий выступ карниза у самого подоконника.

Груз, который Фабрицио, наконец, поднял, оказался графином с водой, обернутым шалью.

Бедный юноша, так долго живший в одиночестве, покрыл восторженными поцелуями эту шаль. Невозможно описать его волнение, когда он обнаружил приколотую к ней записку — предмет столь долгих и тщетных надежд.

> «Пейте только эту воду, питайтесь только присланным шоколадом; завтра сделаю все возможное, чтобы передать вам хлеб; корочку со всех сторон помечу чернильными крестиками. Страшно говорить об этом, но знайте, что Барбоне, вероятно, поручено отравить вас. Как вы не понимаете, что то, о чем вы говорите в письме, написанном карандашом, должно быть мне тягостно? Право, после этого я не стала бы писать, если б вам не грозила ужасная опасность. Сегодня видела герцогиню; она и граф здоровы, но она очень похудела. Не касайтесь больше в письмах „того предмета“, — неужели вы хотите, чтобы я рассердилась?»

Предпоследняя фраза этой записки стоила Клелии немалых добродетельных усилий. В придворном обществе все считали, что синьора Сансеверина подарила своей благосклонностью

красивого графа Бальди, бывшего возлюбленного маркизы Раверси. Во всяком случае он явно и самым скандальным образом порвал с маркизой, хотя она шесть лет была для него настоящей матерью и создала ему положение в свете.

Клелии пришлось заново переписать свою короткую записку, — в первой ее редакции проскальзывал намек на новую любовь, которую светское злословие приписывало герцогине.

«Какая это низость с моей стороны! — воскликнула она про себя. — Дурно говорить Фабрицио о любимой им женщине!..»

Наутро, задолго до рассвета, Грилло вошел в камеру Фабрицио, молча положил на стол довольно тяжелый узел и вышел. В узле оказался большой каравай хлеба, со всех сторон испещренный крестиками, сделанными пером. Фабрицио без конца целовал каждый крестик: он был влюблен. Помимо хлеба, там еще оказалось шесть тысяч цехинов, плотно упакованных в оберточную бумагу, и, наконец, прекрасный, совершенно новый молитвенник; на полях уже знакомым Фабрицио почерком было написано:

«Яд! Остерегаться воды, вина — всего; есть можно только шоколад; обеда не

касаться, стараться скормить его собаке; не выказывать подозрений, иначе враг прибегнет к другим способам. Ради бога, никакой опрометчивости, никакого легкомыслия!»

Фабрицио поспешил стереть эти драгоценные строки, — они могли скомпрометировать Клелию; затем вырвал из молитвенника много листков и написал на них алфавит в нескольких экземплярах, старательно выводя каждую букву; чернила он сделал из вина и толченого угля. К полудню, когда Клелия появилась в вольере, в двух шагах от окна, все буквы уже высохли.

«Теперь самое важное, — думал Фабрицио, — чтобы она разрешила мне воспользоваться алфавитом».

По счастью, Клелии нужно было очень многое сказать узнику о попытке отравить его; собака одной из служанок подохла, съев кушанье, предназначенное для него. Итак, Клелия не только не воспротивилась употреблению алфавита, но и сама приготовила великолепный алфавит, написанный настоящими чернилами. Беседа, установившаяся таким способом и на первых порах довольно затруднительная, тем не менее

длилась полтора часа, — все то время, которое Клелия могла провести в вольере. Два-три раза Фабрицио позволил себе коснуться запретной темы; тогда Клелия, ничего не отвечая, на минутку отходила к птицам, как будто вспомнив, что нужно позаботиться о них.

Фабрицио добился обещания, что вечером вместе с водой она пришлет ему один из своих алфавитов, написанных чернилами, так как их легче разобрать издали. Он, конечно, не преминул написать длиннейшее письмо, но постарался не выражать нежные чувства, по крайней мере в такой форме, которая могла рассердить ее. Маневр оказался удачным: письмо его было принято.

На другой день в беседе, происходившей при помощи алфавитов, Клелия ни в чем не упрекала его; она сообщила, что опасность отравы уменьшилась: на Барбоне напали и избили его до полусмерти кавалеры кухонных служанок в комендантском дворце, — вероятно, он теперь не осмелится появиться в кухне. Клелия призналась Фабрицио, что решилась украсть для него у отца противоядие, и посылает ему это лекарство; но главное сейчас — отвергать всякую пищу, если у нее будет какой-нибудь странный привкус.

Клелия настойчиво расспрашивала дона Чезаре, откуда взялись шесть тысяч цехинов, полученных Фабрицио, но ничего не узнала; во всяком случае это был хороший признак: строгости уменьшились.

Опасность отравления чрезвычайно подвинула вперед сердечные дела нашего узника; правда, он не мог добиться от Клелии ни единого слова, похожего на признание в любви, но был счастлив дружеской близостью с нею. По утрам, а порой и под вечер они вели долгие разговоры с помощью алфавитов; каждый вечер, в девять часов, Клелия получала от него длинные письма и иногда отвечала ему коротенькой запиской; она посылала ему газету и даже книги, а Грилло так задобрили, что он теперь ежедневно приносил в камеру хлеб и вино, которые передавала ему горничная Клелии. Из всех этих забот о Фабрицио тюремщик сделал вывод, что комендант не согласен с людьми, поручившими Барбоне отравить молодого монсиньора; Грилло был этим очень доволен, так же как и все его товарищи, ибо в тюрьме сложилась поговорка: «Посмотри в глаза монсиньору дель Донго, и он тотчас даст тебе денег».

Фабрицио осунулся, побледнел, полное отсутствие движения подтачивало его здоровье, но

еще никогда он не чувствовал себя таким счастливым. Тон его бесед с Клелией был задушевный, иногда очень веселый. И это были единственные минуты в жизни Клелии, когда ее не мучили мрачные предчувствия и укоры совести. Однажды она имела неосторожность сказать ему:

— Я восхищаюсь вашей деликатностью. Помня, что я дочь коменданта крепости, вы никогда не говорите мне о своем желании вырваться на свободу.

— Упаси меня бог от такого нелепого желания, — ответил ей Фабрицио. — Если я даже вернусь в Парму, как мне видеть вас? А жизнь отныне для меня невыносима, если мне нельзя будет говорить вам все, что я думаю… Нет, — конечно, не все, что я думаю: ведь вы завели строгие порядки. Но все же, невзирая на вашу жестокость, жить и не видеть вас ежедневно, было бы для меня горькой мукой. А заточение в этой тюрьме… Да я еще никогда в жизни не был так счастлив! Не правда ли, странно, что счастье ждало меня в тюрьме?

— Об этом можно было бы сказать очень многое, — ответила Клелия, и лицо ее вдруг стало крайне серьезным, почти мрачным.

— Как? — встревоженно спросил Фабрицио. —

Неужели мне грозит опасность потерять даже тот крошечный уголок, который удалось мне занять в вашем сердце… Лишиться единственной моей отрады в этом мире!

— Да, — ответила она. — У меня есть все основания думать, что у вас нет честности по отношению ко мне, хотя вас и считают в свете вполне порядочным человеком. Но сегодня я не хочу говорить об этом.

Такой неожиданный выпад внес смятение в их беседу, и часто у обоих навертывались на глаза слезы.

Главный фискал Расси по-прежнему жаждал расстаться со своим бесславным именем и называться бароном Рива. Граф Моска, со своей стороны, чрезвычайно искусно поддерживал в этом продажном судье страстное стремление к баронскому титулу, так же как он разжигал безумную надежду принца стать конституционным королем Ломбардии. Это было единственное средство, которое он мог придумать, чтобы отсрочить смерть Фабрицио.

Принц говорил Расси:

— Две недели отчаяния, затем две недели надежды… Терпеливо следуя такой тактике, мы сломим гордыню этой женщины. Чередуя ласку

и суровость, удается укротить самых непокорных коней. Действуйте смело и неуклонно.

И вот каждые две недели в Парме возникали слухи о близкой казни Фабрицио. Слухи эти доводили герцогиню до отчаяния. Твердо решив не губить вместе с собою графа, она виделась с ним только два раза в месяц. Но за свою жестокость к этому несчастному человеку она была наказана вспышками отчаяния и неотступной тоской. Напрасно граф, преодолевая мучительную ревность к красавцу Бальди, настойчиво ухаживавшему за герцогиней, писал ей, когда не видел ее, и в письмах передавал все сведения, полученные им от услужливого фискала Расси, будущего барона Рива, — герцогиня могла бы переносить то и дело возникавшие страшные слухи о Фабрицио, только если б подле нее постоянно был человек такого большого ума и сердца, как граф Моска. Ничтожество красавца Бальди не могло отвлечь ее от черных мыслей, а граф теперь лишился права ободрять ее, внушать ей надежду.

Пустив в ход всяческие, довольно искусно изобретенные предлоги, премьер-министр уговорил принца доверить одному дружественному лицу и перевезти в его замок, близ Сароно, в самом центре Ломбардии, архив, содержавший свиде-

тельства весьма сложных интриг, путем которых Ранунцио-Эрнесто IV пытался осуществить сверхбезумную надежду стать конституционным королем этой прекрасной страны.

В архиве было больше двадцати весьма секретных документов, собственноручно написанных или подписанных принцем, и если б жизни Фабрицио грозила серьезная опасность, граф намеревался заявить его высочеству, что передаст эти компрометирующие бумаги некой великой державе, которая одним своим словом могла его уничтожить.

Граф Моска вполне полагался на будущего барона Рива и боялся только яда; покушение Барбоне так встревожило его, что он решился на поступок с виду безрассудный. Однажды утром он подъехал к воротам крепости и приказал вызвать генерала Фабио Конти; тот спустился на бастион, устроенный над воротами; дружески прогуливаясь с ним по бастиону, граф после краткого холодно-вежливого вступления сказал:

— Если Фабрицио погибнет при подозрительных обстоятельствах, смерть его припишут мне; я прослыву ревнивцем, стану посмешищем, а это для меня невыносимо, и я этого не прощу. Итак, если он умрет от какой-нибудь *болезни*, я, чтобы

смыть с себя подозрения, «собственной своей рукой» убью вас. Можете в этом не сомневаться.

Генерал Конти ответил великолепно, сослался на свою отвагу, но взгляд графа врезался ему в память.

Через несколько дней, как будто по сговору с графом, Расси тоже позволил себе неосторожность, весьма удивительную для такого человека, как он. Общественное презрение к его имени, вошедшему в поговорку у простонародья, доводило его до припадков, с тех пор как он возымел весьма обоснованную надежду переменить фамилию. Он направил генералу Конти официальную копию приговора, по которому Фабрицио был присужден к заключению в крепости на двенадцать лет. По закону это полагалось сделать на другой же день после доставки Фабрицио в тюрьму, но в Парме, стране секретных мер, такой поступок представителей юстиции без особого распоряжения монарха считался бы неслыханной дерзостью. И в самом деле, разве возможно было питать надежду «сломить гордый нрав» герцогини, как говорил принц, усиливая каждые две недели ее ужас, если б официальная копия приговора вышла из стен судебной канцелярии. Накануне того дня, когда генерал Фабио Конти

получил казенный пакет от фискала Расси, ему доложили, что писца Барбоне, возвращавшегося в крепость в довольно поздний час по дороге избили; из этого комендант сделал вывод, что в высоких сферах уже нет намерения избавиться от Фабрицио, и на ближайшей аудиенции осмотрительно не сказал ничего принцу о полученной в крепости копии приговора. Это спасло Расси от неминуемых последствий его безумного поступка. К счастью для спокойствия бедняжки герцогини, граф открыл, что неловкое покушение Барбоне являлось лишь попыткой личной его мести, и приказал образумить этого писца вышеупомянутым способом.

Однажды в четверг, на сто тридцать шестой день заключения в тесной клетке, Фабрицио был приятно удивлен, когда тюремный эконом, добрый дон Чезаре, повел его прогуляться по площадке башни Фарнезе; но едва Фабрицио пробыл десять минут на свежем воздухе, как ему стало дурно. Воспользовавшись этим обстоятельством, дон Чезаре выхлопотал для него разрешение на ежедневную получасовую прогулку. Это было неблагоразумно: частые прогулки вскоре вернули силы нашему герою, и он злоупотребил ими.

Серенады в крепости продолжались; педантич-

ный комендант терпел их только потому, что они связывали с маркизом Крешенци Клелию, характер которой внушал ему опасения: он смутно чувствовал, что у него с дочерью нет ничего общего, и постоянно боялся какой-нибудь безрассудной выходки с ее стороны. Убежит, например, в монастырь, и он останется тогда безоружным. Но вместе с тем ему было страшно, как бы музыкальные мелодии, несомненно проникавшие в самые глубокие подземные казематы, предназначенные для особо зловредных либералов, не служили условленными сигналами. Да и сами музыканты вызывали в нем подозрение, и поэтому, как только серенада заканчивалась, исполнителей ее запирали на ключ в нижних комнатах комендантского дворца, служивших днем канцелярией крепостного гарнизона, а выпускали их только поздним утром. Сам комендант, стоя на «мостике раба», зорко следил, как их обыскивают и, прежде чем возвратить им свободу, по нескольку раз повторял, что немедленно повесит всякого, кто осмелится взять на себя хотя бы пустячное поручение к кому-либо из заключенных. А все знали, что из страха попасть в опалу он способен был выполнить эту угрозу. Маркизу Крешенци приходилось втридорога платить музыкантам,

весьма недовольным ночлегами в тюрьме.

С великим трудом герцогине удалось уговорить одного из этих запуганных людей, чтобы он передал коменданту письмо. В этом письме, адресованном Фабрицио, герцогиня сетовала на судьбу, ибо уже шестой месяц он находится в заточении, а его друзья не могут установить с ним никакой связи.

Войдя в крепость, подкупленный музыкант бросился на колени перед генералом Фабио Конти и признался, что какой-то незнакомый ему священник так упрашивал его передать письмо, адресованное синьору дель Донго, что он не решился отказать, но, верный своему долгу, хочет поскорее отдать это письмо в руки его превосходительства.

Его превосходительство был весьма польщен; зная, какими большими возможностями располагает герцогиня, он боялся, что его проведут. Он с торжеством предъявил письмо принцу, и тот пришел в восторг:

— Вот видите! Твердостью правления я отомстил за себя. Надменная женщина страдает уже шестой месяц. А на днях мы прикажем соорудить эшафот, и необузданному ее воображению, конечно, представится, что он назначен для юного

дель Донго.

20

Однажды, около часа ночи, Фабрицио, лежа на подоконнике и высунув голову в отверстие, выпиленное им в ставне, смотрел на звезды и на бесконечные дали, открывавшиеся с башни Фарнезе. Окидывая взглядом равнину, которая тянулась к низовью По и к Ферраре, он случайно увидел маленький, но довольно яркий огонек, казалось светившийся на какой-то башне. «Огонька этого, наверно, снизу не видно, — подумал Фабрицио, — выпуклые башенные стены скрывают его; должно быть, им подают сигнал в какое-нибудь далекое место». Вдруг он заметил, что огонек то появляется, то исчезает через короткие промежутки. «Какая-нибудь девушка ведет беседу со своим возлюбленным из соседней деревни». Он сосчитал, что огонек мелькнул девять раз. «Это буква i», — решил он. В самом деле, i — девятая буква итальянского алфавита. Затем, после довольно долгого промежутка, огонек мигнул четырнадцать раз. «Это буква n». Опять промежуток, и огонек блеснул один раз. «Это — a, все же слово, вероятное — ina».

Каковы же были изумление и радость Фаб-

рицио, когда из последовательных мельканий огонька составились следующие слова: «INA PENSA A TE».

Ясно: «Джина думает о тебе».

Он тотчас же ответил, поднося лампу к отверстию в ставне: «ФАБРИЦИО ЛЮБИТ ТЕБЯ».

Разговор продолжался до рассвета. Это было в семьдесят третью ночь заточения Фабрицио, и только тут он узнал, что уже четыре месяца каждую ночь ему подают сигналы. Но их могли увидеть и понять со стороны. В первую же ночь переговоров стали совместно вводить сокращения: три раза мелькнет огонек — это будет означать: «герцогиня», четыре раза — «принц», два раза — «граф Моска»; две быстрых и две медленных вспышки должны означать — «побег». Решено было употреблять в дальнейшем старинный шифр «alla monaca», в котором, для обмана непосвященных, произвольно изменяется обычный порядок букв в алфавите: например буква а стоит десятой по порядку, б — третьей; таким образом, десять вспышек света означали букву а, три вспышки — букву б и т. д.; слова отделялись друг от друга более долгими промежутками темноты. Условлено было также возобновить разговор на следующую ночь, в первом часу;

на этот раз герцогиня сама явилась на башню, находившуюся в четверти лье от города. Глаза ее наполнились слезами, когда она увидела сигналы Фабрицио: сколько раз она считала его уже мертвым! Она ответила ему с помощью лампы: «Люблю тебя. Мужайся. Есть надежда. Береги здоровье. Упражняй мышцы в камере, тебе понадобится вся сила рук».

«Я не видела его с того вечера, когда Фауста пела у меня; он появился у дверей гостиной в лакейской ливрее, — думала герцогиня. — Кто бы мог сказать тогда, что нас ждет такая судьба!»

Герцогиня сигналами сообщила Фабрицио, что вскоре он получит свободу «по милости принца» (эти сигналы могли быть поняты), а затем опять принялась говорить ему нежные слова и все не решалась расстаться с ним. Лишь когда забрезжил день, Лодовико, который стал доверенным лицом герцогини за прежние его услуги Фабрицио, уговорил ее, наконец, прекратить сигналы, так как их мог заметить вражеский взгляд. Несколько раз повторявшееся известие о близком освобождении, повергло Фабрицио в глубокую печаль. На другой день Клелия заметила эту грусть и неосторожно спросила о ее причинах.

— Мне, очевидно, придется глубоко огорчить

герцогиню.

— Чего же она требует от вас, в чем вы ей отказываете? — спросила Клелия, сразу загоревшись острым любопытством.

— Она хочет, чтобы я бежал отсюда, — ответил он, — а я на это никогда не соглашусь.

Клелия не в силах была ничего ответить, только поглядела на него и залилась слезами. Если б Фабрицио был близ нее и заговорил с нею, пожалуй, он услышал бы признание в чувствах, в которых настолько сомневался, что зачастую доходил до глубокого отчаяния. Он прекрасно знал теперь, что без Клелии жизнь будет для него лишь чередой горьких мучений и нестерпимой тоски. Теперь ему казалось просто немыслимым жить ради тех удовольствий, какие привлекали его, когда он не ведал любви, и хотя в Италии самоубийство еще не было в моде, Фабрицио не раз думал о нем, как о единственном выходе, если судьба разлучит его с Клелией.

На следующий день он получил от нее длинное письмо:

> «Друг мой, пора вам узнать правду. С тех пор как вы здесь, в Парме очень часто считали, что настал ваш последний

день. Вас приговорили только к заключению в крепости на двенадцать лет, но, к несчастью, вас, несомненно, преследует упорная ненависть всемогущего лица, и я двадцать раз трепетала от страха, что яд оборвет вашу жизнь. Воспользуйтесь же всеми возможными средствами, чтобы выйти отсюда. Слова эти неуместны в моих устах, я пренебрегаю своими священными обязанностями, — судите же по этому, как грозна опасность. Если это необходимо, если нет иного средства спастись, — бегите. Каждое лишнее мгновение, которое вы проведете в крепости, может стоить вам жизни. Вспомните, что при дворе есть партия, которая никогда не останавливалась перед преступлением, лишь бы осуществить свои замыслы. И разве вы не знаете, что только удивительная ловкость графа Моска до сих пор расстраивала происки этих людей? Но теперь они догадались, что самое верное средство изгнать графа из Пармы — это довести герцогиню до отчаяния, а самым верным средством довести ее до отчаяния явится смерть известного вам молодого

узника. Одни уже эти слова неопровержимо докажут вам всю опасность вашего положения. Вы говорите, что питаете ко мне дружбу, но прежде всего подумайте, какие непреодолимые препятствия разделяют нас, — они не дадут укрепиться дружеской приязни меж нами. Мы встретились в пору юности, мы протянули друг другу руку в несчастии; по воле судьбы я оказалась в этом мрачном месте, чтобы смягчить ваши бедствия, но меня вечно будет мучить совесть, если ради мечтаний, ничем не оправданных, никогда не осуществимых, вы не воспользуетесь любыми возможными средствами спасти свою жизнь от неотвратимой опасности. Я потеряла покой душевный, с тех пор как столь опрометчиво обменялась с вами знаками дружбы. Если наша детская игра, наши алфавиты внушили вам несбыточные надежды, которые могут стать для вас роковыми, напрасно я для своего оправдания буду вспоминать о покушении Барбоне. Ведь я сама навлекла на вас гибель более страшную, неминуемую, воображая, что спасла

вас от надвинувшейся опасности; и мне вовек не вымолить прощения, если моя неосторожность породила в вас чувства, из-за которых вы склонны противиться советам герцогини. Видите, что вы заставляете меня повторить вам: бегите, я вам приказываю…»

Письмо было предлинное; некоторые фразы, как например «Я вам приказываю», доставили влюбленному Фабрицио блаженные мгновения. Ему казалось, что в них выражены довольно нежные чувства, хотя и в самой осторожной форме. Но в другие минуты он расплачивался за полное свое неведение в такого рода поединках и видел в письме Клелии только дружеское расположение или даже самую обычную жалость.

Впрочем, все, что она сообщила ему, нисколько не поколебало его решения; даже предполагая, что опасность, которую она рисовала, вполне вероятна, он считал, что это не слишком дорогая цена за счастье видеть ее каждый день. Что за жизнь придется ему вести, когда он снова будет скрываться в Болонье или во Флоренции? Ведь если он убежит из крепости, для него нет никакой надежды получить впоследствии доз-

воление возвратиться в Парму. Если же принц до такой степени переменится, что вернет ему свободу (а это было совершенно невероятно, поскольку Фабрицио стал для могущественной клики средством сбросить графа Моска), что за жизнь ждет его в Парме, когда его разлучит с Клелией вся ненависть, разделяющая оба лагеря? Один, быть может, два раза в месяц он случайно встретится с нею в какой-нибудь гостиной. Но о чем могут они тогда беседовать? Как вернуть ту задушевную близость, которой он наслаждается здесь ежедневно и по нескольку часов?.. Разве может сравниться салонный разговор с теми беседами, какие они ведут здесь при помощи алфавита?.. «Стоит ли жалеть, что эту чудесную жизнь, эту единственную возможность счастья, мне придется купить ценою каких-то ничтожных опасностей? А дать ей таким путем хотя бы слабое доказательство моей любви, — ведь это тоже счастье!»

Фабрицио увидел в письме Клелии лишь удачный предлог попросить у нее свидания: это был заветный и постоянный предмет его мыслей. Он говорил с нею только один раз, одно краткое мгновение, когда его привезли в крепость, а с тех пор миновало более двухсот дней.

Для встречи с Клелией представлялся удобный случай: добрейший дон Чезаре каждый четверг разрешал Фабрицио получасовую прогулку среди дня на площадке башни Фарнезе; но в остальные дни недели эта прогулка на виду у всех жителей Пармы и ее окрестностей могла бы серьезно скомпрометировать коменданта, и поэтому Фабрицио выпускали только с наступлением темноты. Подняться на площадку башни Фарнезе можно лишь по лестнице, ведущей на колоколенку черной мраморной часовни со зловещими украшениями из белого мрамора, о которых читатель, вероятно, помнит. Грилло приводил Фабрицио в эту часовню и отпирал ему дверь на узкую лестницу колокольни; по долгу службы он обязан был следовать за ним по пятам, но вечера уже были холодные, поэтому Грилло предоставлял узнику одному подниматься на башню, запирал дверь на ключ и шел греться в свою каморку. Почему бы Клелии не прийти когда-нибудь вечером в сопровождении своей горничной в черную мраморную часовню?

Все длинное послание, которым Фабрицио ответил на письмо Клелии, было устремлено к одной цели — добиться этого свидания. Кроме того, он с полнейшей искренностью и спокой-

ствием, словно речь шла о постороннем человеке, перечислял все причины, побуждавшие его не покидать крепости.

> «Я готов по тысяче раз на день подвергаться смертельной опасности ради счастья говорить с вами при помощи алфавита, который теперь не задерживает нашей беседы ни на одну минуту, а вы хотите, чтобы я сам лишил себя этого счастья и жил изгнанником в Парме, или, может быть, в Болонье, или даже во Флоренции? Вы хотите, чтобы я пошел на это добровольно! Знайте, что я не способен совершить над собою такое насилие. И напрасно я дал бы вам слово, — мне не сдержать его».

Но после этой мольбы о свидании Клелия скрывалась целых пять дней: пять дней она приходила в вольеру только в те минуты, когда Фабрицио, как ей было известно, не мог бы открыть отверстие в ставне. Фабрицио был в отчаянии. Из этой кары он сделал вывод, что вопреки ласковым взглядам Клелии, пробудившим в нем безумные надежды, никогда она не питала к нему иных чувств, кроме дружбы. «А в таком случае зачем

мне жизнь? — думал он. — Пусть принц отнимет ее у меня, я даже буду ему благодарен. Итак, еще одно лишнее основание остаться в крепости». И он нехотя, через силу отвечал по ночам на сигналы, которые подавали ему с башни. Герцогиня решила, что он просто помешался, когда в записи сигналов, которую ей каждое утро доставлял Лодовико, прочла следующие странные слова: «Я не хочу бежать. Я хочу умереть здесь!»

В течение пяти дней, столь тяжких для Фабрицио, Клелия страдала еще сильнее, чем он; ей пришла мысль, мучительная для великодушной натуры: «Мой долг бежать в монастырь, куда-нибудь подальше от крепости. Когда Фабрицио узнает, что меня нет здесь, — а я постараюсь сообщить ему об этом через Грилло и других сторожей, — он решится на попытку к бегству». Но уйти в монастырь означало навсегда расстаться с Фабрицио, расстаться теперь, когда он так убедительно доказал, что у него уже нет тех чувств, которые когда-то, возможно, связывали его с герцогиней. Может ли молодой человек дать более трогательное доказательство своей любви? После семи долгих месяцев заточения, подорвавшего его здоровье, он отказывается от свободы. Ветреный повеса, каким изображали

Фабрицио пересуды придворных, пожертвовал бы двумя десятками любовниц, лишь бы на день раньше выйти из крепости, а чего не сделал бы такой человек, чтобы выйти из тюрьмы, где яд может каждый день пресечь его жизнь.

У Клелии недостало мужества, и она совершила большую ошибку: отказавшись от своего намерения укрыться в монастыре, она вместе с тем лишилась вполне естественного предлога порвать с маркизом Крешенци. А совершив эту ошибку, как могла она противиться такому милому, такому бесхитростному, такому ласковому юноше, подвергавшему свою жизнь ужаснейшим опасностям ради весьма скромного счастья видеть ее у окна? И после пяти дней жестокой внутренней борьбы, минутами испытывая презрение к самой себе, Клелия решилась ответить на письмо, в котором Фабрицио молил о счастье побеседовать с нею в черной мраморной часовне. Правда, она отказала ему, и довольно суровыми словами, но с этой минуты совсем лишилась покоя: непрестанно воображение рисовало ей смерть Фабрицио от яда. Шесть, восемь раз на день приходила она в вольеру: она жаждала своими собственными глазами увидеть, что Фабрицио еще жив.

«Если он остался в крепости, — думала она, — и подвергает себя всем ужасам, какие, возможно, готовит для него клика Раверси с целью изгнать графа Моска, то единственно лишь оттого, что у меня не хватает мужества бежать в монастырь! Никакой причины не было бы у него оставаться здесь, если б он удостоверился, что я навсегда удалилась отсюда».

Робкая и вместе с тем надменная девушка дошла до того, что обратилась с просьбой к тюремщику Грилло, рискуя получить отказ и даже пренебрегая тем, как он может истолковать ее странное поведение. Она унизилась настолько, что приказала позвать его и дрожащим голосом, выдававшим ее тайну, сказала ему, что через несколько дней Фабрицио вернут свободу; надеясь на это, герцогиня Сансеверина весьма усердно хлопочет за него; зачастую требуется немедленно получить от заключенного ответ на предложения, которые ему делают, и вот она просит Грилло разрешить Фабрицио выпилить отверстие в ставне, закрывающем его окно, для того чтобы она могла знаками передавать ему сведения, какие по нескольку раз в день доставляет ей синьора Сансеверина.

Грилло улыбнулся и почтительно заверил ее

в своей готовности повиноваться. Клелия была бесконечно благодарна ему за то, что он не прибавил ни одного лишнего слова: очевидно, он прекрасно знал все, что происходило в крепости уже несколько месяцев.

Лишь только тюремщик ушел, Клелия подала условленный сигнал, которым вызывала Фабрицио в особо важных случаях, и призналась в том, что она сделала.

«Вы хотите погибнуть от яда, — добавила она, — но я надеюсь, что у меня хватит мужества покинуть отца и в один из ближайших дней бежать в какой-нибудь уединенный монастырь. Я обязана это сделать ради вас. Надеюсь, что после этого вы уже не станете противиться планам побега, какие могут вам предложить. Пока вы находитесь здесь, я переживаю ужасные минуты, я теряю рассудок. Ни разу в жизни я не причинила никому несчастья, а теперь мне все кажется, что я буду виновницей вашей смерти. Такая мысль привела бы меня в отчаяние, даже если бы относилась к человеку совершенно мне незнакомому; судите же сами, что я испытываю, когда представляю себе предсмертные муки человека, хотя и огорчающего меня своим безрассудством, но все же моего друга, которого

я привыкла видеть ежедневно. Иной раз я чувствую потребность узнать от вас самого, что вы еще живы! Поймите мои ужасные страдания. Чтобы избавиться от них, я унизилась до того, что просила милости у подчиненного, который мог отказать мне, и, возможно, еще выдаст меня. Впрочем, пусть, — я даже обрадуюсь, если он донесет отцу; тогда я немедленно уеду в монастырь и уже не буду невольной соучастницей ваших жестоких безумств. Но поверьте, это не может долго тянуться. Молю вас, послушайтесь герцогини! Вы удовлетворены, жестокий друг? Я сама умоляю вас предать моего отца. Позовите Грилло и сделайте ему подарок».

Фабрицио был так влюблен, малейшее желание, выраженное Клелией, вызывало в нем такой трепет, что даже это странное признание не внушило ему уверенности в ее любви. Он позвал Грилло и щедро наградил его за прежнюю снисходительность, а относительно будущего сказал, что станет платить по цехину за каждый день, в который Грилло позволит ему открывать отверстие в ставне. Грилло пришел в восторг от этой сделки.

— Я все вам скажу начистоту, монсиньор. Не согласитесь ли вы ежедневно обедать холодны-

ми кушаньями? Я знаю очень простое средство уберечься от яда. Только прошу вас, держите все в тайне: тюремщик должен все видеть и ни о чем не догадываться и прочее и прочее. Вместо одной собаки я заведу их несколько, и вы будете давать им пробовать всякое блюдо, какое пожелаете скушать. А вино я буду вам приносить свое, и вы пейте только из тех бутылок, из которых я себе налью. Но вы, ваше превосходительство, навеки погубите меня, если хоть словом обмолвитесь об этих делах синьорине Клелии. Женщина всегда останется женщиной. Стоит синьорине завтра поссориться с вами, послезавтра она в отместку расскажет об этих уловках своему батюшке, а для него самое большое удовольствие придраться к чему-нибудь, да и повесить тюремного сторожа. В крепости он самый злой человек после Барбоне; поэтому вам и в самом деле, пожалуй, несдобровать: он понимает толк в отравах и никогда не простит мне, что я вздумал держать здесь трех-четырех собачек.

Фабрицио пришлось услышать еще одну серенаду. Теперь Грилло отвечал на все его вопросы, но соблюдал при этом осторожность, — он отнюдь не желал выдавать синьорину, которая, по его мнению, хотя и собиралась выйти замуж

за маркиза Крешенци, первого богача во всех пармских владениях, вместе с тем «завела любовь», насколько это позволяли тюремные стены, с пригожим монсиньором дель Донго. Отвечая на вопросы Фабрицио относительно серенады, он, однако, неосмотрительно добавил: «Говорят, она скоро выйдет за него замуж». Легко себе представить, как подействовали на Фабрицио эти обыденные слова. Ночью на все сигналы с башни он ответил только: «Я болен». Утром, около десяти часов, когда Клелия пришла в вольеру, он спросил с чопорной учтивостью, небывалой в их отношениях, почему она не сказала ему совершенно просто, что любит маркиза Крешенци и собирается выйти за него замуж.

— Потому что все это неправда, — возмущенно ответила Клелия.

Надо, однако, заметить, что в дальнейших ее пояснениях было меньше уверенности. Фабрицио указал ей на это и, воспользовавшись случаем, снова стал просить о свидании. Клелия, видя, что ее искренность подвергнута сомнению, почти тотчас же согласилась, хотя и сказала, что таким свиданием она навсегда опозорит себя в глазах Грилло. Вечером, когда уже совсем стемнело, она пришла вместе с горничной в черную мраморную

часовню и остановилась на середине ее, возле горевшей лампады; горничная и Грилло отошли на тридцать шагов, к двери. Клелия дрожала всем телом; она приготовила прекрасную речь, задавшись целью не выдавать себя неосторожным признанием. Однако логика страсти неумолима, жажда узнать правду делает напрасной всякую сдержанность, а беспредельная преданность любимому существу избавляет от страха оскорбить его. Фабрицио прежде всего ослепила красота Клелии, — почти восемь месяцев он видел около себя только тюремщиков. Но имя маркиза Крешенци пробудило в нем яростный гнев, и негодование его возросло, когда он заметил, что ему отвечают осторожно и уклончиво. Клелия поняла, что, желая рассеять подозрения, она лишь усиливает их. Мысль эта была для нее слишком мучительна.

— Неужели для вас такая радость заставить меня забыть уважение к себе? — сказала она почти гневно, и на глазах у нее выступили слезы. — До третьего августа прошлого года я сторонилась всех мужчин, пытавшихся понравиться мне. Я чувствовала величайшее, может быть чрезмерное, презрение к характеру придворных; все баловни двора была мне противны. Напротив, я

нашла необычайные достоинства в узнике, которого третьего августа заключили в эту крепость. Сначала я безотчетно терзалась ревностью. Чары пленительной, хорошо знакомой мне женщины были для меня как острый нож в сердце: я думала тогда, — да и сейчас еще думаю, — что этот узник был привязан к ней. Вскоре маркиз Крешенци, искавший моей руки, стал ухаживать за мной особенно настойчиво. Он очень богат, а у нас нет никакого состояния. Я с твердостью выразила свою волю и отвергла его домогательства. Но тогда отец произнес роковое слово «монастырь». Я поняла, что вдали от крепости мне уже будет невозможно охранять жизнь узника, судьба которого внушала мне жалость. Благодаря моей осторожности он до сих пор не подозревал, какая страшная опасность угрожает его жизни. Я дала себе слово никогда не выдавать ни отца, ни своей тайны. Но вот покровительница этого узника, женщина, наделенная на диво деятельным характером, высоким умом и непреклонной волей, очевидно, предложила ему какие-то планы бегства; он отверг их и пожелал убедить меня, что отказывается покинуть крепость, ради того чтобы не разлучаться со мною. И тогда я совершила ужасную ошибку: я боролась с собой пять дней,

хотя мне немедленно следовало бежать в монастырь, и это было бы самым простым способом порвать с маркизом Крешенци. Но у меня недостало мужества удалиться из крепости, и теперь я погибшая девушка. Я питаю привязанность к ветреному человеку, — мне известно его поведение в Неаполе. А какие у меня могут быть основания полагать, что характер его переменился? Оказавшись в строгом заточении, он принялся от скуки ухаживать за единственной женщиной, которую мог тут видеть, — она была для него развлечением. Так как ему лишь с трудом удавалось беседовать с нею, забава приняла для него мнимую видимость страсти. Этот узник славится в свете своей отвагой; так вот он вздумал доказать, что его чувство отнюдь не мимолетное увлечение и подвергает себя ужасной опасности, лишь бы видеться с особой, которую он, как ему кажется, любит. Но едва только он вырвется на свободу, окажется в большом городе, среди соблазнов общества, он вновь станет прежним светским человеком, будет искать развлечений и любовных интриг, а бедная его подруга по тюрьме окончит дни свои в монастырской келье, забытая этим ветреником, томясь убийственным раскаянием, что открыла ему свое сердце.

Эту знаменательную речь, которую мы передали лишь в основных чертах, Фабрицио, разумеется, прерывал двадцать раз. Он был влюблен безумно и твердо убежден, что никогда не любил до встречи с Клелией, что ему суждено жить только ради нее.

Читателю, вероятно, нетрудно вообразить, какие прекрасные слова он говорил, но вот горничная предупредила Клелию, что пробило половина двенадцатого и с минуты на минуту генерал может вернуться домой. Разлука была мучительной.

— Может быть, мы видимся в последний раз, — сказала Клелия. — Расправа, которой явно добивается в своих интересах клика Раверси, возможно, даст вам случай жестоким способом доказать свое постоянство.

Клелия простилась с Фабрицио, задыхаясь от рыданий и мучительно стыдясь, что не в силах скрыть их от своей горничной и, главное, от тюремщика Грилло. Второе свидание могло произойти лишь в том случае, если б генерал заранее уведомил дочь о своем намерении провести вечер в гостях; но так как заточение Фабрицио в крепости разожгло любопытство придворных, осторожный комендант счел за благо сидеть

дома, ссылаясь на приступы подагры; а когда сложные политические махинации требовали от него выездов в город, об этом обычно становилось известно лишь в ту минуту, когда он садился в карету.

После встречи с Клелией в мраморной часовне жизнь Фабрицио стала непрерывной вереницей радостей. Правда, на пути к счастью еще стояли тяжкие преграды, но каким блаженством была для него нежданная уверенность в любви дивного создания, занимавшего все его мысли.

На третью ночь после свидания сигналы с башни прекратились рано — около двенадцати часов, и, лишь только они кончились, Фабрицио чуть не попал в голову большой свинцовый шарик, который пролетел над верхним краем ставня и, пробив бумагу, заменявшую стекло, упал в камеру. Шарик был очень большой, но далеко не такой тяжелый, как можно было ожидать по его объему. Фабрицио без труда раскрыл его и нашел в нем письмо от герцогини. При содействии архиепископа, за которым она усердно ухаживала, ей удалось подкупить солдата из крепостного гарнизона. Этот человек, искусно владевший рогаткой, как-то обманул часовых, стоявших у комендантского дворца, а может быть, столковался с ними.

«Тебе нужно бежать, спуститься по веревкам, — писала герцогиня. — Я вся дрожу, давая тебе такой страшный совет; больше двух месяцев я не решалась говорить с тобой об этом; но в высоких сферах с каждым днем тучи сгущаются, и можно ожидать самого худшего. Кстати, сейчас же подай сигнал лампой, уведоми, что ты получил это опасное письмо, — только тогда я вздохну с облегчением. Сигнализируй P, B, G по алфавиту monaca, то есть: четыре, двенадцать и два раза. Я жду на башне; мы тебе ответим N и O — семь и пять сигналов. Увидев наш ответ, больше не подавай сигналов — читай мое письмо и постарайся все понять».

Фабрицио поспешил выполнить требование, подал условленный сигнал и, дождавшись ответа, опять принялся читать письмо.

> «Можно ожидать самого худшего, — так мне сказали три человека, которым я вполне доверяю, после того как, по моему настоянию, они поклялись на евангелии, что скажут всю правду, как бы ужасна она ни была для меня. Один из этих людей, — тот, кто в Ферраре пригрозил ножом хирургу-доносчику; второй — тот, кто

сказал тебе после твоего возвращения из Бельджирате, что для тебя благоразумнее всего было бы застрелить лакея, который, распевая, ехал лесом и вел в поводу породистую, но слишком поджарую лошадь; третьего ты не знаешь, — это грабитель с большой дороги, мой друг, человек решительный и такой же отважный, как ты, — поэтому я главным образом у него спрашивала, как тебе поступить. Каждый из трех порознь, не зная, что я советовалась с двумя остальными, ответил, что лучше попытаться бежать, рискуя сломать себе шею, чем просидеть в крепости еще одиннадцать лет и четыре месяца в постоянном страхе весьма вероятной отравы…

В течение месяца ты должен упражняться в камере — подниматься и спускаться по веревке с узлами. Затем в какой-нибудь праздничный день, когда гарнизон крепости щедро угостят вином, ты совершишь великую попытку. Тебе доставят три веревки из шелка и пеньки толщиной со стержень лебяжьего пера: одна веревка будет длиною в восемьде-

сят футов для спуска на тридцать пять футов — от окна до апельсиновых деревьев, вторая — в триста футов (вот где трудность — из-за тяжести) для спуска по стене главной башни на сто восемьдесят футов; по третьей веревке, в тридцать футов, ты спустишься с вала. Я теперь все время изучаю стену с восточной стороны, то есть со стороны Феррары; в ней после землетрясения образовалась трещина, которую потом заделали при помощи контрфорса, а у него „стена наклонная“. Мой грабитель с большой дороги уверяет, что он без особого труда спустился бы именно с этой стороны, отделавшись лишь несколькими ссадинами, — надо только скользить по наклонной стене контрфорса; отвесная же ее часть в самом низу, в ней не больше двадцати восьми футов, и с этой стороны крепость хуже всего охраняют.

Однако, взвесив все шансы, мой грабитель, который уже совершил три побега из тюрьмы и, вероятно, очень бы тебе понравился, если бы ты его знал, хотя он и ненавидит людей твоего сословия, —

мой грабитель с большой дороги, говорю я, ловкий в движениях и проворный, как ты, заявил, что он предпочел бы спуститься с западной стороны — как раз напротив хорошо известного вам дворца, где жила когда-то Фауста. Он выбрал бы как раз эту сторону: там наклон у стены очень незначительный, зато она почти вся поросла кустарником; ветки его могут исцарапать, если не поостеречься, но за них удобно будет цепляться. Еще нынче утром я эту западную сторону рассматривала в превосходную подзорную трубку. Спуск надо начать с того места, где в балюстраду вставили два-три года назад новый камень. От этого камня, футов на двадцать вниз, стена башни совершенно голая и отвесная, тут тебе надо спускаться очень медленно (сердце у меня замирает, когда я даю тебе эти страшные наставления, но ведь мужество состоит в том, чтобы выбрать наименьшее зло, как бы ни было оно ужасно); после этого голого отвеса стена, футов на восемьдесят — на девяносто вниз, вся поросла густым кустарником (в трубку видно, как вылетают

из него птицы), а потом идет полоса футов в тридцать, где пробиваются только трава, желтофиоли и стенницы. Ближе к земле опять, футов на двадцать, тянется кустарник, и, наконец, пойдет нижняя недавно оштукатуренная часть стены в двадцать пять — тридцать футов.

По-моему, лучше всего спуститься именно с этой стороны, от нового камня в верхней балюстраде, потому что как раз внизу находится лачужка, построенная в саду одного из солдат, — капитан инженерной службы в крепости хочет ее снести; хижина эта высотой в семнадцать футов, и ее соломенная кровля примыкает к стене крепости. Вот эта кровля и соблазняет меня: если случится несчастье и ты сорвешься, она ослабит силу удара при падении. Когда доберешься туда, ты окажешься у крепостных валов, но их охраняют довольно небрежно; если тебя остановят, стреляй из пистолетов, защищайся, продержись несколько минут. Твой друг из Феррары и тот отважный человек, которого я называю „грабитель с большой дороги“, спрячутся поблизости,

запасшись лестницами; они перелезут через вал (кстати, он довольно низкий) и примчатся к тебе на выручку.

Высота вала только двадцать три фута, и откос у него пологий; я буду ждать тебя у подножия этой последней ограды с целым отрядом вооруженных людей.

Надеюсь переправить тебе пять-шесть писем таким же способом. В каждом буду повторять то же самое, только в различных выражениях, — нам надо обо всем договориться. Ты понимаешь, конечно, легко ли мне на сердце… Тот, кто говорил тебе, что надо было стрелять в лакея, — человек в сущности прекрасный и горько сожалеющий о своей ошибке, — полагает, что ты отделаешься всего лишь переломом руки. Грабитель с большой дороги, у которого больше опыта в таких делах, думает, что если ты решишься спускаться медленно и, главное, не будешь горячиться, ты купишь свободу ценою нескольких царапин. Сейчас самая большая трудность — доставить тебе веревки. Я только об этом и думаю вот уже две недели — с тех пор как каждое мгновение отдаю ве-

ликому нашему замыслу.

Я не стану отвечать на безумную глупость, которую ты сказал, на единственную неостроумную шутку за всю твою жизнь: „Не хочу бежать“. Человек, советовавший тебе пристрелить лакея, воскликнул, что от скуки ты помешался. Не скрою от тебя, что мы опасаемся близкой беды; возможно, она заставит ускорить твой побег. Чтобы известить тебя о беде, лампочка несколько раз подряд скажет:

„В замке пожар!“

Ты ответишь:

„А мои книги сгорели?“»

В письме было еще пять-шесть страниц, наполненных различными подробностями; написано оно было микроскопическими буквами и на тончайшей бумаге.

«Все это прекрасно, замечательно придумано, — сказал про себя Фабрицио. — Я вечно должен быть признателен графу и герцогине. Они, пожалуй, подумают, что я струсил, но все-таки я не убегу. Слыханное ли дело — бежать из такого места, где чувствуешь себя на верху бла-

женства, и добровольно отправиться в изгнание, где нечем будет жить, нечем дышать. Что я стану делать, прожив хотя бы месяц во Флоренции? Все равно вернусь и, переодетый, буду бродить около ворот крепости в надежде поймать хоть единый взгляд Клелии!»

На следующее утро Фабрицио перепугался: около одиннадцати часов он стоял у окна и, любуясь великолепным пейзажем, ждал того счастливого мгновения, когда увидит Клелию, как вдруг в камеру, запыхавшись, вбежал Грилло.

— Скорей, скорей, монсиньор… Ложитесь в постель и прикиньтесь больным… Идут трое судей. Наверно, будут снимать с вас допрос. Обдумывайте каждое слово, а то вас запутают.

Говоря это, Грилло мигом закрыл отверстие в ставне, толкнул Фабрицио к кровати, набросил на него два-три плаща.

— Скажите, что вам очень плохо; говорите поменьше и, главное, заставляйте повторять вопросы, а тем временем обдумывайте ответ.

Вошли трое судейских. «Три беглых каторжника, а не судьи», — сказал про себя Фабрицио, увидев их мерзкие физиономии. Все трое были в длинных черных мантиях. Поклонившись с важностью, они молча расселись ка трех стульях,

имевшихся в камере.

— Синьор Фабрицио дель Донго, — заговорил старший, — к величайшему нашему прискорбию, на нас возложена печальная обязанность. Мы пришли сообщить вам, что скончался ваш батюшка, его сиятельство маркиз дель Донго, второй помощник главного мажордома Ломбардо-Венецианского королевства, кавалер орденов… и так далее и так далее.

Фабрицио залился слезами; судья продолжал:

— Маркиза дель Донго, ваша матушка, сообщает вам об этом в личном письме, но, так как к своему сообщению она присовокупила неподобающие размышления, суд вчера постановил ознакомить вас с содержанием письма только в извлечениях, каковые вам прочтет сейчас синьор Бона, секретарь суда.

Когда чтение закончилось, судья подошел к Фабрицио, по-прежнему лежавшему в постели, и предложил ему сверить с подлинником прочитанные секретарем выдержки. Фабрицио увидел в письме матери слова: «несправедливое заточение», «жестокое наказание за преступление, которого ты не совершил» и понял, почему явились к нему судьи. Но, глубоко презирая бесчестных судейских чиновников, он сказал

только:

— Я болен, господа, совсем ослабел. Извините меня, что не могу встать.

Судьи ушли. Фабрицио долго плакал, затем спросил себя: «Неужели я лицемер? Ведь мне казалось, что я нисколько не люблю отца».

В тот день и в следующие дни Клелия была очень грустна; не раз она вызывала Фабрицио, но едва решалась сказать ему несколько слов. На пятый день после их первого свидания она сказала утром, что придет вечером в мраморную часовню.

— Мы можем поговорить лишь несколько минут, — прошептала она, войдя в часовню.

Она так дрожала, что вынуждена была опереться на плечо горничной; затем, отослав ее к дверям, еле слышно вымолвила:

— Дайте мне честное слово, что вы послушаетесь герцогини и попытаетесь бежать в тот день, когда она скажет, и тем способом, какой она предложит, иначе я завтра же уйду в монастырь и, клянусь вам, никогда в жизни вы больше не услышите от меня ни единого слова.

Фабрицио молчал.

— Обещайте, — сказала Клелия вся в слезах и как бы потеряв власть над собой, — или же мы

говорим с вами в последний раз. Я больше не могу так жить. Это ужасно! Вы остаетесь здесь ради меня, а каждый день может оказаться для вас последним.

В эту минуту Клелия почувствовала такую слабость, что едва не упала в обморок; ей пришлось ухватиться за спинку огромного кресла, стоявшего на середине часовни, — некогда оно предназначалось для принца-узника.

— Что я должен обещать? — уныло спросил Фабрицио.

— Вы же знаете.

— Хорошо. Клянусь, что я сознательно пойду навстречу ужасному для меня несчастью и обреку себя на жизнь вдали от самого дорогого для меня создания.

— Говорите точнее.

— Клянусь повиноваться герцогине и бежать в тот день, который она назначит и тем способом, какой она укажет. Но что будет со мною вдали от вас?

— Клянитесь бежать отсюда, что бы ни случилось.

— Как! Значит, вы решили выйти замуж за маркиза Крешенци, как только меня здесь не будет?

— Боже мой! Как вы дурно думаете обо мне!..

Поклянитесь, или у меня не будет ни минуты душевного покоя.

— Ну, хорошо. Клянусь бежать в тот день, как герцогиня прикажет, что бы за это время ни случилось.

Добившись этой клятвы, Клелия совсем лишилась сил и вынуждена была уйти. Прощаясь, она поблагодарила Фабрицио.

— Все уже было готово, чтобы мне бежать в монастырь завтра утром, — сказала она, — если б не смягчилось ваше упорство. И это было бы последнее наше свидание. Такой я дала обет мадонне. А теперь, как только мне можно будет выйти из своей комнаты, я пойду осмотреть ту страшную стену, под новым камнем в балюстраде.

На следующий день она была так бледна, что у Фабрицио защемило сердце. Она сказала ему из окна вольеры:

— Не будем обманывать себя, дорогой друг. Дружба наша была грехом, и я уверена, что нас постигнет несчастье… Вашу попытку к бегству раскроют, и вы будете заточены навеки, а может быть, случится что-нибудь еще ужаснее. Но все же надо прислушаться к голосу благоразумия и на все пойти. Чтобы спуститься по наружной стене главной башни, вам нужна прочная ве-

ревка длиною больше двухсот футов. Сколько я ни стараюсь, с тех пор как знаю о замысле герцогини, но найти такую веревку не могу. Мне удалось достать несколько веревок, но они коротки, — если их связать, в них будет не больше пятидесяти футов. Отец приказал сжигать все веревки, какие обнаружат в крепости, а веревки от колодцев каждый вечер снимают и прячут, да они такие непрочные, что нередко обрываются, когда поднимают свой легкий груз. Но молите бога, чтобы он простил меня, — я предам своего отца. Я — вероломная дочь: я постараюсь сделать то, что нанесет ему смертельный удар. Молитесь за меня и, если вы спасетесь бегством, дайте обет богу славить имя его каждое мгновение своей жизни.

Вот какая мысль пришла мне: через неделю я поеду на свадьбу одной из сестер маркиза Крешенци. Вечером я, разумеется, вернусь, но приложу все усилия, чтобы вернуться попозднее, и, может быть, Барбоне не посмеет слишком внимательно присматриваться ко мне. На свадьбу приглашены самые знатные дамы; будет там, конечно, и герцогиня Сансеверина. Ради бога, устройте так, чтобы одна из этих дам передала мне сверток с веревками, не очень толстыми и

туго увязанными, — пусть сверток будет как можно меньше. Я готова претерпеть любые пытки, пойти на самую страшную опасность, лишь бы пронести в крепость этот сверток с веревками. Увы, я нарушаю свой долг. Если отец узнает об этом, мне никогда больше не видеть вас. Но какая бы участь ни ждала меня, я буду счастлива, как преданный друг или как сестра, если помогу спасти вас.

В ту же ночь, переговариваясь с помощью лампы, Фабрицио сообщил герцогине, какой представляется исключительный случай переправить ему в крепость необходимое количество веревок. Но он умолял ее хранить все в тайне, даже от графа, что показалось герцогине весьма странным. «Право, он помешался, — думала она. — Тюрьма совсем его изменила; он все принимает трагически!»

На следующий день свинцовый шарик, пущенный из рогатки, принес узнику весть о величайшей опасности. Особа, взявшаяся передать веревки, — говорилось в письме, — поистине спасает ему жизнь. Фабрицио поспешил поделиться этой вестью с Клелией. Свинцовый шарик доставил ему также очень точный план западной стены, по которой ему следовало спуститься с

главной башни, между двумя бастионами; а через крепостной вал перебраться было нетрудно, так как высота его в этом месте не превышала двадцати трех футов и охраняли его довольно плохо. На обороте плана мелким изящным почерком написан был превосходный сонет: какая-то возвышенная душа заклинала Фабрицио бежать, ибо за одиннадцать долгих лет заточения в темнице сердце его истомится в унижениях и тело его исчахнет.

Тут мы должны ненадолго прервать историю этого смелого предприятия и сообщить одну подробность, которая отчасти объяснит, почему герцогиня отважилась предложить Фабрицио такой опасный план побега.

Как во всех партиях, не стоящих у власти, в партии Раверси не было единодушия. Кавалер Рискара ненавидел Расси, считая, что из-за главного фискала проиграл в суде тяжбу, в которой, говоря по совести, закон был не на стороне Рискара. Стараниями Рискара принц получил анонимное письмо и узнал из него, что коменданту крепости послано официальное уведомление о приговоре Фабрицио. Маркизу Раверси, искусную предводительницу партии, этот донос раздосадовал, как очень ложный шаг, и она тотчас сообщила о нем

своему приятелю, главному фискалу: она считала вполне естественным, что Расси хочет чем-нибудь поживиться от графа Моска, пока тот стоит у власти. Расси смело явился во дворец, рассчитывая, что отделается только пинками. Принц не мог обойтись без ловкого юриста, а Расси заставил отправить в ссылку как либералов лучшего в стране судью и лучшего адвоката, единственных людей, которые могли бы занять его место.

Принц встретил его руганью и бросился на него с кулаками.

— Да ведь все произошло по недомыслию писца, — с величайшим хладнокровием сказал Расси. — Сообщать приговор предписывается законом, и сделать это полагалось на другой же день после заключения синьора дель Донго. Усердный не по разуму писец подумал, что позабыли соблюсти формальность, и подсунул мне для подписи препроводительное отношение.

— И ты воображаешь, что я поверю такой грубой выдумке? — в бешенстве закричал принц. — Скажи лучше, что ты продался этому мошеннику Моска, и именно за это он дал тебе крест. Но погоди, ты не отделаешься побоями, я отдам тебя под суд, я тебя уволю с позором.

— Попробуйте отдать меня под суд! — самоуве-

ренно заявил Расси, зная, что это верный способ успокоить принца. — Закон на моей стороне, и у вас нет второго Расси, который так ловко умел бы обходить законы. И вы не уволите меня, потому что у вас бывают вспышки гнева, тогда вы жаждете крови, а вместе с тем вам хочется сохранить уважение всех разумных людей в Италии, — это уважение sine qua non[102] для вашего честолюбия. Словом, в первый же раз, как ваш характер толкнет вас на суровую расправу, вы вернете меня, и я, как всегда, представлю вам вполне законный приговор; его вынесут, по моему требованию, судьи, люди довольно честные, но робкие, и вы утолите ваши страсти. Поищите-ка в своем государстве другого такого полезного человека, как я!

Сказав это, Расси пустился наутек. Он отделался дешево, получив только крепкий удар линейкой и пять или шесть пинков. Выйдя из дворца, Расси тотчас же отправился в свое поместье Рива: он опасался удара кинжалом, пока не остыл монарший гнев, но был уверен, что не пройдет и двух недель, как за ним пришлют курьера и вернут его в столицу. В деревне на досуге он постарался

---

[102] Примечания: 102
Непременное условие (*лат.*).

установить надежный способ связи с графом Моска. Он жаждал именоваться бароном, но полагал, что принц слишком высоко ставит дворянство, чтобы пожаловать своему фискалу титул, тогда как граф, весьма гордившийся своей родовитостью, признавал лишь те дворянские грамоты, которые даны не позже XIV века.

Главный фискал отнюдь не обманулся в своем предвидении, — он прожил в деревне всего неделю: туда *случайно* заехал один из приближенных принца и посоветовал ему немедленно вернуться в Парму. Принц встретил его веселым смехом, а затем, приняв строгий вид, заставил Расси поклясться на евангелии, что он сохранит в тайне доверительное сообщение, которое сейчас услышит. Расси поклялся самым торжественным тоном, и тогда принц, злобно сверкая глазами, воскликнул, что он не будет чувствовать себя полновластным повелителем, пока жив Фабрицио дель Донго.

— Я не могу, — добавил он, — ни изгнать герцогиню, ни терпеть больше ее присутствие в Парме; ее глаза бросают мне вызов, ее взгляд мешает мне жить.

Выслушав пространные изъяснения принца, Расси изобразил крайнее смущение и, наконец,

воскликнул:

— Я готов, разумеется, повиноваться вашему высочеству, но это дело чрезвычайно трудное. Приговорить синьора дель Донго к смертной казни за убийство какого-то Джилетти просто неприлично. И то уж потребовалось немало ловкости, чтобы присудить его к двенадцати годам заключения в крепости. Кроме того, я подозреваю, что герцогиня разыскала троих крестьян, работавших на раскопках в Сангинье: они как раз находились поблизости от дороги, когда разбойник Джилетти напал на дель Донго.

— А где эти свидетели? — раздраженно спросил принц.

— Спрятаны в Пьемонте, я полагаю. Ваше высочество, хорошо бы сочинить покушение на вас.

— Опасное средство, — возразил принц. — Пожалуй, наведет кого-нибудь на мысль…

— А больше ничего в моем судебном арсенале не найдется, — сказал Расси с деланной наивностью.

— Остается яд…

— Но кто его преподнесет? Не этот же болван Конти!..

— А, говорят, он не новичок в таких делах…

— Для этого надо его разозлить хорошенько, —

заметил Расси. — Впрочем, когда он отправил на тот свет некоего капитана, ему еще тридцати лет не было, он был влюблен и не отличался такой трусостью, как теперь. Разумеется, все должно подчинять государственным интересам, но подобная задача застигла меня врасплох, и я сейчас, право, не вижу, кто может выполнить монаршью волю… Разве что Барбоне — тот писец, которого синьор дель Донго сбил с ног оплеухой при первом допросе в тюрьме.

Принц пришел в приятное расположение духа, разговор затянулся, и в конце его монарх дал своему главному фискалу месячный срок, — Расси просил два месяца. На другой же день он получил секретное вознаграждение в тысячу цехинов. Он размышлял три дня, а на четвертый пришел к прежнему своему выводу, признав его бесспорным: «Только у графа Моска хватит смелости сдержать свое обещание и сделать меня бароном; ибо он это не считает почетом; во-вторых, предупредив его, я, по всей вероятности, избегну преступления, за которое мне все равно уже заплачено сполна, в-третьих, я отомщу за побои и пинки, которые для кавалера Расси нестерпимы.». И на следующую ночь он передал графу Моска весь свой разговор с принцем.

Граф втайне ухаживал за герцогиней; правда, он бывал у нее всего два раза в месяц, но почти каждую неделю, а иногда и чаще, когда у него находился повод поговорить о Фабрицио, герцогиня поздним вечером проводила несколько минут в саду графа вместе с Чекиной. Она искусно обманывала даже своего кучера, человека преданного, и он воображал, что герцогиня находится в гостях в соседнем доме.

Можно, конечно, не сомневаться, что, получив от фискала секретное сообщение, граф тотчас подал герцогине условленный сигнал. Хотя это было глубокой ночью, она через Чекину попросила его немедленно приехать к ней. Графа, словно влюбленного юношу, привела в восторг эта видимость интимной дружбы; все же он колебался, сказать ли всю правду, боясь, что герцогиня сойдет с ума от горя.

Сначала он пытался смягчить роковую весть, но в конце концов сказал все, когда она потребовала, — он не мог от нее таиться. Жестокие страдания, длившиеся девять месяцев, закалили эту пламенную душу: герцогиня не разразилась ни рыданиями, ни сетованиями.

На следующую ночь она приказала подать Фабрицио сигнал грозной опасности:

«В замке пожар».

Он ответил, как и следовало:

«А мои книги сгорели»?»

В ту же ночь ей удалось переправить ему письмо в свинцовом шарике. Через неделю, на свадьбе у сестры маркиза Крешенци, герцогиня совершила ужаснейшую неосторожность, о которой мы расскажем в свое время.

21

Почти за год до начала всех этих несчастий у герцогини произошла странная встреча: однажды, когда на нее нашла luna, как говорят в тех краях, она внезапно под вечер уехала в свою усадьбу Сакка, расположенную за Колорно на холмистом берегу По. Она с любовью украшала это поместье; ей нравился большой лес, покрывавший вершину холма и подступавший к замку; в самых живописных его уголках она велела проложить тропинки.

— Вас когда-нибудь похитят разбойники, прекрасная дама, — сказал ей однажды принц. — Едва станет известно, что вы любите гулять в лесу, он уж, конечно, не останется пустынным.

И принц бросил взгляд на графа, желая разжечь его ревность.

— Я ничего не боюсь, ваше высочество, — ответила герцогиня с простодушным видом. — Прогуливаясь в лесу, я всегда успокаиваю себя такой мыслью: «Я никому не делала зла, кто же может меня ненавидеть?»

Ответ сочли слишком смелым: он напоминал оскорбительные речи местных либералов, людей

весьма дерзких.

В день той встречи, о которой мы упомянули, герцогине вспомнились слова принца, когда она заметила какого-то оборванного человека, следовавшего за ней по лесу на некотором расстоянии. Герцогиня продолжала прогулку, но вдруг на неожиданном повороте тропинки незнакомец очутился так близко от нее, что она испугалась. В порыве страха она кликнула лесного сторожа, которого оставила далеко от этого уголка, в цветнике, разбитом около замка. А тем временем незнакомец успел подойти к ней и бросился к ее ногам. Он был молод и очень красив, но ужасно дурно одет, почти в лохмотьях, глаза же его горели огнем пламенной души.

— Я приговорен к смертной казни; я — врач Ферранте Палла, у меня пятеро детей, и мы все умираем с голоду.

Герцогиня заметила его страшную худобу, но глаза его были так прекрасны и выражали такую восторженную нежность, что она отбросила всякую мысль о преступлении. «Вот такими глазами Паладжи[103] следовало наделить Иоанна Крестителя в пустыне, которого он написал недавно для

---

[103] Примечания: 103
Паладжи (1775–1860) — болонский живописец и декоратор.

собора». Мысль об Иоанне Крестителе вызвана была невероятной худобой Ферранте. Герцогиня дала ему три цехина — все, что нашлось у нее в кошельке, и извинилась, что дает так мало: ей пришлось в тот день заплатить по счету своему садовнику. Ферранте горячо поблагодарил ее.

— Увы! — сказал он. — Когда-то я жил в городах, видел изящных женщин, но с тех пор как исполнил свой долг гражданина и приговорен за это к смерти, я живу в лесах. За вами я пошел не с целью попросить милостыни или ограбить вас, но как дикарь, ослепленный ангельской красотою. Я так давно не видел прекрасных белых рук!

— Встаньте же, — сказала герцогиня, так как он все не поднимался с колен.

— Позвольте мне остаться в этой позе, — ответил Ферранте. — Она мне самому показывает, что сейчас я не грабитель, и это успокаивает меня. Знайте, я принужден жить воровством, с тех пор как мне не дают лечить людей. Но в эту минуту я только простой смертный, поклоняющийся божественной красоте.

Герцогиня поняла, что он немного помешан, но не испугалась: по глазам этого человека она видела, что у него пылкая, добрая душа, и к тому же ей нравились необычайные люди.

— Итак, я — врач. Я ухаживал за женою пармского аптекаря Саразине; однажды он нас застиг и выгнал из дому жену и троих детей, справедливо полагая, что это не его дети, а мои. Потом у нас родилось еще двое детей. Мать и пятеро малышей живут в крайней нищете, ютятся в убогой хижине, которую я своими руками построил в самой чаще леса, — отсюда до нее около лье. Ведь мне надо скрываться от жандармов, а эта бедная женщина не хочет разлучаться со мной. Меня приговорили к смерти и с достаточным основанием: я участвовал в заговоре. Я ненавижу принца, — он тиран. Бежать за границу я не мог: не было денег. Но вот другая беда, такая страшная, что мне тысячу раз хотелось покончить с собою: я разлюбил ту несчастную женщину, которая подарила мне пятерых детей и ради меня погубила себя, — я люблю другую. Если же я покончу с собой, мать и пятеро детей умрут, буквально умрут от голода.

Человек этот, несомненно, говорил искренне.

— Но чем же вы живете? — спросила герцогиня, почувствовав жалость к нему.

— Мать прядет, старшую дочь кормят на одной ферме: хозяева ее — либералы; она пасет у них овец; а я стал грабить людей на большой дороге

между Пьяченцой и Генуей.

— Как же вы сочетаете грабеж и либеральные принципы?

— Я записываю, кого и на какую сумму ограбил, и, если когда-нибудь будет у меня хоть небольшая возможность, я верну все деньги, какие отобрал. Я полагаю, что такой человек, как я, то есть народный трибун, несет определенный труд, который, в силу его опасности, заслуживает оплаты в сто франков в месяц; поэтому я никогда не беру более тысячи двухсот франков в год. Нет, я ошибаюсь, — иногда я ворую немного больше: мне ведь надо печатать свои произведения.

— Какие произведения?

— Ну, например: «Будет ли у нас когда-нибудь Палата и бюджет?»

— Как? — удивленно воскликнула герцогиня. — Вы — знаменитый Ферранте Палла? Один из величайших поэтов нашего века?

— Знаменитый? Возможно. Но бесспорно очень несчастный.

— И человек с таким дарованием вынужден жить воровством?

— Может быть, потому и вынужден, что есть у меня искра дарования. До сих пор все наши писатели, составившие себе имя, продавались

правительству или церкви, которые сначала хотели подорвать. Я же, во-первых, рискую жизнью, а во-вторых, — подумайте, синьора, какие мысли волнуют меня, когда я выхожу на грабеж. «Прав ли я?.. — спрашиваю я себя. — Действительно ли трибун оказывает обществу такие услуги, за которые он имеет право брать сто франков в месяц?» У меня всего две сорочки, вот это платье, которое вы на мне видите, кое-какое оружие, — притом дрянное; я уверен, что кончу жизнь на виселице. Смею думать, что я человек бескорыстный. Я был бы счастлив, если бы не постигла меня роковая любовь, из-за которой я теперь только страдаю возле матери моих детей. Бедность меня тяготит лишь своей уродливостью. Я люблю красивые одежды, прекрасные белые руки…

И он посмотрел на руки герцогини таким взглядом, что ей стало страшно.

— Прощайте, сударь, — сказала она. — Не могу ли я чем-нибудь помочь вам в Парме?

— Размышляйте иногда над таким вопросом: его назначение пробуждать сердца и не давать им цепенеть в том ложном, грубо материальном счастье, какое будто бы дают монархии. Стоят ли услуги, которые он оказывает своим согражданам, ста франков в месяц?.. На свое несчастье,

я уже два года люблю вас, — сказал он кротким голосом, — два года душа моя живет только вами, но до сих пор я видел вас, не внушая вам страха.

И он бросился бежать с невероятной быстротой, что удивило и обрадовало герцогиню. «Жандармам трудно будет догнать его, — подумала она, — но он все-таки сумасшедший».

— Да, он сумасшедший, — сказали ей слуги. — Мы все уже давно знаем, что бедняга влюблен в вас, синьора. Когда вы приезжаете сюда, он бродит по лесу, забирается на самые высокие холмы, а как только вы уедете, он уже непременно придет посидеть в тех уголках, где вы останавливались на прогулках; подберет цветок, выпавший из вашего букета, полюбуется им, прицепит к дрянной своей шляпе и долго его не снимает.

— Почему же вы никогда не говорили мне об этих безумствах? — почти укоризненно спросила герцогиня.

— Боялись, что вы расскажете министру, графу Моска. Бедняга Ферранте такой славный человек, никогда никому не делает зла, а его приговорили к смерти за то, что он любит нашего Наполеона.

Герцогиня ничего не сказала министру об этой встрече, — за четыре года их близости у нее впервые появилась тайна от него, и в разговоре с ним

ей раз десять приходилось обрывать себя на полуслове. Вскоре она снова отправилась в Сакка, захватив с собой золота, но на этот раз Ферранте не показывался. Через две недели она опять приехала. Ферранте сначала следовал за ней по лесу, на расстоянии ста шагов, перепрыгивая через корни и пни, и вдруг, ринувшись с быстротой ястреба, упал перед ней на колени, как в день первой встречи.

— Куда вы исчезли две недели назад?

— В горы за Нови. Ограбил там погонщиков мулов, — они возвращались из Милана, продав оливковое масло.

— Примите от меня этот кошелек.

Ферранте раскрыл кошелек, взял из него один цехин, поцеловал его и, спрятав на груди, вернул ей кошелек.

— Вы возвратили мне кошелек, а сами грабите людей!..

— Конечно. Я положил себе за правило никогда не иметь больше ста франков. Однако сейчас у матери моих детей восемьдесят франков да у меня двадцать пять — значит, пять франков лишних, и если б сейчас меня повели на виселицу, я мучился бы угрызениями совести. Я взял этот цехин только потому, что вы дали мне его и

потому что я люблю вас.

Он сказал «я люблю вас» так просто и с такой благородной выразительностью, что герцогиня подумала: «Он действительно любит».

В тот день у него был совсем безумный вид. Он все твердил, что в Парме кто-то должен ему шестьсот франков, на эту сумму он мог бы починить свою хижину, а то его бедные дети часто хворают от простуды.

— Я дам вам взаймы эти шестьсот франков, — сказала растроганная герцогиня.

— Нет! Я общественный деятель. Вражеская партия может оклеветать меня. Скажет, что я продался.

Герцогиню это умилило. Она предложила ему тайное убежище в Парме, если он даст клятву, что не будет вершить правосудие в этом городе и не осуществит ни одного смертного приговора, которые он, по его словам, вынес in petto[104].

— А если меня там схватят и повесят вследствие моей неосторожности? — строго сказал Ферранте. — Тогда, значит, все эти негодяи, эти угнетатели народа будут жить долгие годы? Кто будет в этом виноват? Что скажет мне отец, встре-

---

[104] Примечания: 104
В душе (*итал.*).

тив меня на небесах?

Герцогиня долго убеждала его, говорила, что его маленькие дети в сырую погоду могут сильно простудиться и умереть. Наконец, он согласился воспользоваться тайным убежищем в Парме.

После свадьбы герцог Сансеверина провел в Парме только полдня, и, показывая молодой жене дворец, носивший его имя, обратил ее внимание на необычайный тайник в южном углу здания. Стена фасада, сохранившегося еще со времен средневековья, была толщиной в восемь футов; внутри ее оставили полое пространство, устроив, таким образом, тайник высотою в двадцать футов, но шириною всего в два фута. Как раз рядом с ним находился красивый водоем, о котором с восторгом упоминают все путешественники, — этот прославленный водоем сооружен был в XII веке, во время осады Пармы императором Сигизмундом, и позднее оказался в ограде дворца Сансеверина.

Огромный камень, прикрывавший ход в тайник, поворачивался на железной оси, укрепленной в середине этой глыбы. Герцогиня так была тронута безумием Ферранте и участью его детей, для которых он упорно отказывался принять сколько-нибудь ценный подарок, что разрешила

ему воспользоваться этим тайником на довольно долгий срок. Через месяц она вновь встретила его в лесах Сакка; в этот день он был несколько спокойнее и прочел ей один из своих сонетов, который показался ей не хуже, а может быть, и лучше самых прекрасных стихов, созданных в Италии за два последних столетия. После этого она еще несколько раз встречалась с ним, но его восторженная любовь стала ей тягостна; герцогиня увидела, что его страсть следует всеобщему закону любви, которую питает хоть слабый луч надежды. Тогда она отослала Ферранте в его леса, запретив ему вступать с нею в разговор; он тотчас повиновался с величайшей кротостью. Вот каковы были их отношения ко времени ареста Фабрицио. На четвертый день после этого события, в сумерках, во дворец Сансеверина пришел какой-то капуцин и заявил, что ему нужно сообщить хозяйке дома важную тайну. Герцогиня так была подавлена своим несчастьем, что приказала впустить его. Это был Ферранте.

— Здесь произошло еще одно беззаконие, и народный трибун должен быть осведомлен о нем, — сказал ей этот человек, помешавшийся от любви. — С другой стороны, действуя как частное лицо, — добавил он, — я могу предложить

герцогине Сансеверина только свою жизнь. Я отдаю ее вам.

Искренняя преданность полубезумного грабителя глубоко тронула герцогиню. Она долго говорила с этим человеком, считавшимся самым талантливым поэтом Северной Италии, и горько плакала. «Вот кто понимает мое сердце», — думала она.

На следующий день он вновь пришел, в час, когда звонят к вечерне, на этот раз переодетый лакеем.

— Я не уходил из Пармы. Я услыхал такие ужасы, что мои уста не могут их повторить. И вот я у ваших ног. Подумайте, синьора, что вы отвергаете! Вы видите перед собою не какую-то придворную куклу, а человека.

Он говорил это, стоя на коленях, и выражение его лица придавало глубокую значительность его словам. Он добавил:

— Вчера я подумал: она плакала при мне, значит, ей было со мной хоть немного легче.

— Что вы делаете! Вспомните, какие опасности подстерегают вас в Парме. Вас арестуют!

— Трибун скажет вам: «Синьора, что такое жизнь, когда говорит долг?» А несчастный человек, к великой скорби своей уже не покло-

няющийся добродетели, с тех пор как сгорает любовью, добавит: «Синьора, Фабрицио, человек отважный, быть может, погибнет; не отвергайте другого отважного человека, который отдает себя в вашу власть!» У меня железное тело, а душа моя страшится в мире лишь одного: не угодить вам.

— Если вы еще раз заговорите о своих чувствах, дверь моего дома будет навсегда для вас заперта.

В тот вечер герцогиня хотела было сказать Ферранте, что назначит его детям небольшую пенсию, но испугалась, как бы он, услышав это, не убежал и не покончил с собою.

Лишь только Ферранте ушел, ее охватило тяжелое предчувствие, она подумала:

«Ведь я тоже могу умереть… и дай бог, чтобы это случилось поскорее, если б только я нашла человека, достойного называться этим именем. Я поручила бы ему бедного моего Фабрицио».

Вдруг ее осенила мысль: она взяла листок бумаги и, припомнив кое-какие юридические термины, составила расписку в том, что получила от синьора Ферранте Палла двадцать пять тысяч франков, из каковой суммы обязуется выплачивать пожизненную ренту в размере одной тысячи пятисот франков синьоре Саразине и пятерым ее детям. Под этой распиской она добавила

следующее: «Помимо того, я оставляю по завещанию каждому из пятерых означенных детей пожизненную ренту в размере трехсот франков при условии, что врач Ферранте Палла будет пользовать моего племянника Фабрицио дель Донго и будет ему братом. Я прошу его об этом». Она подписалась и, пометив документ прошлым годом, спрятала его.

Через два дня Ферранте снова явился; как раз в тот день весь город был взволнован слухами о близкой казни Фабрицио. Где произойдет эта печальная церемония? В крепости или на бульваре, излюбленном месте прогулок горожан? В тот вечер многие простолюдины прохаживались перед воротами крепости, стараясь подсмотреть, не сооружают ли там эшафот. Это сборище встревожило Ферранте. Герцогиня встретила его, заливаясь слезами, и не в силах была говорить. Она сделала ему рукой приветственный знак и указала на стул. Ферранте, переодетый в тот день капуцином, был великолепен; не пожелав сесть на стул, он опустился на колени и стал проникновенно читать вполголоса молитву. Заметив, что герцогиня немного успокоилась, он, не вставая с колен, прервал на мгновение молитву и воскликнул: «Я вновь предлагаю свою жизнь».

— Подумайте хорошенько, что вы говорите, — сказала герцогиня, и глаза ее сверкнули: после рыданий гнев одержал верх над тихой скорбью.

— Я предлагаю свою жизнь, чтобы не допустить казни Фабрицио или отомстить за него.

— Положение таково, — заметила герцогиня, — что я могу согласиться и приму вашу жертву.

Она смотрела на него пристально и сурово. Глаза Ферранте загорелись радостью, он быстро встал с колен и простер руки к небу. Герцогиня подошла к шкафу орехового дерева и вынула из потайного ящика бумагу.

— Прочтите, — сказала она Ферранте.

Эта была дарственная его детям, о которой мы упоминали. Слезы и рыдания помешали Ферранте прочесть ее до конца. Он упал на колени.

— Верните мне эту бумагу, — сказала герцогиня и сожгла ее на огне горевшей свечи.

— Мое имя не должно быть замешано, если вас схватят и казнят, — добавила она. — Ведь вы рискуете головой.

— Я с радостью отдам свою жизнь, нанеся удар тирану, и еще радостнее отдам свою жизнь за вас. Верьте этому, поймите и, прошу вас, больше не упоминайте о каких-то деньгах. Я сочту это оскорбительным недоверием.

— Погубив себя, вы погубите и меня, а затем и Фабрицио. И лишь во избежание этого, а не потому, что у меня нет доверия к вашему мужеству, я требую, чтобы человек, пронзивший мне сердце, пал от яда, а не от кинжала. По той же важной для меня причине я приказываю вам во что бы то ни стало спасти свою жизнь.

— Я исполню вашу волю верно, точно и осторожно. Предвижу, что моя месть соединится с вашей. Но даже если я ошибаюсь, я все исполню верно, точно и осторожно. Меня может постигнуть неудача, но я сделаю все, что в моих силах.

— Вы знаете, кого нужно отравить? Убийцу Фабрицио.

— Я догадался. Мне и самому за двадцать семь месяцев горькой скитальческой жизни не раз приходила мысль об этом акте возмездия.

— Если все раскроется и меня приговорят к смерти как сообщницу, — сказала герцогиня надменно, — я не хочу, чтобы думали, будто я соблазнила вас. Приказываю вам не искать больше встречи со мной, пока не настанет час мести. Ждите моего сигнала, — сейчас нельзя покарать его: сейчас его смерть была бы не только бесполезна, но, напротив, гибельна для меня. Возможно, казнь его придется отсрочить на несколько меся-

цев, но все же она должна совершиться. Я требую, чтоб его отравили; я предпочитаю оставить ему жизнь, чем знать, что он умерщвлен огнестрельным оружием. И по причинам, которых я не хочу вам сообщать, я требую, чтобы вы спасли свою жизнь.

Ферранте восхитил властный тон, которым говорила с ним герцогиня; глаза его заблестели глубокой радостью. Как мы уже говорили, его худоба просто пугала, но видно было, что в ранней молодости он отличался большой красотой, а ему самому казалось, что он такой же, как прежде. «Безумец я, — думал он, — или же действительно герцогиня хочет подарить мне блаженство, когда я на деле докажу ей свою преданность? А почему бы и нет? Чем я хуже этой куклы, графа Моска, который ничего не сумел для нее сделать, даже не помог монсиньору Фабрицио бежать из крепости?»

— Может случиться, что я уже завтра потребую его смерти, — продолжала герцогиня все тем же властным тоном. — Вы знаете, что рядом с тайником, где вы не раз укрывались, находится огромный водоем. С помощью секретного механизма из него можно выпустить всю воду на улицу. Так вот, это послужит сигналом мести. Вы

увидите сами, если будете в Парме, или услышите от друзей, если будете в лесах, что прорвало большой водоем во дворце Сансеверина. Тогда действуйте немедленно, но примените только яд и, главное, как можно меньше подвергайте опасности свою жизнь. И не забудьте: никто никогда не должен знать, что я замешана в этом деле.

— Не нужно слов! — ответил Ферранте, плохо сдерживая свой восторг. — Я уже решил, какое средство употребить. Жизнь этого человека теперь мне еще ненавистнее, чем прежде: ведь я не имею права видеть вас до тех пор, пока он жив. Буду ждать. Пусть поскорее прорвет водоем.

Он поклонился и стремительно вышел. Герцогиня смотрела ему вслед. Когда он уже был в соседней комнате, она позвала его.

— Ферранте! — воскликнула она. — Благородное сердце!

Он вернулся, как будто досадуя, что его задерживают. Лицо его было прекрасно в ту минуту.

— А ваши дети?

— Синьора, они богаче меня. Вы, вероятно, назначите им небольшую пенсию.

— Возьмите, — сказала герцогиня, подавая ему ларчик из оливкового дерева. — Тут все бриллианты, какие у меня остались: они стоят пятьдесят

тысяч франков.

— Ах, зачем вы унижаете меня, синьора!.. — сказал Ферранте с ужасом и отшатнулся от нее. Он сразу переменился в лице.

— Я не увижусь с вами до того, как настанет время действовать. Возьмите, я требую! — воскликнула герцогиня, надменным взглядом уничтожив Ферранте.

Он положил ларчик в карман и вышел.

Но едва закрылась за ним дверь, герцогиня снова окликнула его; он вошел с тревожным видом. Герцогиня стояла посреди гостиной; она бросилась ему на грудь. Ферранте едва не лишился чувств от счастья. Через мгновенье герцогиня высвободилась из его объятий и глазами указала ему на дверь.

«Вот единственный человек, который понял меня, — подумала она. — Так поступил бы и Фабрицио, если бы мог услышать меня».

В характере герцогини были две своеобразные черты: крепко пожелав чего-нибудь, она уже никогда не отказывалась от своего желания; приняв какое-нибудь решение, она уже не подвергала его обсуждению. И нередко она приводила слова своего первого мужа, славного генерала Пьетранера: «Что за дерзкое неуважение к самому себе!

Почему сегодня у меня должно быть больше ума, чем в тот день, когда я решился на этот шаг?»

С этого вечера у герцогини появилась какая-то нервная веселость. До той минуты, как она приняла роковое решение, о чем бы она ни думала, на что бы ни смотрела, у нее всегда было ощущение полной зависимости от принца и своей слабости, своего легковерия; принц, по ее мнению, подло обманул ее, а граф Моска, угодливый царедворец, хотя и невольно, но помог этому обману. А как только она решила отомстить, она почувствовала свою силу, работа мысли доставляла ей наслаждение. Я склонен думать, что причиной безнравственной радости, которую дает итальянцам месть, является сила воображения, свойственная этой нации; в других странах люди, собственно говоря, не прощают обид, а просто забывают их.

Герцогиня увиделась с Ферранте Палла только к концу заточения Фабрицио. Вероятно, читатели догадались, что именно он подал мысль о побеге. В двух лье от усадьбы Сакка, в лесу, сохранилась полуразрушенная средневековая башня высотою более ста футов. Прежде чем вторично заговорить с герцогиней о побеге, Ферранте упросил ее послать Лодовико с верными людьми, чтобы

они установили лестницы у стены этой башни. На глазах у герцогини он поднялся на башню по лестницам и спустился с нее по обыкновенной веревке с узлами; он трижды повторил этот опыт и затем изложил свой план. Через неделю Лодовико, по собственному желанию, тоже спустился с башни по веревке с узлами. И тогда герцогиня подала такой совет Фабрицио.

В последние дни перед побегом, который по многим причинам мог привести к смерти узника, герцогиня находила хоть немного покоя только близ Ферранте. Отвага этого человека воодушевляла ее, но читателю, разумеется, понятно, что ей приходилось скрывать от графа столь удивительную дружбу. Ей не страшно было, что он возмутится этим, но она боялась возражений, которые могли подействовать на нее удручающе и усилить ее тревогу. Как! Взять себе в ближайшие советники человека, заведомо сумасшедшего и к тому же приговоренного к смертной казни! «Да еще, — добавляла герцогиня, рассуждая сама с собой, — человека, который впоследствии может натворить много странных дел!» Когда граф приехал сообщить герцогине о разговоре, состоявшемся между принцем и Расси, Ферранте находился в ее гостиной и, как только граф ушел,

тотчас же хотел приступить к выполнению ужасного предприятия; герцогиня с большим трудом удержала его от этого.

— Теперь я силен! — воскликнул сумасшедший. — Теперь у меня нет никаких сомнений в законности такого шага.

— Но за этим неизбежно и немедленно последует расправа, и Фабрицио казнят!

— Что ж, таким образом он будет избавлен от опасного спуска с башни. Спуститься вполне возможно и даже нетрудно, но у этого молодого человека нет опыта.

Состоялась свадьба сестры маркиза Крешенци; на свадебном торжестве герцогиня встретила Клелию и могла поговорить с ней, не вызывая подозрений у высокородных шпионов. Обе дамы вышли на минутку в сад подышать свежим воздухом, и там герцогиня передала Клелии пакет с веревками. Веревки эти, очень тонкие и довольно гибкие были превосходно сплетены из шелка и пеньки и перехвачены узлами; Лодовико тщательно испробовал прочность каждой веревки по всей ее длине: они могли выдержать груз в восемь квинталов[105]. Их сложили очень плотно

---

[105] Примечания: 105
Квинтал — мера веса — 100 килограммов.

и упаковали в несколько свертков, имевших форму и величину томов in-quarto[106]. Клелия взяла свертки и обещала герцогине сделать все, что возможно силам человеческим, чтобы доставить веревки в башню Фарнезе.

— Но меня беспокоит ваша природная робость, — сказала герцогиня. — И к тому же, — учтиво добавила она, — какое участие может вызвать в вас человек, незнакомый вам?

— Синьор дель Донго в несчастии, и «я даю вам слово спасти его»!

Но герцогиня очень мало рассчитывала на присутствие духа у двадцатилетней девушки и приняла другие меры, о которых она, однако, поостереглась сообщить дочери коменданта. Как и следовало ожидать, комендант тоже явился на празднество по случаю свадьбы в семье маркиза Крешенци. Герцогиня решила, что если ему дать сильного снотворного, то в первые минуты действия этого средства могут подумать, что с генералом случился апоплексический удар, и тогда, при известной находчивости, удастся уговорить, чтобы его доставили в крепость не в карете, а на носилках, которые *случайно* найдутся

---

[106] Примечания: 106
В четвертую долю листа (*лат.*).

в доме, где будет происходить празднество. Тут же, под рукой, окажутся ловкие люди, переодетые рабочими, нанятыми для устройства праздника, и среди всеобщей растерянности они услужливо вызовутся донести больного до самого его дворца, расположенного так высоко. У этих людей, которыми руководил Лодовико, было искусно спрятано под одеждой довольно много веревок. Видимо, у герцогини помрачился ум, с тех пор как она непрестанно думала о побеге Фабрицио. Опасность, грозившая дорогому ей существу, оказалась непосильным и, главное, слишком долгим испытанием для ее души. Как мы скоро увидим, от избытка ее предосторожностей план побега едва не был сорван. Все произошло, как она предполагала, с тою лишь разницей, что снотворное оказало слишком сильное действие; все, даже врачи, решили, что у генерала апоплексический удар.

Клелия была в отчаянии, но, к счастью, совершенно не подозревала о преступном вмешательстве герцогини. Полумертвого генерала доставили на носилках в крепость, где поднялся такой переполох, что Лодовико и его люди прошли беспрепятственно; только для порядка их обыскали на «мостике раба». Но когда они пере-

несли генерала в спальню и уложили на постель, их отвели в людскую, где слуги очень хорошо угостили их. А после пирушки, затянувшейся до глубокой ночи, гостям разъяснили, что, по заведенному обычаю, их до утра запрут в комнатах нижнего этажа, а затем заместитель коменданта выпустит их на свободу.

Помощники Лодовико ухитрились передать ему веревки, которые принесли с собой, но Лодовико было очень трудно привлечь к себе хоть на минуту внимание Клелии. Наконец, когда она переходила из одной комнаты в другую, он показал ей, что сложил веревки в темном углу одной из гостиных второго этажа. Клелию поразило это странное обстоятельство, и тотчас у нее возникли подозрения.

— Кто вы такой? — спросила она Лодовико.

И после его уклончивого ответа добавила:

— Вас нужно арестовать. Вы или ваши люди отравили моего отца!.. Признавайтесь сию же минуту, какой яд вы ему подсыпали, чтобы крепостной врач мог назначить ему противоядие. Признавайтесь сию минуту, иначе вы и ваши сообщники никогда не выйдете из крепости.

— Синьорина, вы напрасно тревожитесь, — ответил Лодовико, изъясняясь с большим изяще-

ством и учтивостью. — Об отраве и речи быть не может. Просто, по неосторожности, генералу дали слишком большую дозу лауданума; видимо, болван лакей, которому поручили это дело, налил в бокал несколько лишних капель. Мы вечно будем раскаиваться в этом, но поверьте, синьорина, опасности, ей-богу, никакой нет. Господина коменданта надо только полечить от принятой им по ошибке слишком большой дозы лауданума. Честь имею повторить вам, синьорина: лакей, которому дано было это предосудительное поручение, отнюдь не пользовался настоящим ядом, как Барбоне, когда пытался отравить монсиньора Фабрицио. У нас вовсе не было намерения отомстить за смертельную опасность, которой подвергался монсиньор Фабрицио: неловкому лакею дали пузырек с одним только лауданумом, — клянусь вам, синьорина! Но, разумеется, если меня станут официально допрашивать, я от всего отопрусь. Впрочем, синьорина, если вы скажете кому-нибудь о лаудануме и об отравлении — хотя бы даже добрейшему дону Чезаре, — вы собственными своими руками убьете Фабрицио. Вы навсегда сделаете невозможной всякую его попытку к бегству, а ведь вы, синьорина, лучше меня знаете, что монсиньора Фабрицио хотят

отравить и уж, конечно, не каким-то безвредным, лауданумом. Вам известно также, что некой особой дан для этого преступления месячный срок, а прошло уже более недели со дня рокового приказа. Поэтому, синьорина, если вы распорядитесь арестовать меня или только обмолвитесь хоть словом дону Чезаре или кому-либо другому, вы отсрочите все наши попытки больше чем на месяц, а, следовательно, я имею полное основание сказать, что вы собственными своими руками убьете монсиньора Фабрицио.

Клелию привело в ужас странное спокойствие Лодовико. «Что же это?! Я как ни в чем не бывало веду беседу с отравителем моего отца, — думала она. — Он уговаривает меня, щеголяет учтивыми оборотами речи… Неужели любовь привела меня ко всем этим преступлениям?..» Угрызения совести не давали ей говорить, она с трудом вымолвила:

— Я вас запру на ключ в этой гостиной. Сама же побегу предупредить врача, что лечить надо от лауданума. Но, господи, как мне объяснить, откуда я это узнала… Потом я приду и выпущу вас.

Клелия побежала и вдруг остановилась в дверях:

— Скажите, Фабрицио знал что-нибудь о ла-

удануме?

— Боже мой! Синьорина, что вы! Да он бы никогда не согласился! И зачем нам зря открывать наши тайны! Мы действуем очень осторожно. Нам надо спасти монсиньора, — ведь через три недели его отравят! Приказ получен от такого лица, которое не потерпит ослушания, и, если уже говорить начистоту, синьорина, поручение это, по нашим сведениям, возложено на страшного человека — на самого фискала Расси.

Клелия в ужасе убежала. Она твердо полагалась на честность дона Чезаре и сказала ему, правда с некоторыми недомолвками, что генералу дали лауданума, а не что-либо иное. Ничего не ответив, ни о чем не допытываясь, дон Чезаре бросился к врачу.

Клелия вернулась в ту гостиную, где она заперла Лодовико, решив подробней расспросить его о лаудануме. Она не нашла его там: ему удалось ускользнуть. Она увидела на столе кошелек, набитый цехинами, и шкатулочку с различными ядами. Увидев эти яды, Клелия вся задрожала. «Кто меня уверит, что отцу дали только лауданума? А вдруг герцогиня вздумала отомстить за покушение Барбоне? Боже великий, — воскликнула она, — я вступила а переговоры с отравителями

моего отца, и я допустила чтобы они убежали! А может быть, этот человек на допросе признался бы, что там был не только лауданум!..»

Клелия залилась слезами и, упав на колени, горячо стала молиться мадонне.

А в это время тюремный врач, крайне удивляясь сообщению дона Чезаре о том, что лечить надо только от лауданума, применил надлежащие средства, и вскоре самые тревожные симптомы исчезли. Едва забрезжило утро, больной немного пришел в себя. Первым признаком возвратившегося сознания была ругань, с которой он обрушился на полковника, состоявшего его помощником, за то, что тот осмелился дать какое-то незначительное распоряжение, пока комендант лежал без памяти.

Затем генерал страшно разгневался на кухарку, которая принесла ему бульон и неосторожно произнесла слово «паралич».

— Разве в мои годы может быть паралич? Только злейшим моим врагам приятно распространять такие слухи. Да и сами клеветники не посмеют говорить о параличе, раз не было нужды пустить мне кровь!

Фабрицио, поглощенный приготовлениями к побегу, никак не мог понять, что за странный

шум поднялся в крепости в тот час, когда туда принесли еле живого коменданта. Сначала у него мелькнула мысль, что приговор изменен и сейчас его поведут на казнь. Видя, однако, что никто не поднимается к нему в камеру, он подумал, что Клелию выдали, что при возвращении в крепость у нее отняли веревки, которые она, вероятно, везла с собою, и теперь все планы его побега бесполезны. На рассвете в камеру вошел какой-то незнакомый человек, молча поставил на стол корзинку с фруктами и исчез. Под фруктами было спрятано письмо следующего содержания:

«Терзаясь угрызениями совести из-за того, что было сделано не с моего согласия, — нет, благодарение небу! — но все же в связи с мыслью, которая пришла мне, я дала пресвятой деве обет, что, если по милостивому ее заступничеству мой отец будет спасен, я никогда не воспротивлюсь его воле; я выйду замуж за маркиза Крешенци, как только он попросит моей руки, и никогда больше не увижу вас. Однако я считаю своим долгом закончить то, что начато. В ближайшее воскресенье, возвращаясь от обедни, на которую вас

поведут по моей просьбе (подумайте о своей душе, — ведь вы можете погибнуть при этой трудной попытке), возвращаясь от обедни, говорю я, постарайтесь как можно медленнее подниматься в свою камеру; вы там найдете все необходимое для задуманного дела. Если вы погибнете, душа моя будет скорбеть. Неужели я окажусь виновницей вашей гибели?.. Но ведь сама герцогиня несколько раз повторяла мне, что клика Раверси берет верх: принца хотят связать жестоким поступком, который навсегда разлучит его с графом Моска. Герцогиня, заливаясь слезами, клялась мне, что остается только один выход, что вы погибнете, если откажетесь от этой попытки. Мне больше нельзя смотреть на вас, — я дала обет, но если в воскресенье, под вечер, вы увидите меня на обычном месте, у окна, в черном платье, знайте, что ночью все будет готово, насколько то окажется возможным для слабых моих сил. После одиннадцати часов вечера — может быть, в полночь или в час ночи — в моем окне зажжется маленькая лампочка: это

сигнал, что настала решающая минута; отдайте тогда свою судьбу в руки святого своего покровителя, немедленно переоденьтесь в платье священника, которое вам доставили, и бегите.

Прощайте, Фабрицио. Вас ждут грозные опасности. Верьте, что в эти минуты я буду молиться за вас и плакать горькими слезами. Если вы погибнете, мне не пережить этого. Боже великий, что я говорю!.. Но если вам удастся спастись, я никогда не увижу вас. В воскресенье, после обедни, вы найдете в своей камере деньги, яды, веревки, — их прислала та страшная женщина, которая так страстно любит вас; она трижды повторила мне, что иного выхода нет… Да хранит вас господь и пресвятая мадонна!»

Фабио Конти был тюремщиком весьма беспокойного, несчастного нрава; постоянно ему мерещилось в снах, что кто-то из его узников убегает; все обитатели крепости ненавидели его; но несчастья принижают людей: бедняги заключенные, даже те, кого держали закованными в казематах высотою в три фута и длиною в восемь

футов, в каменных гробах, где они не могли ни встать, ни сесть, даже эти несчастные решили заказать на свой счет благодарственный молебен, когда узнали, что их тюремщик вне опасности. Два-три узника написали сонеты в честь Фабио Конти. Вот как действует на людей несчастье! Но пусть того, кто осудит их, судьба заставит провести хоть один год в каземате высотою в три фута, получать там в день восемь унций хлеба и *поститься* по пятницам!

Клелия, выходившая из комнаты отца только для того, чтобы помолиться в часовне, сказала, что комендант решил отложить празднество до воскресенья. В воскресенье утром Фабрицио был на обедне и на благодарственном молебне; вечером жгли фейерверк, а в нижних залах комендантского дворца солдатам раздавали вино — в четыре раза больше того количества, какое отпустил им комендант, и кто-то даже прислал несколько бочонков водки, у которых солдаты вышибли дно. Великодушные пьяницы не забыли и пятерых часовых, стоявших около дворца. При каждой смене часового в будке слуга, назначенный для того, угощал его вином, а солдаты, стоявшие на посту от двенадцати часов ночи до рассвета, получили из чьих-то рук еще и по стака-

ну водки; и после угощения всякий раз бутылку *забывали* около будки, как это было установлено в дальнейшем на судебном процессе.

Пиршество затянулось дольше, чем предполагала Клелия, и только около часу ночи Фабрицио, который больше чем за неделю до того перепилил две железных перекладины в решетке второго своего окна, не выходившего на вольеру, начал разбирать доски ставня. Он работал почти над головами часовых, охранявших комендантский дворец, но они ничего не слышали. На длинной веревке, предназначенной для опасного спуска с высоты в сто восемьдесят футов, он добавил только несколько новых узлов. Веревку он перекинул через плечо и обмотал себя ею; но эта толстая перевязь очень стесняла его движения, узлы не давали петлям плотно прилегать друг к другу, и они отставали от туловища по меньшей мере на восемнадцать дюймов. «Большая помеха!» — думал Фабрицио.

Приладив с грехом пополам эту веревку, Фабрицио взял другую, по которой рассчитывал спуститься с высоты в тридцать пять футов на каменную площадку, где находился дворец коменданта. Но как ни пьяны были часовые, он все же не мог спуститься прямо им на голову и

поэтому решил выбраться из второго окна своей камеры на крышу большого строения бывшей кордегардии. Генерал Конти, лишь только к нему вернулось сознание, приказал поместить двести солдат в этой старой кордегардии, заброшенной уже целое столетие, — прихоть больного: генерал твердил, что после попытки отравления его попытаются убить в постели, и пусть двести солдат охраняют его. Легко себе представить, как эта мера потрясла Клелию. Благочестивая девушка прекрасно сознавала, что она предает отца, — ведь его пытались отравить в интересах узника, любимого ею. В нежданном появлении этих двухсот солдат она тотчас усмотрела волю провидения, явный запрет содействовать побегу Фабрицио. Но в Парме все говорили о близкой его смерти. Об этой печальной новости толковали даже на свадьбе синьоры Джулии Крешенци. Если из-за такой безделицы, как неловкий удар шпагой, пронзившей жалкого комедианта, Фабрицио, несмотря на громкое его имя и покровительство премьер-министра, просидел в тюрьме девять месяцев и все еще не выпущен на свободу, значит он замешан в политическом преступлении. «А в таком случае не стоит больше и упоминать о нем, — говорили люди. — Если власти сочтут

неудобным публично казнить его на площади, он вскоре умрет от болезни». Слесарь, который работал во дворце генерала Конти, уверял, что Фабрицио давно уже спровадили на тот свет и только по политическим соображениям молчат о его смерти. Слова этого человека заставили Клелию решиться.

22

Днем на Фабрицио нашло серьезное и тягостное раздумье, но, по мере того как он слышал бой часов, близивших решительную минуту, в нем подымалась веселая бодрость. Герцогиня написала ему, что, выбравшись из камеры и внезапно очутившись на свежем воздухе, он, возможно, ослабеет и не в силах будет двигаться; тогда уж лучше попасть в руки тюремщиков, чем ринуться с высоты в сто-восемьдесят футов. «Если случится со мной такая беда, — думал Фабрицио, — лягу около парапета, посплю час, а потом опять начну спускаться. Я же дал клятву Клелии, и лучше сорваться с самой высокой крепостной стены, чем вечно сидеть тут и с опаской пробовать, какой вкус у хлеба, который мне приносят. А как, верно, мучительна смерть от яда. Фабио Конти церемониться не будет: велит подсыпать мне мышьяку, которым травит крыс у себя в крепости».

Около полуночи поднялся густой белый туман, как это нередко бывает на берегах По, затянул сначала город, потом заволок каменную площадку и бастионы, посреди которых высится главная башня крепости. Фабрицио решил, что с пара-

пета площадки теперь совсем не видно акаций, окаймлявших сады, разбитые солдатами у стены в сто восемьдесят футов высотою. «Отлично!» — подумал он.

Пробило половина первого, вскоре в окне вольеры появился условленный сигнал: зажглась лампочка. Фабрицио был уже готов к побегу. Перекрестившись, он привязал к ножке своей кровати веревку, по которой должен был спуститься на площадку комендантского дворца, преодолев первые тридцать пять футов. Он без помехи добрался до крыши кордегардии, где накануне расположилось двести человек подкрепления, о котором мы говорили. Было три четверти первого, но, к несчастью, солдаты еще не спали. Фабрицио очень осторожно ступал по крупным полым черепицам, однако слышал, как солдаты говорили, что по крыше ходит дьявол и надо бы его ухлопать из ружья. Несколько голосов заявили, что такие речи великий грех; другие высказали опасение, что если выстрелишь да никого не убьешь, комендант всех засадит в тюрьму, за то что понапрасну всполошили гарнизон. Слыша все эти умнейшие рассуждения, Фабрицио старался как можно скорее пройти по крыше и от этого только больше поднимал шуму.

И когда он повис в воздухе, спускаясь перед окнами кордегардии, они все ощетинились штыками; к счастью, благодаря широкому выступу крыши он скользил по веревке на расстоянии четырехпяти футов от стены. Некоторые утверждали потом, что этот сорви-голова Фабрицио в самом деле вздумал разыграть роль дьявола и бросил солдатам в окно горсть цехинов. Достоверно известно, что он разбросал цехины по полу камеры, а затем на площадке — на всем своем пути от башни Фарнезе к парапету, рассчитывая, что они отвлекут солдат, если за ним будет погоня.

Опустившись на площадку, окруженную часовыми, которые обычно каждые четверть часа выкрикивали: «Все спокойно вокруг моего поста», он двинулся к парапету западной стены и отыскал в нем новый камень.

Если б целый город не узнал об успехе этого побега, можно было бы усомниться в его правдоподобности и счесть невероятным, что ни один из часовых, расставленных вдоль парапета, не заметил и не задержал беглеца. Дело в том, что туман, поднимаясь все выше, к этому времени, по словам Фабрицио, окутывал башню Фарнезе до половины ее высоты. Однако вверху пелена тумана не была густой, и Фабрицио хорошо различал

часовых, видел, как некоторые из них шагают взад и вперед. Он рассказывал впоследствии, что как будто сверхъестественная сила толкнула его, и он смело встал у парапета меж двух часовых, находившихся довольно близко друг от друга. Он, не торопясь, снял веревку, которая обматывала его туловище; два раза она запуталась, и немало времени ушло на то, чтобы ее распутать и разложить на парапете. Со всех сторон раздавались голоса часовых, и он твердо решил заколоть кинжалом первого, кто подойдет к нему. «Я нисколько не волновался, — рассказывал он, — мне казалось, что я выполняю какой-то обряд».

Наконец, он распутал и привязал веревку к парапету, пропустив ее сквозь отверстие для стока воды; потом влез на парапет, горячо помолился богу и, словно герой рыцарских времен, на мгновение отдался мыслям о Клелии. «Как я не похож на того легкомысленного распутника Фабрицио, который девять месяцев назад вошел в эту крепость!» — подумал он. Наконец, он начал спуск с этой огромной высоты. По его словам, он действовал машинально и так, словно спускался на пари при ярком дневном свете, на глазах у друзей. На середине спуска руки у него вдруг ослабели, и на мгновение он как будто даже вы-

пустил веревку, но сразу же ухватился за нее, а может быть, как он говорил, уцепился за ветки кустов, мимо которых скользил и которые царапали его. Минутами он чувствовал такую острую боль между лопатками, что у него захватывало дыхание, и очень неприятно было также, что все время его встряхивало, раскачивало в воздухе — от веревки к стене. В кустах просыпались и, вылетая, натыкались на него какие-то большие птицы. Сначала ему показалось, что его хватают люди, которые тоже спускаются по веревке в погоне за ним, и он приготовился защищаться. Наконец, он без всяких злоключений очутился у подножия башни, только руки у него были все в крови. Он рассказывал, что, начиная от середины башни, спускаться стало легче, так как стена оттуда идет в наклон: он касался ее всем телом, и его поддерживали кустики, пробивавшиеся между камнями. Достигнув садиков, разбитых солдатами, он упал на акацию, которая сверху казалась ему кустом в четыре-пять футов высоты, а в действительности была деревом в пятнадцать — двадцать футов. Какой-то пьяница, заснувший под этой акацией, принял его за вора. Упав с дерева, Фабрицио почти вывихнул себе левое плечо. Он поднялся и побежал к валу, но, как он потом

рассказывал, ноги у него подкашивались, он совсем обессилел. Невзирая на опасность, он сел на землю и выпил немного водки, еще оставшейся во фляге. Сон одолел его, и он так крепко спал несколько минут, что, пробудившись, не мог понять, почему же он лежит в своей камере, а видит над собой деревья. Наконец, грозная действительность встала в его памяти. Он тотчас направился к валу и взобрался на него по длинной лестнице. Часовой, карауливший рядом, храпел в своей будке. На валу Фабрицио нашел в траве старую пушку и привязал к ней третью веревку; она оказалась немного коротка, и он спрыгнул с нее в ров, где на целый фут было тины и воды. Поднявшись на ноги, он пытался ориентироваться и вдруг почувствовал, что его схватили два каких-то человека; на мгновение он испугался, но у самого его уха кто-то тихо сказал: «Ах, монсиньор, монсиньор!» У него мелькнула смутная догадка, что это люди герцогини, но он тотчас же впал в глубокий обморок. Через некоторое время он очнулся и почувствовал, что его несут на руках люди, причем идут они очень быстро и в полном молчании. Неожиданно они остановились, и это его очень встревожило. Но у него не было сил ни заговорить, ни открыть глаза; вдруг кто-то обнял

его, и он услышал знакомый аромат одежды герцогини. Этот аромат оживил его, он открыл глаза, но только вымолвил с трудом: «Дорогой мой друг…» и снова потерял сознание.

В двухстах шагах стоял в резерве верный Бруно с небольшим отрядом полицейских, преданных графу; сам граф находился в маленьком домике, поблизости от того места, где ждала Фабрицио герцогиня. В случае нужды он без колебаний обнажил бы шпагу, и ему помогли бы несколько его друзей, отставных офицеров; он считал себя обязанным спасти Фабрицио, полагая, что жизни его грозит неминуемая опасность, — меж тем несколько месяцев назад принц подписал бы ему помилование, если б он, граф Моска, не совершил глупости, не дав монарху расписаться в своей несправедливости.

Уже с полуночи герцогиня, под охраной вооруженных до зубов людей, молча бродила около крепостного вала; она не могла стоять на одном месте и все думала о том, что, может быть, придется силой отбивать Фабрицио от преследователей. Пылкое воображение подсказало ей тысячу предосторожностей, о которых говорить было бы слишком долго, но все они отличались поразительным безрассудством. Впоследствии

выяснилось, что более восьмидесяти ее помощников стояли в ту ночь наготове, ожидая, что им придется сражаться, совершать какие-то необыкновенные подвиги. К счастью, всеми ее действиями руководили Ферранте и Лодовико, а министр полиции ничему не противился; однако граф убедился, что никто не выдал герцогиню, ибо как министр он ровно ничего не знал.

Увидев, наконец, Фабрицио, герцогиня совсем потеряла голову; она судорожно сжимала его в объятиях, а заметив на своем платье кровь, пришла в отчаяние; кровь текла из ссадин на руках Фабрицио, а ей показалось, что он тяжело ранен. С помощью одного из своих слуг она принялась снимать с него одежду, чтобы сделать ему перевязки, но Лодовико, к счастью находившийся тут, чуть не силой усадил герцогиню и Фабрицио в одну из легких на ходу карет, спрятанных в роще у городской заставы, и лошади во весь дух помчались по дороге к поместью Сакка, около которого решено было переправиться через По. Ферранте с двадцатью вооруженными верховыми составлял арьергард; он своей головой поклялся задержать погоню. Граф, оставшись один, еще два часа бродил вокруг крепости и, убедившись, что в ней все спокойно, ушел пешком. «Ну вот, я — участник

государственного преступления», — ликуя, говорил он себе.

Лодовико пришла великолепная мысль посадить в одну из карет молодого хирурга, состоявшего на службе у герцогини и наружностью очень похожего на Фабрицио.

— Гоните по направлению к Болонье, — сказал ему Лодовико. — Будьте очень неловким, постарайтесь, чтобы вас арестовали, путайтесь в ответах, и, наконец, признайтесь, что вы — Фабрицио дель Донго. Главное — выиграть время. Пустите в ход всю свою ловкость, чтобы быть неловким. Вы отделаетесь месяцем тюрьмы, а герцогиня подарит вам пятьдесят цехинов.

— Да разве можно думать о деньгах, когда служишь герцогине?

Молодой хирург пустился в путь, и через несколько часов его арестовали, к великой и комической радости генерала Фабио Конти и Расси, который понимал, что вместе с опасностью, угрожающей Фабрицио, улетучится и надежда получить баронский титул.

В крепости о побеге стало известно лишь около шести часов утра, и только в десять часов осмелились доложить о нем принцу. Герцогиня трижды останавливала лошадей, принимая глубокий сон

Фабрицио за смертельный обморок, но ей так хорошо служили, что в четыре часа утра она уже переправлялась в лодке через По. На левом берегу их ждала подстава; с величайшей быстротой проехали еще два лье, затем больше часа их задержала проверка паспортов. У герцогини были всевозможные документы и для нее самой и для Фабрицио, но в этот день она совсем потеряла рассудок, вздумала дать десять наполеондоров писцу австрийской полиции, а кроме того, схватила его руку и заплакала навзрыд. Писец перепугался и сызнова принялся проверять паспорта. Дальше поехали на почтовых; герцогиня за все платила бешеные деньги и поэтому везде вызывала подозрения: в этой стране каждого иностранца считают подозрительным; и тут Лодовико вновь выручил ее: он говорил, что герцогиня обезумела от горя, которое причиняет ей злокачественная лихорадка молодого графа Моска, сына пармского премьер-министра, и она спешит довезти больного до Павии, чтобы посоветоваться с врачами.

Только в десяти лье от берега По Фабрицио совсем очнулся; у него было вывихнуто плечо, а руки все в ссадинах. Герцогиня по-прежнему держала себя столь необычайно, что хозяин деревенской гостиницы, где они остановились

пообедать, решил, что имеет дело с принцессой императорской крови, и собрался было оказать ей почести, достойные ее сана; но Лодовико заявил, что принцесса непременно велит засадить его в тюрьму, если он посмеет проводить ее колокольным звоном.

Около шести часов вечера приехали, наконец, в пьемонтские владения. Только тут Фабрицио был в полной безопасности; его привезли в деревушку, подальше от большой дороги, перевязали ему раны, и он проспал еще несколько часов.

И тут, в этой деревне, герцогиня совершила поступок, ужасный с точки зрения нравственных правил и лишивший ее покоя до конца жизни. За несколько недель до побега Фабрицио, в тот вечер, когда вся Парма отправилась к воротам крепости посмотреть, не сооружают ли в крепостном дворе эшафот для него, герцогиня показала Лодовико, ставшему ее доверенным лицом, секрет, с помощью которого из тщательно скрытой железной рамки вынимался камень на дне знаменитого водоема во дворце Сансеверина, устроенного в XIII веке, как мы говорили. И вот, пока Фабрицио спал в траттории пьемонтской деревушки, герцогиня призвала к себе Лодовико. Ему показалось, что она сошла с ума, — такие

странные взгляды она бросала на него.

— Вы, наверно, ждете, что я вам дам несколько тысяч франков, — сказала она ему. — Но нет, я вас знаю, — вы поэт, вы скоро проживете эти деньги. Я вам дарю маленькое поместье Ричиарда, в одном лье от Казаль-Маджоре.

Лодовико, не помня себя от радости, бросился к ее ногам и с полной искренностью уверил ее, что помогал спасти монсиньора Фабрицио вовсе не из-за денег, а оттого, что необыкновенно привязался к нему еще с тех пор, как однажды имел честь везти его, когда служил третьим кучером у герцогини. Затем этот человек, действительно благородный, счел, что слишком долго занимает своей особой столь знатную даму, и собрался уйти, но герцогиня, сверкая глазами, сказала:

— Подождите.

Она молча расхаживала взад и вперед по комнате деревенской траттории, бросая иногда на Лодовико какие-то дикие взгляды. Видя, что эта странная прогулка все не кончается, он осмелился заговорить со своей госпожой:

— Синьора, вы дали мне чрезмерную награду, настолько превышающую все, на что мог надеяться такой бедняк, как я, настолько превосходящую малые услуги, какие я имел честь оказать вам,

что совесть не позволяет мне принять от вас поместье Ричиарда. Честь имею, синьора, возвратить вам этот дар и просить вас назначить мне пенсию в четыреста франков.

— Сколько раз в своей жизни, — с мрачным и надменным видом сказала она, — сколько раз вы слышали, чтобы я отступала от принятого однажды решения?

После этих слов герцогиня еще несколько минут ходила по комнате и, вдруг круто остановившись, воскликнула:

— Значит, жизнь Фабрицио спасена благодаря случайности и благодаря тому, что он понравился какой-то девчонке? А не будь у него приятной внешности, он умер бы? Что? Разве вы можете это отрицать? — спрашивала она, подступая к Лодовико, и глаза ее горели самой мрачной яростью.

Лодовико попятился, решив, что она действительно сошла с ума, и, пожалуй, ему не бывать владельцем поместья Ричиарда.

— Послушайте, — заговорила вдруг герцогиня совсем иным тоном, спокойно, почти весело, и лицо ее сразу просветлело. — Я хочу устроить праздник для милых моих жителей Сакка, такой веселый праздник, чтобы они долго помнили о нем. Я намерена сейчас послать вас в Сакка. У вас

есть какое-нибудь возражение? Как вы полагаете, это опасно для вас?

— Пустое, синьора! Никто в Сакка никогда не выдаст, что я состоял при монсиньоре Фабрицио. И к тому же, осмелюсь сказать вам, синьора, я горю желанием заглянуть в мое поместье Ричиарда: мне так забавно, что я стал помещиком.

— Твоя веселость мне нравится. Фермер в Ричиарде, помнится, должен мне за три или за четыре года аренды; половину долга я ему прощу, а вторую половину дарю тебе, но при таком условии: ты поедешь в Сакка и скажешь, что послезавтра мои именины; на следующий вечер после твоего приезда ты устроишь в замке великолепную иллюминацию. Не жалей ни денег, ни труда, — помни, что я хочу отпраздновать величайшее торжество в моей жизни. Я уже давно все приготовила для иллюминации, уже три месяца в подвалах замка лежит все, что нужно для этого радостного празднества; садовнику я отдала на хранение всевозможные ракеты для роскошного фейерверка; прикажи пустить их с той террасы, которая обращена к берегу По. В подвалах у меня восемьдесят девять бочек вина, — вели устроить в парке восемьдесят девять фонтанов из вина. Если на другой день останется хоть одна

невыпитая бутылка, значит, ты не любишь Фабрицио. Когда забьют фонтаны из вина, зажжется иллюминация и фейерверк, беги, так как весьма возможно, — и я надеюсь на это, — в Парме мои прекрасные затеи покажутся дерзостью.

— Не только возможно, но наверняка. А фискал Расси, подписавший приговор монсиньору, тоже наверняка лопнет от злости. Синьора, — робко добавил Лодовико, — порадуйте своего бедного слугу еще больше, чем половиной недоимки за арендную плату в Ричиарде… Разрешите мне подшутить над этим Расси…

— Ты славный человек! — радостно воскликнула герцогиня. — Но я решительно запрещаю тебе это… Не трогай Расси. У меня есть свой план… Я рассчитываю, что позднее он моими стараниями будет повешен публично. А ты побереги себя, постарайся, чтобы тебя не арестовали в Сакка. Все будет испорчено, если я потеряю тебя.

— Меня арестовать? Не беспокойтесь, синьора! Стоит мне сказать, что я устроил праздник в честь ваших именин, так пусть полиция пришлет хоть три десятка жандармов расстроить веселье, будьте уверены, — не успеют они доехать до того красного креста, что стоит на середине деревни, ни один не усидит на лошади. В Сакка народ за

себя постоит, — там все молодцы, контрабандисты, а вас они обожают, синьора.

— Прекрасно, — сказала герцогиня с какой-то странной беспечностью. — Если мы устроим праздник славным жителям Сакка, надо угостить и Парму. Как только зажгут вечером иллюминацию в замке, возьми на конюшне лучшую мою лошадь, скачи в Парму и открой во дворце Сансеверина водоем.

— Превосходно! Блестящая мысль, синьора! — воскликнул Лодовико и захохотал, как сумасшедший. — Добрым людям в Сакка — вина, а пармским буржуа — водицы! Так им и надо, негодяям! Очень они уж были уверены, что монсиньора Фабрицио отравят в тюрьме, как беднягу Л.

Лодовико хохотал от восторга и никак не мог остановиться. Герцогиня снисходительно смотрела на него, а он все твердил:

— В Сакка угостим вином, а в Парме — водицей! Вы, синьора, конечно, лучше меня знаете, что когда двадцать лет назад по неосторожности выпустили воду из бассейна, так несколько пармских улиц залило на целый фут.

— Угостим Парму водицей! — смеясь, сказала герцогиня. — Весь бульвар перед крепостью был

бы забит зеваками, если б Фабрицио отрубили голову… Все называли его *злодеем.* Но, смотри, проделай это ловко, — пусть ни одна живая душа не знает, что наводнение устроил ты и по моему приказу. Даже Фабрицио, даже граф ничего не должны знать об этой дерзкой проказе… Но, подожди, я позабыла о бедняках в Сакка, — ступай напиши письмо моему управителю, а я подпишу. Напиши ему, пусть ради дня моего ангела раздаст беднякам в Сакка сто цехинов и пусть слушается тебя во всем, что касается иллюминации, фейерверка и вина; а главнее, смотри, чтобы на другой день в моих подвалах не осталось ни одной непочатой бутылки.

— Управителю, синьора, будет трудно выполнить только одно ваше распоряжение: пять лет, как вы владеете этим поместьем, и в деревне благодаря вам не осталось и десяти бедняков.

— А Парму угостим водицей! — пропела герцогиня. — Но как ты выполнишь эту шутку?

— Я уже все обдумал. Выеду из Сакка верхом в девять часов вечера, в половине одиннадцатого остановлюсь около харчевни «Три дурака», что стоит у дороги в Казаль-Маджоре и в мое поместье Ричиарда, в одиннадцать я уже буду во дворце, в своей комнате, а в четверть двена-

дцатого жители Пармы получат воды сколько душе угодно и даже сверх того, — пусть выпьют за здоровье *злодея.* Через десять минут я выберусь из города на болонскую дорогу. Проездом отвешу поклон крепости, поздравлю с тем, что она осрамилась благодаря отваге монсиньора и уму вашего сиятельства, сверну на проселочную дорожку, хорошо мне знакомую, и торжественно прибуду в Ричиарду.

Лодовико поднял глаза на герцогиню и перепугался: она пристально смотрела куда-то в сторону — на голую стену в шести шагах от нее, и, надо сознаться, взгляд ее был свирепым. «Эх, пропало мое поместье! — подумал Лодовико. — Она, право, помешалась!» Герцогиня взглянула на него и угадала его мысль.

— Ага, синьор Лодовико, великий поэт, вы желаете, вероятно, получить дарственную? Ступайте принесите мне поскорей листок бумаги.

Лодовико не заставил ее дважды повторить это приказание, и герцогиня собственноручно написала пространную расписку, которую пометила прошлым годом и указала в ней, что получила от Лодовико Сан-Микели восемьдесят тысяч франков под залог своего поместья Ричиарда. Если по истечении года она не возвратит означенную

сумму в восемьдесят тысяч франков, поместье Ричиарда переходит в собственность Лодовико.

«Что ж, — подумала герцогиня, — это хорошее дело — отдать верному слуге около трети того, что у меня осталось».

— Постой! — сказала она Лодовико. — После шутки с водоемом я разрешаю тебе только два дня повеселиться в Казаль-Маджоре. Чтоб эта запродажная была действительной, говори, что сделка состоялась больше года назад. Смотри, приезжай в Бельджирате немедленно. Фабрицио, возможно, отправится в Англию, тогда и ты поедешь с ним.

На другой день рано утром герцогиня и Фабрицио прибыли в Бельджирате.

Они поселились в этой живописнейшей деревне, на берегу чудесного озера Лаго-Маджоре; но тут герцогиню ждало смертельное горе. Фабрицио совсем переменился: после побега, когда он очнулся, наконец, от глубокого сна, похожего на летаргию, герцогиня сразу заметила, что с ним творится что-то странное. Глубокое чувство, которое он старался скрыть, действительно можно назвать странным: он был в отчаянии оттого, что бежал из крепости. Разумеется, он не признавался в причинах своей грусти, опасаясь таких

вопросов, на которые не желал отвечать.

— Но как же так? — удивленно говорила ему герцогиня. — Когда тебе приносили из тюремной кухни всякую гадость и ты поневоле ел ее, потому что едва держался на ногах от голода, но все же думал: «Какой-то удивительный привкус у этого кушанья, может быть, оно отравлено?» — ведь это было ужасное ощущение. Неужели ты не вспоминаешь о нем с содроганием?

— Я думал о смерти, — отвечал Фабрицио, — так же, как, наверно, думают о ней солдаты: считал ее возможной, но надеялся, что удастся избежать ее.

Сколько тревоги, сколько горя обрушилось на герцогиню! Обожаемый человек, такой удивительный, пылкий, ни с кем не сравнимый, томился печалью на ее глазах, всему предпочитал теперь уединение, даже счастью обо всем говорить откровенно с лучшим своим другом в целом мире. Он по-прежнему был ласков, внимателен, благодарен герцогине за все, что она сделала для него; как прежде, он готов был сто раз отдать за нее жизнь, но душа его была не с нею. Нередко они проезжали в лодке по этому дивному озеру четыре-пять лье, не перемолвившись ни единым словом. Холодный обмен мыслями

— единственно возможный теперь между ними разговор, — может быть, другим людям казался бы приятным, но оба они, особенно герцогиня, еще помнили, какие беседы вели друг с другом до того дня, когда роковой поединок с Джилетти разлучил их. Фабрицио пришлось, конечно, рассказать герцогине историю его девятимесячного заключения в ужасной тюрьме, но для этого у него нашлись только короткие, отрывочные фразы, пустые слова.

«Что ж, рано или поздно, так должно было случиться, — думала герцогиня с угрюмой тоской. — Горе состарило меня, или же он действительно полюбил другую, и я уже на втором месте в его сердце».

Униженная, подавленная этим страшным, величайшим горем, она иногда думала: «Если б по милости неба Ферранте совсем помешался или струсил, мне кажется, я была бы менее несчастна».

И с тех пор нечто подобное раскаянию отравляло ей душу, подтачивая ее былое уважение к себе.

«Итак, — думала она с горечью, — я раскаиваюсь в принятом решении. Значит, я уже недостойна имени дель Донго».

И опять она возвращалась к своим мыслям:

«Такова воля неба. Фабрицио полюбил, и по какому праву я могу требовать, чтобы этого не было? Разве мы когда-нибудь обменялись хоть одним словом настоящей любви?»

Эти благоразумные мысли лишили ее сна, и все показывало ей, что наступает старость, слабеет душа, и уже нет для нее радости в предстоящем славном возмездии, — словом, в Бельджирате она была во сто раз несчастнее, чем в Парме. А в том, кто является причиной странной задумчивости Фабрицио, сомнений быть не могло. Клелия Конти, эта благочестивая девушка, предала своего отца, согласившись подпоить крепостной гарнизон, а между тем Фабрицио никогда не говорил о Клелии! «Ведь если б гарнизон не подпоили, — добавляла герцогиня, в отчаянии ударяя себя в грудь, — все мои планы, все старания были бы напрасны. Так, значит, это она спасла его!»

С величайшим трудом выпытывала она у Фабрицио подробности о событиях той ночи. «А в прежние дни, — думала герцогиня, — они были бы для нас неисчерпаемой темой для бесед!.. В то счастливое время он рассказывал бы о них целый день, шутил бы так живо, так весело и старался бы припомнить любой пустяк, о котором мне

вздумалось бы спросить».

Так как нужно было все предусмотреть, герцогиня поселила Фабрицио в порту Локарно, швейцарском городе, находящемся на дальнем берегу Лаго-Маджоре. Ежедневно она приезжала за ним на лодке, и они совершали долгие прогулки по озеру. Но вот однажды ей вздумалось посмотреть, как он устроился, и она увидела, что все стены в его спальне увешаны видами Пармы, которые он выписал из Милана и даже из самой Пармы, хотя должен был, казалось, ненавидеть этот город. Маленькая гостиная, превращенная в мастерскую художника, загромождена была принадлежностями акварельной живописи, и герцогиня застала Фабрицио за работой: он заканчивал третий этюд башни Фарнезе и комендантского дворца.

— Не хватает только, — сказала герцогиня с обидой в голосе, — чтобы ты по памяти нарисовал портрет этого милейшего коменданта, который пытался всего лишь отравить тебя. Право, — заметила она язвительно, — тебе следовало бы написать ему письмо и извиниться за то, что ты позволил себе убежать из крепости, обратив его в посмешище такой дерзостью.

Бедняжка не подозревала, насколько слова ее

близки к истине. Едва лишь Фабрицио оказался в надежном убежище, он прежде всего написал генералу Фабио Конти весьма учтивое и в некотором смысле очень смешное письмо: он извинялся за свой побег и оправдывался тем, что у него были основания опасаться, что одному из служителей в крепости поручили отравить его. Фабрицио не важно было, что именно он пишет, он надеялся только, что глаза Клелии увидят это письмо, и по лицу его текли слезы, когда он сочинял его. Он закончил письмо весьма забавной фразой: уверял, что, оказавшись на свободе, часто с сожалением вспоминает о своей *комнатке* в башне Фарнезе. Это была основная мысль его послания, и он надеялся, что Клелия поймет ее. Разохотившись писать и питая все ту же надежду, что «ее глаза» прочтут и эти строки, он написал также дону Чезаре, выразив свою благодарность доброму эконому, который снабжал его в тюрьме богословскими книгами. Несколько дней спустя он уговорил мелкого локарнского книгопродавца съездить в Милан, и там этот книгопродавец, друг знаменитого библиофила Рейна, купил самые роскошные, какие только удалось разыскать, издания тех богословских сочинений, которые дон Чезаре одолжил Фабрицио. Доброму эконому до-

ставили эти книги и красноречивое письмо, где говорилось, что в минуты уныния, быть может простительного бедному узнику, он испещрил нелепыми заметками поля полученных им книг. Поэтому он умоляет дона Чезаре заменить их в своей библиотеке томами, которые с глубокой признательностью узник осмеливается преподнести ему.

Фабрицио очень снисходительно именовал «заметками» те бесконечные излияния, которые он нацарапал на полях толстого тома in folio трудов святого Иеронима. В надежде, что ему удастся вернуть эту книгу доброму эконому и получить взамен другую, он вел на ее полях дневник, ежедневно и весьма подробно записывая все, что с ним происходило в тюрьме; эти великие события представляли собой не что иное, как восторги «божественной любви» (эпитет «божественная» заменял другое слово, которое он не дерзал написать!). «Божественная любовь» то повергала узника в глубокое отчаяние, то дарила ему луч надежды и минуты блаженства, когда он слышал милый голос, разливавшийся в воздухе. К счастью, все это было написано теми чернилами, какие он сделал в тюрьме из вина, шоколада и сажи, и дон Чезаре, только мельком взглянув на

его каракули, водворил труды святого Иеронима на прежнее место в книжном шкафу. Если б он, одну за другой, прочел эти «заметки на полях», то узнал бы, как однажды узник, думая, что его отравили, радовался мысли умереть в сорока шагах от покоев самого дорогого ему в мире создания. Но после его побега эти излияния прочел не благодушный эконом, а кто-то другой. За возвышенной мыслью «умереть близ любимого создания», выраженной на сто ладов, следовал сонет, где говорилось, что душа, после жестоких мучении, покинет бренную свою оболочку, в которой она обитала двадцать три года, но в жажде счастия, врожденного всем бедным путникам земли, она не вознесется в небо, где грозный судия дарует ей, быть может, прощение грехов и вечное блаженство средь сонма ангелов, — нет, она соединится с тем, что ей всего дороже было в мире, и больше счастия познает в смерти, чем при жизни, найдя его вблизи темницы, где она страдала.

«И там, — возвещала последняя строка сонета, — я на земле обрел бы рай».

Хотя Фабрицио называли в Пармской крепости не иначе как гнусным предателем, нарушившим свой самый священный долг, дон Чезаре был восхищен, увидев прекрасные книги, достав-

ленные ему от какого-то незнакомца. Фабрицио предусмотрительно отправил письмо только через несколько дней после вручения книг, боясь, что его имя заставит с негодованием возвратить все присланное. Дон Чезаре ни слова не сказал брату об этом знаке внимания, ибо одно уже имя Фабрицио приводило коменданта в бешенство; но после побега узника аббат снова стал задушевным другом своей милой племянницы, и, так как она в свое время немного училась у него латыни, он показал ей полученные им великолепные издания. Беглец на это и надеялся. Клелия вдруг густо покраснела, узнав почерк Фабрицио. Между многими страницами толстого тома положены были в виде закладок длинные и узкие полоски желтой бумаги. И вот, с полным правом можно сказать, что среди пошлых денежных интересов и холодных бесцветных мыслей, наполняющих нашу будничную жизнь, поступки, вдохновленные истинной страстью, почти всегда достигают цели, словно их направляет рука благосклонного божества. Клелия, повинуясь инстинкту и мысли о том, что только и существовало для нее в мире, попросила у своего дяди старый экземпляр трудов св. Иеронима, чтобы сравнить его с новым изданием, присланным ему. Сразу рассеялась

мрачная печаль, охватившая ее со дня разлуки с Фабрицио, а как описать ее восторг, когда на полях старого экземпляра она нашла сонет, о котором мы говорили, и записки узника, день за днем рассказывавшего о своей любви к ней!

В тот же день она выучила сонет наизусть; она пела его, опершись на подоконник в своей комнате, глядя на окно опустевшей камеры, где так часто у нее на глазах вдруг открывалось маленькое отверстие в ставне. Ставень сняли и отправили в канцелярию трибунала, так как он должен был в качестве улики фигурировать в глупом судебном процессе, возбужденном Расси против Фабрицио: его обвиняли в преступном побеге, или, как говорил, усмехаясь, фискал, «в уклонении от милосердного правосудия великодушного государя».

Все, что сделала Клелия, вызывало у нее угрызения совести, особенно жестокие с тех пор, как она стала несчастна. Пытаясь смягчить укоры совести, она вспоминала обет «никогда больше не видеть Фабрицио», который дала мадонне, когда отца ее чуть не отравили, и каждый день она вновь и вновь повторяла этот обет.

Отец ее заболел после побега Фабрицио и вдобавок чуть не лишился места, когда разгневанный

принц приказал уволить всех тюремщиков башни Фарнезе и посадить их самих в городскую тюрьму. Генерала отчасти спасло заступничество графа Моска, предпочитавшего, чтобы он сидел взаперти на вышке крепости, чем стал деятельным его соперником и интриговал против него в придворных кругах.

Две недели, пока было еще неизвестно, не попал ли генерал Фабио Конти в немилость, он действительно был болен, и тогда Клелия твердо решила принести жертву, о которой говорила Фабрицио. В день празднества, происходившего в крепости, — а это был, как читатель, может быть, помнит, и день побега Фабрицио, — Клелия догадалась притвориться больной; хворала она и на другой день и вообще вела себя так умно, что, кроме тюремщика Грилло, приставленного надзирать за Фабрицио, никто не подозревал о ее сообщничестве, а Грилло молчал.

Но лишь только Клелии уже нечего было опасаться, совесть совсем замучила ее. «Разве есть что-нибудь на свете, — думала она, — чем можно оправдать преступную дочь, которая предает отца!»

Как-то вечером, проведя почти весь день в слезах и молитве, она попросила своего дядю, дона

Чезаре, пойти вместе с нею к отцу, так как боялась неистовых припадков его гнева, тем более что по всякому поводу он поносил и проклинал «подлого изменника» Фабрицио.

Придя к отцу, Клелия осмелилась сказать ему, что она всегда отказывалась отдать свою руку маркизу Крешенци лишь по той причине, что не чувствует к нему ни малейшей склонности и уверена, что не найдет в этом браке ни капли счастья. От таких слов генерал рассвирепел, и Клелии было нелегко продолжить свою речь. Наконец, она сказала, что если отец, прельстившись большим состоянием маркиза, считает своим правом дать ей решительное приказание выйти за него, она готова покориться отцовской воле. Генерал никак не ожидал такого заключения и сперва очень удивился, а потом обрадовался.

— Ну вот, — сказал он брату, — теперь уж мне не придется ютиться где-нибудь на третьем этаже, если я лишусь места из-за дурного поступка этого сорванца Фабрицио.

Граф Моска, разумеется, громко возмущался побегом «негодяя Фабрицио» и при случае повторял фразу, придуманную Расси, относительно низкого поступка этого, надо сознаться, ничтожного молодого человека, который уклонился от

милосердия государя. Столь остроумная фраза, одобренная хорошим обществом, совсем не привилась в простом народе. Руководствуясь в своих суждениях здравым смыслом, он, хотя и считал Фабрицио большим преступником, все же восхищался его отважной решимостью ринуться с такой высокой стены. При дворе эта смелость никого не восхищала. Полиция же, униженная и посрамленная этим побегом, официально заявила, что два десятка солдат, подкупленных щедрыми подачками герцогини — женщины, проявившей столь черную неблагодарность, что имя ее теперь всегда произносили со вздохом, — подставили для Фабрицио четыре связанных между собою лестницы длиною по сорок пять футов каждая. Фабрицио спустил веревку, к ней привязали верхнюю лестницу, а ему осталось только подтянуть ее к себе, — не бог весть какая смелость. Несколько либералов, известных своей неосторожностью, и в частности, доктор К***, агент, получивший плату из рук самого принца, добавляли, рискуя скомпрометировать себя, что подлая, варварская полиция расстреляла восьмерых из двадцати несчастных солдат, помогавших бежать неблагодарному Фабрицио. После этого его стали порицать даже настоящие либералы

как виновника смерти восьми бедняков солдат, которых он погубил своей неосмотрительностью. Вот так-то в мелких деспотиях сводят к нулю ценность общественного мнения.

23

Среди всеобщего неистовства лишь один архиепископ Ландриани оставался верен своему молодому другу и даже при дворе принцессы осмеливался напоминать, что по правилу правосудия следует «оберегать слух свой от всякого предубеждения, дабы выслушать оправдания отсутствующего».

На следующий день после побега Фабрицио многие видные особы получили довольно плохой сонет, в котором этот побег воспевался как одно из блестящих деяний нашего века, а Фабрицио уподоблялся ангелу, достигшему земли на распростертых крыльях. А еще через день вся Парма твердила другой, дивный сонет. Он написан был в форме монолога, где Фабрицио, спускаясь по веревке, говорит о различных событиях своей жизни. Двумя великолепными строфами этот сонет возвысил его в общественном мнении: все знатоки сразу узнали стиль Ферранте Палла.

Но мне сейчас необходим эпический стиль: где мне найти краски, чтобы живописать потоки негодования, вдруг затопившие все благонамеренные сердца, когда стала известна такая

невероятная дерзость, как иллюминация в замке Сакка? Все громогласно возмущались герцогиней; даже подлинные либералы нашли, что это просто варварство с ее стороны: она повредила тем несчастным, которые сидели в тюрьмах как «подозрительные», и совершенно напрасно озлобила сердце монарха. Граф Моска заявил, что прежним друзьям герцогини ничего не остается как забыть о ней. Дружный хор хулителей не умолкал, и какой-нибудь заезжий иностранец был бы изумлен непреклонностью общественного мнения. Но в этой стране, где умеют ценить радость мести, иллюминация и чудесный праздник, устроенный в парке более чем для шести тысяч крестьян, имели бурный успех. Все в Парме твердили, что герцогиня велела раздать крестьянам тысячу цехинов, и этим объясняли довольно суровый прием, оказанный тридцати жандармам, которых полиция, по своей глупости, послала в эту деревушку через сутки с лишним после пышного торжества и похмелья, последовавшего за ним. Жандармы, встреченные градом камней, обратились в бегство, двое из них свалились с седла и были брошены в По.

А что касается происшествия с водоемом во дворце Сансеверина, то его почти и не замети-

ли. Ночью бассейн «прорвало», и вода затопила несколько улиц — одни больше, другие меньше, а наутро можно было подумать, что это лужи от дождя. Сообразительный Лодовико разбил стекло в одном из окон дворца, и неприятность приписали забравшимся ворам. Обнаружили даже небольшую лестницу. Только граф Моска распознал во всем этом изобретательность своей подруги.

Фабрицио твердо решил при первой же возможности возвратиться в Парму; он послал с Лодовико длинное письмо архиепископу, а затем этот верный слуга сдал на почту в первой пьемонтской деревушке Саннадзаро, к западу от Павии, ответ почтенного прелата своему юному питомцу — пространное послание, написанное по-латыни. Мы добавим сейчас одну подробность, которая, как и многие другие, покажется, вероятно, излишней в тех странах, где уже не нужны подобные предосторожности. В письмах, предназначавшихся для Фабрицио дель Донго, имя его никогда не упоминалось; все они были адресованы Лодовико Сан-Микели в швейцарский город Локарно или пьемонтскую деревню Бельджирате. Конверт делали из грубой бумаги, кое-как запечатывали его сургучом, адрес писали

неразборчивыми каракулями, иногда с добавлениями, достойными какой-нибудь кухарки; все письма были помечены Неаполем, а указанная дата на шесть дней опережала подлинную.

Из пьемонтской деревни Саннадзаро, близ Павии, Лодовико весьма спешно возвратился в Парму: Фабрицио возложил на него важнейшее поручение, обязав его во что бы то ни стало доставить Клелии Конти шелковый платочек, на котором был напечатан сонет Петрарки. Правда, в этом сонете одно слово было заменено другим. Клелия нашла платочек на столе в своей комнате через два дня после того, как выслушала благодарственные излияния маркиза Крешенци, заявившего, что отныне он счастливейший из смертных. Излишне говорить, какое смятение вызвал в ее сердце этот нежданный знак памяти и постоянства.

Лодовико поручено было также разузнать как можно подробнее, что происходит в крепости. Именно он и сообщил Фабрицио печальную весть, что женитьба маркиза Крешенци, очевидно, дело решенное: почти каждый день он устраивает в крепости какое-либо празднество в честь Клелии. Самым убедительным признаком близкой свадьбы было то, что маркиз Крешенци,

при всем своем богатстве человек весьма скупой, как это свойственно состоятельным людям в Северной Италии, тратил теперь огромные деньги на убранство своего дома, хотя собирался взять за себя бесприданницу. Это соображение, обидное для тщеславного генерала Конти, прежде всего пришло на ум его соотечественникам, и он поспешил купить поместье, заплатив за него наличными больше трехсот тысяч франков. Но у него самого гроша за душой не было, и деньги, очевидно, дал маркиз. Зато генерал мог объявить, что дает это поместье в приданое за дочерью. Однако расходы по составлению купчей и других актов, превышавшие двенадцать тысяч франков, показались маркизу Крешенци, человеку весьма рассудительному, нелепыми тратами. Он, со своей стороны, заказал в Лионе великолепные штофные обои, по рисункам знаменитого болонского художника Паладжи; узоры их ласкали взгляд превосходно подобранными оттенками цветов. Эти ткани должны были украшать стены семнадцати гостиных маркиза в нижнем этаже его дворца; на них были изображены те или иные фигуры, составляющие герб древнего рода Крешенци, который, как это всему миру известно, ведет свое начало с 985 года — от прославленного

римского консула Кресценция[107]. Штофные обои, каминные часы и люстры обошлись, с доставкой их в Парму, более трехсот пятидесяти тысяч франков; зеркала, которые добавили к прежним, имевшимся во дворце, стоили двести тысяч. За исключением двух зал, украшенных знаменитыми творениями Пармиджанино, величайшего из пармских художников, уступающего лишь божественному Корреджо, все покои второго и третьего этажа расписывали теперь фресками знаменитые художники Флоренции, Рима и Милана. Великий шведский скульптор Фокельберг, Тенерани из Рима и Маркези из Милана уже год трудились над десятью барельефами, запечатлевшими десять достославных подвигов Кресценция, поистине великого мужа. В большинстве комнат роспись на плафонах также аллегорически изображала его жизнь. Особое восхищение вызывала та картина, где миланский художник Гайец изобразил, как в Елисейских Полях[108] Кресценция встречают Франческо

[107] Примечания: 107

Кресценций — итальянский политический деятель X века, боролся против германских императоров и римских пап.

[108] Примечания: 108

Елисейские Поля — загробный мир в античной мифологии, обиталище праведных душ.

Сфорца, Лоренцо Великолепный[109], король Роберт, трибун Кола ди Риенци[110], Макиавелли, Данте и другие великие люди средневековья. Восхищение этими избранными умами рассматривалось как насмешка над людьми, стоявшими теперь у власти.

Описание всех этих деталей великолепного убранства, так занимавших пармских аристократов и буржуа, пронзило сердце нашего героя, когда он прочел простодушно-восторженный рассказ о них в письме на двадцати страницах, которое Лодовико продиктовал таможенному чиновнику в Казаль-Маджоре.

«А я так беден! — думал Фабрицио. — Всего лишь четыре тысячи ливров доходу! Поистине, дерзость с моей стороны любить Клелию Конти, ради которой совершают все эти чудеса»!

Но в конце письма Лодовико собственноручно

---

[109] Примечания: 109

Сфорца, Франческо — полководец XVI века, герцог Миланский; Лоренцо Великолепный — флорентийский герцог (1469–1492) из рода Медичи, покровитель просвещения и искусства.

[110] Примечания: 110

Роберт Анжуйский (1275–1343) — король Неаполитанский; успешно боролся с германскими императорами. Кола ди Риенци (1313–1354) — итальянский политический деятель, гуманист. Поднял в 1347 году народное восстание в Риме. Пытался возродить древнеримскую республику; основанная им республика просуществовала недолго, сам он был убит.

приписал корявым своим почерком, что как-то вечером он встретил Грилло, бывшего тюремщика Фабрицио; беднягу самого посадили в тюрьму, но потом выпустили, и теперь он, видимо, прячется. Он попросил Христа ради цехин; Лодовико дал ему от имени герцогини четыре цехина. Всего выпущено на свободу двенадцать бывших тюремщиков, и они собираются устроить праздник поножовщины (trattamento di cortellate) новым тюремным сторожам, своим преемникам, если удастся подстеречь их за стенами крепости. Грилло говорит, что почти каждый божий день в крепости дают серенады, что синьорина Клелия Конти очень бледна, часто хворает и «прочее и тому подобное». Это нелепое выражение побудило Фабрицио послать с обратной почтой приказ Лодовико немедленно возвратиться в Локарно. Лодовико приехал, и подробности, которые он сообщил устно, еще более опечалили Фабрицио.

Легко представить себе, как весело было с ним бедной герцогине; он предпочел бы умереть под пыткой, чем произнести при ней имя Клелии Конти. Герцогиня ненавидела Парму, а Фабрицио все, что напоминало об этом городе, казалось возвышенным и умилительным.

Герцогиня, больше чем прежде, думала о мести:

ведь она была так счастлива до злополучной смерти Джилетти. А какова ее жизнь теперь! Она с нетерпением ждала ужасного события, но не смела проронить о нем ни слова Фабрицио. А еще недавно, сговариваясь с Ферранте, она рисовала себе, как обрадуется Фабрицио, услышав от нее, что когда-нибудь он будет отомщен. Теперь читатель может хоть отчасти судить, насколько радостны были встречи герцогини с Фабрицио: почти всегда они проходили в мрачном молчании. И, словно желая увеличить приятность таких отношений, герцогиня поддалась соблазну сыграть злую шутку с племянником, слишком дорогим ее сердцу.

Граф писал ей почти ежедневно и, видимо, посылал письма с нарочным, как в дни их любви: на конвертах всегда стоял штемпель какого-нибудь швейцарского городка. Бедняга всячески старался не выражать слишком явно свою любовь и в письмах чем-нибудь развлечь герцогиню, но она едва пробегала их рассеянным взглядом. Увы, к чему женщине верность прежнего возлюбленного, к которому она чувствует только уважение, когда сердце ее терзает холодность любимого! За два месяца герцогиня ответила графу лишь один раз и лишь для того, чтобы поручить ему

позондировать почву: узнать, будет ли принцессе приятно получить от нее письмо после дерзкого фейерверка в Сакка. В письме, которое граф должен был передать, если найдет это уместным, она просила принцессу сделать маркиза Крешенци своим камергером, так как должность эта была вакантна, и выражала желание, чтобы этим назначением была ознаменована его женитьба. Письмо герцогини было шедевром придворного эпистолярного стиля: нежнейшая почтительность, изысканная форма выражений и ни единого слова, которое могло бы показаться хотя бы отдаленным намеком на что-либо неприятное принцессе. Не удивительно, что ответ на это письмо был преисполнен сердечной дружбы, тяжко страдающей от разлуки:

«Ни я, ни мой сын, — писала принцесса, — не провели ни одного сколько-нибудь сносного вечера со времени вашего внезапного отъезда. Дорогая герцогиня, неужели вы уже позабыли, что только благодаря вам мне предоставлено право совещательного голоса при назначении моих придворных чинов? Вы как будто считаете себя обязанной указывать основания для вашей просьбы приблизить маркиза Крешенци к моему двору, но мне вполне достаточно одного ваше-

го желания. Маркиз получит это место, если я имею хоть некоторую власть, но в сердце моем, милая герцогиня, первое место навсегда отдано вам. Мой сын говорит о вас в таких же точно выражениях, хотя это несколько смелые слова в устах юноши двадцати одного года. Он просит вас прислать ему образцы минералов, имеющихся в долине Орты, близ Бельджирате. Надеюсь, вы часто будете писать мне; адресуйте письма графу, который по-прежнему „ненавидит“ вас, и я больше всего люблю его за это. Архиепископ также верен вам. Все мы надеемся скоро увидеть вас: помните, что это просто необходимо! Маркиза Гислери, моя старшая статс-дама, собирается перейти из земной юдоли в лучший мир; эта бедная женщина доставила мне много неприятностей и даже тут огорчает меня, умирая очень не вовремя; ее болезнь заставила меня вспомнить, чье имя я с таким удовольствием поставила бы вместо ее имени, если б только ради меня согласилась пожертвовать своей независимостью та необыкновенная женщина, которая покинула нас, унеся с собою всю радость моего маленького двора», и т. д. и т. д.

Итак, герцогиня ежедневно встречалась с Фабрицио, хорошо сознавая, что она, по мере своих

сил, постаралась ускорить брак, который приведет его в отчаяние. И случалось, что они по четыре-пять часов катались вместе в лодке по озеру, не перемолвившись ни одним словом. Фабрицио был исполнен искренней приязнью к ней, но все его помыслы были о другой, а для герцогини его наивная, простая душа совсем не находила слов. Она это видела и жестоко страдала.

Мы забыли сказать в свое время, что герцогиня сняла дом в Бельджирате, живописном уголке, вполне оправдывающем свое название, — красивая излучина озера. Из застекленной двери гостиной герцогиня могла сразу спуститься к лодке. Лодку она купила самую простую, но вместо четырех необходимых для нее гребцов наняла двенадцать — по одному из каждой окрестной деревни. Однажды, выехав в третий или четвертый раз со всеми этими тщательно подобранными людьми на середину озера, она приказала им перестать грести.

— Я всех вас считаю своими друзьями, — сказала она, — и хочу вам доверить тайну. Мой племянник Фабрицио бежал из тюрьмы, и, может быть, с помощью предательства его снова попытаются схватить, даже на берегах вашего озера, в вольном краю. Будьте начеку, предупреждайте

меня обо всем, что узнаете. Я разрешаю вам входить в мою комнату днем и ночью.

Гребцы ответили восторженно: она обладала даром внушать любовь к себе. Но она вовсе не думала, что Фабрицио грозит такого рода опасность, и принимала предосторожности ради себя самой, — раньше, до рокового приказа открыть водоем во дворце Сансеверина, ей и в голову бы это не пришло.

Она предусмотрительно поселила Фабрицио в порту Локарно; каждый день он навещал ее или же она сама отправлялась к нему, на швейцарский берег. Насколько приятны были эти свидания, говорит следующее обстоятельство: маркиза с обеими дочерьми дважды приезжала повидаться с ними, и им было легче в присутствии чужих, — ведь, несмотря на узы кровного родства, можно назвать чужими даже своих близких, если они ничего не знают о самом для нас главном и встречаются с нами только раз в год.

Однажды вечером герцогиня была у Фабрицио в Локарно вместе с его матерью и сестрами. Местный викарий и каноник пришли засвидетельствовать дамам свое почтение; викарий, который состоял пайщиком одного торгового дома и всегда знал все новости, вдруг сказал:

— Представьте, умер пармский принц!

Герцогиня страшно побледнела, и у нее едва хватило решимости спросить:

— Рассказывают какие-нибудь подробности?

— Нет, — ответил викарий. — Известно только, что он умер. Но это совершенно достоверно.

Герцогиня посмотрела на Фабрицио. «Я сделала это ради него, — мысленно сказала она. — Я сделала бы и что-нибудь хуже, в тысячу раз хуже, а он сидит передо мной такой равнодушный и думает о другой».

Перенести эту ужасную мысль было свыше ее сил, — она упала в глубокий обморок. Все всполошились, старались привести ее в чувство; но, очнувшись, она заметила, что Фабрицио встревожен менее, чем викарий и каноник; он был в задумчивости, как всегда.

«Он мечтает вернуться в Парму, — подумала герцогиня, — и, вероятно, надеется, что ему удастся расстроить свадьбу Клелии с маркизом. Но я сумею этому помешать». Потом, вспомнив о священниках, она поспешила сказать:

— Это был мудрый государь! Напрасно на него клеветали. Какая тяжелая утрата для нас! — Священники распрощались и ушли, а герцогиня, чтобы остаться одной, объявила, что ляжет в

постель.

«Разумеется, — думала она, — благоразумнее всего не возвращаться сейчас в Парму, а подождать месяц или два. Но я чувствую, что мне не выдержать, я слишком страдаю здесь. Эта постоянная задумчивость Фабрицио, это молчание!.. Нет, видеть его таким — невыносимое мученье для сердца. Разве могла я думать, что буду томиться скукой, катаясь с ним в лодке по этому дивному озеру, да еще в такие дни, когда ради него, чтобы отомстить за него, я совершила то, о чем и сказать немыслимо. После этого мне не страшна даже смерть. Вот расплата за восторженную детскую радость, которую я изведала, когда Фабрицио вернулся в Парму из Неаполя!.. А стоило мне тогда сказать только одно слово, и все было бы решено: сблизившись со мною, он, может быть, и не подумал бы о какой-то девчонке... Но я не могла произнести это слово. Это было бы гадко, отвратительно. И вот теперь она восторжествовала. Что ж, это естественно. Ей двадцать лет, а я вдвое старше, и я так изменилась от забот, я больна!.. Нет, надо умереть, надо кончить! Сорокалетняя женщина может быть мила лишь тем мужчинам, которые любили ее в дни молодости. Мне теперь остались только

утехи тщеславия, а стоит ли из-за этого жить? Тем более надо ехать в Парму, повеселиться. Если все обернется плохо, меня казнят. А что тут страшного? Великолепная смерть! И только перед казнью, в самую последнюю минуту я скажу Фабрицио: „Неблагодарный! Это из-за тебя!..“ Да, только в Парме я могу чем-нибудь заполнить конец моей жизни. Я буду там самой знатной дамой. Какое было бы счастье, если б я могла радоваться теперь своей славе, которая когда-то так огорчала маркизу Раверси! В те дни, чтобы увидеть свое счастье, мне стоило только посмотреть в глаза завистников… Но хорошо, что самолюбие мое не будет страдать: кроме графа, пожалуй, никто не угадает, что оборвало жизнь моего сердца. Я буду любить Фабрицио, буду преданно служить его счастью, но нельзя же, чтобы он расстроил брак Клелии и в конце концов женился на ней… Нет, этому не бывать!»

Как раз при этих словах печального монолога герцогини в доме послышался громкий шум.

«Ну вот! — подумала она. — Арестовать меня пришли. Ферранте поймали, и он проговорился. Что ж, тем лучше! Теперь у меня есть занятие. Буду защищать свою голову. Прежде всего — не даваться им в руки».

И герцогиня, полураздетая, бросилась в сад. Она уже хотела было перелезть через невысокую ограду и убежать в поле, но увидела, что в спальню кто-то вошел. Она узнала Бруно, доверенного слугу графа; с ним была ее горничная. Герцогиня тихо подошла к застекленной двери. Бруно рассказывал горничной, что он весь изранен. Тогда она переступила порог. Бруно бросился к ее ногам, умоляя, чтобы она не говорила графу, в какой поздний час он явился к ней.

— Тотчас же после смерти принца, — добавил он, — граф отдал приказ по всем почтовым станциям не давать лошадей никому из пармских подданных. Сам я выехал на графских лошадях; через По переправился на пароме, а когда стал подниматься на берег, экипаж опрокинулся, разбился, весь поломался, а я так расшибся, что не мог ехать верхом, и вот запоздал…

— Хорошо, — сказала герцогиня. — Сейчас три часа утра. Я скажу, что вы добрались сюда еще в полдень. Только смотрите, не выдавайте меня.

— Спасибо за вашу доброту, синьора.

Политика в литературном произведении — это, как выстрел из пистолета посреди концерта: нечто грубое, но властно требующее к себе внимания.

Нам придется сейчас говорить о делах весьма некрасивых, и по многим причинам мы предпочли бы умолчать о них, но вынуждены затронуть эти события, ибо они относятся к нашей теме, поскольку разыгрываются в сердцах наших героев.

— Но, боже мой, отчего же умер государь? — спросила герцогиня у Бруно.

— Он охотился на перелетных птиц в болотах, по берегу По, в двух лье от Сакка, и провалился в яму, прикрытую травой; он был весь в поту, а тут сразу продрог от холодной воды. Его перенесли в уединенный крестьянский домик, и там он через несколько часов умер. Говорят, что умерли еще двое: господин Катена и господин Бороне, и будто бы все несчастье произошло оттого, что у хозяйки медные кастрюли покрылись зеленью, а в них сварили завтрак… А горячие головы, якобинцы, рассказывают, что им выгоднее… Толкуют об отраве. Я только знаю, что мой приятель Тото, придворный фурьер, чуть не помер, но его спас какой-то добрый человек. Нищий, а хорошо понимает в медицине, — давал ему какие-то диковинные лекарства. Да уж о смерти принца больше никто и не говорит: по совести сказать, он жестокий был человек. Когда я уезжал из города, на улицах собирался народ — грозились

на клочки растерзать главного фискала Расси; другие двинулись к крепости — хотели, говорят, поджечь ворота и выпустить заключенных. А Фабио Копти будто бы приказал стрелять из пушек. А кто говорит, что крепостные канониры подмочили порох, чтобы не убивать своих. Но интереснее всего вот что: в Сандоларо, когда лекарь перевязывал мне раненую руку, проезжий человек из Пармы рассказывал, что на улице поймали знаменитого Барбоне, писца из крепости, избили его и повесили на дереве у крепостных ворот. Народ двинулся к дворцовым садам. Хотели разбить статую принца, а граф вызвал батальон лейб-гвардии, выставил его перед статуей и велел сказать народу, что всякий, кто войдет в сад, живым оттуда не выйдет. Народ испугался. И вот еще удивительное дело: этот приезжий из Пармы (оказалось, он бывший жандарм) все твердил, что граф надавал пинков генералу П., командиру лейб-гвардии, сорвал с него эполеты и приказал двум стрелкам вывести его из сада.

— Узнаю графа! — воскликнула герцогиня в порыве радости, которой никак не могла бы ожидать от себя за минуту до этого. — Он не допустит, чтобы оскорбили нашу принцессу. Этот генерал П. из преданности к законным государям не по-

желал служить «узурпатору», меж тем как граф, человек не столь щепетильный, проделал всю испанскую кампанию, — за это его часто корили при дворе.

Герцогиня распечатала письмо графа, но сто раз прерывала чтение, засыпая Бруно вопросами.

Письмо было очень забавное: граф излагал события в самых мрачных выражениях, но в каждом его слове просвечивала живейшая радость; он избегал подробностей, касающихся смерти принца, и закончил письмо следующими строками:

> «Ты, несомненно, скоро возвратишься, дорогой мой ангел, но советую тебе подождать день-другой: надеюсь, принцесса пошлет за тобою сегодня или завтра курьера. Возвращение твое должно быть не менее великолепно, чем смелый твой отъезд. А злодея, укрывшегося близ тебя, я твердо рассчитываю предать суду двенадцати судей, созванных из всех округов нашего государства. Но чтобы покарать по заслугам этого изверга, мне сначала надо наделать папильоток из прежнего приговора, если только он существует».

Затем граф, очевидно, распечатал письмо и приписал следующее:

«События приняли неожиданный оборот. Только что роздал патроны двум гвардейским батальонам. Иду в сражение и по-настоящему заслужу прозвище *Жестокий*, которым уже давно наградили меня либералы. Генерал П., старая мумия, осмелился говорить в казарме, что надо вступить в переговоры с взбунтовавшимся народом. Пишу тебе посреди улицы. Иду сейчас во дворец, и туда проникнут только через мой труп. Прощай! Если придется умереть — умру, как жил: боготворя тебя, «несмотря ни на что». Не забудь взять триста тысяч франков, положенных на твое имя в лионском банке Д…

Явился бедняга Расси, бледный как полотно и без парика. Ты и представить себе не можешь, какая у него физиономия! Народ во что бы то ни стало хочет его повесить. Какая несправедливость! Он заслуживает четвертования. Он спрятался у меня во дворце, потом побежал за

мной по улице. Не знаю, право, что с ним делать... Не хочется вести его во дворец принца, — это значит направить туда волну возмущения. Ф. может убедиться, что я люблю его, — прежде всего я сказал Расси: «Отдайте мне приговор по делу синьора дель Донго и все решительно копии с него. И скажите беззаконникам-судьям, виновникам этого бунта, что я их всех повешу так же, как и вас, любезнейший, если они хоть пикнуть посмеют об этом приговоре. Помните, он никогда не существовал». Ради Фабрицио посылаю сейчас для охраны архиепископа роту гренадеров. Прощай, дорогой ангел! Дворец мой сожгут, и я лишусь твоих прелестных портретов. Бегу во дворец. Разжалую этого мерзавца генерала П. Он верен своей натуре и низко льстит народу, как льстил прежде покойному принцу. Все наши генералы трясутся от страха. Придется, пожалуй, назначить себя самого главнокомандующим».

Герцогиня с некоторым злорадством не послала разбудить Фабрицио. Она испытывала к графу чувство восхищения, весьма похожее на

любовь. «В сущности, если поразмыслить хорошенько, — думала она, — мне надо выйти за него замуж». Она тотчас же написала ему об этом и отправила письмо с одним из своих слуг. В эту ночь герцогине совсем некогда было думать о своих несчастьях.

На другой день около полудня она увидела лодку с десятью гребцами, стрелой летевшую по озеру. Вскоре и она и Фабрицио разглядели в лодке человека, одетого в ливрею служителей принца Пармского. Действительно, это был один из его курьеров. Не успев еще выскочить на берег, он крикнул герцогине: «Бунт усмирили!» Курьер передал ей несколько писем от графа, очень милое письмо от принцессы и написанный на пергаменте рескрипт принца Ранунцио-Эрнесто V о пожаловании ей титула герцогини Сан-Джованни и звания старшей статс-дамы вдовствующей принцессы. У молодого принца, знатока минералогии, которого она считала дураком, достало ума написать ей короткое письмо, заканчивавшееся почти объяснением в любви. Записка гласила:

«Граф говорит, герцогиня, что он доволен мною, хотя я всего-навсего был

рядом с ним во время перестрелки, и подо мной ранили лошадь; из-за таких пустяков подняли великий шум, и, право, мне очень хочется теперь участвовать в настоящем сражении, но только не против моих подданных. Я всем обязан графу: мои генералы никогда не бывавшие на войне, перетрусили, как зайцы; кажется, двое-трое из них убежали в Болонью. С тех пор как великое и прискорбное событие привело меня к власти, ничего я не подписывал с таким удовольствием, как рескрипт о назначении вас старшей статс-дамой моей матушки. Кстати, мы оба с нею вспомнили, что однажды вы восхищались красивым видом, который открывается из palazetto Сан-Джованни, некогда принадлежавшем Петрарке, — по крайней мере так утверждают. И вот матушка решила подарить вам это небольшое поместье, а я, не зная, что подарить вам, и не смея предложить вам все то, над чем вы уже являетесь владычицей, сделал вас герцогиней моей страны: не знаю, известно ли вам, что Сансеверина — римские герцоги. Я пожаловал

орденскую звезду нашему почтенному архиепископу, проявившему твердость духа, редкостную для семидесятилетнего старца. Надеюсь, вы не разгневаетесь на меня за то, что я вернул всех изгнанных придворных дам. Мне сказали, что теперь перед своей подписью я должен всегда ставить: „сердечно благосклонный“. Какая досада, что меня заставляют расточать подобные заверения, которые я совершенно искренне приношу только вам!

Сердечно благосклонный к вам, Ранунцио-Эрнесто».

Кто не понял бы по тону этого письма, что герцогиню ждут высочайшие милости? Тем более странными показались ей новые письма графа, которые она получила через два часа. Не вдаваясь ни в какие подробности, он советовал ей отсрочить на несколько дней возвращение в Парму и написать об этом принцессе, сославшись на нездоровье. Однако герцогиня и Фабрицио выехали в Парму тотчас же после обеда. Герцогиня, хоть она не признавалась себе в этом, спешила туда, чтобы ускорить брак маркиза Крешенци, а

Фабрицио жаждал увидеть Клелию; всю Дорогу он безумствовал от счастья и вел себя, по мнению его тетушки, чрезвычайно смешно. Втайне он замышлял похитить Клелию, даже против ее воли, если не будет иного средства расстроить ее брак.

Путешествие герцогини и ее племянника было очень веселым. На последней почтовой станции перед Пармой они сделали короткую остановку, и Фабрицио переоделся в духовное платье, — обычно же он одевался в простой черный костюм, как будто носил траур. Когда он вошел в комнату герцогини, она сказала ему:

— Знаешь, в письмах графа чувствуется что-то подозрительное, необъяснимое. Послушайся меня, подожди здесь несколько часов. Как только я поговорю с нашим великим министром, я немедленно пришлю за тобой курьера.

Фабрицио стоило немалых усилий последовать этому благоразумному совету. Граф встретил герцогиню, которую уже называл своей женой, с восторженной радостью, достойной пятнадцатилетнего юноши. Долгое время он и говорить не хотел о политике, а когда, наконец, пришлось подчиниться холодному рассудку, сказал:

— Ты очень хорошо сделала, что помешала Фабрицио вернуться открыто: у нас тут реак-

ция в полном разгаре. Угадай, какого коллегу дал мне принц, — кого он назначил министром юстиции? Расси, дорогая моя, того самого Расси, которого в дни великих событий я вполне справедливо третировал как последнюю дрянь. Кстати, предупреждаю тебя, что у нас тут все постарались замять. Если ты заглянешь в нашу газету, то узнаешь, что некий Барбоне, писец из крепости, умер от ушибов, упав из экипажа. А шестьдесят с лишним бездельников, в которых я приказал стрелять, когда они бросились на статую принца в дворцовом саду, отнюдь не убиты, а благополучно здравствуют, но только отправились путешествовать. Граф Дзурла, министр внутренних дел, лично побывал в доме каждого из этих злосчастных героев, дал по пятнадцати цехинов их семьям или друзьям и приказал говорить, что покойник путешествует, весьма решительно пригрозив тюрьмой, если только посмеют заикнуться, что он убит. Из министерства иностранных дел специально послан человек в Милан и Турин договориться с журналистами, чтобы они ничего не писали о «печальном событии», — такой у нас установлен термин; человек этот должен также поехать в Лондон и в Париж и дать там во всех газетах почти официальные

опровержения всем возможным толкам о происходивших у нас беспорядках. Второго чиновника направили в Болонью и Флоренцию. Я только плечами пожал.

Забавно, однако, — я в мои годы пережил минуту энтузиазма, когда выступал с речью перед гвардейцами и срывал эполеты с этого труса, генерала П. В то мгновение я без колебаний отдал бы жизнь за принца… Признаюсь теперь, что это был бы весьма глупый конец. Молодой государь, при всей своей доброте, охотно дал бы сто экю, лишь бы я заболел и умер; он еще не решается предложить мне подать в отставку, но мы разговариваем друг с другом чрезвычайно редко, и я посылаю ему уйму докладных записок — такой порядок я ввел при покойном принце, после заключения Фабрицио в крепость. К слову сказать, мне не пришлось наделать папильоток из приговора Фабрицио по той простой причине, что мерзавец Расси не отдал мне этого документа. Вы правильно поступили, помешав Фабрицио открыто вернуться сюда. Приговор все еще остается в силе. Правда, не думаю, что Расси сейчас дерзнет арестовать нашего племянника, но весьма возможно, что недели через две он осмелеет. Если Фабрицио так жаждет вернуться в Парму,

пусть поселится у меня в доме.

— Но что за причина всех этих перемен? — изумленно воскликнула герцогиня.

— Принца убедили, что я вообразил себя диктатором и спасителем родины и намерен командовать им, как ребенком; мало того: говоря о нем, я будто бы произнес роковые слова: «это ребенок». Возможно, я так и сказал, — в тот день я был в экзальтации; так, например, он мне показался чуть ли не героем, оттого что не очень испугался ружейных выстрелов, хотя слышал их впервые в жизни. Ему нельзя отказать в уме, и держится он гораздо лучше, чем отец: словом, я готов где угодно сказать, что сердце у него честное и доброе, но это искреннее юное сердце сжимается от негодования, когда ему говорят о каком-нибудь подлом поступке, и он полагает, что тот, кто замечает такие дела, сам тоже подлец. Вспомните, какое воспитание он получил!..

— Ваше превосходительство, вам нужно было помнить, что когда-нибудь он станет государем, и приставить к нему воспитателем умного человека.

— Во-первых, мы имеем плачевный пример: маркиз де Фелино, мой предшественник, при-

гласил аббата Кондильяка[111], и тот сделал из своего воспитанника сущего болвана. Он только и знал, что участвовал в церковных процессиях, а в тысяча семьсот девяносто шестом году не сумел договориться с генералом Бонапартом, который утроил бы его владения. Во-вторых, я никогда не думал оставаться министром десять лет подряд. А за последний месяц мне все здесь так опротивело, что я хочу только собрать миллион, а потом бросить на произвол судьбы этот бедлам, который я спас. Если б не я, Парма на два месяца обратилась бы в республику, а поэт Ферранте Палла был бы диктатором в ней.

При имени Ферранте герцогиня покраснела: граф ничего не знал.

— Мы скоро вернемся к обычаям монархии восемнадцатого века: духовник и фаворитка. В сущности принц любит только минералогию и, пожалуй, вас, синьора. С тех пор как он взошел на престол, его камердинер, у которого брат, после девятимесячной службы, произведен, по моему требованию, в капитаны, камердинер этот, поз-

---

[111] Примечания: 111

Маркиз де Фелино (1711–1774) — пармский государственный деятель, министр. Аббат Кондильяк (1715–1780) — французский философ, воспитатель пармского герцога Фердинанда (1751–1802), внука Людовика XV.

вольте вам сказать, усердно внушает принцу, что он — счастливейший из людей, потому что его профиль чеканят теперь на золотых монетах. Такая прекрасная мысль привела за собою скуку. И вот принцу нужен адъютант, избавитель от скуки. Но даже за миллион, за желанный миллион, необходимый нам с вами для приятной жизни в Неаполе или в Парме, я не соглашусь развлекать его высочество и проводить с ним по четыре, по пять часов в день. К тому же я умнее его, и через месяц он будет считать меня чудовищем.

Покойный принц был зол и завистлив, но он как-никак побывал на войне, командовал войсками, и это дало ему некоторую закалку, у него все-таки были задатки монарха, и при нем я мог быть министром, плохим или хорошим, но министром. А при его сыне, человеке порядочном, простодушном и по-настоящему добром, я должен быть только интриганом. Мне в этом приходится соперничать с самой последней бабенкой при дворе, и я оказался очень слабым соперником, так как пренебрегаю множеством необходимых мелочей. Третьего дня, например, одна из бельевщиц, которые каждое утро разносят чистые полотенца по дворцовым покоям, вздумала потерять ключ от одного из английских бюро

принца. И его высочество отказался заниматься всеми делами, по которым были представлены доклады, запертые в этом бюро. Конечно, ему за двадцать франков вынули бы доски из дна ящика или подобрали ключ к замку, но Ранунцио-Эрнесто Пятый сказал мне, что нельзя прививать дворцовому слесарю дурные привычки.

До сих пор он совершенно неспособен три дня сряду придерживаться одного решения. Родись этот молодой принц просто маркизом и будь у него состояние, он оказался бы самым достойным человеком при своем дворе, подобии двора Людовика Шестнадцатого. Но как этому набожному простаку избежать всяких хитрых ловушек, которыми его окружают? Поэтому салон вашего недруга, маркизы Раверси, еще никогда не был столь могущественным, как теперь; и там сделали открытие, что хоть я и приказал стрелять в народ и решился бы скорее перебить три тысячи человек, если понадобится, чем позволить оскорбить статую принца, прежнего моего государя, — все же я неистовый либерал, добиваюсь конституции, и тому подобный вздор. «Эти безумцы кричат о республике, они хотят помешать нам пользоваться благами лучшей из монархий…» Словом, сударыня, мои враги объявили

меня теперь главой либеральной партии, а вы — единственная моя соратница, кого принц еще не лишил своего благоволения. Архиепископ, человек неизменно порядочный, весьма осторожно напомнил однажды о том, что было сделано мною в «злосчастный день», и за это попал в немилость. День этот не называли «злосчастным», пока наличие бунта было бесспорной истиной; на следующее утро принц даже сказал архиепископу, что пожалует меня герцогом, для того чтобы вы не променяли свой титул на низший, выйдя за меня замуж. А теперь, думается мне, сделают графом этого подлеца Расси, которого я произвел в дворяне за то, что он продавал мне секреты покойного принца. При таком возвышении Расси я буду играть глупейшую роль.

— А бедненький принц попадет впросак.

— Разумеется. Но ведь он *повелитель*, и через две недели никто не посмеет смеяться над ним. Итак, дорогая, нам с вами, как игрокам в трик-трак, надо «выйти из игры». Удалимся.

— Но ведь мы будем очень небогаты.

— В сущности ни вам, ни мне не нужна роскошь. Дайте мне местечко в вашей ложе, в неаполитанском театре Сан-Карло, дайте мне верховую лошадь, и я буду вполне доволен. Больше или

меньше роскоши — не от этого будет зависеть наше с вами положение в обществе, а от того, что местные умники всячески будут добиваться чести и удовольствия прийти к вам на чашку чая.

— А что произошло бы, — спросила герцогиня, — если бы в «злосчастный день» вы держались в стороне, как будете, надеюсь, держаться впредь?

— Войска шли бы заодно с народом, три дня длились бы пожары и резня (ведь только через сто лет республика в этой стране не будет нелепостью), затем две недели — грабежи, и так тянулось бы до тех пор, пока два-три полка, присланных из-за границы, не положили бы всему конец. В тот день среди народа был Ферранте Палла, как всегда отважный и неукротимый; вместе с ним, очевидно, действовала дюжина его друзей. Расси состряпает из этого великолепный заговор. Хорошо известно, что Ферранте, хотя он и был одет в невообразимые отрепья, раздавал золото целыми пригоршнями.

Герцогиня, возбужденная всеми этими вестями, немедленно отправилась во дворец благодарить принцессу.

Когда она вошла в приемную, дежурная фрейлина вручила ей золотой ключик, который

полагалось носить у пояса как знак высших полномочий во дворцовых покоях, отведенных для принцессы. Клара-Паолина поспешила отослать всех и, оставшись наедине с герцогиней, некоторое время упорно избегала объяснений и говорила только намеками. Герцогиня, не понимая, что все это значит, отвечала весьма сдержанно. Наконец, принцесса расплакалась и, бросившись в объятия своего друга, воскликнула:

— Опять начинаются для меня горькие дни. Сын будет обращаться со мной еще хуже, чем муж!

— Я этого не допущу, — с горячностью ответила герцогиня. — Но прежде всего соблаговолите, ваше высочество, принять от меня почтительные изъявления моей глубокой признательности.

— Что вы этим хотите сказать? — тревожно спросила принцесса, боясь услышать просьбу об отставке.

— Я хочу попросить, чтобы всякий раз, как вы разрешите мне повернуть вправо качающуюся голову вон того китайского болванчика, что стоит на камине, мне дозволено было называть вещи истинными их именами.

— И только? Дорогая моя герцогиня! — вос-

кликнула Клара-Паолина. Поднявшись с места, она подбежала к болванчику и сама повернула ему голову.

— Говорите же, говорите совершенно свободно, ведь вы моя старшая статс-дама, — ласково лепетала она.

— Ваше высочество, — сказала герцогиня, — вы прекрасно знаете положение дел: и вам и мне грозят большие опасности. Приговор, вынесенный Фабрицио, не отменен! Следовательно, как только захотят избавиться от меня, а вам нанести оскорбление, моего племянника опять заточат в тюрьму. Наше положение нисколько не улучшилось. Что касается меня лично, то я выхожу замуж за графа, и мы с ним уедем в Неаполь или в Париж. Последнее доказательство неблагодарности, жертвой которой оказался граф, решительно отвратило его от государственных дел, и, не будь у меня сочувствия к вам, ваше высочество, я посоветовала бы графу остаться в этом сумасшедшем доме только в том случае, если принц предложит ему очень большие деньги. Дозвольте мне, ваше высочество, объяснить вам, что у графа, когда он вступил на министерский пост, было сто тридцать тысяч франков, а теперь у него едва ли наберется двадцать тысяч доходу. Я уже давно,

но безуспешно, советовала ему позаботиться о своем состоянии. И вот в мое отсутствие граф поссорился с главными откупщиками принца, большими мошенниками, заменил их другими мошенниками, и они дали ему за это восемьсот тысяч франков.

— Что? — удивленно воскликнула принцесса. — Боже мой!.. Как это огорчает меня!

— Ваше высочество, — весьма хладнокровно спросила герцогиня, — прикажете повернуть нос болванчика влево?

— Нет, нет! Но, боже мой, это просто ужасно, что такой человек, как граф, решился подобным способом наживать деньги!

— Если б он не украл, его презирали бы все честные люди.

— Боже правый! Неужели это возможно?

— Ваше высочество, — продолжала герцогиня, — кроме моего друга, маркиза Крешенци, у которого триста или четыреста тысяч дохода, здесь все крадут. Да и как не воровать в такой стране, где о важнейших заслугах забывают меньше чем через месяц? Единственная ощутимая, реальная награда, которая уцелеет и в немилости, — это деньги. Я позволю себе сейчас, ваше высочество, открыть вам ужасные истины.

— Говорите, разрешаю, — со вздохом произнесла принцесса. — Хотя эти истины терзают мне сердце.

— Так вот, ваше высочество, — ваш сын — человек кристальной души, но он может сделать вас еще несчастнее, чем его отец. У покойного принца был свой склад характера, своя воля, — ну, приблизительно, как у всех людей. А наш молодой государь не может быть уверен, что его воля через три дня не изменится. Следовательно, на него нельзя положиться, надо постоянно быть возле него и ограждать его от посторонних влияний. Истину эту постичь нетрудно, и, конечно, новая партия ярых монархистов, которой руководят две умные головы — Расси и маркиза Раверси, — постарается подыскать для него любовницу. Фаворитке позволят наживаться, раздавать какие-нибудь второстепенные должности, но зато она должна будет отвечать перед этой партией за постоянство монаршьей воли.

Для того чтобы я могла чувствовать себя в безопасности при дворе вашего высочества, надо, чтобы Расси изгнали, а имя его предали позору; кроме того, я хочу, чтобы Фабрицио судили самые честные судьи, каких только можно найти; и если эти господа, как я надеюсь, оправдают

Фабрицио, будет вполне естественно разрешить архиепископу сделать его своим коадъютором, а впоследствии — преемником. Если же нас постигнет неудача, мы с графом уедем, и на прощанье я дам вашему высочеству совет: никогда не миритесь с негодяем Расси и никогда не выезжайте из владений вашего сына. Сын у вас хороший, и, живя около вас, он не причинит вам большого зла.

— Я с величайшим вниманием слушала ваши откровения, — ответила, улыбаясь, принцесса. — Уж не должна ли я сама подыскать любовницу своему сыну?

— Нет, ваше высочество. Постарайтесь только, чтобы у вас ему было весело, — веселее, чем в других салонах.

Разговор на такие темы тянулся бесконечно. Простодушная, но умная принцесса прозрела.

Нарочный, посланный герцогиней, сообщил Фабрицио, что он может въехать в город, но украдкой. В Парме его почти никто не видел: переодетый крестьянином, он проводил все свое время в дощатой лавчонке торговца каштанами, приютившейся под деревьями бульвара, против ворот крепости.

24

Герцогиня устраивала прелестные вечера во дворце, — никогда там не видели такого веселья, и никогда еще герцогиня не была так мила, как в эту зиму, хотя над ее головой нависли величайшие опасности; зато в эти трудные для нее месяцы она, пожалуй, ни разу не подумала с горечью о странной перемене, произошедшей в Фабрицио. Молодой принц приходил очень рано на приятные вечера к своей матери, и она говорила ему:

— Ну, пора вам идти управлять государством. Держу пари, что у вас на письменном столе лежит больше двадцати докладов, ожидающих вашего решения. Я не хочу, чтобы Европа обвиняла меня, будто я превращаю вас в монарха-бездельника и сама стремлюсь царствовать.

К досаде принца, она всегда произносила такие наставления в самые неподходящие минуты — когда его высочество, позабыв свою робость, с большим удовольствием принимал участие в какой-нибудь забавной шараде. Дважды в неделю устраивались прогулки за город, и под предлогом привлечь сердца народа к новому

государю принцесса допускала на эти пикники самых хорошеньких женщин из пармской буржуазии. Герцогиня была душой этого веселого двора; она надеялась, что красивые мещаночки, мучительно завидовавшие возвышению мещанина Расси, расскажут принцу хотя бы об одной из бесчисленных плутней министра юстиции. Принц наряду с прочими ребяческими идеями придерживался убеждения, что у него *высоконравственные* министры.

У Расси было достаточно сообразительности, чтобы понять, как опасны для него блестящие вечера при дворе принцессы, устраиваемые его врагом. Он не пожелал отдать графу Моска приговор, вынесенный Фабрицио с соблюдением законных формальностей. Итак, или он, или герцогиня должны были исчезнуть из придворных сфер.

В тот день, когда вспыхнуло восстание — факт, отрицать который считалось теперь хорошим тоном, — кто-то раздавал народу деньги. И с этого Расси начал свое расследование. Одевшись еще хуже, чем обычно, он обходил самые жалкие лачуги Пармы и целые часы проводил в беседах с населявшими их бедняками, оплачивая словоохотливых. Он был вознагражден за свои

хлопоты. Через две недели такой беспокойной жизни он получил твердую уверенность, что тайным вождем восстания был Ферранте Палла; больше того — этот человек, как истинно великий поэт, нуждавшийся всю свою жизнь, продал в Генуе восемь или десять бриллиантов. Рассказывали, что среди проданных камней было пять крупных бриллиантов ценою более сорока тысяч, но «за десять дней до смерти принца» их уступили за тридцать пять тысяч, «ссылаясь на крайнюю нужду в деньгах».

Как описать ликование министра юстиции при этом открытии? Он прекрасно видел, что при дворе вдовствующей принцессы его ежедневно высмеивают. Не раз и сам принц, беседуя с ним о делах, смеялся над ним совершенно открыто, со всем простодушием молодости. Надо признаться, что у Расси были удивительно плебейские замашки; например, если какой-нибудь разговор очень увлекал его, он закидывал ногу на ногу и обхватывал пятерней свой башмак, а в минуту особого воодушевления вытаскивал из кармана огромный платок из красного коленкора и расстилал его на коленях и т. д. и т. д. Принц от души смеялся, когда одна из красавиц мещаночек вышучивала Расси и, зная, что у нее стройная

ножка, изображала эти изящные повадки министра юстиции.

Расси испросил чрезвычайную аудиенцию у принца и сказал ему:

— Ваше высочество, согласитесь истратить сто тысяч франков, и мы узнаем истинную причину смерти вашего августейшего отца. Располагая этой суммой, министерство юстиции будет в состоянии поймать преступников, если тут таится преступление.

Совершенно ясно, что ответил на это принц.

Через некоторое время Чекина рассказала герцогине, что ей посулили большие деньги, если она покажет одному ювелиру бриллианты своей хозяйки, но она с негодованием отказалась. Герцогиня пожурила ее за то, что она отвергла предложение, и через неделю Чекине были даны бриллианты для показа. В день, назначенный для их осмотра, граф Моска поставил по два надежных человека возле лавки каждого пармского ювелира и в полночь пришел во дворец сообщить герцогине, что любопытный ювелир — не кто иной, как брат министра Расси. Герцогиня была очень весела, — в тот вечер при дворе давали комедию dell'arte, то есть комедию, в которой действующие лица сами импровизируют диалоги, а

за кулисами вывешен лишь общий план пьесы. Герцогиня только что вышла со сцены, где она играла главную роль, а роль ее чичисбея исполнял граф Бальди, бывший друг сердца маркизы Раверси, присутствовавшей на спектакле. Принц, самый робкий человек во всей Парме, но юноша очень красивый и наделенный нежнейшим сердцем, разучивал роль графа Бальди, решив играть ее на следующем представлении пьесы.

— Мне очень некогда, — сказала герцогиня графу Моска. — Во втором акте я выступаю в первом явлении. Пройдемте в залу охраны.

И в этой зале, посреди двадцати лейб-гвардейцев, которые, насторожившись, внимательно прислушивались к разговору премьер-министра со старшей статс-дамой, герцогиня, смеясь, сказала своему другу:

— Вы всегда бранили меня, что я без пользы открываю свои тайны. Ну так знайте: я возвела на трон Эрнесто Пятого. Я хотела отомстить за Фабрицио, которого любила в то время гораздо сильнее, чем теперь, хотя столь же невинной любовью. Я знаю, вы совсем не верите в невинность моего чувства, но это неважно, раз вы все же любите меня, невзирая на мои преступления. Но слушайте — вот настоящее мое преступление:

я отдала все свои бриллианты очень занимательному безумцу по имени Ферранте Палла; я даже поцеловала его за то, что он решился устранить человека, приказавшего отравить Фабрицио. Что тут дурного?

— Ах, вот где Ферранте взял деньги на подготовку бунта! — сказал граф, несколько озадаченный. — И вы все это говорите мне при телохранителях принца?

— Но мне же некогда. А Расси теперь напал на след. Правда, я и не заикалась о восстании, я терпеть не могу якобинцев. Подумайте над всем этим и после спектакля скажите, что мне делать.

— Я и сейчас могу это сказать. Вам надо влюбить в себя принца… Но только, умоляю, не увлекайтесь этой игрой!

Герцогиню позвали на сцену; она убежала.

Несколько дней спустя герцогиня получила по почте длинное и нелепое письмо, подписанное именем ее бывшей горничной, — эта женщина просила у нее место дворцовой служительницы, но герцогиня сразу же по почерку и слогу увидела, что письмо написано кем-то другим. Когда она развернула это послание, чтобы прочесть вторую страницу, к ее ногам упал чудотворный образок мадонны, завернутый в пожелтевший

листок какой-то книги. Бросив взгляд на образок, герцогиня пробежала несколько строк печатного листка, и глаза ее заблестели. Вот что она прочла:

«Трибун брал только сто франков в месяц; остальное употребили на то, чтоб возгорелся священный огонь в душах, но лед эгоизма сковал их. Лиса напала на мой след, поэтому я не мог проститься с обожаемым существом. Я сказал себе: «Она не любит республики, а она настолько выше меня умом и очарованием красоты. Да и как учредить республику, когда нет республиканцев? Не заблуждался ли я? Полгода я буду бродить по американским городкам, буду изучать их под микроскопом и тогда увижу, должен ли еще любить единственную вашу соперницу в моем сердце.

Если вы получите это письмо, баронесса, и ничей кощунственный взгляд не прочтет его раньше вас, прикажите сломать один из молодых ясеней, посаженных в двадцати шагах от того места, где я дерзнул впервые заговорить с вами.

Тогда я велю зарыть в саду шкатулку под большим самшитом, на который вы в счастливое для меня время однажды обратили внимание, а в этой шкатулке вы найдете то, из-за чего возводят клевету на людей моих убеждений.

Я осмелился написать лишь потому, что лиса напала на мой след, и я трепещу за участь обожаемого, дивного создания.

К самшиту надо прийти через две недели».

«У него в распоряжении типография, — подумала герцогиня. — Значит, скоро мы получим томик сонетов. Бог знает, какими именами он наградит меня в них!»

Из кокетства герцогиня решила произвести опыт: целую неделю она «хворала», и двор лишился прелестных вечеров. Принцесса, втайне возмущавшаяся всем, что ей приходилось делать из страха перед сыном с самых первых дней вдовьего траура, провела эту неделю в монастыре, где был похоронен ее супруг. А у принца из-за недельного перерыва в развлечениях остались бесконечные, тоскливые часы досуга, что сильно подорвало влияние министра юстиции. Эрне-

сто V понял, какая скука ждет его, если герцогиня покинет двор или только перестанет расточать в нем радость. Наконец, вечера возобновились, и принц выказывал все больше интереса к комедиям dell'arte. Ему очень хотелось взять роль, но он не смел признаться в этом честолюбивом желании. Однажды он, густо краснея, сказал герцогине:

— А почему бы и мне не попытаться сыграть?

— Мы все к услугам вашего высочества. Соизвольте приказать, и я велю составить план новой комедии; самые яркие сцены вы, ваше высочество, будете играть со мною, а так как на первых порах все актеры немного смущаются, я буду вам подсказывать реплики, — только соблаговолите с некоторым вниманием смотреть на меня, ваше высочество.

Все было устроено удивительно ловко. Принц отличался застенчивостью и стыдился ее. Старания герцогини, чтобы он не страдал от этой врожденной робости, произвели на молодого самодержца глубокое впечатление.

В день его дебюта спектакль начался на полчаса раньше обычного, и в салоне было только восемь — десять пожилых дам, когда гостей пригласили перейти в зрительный зал. Эти особы совсем не

внушали принцу страха; к тому же они прошли в Мюнхене истинно монархическую выучку и не скупились на аплодисменты. Воспользовавшись своей властью статс-дамы, герцогиня заперла на ключ ту дверь, через которую входили в зал придворные чины. Принц, обладавший литературным слогом и привлекательной внешностью, прекрасно провел первые сцены; он очень успешно подавал реплики, читая их в глазах герцогини или повторяя слова, которые она подсказывала вполголоса. В ту минуту, когда немногочисленные зрители аплодировали изо всех сил, по знаку герцогини открыли главный вход, и зал мгновенно наполнился придворными прелестницами, которые нашли, что у принца очень выигрышная наружность, очень оживленный вид, и тоже принялись аплодировать; принц покраснел от удовольствия. Он играл роль возлюбленного герцогини. Вскоре ей уже не приходилось подсказывать ему, — напротив, она старалась сокращать сцены: он говорил о любви с таким восторженным пылом, что нередко смущал свою партнершу, растягивая реплики минут на пять. Герцогиня уже не была так блистательно хороша, как год назад; заточение Фабрицио и еще более — дни, проведенные с ним на Лаго-Маджоре,

его угрюмое безмолвие на десять лет состарили чаровницу Джину. Черты ее стали резче, в них теперь больше сквозило ума, но меньше обаяния молодости. Лишь изредка они выражали юную жизнерадостность; но со сцены благодаря румянам и другим прикрасам, которые театральное искусство дозволяет актрисам, она по-прежнему казалась первой красавицей при дворе. Страстные тирады принца привлекли внимание придворных; в этот вечер все говорили: «Вот и Бальби нового царствования». Граф внутренне негодовал. После спектакля герцогиня сказала принцу перед всем двором:

— Ваше высочество, вы играете слишком хорошо; пожалуй, пойдут толки, что вы увлеклись женщиной тридцати восьми лет, а это может помешать моему браку с графом. Больше я не буду играть с вашим высочеством, если только вы не дадите обещания говорить со мною, как с любой особой почтенного возраста, — например, с маркизой Раверси.

Пьесу ставили три раза; принц обезумел от счастья; но однажды вечером все заметили, что у него очень озабоченный вид.

— Готова поручиться, что Расси строит какие-то козни против нас, — сказала принцессе ее стар-

шая статс-дама. — Советую вам, ваше высочество, назначить на завтра спектакль. Принц будет играть плохо и от горя проговорится.

Принц действительно сыграл очень плохо, его едва было слышно, он комкал все свои реплики. В конце первого акта он чуть не расплакался. Герцогиня была около него, но холодная, безучастная. Очутившись на минуту наедине с нею в артистическом фойе, он подбежал к двери и запер ее.

— Мне ни за что не сыграть второй и третий акты, — сказал он. — А я вовсе не хочу, чтобы мне аплодировали из угодливости. Аплодисменты, которыми награждали меня сегодня, терзали мне сердце. Дайте совет, как быть!

— Я выйду на авансцену, сделаю глубокий реверанс ее высочеству, другой реверанс — публике и, как настоящий директор труппы, объявлю, что по внезапной болезни актера, исполняющего роль Лелно, спектакль отменяется и будет дан небольшой концерт. Граф Руска и девица Гизольфи с восторгом покажут перед столь блестящим обществом свои жиденькие голоса.

Принц с жаром поцеловал руку герцогини.

— Ах, зачем вы не мужчина! — сказал он. — Вы дали бы мне разумный совет. Расси только что

положил мне на письменный стол сто восемьдесят два показания против возможных убийц моего отца. А кроме показаний, там еще лежит обвинительный акт в двести с лишним страниц. Мне надо прочесть эту кипу бумаг, да еще я дал слово ничего не говорить графу. Все это прямой дорогой ведет к казням: Расси уже настаивает, чтобы я приказал схватить Ферранте Палла, а я так восхищаюсь этим великим поэтом; он скрывается во Франции, около Антиб, под фамилией Понсе.

— С того дня как вы повесите какого-нибудь либерала, правительство будет связано с Расси железными цепями, а ему только этого и надо; но с того же дня вам, ваше высочество, уже нельзя будет за два часа до прогулки объявить о ней вслух. Я ничего не скажу ни графу, ни принцессе, какой вырвался у вас крик боли, но ведь я принесла присягу не иметь тайн от принцессы… Я буду счастлива, если вы сами соблаговолите сообщить вашей матушке то, что нечаянно сказали мне.

Эта мысль отвлекла монарха от удручающих, горьких чувств провалившегося актера.

— Ну хорошо. Пожалуйста, предупредите матушку. Я пройду сейчас в ее большой кабинет.

Принц выбежал из-за кулис в соседний салон и

сердито отослал главного камергера и дежурного адъютанта, последовавших за ним. Принцесса, со своей стороны, внезапно покинула спектакль. Проводив ее до большого кабинета, старшая статс-дама сделала глубокий реверанс и оставила мать и сына наедине. Нетрудно вообразить, какое волнение охватило весь двор, — подобные события делают придворный мирок весьма забавным. Час спустя принц отворил дверь кабинета и позвал герцогиню. Принцесса заливалась слезами, принц переменился в лице.

«Слабые люди, — думала герцогиня. — Они рассержены и не знают, на-кого бы излить свой гнев».

Сначала мать и сын наперебой сообщали герцогине всякие подробности. Она отвечала сдержанно и чрезвычайно уклончиво. Целых два часа три актера этой убийственно скучной сцены оставались в тех ролях, какие мы сейчас описали. Принц сам отправился за двумя огромными портфелями, которые Расси положил на его письменный стол. Выйдя из кабинета принцессы, он обнаружил, что в салоне его дожидается весь двор.

— Уходите, оставьте меня в покое! — крикнул он весьма резким тоном, до сих пор совершенно

несвойственным ему.

Принц не желал, чтобы видели, как он понесет портфели: монарх ничего не должен нести сам. Придворные мгновенно исчезли. На обратном пути ему попались только лакеи, тушившие свечи; он гневным окриком выгнал и лакеев и дежурного адъютанта, беднягу Фонтана, от избытка усердия имевшего бестактность остаться.

— Нынче вечером все как будто сговорились вывести меня из терпения, — угрюмо сказал он герцогине, вернувшись в кабинет.

Он считал ее очень умной женщиной и злился, что она упорно, с явной нарочитостью, не высказывает никакого мнения. А герцогиня твердо решила ничего не говорить, пока ее «прямо не попросят» высказаться. Прошло еще добрых полчаса, и, наконец, принц, поступившись своим самолюбием, решился сказать:

— Но, сударыня, почему же вы молчите?

— Моя обязанность служить принцессе и как можно скорее забывать то, что говорится при мне.

— Прекрасно, сударыня, — сказал принц, заливаясь румянцем. — Я вам приказываю высказать свое мнение.

— Преступления карают, для того чтобы они не

повторялись. Был ли покойный принц отравлен? Весьма сомнительно. Был ли он отравлен якобинцами? Расси очень хочется доказать это, ибо тогда он навсегда останется необходимым орудием для вашего высочества. Но в таком случае уже с самого начала вашего царствования вы можете ждать немало вечеров, подобных нынешнему. Все ваши подданные говорят — и это истинная правда, — что у вас доброе сердце; до тех пор пока вы не повесите какого-нибудь либерала, ваша репутация не изменится и уж, конечно, никому на мысль не придет отравить вас.

— Вывод совершенно ясен! — раздраженно воскликнула принцесса. — Вы не желаете, чтобы убийцы моего мужа понесли наказание.

— Очевидно, ваше высочество, меня соединяют с ними узы нежной дружбы.

По глазам принца герцогиня видела, что он убежден в ее готовности сообща с принцессой продиктовать ему план поведения. Но тут между двумя женщинами последовал довольно быстрый обмен колкостями, после чего герцогиня заявила, что больше не скажет ни слова. Она выполнила бы это намерение, однако принц, после долгого спора с матерью, снова потребовал, чтобы она высказала свое мнение.

— Клянусь, ваше высочество, что не сделаю этого.

— Полноте, перестаньте ребячиться! — воскликнул принц.

— Прошу вас высказаться, герцогиня, — сказала принцесса с видом оскорбленного достоинства.

— Умоляю, ваше высочество, избавьте меня от этого. Государь, — добавила герцогиня, повернувшись к принцу, — вы превосходно читаете по-французски. Чтобы успокоить волнение умов, не соблаговолите ли вы прочесть *нам* басню Лафонтена?

Принцесса сочла это *«нам»* большой дерзостью, но явно удивилась и заинтересовалась, когда ее старшая статс-дама совершенно спокойно открыла книжный шкаф, достала оттуда томик лафонтеновских басен, полистала его и, подавая принцу, сказала:

— Ваше высочество, умоляю, прочтите вслух вот эту басню. Но только всю, «до конца».

Садовник и его сеньор

Один любитель-садовод

В деревне жил — скорее как крестьянин,

Чем горожанин:

Имел он славный сад и огород,

А рядом — маленькое поле.

Живую изгородь он насадил кругом,

А в огороде том

Редиска, лук, салат росли на воле.

Чтоб подарить Марго букет в день именин,

Он посадил цветов, — рос у него жасмин...

Но вдруг пришла нежданная досада:

Проворный заяц на беду

Повадился гулять в его саду.

С проклятым зайцем нету слада! —

Стал жаловаться он владельцу этих мест —

Сеньору важному. — Он дочиста все съест!

Никак, не справлюсь с негодяем:

Все нипочем ему: и камни и силки...

Не заяц — а колдун!» — «Колдун? Вот пустяки!

Да будь он хоть сам черт — а мы его поймаем!»

«Когда?» — «Да завтра же! Откладывать к чему?»

И с самого утра явились все к нему.

«Сперва позавтракать — а там и за работу!

Каков-то вкус твоих цыплят?»

Покончив с завтраком, охотники шумят,

Торопятся начать охоту:

Рога и трубы, шум и звон…

Хозяин прямо оглушен.

Промчались… Огород в великом беспорядке:

Разрыт и вытоптан — прощайте, гряды, грядки,

Прощай, капуста и порей,

Прощай, из овощей

Похлебка!

Хозяин молвит робко:

«Забава барская, а мне-то каково?»

Никто не слушает его:

Собаки, егеря и слуги

За час один таких тут натворили бед,
Что не наделали б в сто лет
Все зайцы той округи!

Вы, мелкие князьки! Деритесь меж собой:
Расчет на королей — верх глупости людской!
К своей войне вы их не привлекайте,
И главное — в свои владенья не пускайте.

За чтением последовало долгое молчание. Принц нервно шагал по кабинету, собственноручно поставив книгу на прежнее ее место в шкафу.

— Ну что же, сударыня, соизволите вы, наконец, высказаться? — спросила принцесса.

— Конечно, нет, ваше высочество. Ничего не скажу, пока государь не назначит меня министром. Если я выражу свое мнение, я, пожалуй, потеряю звание старшей статс-дамы.

Вновь молчание на добрых четверть часа. И тут принцессе вспомнилось, какую роль играла некогда Мария Медичи, мать Людовика XIII, — в последнее время по распоряжению старшей

статс-дамы придворная лектриса ежедневно читала вслух превосходный труд Базена «История Людовика XIII». И принцесса, хоть и была очень разгневана, подумала, что герцогиня преспокойно может уехать из Пармы, а тогда Расси, внушавший ей непреодолимый страх, получит полную возможность разыгрывать роль Ришелье и добьется, чтобы сын изгнал мать. В эту минуту она отдала бы все на свете, лишь бы чем-нибудь унизить старшую статс-даму, но не смела это сделать. С натянутой улыбкой она встала с кресел и, подойдя к герцогине, взяла ее за руку:

— Ну, дорогая, докажите мне свою дружбу. Говорите!

— Хорошо! Вот мой совет в двух словах: сожгите тут, в камине, все бумажонки, собранные ядовитой ехидной Расси, и никогда не говорите ему, что они сожжены.

И она фамильярно шепнула на ухо принцессе:

— Расси может стать Ришелье!

— Но, черт побери, эти «бумажонки» стоят мне больше восьмидесяти тысяч франков! — сердито воскликнул принц.

— Государь, — ответила герцогиня с твердой решимостью, — видите, как дорого обходится служба негодяев «низкого происхождения». Дай

бог, чтобы вы потеряли миллион, но больше никогда не доверялись подлецам, из-за которых ваш отец не мог спать спокойно последние шесть лет своего царствования.

Слова «низкого происхождения» чрезвычайно обрадовали принцессу. Она находила, что граф и его подруга слишком большую цену придают уму — качеству, которое всегда сродни якобинскому вольномыслию.

На минуту наступило глубокое молчание; принцесса задумалась; в это время на дворцовой башне пробило три часа. Принцесса встала, сделала низкий реверанс сыну и сказала:

— Здоровье не позволяет мне продолжить это совещание. Гоните прочь министров низкого происхождения. Я убеждена, что ваш Расси украл половину тех денег, которые он выманил у вас на шпионство.

Принцесса вынула из канделябра две свечи, поставила их в камине, так чтобы они не погасли, затем, подойдя к сыну, сказала:

— Мораль этой басни Лафонтена побудила меня подавить в душе справедливое желание отомстить за моего супруга. Ваше высочество, угодно вам разрешить мне сжечь все эти кляузы?

Принц стоял неподвижно.

«Какое у него, право, глупое лицо, — подумала герцогиня. — Граф совершенно верно говорил, — ужаснейшая бесхарактерность. Разве покойный принц заставил бы нас не спать из-за всего этого до трех часов ночи?»

Принцесса, все еще стоя возле сына, добавила:

— Как возгордится этот ничтожный прокурор, если узнает, что из-за его лживых бумажек, сочиненных им только ради своей карьеры, две августейшие особы провели бессонную ночь.

Принц в бешенстве схватил один из принесенных портфелей и вытряхнул в камин все его содержимое. Груда бумаг едва не потушила свечи; кабинет наполнился дымом. Принцесса видела по глазам сына, что он уже готов схватить графин и, залив огонь, спасти бумаги, стоившие ему восемьдесят тысяч франков.

— Откройте окно, — раздраженно крикнула она герцогине.

Герцогиня поспешила выполнить приказание. Тотчас же все бумаги вспыхнули, в трубе сильно загудело, а вскоре стало ясно, что в ней загорелась сажа.

У принца была мелочная душа во всем, что касалось денег; он уже видел, как пылает его дворец и гибнут в огне пожара все собранные тут

сокровища; бросившись к окну, он изменившимся от страха голосом кликнул на помощь охрану. Солдаты гурьбой сбежались во двор; принц подошел к камину; тяга воздуха из открытого окна раздувала пламя, в трубе раздавалось поистине страшное гудение; принц растерянно смотрел на огонь, затем выругался, два-три раза обежал комнату и, наконец, выскочил из кабинета.

Принцесса и старшая статс-дама в глубоком молчании стояли друг против друга.

«Пройдет у него гнев? — думала герцогиня. — Впрочем, мне все это теперь безразлично. Дело сделано».

Она решила отвечать на упреки очень дерзко, но вдруг спохватилась, увидев, что второй портфель уцелел.

«Нет, дело сделано только наполовину». И она довольно холодно сказала принцессе:

— Ваше высочество, прикажете сжечь и остальные бумаги?

— А где же вы их сожжете? — ворчливо спросила принцесса.

— В другом камине — в вашей гостиной. Если бросать одну бумагу за другой, опасности никакой не будет.

Герцогиня взяла под мышку туго набитый

портфель и, вынув свечу из канделябра, вышла в соседнюю гостиную. Заглянув в портфель, она убедилась, что в нем лежат показания, и спрятала под шалью пять или шесть пачек этих документов, остальные же сожгла дотла и исчезла, не простившись с принцессой.

«Дерзость немалая, надо сознаться, — думала она усмехаясь. — Но из-за кривляний этой неутешной вдовы я могла сложить голову на плахе».

Услышав стук колес кареты, принцесса страшно разгневалась на свою старшую статс-даму.

Несмотря на поздний час герцогиня послала за графом; он был на пожаре во дворце, но вскоре приехал и сообщил, что все кончилось благополучно.

— А принц, право, проявил большое мужество, и я горячо высказал ему мое восхищение.

— Ознакомьтесь поскорее с этими показаниями, а затем надо немедленно их сжечь.

Граф прочел бумаги и побледнел.

— Ей-богу, они были очень близки к истине; дознание велось ловко. Они напали на след Ферранте Палла, а если он проговорится, мы окажемся в крайне затруднительном положении.

— Но он не проговорится, — воскликнула гер-

цогиня. — Это человек чести. Скорее, скорее сожжем бумаги!

— Подождите немного. Я, с вашего разрешения, запишу имена двенадцати — пятнадцати самых опасных свидетелей. Если Расси не угомонился, я позволю себе упрятать их подальше.

— Напоминаю вашему превосходительству, что принц дал слово ничего не говорить министру юстиции о нашем ночном приключении.

— И он сдержит слово — из малодушия, из боязни неприятных объяснений.

— А теперь скажу вам, друг мой, что эта ночь приблизила день нашей свадьбы. Я не хотела принести вам в приданое судебный процесс и заставить вас расплачиваться за грехи, совершенные мною не ради вас, а ради другого.

Граф был влюблен; взяв ее руку, он со слезами на глазах излил свои чувства.

— На прощанье дайте мне совет, как я должна вести себя с принцессой? Я совсем измучилась: час я играла комедию на сцене и целых пять часов — в кабинете.

— Своим дерзким отъездом из дворца вы уже достаточно отомстили принцессе за колкости, — впрочем, они показывают только ее слабость. Завтра держитесь обычного своего тона, каким

говорили сегодня утром. Расси еще не в тюрьме и не в ссылке; и мы с вами еще не разорвали на клочки приговор Фабрицио.

Не забывайте, вы требовали от принцессы твердого решения, а это всегда неприятно монархам и даже премьер-министрам, и, наконец, помните, что вы статс-дама принцессы, иными словами — ее служанка. Через три дня произойдет поворот, как это неизменно бывает у слабохарактерных людей, и Расси окажется в таком фаворе, в каком он еще никогда не бывал; он, конечно, постарается кого-нибудь повесить: ведь пока он не скомпрометировал принца, ему ни в чем нельзя быть уверенным. Нынче ночью на пожаре произошел несчастный случай: пострадал какой-то портной, проявивший, надо сказать, необычайную отвагу. Завтра я уговорю принца взять меня под руку и пойти со мною навестить этого портного; я буду вооружен до зубов и установлю наблюдение, но, впрочем, принц еще не вызвал ненависти к себе. Я хочу приучить его прогуливаться пешком по улицам — удружу этим Расси, моему несомненному преемнику. Ему-то ни в коем случае нельзя будет позволять принцу такие неосторожные поступки. Возвращаясь от портного, я поведу принца мимо памятника его

покойному отцу; он заметит на римской тоге, в которую дурак скульптор нарядил статую, следы от брошенных камней; и, право, у принца очень мало ума, если он сам, без подсказки, не придет к такому выводу: «Вот как невыгодно вешать якобинцев!»

На это я отвечу ему: «Надо их вешать десятками тысяч или не вешать ни одного. Варфоломеевская ночь уничтожила протестантов во Франции»[112].

Завтра, дорогой друг, перед этой прогулкой попросите доложить о себе принцу и скажите ему: «Прошлой ночью я исполняла при вас обязанности министра, я давала вам советы, повинуясь вашей воле, и навлекла на себя неудовольствие принцессы. Заплатите мне за это». Он нахмурится, ожидая просьбы о деньгах. Постарайтесь подольше не рассеивать неприятной ему догадки, а потом скажите: «Я прошу, ваше высочество, повелеть, чтобы Фабрицио судили с прениями сторон (то есть в присутствии обвиняемого) двенадцать самых уважаемых судей в вашем государстве!» И тут же, не теряя ни минуты, представьте ему на подпись небольшой указ,

[112] Примечания: 112

В ночь св. Варфоломея, 24 августа 1572 года, католиками была организована резня гугенотов.

написанный вашей прекрасной рукой, который я вам продиктую; я, конечно, вставлю в него пункт об отмене первоначального приговора. На это могло бы быть только одно возражение, но если вы рьяно возьметесь за дело, оно не придет принцу в голову. Он может вам сказать: «Фабрицио должен предварительно вернуться в крепость». Вы на это ответите: «Он вернется в городскую тюрьму» (а вы знаете, что я там полный хозяин, и каждый вечер ваш племянник будет приходить к вам в гости). Если принц возразит: «Нет, своим побегом он покрыл позором крепость и теперь для проформы должен вернуться в прежнюю камеру», вы, в свою очередь, возразите: «Нет, тогда он окажется во власти моего врага Расси», и по-женски, искусными намеками, на которые вы большая мастерица, дадите принцу понять, что для смягчения жестокосердого Расси вы готовы рассказать ему о ночном аутодафе[113], совершенном во дворце. Если принц заупрямится, заявите, что вы уезжаете на две недели в свою усадьбу Сакка.

Позовите Фабрицио и посоветуйтесь с ним. Этот шаг может снова привести его в тюрьму. Нужно

---

[113] Примечания: 113
Аутодафе — сожжение на костре по приговору инквизиции.

все предусмотреть: над мальчиком опять нависнут опасности, если Расси, потеряв терпение, велит отравить меня самого, когда посадит его за решетку. Но это мало вероятно: как вы знаете, повара я выписал себе из Франции, и он к тому же большой весельчак, сыплет каламбурами, а значит, не способен подсыпать отраву. Я уже говорил нашему Фабрицио, что разыскал всех свидетелей его честного и отважного поведения в поединке; совершенно бесспорно, что Джилетти намеревался его зарезать. Я до сих пор не говорил об этих свидетелях, желая сделать вам сюрприз. Но план мой не удался, — принц не захотел подписать указ. Я посулил Фабрицио сделать его большим сановником церкви, но мне будет очень трудно выполнить свое обещание, если враги выставят против него в Ватикане обвинение в убийстве.

Поймите, синьора, если мы не добьемся строго законного суда над ним, имя Джилетти всю жизнь будет доставлять ему неприятности. А когда человек вполне уверен в своей невиновности, уклоняться от суда — величайшее малодушие. Да и будь Фабрицио виновен, я все равно добился бы его оправдания. Как только я заговорил о суде, наш горячий юноша, не дав мне даже кончить, взял официальный справочник, и мы вместе вы-

брали двенадцать самых неподкупных и ученых судей. Мы составили список, а затем вычеркнули из него шестерых, решив заменить их юристами из числа личных моих врагов, — таких нашлось только два, и мы добавили к ним четырех мерзавцев, приспешников Расси.

Предложение графа вызвало у герцогини смертельную тревогу, не лишенную, конечно, оснований. Но, наконец, она уступила его доводам и написала под диктовку министра высочайший указ о назначении судей.

Граф ушел только в шесть часов утра; герцогиня попыталась уснуть, но не могла. В девять часов она позавтракала с Фабрицио и убедилась, что он горит желанием предстать перед судом; в десять часов она уже была у принцессы, но к ней никого не допускали; в одиннадцать часов она добилась приема у принца на утренней его аудиенции, и он без всяких возражений подписал указ. Герцогиня отослала этот документ графу и легла в постель.

Было бы, пожалуй, забавно описать бешенство, охватившее Расси, когда граф заставил его в присутствии принца скрепить своей подписью указ, подписанный утром, но события вынуждают нас спешить.

Граф подвергал обсуждению достоинства каждого судьи, предлагал заменить некоторые имена другими. Но читателя, вероятно, утомили все эти подробности судебной процедуры так же, как и придворные интриги. Из всего этого следует такая мораль: приблизившись ко двору, человек рискует лишиться счастья, если он был счастлив, и уж во всяком случае его будущее зависит от интриг какой-нибудь горничной.

С другой стороны, в республиканской Америке целый день приходится заниматься скучным делом: усердно угождать лавочникам и приноравливаться к их тупости. И там нет оперы.

Вечером, встав с постели, герцогиня страшно встревожилась: Фабрицио нигде не могли найти. Только в полночь, когда она была во дворце на спектакле, ей принесли от него письмо. Вместо того чтобы явиться в «городскую тюрьму», где граф был полновластным хозяином, он вернулся в крепость, в прежнюю свою камеру, радуясь близкому соседству с Клелией.

Этот шаг мог иметь страшные последствия: в крепости более чем когда-либо Фабрицио грозила смерть. Герцогиню привела в отчаяние такая сумасшедшая выходка, но она простила причину ее — безумную любовь к Клелии, так как через

несколько дней дочь коменданта должна была выйти замуж за богатого маркиза Крешенци. Безумство это вернуло Фабрицио всю его былую власть над душой герцогини.

«Он умрет из-за того, что я дала принцу подписать эту проклятую бумажку! Нелепые мужские понятия о чести! Разве можно думать о чести в странах самодержавия, в таких государствах, где всякие Расси состоят министрами юстиции! Нужно было просто-напросто ходатайствовать о помиловании, и принц с такою же легкостью подписал бы его, как этот указ о назначении чрезвычайного трибунала. В конце концов, что за важность для человека с таким именем, как у Фабрицио, если его будут более или менее справедливо обвинять в убийстве скомороха Джилетти, которого он собственноручно проткнул шпагой!»

Прочтя записку Фабрицио, герцогиня бросилась к графу. Он был очень бледен.

— Боже мой! Дорогой друг, я хотел помочь мальчику. Но у меня, видно, несчастливая рука. Вы опять будете гневаться. Я могу вам, однако, доказать, что вчера вечером вызвал к себе смотрителя городской тюрьмы. Ваш племянник мог бы каждый вечер приходить к вам на чашку чая.

Ужаснее всего, что ни вы, ни я не можем сказать принцу, как мы боимся отравы, которую, того и гляди, подсыплет Расси: такое подозрение покажется принцу величайшей безнравственностью. Разумеется, если вы пожелаете, я сию же минуту поеду во дворец, хотя заранее знаю, какой ответ услышу. Больше того, я вам предложу средство, к которому для себя лично я никогда бы не прибегнул. С тех пор как я получил власть в этой стране, я не лишил жизни ни одного человека; вы ведь знаете, в этом отношении я такой глупец, что до сих пор в сумерках мне вспоминаются два шпиона, которых я сгоряча приказал расстрелять в Испании. Ну вот, хотите я избавлю вас от Расси? Пока он жив, он постоянно будет держать Фабрицио под угрозой смерти, ибо для Расси это верное средство сбросить меня.

Предложение графа пришлось по душе герцогине, но она отвергла его.

— Нет, — сказала она графу, — я не хочу, чтобы под прекрасным небом Неаполя в нашем уединении вас по вечерам мучили черные мысли.

— Но, дорогой друг, нам, по-моему, остается только решить, какие черные мысли предпочесть? Что будет с вами, что будет со мной, если Фабрицио унесет болезнь?

На эту тему снова разгорелся живейший спор, и в заключение герцогиня сказала:

— Расси будет мне обязан жизнью: я люблю вас больше, чем Фабрицио, и не хочу, чтобы в старости, которую мы проведем с вами вместе, у вас были отравлены все вечера.

Герцогиня помчалась в крепость. Генерал Фабио Конти с наслаждением отказался впустить ее, сославшись на точные предписания военных законов: никто не имеет права проникнуть в государственную тюрьму без пропуска, подписанного самим принцем.

— Но маркиз Крешенци и его музыканты ежедневно бывают в крепости!

— Я имею на это разрешение его высочества.

Бедняжка герцогиня не догадывалась о самом ужасном. Генерал Фабио Конти считал бегство Фабрицио личным для себя оскорблением. Когда узник вернулся в крепость, комендант не имел права принять его, не получив на то распоряжения. «Ну нет, — решил он, — само небо послало его сюда, для того чтобы я восстановил свою честь и избавился от насмешек, которые могут погубить мою военную карьеру. Нельзя упустить такой случай: Фабрицио, несомненно, оправдают — в моем распоряжении лишь несколько дней,

чтобы отомстить за себя».

25

Узнав о возвращении нашего героя, Клелия пришла в отчаяние: благочестивая девушка не умела лукавить с собой и хорошо знала, что без Фабрицио ей не видать счастья, но ведь в тот день, когда генерала почти отравили, она дала обет мадонне принести себя в жертву отцу — выйти замуж за маркиза Крешенци. Она дала также обет никогда больше не видеть Фабрицио, и уже совесть жестоко упрекала бедняжку за то признание, которое она сделала в письме накануне его побега. Как же описать то, что произошло в ее опечаленном сердце, когда, уныло наблюдая за своими птицами, порхавшими в вольере, она по привычке подняла голову, взглянула с нежностью на окно, откуда узник когда-то смотрел на нее, и вдруг увидела Фабрицио: он с ласковой почтительностью поклонился ей.

Сперва она подумала, что это видение, посланное небом в наказание ей, затем вдруг поняла, что это страшная действительность. «Его поймали, — шептала она. — Он погибнет!» Ей вспомнилось все, что говорили в крепости после побега узника: самый последний сторож считал себя смертельно

оскорбленным. Клелия посмотрела на Фабрицио, и против ее воли этот взгляд изобразил всю ее любовь, все ее отчаяние.

«Ужели вы думаете, — казалось, говорила она Фабрицио, — что я найду счастье в том пышном дворце, который украшают для меня? Отец все твердит, что вы так же бедны, как и мы. Боже мой, с какою радостью я делила бы с вами бедность! Но, увы, нам больше нельзя видеться!»

У Клелии не было сил прибегнуть к алфавиту, она только смотрела на Фабрицио и вдруг, почувствовав себя дурно, упала на стул, стоявший у окна. Голова ее опустилась на подоконник, но лицо было обращено к Фабрицио, словно она хотела до последней минуты видеть любимого, и он мог вволю смотреть на нее. Через несколько минут она открыла глаза и сразу же устремила взгляд на Фабрицио; в глазах его она увидела слезы, но то были слезы величайшего счастья: он понял, что в разлуке Клелия не забыла его. Несчастные влюбленные некоторое время, словно зачарованные, смотрели друг на друга. Фабрицио осмелился запеть и, словно аккомпанируя себе на гитаре, импровизировал слова песни: «Я вернулся в тюрьму, чтобы вновь видеть вас. Скоро меня будут судить».

Слова эти как будто пробудили всю добродетель Клелии: она вскочила со стула и закрыла руками глаза; затем торопливыми жестами постаралась объяснить, что никогда больше не должна видеть его, — она обещала это мадонне и сегодня смотрела на него лишь в забывчивости. Фабрицио дерзнул снова выразить свою любовь. Тогда Клелия в негодовании убежала, давая себе клятву никогда больше не видеть его, — таковы были точные слова ее обета мадонне: «Мои глаза никогда больше не увидят его». Она написала их на листочке бумаги, и ее дядя, дон Чезаре, позволил ей сжечь за обедней этот листочек на алтаре, в минуту вознесения даров.

Но несмотря на все клятвы, появление Фабрицио в башне Фарнезе вернуло Клелию к прежнему ее образу жизни. Обычно она весь день проводила одна в своей комнате. Нежданно увидев Фабрицио и едва оправившись от смятения, она принялась бродить по всему дому и, так сказать, возобновила знакомство со всеми своими друзьями среди прислуги комендантского дворца. Болтливая старуха, судомойка на кухне, сказала ей с таинственным видом:

— Ну, теперь уж синьору Фабрицио не выйти из крепости.

— Он, конечно, не повторит прежней ошибки и не попытается вновь перелезть через стену, — ответила Клелия. — Он выйдет отсюда через ворота, когда его оправдают.

— Нет, ваша милость, уж я знаю, что говорю… Его вынесут из крепости ногами вперед.

Клелия побелела как полотно, старуха заметила это и сразу остановила поток своего красноречия. Она решила, что сделала большой промах, сказав такие слова дочери коменданта, которой придется всех убеждать, что Фабрицио умер от болезни. Поднимаясь к себе, Клелия встретила тюремного врача, честного, но робкого человека, и он с крайне испуганным видом сообщил ей, что Фабрицио сильно занемог. Клелия едва устояла на ногах; она побежала искать своего дядю, доброго дона Чезаре, и, наконец, нашла его в часовне: он горячо молился, и лицо у него было расстроенное. Позвонили к обеду. За столом братья не перемолвились ни единым словом. Только к концу обеда генерал обратился к брату с каким-то язвительным замечанием. Аббат взглянул на слуг, и они тотчас же вышли из комнаты.

— Генерал, — сказал дон Чезаре коменданту, — честь имею уведомить вас, что я покидаю крепость: я подаю в отставку.

— Браво! Брависсимо! Хотите навлечь на меня подозрения?.. А что вас тревожит здесь, разрешите спросить?

— Моя совесть.

— Ах, вот как! Вы просто святоша! Вы ничего не понимаете в делах чести.

«Фабрицио погиб, — думала Клелия. — Его отравили за обедом или отравят завтра».

Она побежала в вольеру, решив сесть за фортепиано и петь, аккомпанируя себе.

«Я исповедаюсь, — думала она, — и господь простит мне, что я нарушила свой обет, спасая человеческую жизнь».

Как же она была потрясена, когда, прибежав в вольеру, увидела, что оба окна Фабрицио вместо прежних щитов закрыты досками, прикрепленными к железным решеткам. Она остолбенела, потом, пытаясь предупредить узника, пропела, вернее выкрикнула, несколько слов. Ответа не последовало: в башне Фарнезе уже царила могильная тишина. «Все кончено...» — подумала Клелия. Как потерянная, сбежала она с лестницы, потом вернулась, взяла немного денег — все что у нее было, и свои бриллиантовые сережки; мимоходом достала из буфета хлеб, оставшийся от обеда: «Если он еще жив, мой долг спасти

его». С высокомерным видом подошла она к низкой двери башни; дверь не была заперта, но в нижней колонной зале стоял караул из восьми солдат. Клелия смело посмотрела на караульных, намереваясь поговорить с сержантом, их командиром; его не оказалось в зале. Клелия бросилась к винтовой железной лестнице, извивавшейся вокруг колонны. Солдаты смотрели на нее с тупым недоумением, но, вероятно, из-за ее шляпки и кружевной шали ничего не посмели сказать. Во втором этаже ей не встретилось ни души, а на третьем этаже, у входа в коридор, который вел в камеру Фабрицио и, как читатель, возможно, помнит, запирался тремя решетчатыми железными дверьми, она увидела незнакомого сторожа, который испуганно сказал ей:

— Он еще не обедал.

— Я знаю, — надменно ответила Клелия.

Сторож не дерзнул ее остановить. Но через двадцать шагов, на ступеньках деревянной лестницы, перед камерой Фабрицио, сидел другой тюремщик, красноносый старик, и он строгим тоном спросил:

— Пропуск от коменданта есть у вас, синьора?

— А вы разве не знаете меня?

В эту минуту Клелия была сама не своя, ее во-

одушевляла сверхъестественная сила. «Я должна спасти своего мужа», — думала она.

Старик тюремщик кричал:

— Не имею права… Не положено!..

Но Клелия уже взбежала по шести ступенькам и бросилась к двери; в замочной скважине торчал огромный ключ; напрягая все силы, она с трудом повернула его. Тут полупьяный тюремщик ухватил ее за край платья, она прыгнула в камеру, захлопнула дверь, оборвав платье, и, так как тюремщик толкал дверь, пытаясь войти вслед за нею, она нащупала рукой засов и задвинула его. Окинув взглядом камеру, она увидела, что Фабрицио сидит за маленьким столиком, на который поставили для него обед. Клелия подбежала к столику, опрокинула его и, схватив Фабрицио за руку, крикнула:

— Ты уже ел?

Это *ты* восхитило Фабрицио. В смятении Клелия впервые позабыла о девичьей сдержанности и не скрывала своей любви.

Фабрицио только что хотел приняться за свою роковую трапезу; он обнял Клелию и покрыл ее лицо поцелуями.

«Обед был отравлен, — думал он. — Если я скажу, что еще не притрагивался к нему, религия

снова возьмет верх, и Клелия убежит. Если же она будет думать, что я вот-вот умру, я умолю ее не покидать меня. Она и сама жаждет найти средство разорвать ненавистный ей брак; случай дает нам это средство. Сейчас сбегутся тюремщики, выломают двери, поднимется такой скандал, что, наверно, маркиз Крешенци испугается, и свадьба расстроится».

В краткую минуту молчания, когда Фабрицио занят был этими размышлениями, он почувствовал, что Клелия уже пытается высвободиться из его объятий.

— У меня еще нет болей, — сказал он, — но скоро они начнутся, и я упаду у ног твоих. Помоги мне умереть.

— О друг мой единственный! — воскликнула она. — Я умру вместе с тобою.

И она сжала его в объятиях с какой-то судорожной силой. Она была так прекрасна, полуодетая, охваченная глубокой страстью, что Фабрицио не мог бороться с движением чувств, почти безотчетным. Он не встретил никакого сопротивления.

В порыве страстного восторга и великодушия, следующего за мгновением блаженства, он неосторожно сказал ей:

— Я не хочу запятнать недостойной ложью первые минуты нашего счастья. Если б не твое мужество, я уже был бы сейчас трупом или бился бы в судорогах, умирая в жестоких мучениях. Но когда ты вошла, я только что сел за стол и еще не прикасался к кушаньям.

Фабрицио умышленно задерживался на этих страшных картинах, стремясь угасить огонь негодования, вспыхнувший в глазах Клелии. Она с минуту молча смотрела на него, раздираемая двумя противоположными, бурными чувствами, потом бросилась в его объятия.

В коридоре послышался сильный шум: с грохотом открывались и хлопали железные двери, чьи-то голоса громко говорили, кричали.

— Ах, будь у меня оружие! — воскликнул Фабрицио. — Но меня заставили сдать его, когда впустили в крепость. Сюда идут, хотят, наверно, прикончить меня. Прощай, Клелия! Благословляю смерть, она была причиной моего счастья.

Клелия поцеловала его и дала ему маленький стилет с рукояткой слоновой кости, клинок его был не длиннее перочинного ножа.

— Не поддавайся убийцам! — сказала она. — Защищайся до последней минуты. Если мой дядя, аббат, услышит шум, он спасет тебя, — он чело-

век мужественный и честный. Сейчас я поговорю с ними.

С этими словами Клелия бросилась к двери.

— Если тебя не убьют, — исступленно заговорила она, положив уже руку на засов, и повернулась к Фабрицио, — лучше умри от голода, но не притрагивайся к тюремной еде. Возьми вот этот хлеб. Держи его при себе.

Шум приближался. Фабрицио оттолкнул Клелию от порога, встал на ее место, потом яростно распахнул дверь и сбежал по деревянной лестнице. В руке он держал маленький кинжал Клелии и чуть было не проткнул им жилет генерала Фонтана, адъютанта принца, но тот отшатнулся и крикнул испуганно:

— Но я ведь пришел спасти вас, синьор дель Донго!

Фабрицио поднялся по шести ступенькам, громко сказал у двери в камеру: «Пришел Фонтана спасти меня». Потом снова сошел вниз и, стоя на лестнице, холодно объяснился с генералом. Он очень долго приносил извинения за свой необузданный порыв гнева.

— Но, видите ли, меня хотели отравить. Обед, который принесли мне сегодня, отравлен. У меня хватило догадливости не прикоснуться к нему.

Однако, должен вам признаться, такой поступок меня возмутил. Услышав, что кто-то поднимается по лестнице, я подумал, что меня хотят заколоть кинжалами… Господин генерал, прошу вас отдать распоряжение, чтобы никто не входил в мою камеру, иначе из нее унесут отравленные кушанья, а наш добрый государь должен узнать правду.

Генерал Фонтана, весь побледнев, растерянно отдал сопровождавшим его тюремным властям приказ, продиктованный Фабрицио. Испугавшись, что покушение раскрыто, тюремщики, толкая друг друга, торопливо стали спускаться вниз, как будто хотели освободить проход по узкой лестнице адъютанту его высочества, а на самом деле спешили удрать. К великому удивлению генерала Фонтана Фабрицио еще добрых четверть часа разговаривал с ним на винтовой лестнице, изгибавшейся вокруг колонны в нижней зале, — он хотел дать Клелии время спрятаться в комнатах второго этажа.

Генерала Фонтана послали в крепость по требованию герцогини; она добилась этого после многих отчаянных попыток и то лишь благодаря случайности. Расставшись с графом Моска, встревоженным не меньше ее самой, она броси-

лась во дворец. Принцессе было противно всякое проявление энергии, как несомненный признак вульгарности; она решила, что ее статс-дама помешалась, и не пожелала ради нее утруждать себя какими-то необыкновенными хлопотами. Герцогиня, совсем потеряв голову, горько плакала и только повторяла ежеминутно:

— Но, ваше высочество, через четверть часа Фабрицио отравят!..

Видя полнейшее хладнокровие принцессы, она обезумела от горя. Она отнюдь не сделала того морального вывода, к которому, несомненно, пришла бы женщина, воспитанная в правилах религии северных стран, требующих анализа своей совести: «Я первая прибегла к яду, и вот от яда погибаю». В Италии такого рода мысль в минуту страстного волнения показалась бы весьма плоской, как в Париже при подобных обстоятельствах показался бы пошлостью самый тонкий каламбур.

В отчаянии герцогиня смело пошла в гостиную, где находился маркиз Крешенци, дежуривший в тот день во дворце. По возвращении герцогини в Парму он горячо благодарил ее за свое назначение камергером, ибо без нее никогда не мог бы претендовать на эту честь. И тогда он, разумеется,

заверял ее в своей беспредельной преданности. Герцогиня подошла к нему и сказала следующее:

— Фабрицио снова в крепости. Расси хочет отравить его. Я дам вам сейчас бутылку с водой и шоколад. Положите их в карман. Умоляю вас, возвратите мне жизнь: поезжайте в крепость, скажите генералу Фабио Конти, что вы не женитесь на его дочери, если он не позволит вам самолично передать Фабрицио эту воду и шоколад.

Маркиз побледнел. Мольбы эти не только не воодушевили его, напротив, лицо его выразило самое жалкое смущение. «Помилуйте, — говорил он, — невозможно поверить, чтобы такое ужасное преступление совершилось в Парме, в столь нравственном городе, при столь великодушном государе» и так далее. И даже эти пошлые фразы он изрекал весьма медленно. Словом, перед герцогиней стоял человек, может быть и порядочный, но чрезвычайно малодушный и нерешительный. Промямлив двадцать подобных же фраз, прерываемых нетерпеливыми возгласами синьоры Сансеверина, он, наконец, нашел превосходную отговорку: присяга, которую он принял как камергер, запрещает ему участвовать в каких-либо действиях, направленных против правительства.

Невозможно представить себе мучительную тревогу и отчаяние герцогини, она чувствовала, что время летит.

— Ну хоть поговорите с комендантом, скажите ему, что я и в преисподней буду преследовать убийц нашего Фабрицио!..

Отчаяние увеличивало силу природного красноречия герцогини, но пламень этой души совсем перепугал маркиза, нерешительность его все возрастала: час спустя он был еще менее склонен действовать, чем в первую минуту.

Несчастная женщина дошла до предела отчаяния, и, отлично зная, что комендант ни в чем не отказал бы такому богатому зятю, она бросилась перед маркизом Крешенци на колени. Но от этого небывалого зрелища его малодушие как будто еще увеличилось, — ему стало страшно, что он невольно чем-то уже скомпрометировал себя. А вместе с тем нечто странное происходило в нем: он в сущности был не злым человеком, и его растрогало, что у его ног рыдает такая красивая и, главное, такая могущественная женщина. «Может быть, и мне самому, — думал он, — при всей моей знатности и богатстве придется в будущем валяться в ногах у какого-нибудь республиканца».

Маркиз прослезился, и в конце концов было решено, что герцогиня, воспользовавшись правами старшей статс-дамы, приведет его к принцессе и та разрешит ему переслать Фабрицио небольшую корзинку; коменданту же он заявит, что содержимое корзинки ему неизвестно.

Накануне вечером, еще до того как герцогиня узнала о безумном поступке Фабрицио, добровольно возвратившемся в крепость, при дворе играли комедию dell'arte и принц, всегда оставлявший за собою роли возлюбленного герцогини, вносил столько пыла в нежные излияния, что показался бы смешным, если б в Италии человек, охваченный страстью, да еще принц, мог когда-нибудь показаться смешным.

Принц, юноша робкий, но всегда серьезно относившийся к вопросам любви, встретил в одном из дворцовых коридоров герцогиню, которая за руку влекла к принцессе чрезвычайно растерянного маркиза Крешенци. Отчаяние, скорбь придавали старшей статс-даме какую-то необычайную, волнующую красоту, — принц был потрясен, ослеплен и впервые в жизни проявил твердость воли. Властным жестом он отослал маркиза Крешенци и по всем правилам объяснился герцогине в любви. Очевидно, он уже заранее подготовил

свою речь, так как многое в ней было весьма рассудительно.

— Мой сан, условности, связанные с ним, лишают меня величайшего счастья стать вашим супругом. Но я поклянусь на святых дарах никогда не жениться без вашего письменного согласия на это. Я прекрасно понимаю, — добавил он, — что из-за меня расстроится ваш брак с графом, человеком умным и весьма приятным. Но ведь ему пятьдесят шесть лет, а мне еще нет и двадцати двух. Я боюсь нанести вам оскорбление и услышать отказ, если упомяну о других преимуществах нашего союза, помимо сердечных чувств; но при моем дворе всякий, кто ценит деньги, восхищается доказательством любви, которое дал вам граф, предоставив в полное ваше распоряжение все свое состояние. Я с радостью последую его примеру и предоставлю в ваше распоряжение все суммы, которые по цивильному листу мои министры ежегодно вручают главноуправляющему дворцового ведомства. Вы лучше меня сумеете употребить мои богатства и сами будете решать, сколько мне можно расходовать на себя ежемесячно.

Все эти разъяснения показались герцогине слишком долгими, — опасность, угрожавшая

Фабрицио, разрывала ей сердце.

— Да неужели вы не знаете, государь, — воскликнула она, — что в эту минуту Фабрицио, может быть, умирает от яда в вашей крепости! Спасите его, и я всему поверю!

Фраза эта оказалась чрезвычайно неуместной. При одном лишь слове «яд» вся непосредственность, все чистосердечие бедного благонравного принца мгновенно исчезли. Герцогиня заметила свой промах, когда уже поздно было его исправить. И отчаяние ее возросло, хотя ей казалось, что это уже невозможно. «Не заговори я об отравлении, — думала она, — он выпустил бы Фабрицио на свободу... Фабрицио, дорогой мой! — мысленно добавила она, — видно, мне суждено погубить тебя своей опрометчивостью!»

Немало времени и кокетства понадобилось герцогине, чтобы вернуть принца к любовным излияниям, но он так и не оправился от испуга. В объяснении участвовал только его ум, а душа оцепенела от мысли о яде, а затем и от другой мысли, столь же досадной, насколько первая была страшна. «В моих владениях отравляют заключенных, а мне ничего об этом неизвестно! Расси хочет опозорить меня перед всей Европой! Бог весть, что я прочту через месяц в парижских

газетах!..»

И вдруг, когда душа этого робкого юноши совсем умолкла, ум его осенила идея.

— Дорогая герцогиня, вы знаете, как я привязан к вам. Я надеюсь, что ваши ужасные подозрения совершенно необоснованны, но они навели меня на некоторые мысли и заставили на мгновение почти позабыть о пламенной моей любви к вам, единственной и первой моей любви. Я чувствую, что я смешон. Кто я? Страстно влюбленный мальчик. Но подвергните меня испытанию.

Принц воодушевился, произнося эту речь.

— Спасите Фабрицио, и я всему поверю! Допустим, я заблуждаюсь, и материнское чувство вызывает во мне нелепые страхи. Но пошлите в крепость за Фабрицио. Дайте мне увидеть его, убедиться, что он еще жив. Отправьте его прямо из дворца в городскую тюрьму, и пусть он сидит там до суда, — целые месяцы, если так угодно вашему высочеству.

Герцогиня с ужасом увидела, что принц, вместо того чтобы сразу же удовлетворить такую простую просьбу, нахмурился и густо покраснел. Он посмотрел на нее, потом опустил глаза, и лицо его побледнело. Мысль о яде, неосторожно высказанная при нем, натолкнула его на мысль,

достойную его отца или Филиппа II, но он не решался выразить ее словами.

— Подождите, синьора, — сказал он весьма нелюбезным тоном, сделав над собою усилие. — Вы меня презираете. Для вас я только мальчик, и к тому же во мне нет ничего привлекательного. Ну что ж, я сейчас выскажу вам ужасную мысль, но ее внушила мне моя глубокая, искренняя страсть. Если б я хоть в самой малой степени поверил в возможность отравления, я немедленно вмешался бы, ибо так повелел бы мне долг. Но я вижу в вашей просьбе только плод пылкого воображения, и, позвольте мне сказать, я не совсем ее понимаю. Вы желаете, чтобы я отдал приказ, не посоветовавшись со своими министрами, хотя я царствую всего лишь три месяца. Вы требуете от меня решительного отступления от обычного порядка, который, признаться вам, я считаю весьма разумным. Синьора, вы здесь всевластная повелительница, вы подаете мне надежду на то, что для меня желаннее всего в мире. Но через час, когда у вас рассеется эта фантазия, это наваждение страха, мое общество станет для вас неприятным, и вы подвергнете меня опале, синьора. Так вот, дайте клятву, поклянитесь, синьора, что, если вам возвратят Фабрицио живым и невредимым,

вы через три месяца подарите мне блаженство любви. Вы наполните счастьем всю мою жизнь, если отдадите в мою власть один лишь час вашей жизни и всецело будете моею.

В это мгновение на дворцовой башне пробило два часа. «Ах, может быть, уже поздно!» — подумала герцогиня.

— Клянусь! — воскликнула она, взглянув на принца безумными глазами.

И сразу принц стал другим человеком. Он побежал на другой конец галереи, где была комната дежурных адъютантов.

— Генерал Фонтана, скачите во весь опор в крепость. Как можно быстрее поднимитесь в камеру, где содержится синьор дель Донго, и привезите его сюда. Через двадцать минут, а если возможно, через пятнадцать, он должен быть здесь. Я желаю поговорить с ним.

— Ах, генерал! — воскликнула герцогиня, входя вслед за принцем. — Одна минута может решить всю мою жизнь. Донесение, вероятно ложное, заставляет опасаться, что Фабрицио отравят. Крикните ему еще с лестницы, чтобы он ничего не ел. Если он уже начал обедать, дайте ему рвотного, скажите, что я требую этого; если понадобится, насильно заставьте его принять

лекарство. Скажите, что я еду вслед за вами. Поверьте, всю жизнь я буду у вас в неоплатном долгу.

— Герцогиня, лошадь моя под седлом, меня считают хорошим наездником, я помчусь во весь дух и буду в крепости на восемь минут раньше вас.

— А я, герцогиня, — воскликнул принц, — прошу вас уделить мне из этих восьми минут четыре.

Адъютант исчез; у этого человека было только одно достоинство — мастерское умение ездить верхом. Едва он притворил за собой дверь, как юный принц, видимо человек настойчивый, схватил герцогиню за руку.

— Прошу вас, синьора, — сказал он со страстью, — пойти со мной в часовню.

Растерявшись впервые в жизни, герцогиня молча последовала за ним. Оба они бегом пробежали по длинной дворцовой галерее: часовня находилась на другом ее конце. Войдя в часовню, принц опустился на колени, но скорее перед герцогиней, чем перед алтарем.

— Повторите вашу клятву, — сказал он страстно. — Если б вы были милосердны, если б тут не замешался мой злополучный сан, вы из сострадания к моей любви, быть может, подарили бы мне

то, к чему теперь вас обязала клятва.

— Если Фабрицио не отравили, если я увижу его живым и невредимым, если он будет жив и через неделю, если вы, ваше высочество, назначите его коадъютором и будущим преемником архиепископа Ландриани, я готова попрать свою честь, свое женское достоинство, все, что угодно, и буду принадлежать вашему высочеству.

— Но, «дорогой друг», — сказал принц, и в тоне его очень забавно сочетались нежность и страх, — я боюсь какой-нибудь еще непонятной мне уловки, которая погубит мое счастье. Мне не пережить этого. А вдруг архиепископ не согласится, выставит какое-нибудь возражение? Церковные дела тянутся годами! Что со мною будет тогда? Видите, я действую с открытым забралом. Неужели вы поступите со мной по-иезуитски?

— Нет, я говорю совершенно искренне: если Фабрицио будет спасен, если вы воспользуетесь всею своей властью, для того чтобы его назначили коадъютором и преемником архиепископа, я опозорю себя и буду вашей. Дайте слово, ваше высочество, начертать: *«Согласен»* — на полях прошения, которое монсиньор архиепископ подаст вам через неделю.

— Да я заранее напишу это на листе чистой бумаги. Царите, властвуйте надо мной и моим государством! — воскликнул принц, краснея от счастья и поистине потеряв голову.

Он еще раз заставил герцогиню поклясться. От волнения исчезла вся его природная робость, и в этой дворцовой часовне, где они были совсем одни, он шептал герцогине такие слова, которые в корне изменили бы ее представление о нем, услышь она все это тремя днями раньше. И отчаяние, мысли об опасности, нависшей над Фабрицио, уступили место ужасу перед вырванным у нее обещанием.

Герцогиня была потрясена. Что она наделала! Если она еще не до конца почувствовала всю чудовищность своей клятвы, то лишь потому, что внимание ее отвлекало другое: успеет ли генерал Фонтана вовремя прискакать в крепость.

Чтобы избавиться от безумного, страстного лепета этого мальчика и переменить разговор, она похвалила картину прославленного Пармиджанино, висевшую над алтарем часовни.

— Прошу вас, разрешите мне прислать вам ее, — сказал принц.

— Хорошо, — ответила герцогиня, — только позвольте мне поехать навстречу Фабрицио.

В каком-то исступлении приказала она кучеру пустить лошадей вскачь. На мосту, перекинутом через крепостной ров, она встретила генерала Фонтана и Фабрицио, пешком выходивших из ворот.

— Ты ел?

— Нет. Чудо спасло.

Герцогиня бросилась Фабрицио на грудь и вдруг упала в обморок, который продолжался целый час и вызвал опасения за ее жизнь, а затем — за ее рассудок.

Комендант Фабио Конти побледнел от злобы, увидев генерала Фонтана; он с крайней медлительностью выполнял приказ принца, и адъютант, полагавший, что герцогиня станет теперь всесильной фавориткой, в конце концов рассердился. Комендант намеревался продлить «болезнь» Фабрицио два-три дня. «А вот теперь, — думал он, — генерал, приближенный ко двору, увидит, как этот наглец корчится в муках, которыми я отомстил ему за побег…»

Фабио Конти понуро стоял в караульном помещении нижнего яруса башни Фарнезе, поспешив выслать оттуда солдат: он не желал, чтобы они были свидетелями предстоящей сцены. Но через пять минут он остолбенел от изумления, услы-

шав голос Фабрицио, увидев его самого живым и невредимым. Узник как ни в чем не бывало разговаривал с генералом Фонтана и описывал ему тюрьму. Комендант мгновенно исчез.

На аудиенции у принца Фабрицио показал себя настоящим джентльменом. Во-первых, он вовсе не желал походить на ребенка, испуганного пустячной опасностью. Принц благосклонно спросил, как он себя чувствует.

— Умираю от голода, ваше высочество, так как, по счастью, не завтракал и не обедал сегодня.

Почтительно выразив принцу благодарность, он попросил разрешения увидеться с архиепископом перед своим заключением в городскую тюрьму. Принц стоял весь бледный: в его ребяческую голову проникла, наконец, мысль, что отравление, возможно, вовсе не является химерой, созданной фантазией герцогини. Поглощенный этой неприятной мыслью, он сначала ничего не ответил на просьбу Фабрицио о свидании с архиепископом, затем спохватился и счел себя обязанным загладить свою рассеянность особой благосклонностью.

— Ступайте к нему, синьор. Можете ходить по улицам моей столицы без всякого конвоя. Вечером, часов в десять, в одиннадцать, явитесь в

тюрьму. Надеюсь, что вы там недолго пробудете.

Наутро после этого великого дня, самого значительного в его жизни, принц возомнил себя маленьким Наполеоном: он у кого-то читал, что этого великого человека дарили вниманием многие красавицы при его дворе. Итак, он уподобился Наполеону в любовных делах и, подобно ему, уже побывал под пулями. Сердце его было переполнено горделивым восторгом: сколько твердости он выказал в объяснении с герцогиней! Сознание, что он совершил нечто трудное, сделало его на две недели совсем другим человеком, он стал способен к смелым решениям, у него появились проблески воли.

В тот день он прежде всего сжег заготовленный рескрипт о пожаловании Расси графского титула, уже месяц лежавший у него на письменном столе. Он сместил Фабио Конти и приказал его преемнику, полковнику Ланге расследовать дело об отравлении. Ланге храбрый польский офицер, припугнул тюремщиков и вскоре доложил, что сперва хотели положить отраву в завтрак, приготовленный для синьора дель Донго, но при этом пришлось бы посвятить в дело слишком многих. С обедом все устроили более ловко, и, если б не появление генерала Фонтана, синьор

дель Донго погиб бы. Принц был удручен, но так как он действительно пылал любовью, то его утешила возможность сказать себе: «Оказывается, я действительно спас жизнь синьору дель Донго, и теперь герцогиня не посмеет нарушить свое слово». Затем ему пришла другая мысль: «Мои обязанности труднее, чем я думал; все находят, что герцогиня необыкновенно умна, стало быть, интересы политики совпадают с велениями сердца, и если б она согласилась стать моим премьер-министром, это было бы чудесно».

К вечеру принц был уже так возмущен открывшимся ему злодеянием, что не захотел участвовать в комедии dell'arte.

— Я буду бесконечно счастлив, — сказал он герцогине, — если вы пожелаете властвовать и в моем государстве и в моем сердце. Для начала я вам расскажу, что я сделал за этот день...

И он подробно рассказал ей все: как он сжег рескрипт о пожаловании Расси графского титула, как назначил Ланге, получил от него доклад об отравлении и т. д.

— У меня, конечно, очень мало опыта в управлении государством. Но граф всегда унижает меня своими шуточками, он шутит даже в совете министров, а в обществе высказывает обо мне

такое мнение, с которым, надеюсь, вы не согласитесь. Он говорит, что я ребенок, и будто бы он вертит мной, как хочет. Я — монарх, но все же я человек, сударыня, и такие слова оскорбляют меня. Чтобы опровергнуть выдумки графа Моска, меня убедили назначить министром этого опасного негодяя Расси. Генерал Конти все еще уверен в его могуществе и даже не смеет признаться, что именно Расси или Раверси велели ему умертвить вашего племянника. Мне очень хочется просто-напросто отдать под суд генерала Фабио Конти. Судьи разберутся, виновен ли он в попытке отравления.

— Но, государь, разве у вас есть судьи?

— Как так! — удивленно воскликнул принц.

— У вас есть ученые законоведы, которые выступают по улицам с весьма важным видом, но судить они всегда будут так, как это угодно партии, господствующей при дворе.

Принц возмутился и принялся изрекать высокопарные фразы, свидетельствовавшие больше о его простоте душевной, чем о проницательности, а герцогиня в это время думала:

«Стоит ли допустить, чтобы Конти опозорили! Нет, конечно, нет! Ведь тогда станет невозможен брак его дочери с трусливым педантом, маркизом

Крешенци».

На эту тему герцогиня и принц повели бесконечный диалог. Принц таял от восторга. Ради предстоящего брака синьорины Конти с маркизом Крешенци и только при этом условии, как принц гневно заявил бывшему коменданту, он простил ему попытку отравления Фабрицио, но, по совету герцогини, изгнал его из пределов государства до дня свадьбы Клелии.

Герцогине казалось, что она уже не любит Фабрицио прежней любовью, но она по-прежнему страстно желала, чтобы Клелия Конти стала женой маркиза: у нее была смутная надежда, что тогда Фабрицио постепенно позабудет ее.

Принц себя не помнил от счастья и хотел в тот же вечер с позором сместить Расси с поста министра. Герцогиня, засмеявшись, сказала:

— Известно ли вам изречение Наполеона? «Кто стоит высоко и у всех на виду, не должен позволять себе порывистых движений». Да и час уже поздний, отложим дела до завтра.

Она хотела выиграть время, чтобы посоветоваться с графом, и в тот же вечер передала ему весь свой диалог с принцем, умолчав лишь о частых намеках его высочества на обещание, омрачавшее всю ее жизнь. Герцогиня тешила

себя надеждой, что сумеет стать необходимой принцу, и добьется отсрочки на неопределенное время с помощью следующей угрозы: «Если у вас хватит варварской жестокости так унизить меня, я вам этого не прощу и на следующее же утро навсегда покину ваши владения».

На вопрос герцогини, как поступить с Расси, граф дал весьма философский ответ. Генерал Фабио Конти и Расси отправились путешествовать в Пьемонт.

На процессе Фабрицио возникли непредвиденные трудности: судьи единогласно хотели оправдать его на первом же заседании, без разбора дела. Графу пришлось прибегнуть к угрозам, для того чтобы процесс шел хотя бы неделю и судьи потрудились бы выслушать показания свидетелей. «Эти люди неисправимы», — подумал он.

На следующий день после своего оправдания Фабрицио дель Донго занял, наконец, пост главного викария при добросердечном архиепископе Ландриани. В тот же день принц подписал депешу, в которой испрашивалось назначение Фабрицио коадъютором и будущим преемником архиепископа, и меньше чем через два месяца он был утвержден в этом звании.

Все хвалили герцогине строгий облик ее племянника, а на самом деле Фабрицио был в отчаянии. На другой день после его освобождения из крепости, за которым тотчас последовало увольнение, затем высылка генерала Конти и высокие милости герцогине, Клелию приютила ее тетка, графиня Контарини, весьма богатая старуха, всецело поглощенная заботами о своем здоровье. Теперь Клелия могла бы встречаться с Фабрицио, но всякий, кто знал бы прежние их отношения, несомненно, решил бы, что вместе с опасностями, грозившими ее возлюбленному, исчезла и ее любовь к нему. Фабрицио очень часто, насколько позволяли приличия, проходил мимо дворца Контарини и, кроме того, ухитрился, после множества хлопот, снять маленькую квартирку против окон второго этажа этого дворца. Однажды Клелия неосторожно выглянула из окна, чтобы посмотреть на церковную процессию, проходившую по улице, и вдруг в ужасе отпрянула: она заметила Фабрицио. Весь в черном, одетый как бедный ремесленник, он смотрел на нее из окна жалкого домишки, где стекла заменяла промасленная бумага, как в его камере в башне Фарнезе. Фабрицио очень хотелось убедить себя, что Клелия избегает его

лишь потому, что молва приписывала влиянию герцогини опалу генерала Конти, но он слишком хорошо знал истинную причину этой отчужденности, и ничто не могло рассеять его печаль.

Он равнодушно принял и свое оправдание, и назначение на высокий пост, первый в его жизни, и свое завидное положение в свете, и, наконец, усердное ухаживание всех духовных лиц и всех ханжей пармской епархии. Красивые покои, которые он занимал во дворце Сансеверина, оказались теперь тесными для него. Герцогиня с большой радостью уступила ему весь третий этаж и две прекрасные гостиные во втором этаже, в которых теперь постоянно теснились люди, явившиеся на поклон к молодому коадъютору. Признание его будущим преемником архиепископа произвело огромное впечатление в стране; теперь Фабрицио восхваляли за твердость характера, хотя когда-то она так возмущала жалких тупиц и лизоблюдов.

Убедительным уроком философии было для Фабрицио то обстоятельство, что он совершенно безразлично относился ко всем этим почестям, и в своих покоях, где к услугам его было десять лакеев, носивших его ливрею, чувствовал себя куда несчастнее, чем в дощатой конуре башни

Фарнезе, где его стерегли гнусные тюремщики и где он постоянно должен был опасаться за свою жизнь. Мать и сестра, герцогиня В***, приехав в Парму полюбоваться на Фабрицио во всей его славе, были поражены его скорбным видом. Маркиза дель Донго, теперь самая неромантическая женщина, сильно встревожилась и решила, что в башне Фарнезе его отравили медленно действующим ядом. Несмотря на величайшую свою сдержанность, она сочла себя обязанной поговорить с ним о столь необычайном его унынии, и Фабрицио ответил ей только слезами.

Множество преимуществ, связанных с его блестящим положением, вызывали в нем лишь чувство досады. Его брат, тщеславная душа, разъедаемая самым низким эгоизмом, прислал поздравительное письмо, написанное почти официальным тоном, и приложил к своему посланию чек на пятьдесят тысяч франков, для того чтобы Фабрицио мог, как писал новоиспеченный маркиз, купить лошадей и карету, достойные имени дель Донго. Фабрицио отослал эти деньги младшей сестре, небогато жившей в замужестве.

По заказу графа Моска сделан был превосходный перевод на итальянский язык родословной фамилии Вальсерра дель Донго, некогда изданной

на латинском языке пармским архиепископом Фабрицио. Перевод выпустили в роскошном издании с параллельным латинским текстом и старинными гравюрами, великолепно воспроизведенными в парижских литографиях. По требованию герцогини, рядом с портретом первого архиепископа из рода дель Донго поместили прекрасный портрет Фабрицио. Перевод был издан в качестве произведения Фабрицио, над которым он трудился во время первого своего заточения. Но все угасло в нашем герое, даже тщеславие, свойственное человеческой натуре; он не соблаговолил прочесть ни одной страницы этого труда, приписываемого ему. Как полагалось по его положению в свете, он преподнес принцу экземпляр «Родословной» в богатом переплете, а принц счел своим долгом, в вознаграждение за опасность мучительной смерти, к которой Фабрицио был так близок, предоставить ему доступ в личные свои покои — милость, которая давала право именоваться «ваше превосходительство».

26

Лишь ненадолго Фабрицио оставляла глубокая печаль — лишь в те минуты, когда он бывал в квартире, снятой им против дворца Контарини, где, как нам известно, нашла приют Клелия, и смотрел на этот дворец в окно, в котором приказал заменить промасленную бумагу стеклом. Он видел Клелию всего несколько раз, с тех пор как вышел из крепости, и был удручен разительной переменою в ней, казалось ему, предвещавшей недоброе. После того как она согрешила, во всем ее облике появилось поистине замечательное, строгое благородство и серьезность; ей можно было дать лет тридцать. Фабрицио чувствовал, что столь удивительная перемена отражает какое-то твердое решение. «Каждый день она, должно быть, ежеминутно клянется себе, — думал он, — хранить верность своему обету мадонне и никогда больше не видеть меня».

Фабрицио только отчасти угадывал страдания Клелии; она знала, что отец ее в глубочайшей немилости, что он не может вернуться в Парму и появиться при дворе (без которого жизнь была для него невыносима) до дня ее свадьбы с мар-

кизом Крешенци; она написала отцу, что хочет этого брака. Генерал жил тогда в Турине и от горя совсем расхворался. Не удивительно, что такое важное и тяжкое решение состарило Клелию на десять лет.

Она быстро открыла, что Фабрицио снял помещение напротив дворца Контарини, но только один раз имела несчастье видеть его: стоило ей заметить человека, посадкой головы или фигурой напоминавшего Фабрицио, она тотчас закрывала глаза. Теперь единственным ее прибежищем была глубокая вера и надежда на помощь мадонны. К великой своей скорби, она потеряла уважение к отцу, будущий муж казался ей существом совершенно ничтожным, и по характеру и по чувствам — дюжинным царедворцем, и, наконец, она обожала человека, которого долг запрещал ей видеть, а он, однако, имел права на нее. Такое сочетание несчастий казалось ей горькой участью, и, надо признаться, что она была права. После свадьбы ей следовало бы уехать и жить где-нибудь далеко от Пармы.

Фабрицио известна была глубокая скромность Клелии, он знал, что всякий сумасбродный поступок, который вызовет насмешливые пересуды, если о нем проведают, будет ей неприятен. И

все же, дойдя до крайнего предела меланхолии, не в силах выносить, что Клелия всегда отворачивается от него, он дерзнул подкупить двух слуг ее тетки графини Контарини; и вот как-то вечером, переодевшись зажиточным крестьянином, он появился у подъезда дворца Контарини, где его поджидал один из этих подкупленных слуг. Фабрицио заявил, что приехал из Турина и привез Клелии письма от отца. Слуга отправился доложить о нем и провел его в огромную переднюю второго этажа. Фабрицио прождал там четверть часа, быть может самые тревожные в своей жизни. Если Клелия оттолкнет его, больше нет надежды на душевный покой. «Тогда надо разом покончить с томительными обязанностями моего сана, — я избавлю церковь от дурного священника и под вымышленным именем укроюсь в какой-нибудь обители». Наконец, слуга вернулся и сказал, что синьора Клелия согласна принять его. Все мужество вдруг покинуло нашего героя; он едва держался на ногах от страха, поднимаясь по лестнице на третий этаж.

Клелия сидела за маленьким столиком, на котором горела одинокая свеча. Несмотря на крестьянское платье, она сразу узнала Фабрицио, бросилась прочь от него и забилась в угол.

— Вот как вы заботитесь о спасении моей души! — воскликнула она, закрыв лицо руками. — Вы же знаете, что, в то время как мой отец чуть не погиб от яда, я дала мадонне обет никогда больше не видеть вас. Я нарушила этот обет только раз — в самый злосчастный день моей жизни, но ведь тогда по долгу человеколюбия я обязана была спасти вас от смерти. Достаточно того, что я готова пойти на преступную сделку со своей совестью и выслушать вас.

Последние слова так поразили Фабрицио, что он обрадовался им лишь через несколько мгновений: он ожидал бурного порыва гнева, боялся, что Клелия убежит из комнаты. Наконец, самообладание вернулось к нему, и он погасил горевшую свечу. Хотя ему казалось, что он хорошо понял скрытое указание Клелии, он весь дрожал, двигаясь в темноте к тому углу гостиной, где она притаилась за диваном. Не сочтет ли Клелия оскорблением, если он поцелует ей руку? Но она вся трепетала от любви и сама бросилась в его объятия.

— Фабрицио! Дорогой мой! Как долго ты не приходил! Я могу поговорить с тобою только одну минутку, да и это великий грех… Когда я дала обет мадонне больше не видеть тебя, я, конечно,

подразумевала, что и говорить с тобою никогда больше не буду. Но скажи, как ты мог с такой жестокостью преследовать моего бедного отца за его замысел отомстить тебе? Ты забыл, что его самого едва не отравили, чтоб облегчить тебе побег? А разве ты не должен был позаботиться немножко обо мне? Ведь я нисколько не боялась потерять свое доброе имя, лишь бы спасти тебя. А теперь вот ты навеки связан, ты принял сан и уже не можешь жениться на мне, даже если б я нашла средство прогнать этого мерзкого маркиза. И потом, как ты посмел в тот вечер, когда проходила процессия, смотреть на меня при ярком свете? Ты заставил меня самым вопиющим образом нарушить святой обет, который я дала мадонне!

Фабрицио крепко сжимал ее в объятиях, потеряв голову от изумления и счастья.

Им нужно было так много сказать друг другу, что эта беседа, конечно, не могла кончиться скоро. Фабрицио правдиво изложил все, что знал относительно изгнания отца Клелии: герцогиня была к этому совершенно не причастна и по весьма основательной причине, — она ни одной минуты не подозревала генерала Конти в самочинной попытке отравить Фабрицио, ибо всегда думала, что замысел этот исходит из лагеря Ра-

верси, задавшегося целью выжить графа Моска. Пространные доказательства этой важнейшей истины страшно обрадовали Клелию; ей было бы так горько ненавидеть кого-либо из близких Фабрицио. Она уже не смотрела на герцогиню ревнивым взором.

Счастье, которое принес этот вечер, длилось всего лишь несколько дней.

Из Турина приехал добрейший дон Чезаре и, почерпнув отвагу в безупречной чистоте сердца, решился побывать у герцогини. Взяв с нее слово не злоупотреблять признанием, которое она услышит от него, он рассказал, как его брат, ослепленный ложными понятиями о чести, полагая, что побегом из крепости Фабрицио нанес ему оскорбление и опозорил его во мнении общества, счел своим долгом отомстить беглецу.

Не успел он поговорить и двух минут, как уже полностью преуспел: герцогиню тронуло такое высокое душевное благородство, к которому она не привыкла при дворе. Дон Чезаре понравился ей, как новинка.

— Ускорьте свадьбу вашей племянницы с маркизом Крешенци, и я даю вам слово сделать все возможное, для того чтобы генерала встретили так, словно он вернулся из путешествия. Я при-

глашу его к себе на обед. Вы довольны? Вначале, разумеется, его ждет некоторая холодность, и пусть генерал не спешит ходатайствовать о восстановлении его в комендантской должности. Но вы знаете, что я дружески отношусь к маркизу, я нисколько не буду помнить зла его тестю.

Вооружившись таким обещанием, дон Чезаре пришел к племяннице и объявил, что в ее руках находится жизнь отца, заболевшего от тяжкого горя. Уже несколько месяцев он не имеет доступа в придворные сферы.

Клелия поехала навестить отца; генерал скрывался под чужим именем в деревне около Турина, вообразив, что пармский двор требует от туринских властей его выдачи, чтобы предать его суду. Клелия увидела, что он действительно болен и близок к помешательству. В тот же вечер она написала Фабрицио письмо, в котором навеки прощалась с ним. Получив это письмо, Фабрицио, постепенно уподоблявшийся характером своей возлюбленной, уехал в горы, за десять лье от Пармы, в уединенный Веллейский монастырь. Клелия написала письмо на десяти страницах; когда-то она поклялась Фабрицио не выходить без его согласия за маркиза Крешенци и теперь просила разрешить ей этот брак. Из веллейско-

го уединения Фабрицио ответил ей письмом, проникнутым самой чистой дружбой, и дал свое согласие.

Надо признаться, его дружеский тон разгневал Клелию, и, получив такой ответ, она сама назначила день свадьбы; празднества, сопровождавшие бракосочетание маркиза, усилили пышность, которой блистал в ту зиму пармский двор.

Ранунцио-Эрнесто V не отличался щедростью; но он был безумно влюблен и надеялся привязать герцогиню к своему двору, поэтому он попросил принцессу принять от него весьма крупную сумму на устройство празднеств. Статс-дама сумела превосходно употребить эту прибавку к бюджету: в ту зиму пармские празднества напоминали веселые дни миланского двора при любезном принце Евгении, вице-короле Италии, своей добротой оставившем в стране долгую память.

Обязанности коадъютора принудили Фабрицио возвратиться в Парму, но и тогда, ссылаясь на правила благочестия, он продолжал жить отшельником в тесных покоях, которые монсиньор Ландриани уговорил его занять во дворце архиепископа. Он заперся там с одним только слугой. Его ни разу не видели на блестящих

придворных празднествах, а поэтому в Парме и во всей своей будущей епархии он прослыл святым человеком. Затворничество его, вызванное лишь беспросветной, безнадежной тоской, имело неожиданные последствия: благодушный архиепископ Ландриани, всегда его любивший и действительно прочивший его в свои преемники, стал немного завидовать ему. Архиепископ не без оснований считал своей обязанностью бывать на всех придворных праздниках, как это водится в Италии. Он появлялся на них в пышной одежде, мало чем отличавшейся от его облачения во время церковной службы в соборе. Сотни слуг, теснившихся в дворцовой передней с колоннами, неизменно вставали с мест, подходили к нему под благословение, и монсиньор милостиво останавливался, чтобы благословить их. Но однажды в такую минуту он услышал, как кто-то сказал среди торжественной тишины:

— Наш архиепископ разъезжает по балам, а монсиньор дель Донго из своей комнаты не выходит.

С этого мгновенья кончилась беспредельная благосклонность к Фабрицио во дворце архиепископа, но у него уже окрепли и собственные крылья. Все его поведение, вызванное лишь

глубокой тоской после замужества Клелии, проистекало, по мнению людей, из высокого и скромного благочестия, и ханжи читали как нравоучительную книгу перевод его «Родословной», где сквозило самое необузданное тщеславие. Книгопродавцы выпустили литографию с его портрета, которую раскупили в несколько дней, и покупал главным образом простой народ; гравер по невежеству поместил вокруг портрета Фабрицио некоторые орнаменты, подобающие только епископам, а никак не коадъютору. Архиепископ увидел один из этих портретов и пришел в неистовую ярость; он призвал к себе Фабрицио и сделал ему резкое внушение, в запальчивости употребив несколько раз весьма грубые слова. Фабрицио, разумеется, не стоило никаких усилий повести себя так, как поступил бы Фенелон при подобных обстоятельствах. Он выслушал архиепископа с наивозможнейшим почтительным смирением и, когда, наконец, прелат умолк, рассказал ему всю историю перевода «Родословной», сделанного по заказу графа Моска еще во время первого заключения Фабрицио. «Родословная» эта издана в мирских целях, что всегда казалось ему недостойным служителя церкви. Что касается портрета, то тут он совершенно непричастен

— ни к первому, ни ко второму его изданию; когда книгопродавец, нарушив его уединение во дворце архиепископа, преподнес ему двадцать четыре экземпляра второго издания, он послал слугу купить двадцать пятый экземпляр и, узнав таким путем, что его портреты продаются по тридцать су, велел уплатить в лавку сто франков за двадцать четыре экземпляра, подаренные ему.

Все эти доводы, изложенные самым равнодушным тоном, каким может говорить человек, у которого на сердце совсем иные горести, довели разгневанного епископа до исступления, и он назвал Фабрицио лицемером.

«Мещане всегда верны себе, — подумал Фабрицио, — даже когда они наделены умом».

Его одолевали в эти дни заботы куда более серьезные. Герцогиня осаждала его письмами, требовала, чтобы он вернулся в прежние свои апартаменты во дворце Сансеверина или хотя бы изредка навещал ее. Но Фабрицио знал, что он, несомненно, услышит там рассказы о свадебных празднествах маркиза Крешенци, и не мог поручиться, что у него достанет сил вынести такие разговоры, не обнаружив своих страданий.

Когда состоялось венчание, Фабрицио на целую неделю погрузился в полное безмолвие, запретив

своему слуге и свите архиепископа, с которой ему приходилось иметь сношения, обращаться к нему хотя бы с одним словом.

Узнав об этом новом *кривлянье* своего викария, архиепископ чаще прежнего стал вызывать его к себе и вести с ним долгие беседы; он даже заставил его разбирать на приемах жалобы некоторых сельских каноников, считавших, что архиепископ нарушает их привилегии. Фабрицио относился ко всему этому с полнейшим безразличием, его поглощали другие мысли. «Лучше бы мне уйти в затворничество, — думал он, — я меньше страдал бы среди веллейских утесов».

Он навестил свою тетушку и, обнимая ее, не мог удержаться от слез. Она взглянула на него и тоже заплакала, — так он переменился, исхудал, такими огромными казались теперь его глаза на изможденном лице и такой несчастный, жалкий вид был у него в черной поношенной сутане заштатного священника; но через мгновенье, вспомнив, что такая перемена в красивом и молодом человеке вызвана замужеством Клелии, она запылала гневом, почти не уступавшим ярости архиепископа, но более искусно сумела скрыть свои чувства. У нее хватило жестокости пространно рассказать о некоторых живопис-

ных подробностях очаровательных праздников, устроенных маркизом Крешенци. Фабрицио слушал молча, только как-то судорожно щурил глаза и побледнел еще больше, хотя это казалось уже невозможным. В эти минуты острой душевной боли его бледность приняла зеленоватый оттенок.

Неожиданно пришел граф Моска, и это зрелище, показавшееся ему просто невероятным, совершенно излечило его от ревности, которую он все еще чувствовал к Фабрицио. С присущим ему умом и тактом он искусно завел разговор, всячески пытаясь пробудить в Фабрицио хоть слабый интерес к мирским делам. Граф всегда питал к нему уважение и даже дружескую приязнь, и теперь, когда ей не мешала ревность, она стала почти сердечной. «Дорого же он заплатил за свое блестящее положение», — думал граф, припоминая все бедствия Фабрицио. И как будто желая показать ему картину Пармиджанино, которую принц прислал герцогине, отвел его в сторону.

— Послушайте, друг мой, — сказал он, — поговорим как мужчины. Не могу ли я чем-нибудь помочь вам? Не бойтесь, я не буду ни о чем расспрашивать. Но, может быть, вам нужны деньги или понадобится мое влияние? Скажите толь-

ко, — я всецело в вашем распоряжении. А если вы предпочитаете высказаться в письме, напишите мне.

Фабрицио крепко поцеловал его и заговорил о картине.

— Ваше поведение, — сказал граф, возвращаясь к легкому светскому тону разговора, — образец самой тонкой политики. Вы готовите себе весьма приятное будущее. Принц вас уважает, народ вас чтит, архиепископу Ландриани не спится по ночам из-за вашей черной сутаны. У меня есть некоторый опыт в политике, но, ей-богу, ничего умнее этого я не мог бы вам посоветовать. В двадцать пять лет, с первых же шагов в свете, вы почти достигли совершенства. При дворе очень много говорят о вас — честь небывалая для человека в вашем возрасте. А знаете, что вам ее доставило? Ваша потертая черная сутана. Как вам известно, мы с герцогиней стали владетелями старинного дома Петрарки, приютившегося в сени лесов на живописном холме у берега По. Если вас утомит когда-нибудь видеть вокруг себя жалкие происки зависти, почему бы вам не стать преемником Петрарки? Его слава увеличит вашу славу.

Граф из сил выбивался, тщетно пытаясь вы-

звать улыбку у молодого отшельника. Перемена, совершившаяся с Фабрицио, поражала тем больше, что еще так недавно его красивое лицо портил совсем иной недостаток: порою очень некстати появлялось на нем выражение чувственной веселости.

На прощанье граф счел нужным сказать Фабрицио, что, несмотря на его затворничество, пожалуй, будет излишней аффектацией, если он не появится при дворе в ближайшую субботу, так как это день рождения принцессы. Слова эти, точно кинжалом, пронзили Фабрицио. «Господи, — подумал он, — и зачем только я пришел сюда!» Он не мог без трепета подумать о той встрече, которая, возможно, произойдет у него при дворе. Мысль эта вытеснила все остальные. Он решил, что единственный исход — явиться во дворец раньше всех, как только откроются двери парадных покоев.

Действительно, на торжественном приеме о монсиньоре дель Донго доложили одним из первых; принцесса приняла его чрезвычайно милостиво. Фабрицио не сводил глаз со стрелки часов и, когда она показала двадцатую минуту его визита, встал, собираясь удалиться. И вдруг вошел принц. Принеся ему почтительные по-

здравления, Фабрицио через несколько минут искусным маневром приблизился к выходной двери, но тут, на его несчастье, произошло одно из тех мелких придворных событий, которые так мастерски умела подстраивать старшая статс-дама: дежурный камергер догнал его и уведомил, что он назначен одним из партнеров принца за карточным столом. В Парме это считается несказанной честью, совершенно несоразмерной с положением в свете, которое дает звание коадъютора. Играть в вист с принцем — великая честь даже для архиепископа. От слов камергера у Фабрицио сжалось сердце, и хотя ему до смерти претили всякие публичные сцены, он уже готов был пойти и отказаться, заявив, что у него внезапно началось головокружение. Его остановила лишь мысль, что придется выдержать расспросы, соболезнования, еще более нестерпимые для него, чем игра в вист. В тот день всякий разговор был ему пыткой.

По счастью, среди именитых особ, явившихся на поклон к принцессе, оказался и настоятель ордена миноритов. Этот весьма ученый монах,

достойный соперник Фонтана и Дювуазека[114], стоял в дальнем углу залы; Фабрицио подошел к нему и, повернувшись спиной к двери, заговорил с ним на богословские темы. Но все же это не помешало ему услышать, как доложили о маркизе Крешенци с супругой. Фабрицио, против его ожидания, охватил бурный порыв гнева:

«Будь я Борсо Вальсерра (это был один из полководцев первого Сфорца), я бы заколол этого увальня маркиза тем самым стилетом с рукояткой слоновой кости, который дала мне Клелия в день моего счастья. И поделом ему будет, пусть не появляется со своей маркизой там, где я нахожусь!»

Лицо его так исказилось, что настоятель миноритов спросил:

— Вам нездоровится, ваше преосвященство?

— У меня безумная головная боль... От яркого света мне стало хуже... А уйти я не могу, потому что меня назначили партнером принца за карточным столом.

Эта честь так ошеломила настоятеля миноритов, буржуа по происхождению, что, не находя

[114] Примечания: 114

Фонтана, Франческо (1750–1782) — итальянский монах, политический деятель и автор книг по истории церкви. Дювуазек, Жан-Батист (1744–1813) — епископ г. Нанта, автор многих богословских сочинений.

слов, он принялся только отвешивать поклоны Фабрицио, а тот, взволнованный совсем иными чувствами, стал вдруг удивительно разговорчив. Он заметил, что в зале настала глубокая тишина, но не решался обернуться; потом застучали смычком по пюпитру, раздались звуки ритурнели, и прославленная певица, синьора П., запела знаменитую когда-то арию Чимарозы: «Quelle pupille tenere!»[115]

Первые такты Фабрицио крепился, но вскоре весь его гнев исчез, и он почувствовал, что сейчас заплачет. «Боже правый! — думал он. — Какая будет глупая сцена! Да еще на мне эта сутана!» Он счел самым благоразумным заговорить с настоятелем миноритов о своем здоровье.

— У меня бывают нестерпимые головные боли, а когда я перемогаюсь, как сегодня например, то в конце концов у меня слезы льются из глаз. Это крайне неудобно при нашем с вами положении и может дать пищу злословию. Прошу вас, ваше преподобие, выручите меня. Разрешите, я буду смотреть только на вас, а вы на мои слезы не обращайте никакого внимания.

---

[115] Примечания: 115

Чимароза, Доменико (1749–1801) — итальянский композитор, автор оперы «Тайный брак», содержащей арию («Quellepupille tenere» («Эти нежные питомицы»).

— Отец-провинциал нашего ордена в Катанцаро подвержен такому же недугу, — заметил настоятель миноритов и принялся вполголоса рассказывать длинную историю.

Забавные подробности этой нелепой истории, в которой фигурировали вечерние трапезы отца-провинциала, вызвали у Фабрицио улыбку, чего с ним уже давно не бывало, но вскоре он перестал слушать настоятеля миноритов. Синьора П. вдохновенно пела арию Перголезе[116] (принцесса любила старомодную музыку). В трех шагах от Фабрицио послышался легкий стук; он обернулся впервые за весь вечер: в кресле, которое только что передвинули по паркету, сидела маркиза Крешенци; глаза ее, полные слез, встретились с глазами Фабрицио, они тоже были влажны. Маркиза опустила голову; Фабрицио смотрел на нее несколько мгновений, как будто впервые видел эту головку, убранную бриллиантами, но взгляд его выражал гнев и презрение. Затем он повторил мысленно: «Но глаза мои больше тебя не увидят» и, повернувшись к отцу-настоятелю, сказал:

— Никогда еще так мучительно не болела у меня голова!

---

[116] Примечания: 116

Перголезе, Джованни Баттиста (1710–1736) — известный итальянский композитор.

И действительно, больше получаса он плакал горькими слезами. По счастью, заиграли симфонию Моцарта и, как это зачастую случается в Италии, изуродовали ее, что помогло Фабрицио осушить слезы.

Теперь он держался стойко и не смотрел на маркизу Крешенци. Но вот вновь запела синьора П., и душа Фабрицио, омытая слезами, обрела великое успокоение. Жизнь представилась ему в новом свете. «Как это я возомнил, что в силах буду так скоро и навсегда забыть ее? — думал он. — Да разве это возможно?» Затем он пришел к такой мысли: «Можно ли страдать сильнее, чем я страдал за последние два месяца? А раз уж ничто не усилит моих мук, зачем лишать себя радости глядеть на нее? Она забыла свои клятвы, она непостоянна, — что ж, все женщины таковы. Но дивной ее красоты у нее не отнять. Какие глаза! От их взгляда я весь трепещу от восторга, а в других женщинах, в самых хваленых красавицах, я ничего не нахожу и даже не хочу смотреть на них! Ну, почему мне не отдаться очарованию? Хоть минуту отдохнуть душой».

Фабрицио уже немного знал людей, но не имел никакого опыта в страстях, иначе он убедил бы себя, что, уступив искушению минутной радости,

он сделает напрасными свои двухмесячные усилия забыть Клелию.

Бедняжка маркиза появилась на этом приеме только по требованию мужа; через полчаса она уже пожелала удалиться, ссылаясь на недомогание, но маркиз заявил, что будет просто неприлично велеть, чтоб подали карету, и уехать, когда к подъезду только еще прибывают экипажи. Это не только нарушение придворного этикета, но может быть истолковано как косвенная критика празднества, устроенного принцессой.

— По долгу старшего камергера, — добавил маркиз, — я обязан находиться в зале и быть в распоряжении принцессы до тех пор, пока все не разъедутся. Возможно и даже несомненно, мне придется отдавать различные приказания слугам, — они так небрежны. Уж не хотите ли вы, чтоб эту честь я уступил простому шталмейстеру принцессы?

Клелия подчинилась; она не заметила Фабрицио и все еще надеялась, что он не придет на этот праздник. Но перед самым концертом, когда принцесса разрешила дамам сесть, Клелия, не отличавшаяся проворством в таких делах, упустила все лучшие места возле принцессы, их захватили другие, а ей пришлось устроиться в

дальнем углу залы, где укрылся Фабрицио. Когда она подошла к креслу, ее внимание привлек настоятель отцов-миноритов, одетый в костюм весьма необычайный для такого места; собеседника его, высокого, худого человека в скромной черной одежде, она сперва и не заметила; но все же какое-то тайное движение чувств притягивало к нему ее взгляд. «Все здесь в мундирах и в золотом шитье. Кто же этот человек в скромной черной сутане?» Она внимательно, пристально смотрела на него, но тут ей пришлось подвинуть свое кресло, чтобы пропустить какую-то даму. Фабрицио обернулся; она не узнала его, — так он изменился. Сначала она подумала: «Как этот человек похож на него, должно быть его старший брат; но я думала, что он только на несколько лет старше, а этому господину лет сорок». И вдруг она узнала его по движению губ.

«Бедный! Сколько он выстрадал!» — подумала она и опустила голову, но лишь от глубокой скорби, а вовсе не ради верности своему обету. Сердце ее раздирала жалость. Таким он не был даже после девятимесячного заточения в крепости! Она больше не поворачивала к нему головы и как будто не смотрела на него, но видела каждое его движение. Она видела, что после концерта он

подошел к карточному столу, поставленному для принца в нескольких шагах от трона, и ей стало легче, когда Фабрицио оказался далеко от нее.

Но маркиз Крешенци был уязвлен, что его жена сидит где-то в углу, вдали от трона; весь вечер он убеждал даму, занимавшую третье от принцессы кресло, жену своего должника, что ей надлежит поменяться с маркизой местами. Бедняжка, понятно, не соглашалась; тогда он разыскал ее мужа, и тот заставил свою супругу покориться печальному голосу благоразумия. Маркиз добился, наконец, желанного для него обмена и пошел за женой.

— Вы всегда чересчур скромны, — сказал он ей. — Почему вы идете, потупив глаза? Вас, чего доброго, примут за одну из тех мещанок, которые сами удивляются, что попали сюда, и на которых все смотрят с удивлением. А все наша сумасбродка, старшая статс-дама! Это ее фокусы! Извольте после этого бороться с распространением якобинства! Не забывайте, пожалуйста, что ваш муж занимает первое место среди придворных чинов принцессы; а если бы республиканцам когда-нибудь и удалось уничтожить двор и даже аристократию, я все-таки останусь первым богачом в государстве. Вы до сих пор не можете

понять это!

Кресло, в которое маркиз с удовольствием усадил свою жену, находилось в шести шагах от карточного стола принца. Клелия могла видеть Фабрицио только в профиль и все же нашла, что он так исхудал и, главное, кажется таким безучастным ко всему происходящему в этом мире — он, у которого малейшее событие встречало отклик, — что в конце концов пришла к ужасному выводу: Фабрицио совершенно переменился, совсем позабыл ее, а причина его страшной изможденности — строгие посты, которые он из благочестия налагал на себя. Это печальное заключение подтверждали и разговоры ее соседей, ибо имя коадъютора было у всех на устах: такой молодой человек и вдруг приглашен партнером принца. За что ему оказана эта высокая честь? Всех удивляло учтивое равнодушие и высокомерный вид, с каким он сбрасывал карты, даже когда брал взятки у самого принца.

— Нет, это просто невероятно! — восклицали старые царедворцы. — Тетушка его в фаворе, так он уж мнит себя выше всех. Но даст бог, долго это не протянется, наш государь не любит, чтобы перед ним важничали.

Герцогиня подошла к карточному столику.

Придворные держались на почтительном расстоянии и могли слышать только обрывки разговора, но заметили, что Фабрицио вдруг залился румянцем.

— Должно быть, тетушка прочла ему нотацию, чтоб он держал себя скромнее, — решили они.

А в действительности Фабрицио услышал голос Клелии: она что-то отвечала принцессе, которая, обходя залу, удостоила разговором супругу своего камергера.

Наступила минута, когда в висте партнеры меняются местами, и Фабрицио пришлось сесть напротив Клелии; несколько раз он в упоении смотрел на нее. Бедняжка маркиза, чувствуя его взгляд, совсем растерялась. Забыв о своем обете, она то и дело поднимала на него глаза, пытаясь разгадать, что творится в его сердце.

Наконец, принц кончил партию; дамы встали, и все направились в другую залу, где был сервирован ужин. Произошло некоторое замешательство, и в это время Фабрицио оказался совсем близко от Клелии. Он все еще был полон мужественной стойкости, но вдруг услышал тонкий запах ее духов, и все его спасительные намерения рухнули. Он подошел к ней и, словно разговаривая сам с собою, тихо произнес две строки сонета

Петрарки, напечатанного на шелковом платочке, который он прислал ей с Лаго-Маджоре: «Как был я счастлив в дни, когда считала чернь меня несчастным, и как же изменилась теперь моя судьба!»

«Нет, вовсе он не забыл меня! — восторженно думала Клелия. — Непостоянства не может быть в такой прекрасной душе».

Но никогда вам не видать во мне измены,

Прекрасные глаза, наставники любви.

Клелия осмелилась повторить про себя две эти строки Петрарки.

Принцесса удалилась тотчас после ужина; принц, проводив ее, больше не появился в парадных залах. Как только стало известно, что он не вернется, начался разъезд. В передних поднялась ужасная суматоха. Клелия очутилась рядом с Фабрицио; глубокое страдание, отражавшееся в чертах его лица, внушало ей жалость.

— Забудем прошлое, — сказала она, — сохраните вот это, как память о *дружбе*.

И она положила свой веер так, чтобы он мог взять его.

Все вдруг изменилось в глазах Фабрицио, в одно

мгновение он стал другим человеком; на следующий же день он объявил, что его затворничество кончилось, и вернулся в великолепные покои во дворце Сансеверина. Архиепископ и говорил и думал, что от милости принца, пригласившего Фабрицио партнером к своему карточному столу, у этого новоявленного святого совсем уж закружилась голова; герцогиня же догадалась, что он помирился с Клелией. Эта мысль примешалась к непрестанным мучительным воспоминаниям о роковой клятве, и она окончательно решила уехать. Все удивлялись такому сумасбродству. Как! Удалиться от двора, когда ей явно оказывают там беспредельные милости!

Граф, чувствуя себя счастливейшим человеком, с тех пор как убедился, что между Фабрицио и герцогиней нет любовной близости, сказал своей подруге:

— Наш новый государь — воплощение добродетели, но я назвал его *ребенком.* Разве он когда-нибудь простит мне это? Я вижу только одно средство истинного примирения: нам надо расстаться. Я буду с ним необыкновенно любезен и почтителен, а затем уйду в отставку по болезни. Поскольку карьера Фабрицио обеспечена, вы, конечно, разрешите мне это. Но согласитесь

ли вы принести великую жертву, — добавил он смеясь, — променять титул герцогини на другой, менее высокий? Для забавы я оставлю все дела в невообразимом беспорядке; у меня в различных моих министерствах было человек пять толковых и трудолюбивых чиновников; два месяца назад я перевел их на пенсию за то, что они читали французские газеты, и посадил на их место круглых дураков. После нашего отъезда принц окажется в безвыходном положении, и, невзирая на весь ужас, какой внушает ему фигура Расси, несомненно, вынужден будет вернуть его. Итак, по первому же слову тирана, повелевающего моей судьбой, я напишу самое дружеское, умилительное письмо нашему приятелю Расси и уведомлю его, что у меня есть полное основание надеяться на его скорое и вполне заслуженное возвышение.

27

Этот серьезный разговор произошел на следующий день после возвращения Фабрицио во дворец Сансеверина: герцогиня не в силах была примириться с радостью, сквозившей в каждом движении Фабрицио. «Значит, — думала она, — эта молоденькая ханжа обманула меня! Она и трех месяцев не могла противиться своему возлюбленному!»

Юному принцу, крайне малодушному по натуре, уверенность в счастливой развязке придала храбрости в его любовных домогательствах. Он узнал о приготовлениях к отъезду во дворце Сансеверина, а его камердинер, француз, очень мало веривший в добродетель знатных дам, убеждал его быть с герцогиней посмелее. Эрнесто V позволил себе поступок, который сурово осудили и принцесса и все благомыслящие люди при его дворе: народ же увидел в этом доказательство августейших милостей, оказываемых герцогине. Принц приехал к ней запросто.

— Вы уезжаете? — сказал он строгим тоном, глубоко возмутившим герцогиню. — Вы уезжаете! Вы решили обмануть меня и нарушить свою

клятву! А между тем, стоило мне только десять минут помедлить с той милостью, которой вы просили для Фабрицио, его уже не было бы в живых. Вы сделали меня несчастным и уезжаете? Если б не ваша клятва, я никогда не осмелился бы так полюбить вас. Для вас не существует слова!

— Поразмыслите обо всем зрело, государь. Было ли в вашей жизни еще такое счастливое время, как эти последние четыре месяца? Никогда еще вы не пользовались такой высокой славой, как монарх и, смею думать, такими радостями, как человек. Я предлагаю вам договор; если вы соблаговолите принять его, я не буду вашей любовницей на краткое мгновенье и лишь в силу клятвы, вырванной у меня в минуту страха, но зато каждую минуту своей жизни я посвящу заботам о ваших радостях. Я буду такой же, как все эти четыре месяца, и, может быть, нашу дружбу впоследствии увенчает любовь. Я не присягну, что это немыслимо.

— А если так, — восторженно воскликнул принц, — возьмите на себя другую, более высокую роль. Властвуйте надо мною и над моим государством, будьте моим премьер-министром. Я предлагаю вам морганатический брак, единственно доступный нам из-за досадных требова-

ний моего сана. За примерами недалеко ходить: король Неаполитанский только что женился на герцогине Паргана. Я предлагаю вам такой же брак, — это все, что я могу сделать. И сейчас я вам докажу, что я не ребенок и обо всем подумал, даже о печальных политических последствиях. Я готов быть последним монархом нашей династии и еще при жизни с грустью увидеть, как великие державы делят мое наследство. Но я не стану хвастаться такой жертвой, я благословляю эти весьма чувствительные неприятности, потому что они дают мне лишнюю возможность доказать мое уважение к вам, мою страстную любовь.

Герцогиня не колебалась ни минуты: с принцем ей было скучно, а графа она считала приятнейшим спутником; во всем мире существовал только один человек, которого она предпочла бы ему. К тому же она повелевала графом, а принц, в силу своего сана, более или менее повелевал бы ею. И вдобавок он мог оказаться непостоянным и завести любовницу: через несколько лет разница в возрасте, пожалуй, дала бы ему на это право.

Перспектива скуки решила вопрос в первое же мгновенье, но герцогиня из учтивости попросила разрешения подумать.

Слишком долго было бы передавать здесь бес-

конечно любезные, граничащие с нежностью слова и выражения, в которые она облекла свой отказ. Принца охватил гнев. Он видел, что счастье ускользает от него. Что делать, если герцогиня покинет его двор? И как унизительно сознавать, что его отвергли! «Что скажет француз-камердинер, когда услышит от меня о моем поражении».

Однако герцогине удалось успокоить принца и постепенно повести переговоры в прежнем направлении.

— Если вы, ваше высочество, милостиво согласитесь освободить меня от моего рокового обещания, ужасного в моих глазах, ибо, исполнив его, я сама стану презирать себя, я навсегда останусь при вашем дворе, и он будет таким же, как всю эту зиму. Каждое мгновение моей жизни будет посвящено заботам о вашей славе монарха и вашем счастье, как человека. Если же вы принудите меня выполнить клятву, опозорить себя до конца моих дней, — тотчас же, как это совершится, я навсегда покину ваше государство. В тот день, когда я потеряю честь, вы увидите меня в последний раз.

Но принц отличался упрямством, свойственным малодушным людям, да и гордость его, монаршья и мужская гордость, была уязвлена

отказом от брака с ним, — ведь он предвидел все трудности, какие пришлось бы ему преодолеть, чтобы в высоких сферах признали этот брак, и тем не менее твердо решил победить их.

Три часа подряд обе стороны приводили все одни и те же аргументы и в запальчивости обменивались иногда довольно резкими словами. Наконец, принц воскликнул:

— Итак, надо признать, что у вас нет чувства чести! Если б в тот день, когда генерал Фабио Конти вздумал отравить Фабрицио, я медлил бы так же, как вы, теперь вам пришлось бы заняться сооружением гробницы вашему племяннику в одной из пармских церквей.

— Только не пармских! В стране отравителей? Ни за что!

— Ах, так… Уезжайте же, герцогиня! — гневно воскликнул принц. — Я буду презирать вас.

Принц направился к двери. Герцогиня сказала упавшим голосом:

— Хорошо. Приходите к десяти часам вечера. В строжайшей тайне. Но как вы сами себя обманете в этой сделке! Вы увидите меня в последний раз. А ведь я всю жизнь посвятила бы вам, и вы были бы счастливы, насколько может быть счастлив неограниченный самодержец в век якобинства. И

еще подумайте, во что превратится ваш двор, когда я уеду и некому будет насильно вытаскивать его из болота присущей ему пошлости и злобы.

— А вы, со своей стороны, подумайте, что вы отказываетесь от короны и даже больше чем от короны… Ведь вы не были бы одной из тех обыкновенных принцесс, на которых женятся из соображений политики, нисколько их не любя. Вы властительница моего сердца и навеки были бы повелительницей моих действий и моего государства.

— Да, но ваша матушка имела бы право презирать меня как низкую интриганку.

— Ну и пусть презирает. Я назначу матушке содержание и вышлю ее из Пармы.

Еще три четверти часа они обменивались обидными репликами. Принц по своей душевной мягкости не решался ни воспользоваться своим правом, ни предоставить герцогине свободу. Он слышал, что важно любой ценой одержать победу, а там уж женщина покорится.

Герцогиня в негодовании прогнала его. В десять часов без трех минут он явился, дрожащий и жалкий. В половине одиннадцатого герцогиня села в карету и отправилась в Болонью. Выехав из владений принца, она тотчас написала графу:

«Жертва принесена. В течение месяца вы не найдете во мне веселья. Я больше не увижу Фабрицио. Жду вас в Болонье. Я согласна стать графиней Моска, как только вы этого пожелаете. Прошу вас только об одном: никогда не уговаривайте меня вернуться в страну, которую я покинула. И помните, что вместо ста пятидесяти тысяч дохода у нас будет только тридцать, самое большее сорок тысяч. Прежде дураки смотрели на вас, разинув рот, а теперь они станут вас уважать лишь в том случае, если вы унизитесь до понимания их жалких мыслишек. Смотрите, — своя воля, своя доля!»

Через неделю они повенчались в Перуджии — в той церкви, где были похоронены предки графа. Принц был в отчаянии. Он три-четыре раза посылал к герцогине курьеров; она возвращала все его письма нераспечатанными, только вкладывала их в новый конверт. Эрнесто V щедро наградил графа Моска, а Фабрицио пожаловал высшей орден своего государства.

— Это мне больше всего понравилось в нашем прощании, — сказал граф новой графине Моска

делла Ровере. — Мы расстались лучшими в мире друзьями. Он пожаловал мне большой крест испанского ордена и бриллианты, не менее ценные, чем сам орден. Он сказал, что сделал бы меня герцогом, но хочет приберечь это средство, чтобы вернуть вас в свои владения. Мне поручено объявить вам от его имени (приятное для мужа поручение!), что, если вы соблаговолите вернуться в Парму хотя бы на один только месяц, я получу титул герцога и любую фамилию по вашему выбору, а вам пожалуют прекрасное поместье.

Герцогиня отвергла все это с отвращением.

После встречи с Фабрицио на придворном балу и, казалось бы решительных слов, произнесенных там, Клелия словно и не вспоминала о любви, на которую как будто отозвалась на миг; бурное раскаяние терзало эту чистую и благочестивую душу. Фабрицио прекрасно понял это, но как ни старался тешить себя надеждами, мрачная тоска овладела им. Но на этот раз горе не привело его к затворничеству, как после свадьбы Клелии.

Граф просил «своего племянника» подробно сообщать ему обо всем, что делается при дворе, и Фабрицио, уже начинавший понимать, чем он обязан графу, дал себе слово добросовестно выполнить эту просьбу.

Так же как весь город и двор, Фабрицио нисколько не сомневался, что его друг намерен вернуться на прежний свой пост и получить такую власть, какой еще у него не было. Предвидения графа оправдались: меньше чем через полтора месяца после его отъезда Расси стал премьер-министром, Фабио Конти военным министром, и тюрьмы, которые при графе почти опустели, вновь были переполнены. Поставив этих людей у власти, принц полагал, что он мстит герцогине: он безумствовал от любви и ненавидел графа Моска, главным образом как соперника.

У Фабрицио было много дел; монсиньору Ландриани уже исполнилось семьдесят два года, здоровье его ослабело, и он почти не выходил из своего дворца; коадъютору приходилось заменять архиепископа почти во всех его обязанностях.

Маркиза Крешенци, измученная раскаянием и запуганная духовником, нашла удачное средство не показываться Фабрицио на глаза. Воспользовавшись, как предлогом, первой своей беременностью, близившейся к концу, она стала добровольной пленницей в своем дворце. Но к дворцу примыкал огромный сад. Фабрицио проник туда и разложил на ее любимой аллее

букеты, так подобрав цветы, чтоб язык их был понятен ей, как делала это прежде Клелия, посылая ему каждый вечер букеты в последние дни его заточения в башне Фарнезе.

Маркизу разгневала его выходка, душой ее владели попеременно то раскаяние, то страстная любовь. Несколько месяцев она ни разу не позволила себе выйти в сад и даже взглянуть на него из окна.

Фабрицио казалось теперь, что они разлучились навеки, и уже отчаяние овладевало им. Светское общество, где ему поневоле приходилось бывать, смертельно ему наскучило, и, не будь он втайне убежден, что без министерского поста графу жизнь не в жизнь, он вновь уединился бы в прежних своих тесных покоях во дворце архиепископа. Как хорошо было бы всецело отдаться там своим мыслям и слышать голоса людей только в часы служебных обязанностей. «Нет, — говорил он себе. — Я обязан заботиться об интересах графа и графини Моска. Никто меня в этом заменить не может».

Принц по-прежнему отличал его своим вниманием, дававшим ему видное положение при дворе, и этой благосклонностью Фабрицио в большой мере был обязан самому себе. Его крайняя

сдержанность, проистекавшая из глубокого равнодушия и даже отвращения к мелким суетным страстям, наполняющим человеческую жизнь, импонировала тщеславию принца, и он часто говорил, что Фабрицио так же умен, как его тетушка. Простодушный принц лишь наполовину угадывал истину: вокруг него не было людей в таком душевном состоянии, как Фабрицио. Даже придворная чернь не могла не заметить, что уважение, каким пользовался Фабрицио, не соответствует его скромному званию коадъютора и намного превосходит почтительность принца к самому архиепископу. Фабрицио писал графу, что если когда-нибудь принц поумнеет и заметит, как запутали государственные дела Расси, Фабио Конти, Дзурла и другие, им подобные, он, Фабрицио, окажется посредником, через которого принц может, не унижая своего самолюбия, начать переговоры.

«Если б не роковые слова „этот ребенок“, — писал он графине Моска, — которыми один даровитый человек обидел августейшую особу, эта августейшая особа уже давно бы воскликнула: „Возвращайтесь поскорее и прогоните всех этих проходимцев!“ Уже и сегодня графа с восторгом призвали бы обратно, если б его супруга удосто-

ила сделать для этого хоть малейший шаг; но гораздо лучше будет выждать, когда плод созреет, когда широко распахнутся для встречи парадные двери. Кстати сказать, в салоне принцессы смертельная скука; единственное развлечение — Расси, помешавшийся на аристократизме, с тех пор как получил графский титул. Теперь дано строжайшее распоряжение, чтобы люди, не имеющие грамот о потомственном дворянстве в восьми поколениях, больше „не смели бы являться“ на вечера принцессы (так и написано в указе). Все лица, имевшие доступ в главную галерею, чтобы приветствовать принца, когда он по утрам идет к обедне, сохраняют эту привилегию. Но все вновь представляющиеся ко двору должны иметь грамоты о восьмом поколении, и остряки по этому поводу говорят, что, видно, Расси из поколения безграмотных».

Читатель, конечно, понимает, что такие письма никак нельзя было доверить почте.

Графиня Моска отвечала из Неаполя:

> «У нас по четвергам концерты, а по воскресеньям к нам съезжаются просто побеседовать; в гостиных наших невозможно пошевельнуться. Граф в восторге

от своих раскопок; тратит он на них тысячу франков в месяц, а недавно выписал землекопов из Абруцских гор, которые берут с него только двадцать три су в день. Когда же ты приедешь навестить нас? Двадцать пятый раз зову тебя, неблагодарный!»

Фабрицио вовсе не собирался приезжать: даже письма, которые он ежедневно писал графу или графине, и те уж казались ему тяжкой повинностью. Читатели простят ему, когда узнают, что он целый год не мог обменяться с маркизой Крешенци ни единым словом. Все его попытки завязать хоть какие-нибудь отношения были отвергнуты с ужасом. Жизнь опостылела Фабрицио; повсюду и всегда, кроме часов служебных обязанностей и приемов при дворе, он не раскрывал рта, и это строгое безмолвие, а также нравственная чистота его жизни внушили такое чрезмерное почтение к нему, что он, наконец, решил последовать совету своей тетушки.

«Принц преисполнился таким необычайным почтением к тебе, — писала она, — что вскоре жди немилости. Он будет подчеркнуто невнимателен к тебе, а за монаршим пренебрежением

немедленно последует глубочайшее презрение царедворцев. Мелкие деспоты, даже если они и порядочные люди, переменчивы, словно мода, и причина все та же: скука! У тебя есть только одно средство против прихотей самодержца — проповеди. Ты так славно импровизируешь стихи! Попробуй поговорить полчаса о религии. Поначалу ты, наверно, наскажешь всяких ересей. Заплати какому-нибудь ученому и неболтливому богослову, пусть он присутствует на твоих проповедях и указывает тебе твои ошибки; на другой день ты будешь их исправлять».

Когда человека терзают муки неразделенной любви, то всякое занятие, требующее внимания и каких-то усилий, кажется ему невыносимой обузой. Но Фабрицио убедил себя, что если он приобретет влияние на народ, это когда-нибудь может пойти на пользу его тетке и графу, которого он уважал с каждым днем все больше, то и дело сталкиваясь в своих занятиях с проявлениями человеческой злобы. Он решился произнести проповедь и имел небывалый успех, подогретый его изможденным видом и поношенной сутаной. Слушатели нашли, что от его речей веет благоуханием чистой, глубокой печали, а в сочетании с его обаятельным обликом и рассказами о вы-

соких милостях, которые ему оказывали при дворе, это пленило все женские сердца. Дамы сочинили легенду, будто он один из храбрейших офицеров наполеоновской армии. И вскоре такая нелепая выдумка уже ни в ком не вызывала сомнений. Люди заранее заказывали себе место в тех церквах, где назначались его проповеди; нищие забирались туда с коммерческими целями в пять часов утра.

Успех Фабрицио был так велик, что в конце концов натолкнул его на мысль, от которой он воспрянул духом: быть может, маркиза Крешенци просто из любопытства когда-нибудь придет послушать его проповедь. И вдруг восхищенные слушатели заметили, что его талант как будто расправил крылья. В минуту волнения он позволял себе такие смелые образы, которых убоялись бы самые искушенные ораторы; в самозабвенном порыве вдохновения он так захватывал свою аудиторию, что вся она рыдала навзрыд. Но тщетно его горящий взгляд искал среди многих, многих глаз, обращенных к кафедре проповедника, глаза той, чье появление было бы для него великим событием.

«Да если мне и выпадет когда-нибудь это счастье, — думал он, — я или в обморок упаду, или

не в силах буду говорить». Чтобы предотвратить вторую из этих неприятностей, он сочинил нечто вроде молитвы, и во время проповеди листок с нежными и страстными ее строками всегда находился на табурете рядом с ним; он решил прочесть этот отрывок, если при виде маркизы Крешенци вдруг растеряет все слова.

Однажды он узнал от слуг маркизы, подкупленных им, что дано распоряжение приготовить ложу Крешенци в оперном театре. Маркиза уже год не бывала ни на одном спектакле. Она нарушила свои привычки, чтобы послушать знаменитого тенора, производившего фурор, — из-за него ежедневно зал бывал переполнен. Первым чувством Фабрицио была бурная радость. «Наконец-то мне можно будет смотреть на нее целый вечер! Говорят, она теперь очень бледна». И он старался представить себе, каким стало ее прекрасное лицо, на котором от душевной борьбы поблекли прежние кражи.

Его друг Лодовико, изумляясь такому безумству, как он говорил, после больших хлопот достал для своего господина ложу в четвертом ярусе, почти против ложи маркизы. И вдруг Фабрицио пришла новая мысль: «Я должен внушить ей желание послушать мою проповедь. Но надо выбрать

маленькую церковь, где мне будет хорошо ее видно». Обычно Фабрицио назначал свои проповеди на три часа дня. Но в тот день, когда маркиза собралась в театр, он утром велел известить, что обязанности коадъютора задержат его в архиепископском дворце, и против обыкновения проповедь состоится в половине девятого вечера в маленькой церкви Санта-Мария монастыря визитантинок, — она находилась как раз против бокового крыла дворца Крешенци. Лодовико принес монахиням-визитантинкам от имени Фабрицио огромную охапку свечей и попросил поярче осветить всю церковь. Для наблюдения за порядком прибыла целая рота гвардейцев-гренадеров, и перед каждой часовней, в защиту от воров, стоял солдат с примкнутым к ружью штыком.

Несмотря на извещение, что проповедь начнется в половине девятого, народ набился в церковь уже с двух часов; представьте себе, какой шум поднялся на тихой улице, где высилось величавое здание дворца Крешенци. Фабрицио предупредил, что в честь «заступницы всех скорбящих» он будет говорить о сострадании, которое каждая милосердная душа должна питать к скорбящему человеку, хотя бы и большому грешнику.

Фабрицио, весьма искусно переодетый, пробрался в свою ложу, как только открыли двери театра и еще не зажигали в нем огней. Спектакль начался около восьми часов, и через несколько минут Фабрицио изведал радость, которую может понять лишь тот, кто сам пережил подобные мгновения: он увидел, что дверь в ложу Крешенци отворилась и вскоре в нее вошла маркиза; Фабрицио не видел ее так близко с того вечера, когда она подарила ему свой веер. Ему казалось, что он задохнется от радости. Сердце его так колотилось, что он думал: «Может быть, я умру сейчас? Какой дивный конец столь унылой жизни!.. А может быть, упаду без чувств в этой ложе; верующие в церкви визитантинок так и не увидят меня нынче, а завтра узнают, что их будущего архиепископа нашли без сознания в ложе оперного театра, да еще переодетого в лакейскую ливрею! Прощай тогда моя репутация! А зачем она мне, эта репутация?»

Все же в девять без четверти Фабрицио заставил себя уйти. Он покинул свою ложу четвертого яруса и, еле волоча ноги, дошел пешком до того места, где должен был сбросить ливрейный фрак и одеться более подобающим образом. В церкви он появился только в девять часов и такой

бледный, такой ослабевший, что среди богомольцев пронесся слух, будто г-н коадъютор в этот вечер не в силах произнести проповедь. Легко представить себе, как засуетились вокруг него монашенки за решеткой внутренней монастырской приемной, куда он укрылся. Они сокрушались так многословно, что Фабрицио попросил оставить его на несколько минут одного. Затем торопливо прошел к кафедре. В три часа дня один из его подчиненных сообщил ему, что церковь Санта-Мария полным-полна, но набился туда главным образом простой народ, очевидно, привлеченный торжественным освещением. Взойдя на кафедру, Фабрицио был приятно удивлен, увидев, что все стулья заняты светскими молодыми людьми и самыми знатными особами.

Он начал свою проповедь с извинений, и каждую его фразу встречали восторженным гулом. Затем он перешел к пламенному описанию страданий некоего несчастного, призывая пожалеть его во имя мадонны, заступницы всех скорбящих, приявшей столько мук на земле. Оратор был крайне взволнован и порою не мог произносить слова достаточно громко, чтобы его слышали во всех уголках даже этой маленькой церкви. А бледность его была столь страдальческой, что всем

женщинам, да и большинству мужчин, он сам казался мучеником, которого нужно пожалеть.

Уже через несколько минут после его извинений и начала речи все заметили, что с г-ном коадъютором творится что-то необычайное, и печаль его как будто еще глубже и нежнее, чем обычно. И вдруг слезы заблестели у него на глазах. Слушатели мгновенно разразились такими неистовыми рыданиями, что проповедь пришлось прервать.

Вслед за этим проповедника прерывали еще раз десять криками восхищения, громким плачем, возгласами: «Ах, пресвятая мадонна!» «Ах, боже великий!» Всю эту избранную публику обуревало такое неодолимое, заражающее волнение, что никто не стыдился своих выкриков, и люди, предававшиеся шумному экстазу, не казались соседям смешными.

Во время краткого отдыха, какой по обычаю позволяет себе проповедник в середине своего слова, Фабрицио рассказали, что в театре на спектакле почти никого не осталось; из дам одна только маркиза Крешенци еще сидит в своей ложе. И вдруг в церкви поднялся сильный шум: это верующие голосовали предложение воздвигнуть статую г-ну коадъютору. Вторая часть проповеди

имела бешеный успех, носивший столь светский характер, и стоны христианского сокрушения сменились такими буйными криками мирского восторга, что проповедник, сойдя с кафедры, счел себя обязанным пожурить своих слушателей. Тотчас же все разом, необычайно согласно и дружно, двинулись к выходу, а на улице все принялись неистово аплодировать и кричать «Evviva del Dongo!»[117].

Фабрицио торопливо взглянул на часы и бросился к решетчатому окну, прорезанному в узком проходе от органа к внутренним монастырским помещениям. Из учтивого внимания к огромной, небывалой толпе, запрудившей всю улицу, швейцар во дворце Крешенци вставил дюжину зажженных факелов в железные скобы, выступавшие из стен этого средневекового строения. Через несколько минут, в самый разгар восторженных кликов, произошло событие, которого так страстно ждал Фабрицио: в конце улицы показалась карета маркизы, возвращавшейся из театра; кучер вынужден был остановить лошадей, и только шагом, раздвигая толпу окриками, ему удалось проехать к воротам дворца.

---

[117] Примечания: 117
Да здравствует дель Донго! (*итал.*).

Маркиза, как это естественно для всякой несчастной души, была растрогана чудесной музыкой, но еще больше взволновалась она, узнав, почему вдруг опустела зрительная зала. В середине второго акта, когда на сцене был сам дивный тенор, люди стали убегать даже из партера, решив попытать счастья и как-нибудь проникнуть в церковь визитантинок. Когда же толпа преградила ей дорогу к подъезду дворца, маркиза залилась слезами: «Я не ошиблась в выборе!» — мысленно говорила она.

Но именно из-за этой минуты умиления она твердо противилась уговорам маркиза и всех друзей дома, не постигавших, почему она не хочет послушать такого изумительного проповедника. «Вы только подумайте! — говорили ей. — Ведь он превзошел успехом лучшего в Италии тенора!»

«Если я его увижу, — я погибла!» — думала маркиза.

Напрасно Фабрицио, талант которого с каждым днем, казалось, блистал все ярче, еще несколько раз читал проповедь в той же самой маленькой церкви, по соседству с дворцом Крешенци, — он ни разу не увидал там Клелии; в конце концов она даже рассердилась на его преследования: мало того, что он изгнал ее из сада, он еще нарушает

покой ее тихой улицы.

Окидывая быстрым взглядом своих слушательниц, Фабрицио уже довольно давно заметил среди них очень милое смуглое личико с огненными глазами. Эти дивные глаза обычно проливали слезы уже с восьмой или десятой фразы его проповеди. Когда Фабрицио приходилось говорить что-нибудь длинное и скучное для него, он охотно отдыхал взглядом на этой головке, привлекавшей его своей юностью. Он узнал, что молодую смуглянку зовут Анина Марини, что она единственная дочь и наследница богатейшего пармского купца-суконщика, умершего несколько месяцев назад.

Вскоре имя Анины Марини, дочери суконщика, было у всех на устах: она с ума сходила по Фабрицио. Ко времени его знаменитых проповедей она была помолвлена с Джакомо Расси, старшим сыном министра юстиции, и он даже нравился ей. Но раза два послушав проповедь монсиньора Фабрицио, она вдруг заявила, что не пойдет ни за кого, а когда ее спросили о причине такой странной перемены, она сказала, что недостойно честной девушки выходить замуж за одного, если она безумно любит другого.

Родные сперва тщетно пытались узнать, кто

этот «другой». Но горькие слезы, которые Анина проливала, слушая проповедника, навели ее дядей и мать на правильный путь, и они спросили, уж не влюбилась ли она в монсиньора Фабрицио. Анина смело ответила, что не станет унижать себя ложью, раз истина открыта, и добавила, что, не имея никакой надежды выйти замуж за обожаемого человека, она хочет по крайней мере, чтобы взгляд ее не оскорбляла глупая физиономия contina Расси. Через два дня смешное положение, в котором оказался сын человека, внушавшего зависть всей буржуазии, стало темой пересудов всего города. Находили, что Анина Марини ответила превосходно, и все повторяли ее слова. Во дворце Крешенци говорили об этом, как и везде.

В гостиной Клелия ни словом не коснулась этой темы, но расспросила свою горничную и в следующее воскресенье, прослушав раннюю обедню в домовой часовне, села в карету и поехала с горничной к поздней обедне в тот приход, где жила Анина Марини. В церкви она увидела всех блестящих городских щеголей, которых туда привлекла та же самая приманка. Кавалеры эти толпились у дверей. Вскоре по волнению, поднявшемуся среди них, маркиза догадалась, что в церковь вошла

Анина Марини. С того места, где сидела Клелия, ей хорошо было видно Анину, и при всем своем благочестии она в этот день не уделяла должного внимания церковной службе. Клелия нашла, что у красавицы мещаночки слишком смелый вид, который, пожалуй, допустим только у дамы после нескольких лет замужества. Впрочем, сложена она была на диво, несмотря на небольшой рост, а глаза ее чуть что не говорили, как выражаются в Ломбардии, — до того красноречив был их взгляд. Маркиза уехала, не дожидаясь конца службы.

На следующий день друзья дома, собиравшиеся во дворце Крешенци каждый вечер, рассказывали о новой забавной выходке Анины Марини. Так как ее мать, опасаясь какого-нибудь сумасбродства со стороны дочери, давала ей очень мало денег, Анина сняла с руки великолепное бриллиантовое кольцо, подарок отца, и предложила знаменитому Гаецу, приехавшему в Парму для росписи гостиных во дворце Крешенци, написать ей за это кольцо портрет монсиньора дель Донго; но она потребовала, чтобы художник изобразил его в простой черной одежде, а не в облачении священника; и вот вчера маменька юной Анины, к великому своему удивлению и негодованию, увидела в спальне дочери превосходный портрет

Фабрицио дель Донго в самой роскошной раме, какую приходилось золотить пармским ювелирам за последние двадцать лет.

28

Захваченные ходом событий, мы не успели дать хотя бы беглый набросок того смешного племени лизоблюдов, которыми кишел пармский двор и которые давали забавные комментарии к описанным нами событиям. В этой стране захудалый дворянин, имеющий три-четыре тысячи ливров дохода, мог удостоиться чести присутствовать в черных чулках на «утренних монаршьих выходах» при условии, что он никогда не читал ни Вольтера, ни Руссо, — условие это нетрудно было выполнить. Затем ему следовало с умилением говорить о насморке монарха или новом ящике с образцами минералов, присланном его высочеству из Саксонии. А если он вдобавок круглый год ходил к обедне, не пропуская ни одного дня, и насчитывал среди своих близких друзей двух-трех толстых монахов, то принц за две недели до нового года или две недели спустя милостиво обращался к нему с несколькими словами; это давало счастливцу большой вес в приходе, и сборщик налогов не осмеливался слишком прижимать его, если он запаздывал внести сто франков, — сумму ежегодного обложения его

маленькой недвижимости.

Синьор Гондзо принадлежал к этой породе нищих царедворцев, весьма благородного звания, ибо, помимо маленького поместья, получил по протекции маркиза Крешенци великолепную должность с окладом в тысячу сто пятьдесят франков в год. Этот человек мог бы обедать у себя дома, но его одолевала одна страсть: он бывал доволен и счастлив только в гостиной какого-нибудь вельможи, который время от времени говорил ему: «Замолчите, Гондзо, вы просто дурак». Это суждение было продиктовано дурным расположением духа, так как по большей части Гондзо бывал умнее гневливого вельможи. Обо всем он говорил всегда уместно и довольно складно; более того — готов был мгновенно переменить мнение, если хозяин дома поморщится. Однако, по правде говоря, хотя Гондзо отличался удивительной ловкостью во всем, что касалось его выгоды, он не имел в голове ни единой мысли и, если у принца не бывало простуды, не знал, о чем повести разговор, войдя в гостиную.

Своей репутацией в Парме Гондзо был обязан великолепной треуголке с несколько облезлым черным пером, которую он носил даже при фраке. Но надо было видеть, с какой важностью он

надевал эту оперенную треуголку на голову или держал ее в руке, — тут он проявлял истинный дар! Он с непритворной тревогой справлялся о здоровье комнатной собачки маркизы; а если бы во дворце Крешенци возник пожар, не побоялся бы рискнуть жизнью, чтобы спасти одно из красивых кресел, обитых золотой парчой, за которую в течение многих лет цеплялся черный шелк его коротких панталон, когда он случайно осмеливался присесть в них на минутку.

Каждый вечер в гостиной маркизы Крешенци к семи часам собиралось семь-восемь таких прихлебателей. Лишь только они рассаживались, входил великолепно одетый лакей в оранжевой ливрее с серебряными позументами, в красном камзоле, дополнявшем его пышный наряд, и принимал от них шляпы и трости; тотчас вслед за ним являлся второй лакей, приносивший кофе в крошечной чашечке на серебряной филигранной ножке, а каждые полчаса дворецкий, при шпаге и в роскошном кафтане французского покроя, обносил всех мороженым.

Через полчаса после облезлых лизоблюдов прибывало пять-шесть офицеров с зычными голосами и воинственной осанкой, обычно обсуждавших вопрос о количестве и размере пуговиц,

которые необходимо нашивать на солдатские мундиры, для того чтобы главнокомандующий мог одерживать победы. В этой гостиной было бы опрометчивостью упоминать о новостях, напечатанных во французских газетах; даже если бы известие оказалось наиприятнейшим, как, например, сообщение о расстреле в Испании пятидесяти либералов, рассказчик тем не менее изобличил бы себя в чтении французских газет. Все эти люди считали верхом ловкости выпросить к своей пенсии каждые десять лет прибавку в сто пятьдесят франков. Так монарх делит со своим дворянством удовольствие царить над крестьянами и буржуа.

Главной персоной в гостиной Крешенци был бесспорно кавалер Фоскарини, человек вполне порядочный и поэтому сидевший понемногу в тюрьмах при всех режимах. Он состоял членом той знаменитой палаты депутатов, которая в Милане отвергла закон о налогообложении, предложенный Наполеоном[118], — случай весьма редкий в истории. Кавалер Фоскарини двадцать лет был другом матери маркиза и остался влия-

[118] Примечания: 118

В 1805 году в Милане законодательный корпус Итальянского королевства не согласился утвердить налоги, вводимые Наполеоном; в ответ на отказ Наполеон распустил палату.

тельным лицом в доме. Он всегда имел в запасе какую-нибудь забавную историю, но от его лукавого взора ничто не ускользало, и молодая маркиза, чувствуя себя в глубине души преступницей, трепетала перед ним.

Гондзо питал поистине страстное тяготение к вельможам, говорившим ему грубости и раза два в год доводившим его до слез; он был одержим манией оказывать им мелкие услуги, и если б не подсекала его крайняя, закоренелая бедность, он иной раз мог бы преуспеть, ибо ему нельзя было отказать в известной доле хитрости и в еще большей доле нахальства.

Гондзо, при его качествах, разумеется, изрядно презирал маркизу Крешенци, так как ни разу в жизни не слышал от нее сколько-нибудь обидного слова, но в конце концов она была супругой достославного маркиза Крешенци, камергера принцессы, который, к тому же, раза два в месяц говорил Гондзо:

— Замолчи, Гондзо! Ты просто болван!

Гондзо заметил, что лишь только в гостиной речь заходила о юной Анине Марини, маркиза на мгновение пробуждалась от безучастной задумчивости, в которую обычно была погружена до тех пор, пока часы не пробьют одиннадцать, —

тогда она разливала чай и сама подавала чашку каждому гостю, называя его по имени. Вскоре после этого она удалялась в свои покои, но перед уходом как будто оживала, становилась веселой, и как раз этот момент выбирали для того, чтобы прочесть ей новые сатирические сонеты.

В Италии превосходно пишут такие сонеты; там это единственный литературный жанр, в котором еще теплится жизнь, — правда, он ускользает от цензуры, а лизоблюды дома Крешенци всегда рекомендовали свои сонеты следующими словами: «Может быть, маркиза разрешит прочесть в ее присутствии очень плохой сонет?» А когда сонет вызывал смех и повторялся два-три раза, кто-либо из офицеров считал своим долгом воскликнуть: «Министру полиции следовало бы заняться этими гнусными сатирами. Не мешало бы вздернуть на виселицу их авторов». В буржуазных кругах, напротив, встречают эти сонеты с нескрываемым восторгом, и писцы прокуроров продают списки с них.

Заметив необычайное любопытство маркизы, Гондзо решил, что она завидует Анине Марини и недовольна, что при ней так восхваляют красоту этой юной девицы, вдобавок ко всему миллионерши. Так как Гондзо, с вечной своей улыбочкой и

отменной наглостью ко всем незнатным людям, умел проникнуть всюду, то уже на следующий день он вошел в гостиную маркизы, держа свою оперенную треуголку в руке с таким победоносным видом, какой бывал у него не чаще двух раз в год, — в тех случаях, когда принц говорил ему: «Прощайте, Гондзо».

Почтительно поздоровавшись с маркизой, Гондзо не отошел и не сел, как обычно, поодаль в пододвинутое для него лакеем кресло. Нет, он устроился посреди кружка гостей и дерзко воскликнул:

— Я видел портрет монсиньора дель Донго!

От неожиданности Клелии чуть не сделалось дурно, и она тяжело оперлась на локотник кресла; она попыталась выдержать душевную бурю, но вскоре принуждена была уйти из гостиной.

— Надо признаться, милейший Гондзо, что вы на редкость бестактны, — высокомерно сказал один из офицеров, доедая четвертое блюдечко мороженого. — Разве вы не знаете, что коадъютор был одним из храбрейших полковников наполеоновской армии и что он сыграл с отцом маркизы прескверную шутку? Он изволил выйти из крепости, где генерал Конти был тогда комендантом, так же спокойно, как выходят из steccata

(пармский собор).

— Вы правы. Ничего-то я не знаю, дорогой капитан. Я жалкий глупец и целые дни только и делаю промах за промахом.

Эта реплика, вполне в итальянском вкусе, вызвала насмешки над блестящим офицером. Маркиза вскоре вернулась. Она вооружилась мужеством и даже таила смутную надежду самой полюбоваться портретом Фабрицио, который все хвалили в один голос. Она благосклонно отозвалась о таланте Гайеца, написавшего этот портрет. Бессознательно она обращалась к Гондзо и дарила его очаровательными улыбками, а тот насмешливо поглядывал на офицера. Так как другие прихлебатели тоже доставили себе это удовольствие, офицер обратился в бегство, проникшись, разумеется, смертельной ненавистью к Гондзо; тот торжествовал, а когда собрался уходить, маркиза пригласила его отобедать на следующий день.

— Новости одна другой краше! — воскликнул на следующий день Гондзо после обеда, когда слуги вышли. — Оказывается, коадъютор-то наш влюбился в молоденькую Марини!..

Можно представить себе, какое смятение охватило сердце Клелии при столь необычайной

вести. Даже сам маркиз взволновался.

— Ну, Гондзо! Опять вы, любезнейший, несете околесицу! Не мешало бы вам придержать язык: вы говорите об особе, которая удостоилась чести одиннадцать раз играть в вист с его высочеством.

— Что ж, маркиз, — ответил Гондзо с грубым цинизмом, свойственным таким людям. — Могу побожиться, что он весьма не прочь сыграть партию и с малюткой Марини. Но раз эти сплетни вам не нравятся — довольно! Они для меня больше не существуют! Ни за что на свете я не позволю себе оскорбить слух моего обожаемого маркиза.

После обеда маркиз всегда уходил к себе подремать. В тот день он нарушил свой обычай; но Гондзо скорее откусил бы себе язык, чем добавил хоть одно слово о молоденькой Марини; зато он ежеминутно заводил речь с таким расчетом, чтоб маркиз надеялся, что он вот-вот свернет на любовные дела юной мещаночки. Гондзо в высокой степени наделен был лукавством чисто итальянского склада, в котором главное наслаждение — дразнить, искусно оттягивая желанную весть. Бедняга маркиз, сгорая любопытством, вынужден был прибегнуть к лести: он сказал Гондзо, что

обедать с ним великое удовольствие, — всегда съешь в два раза больше обычного. Гондзо не понял и принялся описывать великолепную картинную галерею, которую завела маркиза Бальби, любовница покойного принца; раза три-четыре он пространно и восторженно говорил о Гайеце. Маркиз думал: «Прекрасно! сейчас перейдет к портрету, который заказала молоденькая Анина!» Но Гондзо, разумеется, поворачивал в сторону. Пробило пять часов, и маркиз пришел в чрезвычайно дурное расположение духа: он привык в половине шестого, отдохнув после обеда, садиться в карету и ехать на Корсо.

— Вот вечно вы лезете с вашими глупостями, — грубо сказал он Гондзо. — Из-за вас я приеду на Корсо позже принцессы. А ведь я состою при ней старшим камергером, и, может быть, ей угодно будет дать мне какое-нибудь распоряжение. Ну! рапортуйте поживей! Расскажите в двух словах, если можете, какие там, по-вашему, любовные приключения завелись у монсиньора коадъютора?

Но Гондзо приберегал свой рассказ для маркизы, ибо именно она пригласила его на обед. Поэтому он действительно отрапортовал заказанную историю в двух словах, и маркиз,

полусонный, побежал к себе прилечь. Зато с маркизой Гондзо принял совсем иной тон. Несмотря на свое богатство и высокое положение, она была еще так молода и по-прежнему так простодушна, что считала себя обязанной загладить грубое обхождение маркиза с Гондзо. Очарованный таким успехом, он сразу обрел все свое красноречие и, как по чувству долга так и для собственного своего удовольствия, пустился в бесконечные подробности.

Оказывается, юная Анина Марини платила по цехину за каждое место, которое оставляли ей на проповеди, а приходила она в церковь с двумя своими тетками и бывшим кассиром покойного отца. Места, по ее приказу, занимали накануне проповеди и неизменно почти против кафедры — ближе к главному алтарю, так как она заметила, что коадъютор часто поворачивался к алтарю. Однако и публика кое-что заметила: молодой проповедник «весьма нередко» с благосклонностью останавливал свои выразительные глаза на юной наследнице, отличавшейся дразнящей красотой, и явно уделял ей некоторое внимание, — когда его пристальный взор устремлялся на нее, проповедь становилась чрезвычайно мудреной, изобиловала книжными изречениями, в

ней уже не было порывов чувства, исходящих от сердца; дамы почти тотчас же теряли к ней интерес, принимались разглядывать Анину Марини и злословить о ней.

Клелия заставила трижды пересказать ей эти удивительные подробности и после третьего раза глубоко задумалась; она высчитала, что уже ровно четырнадцать месяцев не видела Фабрицио. «Неужели это так уж дурно приехать на час в церковь, не для того чтобы увидеть Фабрицио, а лишь послушать знаменитого проповедника. Я сяду где-нибудь подальше от кафедры и взгляну на Фабрицио только раз — когда войду. И потом еще один раз, в конце проповеди. Ведь я же поеду слушать замечательного проповедника, — убеждала она себя, — а вовсе не смотреть на Фабрицио». Но посреди этих размышлений вдруг раскаяние стало мучить ее — целых четырнадцать месяцев поведение ее было безупречным! «Ну, хорошо, — решила она, чтобы как-нибудь успокоить душевный разлад. — Если окажется, что первая дама, которая придет к нам нынче вечером, ходила на проповеди монсиньора дель Донго, — я пойду, а если нет, — воздержусь».

Приняв такое решение, маркиза, к великой радости Гондзо, сказала ему:

— Постарайтесь, пожалуйста, узнать, на какой день назначена проповедь коадъютора и в какой церкви. Нынче вечером перед уходом подойдите ко мне, — я, может быть, дам вам поручение.

Лишь только Гондзо отправился на Корсо, Клелия вышла подышать свежим воздухом в саду около дворца. Она и не вспомнила, что уже десять месяцев не позволяла себе этого. Она была весела, оживлена, разрумянилась. Вечером, при появлении каждого докучного гостя, сердце ее билось от волнения. Наконец, доложили о Гондзо, и он с первого же взгляда понял, что целую неделю будет необходимым человеком в доме. «Маркиза ревнует к юной Марини, — подумал он. — Ей-богу, великолепную комедию можно разыграть: маркиза выступит в главной роли, малютка Анина — в роли субретки, а монсиньор дель Донго — в роли любовника! По два франка бери за вход, и то не дорого, ей-богу!»

Он себя не помнил от радости, весь вечер никому не давал слова сказать и, перебивая всех, рассказывал глупейшие истории — например, анекдот о знаменитой актрисе и маркизе Пекиньи, который услышал накануне от заезжего путешественника-француза. Маркиза, в свою очередь, не могла усидеть на месте: она то проха-

живалась по гостиной, то выходила в смежную картинную галерею, где маркиз развесил только полотна, стоившие не дешевле двадцати тысяч франков. В тот вечер картины говорили с нею столь внятным языком, что сердце ее утомилось от волнения. Наконец, она услышала, как распахнулись обе створки двери. Клелия побежала в гостиную. Это прибыла маркиза Раверси. Но, обращаясь к ней с обычными любезными фразами, Клелия почувствовала, что голос отказывается ей служить. Маркизе Раверси только со второго раза удалось расслышать ее вопрос:

— Ну что вы скажете о модном проповеднике?

— Я всегда считала его молодым интриганом, вполне достойным его тетушки, пресловутой графини Моска, но в последний раз, когда я была на его проповеди в церкви визитантинок, рядом с вашим домом, он говорил так вдохновенно, что вся моя вражда к нему исчезла. Я никогда еще не слышала такого красноречия.

— Так вы бывали на его проповедях? — спросила Клелия, затрепетав от счастья.

— То есть как? Вы, значит, меня не слушали? — смеясь, сказала маркиза. — Ни одной не пропущу, ни за что на свете! Говорят, у него чахотка, и скоро ему уж не придется проповедовать!

Как только маркиза Раверси ушла, Клелия позвала Гондзо в галерею.

— Я почти решила, — сказала она ему, — послушать хваленого проповедника. Когда он будет говорить?

— Через три дня, то есть в понедельник. И, право, он как будто угадал намерение вашего сиятельства: выбрал для проповеди церковь визитантинок.

Они не успели еще обо всем столковаться, но у Клелии перехватило дыхание, она не могла говорить; раз шесть она обошла всю галерею, не вымолвив ни слова. Гондзо думал: «Вот как ее разбирает! Обязательно отомстит! Подумайте, какая дерзость: убежать из тюрьмы, да еще когда имеешь честь находиться под охраной такого героя, как генерал Фабио Конти!..»

— Кстати сказать, надо спешить, — добавил он с тонкой иронией. — Проповедник в чахотке. Я слышал, как доктор Рамбо говорил, что ему и года не протянуть. Это бог наказывает его за то, что он нарушил долг заключенного и предательски бежал из крепости.

Маркиза села на диван и знаком предложила Гондзо последовать ее примеру. Помолчав с минуту, она подала ему кошелечек, в который

заранее положила несколько цехинов.

— Велите занять для меня четыре места.

— Не дозволите ли бедному Гондзо проскользнуть вслед за вашим сиятельством?

— Ну, разумеется. Прикажите занять пять мест… Не обязательно близко от кафедры, я этого нисколько не добиваюсь. Но мне хотелось бы посмотреть на синьорину Марини, — все так прославляют ее красоту.

Маркиза не помнила, как провела три дня до знаменательного понедельника, дня проповеди. Гондзо, гордясь несказанной честью появиться перед публикой в свите такой знатной дамы, нарядился в кафтан французского покроя и прицепил шпагу; мало того, воспользовавшись соседством церкви с дворцом, он приказал принести великолепное золоченое кресло для маркизы, и буржуазия сочла это величайшей дерзостью. Легко представить себе, что почувствовала бедняжка маркиза, когда увидела это кресло, да еще поставленное как раз против кафедры! От смущения она забилась в уголок этого огромного кресла, не смела поднять глаза и даже не решалась взглянуть на юную Марини, на которую Гондзо указывал рукой, повергая Клелию в ужас такой развязностью. В глазах этого лизоблюда все, кто

не принадлежал к знати, не были людьми.

На кафедре появился Фабрицио. Он был так худ, так бледен, так *истаял*, что у Клелии глаза сразу же наполнились слезами. Фабрицио произнес несколько слов и вдруг остановился, словно у него внезапно пропал голос; несколько раз он пытался заговорить, но тщетно; тогда он повернулся и взял какой-то исписанный листок.

— Братья мои, — сказал он, — одна несчастная и достойная вашего сострадания душа моими устами просит вас помолиться, чтобы пришел конец ее мукам, которые прекратятся для нее вместе с жизнью.

И Фабрицио стал читать по бумажке. Читал он очень медленно, но в его голосе была такая выразительность, что к середине молитвы все плакали, даже Гондзо. «По крайней мере никто не обратит на меня внимания», — думала маркиза, заливаясь слезами.

Пока Фабрицио выговаривал написанные строки, ему пришли две-три мысли о душевном состоянии того несчастного, за которого он просил верующих помолиться. А вскоре мысли прихлынули волной. Он как будто обращался ко всем слушателям, но говорил только для Клелии. Кончил он свою речь немного раньше обычного,

потому что при всем старании не мог совладать с собой: он задыхался от слез и не в силах был говорить внятным голосом. Знатоки признали эту проповедь несколько странной, но по своей патетичности по меньшей мере равной его знаменитой проповеди при парадном освещении. А Клелия, лишь только Фабрицио прочел первые десять строк «молитвы», уже считала тяжким преступлением, что целых четырнадцать месяцев прожила, не видя его. Вернувшись домой, она легла в постель, чтобы никто не мешал ей думать о Фабрицио; а наутро, в довольно ранний час, Фабрицио получил такую записку:

> «Вверяю себя вашей чести. Найдите четырех надежных bravi, умеющих хранить тайну, и завтра, как только на колокольне Стекката пробьет полночь, будьте на улице Сан-Паоло, у калитки дома под номером 19. Помните, на вас могут напасть. Один не приходите».

Узнав почерк в этом божественном послании, Фабрицио упал на колени и расплакался. «Наконец-то! — воскликнул он. — Не напрасно я ждал четырнадцать месяцев и восемь дней. Прощай, проповеди!»

Было бы слишком долго описывать, какое безумство владело в тот день сердцами Фабрицио и Клелии.

Калитка, о которой говорилось в письме, вела в оранжерею дворца Крешенци, и Фабрицио ухитрился раз десять за день пройти мимо нее. Он хорошо вооружился и около полуночи, один, быстрым шагом подошел к этой калитке и, к несказанной своей радости, услышал, как хорошо знакомый голос тихо произнес:

— Войди, мой бесценный друг.

Фабрицио осторожно вошел и действительно очутился в оранжерее, но напротив окна, забранного толстой решеткой и пробитого на три-четыре фута над землей. Была густая тьма. За окном послышался шорох. Фабрицио провел по решетке пальцами, и вдруг сквозь железные брусья просунулась чья-то рука, взяла руку Фабрицио, и он почувствовал, что к ней прильнули устами.

— Это я, — сказал любимый голос. — Я пришла сказать, что люблю тебя, и спросить, согласен ли ты исполнить мою волю.

Нетрудно представить себе ответ Фабрицио, его радость и удивление. После первых минут восторга Клелия сказала:

— Ты ведь знаешь, я дала обет мадонне никогда больше не видеть тебя; потому я и принимаю тебя в таком мраке. Помни, если ты когда-нибудь хоть раз принудишь меня встретиться с тобой при свете, все между нами будет кончено. Но прежде всего я не хочу, чтобы ты читал проповеди для Анины Марини, и, пожалуйста, не думай, что это мне пришла глупая мысль принести кресло в дом божий.

— Ангел мой, я ни для кого больше не буду проповедовать. Я это делал только в надежде когда-нибудь увидеть тебя.

— Не говори так! Не забывай, что мне нельзя тебя видеть.

А теперь попросим у читателя дозволения обойти полным молчанием три года, пролетевших вслед за этим.

В то время, с которого мы возобновляем свой рассказ, граф Моска уже давно вернулся в Парму премьер-министром и был могущественнее, чем когда-либо.

После трех лет божественного счастья прихоть любящего сердца вдруг овладела Фабрицио и все изменила. У маркизы был сын, двухлетний очаровательный малыш Сандрино; она души в нем не чаяла. Сандрино всегда был около нее или

сидел на коленях у маркиза Крешенци. Фабрицио же почти никогда его не видел, и ему не хотелось, чтобы мальчик привык любить другого отца. У него явилась мысль похитить ребенка, пока он еще в таком возрасте, от которого не сохраняется отчетливых воспоминаний.

В долгие дневные часы, когда маркиза не могла встречаться с Фабрицио, только близость Сандрино была ее утешением. Тут придется сказать об одном обстоятельстве, которое к северу от Альп покажется невероятным. Несмотря на свой грех, она осталась верна обету, данному мадонне. Читатель, вероятно, помнит, что она поклялась «никогда больше не видеть» Фабрицио, — это были подлинные ее слова; и вот, соблюдая этот обет, она принимала любимого только ночью и в комнате никогда не зажигала света.

Но принимала она своего друга каждый вечер, и, удивительное дело, в придворном мирке, снедаемом любопытством и скукой, никто даже не подозревал об этой amicizia, как говорят в Ломбардии, — настолько осторожно и ловко вел себя Фабрицио. Они любили друг друга так пылко, что размолвки между ними были неизбежны. Клелию нередко мучила ревность, но чаще всего ссоры порождала другая причина. Фабрицио

коварно пользовался какой-либо публичной церемонией, чтобы прийти полюбоваться маркизой; тогда она под каким-нибудь предлогом спешила удалиться и надолго изгоняла своего друга.

При пармском дворе дивились, что у такой замечательной красавицы и женщины глубокой души нет возлюбленного; она многим внушала страсть, толкавшую на всяческие безумства, и Фабрицио тоже, случалось, терзался ревностью.

Добрый архиепископ Ландриани уже давно скончался; благочестие, примерная жизнь, красноречие Фабрицио быстро изгладили память о нем; старший брат Фабрицио умер, и все родовые владения достались ему; с тех пор он каждый год распределял между викариями и канониками своей епархии доход в сто с лишним тысяч франков, который приносит сан пармского архиепископа.

Фабрицио трудно было бы и мечтать о жизни более достойной и удостоенной большего уважения, более полезной, чем та, которую он вел, и вдруг все перевернула злосчастная прихоть любящего сердца.

— Из-за твоего обета, который я чту, хотя он омрачает всю мою жизнь, ибо, соблюдая его, ты

не хочешь встречаться со мною днем, я живу очень одиноко, — как-то раз сказал он Клелии. — У меня нет иного развлечения, кроме работы, да и работы у меня немного. Жизнь моя уныла, сурова, дневные часы тянутся бесконечно, и вот уже полгода меня преследует мысль, с которой я тщетно борюсь. Мой сын совсем не будет меня любить, ведь он даже никогда не слышит моего имени. Он растет в приятной роскоши дворца Крешенци, а меня едва знает. Когда мне случается изредка видеть его, я всегда думаю о тебе; глядя на сына, я вспоминаю о небесной красоте матери, которой мне не дозволено любоваться, и, верно, мое лицо кажется ему слишком серьезным, то есть хмурым на взгляд ребенка.

— Послушай, к чему ты клонишь свою речь?.. — спросила маркиза. — Ты пугаешь меня.

— Я хочу, чтобы он действительно был моим сыном. Хочу, чтобы он жил возле меня, хочу видеть его каждый день, хочу, чтобы он привык ко мне и полюбил меня, хочу, чтоб и мне можно было свободно любить его. Поскольку в своей злосчастной участи, быть может беспримерной в целом мире, я лишен счастья, которым наслаждаются столько любящих душ, и не могу жить близ той, что для меня дороже всего, я хочу, чтоб рядом

со мною было существо, которое напоминало бы тебя моему сердцу и хоть немного заменяло бы тебя. Дела и люди стали мне в тягость из-за моего невольного одиночества. Ты знаешь, что честолюбие для меня — пустой звук с того счастливого дня, когда Барбоне занес меня в списки заключенных; все, что чуждо сердечным чувствам, мне кажется нелепым, так как вдали от тебя меня гнетет тоска.

Нетрудно понять, какой тяжкой скорбью наполнила душу бедной Клелии печаль ее друга; и боль усиливалась от сознания, что Фабрицио по-своему прав. Она дошла до того, что задавала себе вопрос, нельзя ли ей нарушить обет. Ведь тогда она могла бы принимать Фабрицио в своем доме, как других людей высшего общества, — ее репутация примерной супруги была настолько прочна, что никто не стал бы злословить. Она говорила себе, что за большие деньги может добиться освобождения от обета, но чувствовала, что такая мирская сделка, не успокоив ее совести, возможно, прогневит небо, и оно покарает ее за этот новый грех.

А с другой стороны, если согласиться, если уступить столь естественному желанию Фабрицио и утешить близкую ей нежную душу, потерявшую

покой из-за ее странного обета, то как разыграть комедию похищения сына у одного из виднейших вельмож Италии? Обман неизбежно раскроется. Маркиз Крешенци не пожалеет никаких денег, сам поведет розыски и рано или поздно откроет виновников. Было только одно средство предотвратить эту опасность: далеко увезти ребенка, например в Эдинбург или в Париж; но любовь матери не могла с этим примириться. Фабрицио предложил другой план, как будто разумный, но в нем было что-то зловещее и еще более страшное в глазах обезумевшей матери.

— Надо притвориться, что ребенок заболел, — сказал Фабрицио. — Ему будет все хуже и хуже, и, наконец, в отсутствие маркиза он якобы умрет.

Клелия отвергла такой замысел с отвращением, граничившим с ужасом; отказ ее привел к разрыву, правда недолгому.

Клелия говорила, что не надо искушать господа: их дорогой сын — плод греха, и если опять они навлекут на себя гнев небес, бог непременно отнимет его. Фабрицио вновь напомнил о своей прискорбной участи.

— Сан, который я ношу по воле случая, — говорил он Клелии, — и моя любовь обрекают меня на вечное одиночество. Я лишен радостей

сокровенной сердечной близости, которая дана большинству моих собратий, ибо вы принимаете меня только во тьме; я мог бы проводить с вами все дни моей жизни, а вынужден довольствоваться краткими мгновениями.

Было пролито много слез; Клелия захворала. Но она слишком любила Фабрицио и не могла упорствовать, отказываясь от той страшной жертвы, которой он требовал. И вот Сандрино как будто заболел; маркиз тотчас позвал самых знаменитых врачей. Клелия оказалась в положении крайне затруднительном и совсем непредвиденном: нужно было помешать, чтоб ее дорогому сыну давали лекарства, прописанные врачами, а это было нелегкой задачей.

Ребенка без нужды долго держали в постели, это повредило его здоровью, и он действительно захворал. Как признаться врачу в причине болезни? Две противоречивые заботы о двух самых дорогих существах раздирали сердце Клелии; она едва не лишилась рассудка. Что делать? Согласиться на мнимое выздоровление и потерять таким образом плоды долгого и тягостного притворства? Фабрицио, со своей стороны, не мог простить себе насилия над сердцем подруги и не мог отказаться от своего плана. Он нашел способ

каждую ночь проникать к больному ребенку, и это привело к новым осложнениям. Маркиза приходила ухаживать за сыном, и несколько раз Фабрицио поневоле видел ее при свете горевшей свечи, а бедному, истерзанному сердцу Клелии это казалось пагубным грехом, предрекавшим смерть Сандрино. Она советовалась с самыми знаменитыми казуистами, как быть, если выполнение обета приносит явный вред, но напрасно ей отвечали, что нельзя считать преступным, если лицо, принявшее на себя обязательства перед богом, уклоняется от них не ради плотских утех, а во избежание очевидного зла. Маркиза все же была в отчаянии, и Фабрицио видел, что его странный замысел может привести к смерти Клелии и его сына.

Он обратился за помощью к лучшему своему другу, к графу Моска, и даже старого министра растрогала история этой любви, которая в большей своей части оставалась ему неизвестной.

— Я устрою так, что маркиз по меньшей мере пять-шесть дней будет в отсутствии. Когда вам это понадобится?

Через некоторое время Фабрицио пришел к графу и сказал, что все готово и можно воспользоваться отсутствием маркиза.

Два дня спустя, когда маркиз верхом на лошади возвращался в Парму из своего поместья, находившегося около Мантуи, на него напали разбойники, вероятно, нанятые кем-то из личной мести, схватили его, но не причинили ему никакого вреда и повезли в лодке, вниз по течению По, заставив его проделать тот же путь, который совершил Фабрицио после знаменитого поединка с Джилетти. Только на четвертый день разбойники высадили маркиза на маленьком пустынном островке, посреди реки, дочиста обобрав его, не оставив ему ни денег, ни одной сколько-нибудь ценной вещи. Через два дня маркизу удалось вернуться в Парму. Прибыв во дворец, он увидел траурные драпировки на стенах и скорбные слезы домашних.

Весьма искусно совершенное похищение привело, однако, к роковым последствиям. Сандрино спрятали в большом красивом особняке, где маркиза почти ежедневно навещала его, но через несколько месяцев он умер. Клелия приняла утрату как справедливую кару за нарушение обета мадонне: во время болезни Сандрино она часто видела Фабрицио при свечах, а два раза даже днем, и как нежны были эти встречи! Она лишь на несколько месяцев пережила горячо лю-

бимого сына, но ей дано было утешение умереть на руках ее друга.

Глубокая любовь и глубокая вера не допустили Фабрицио до самоубийства; он надеялся встретиться с Клелией в лучшем мире, но хорошо сознавал, что должен многое искупить. Через несколько дней после смерти Клелии он подписал имущественные распоряжения, по которым обеспечил каждого из своих слуг рентой в тысячу франков, оставив себе на содержание такую же сумму; свои земли, приносившие около ста тысяч ливров дохода, он подарил графине Моска и приблизительно такую же сумму выделил своей матери, маркизе дель Донго, а остальную часть отцовского наследства отдал сестре, небогато жившей в замужестве. На следующий день, подав кому надлежало заявление об отказе от сана архиепископа и всех высоких постов, которые доставили ему благосклонность Эрнесто V и дружба премьер-министра, он удалился в «Пармскую обитель», укрывшуюся в лесах близ берега По, в двух лье от Сакка.

Графиня Моска в свое время вполне одобрила согласие мужа вновь вступить на пост премьер-министра, но сама наотрез отказалась вернуться во владения Эрнесто V. Она избрала своей рези-

денцией Виньяно, в четверти лье от Казаль-Маджоре, на левом берегу По и, следовательно, в австрийских владениях. В великолепном виньянском дворце, который построил для нее граф, она принимала по четвергам все высшее пармское общество, а своих многочисленных друзей ежедневно. Не проходило дня, чтобы Фабрицио не навещал ее.

Словом, все внешние обстоятельства сложились для графини как будто весьма счастливо, но когда умер боготворимый ею Фабрицио, проведя лишь год в монастыре, она очень ненадолго пережила его.

Пармские тюрьмы опустели, граф стал несметно богат, подданные обожали Эрнесто V и сравнивали его правление с правлением великих герцогов Тосканских.

To The Happy Few[119].

[119] Примечания: 119

«To the happy few» — в переводе с английского: «немногим счастливцам». Посвящение заимствовано Стендалем у Гольдсмита (из 2-й главы «Векфильдского священника»).